

А. В. Амфиатров

∞

А. В. Амфиатров

А.В. АМФИТЕАТРОВ



А.В. АМФИТЕАТРОВ

**Собрание сочинений
в 10 томах**



**ПОВЕСТИ
ОЧЕРКИ
СТАТЬИ**



Москва
НПК «Интелвао»
2005

А.В. АМФИТЕАТРОВ

**Собрание сочинений
в 10 томах**

Том восьмой



**НАСЛЕДНИКИ
ЗЛЫЕ ПРИЗРАКИ
ОЧЕРКИ
СТАТЬИ**



Москва
НПК «Интелвак»
2005

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

Составление, примечания *Т.Ф. Прокопова*

Научный руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5-93264-018-9 (т. 8)

© Т.Ф. Прокопов. Составление,
примечания, 2005
© НПК «Интелвак», 2005

НАСЛЕДНИКИ

I

Весною 190* года в холодные и дождливые сумерки по тихой окраинной улице очень большого губернского города тихо пробирался, щадя свои резиновые шины от колдобин и выбоин мостовой и осторожно объезжая лужи, которые могли коварно оказаться невылазными провалами, щегольской «собственный» фаэтон, везомый парюю прекраснейших гнедых коней в строжайшей венской упряжке, но с русским бородатым кучером-троечником на козлах. Сочетание получалось смешное, но экипаж принадлежал местному руководителю мод, настолько признанному в авторитете своем, что не только никто из встречных прохожих и проезжих господ интеллигентов, но даже ни единый из дворников у ворот либо верхом на доживающих век свой архаических тумбах и лавочников в дверях лавок своих, ни единый и никто не смеялись. Напротив, все провожали фаэтон взглядами одобрения и зависти: вот это, дескать, шик так шик! Смешно было, кажется, только самому хозяину фаэтона, губернскому Петронию, *arbitro elegantiarum**. То был маленький горбатый человечек с огромною головою, покрытою превосходным парижским цилиндром — *haut de forme, à huit réflets*** , а ниже сверкали под золотым пенсне умные, живые семитические глаза, белел тонкий длинный нос малокровного, боль-

* Законодатель в области изящного (*лат.*).

** Высоким, по виду напоминающим восьмерку (*фр.*).

ного человека, и роскошнейшая черная борода спускалась по груди на... русский армяк тончайшего английского сукна, украшенный... значком присяжного поверенного!..

— Вендль шикаует, — сказал, глядя на странного господина в странном экипаже из-за гераней, зарастивших кособокие окна низенькой столовой, учитель городского, имени Пушкина училища Михаил Протопопов.

Тогда тощая, на зеленую кочергу похожая жена его сорвалась из-за стола с самоваром и бросилась к окну, оставив без внимания даже и то обстоятельство, что тяжело шмякнула о пол дремавшего на ее коленях любимого желтого кота.

— А-а-а... скажите пожалуйста... а-а-а... — стонала она, покуда медленным и грациозным движением, точно танцуя на своих четырех колесах классический босоногий танец какой-нибудь, эластически влачился мимо окон учительских безукоризненный венский экипаж. — Ну до чего же, однако, люди в прихотях своих доходят!.. Удивления достойно... а-а-а...

Супруг внимательно гладил кустистую рыжую бороду и не то с сожалением, не то с умиленной гордостью повторял:

— Шикаует Вендль, шикаует... Жжет бабкины денежки... Только, брат, дудки! Сколько ни состязайся, Эмильки тебе не перешиковать...

Супруга беспокойно оглянулась на дверь в кухню и, убедившись, что она плотно заперта, сказала мужу с упреком:

— Ты бы, Михаил, потише...

— А что? — приосанился учитель Протопопов, услышав в голосе жены привычную ноту житейского трепета, на которую он в качестве мужчины, интеллигента и выборщика должен приготовить привычную же ноту мужественного гражданского протеста. — Что я сказал особенного? Кажется, ничего.

— То, что нехорошо: какая она нам с тобою Эмилька? Не сломаешь язык назвать и Эмилией Федоровной.

— Очень надо! Не велика пани. Обыкновеннейшая помпадурша из сочинений Щедрина.

— Уж этого я не знаю, из каких она сочинений, но только Воздухов вылетел из-за нее со службы по телеграмме из Петербурга. А потом едва уклоняли ее, чтобы генерал-губернатор простил, оставил его в пределах губернии. А Воздухов был не тебе чета: податной инспектор, со связями, свой дом...

Учитель Протопопов взглянул на жену со снисходительным презрением к ее бабьему робкому разуму и возразил:

— Сравнила! Воздухов гулял перед ее окнами в пьяной обнаженности и с мандолиною через плечо спел ей испанскую серенаду. Это публичный скандал, и притом было среди белого дня. За это, брат, кого угодно. Каков ни есть наш город, но голым ходить по улицам и на мандолине бряцать податному инспектору не полагается... А я что же? Я — в четырех стенах...

— А вот подслушает кто-нибудь — так и будут тебе стены.

— Федосья, что ли, донесет?

— А то нет? — зловеще кивнула госпожа Протопопова с лысоватым пробором бурых и жиденьких волос своих. — Акцизный Федоров через кого в политике увяз? Катька, горничная, любовника-сыщика имела. Ну, и обличил.

— Ну, там политика... А я, кажется...

— То-то... кажется! — со вздохом заключила учительша, отходя от окна, так как интересный экипаж уже исчез из виду за углом, и вновь подбирая на колени обиженного кота своего.

— Это Вендль опять к Сарай-Бермятовым поехал, — сказал супруг, присаживаясь к самовару. — Часто ездит.

— Друзья с Симеоном Викторовичем-то, — почему-то вздохнула учительша, передавая мужу дымящийся стакан. — С университета товарищи.

— Товарищи! — недоверчиво ухмыльнулся учитель. — А я так думаю: он там больше по барышненской части. Ты, Миня, не гляди на него, что он горбатый и с виду в чем душа держится. Этакого другого бабника поискать. Он да еще вот Мерезов Васька. Два сапога пара — афинские ночи-то устраивать.

— Для афинских ночей известно кого нанимают, — перебила учительша не без досады. — А к благородным барышням с подобными пошлыми намерениями мужчина обратиться не может. Это глупо и бесполезно — то, что ты говоришь. А уж в особенности что касается Сарай-Бермятовых. Слава Богу, с малолетства их знаем. Аглаечка, конечно, красавица, и соблазн ей от вашей мужчинской козлячьей породы предостойт многих. Но характер у нее совсем не такой категории, чтобы какой-нибудь бабник вокруг нее пообедал. Девушка серьезная, хоть Богу не молится, а живет святей иной монашенки. А Зочка еще ребенок — что ей? Много, если пятнадцать минуло... Да и собой нехороша.

— Ребенок-то ребенок, — возразил супруг с несколько сконфуженною язвительностью, — но в какой гимназии этот ребенок воспитание свое получает?

Госпожа Протопопова настоорижилась:

— Известно, в какой: у Авдотьи Васильевны... Чем гимназия нехороша?

Протопопов захихикал над стаканом своим:

— Сегодня в «Глашатае» видел заметку, будто у китайцев в Пекине в женской школе имени Лао-Цзы открыта «лига любви»... Вот они каковы, ребенки-то ваши!

Госпожа Протопопова в волнении поставила чашку на блюдце, всплеснула худыми руками и трепетно опустила их на кота своего, который сквозь дремоту вообразил, будто его ласкают, а потому пренежно замурлыкал. А Протопопов многозначительно сказал:

— То-то вот и оно-то... Эмилии Федоровны школа... Прежде чем в помпадурши свихнуться, сколько времени

она у Сарай-Бермятовых гувернанткой была?.. Ну-ка, подсчитай.

Не получив от взволнованной супруги ответа, он вздохнул и продолжал, обжигаясь в мирных перерывах горячим чаем:

— Но тем не менее относительно Вендля я действительно так полагаю, что понапрасну мальчик ходит, понапрасну ножки бьет... Еще если бы год, два тому назад, то по тогдашней бедности Бермятовых, может быть, и очистилось бы ему что-нибудь...

— Женатому-то?! — с негодованием воскликнула супруга, и костлявые пальцы ее непроизвольно вонзились в кота с такою силою, что тот взвизгнул и, хвост трубою, дернул от хозяйки одним прыжком через всю комнату на триповый синий диван. — Женатому-то? Да ты, Михаил, с ума сошел! Ты в развратном настроении ума!

Но Михаил вдруг почувствовал под собою твердую почву и осенился вдохновением к радикальным идеям.

— Друг мой Миня! — прочувствованно воскликнул он. — При нынешнем торжестве гражданского брака и расшатанности моральных устоев какое препятствие может быть бедной девушке в дилемме: ухаживает за нею холостой жених или женатый претендент?.. Теперь, конечно, все это — другой колленкор. Как скоро Симеон Викторович отвоевал дядюшкино наследство — теперь, брат, шалишь! Теперь девицы Сарай-Бермятовы будут первые по городу невесты... Полмиллиона чистоганчиком хватили Сарай-Бермятовы! Шутка! Теперь Аглаю с Зоею женихи наши с руками рвать будут...

— Наследство прекраснейшее, — с осторожностью заметила скептическая супруга, — но ведь Аглаи с Зоей оно мало касается. Я слыхала так, что главный капитал назначен по завещанию ему — Симеону, а — сестрам и прочим братьям оставлено всего по несколько тысяч...

— Но все-таки! По нынешним нашим губернским временам, когда невеста стала дешевая, а женихи вздорожали, — и то хлеб!..

Тем временем Вендль — господин в армяке и в цилиндре, возбудивший эти супружеские — господ Протопоповых — разговоры, подъехал в венском экипаже своем русским кучером на козлах к длинному, как казарма или больница, одноэтажному дому за забором с гвоздями, над которым розгами торчали частые, еще безлистые тополя, а за тополями черными стеклами, далеко не всегда целыми, далеко не весьма опрятные окна. По деревянным мосткам вдоль забора этого спешно шагал высокий господин, тоже в армяке и в цилиндре, точнее скопированных с Вендля, только значка присяжного поверенного не доставало да материал одежды был грубее и хуже, дешевенький. Увидав Вендля, господин всю фигуру своею выразил и смущение, и гордость первого счастливого подражателя и гоголем шел мимо, пока не исчез в серых сумерках, которые лишь теперь и очень вдали, в туманном центре города, под горою, начали пестриться электрическими фонариками. Вендлю стало совсем весело.

— Максим! — окликнул он кучера слабым, звенящим, девичьим почти голосом.

— Чего изволите? — откликнулся тот с козел, не оборачивая бородатого лица.

— Видел?

Тот помолчал и сказал:

— Видел.

— Хорош?

— Чего лучше!

Вендль залился тоненьким дробным стеклянным смехом, грустным, нежным и переливчатым — как тритоны звенят в летних болотах.

— Вырос в соборную колокольню, а — увидел на горбунчике Вендле цилиндр и армяк, — сейчас же и поверил, что так надо, и — давай себе!.. Экой дурак! Вот дурак! Ты не знаешь, кто такой?

Максим подумал и улыбчивым голосом ответил:

— Да, кажись... как его, беса?.. В железнодорожной конторе служит... Антифонов, что ли... пес ли их разберет!

Вендль еще ярче залился смехом, отчего звук смеха стал еще грустнее, и продолжал:

— Ну, скажите пожалуйста! Антифонов!.. Попович по фамилии, а за жидом тянется... Если мы с тобою, Максим, еще с недельку поедем так по городу, ты увидишь: все наши здешние чудаки вырядятся нам подобными гороховыми шутами... А? Максим?

Максим качнул кучерскою своею шляпою с павлиньими перьями и отвечал равнодушным басом:

— Стадо — народ... Чего от них ждать?.. А уж вы тоже, Лев Адольфович! Только бы вам соорудить дурака из каждого человека...

— Разве я строю, Максим? — звенел тритонным смехом своим Вендль. — Сами строятся... Я только произвожу опыты. Глупость и пошлость тут сами прут изнутри. Я только готовлю формы да подставляю их под кран. Какую форму ни подставь, сейчас же полна сверх краев. Разве же не смешно? Максимушко! Друг единственный! Знаешь, что я тебе скажу! Придумал я...

— Мало ль у вас придумок, — усмехнулся в бороду свою Максим.

— Собственно говоря, я вру. Собственно говоря, не придумал, но вычитал в книжке Эдгара По. Помнишь, мы однажды пили портвейн и я читал тебе вслух «Падение дома Ашероу» — о брате, который нечаянно похоронил живую свою любимую сестру? Так вот этого же самого писателя... Слушай, Максим! Давай — в следующем месяце — обвалиемся в пакле и шерсти и в этом самом вот фазтоне... или нет! Черт с ним! Лучше съездим в имение к Фальц-Фейну и купим пару ездовых страусов. Так больше стиля: выедем двумя обезьянами, в шерсти и пакле, на одноколке, запряженной парюю страусов.

— Эка вас разбирает!

— Да ведь ты пойми, — завизжал Вендль, — ты пойми же, Максим: ведь — через неделю после того, ну, много две недели — в городе не останется ни одного человека: одни обезьяны будут ходить... в шерсти и пакле... одни обезьяны! Ведь это же надо будет умереть со смеха.

— Полиция, чай, не позволит, — возразил Максим.

— Да, вот разве что полиция! — пожалел Вендль.

Смеясь и качая головою, вышел он, маленький, горбатенький, из экипажа и пошел к калитке каменных, с облупившеюся штукатуркою ворот, над которыми еще виднелись постаменты разрушенных львов. Толкнул калитку ногою и по кирпичному выбитому тротуару направился, хромая, к дворовому крыльцу того старого длинного казарменного дома.. Было оно с навесом и сенцами, точно опущенная крыша громадного старомодного тарантаса.

Вендль давно знал, что в этом доме не звонят и не стучат, а прямо входят, кто к кому из обитателей пришел, ибо двери никогда не заперты и обитателям решительно все равно, когда, кто и как их застанет. Из передней, где на ворохе наваленного платья весьма сладко спала довольно неприглядная девчонка-подгорничная, которую приход гостя нисколько не потревожил, Вендль осторожно, из-за дверной притолоки, стараясь быть невидимым, заглянул в зал, откуда слышались бодрый шум юных голосов, взрывы молодого хохота. С дюжину молодых людей — студенты в тужурках, молодые военные, офицеры и вольноопределяющиеся в дешевых мундирах, барышни, похожие на курсисток и начинающих драматических актрис, — сумерничали в папиросном дыму вокруг стола с самоваром... Один — длинноногий, не мундирный, в очках — влез на стол и с серьезным лицом жреца, отправляющего таинство, зажигал висячую лампу-молнию, стоически вынося помеху со стороны двух не весьма красивых девиц, которые дергали его за ноги. Вендлю

захотелось войти в веселый круг резвой молодежи. Но он вспомнил, что сейчас он приехал в этот дом по серьезному делу, и, слегка вздохнув про себя, постарался остаться незамеченным и заковылял из передней не в зал, но в длинный белый коридор, опять-таки говоривший не столько о жилом семейном доме, сколько о больнице или арестантских ротах либо казенном приюте, что ли, каком-нибудь для матросских или солдатских сирот.

Минув две затворенные двери, Вендль остановился у третьей и на этот раз постучал. Ответа не последовало, но, когда Вендль терпеливо постучал во второй раз, дверь распахнулась, и на пороге ее в сильном белом свете ацетиленовой лампы появился сам хозяин этого длинного старого скучного дома — Симеон Викторович Сарай-Бермятов. Нахмуренный и недовольный, что его потревожили, с привычно сердитою складкою между густыми бровями, как черными пиявками, на желтом лбу желчного сорокалетнего лица, он несколько прояснился, узнав Вендля. Черные беспокойные глаза повеселели. Заметно было, что этот сухощавый, среднего роста стройный брюнет когда-то был очень красив, да еще и сейчас может быть красив, если захочет, несмотря на начинающую светиться со лба лысину. Черты лица сухи, но благородны и почти правильны; только легкая расширенность скул выдает старую примесь татарской крови. Голова на широких плечах сидит гордо и мощно, движения тела в красивом и изящно сшитом темно-синем, почти черном костюме смелы, сильны и гибки. Словом, был бы молодцом хоть куда, лишь бы избавились глаза его от тревожного выражения не то гнева, не то испуга, точно человек этот не то обдумывает преступление, не то только что сейчас украл у соседа часы и ищет в каждом новом лице сообщника, как бы их спрятать. Под гнетом же этого выражения лицо Симеона Сарай-Бермятова производило довольно отталкивающее впечатление, особенно когда правую щеку его начинал по-

дергивать нервный тик. Под острым, пронзительным взглядом его, принимавшим по мере его любопытства к разговору почти лихорадочный блеск, становилось неприятно и тяжело, так что долгой беседы с Симеоном Сарай-Бермятовым никто почти не выдерживал. В обществе губернском этот господин далеко не пользовался любовью. Вендль, один из немногих, умел приблизиться к этому неприветливому, нелюдимому, с темною душою существу. И Симеон Сарай-Бермятов тоже по-своему любил Вендля, верил ему, насколько умел, и почти всегда был рад его видеть.

Комната, в которую Симеон ввел Вендля, была довольно неожиданна в таком старом, некрасивом и облупленном снаружи доме, ибо наполнял ее не только большой и умелый, со вкусом сделанный кабинетный комфорт, но было даже не без претензий на хорошую, дорогую роскошь... Вендль сразу заметил, что хозяин не весьма в духе, и, как опытный врач этой мрачной души, сейчас же принялся «разряжать атмосферу». Медленно снимая армяк свой, он неугомонно звенел тритонным своим смехом.

— Извини, Симеон Викторович, что я вхожу в твоё святилище в этой хламиде. Но — откровенно говоря: вестибюль ваш в таком образцовом порядке, что страшно оставить там верхнее платье. Во-первых, ваша девственница — как её? Марфутка? Михрютка? — имеет обыкновение избирать пальто гостей ложем своих отдохновений. Это ещё не так важно, но девственница — чудовище признательности. Всякий раз, что она выпитая на моем плаще, она непременно в благодарность оставляет в нём двух-трех клопов. А они потом выползают здороваться с публикою в самые неожиданные моменты, нисколько не заботясь, кстати они или нет. В последний раз было на скетинге — третьего дня, благотворительный праздник в пользу новорожденных глухонемых. Подлец выполз на воротник и непременно желал, чтобы я его представил генерал-губернаторше, с которою я вел эстети-

ческий разговор о превосходстве Брюсова над Блоком. Если бы не мое израильское происхождение, оно еще куда бы ни шло. Клоп на россиянине — на тебе бы, например, — это что-то даже стильное, патриотическое, истинно русское. Но клоп на нашем брате, жидомасоне, это уже вызывающая претензия, персонаж из буренинского фельетона. Затем: у вас бывая, каждый раз надо опасаться, что назад придется ехать вместо своего платья в попоне или одеяле. О такой мелочи, как калоши, я уже не говорю. Твои собственные кожаные, по ноге непременно должны исчезнуть неизвестно куда, а тебе взамен останутся неизвестно чьи резиновые, драные, одна с литерой «Д», а другая с литерой «О», которую, однако, надо почитать за «Ю», потому что это, видите ли, у нее только палочка и хвостик отвалились от древности...

— Да, — отвечал с досадою Симеон. Голос у него был глухой и мрачный, говор отрывистый, быстрый, угрюмо-вдумчивый — скрытной и одинокой мысли голос. — Ты, к сожалению, прав. У нас вечный хаос. Безобразный и непристойный. А уж теперь, когда Аглая и ее верная Анюта скитаются по пригородам, выискивая дачу, исчез последний порядок и повсюду в доме совершенный цыганский табор или даже ад. Садись, пожалуйста.

Он пододвинул Вендлю кресла, в мягкой коже которых тот с удовольствием усталости утопил горб свой. Оглядывая знакомую обстановку, Вендль остановил глаза на обновке: великолепном книжном шкафе еще без книг, красного дерева, в стиле empire*, с бронзовыми колонками и кариатидками ручной работы, поддерживающими углы верхнего и среднего карниза.

— Ба! Новый шкаф?

— Новый.

— Хорошая вещь. Я третьего дня на выставке видел подобную модель.

* Амбир (*фр.*).

Симеон с довольным видом ослабил между черными, будто нарисованными усами и такую же, чуть седеющую бородкою а Г'Henri IV* два серпа превосходных белых зубов, острых, сильных, волчьих. Он был польщен, что Вендль, знаток в вещах такого рода, одобряет его покупку.

— Да это та самая модель и есть, — сказал он, улыбаясь. — Когда покупал, мне говорили, что ты хвалил. Потому и купил.

— Тысяча?

— Тысяча сто пятьдесят.

Вендль с уважением склонил голову.

— Деньги-с!

Симеон бросил на него подозрительный взгляд, точно вдруг усумнился в искренности похвалы, и буркнул, нахмурясь:

— Пора и мне пожить в свое удовольствие.

Вендль, улыбаясь, закурил сигару.

— Разумеется... Отдыхай, брат, отдыхай!.. Ты теперь в некотором роде покоишься на лаврах... Сегодня был я у Эмилии Федоровны. Говорила, что можно поздравить тебя с окончанием всех хлопот...

Симеон гордо выпрямился — так, что даже стал казаться большуго роста.

— Да. Завещание дяди окончательно утверждено.

— Процесс, значит, больше не грозит?

— Да, господин Мерезов остался с носом.

— Удивительно это все!

Симеон посмотрел на него мрачными глазами, опять сделался антипатичен и некрасив, уменьшился в росте и проворчал:

— Ничего нет удивительного.

— Ну нет, Симеон, не скажи. Удивительного много. В клубе до сих пор не хотят верить, что все досталось тебе.

* Под Генриха IV (фр.).

— Потанцевал я вокруг дяденькина одра-то! — угрюмо возразил Симеон.

— Да, но Мерезов был фаворит, а вас, Сарай-Бермятовых, покойник терпеть не мог, это все знали.

Симеон поднял на Вендля взгляд — торжествующий, ясный, ястребиный взгляд хищника, зажавшего в когтистые лапы свои неотъемлемую добычу.

— Вольно же дураку Мерезову, когда богатый дядя умирает, рыскать где-то там в Монте-Карло или по парижским бульварам.

Вендль невольно отвел глаза. Жесткий, холодный взгляд, тяжелый, хладнокровно ненавистный голос нехорошо давил на его мягкую добродушную натуру. Презрение этого грубого победителя к простосердечному побежденному оскорбило его деликатность. Ему захотелось слегка наказать злые глаза за жестокость, голос за спокойствие торжествующей ненависти.

— Обставился ты недурно, — насмешливо сказал он, — но одной вещицы у тебя в кабинете не хватает.

— Именно? — насторожился Симеон.

— Хорошего портрета Эмилии Федоровны Вельс. Я бы на твоём месте стеной заказал и рядом с иконами его во весь рост в ките поставил.

Все эти иронические слова Симеон выслушал совершенно невозмутимо.

— Не спорю, подрадела она мне вояжем своим, — равнодушно согласился он.

— А это правду рассказывают, — поддразнивал Вендль, — будто на вояж этот ты ей денег дал, лишь бы она увезла Васю Мерезова?

Симеон так же равнодушно поправил:

— Не дал, а достал. Это я теперь могу давать, а тогда нищий был. Она просила, я достал. А кто куда за чьим хвостом треплется, я знать не обязан.

— Да теперь и не все ли равно? — усмехнулся Вендль. — Победителей не судят.

Симеон стоял у письменного стола, выпрямившись с видом гордым и мрачным, как вызывающий борец, который знает, что публика его не любит и охотно ждет его поражения, но ему все равно: он знает свои силы и пойдет на арену бороться назло всем им, этим недоброжелающим.

— Я человек, может быть, грубый, но прямой, — сказал он наконец. — Скрывать не хочу и не стану. Конечно, наследство я фуксом взял. Завещание в мою пользу дядя написал со зла, под горячую руку, когда Мерезов уж очень взбесил его своим беспутством.

Вендль смотрел на него с участием.

— Ты пожелтел, и тебя как-то дергает, — заметил он.

Симеон пожал плечами.

— Любезный мой, — тоном даже как бы хвастливого превосходства возразил он, — я продежурил несколько лет, а последние с лишком два года почти безвыходно, при больном свирепом старичишке на положении только что не лакея. Это не сладко.

— Особенно при твоём характере.

— Каждый день, каждый час я дрожал, — говорил Симеон, и голос его в самом деле дрогнул на словах этих, — что дядя сменит гнев на милость и господин Мерезов пустит меня босиком по морозу.

— Я не выдержал бы! — улыбнулся Вендль. — Черт и с наследством!

— Два года я сидел, как в помойной яме. Только и глотнул свежего воздуха, когда ездил в Казань, по старикову же приказу, продавать дом.

— Мерезов тогда был уже за границей? — после некоторого молчания спросил Вендль.

Симеон опять пожал плечами: как, мол, этого не понимать?

— Разве иначе я рискнул бы уехать? И то лишь потому решил, что мог приставить к кладу своему надежного дракона.

— Любезноверную Епистимию? — засмеялся Вендль.

— Да. У нее к фамилии нашей — собачья привязанность.

— А к тебе наипаче?

Симеон тоже удостоил улыбнуться.

— Ко мне наипаче.

— Шаливали смолоду-то — я помню!

— Студенческих дней моих утешительница! — презрительно скривился Симеон.

Вендль вздохнул.

— Романтизм этот в ихней сестре как-то долго живет.

Симеон согласно двинул бровями.

— И в девках-то из-за меня осталась. Горда была, что с барином любила, так не захотела уже идти в чернь.

Примолкли и оба долго слушали тихий, мягкий бой столовых французских часов, изображавших Сатурна, тоскливо махающего над Летою маятником-косою, каждый отдельно думая свои отдельные думы.

— Ты в ней вполне уверен? — возвысил голос Вендль, и было в тоне его нечто, заставившее Симеона насторожиться.

Он подумал и отвечал медленно, с расстановкой:

— Вполне верить я не умею никому.

Примолкли. Симеон ждал, а Вендль конфузился.

— Об этой казанской поездке твоей сплетни ходят, — нерешительно намекнул он наконец.

Симеон пренебрежительно отмахнулся.

— Знаю. Чепуха.

Но Вендль ободрился и настаивал:

— Уверяют, будто старик в твоё отсутствие переписал-таки завещание в пользу Мерезова.

— Где же оно? — усмехаясь, оскалил серпы свои Симеон.

— То-то, говорят, твою Епистимию надо спросить.

Последовало молчание. Сатурн стучал над Летою косою. И когда он достучал до боя и часы стали звонить восемь, Симеон, медленно ходивший по кабинету своему, медленно погасил в пепельнице докуренную папиросу и заговорил глухо и важно:

— Борьба за состояние покойного дяди иссушила мое тело, выпила мою кровь, отравила мой ум, осквернила мою душу. Если бы дядя после всех жертв моих угостил меня таким сатанинским сюрпризом, я, может быть, задушил бы его либо Ваську Мерезова, я, может быть, пустил бы себе пулю в лоб. Но выкрасть завещание... брр... Я, милый мой, Сарай-Бермятов.

— Еще бы! — радостно подхватил Вендль.

А Симеон, угрюмо улыбаясь, говорил:

— Я сейчас, как Лорис-Меликов. Взял Карс штурмом — нет, не верят, говорят: врешь, армяшка! Купил за миллион!

— Только не я. Преклоняюсь перед фактом и покорно кричу: да здравствует Симеон Победитель!

Симеон сделал скучливую гримасу и, опять закурив папиросу, опустился с нею на диван у окна.

— Прибавь: победитель в одиночку. Потому что с нелепою оравой моих братцев и сестриц — не чужое завоевать, а гляди в оба — своего бы не потерять.

— Да, твои братья... признаться... — сомнительно начал добродушный и всеизвиняющий Вендль.

Но Симеон холодно оборвал:

— Мразь!

Вендль сконфузился.

— Н-ну... уж ты слишком.

Симеон все так же холодно утвердил:

— Вырожденцы, поскребыши, безнадежники, глупцы. Я очень рад, что они не женятся. Лучше прекратить род, чем плодить психопатов.

— Виктор — не психопат, — заступился Вендль.

Но Симеон ему и Виктора не уступил.

— Так социалист, революционер, анархист, коммунист или — как их там еще? Его скоро повесят.

Лицо его пожелтело и приняло выражение угрюмой сосредоточенности. Вендль наблюдал его и думал, что если когда-нибудь Виктора в самом деле станут вешать и от Симеона зависеть будет спасти, то вряд ли он согласится хотя бы только ударить для того пальцем о палец. Симеон молча докурил папиросу и перешел через комнату, чтобы аккуратно потушить ее в той же пепельнице на письменном столе. Потом стал перед Вендлем, заложил руки в карманы брюк и с решающим делом вызовом сказал:

— Я смотрю на себя как на последнего из Сарай-Бермятовых.

— До женитьбы и собственных детей?

Симеон кивнул головою.

— Да, теперь я женюсь, и хорошо женюсь.

— Доброе дело. Пора.

— Скажи лучше: поздненько.

— Где же? Мы с тобою однокурсники, а мне еще нет сорока.

Симеон горько усмехнулся.

— Хорош жених — в сорок лет! Но что делать? Раньше я не имел права. Я никогда не мог вообразить ее — в бедности, без комфорта.

— Ах, — удивился Вендль, — так и невеста уже есть на примете? Не знал. Поздравляю!

— Не с чем, — спокойно возразил Симеон. — Я еще сам не знаю, кто она будет.

— Позволь, ты сказал...

Симеон объяснил:

— Жену свою вообразить бедной не могу я. Понимаешь? Вообще жену, кто бы она ни была.

— Так женился бы на богатой, — усмехнулся Вендль. — С твоей фамилией — легко.

Симеон, стоя у нового шкафа, медленно качал головою и говорил с глубоким убеждением:

— Это я за подлость считаю. Богат должен быть я, а не жена. Пусть она будет мне всем обязана, как птичка в готовом гнезде.

Он любовно погладил красивое гладкое, точно кровью облитое, дерево шкафа цепкою рукою своею с крепкими, нервными, чуть изогнутыми пальцами-когтями и продолжал мягким, пониженным голосом:

— Когда я женюсь, Вендль, ты не узнаешь меня. Я всю душу свою вложу в семью мою.

— Милый мой, да ты, оказывается, тоже идеалист в своем роде? — насмешливо удивился Вендль.

— Я — семьянин по натуре. Настолько люблю семью, что до сих пор не смел приближаться к ее святыне. А между тем я мечтаю о женитьбе с восемнадцати лет. И в университете, и после... всегда! Об этакой, знаешь ли, простой, красивой, дворянской женитьбе по тихой, старомодной любви, которая теплится, как лампадка пред иконой.

— Да, — усмехнулся Вендль. — Это хорошо, что ты наследство получил. В наше время подобной лампадки без пятисот тысяч не засветишь.

Симеон не слушал его иронических *a parte*^{*}. Глядя и лаская любезный шкаф свой, он задумчиво говорил, глядя в полировку, как в зеркало:

— Странна моя судьба, Вендль. Я — семьянин, а к сорока годам пришел старым холостяком. Всю жизнь я маялся, как добычник, по ненавистным городам, а ведь я весь человек земли. С головы до ног — барин. Хозяин. Усадебник.

— Идиллии жаждешь?

^{*} Слова, обращенные не к собеседнику, а как бы про себя, в сторону (*ит.*).

Симеон одобрительно склонил голову.

— Да, чего-нибудь вроде семьи Ростовых из «Войны и мира» или хоть Левиных в «Анне Карениной».

Вендль с усмешкою возразил:

— Боюсь, мой друг, что в усадьбе Левина сейчас стоит усмирительный отряд, а клавесин Наташи Ростовой перепилен пополам пейзажами во время аграрного погрома.

Но Симеон продолжал мечтать — и даже лицом прояснел.

— Десятин триста верстах в пятнадцати от железной дороги. Старинный барский дом. Липовая аллея. Конский завод. Патриархальные соседи. Под большие праздники — домашняя всенощная.

— Или — красный петух, — вставил неумолимый Вендль.

— По воскресеньям — семейный выезд в церковь...

— Если в субботу мужички не подсекли лошадям ножные сухожилия.

— Встречные крестьяне кланяются...

— Ну, уж это — из исторического музея!

Симеон очнулся, как от сна, мрачно взглянул на Вендля, искажился лицом и сказал, тряхнув в воздухе кулаком, точно кузнец молотом:

— У меня закланяются.

II

В то время как Симеон и Вендль беседовали о делах своих в кабинете, а в зале шумела и спорила вокруг младших братьев Сарай-Бермятовых — исключенного студента Матвея и не только исключенного, но и разыскиваемого техника Виктора — пестрая, разношерстная, мужская и женская, учащаяся молодежь, — в одной из проходных комнат между кабинетом и залом, почти безмемельной и с повисшими в ломотьях когда-то дорогими обоями, тускло освещенной мало-

сильною лампою под зеленым абажуром, лежал на весьма шикарной, дорогим красным мебельным бархатом обитой кушетке, прикрытый полосатым тонким итальянским одеялом из шелковых оческов, молодой человек лет 27, очень похожий на Симеона. Такой же желтый, черный, но с еще более беспокойным, раздражительно подвижным взглядом, ни секунды не стоявшим твердо, все блуждавшим — бесцельно и как бы с досадою невольной каждый раз ошибки — с предмета на предмет... Словно глазам молодого человека встречалось все не то, что надо, а того, что он в самом деле искал, никак не мог вокруг себя найти. Подле на венском стуле сидел офицер в пехотном мундире, грузный блондин между тридцатью и тридцатью пятью годами, краснолицый, долговязый и преждевременно лысоватый со лба и висков, что делало огромными уши его, совсем уж не так большие от природы. Первое впечатление от офицера этого было: вот так баба в мундире! И только внимательно вглядываясь в его ранее времени состарившееся нетрезвое лицо, можно было открыть в уголках губ под темно-рыжими усами, в разрезе добродушных желто-красных глаз, в линии татарских скул нечто как будто тоже сарай-бермятовское, но расплывшееся, умягченное, бесхарактерное... Офицер был второй по старшинству за Симеоном брат — Иван Сарай-Бермятов, лежащий молодой человек — третий, Модест. В семье Сарай-Бермятовых они двое составляли, так сказать, среднюю группу. Много младшие Симеона и много старшие остальных братьев и сестер, они жили обособленно от первого и других и были очень дружны между собою. То есть, вернее сказать: Иван был нежнейше влюблен в брата Модеста, которого искренно считал умнейшим, ученейшим, красивейшим, изящнейшим и благороднейшим молодым человеком во всей Вселенной. А Модест благосклонно позволял себя обожать, весьма деспотически муштруя за то податливого Ивана.

Сейчас между ними происходил довольно горячий спор. Модест вчера вернулся домой поздно и, по обыкновению, пьяный. Утром с похмелья был злой. А со злости принялся за чаем дразнить старшую сестру, юную красавицу Аглаю, нарочно рассказывая ей невозможно неприличные анекдоты, так что та расплакалась и — бросив в него полотенцем — ушла вон из комнаты. А Модест от злости ли, от стыда ли за себя вытащил из буфета графин с коньяком и опять напился. И вот теперь, снова выпавшись, дрожит от алкогольной лихорадки и нервничает, кутаясь в итальянское полосатое шелковое одеяло. Иван уговаривал Модеста извиниться пред сестрою, когда Аглая вернется из поездки: она в номинальном качестве хозяйки дома вот уже в течение целой недели уезжала каждое утро на поиски дачи и возвращалась только с вечерним поездом, после десяти часов. Модест капризничал, доказывая, что Аглая сама оскорбила его, бросив в него полотенцем, а что он — решительно ничем не виноват.

— Что за лицемерие? Читает же она Кузмина и Зиновьеву-Аннибал... Я выражался очень сдержанно... У них все это изображено откровеннее.

— Неловко так, Модест. Ты уже слишком. Все-таки сестра... девушка...

Модест сильно повернулся на кушетке своей и, приподнявшись на локте, сказал с досадою:

— А черт ли ей велит оставаться в девушках? Шла бы замуж. Чего ждет? Дяденька помре. Завещание утверждено. Приданое теперь есть.

Иван потупился и скромно возразил:

— Не велики деньги, Модест. По завещанию дяди Аглае приходится всего пять тысяч.

Модест презрительно засмеялся и сделал гримасу.

— Отче Симеонтий из своих прибавит. Ему выгодно поскорее свалить с плеч обузы опек родственников. Недолго нам в куче сидеть.

— Да, — вздохнул Иван, — разлетимся скоро. Сестры — замуж, я — за полком, куда-нибудь на западную границу...

— Матвей и Виктор — в тюрьму либо на каторгу, — в тон ему продолжал Модест.

— Типун тебе на язык.

Но Модест, смеясь, откинулся на спину и, потягиваясь, как молодой кот, сказал с убеждением и удовольствием:

— Один я при Симеоне до конца жизни своей пребуду.

— Вряд ли, — возразил Иван, качая облыселою и оттого ушастой головой. — Не очень-то он тебя обожает.

— Именно потому и не уйду от него. Нужен же ему какой-нибудь терн в лаврах его победного венца. Вот мне и ампула. Он в Капернаум — я в Капернаум. Он во Иерихон, и я во Иерихон. Как бишь это? Триумфатор Цезарь! Помни, что ты все-таки человек... Я его! Вот ты увидишь, Жан Вальжан: я его!.. Дай-ка мне папиросу!

Он лежал, курил и молча улыбался.

Иван долго мялся на стуле своем. Наконец спросил:

— Ты уже решил, как устроить капитал свой?

— Наследственный-то? — небрежно откликнулся Модест.

— Благоприобретенного, сколько мне известно, ты не имеешь.

— Уже устраиваю. Через банк Эмилии Вельс и К^о.

Иван не то испуганно, не то восторженно вытаращил наивные глаза свои.

— Фю-ю-ю! На месяц хватит!

— Зато воспоминаний и мечты — потом на всю жизнь.

Модест зевнул, закрыл глаза и продолжал, закинув руки за голову:

— На что мне капитал, Иван? Диван и мечта — вот все, что мне нужно.

— Мечтою сыт не будешь.

— Буду. Отче Симеонтий не допустит, чтобы Модест Сарай-Бермятов, родной брат его, босячил на толкучке. *Noblesse oblige**. И оденет, и обует, и кров даст.

— Со скрежетом зубовным.

— Это наплевать.

Умолкли. Модест дремал. Иван смотрел на него с любовью и тоскливо, нежно, под тихую лампу думал. Потом сказал:

— Как странно, что ты и Симеон — дети одних родителей.

— По крайней мере одной матери, — лениво отозвался Модест. — Производители достоверны только в государственном коннозаводстве. Там контроль.

Иван покраснел и, в самом деле недовольный, заметил почти басом, стараясь быть учительным и суровым:

— Аглая права: ты становишься невозможен.

А Модест говорил лениво, точно бредил:

— Я — мечтательная устрица. При чем тут был почтенный родитель, утверждать не смею. Но, что касается мамы, полагаю, что она родила меня исключительно для семейного равновесия, устыдясь, что раньше дала жизнь такому волку, как Симеон. Мир, друг мой Ваня, красен встречей контрастов.

— О, в таком случае наша семья — красавица из красавиц! — засмеялся Иван...

А Модест продолжал:

— Подростком я любил мифологию, потому что она — мир контрастов. Бык похищает Европу, Пазифая влюбляется в быка. Кентавры, сфинксы. Я благодарен Симеону, что он дал мне классическое образование. Оно развило мою фантазию и выучило меня мечтать. Половина тела — женщина, половина — лев со змеиным хвостом... Помнишь, в университете я писал реферат о шабашах ведьм?

* Благородство обязывает; в знач.: принадлежность к дворянству заставляет вести себя порядочно (*фр.*).

— Раньше, кажется, о нравах во Франции при регенте?

— Начинал.

— И о маркизе де Саде? — чуть улыбнулся Иван.

— Было, — кивнул Модест.

— Темы у тебя!

— Кого что интересует, — холодно возразил Модест и ловко швырнул папиросу через комнату на медный лист у печки.

Иван, качая головою, так что она ушами, как лопастями мельничного крыла, размахивала на стенной тени, говорил с упреком:

— Да уж хоть бы кончал. А то все — начала да наброски, вступления да отрывки.

Модест согласно кивал носом в такт его словам: знаю, мол, что скажешь, все заранее знаю! Не трудись! И — искренним, доверчивым голосом, нисколько не похожим на тот, которым он говорил раньше — носовой, искусственно насмешливый, условный, точно у актера, играющего фатов на сцене, — отвечал:

— У меня слишком быстрое воображение. Формы чудовищных контрастов летят, обгоняют слова. Образы остаются в голове, ленясь выскользнуть на бумагу. Я не писатель, я мечтатель. Грезу я чувствую осязательно, как, знаешь, бывает во сне. Я не думаю, чтобы в Европе был поэт, который жил бы в такой яркой смене образов, как я. Но все это остается у меня в мечте, в думе, в голове. Слова трудны и бедны, а перо скучно и мертво.

— От подобных мечтаний, мой милый, недолго с ума сойти, — нравоучительно заметил Иван.

Модест засмеялся.

— Эка чем испугал! Да, может быть, я уже сошел?

— Нехорошо. Запрут! — погрозил Иван.

Модест, словно серьезно прося, качал головою с видом насмешливо-укоризненной самозащиты в деле, заранее и уверенно выигранном:

— Ну, вот, кому мешает смирный сумасшедший? О люди! Оставьте Модеста Сарай-Бермятова его дивану и мифологии и идите прочь.

— Но ведь в один прескверный день, вставши с дивана, ты в состоянии проделать такую мифологию, что все прокуроры ахнут?

Модест посмотрел на брата внимательно, нахмурился и отвел глаза.

— Гм... А ты, Иван, однако, не так наивен, как кажешься. Но... Ваня! Оставь сомненья! — запел он из «Леоэгриня». — Нет. Я трус. Воображение никогда не диктует мне желаний настолько сильных, чтобы перейти в действие. С меня совершенно достаточно моего бреда.

— И с женщинами ты так?

— Больше, нежели в чем-либо другом... Меня еще в гимназии Воображалкиным прозвали... Помнишь, товарищи в седьмом, восьмом классе уже непременно женщин знали... иные с пятого начали. По публичным домам скитались, горничных, швеек подманивали... Я никогда...

— Не то что теперь? — поддразнил Иван, ухмыляясь и шевеля темно-рыжими усами.

Но Модест возразил с сильною досадою:

— А что теперь? То же, что и тогда...

Иван искренно расхохотался и возразил:

— Извини меня, Модест, но это от тебя смешно слушать. Словно я тебя не знаю... Немало вместе валандались. Таких распутных, как ты, поискать.

— А, полно, пожалуйста! — с досадою возразил Модест, нетерпеливо шевелясь на кушетке. — Много ты понимаешь... Создали ложную репутацию и носятся! Воображают! Подумаешь, за что!.. У нас это легко... Раздел человек спяну женщину в заведении до совершенного декольте да вылил на нее бутылку шампанского, чтобы посмотреть, как золотое вино течет по розовой коже, — вот уж и готов Калигула, а то и весь Нерон.

— Однако, согласишься, целомудренный брат мой, не всякий же и на подобные души посягает. Надо иметь особое предрасположение, чтобы находить удовольствие...

— Ах, оставь! Раздражаешь... Терпеть не могу, когда люди говорят о том, в чем они не смыслят, извини меня, ни уха, ни рыла, и повторяют мещанскую ерундовую мораль... Предрасположение какое-то — выдумал — надо иметь!.. Дай папироску!

Он закрыл глаза и, куря, ворчал сквозь зубы:

— Предрасположения-то — увьи! — сколько угодно... Ты думаешь: я на предрасположение свое сердит? Напротив, очень папеньке с маменькою благодарен. Через то, что ты называешь предрасположением, мне только и интересно жить. Я наблюдаю себя и открываю себе целый мир... целый ад... Понимаешь? Глядеться в ад — это жутко и хорошо... Предрасположение — это зазорный луч поэзии, падающий в черную глубину души. Но вот что касается воли... действенного импульса осуществляющей воли...

Он глубоко вздохнул и живо заговорил, дымя папироской:

— Повторяю тебе: я трус... Воображалкиным вошел в жизнь — Воображалкиным и уйду из нее... Засидевшихся в девах барышень дразнят, что они все карты раскидывают на трефового короля... Вот и я так-то гадаю, брат мой... У какого это писателя чиновники вместо игорных карт играли в винт фотографическими карточками?

— У Чехова.

— Разве? Я ожидал: новее. Кой черт? Неужели я еще Чехова помню? Ведь это сто лет тому назад! Впрочем, тебе и книги в руки. Вы, офицерство, ужасные консерваторы. Если читаете, то непременно какое-нибудь старье... Так вот, любезный брат мой Иван, у меня в голове изо дня в день, из часа в час идет такая же воображаемая игра фотографическими карточками. И каждый, а в особенности каждая, кто становится мне известен, непременно попадает в эту мою

фантастическую колоду и начинает играть в ней известную роль... Понимаешь? Вот где, если тебе угодно знать, я действительно могу быть развратен. Ты не поверишь, какие смелые ходы я придумываю в этих воображаемых фотографических пасьянсах моих, в какой дерзкий и бесстыдный шабаш способен я смешать мою колоду... И этот бред волнует меня, Иван, — признаюсь тебе: это волнует и удовлетворяет...

Он подумал и, сильно куря, прибавил:

— Больше, чем настоящее, живое, больше, чем жизнь... Ты меня видал в афинских ночах — и вон аттестацию даже выдаешь, что я исключительно распутен... Но если бы я мог рассказать тебе, показать, как все это у меня в мозгу сплетается, свивается и танцует... вот тогда бы ты понял, где он — настоящий-то изобретательный восторг наслаждения... Тело наше дрянь, Иван! Что может тело? Грешить до дна умеет только мысль. Когда мысль — одинокая мысль — тонет в вожделениях, какая там, к черту, в сравнении нужна тебе афинская ночь!..

— Ты сойдешь с ума, Модест! Ты сойдешь с ума! — печально твердил Иван, глубокомысленно качая головой.

Модест не отвечал. Иван конфузно потупился.

— Тогда я не понимаю, — робко сказал он. — Тогда... вот ты говорил насчет капитала... Тогда зачем тебе тратиться на Милечку Вельс?

— Ба! — небрежно возразил Модест. — Да ведь она, если хочешь, тоже что-то вроде бреда. Жрица богини Истар. Я положительно убежден, что уже знал ее три тысячи лет тому назад в Сузах.

Он сел на кушетку, сбросив с ног одеяло, и весело посмотрел на Ивана оживившимися, значительными глазами.

— Знаешь, — почти радостным голосом сказал он, — знаешь? Вот я вижу: ты меня ее любовником считаешь. А ведь между тем, вот тебе честное слово: я никогда ее не

имел. Если, конечно, не считать того, что было между нами в Сузах.

Иван пожал плечами.

— Еще глупее.

Модест отвернулся от брата с презрительным вздохом, опять вытянулся вдоль кушетки и произнес менторским тоном, лежа к Ивану спиной:

— Глуп ты. Не понимаешь мучительных восторгов неудовлетворяемой жажды. Ты никогда не испытывал желания прибить женщину, к которой у тебя страсть?

Иван смутился.

— Да с какой же стати?

— Никогда? — капризным голосом настаивал Модест.

Иван даже бурый стал от румянца.

— Видишь ли... Если хочешь... То есть... Вскоре после производства... в полку...

— Ну? — живо обернулся к нему Модест.

— Да ничего особенного... Одна этакая... ну, девка-то есть... часы у меня стащила...

— Ну? — уже разочарованно повторил Модест.

— Ну, не выдержал, дал по роже. Не воруй.

— В кровь? — жадно спросил Модест, как бы хватаясь хоть за сию-то последнюю надежду на сильное ощущение.

— Сохрани Бог! — с искренним испугом воскликнул Иван. — Что ты! Я и то потом чуть со стыда не сгорел.

— Слизняк!.. — со вздохом отвернулся Модест и долго молчал. Потом, окружаясь дымом, произнес порывисто и глухо, так что даже напомнил манеру Симеона: — Когда я с Эмилией, мне хочется только бить ее.

— Неужели позволяет? — изумился Иван.

Этот простодушный вопрос застал Модеста врасплох.

— М-м-м... — промычал он. — Я мечтаю, что позволяет.

— То-то... — столь же простодушно успокоился Иван. — У нее такие глаза, что, скорее, от самой дожدهшься.

Но Модест уже оправился, найдя подходящую карту в фантастической колоде своей, и возразил с упоением:

— В этом-то и шик. Мечтать, будто ты истязаяешь гордое и властное существо, это настолько прекрасно и тонко, что ты не в состоянии даже вообразить своими бурбонскими мозгами. Ты обедаешь у нее завтра?

— Куда мне с вами!.. Вы — большие корабли, а я маленькая лодочка.

— После обеда, наверно, будут тройки. Дай-ка мне займы рублей пятьдесят.

— Ей-Богу, у самого — только десять, — сконфузился Иван. — Если хочешь, возьми семь. Я как-нибудь... того... ничего... трешницей обойдусь.

— Черт с тобой. Возьму у Скорлупкина. Этот болван всегда при деньгах.

— С тридцатирублевого-то жалованья?

— А хозяйский ящик на что? Все приказчики — воры.

— Гм... — засмеялся Иван. — Одолжаться подобными деньгами щекотливо, Модест.

— Деньги — не дворяне, родословья не помнят, — спокойно зевнул Модест.

— Но — если ты сам уверен, что краденые?

— Нет, такого штемпеля я на них не видал.

— Тогда — зачем бросать тень на Скорлупкина?

— А что, он завянет, что ли, от тени моей?

— Да, конечно, не расцветет. Я не понимаю, как можно так неосторожно обращаться с чужою репутацией.

— Ох ты! Блажен муж, иже и скоты милует!

— Скорлупкин совсем не скот. Хотя необразованный и смешной немножко, но очень услужливый и милый молодой человек.

— Относительно человечества его я оставляю вопрос открытым, — зевая с воем, сказал Модест. — А вот что у него

рыло красное и лакированное, — это верно. И что вместо рук у него красно-бурые потные копыта какие-то, это тоже сомнению не подлежит. И что с этим-то красным рылом и этими-то копытами он изволил влюбиться в нашу Аглаю — это бесспорнейшая истина номер третий.

— Есть! Это есть! — добродушно засмеялся Иван. — Этакий комик!.. Очень заметно есть.

По лицу Модеста проползла странная, больная гримаса, которую он поспешил скрыть в шутовской, цинической усмешке.

— Когда Аглая выйдет замуж, — сказал он, — погаснет большой ресурс моих скудных средств. У меня правило: кто в нее влюблен — сейчас денег занять.

— До Григория Скорлупкина включительно?

— Почему нет? Влюбленный не хуже других. Мне он даже предпочтительно нравится. Я ему сочувствую. Я желал бы, чтобы он имел успех. Аглая и он — это пикантно. Что-то из балета «Красавица и зверь».

Глаза у него, когда он говорил это, были туманные, испуганные, а голос глухой, лживый, скрывающий.

— И тут контраст? — усмехаясь, намекнул Иван на давешний разговор.

— И яркий, — сухо сказал Модест.

— Но безнадежный.

Модест долго молчал. Потом возразил тоном холодным и скучающим:

— Вот слово, которого моя мифология не признает.

Иван неодобрительно закачал головою.

— Пустослов ты, Модест. Умнейшая ты голова, честнейшее сердце, образованнейший человек, а вот есть у тебя эта черточка — любишь оболгать себя пустым словом. Ну, хорошо, что говорится между нами, один я слышу тебя. А ведь послушай кто посторонний, подумает, что ты в самом деле способен — так вот, для спектакля одного

курьезного — родную сестру какому-нибудь чучелу Скорлупкину отдать...

Модест лениво слушал, закинув руки под голову, и улыбался презрительно, высокомерно.

— Так ты принимаешь это во мне как пустые слова? — произнес он прозяжно, полный неизмеримого превосходства. — Ах ты младенец тридцатилетний! Ну, и да благо ти будет, и да будешь долголетен на земли... Дай-ка папиросу, младенец!

Он помолчал закуривая. Потом продолжал важно, утрюмо:

— Иногда, мой любезный, я так пугаюсь себя, что мне и самому хочется, чтобы это были только пустые слова... Но... Есть что-то, знаешь, темное, первобытное в моей душе... какая-то первозданная ночь... Ко всему, что в ней клубится, что родственно мраку, гниению, тлению, меня тянет непреодолимою, против воли симпатией... Я человек солнечной веры, друг Иван; я был бы счастлив сказать о себе, как Бальмонт:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...

Но — представь себе: я больше всего люблю видеть — наоборот, — как солнце меркнет и затмевается, как его поглощает дракон черной тучи, высланный на небо враждебной ночью... Когда я еще верил и был богомолен, то часто за обеднею дьявол смущал меня сладкою мечтою: как хорошо было бы перевернуть весь этот блеск, золото, свет на сумрак и кровь черной массы... Скажи, Иван: ты помнишь, как зародилась в тебе первая половая мечта?

— Ну вот, что вздумал спрашивать, — добродушно сконфузился Иван.

— Однако?

— Черт ли упомнит... глупости всякие...

— Нет, ты припомни!..

— Да, ей-Богу, Модест... Что тут вспоминать?.. Никогда ничего особенного... Я ведь не то что ваш брат, утонченный человек...

— Да ведь не чурбан же ты, однако, и не зверь, которому природа указала для этих эмоций инстинктивные сроки. Ведь всколыхнуло же в тебе что-нибудь идею пола, был какой-нибудь толчок, который однажды внезапно сделал тебя из бесполого мальчишки мужчиною и указал дорогу к наслаждению...

Иван, краснея и даже с каплями пота на лбу, тер ладонью свою раннюю лысину.

— Разумеется, был...

— Ну?

— Да решительно ничего нет интересного... как все...

— Мне интересно, — капризно, со светящимися глазами приказал Модест. — Я требую, чтобы ты рассказал... Мне это надо. Как новый человеческий документ. Я теперь собираю коллекцию таких начинаний...

— Для твоего философского труда? — с благоговением спросил Иван.

Модест прикрыл глаза и с растяжкой произнес:

— Да, для будущего моего философского труда...

Против этого аргумента Иван уже никак не в силах был протестовать: если бы тем мог содействовать будущему философскому труду Модеста, он охотно позволил бы повесить себя на отдушнике за шею даже на немыленной бечевке. Научная цель допроса сняла с него стыд, и он деловито и обстоятельно изложил, будто рапортовал по службе начальству, постоянно, после каждой фразы, понукая память свою, точно отвечая нетвердо в ней улегшийся, лишь механически усвоенный урок:

— Ну-с, было мне пятнадцать лет, ну-с. Ну-с, Епистимия тогда была молодая, ну-с. Ну-с, Симеон приехал из университета на каникулы, ну-с. Зачем, я думаю, они все вдвоем в малину прячутся, ну-с. Ну-с, и однажды подкрался, подсмотрел их в малине, ну-с... Только и всего...

— Только и всего? — разочарованно повторил Модест. — И это твое первое мужское волнение?

— Уж не знаю, первое ли, пятое ли... Только это я помню, а другие позабыл... Может, и было что... Позабыл!.. Я тебе говорю, Модест, — жалостно извинился он, — простой я человек, уж какая у меня психология! Казарма!

— Д-да, Оскаром Уайльдом тебе не бывать, — пренебрежительно процедил сквозь зубы с закушенной в них папиросою Модест. — И вечно-то у вас — напрямик: женщина... самка... бурбоны вы все!.. Всегда наглядная, грубая, пошлая женщина... Ф-фа!

Он подумал, вынул папиросу изо рта, перешвырнул ее через комнату на медный лист и, значительно глядя на брата, сказал:

— Во мне первую половую мечту пробудил Гаршина рассказ... «Сказка о жабе и розе»... Помнишь?.. Ну? Что же ты вытаращил на меня свои выразительные поручицкие глаза?..

— Очень помню, Модест... Но... но... извини меня... Я никак не могу взять в толк: Гаршин — и половая мысль... решительно не вяжется, брат.. Сказка отличная... трогательнейшая сказка, можно сказать... Но — хоть убей... что же есть там такого?

— Я так и знал, что ты ничего не поймешь!.. Никто не понимает...

Модест прикрыл глаза рукою и мечтательно проскандировал слог за слогом:

— «И вдруг среди звонкого и нежного рокота соловья роза услышала знакомое хрипение:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!..» Брр! — Он странно содрогнулся и, помолчав, спросил с насмешкою: — Твои симпатии, конечно, все на стороне этой пышноцветной красавицы, погибающей девственной розы?

— Конечно, да, Модест, — изумился Иван. — Полагаю... как все... Иначе быть не может...

— Ну да... еще бы... «как все...», «иначе быть не может...», — презрительно передразнил Модест, поворачиваясь к нему спиною, к стене — лицом.

— Не жабе же сочувствовать, Модест!..

Модест выдержал долгую паузу и возразил с длинною, мечтательною растяжкой:

— Жабе сочувствовать нельзя... н-нет, не то чтобы нельзя... трудно... Есть в человеческой душе что-то такое, что... ну, словом, почему — в конце концов — как оно ни интересно, — а не признаешься в том... неудобно сочувствовать жабе!.. Но когда серая жирная жаба хочет отправить в брюхо свое целомудренный цветок, на котором улетавшая утренняя роса оставила чистые, прозрачные слезинки, — это... это... Любопытно, Иван! Клянусь тебе лысиною твоею — чрезвычайно развлекательно и любопытно...

Странно смеясь, повернулся он к Ивану, поднялся на локте, а в глазах его мерцали нехорошие огни и на скулах загорелся румянец.

— Ты пойми, — сквозь неестественный, сухой смех говорил он, — ведь я не то чтобы... ведь и мне жаль розу... И тогда вот, как я тебе сказал, жаль было, и теперь жаль... И лепестки под слезинками росы ценю, и аромат, который даже жабу одурманил... все... Но только мне всегда ужасно было — и сейчас вот досадно — на эту противную девчонку, которая так преждевременно отшвырнула жабу от розы концом башмака...

— Если бы она не отшвырнула, жаба слопала бы розу, — глубокомысленно заметил Иван.

Модест возразил с тем же двусмысленным, большим смехом:

— Ну уж и слопала бы... Авось не всю... Может быть, так только... на пробу... лепесток бы, другой укусила?..

Из коридора слышались голоса. Вошли Симеон и Вендль. Симеон, оживленный хорошими деловыми новостями, был в духе — вошел сильный, широкоплечий, стройный, с гордо поднятой головой. Вендль ковылял за ним потихоньку — странная, сказочная фигура доброго черта, нарядного и изысканного в грустном, но притягивающем уродстве сво-

ем. При виде братьев выражение лица Симеонова из победного сменилось в саркастическое, однако еще не злое. Уж очень он был в духе.

— Лежишь? — сатирически обратился он к Модесту, оскаливая в черной раме усов и бороды зубные серпы свои.

Тот взглянул в пространство вверх и равнодушно ответил:

— Лежу.

— Сидишь? — повернулся Симеон к Ивану.

Тот поежился и проямлил:

— Сижу.

Симеон тихо засмеялся.

— Полюбуйся, Вендль: хороши душки? Этак вот они у меня с утра до вечера. Один, по диванам валяясь, нажил пролежни на боках. Другой, ему внимая как оракулу, по стулу в сутки насквозь просиживает. Если бы не курили, так и за людей почесть нельзя. Хоть бы вы в пикет, что ли, играли или бильбоке завели.

— Купи, будем играть, — угрюмо возразил Иван.

— Коттаббос лучше. Купи греческий коттаббос! — холодно посоветовал Модест.

— Хотите сигар, ребята? — поспешил ласково вмешаться Вендль, видя, что правую щеку Симеона передернуло, и, значит, он того и гляди, сейчас разразится филиппикой.

— Давай, — оживился Модест. — Я тебя люблю, Вендль. Ты дешевле полтинника не куришь.

— Подымай выше. По рублю штука. Вчера сотню клиент подарил.

— Не давай, — сказал Симеон.

— Отчего? Мне не жаль.

Симеон язвительно оскалился.

— Да ведь нищим на улице ты по рублю не подаешь?

— Подавал бы, — добродушно извинился Вендль, — да рубли не сам фабрикую, а казенных не напасешься.

— Так и не дари лежебокам рублевых сигар.

— Сравнил! — засмеялся сконфуженный Вендль.

Но Симеон не смеялся, а смотрел на братьев с угрюмым высокомерным презрением и говорил:

— Право обращать рубль серебра в дым надо заслужить.

— Не пугай, — старался отшутиться Вендль, — курить хорошие сигары люблю, а — заслужил ли — вряд ли, не чувствую.

— Сколько ты зарабатываешь в год? — спросил Симеон.

— Тысяч двадцать пять, тридцать.

— Кури, — сказал Симеон с видом спокойного превосходства, точно и в самом деле от него зависело, позволить или не позволить.

Вендль послал ему воздушный поцелуй с комическим поклоном:

— Merci!*

Но Симеон, жесткий и насмешливый, ораторствовал:

— Твой труд превратился в капитал. Твое дело, как ты используешь ренту.

Модест захохотал на кушетке своей, подбрасывая одеяло ногами.

— Симеон! Пощади! Маркс в гробу перевернулся.

Симеон не обратил на него ни малейшего внимания.

— Но дурням даровые рубли не должны падать с неба ни серебром, ни сигарами. Это разврат. Лежебоки пусть курят «Зарю» или «Дюшес».

— Воздух отравят — самому же будет скверно дышать, — с улыбкою заступился Вендль.

А Модест вдруг опустил ноги с кушетки и спросил деловым, строгим голосом

— Иван! Тахта в угловой свободна?

Иван вскочил со стула, точно его командир вызвал, и весело вскрикнул, как моряк на корабле:

* Спасибо! (фр.)

— Есть, капитан!

— В таком случае... — Модест лениво переброеил через плечо красивое одеяло свое и свистнул: — Айда! Перекочуем!

Вендль расхохотался.

— Проняло?

Модест лениво двигался к двери и, влача за собою по полу полосатое одеяло свое, отвечал:

— Отче Симеонтий в проповедническом ударе и несносно жужжит.

— Жужжат мухи и трутни, — бросил в спину ему Симеон. — А я рабочий муравей.

Модест чуть оглянулся через плечо.

— Ну и благодари сотворившего тя оным и созижди кучу свою.

Симеон смотрел вслед и язвительно улыбался:

— Хоть посмотреть, как вы еще ногами двигаете. Я думал: разучились.

Братья ушли в одну дверь, а в другую — со стороны зала — тем временем протискалась с чайным подносом, на котором возвышались два стакана и две стеклянные вазочки на тонких ножках — для варенья и для печенья, та самая неприглядная Марфутка или Михрютка, как определял ее Вендль, опасаясь за переселение из ее отрешья в его драгоценный армяк неожиданных насекомых жителей.

— Искала, искала вас по дому-то, — обиженно произнесла эта удивительная девица, сердито оттопыривая губу под астрономически вздернутым носом. — Чего в своей комнате не сидите?... Тоже ходи за вами, стало быть, по хоромам-то, словно домовою...

Вендль захохотал и, повалившись на кушетку, освобожденную Модестом, в веселье дрыгал тонкими ногами, а Симеон позеленел и, приблизившись к девчонке в раскаленно-гневно-

спокойствию, спросил ее голосом тихим, но зловещим, в котором шипела угроза:

— А по какому это случаю ты, сударыня, изволишь сегодня разносить чай? Приличнее-то тебя в доме никого не нашлось? Если Анюта с барышней Аглаей уехала по дачам, то остались Катька и Афросинья. Почему ты, обрубок кухонный, здесь топчешься? Где старшие две?

Обрубок кухонный отвечал на это, столь же добру и злу внимая равнодушно, с тою же совершенною невозмутимостью и чувством служебной правоты:

— Афросинья, стало быть, в зале гостям чай разливает, а Катька, стало быть, побежала по тетеньку Епистимию, потому что, стало быть, барышня Зоя облила новое платье какаем...

Последняя фраза спасла Марфутку или Михрютку от уже готовой и буквально в воздухе над нею повисшей господской оплеухи. Услышав о новом платье, облитом какао, Симеон уронил поднятую руку и побледнел как смерть.

— Что? Новое платье? Какао? — пролепетал он, даже конвульсивно содрогнувшись всем телом своим.

Марфутка или Михрютка чутьем постигла психологический момент и поспешила его использовать.

— Вы, барин, не извольте беспокоиться, — с бойкою почтительностью отрапортовала она. — Тетенька Епистимия, стало быть, выведут. Они, стало быть, этот секрет знают...

И исчезла, как маленькая юркая лисица из пещеры мешковатого льва, готовившегося ее растерзать.

А Симеон смотрел на Вендю с остолбенелым видом, почти как помешанный, и бормотал жалким голосом:

— Только что вчера заплатил за это новое платье по счету мадам Эпервье сорок четыре рубля. Точно пропасть бездонная эти мои сестрицы!

Вендю он смешон был и жалок.

— Не нарочно же она! — извинительно вступился он.

Но Симеон словно того ждал, так и вспыхнул бешенством: — Да я кую, что ли, деньги-то? Какао облилась! Отчего же я не обливаюсь! Ты не обливаешься? Марфутка вот эта не облилась? Оттого, что мы зарабатываем свое платье трудом, а ей готовое достается. Сорок четыре рубля! Это — тысяча триста двадцать рублей в месяц.

Вендль захохотал.

— Неужели Зоя Викторовна каждый день по платью изводит?

— Все равно! — сердито отмахнулся Симеон. — Сегодня Зоя облила новое платье, вчера Аглая расколола китайскую вазу, Матвей шагает грязными сапожищами по бархатным коврам, Модест папиросами прожигает дыры в обивке мебели... Ходят сквозь твои деньги, сквозь твой комфорт, как сквозь облако, и даже не удостаивают заметить.

— Не первый день это у вас началось, — спокойно заметил Вендль.

Но Симеон, мрачный и темный, нашел быстрое возражение:

— Прежде, покуда я был беден, им по крайней мере было нечего портить. Дикари культурные! Беспризорная орда! Вот оно — воспитание без родителей! Выросли чудовищами, как на мусоре чертополох растет.

Вендль почувствовал, что тон Симеона, перестав быть забавным, царапает его по нервам и он устал и начинает раздражаться.

— В том, что рано осиротели, полагаю, братья и сестры твои не виноваты, — сдержанно возразил он.

Но Симеон окинул его холодным, уверенным взглядом.

— Я свой долг по отношению к ним исполнил. Образование дал всем, кто какое осилил. Через учебные заведения провел. Специально воспитывать, хорошим манерам учить было не на что.

Вендль окинул его язвительным взглядом. Ему решительно хотелось сказать сейчас приятелю что-нибудь очень не приятельское.

— Да и гувернантки не уживались, — многозначительно засмеялся он.

Но Симеон спокойно ответил:

— Потому что развратные твари.

Вендль, озадаченный, широко открыл глаза.

— Да ведь ты же развращал-то?

Симеон хладнокровно пожал плечами.

— Не все ли равно, кто? Разве я мог держать подле Аглаи или Зои какую-нибудь заведомо падшую госпожу? Я человек холостой — что с меня взять? Жениться принципиально не хотел, содержанок иметь средств не имел, а проститутками гнушался и гнушаюсь. В таких условиях, конечно, какой выпал женский случай на счастье мое, тот и брал. Это понятно. А если ты гувернантка, то блюди себя в доме честно, любовника не заводи.

Этого сюрприза Вендль не выдержал. Он завизжал от восторга и стал кататься по кушетке.

— Отче Симеонтие, ты даже не подозреваешь, как ты великолепен.

А Симеон победительно и властно говорил:

— Достаточно уже того скандала, что из нашего дома выпорхнула такая птаха, как Эмилия Федоровна Вельс.

— Зато как высоко взлетела-то! — заметил Вендль. — Сейчас перед нею все головы гнутся.

— Тем хуже, — оборвал Симеон. — Я человек нравственный. Мне девки вообще поганы. А уж когда не разобрать, то ли девка, то ли принцесса, — тут совсем с души воротит.

— Как же ты у нее бываешь и сестрам бывать позволяешь?

— Делами связан с нею. Большими. Не позволяй — отомстит. Она ведь капризная. Деньгами не удивишь ее — почтение подай. Ей это — что Аглая у нее бывает — дороже Каменного моста. Мне, конечно, претит... нож острый! Ну, да ненадолго. Тут... — Он замялся, спохватился, подозри-

тельно взглянул, но вспомнил, что Вендль — это Вендль, и dokonчил: — Тут одни маленькие счета кончить осталось... И аминь... Вам, madame, направо, нам — налево... Конец!

III

Вендль собирался уезжать от Сарай-Бермятова и уже прощался, когда Марфутка-Михрютка подала Симеону вынутую из ящика вечернюю почту. Газеты Симеон бросил на письменный стол, а одинокое письмо в розовом конвертике вскрыл... Прочитал и побурел от гнева...

— Что ты? — уставился на него Вендль, осторожно углубляясь горбом в курьезный армяк свой.

— Прочитай... — сквозь зубы буркнул Симеон, передавая листок несколько дрожащею рукою.

— Стихи?!

— Анонимка подлейшая... Это уже в третий раз.

— Ругают?

— Да, не хвалят.

— Ишь! На ремингтоне!

Вендль в цилиндре читал, далеко пред собою держа листок, потому что пенсне у него было сильное:

Честное созданье,
Душка Симеон,
Слямзил завещанье
Чуть не на мильон...

— Однако!

— Мерзавцы! — сказал Симеон и заходил по кабинету.

— Не обращай внимания. Пустяк. В порядке вещей. Ты теперь богатый человек, а богатство возбуждает злобу и зависть.

Симеон ходил по кабинету молча, и вид у него был не только гневный, но и озабоченный...

— Нет, — вдруг остановился он перед Вендлем. — Так нельзя. Это неспроста. Тут что-то есть. Давеча — ты о клубских слухах, теперь — анонимка. Если это Мерезов с компанией кутит и мутит, я выведу его на чистую воду...

— Охота волноваться из-за анонимного письма!

— Нет, нет. Я люблю видеть свои карты ясно. Ну уж и если...

Он выразительно тряхнул в воздухе кулаком... Вендль сморщился и брезгливо возразил:

— Только без горячки, мой друг! Без бури в стакане воды! И в особенности без татарщины.

— Нет уж, прошу извинения: характера своего мне не менять стать, — оторвал на ходу раздраженный Симеон.

— Да дело-то выведенного яйца не стоит. Прощай.

Симеон горько улыбнулся.

— Хорошо тебе успокаивать, когда в наличном золоте родился, чистюлькою вырос, борьбы за деньги не знавал... папенька твой, я полагаю, лучше понял бы меня.

— О, это несомненно! — воскликнул Вендль, выходя. — Это несомненно... Между ним и тобою есть несомненное сходство. Я даже больше того скажу: когда ты давеча стоял около нового шкафа своего и любовно его рассматривал, ты мне ужасно напомнил чем-то неуловимым почтенного моего покойника. Совершенно с тем же выражением он любовался хорошими вещами, которые оставались у него в закладе... Еще раз — *au revoir**.

Оставшись один, Симеон долго сидел у письменного стола своего, гневный и безмолвный, с лицом мрачным и тревожным. Потом нажал пуговку электрического звонка и держал на ней палец, покуда не явилась Марфутка.

— Епистимия здесь? — спросил он.

— На кухне — барышнину платье отчистила, теперь, стало быть, замывает.

*До свидания (фр.).

— Отходит пятно?

— Уже отошло...

— Скажи ей: если кончила, нужна мне, пусть придет сюда.

Тем временем в угловой комнате, куда бежали средние братья от Симеоновой воркотни, было тихо. Модест, лежа на тахте, опершись подбородком на ладони, читал «Maison Philibert»* Жана Лорена. Иван раскладывал на карточном столике какой-то сложный пасьянс: он знал их множество, был мастер этого дела и гордился тем, что сам изобрел к некоторым какие-то сложные варианты. Когда в угловую вошел быстрою, твердою, легкою походкою стройного оленя самый младший из братьев Сарай-Бермятовых — Виктор, Иван с дружескою улыбкою закивал ему из-за пасьянса своего. Он уважал этого строгого, не улыбающегося юношу в черной рабочей блузе, точно рясе аскетической, и немножко побаивался, так как чувствовал, что, обратно, Виктор-то нисколько его не уважает, а уж к любимцу его, Модесту, пожалуй, питает чувство и поострее неуважения.

Сегодня они еще не видались.

— Не знаете, граждане: брат Симеон у себя? — спросил Виктор, проходя мимо со спешным и озабоченным видом.

— А здороваться — упразднено? — насмешливо спросил с тахты Модест, не отрывая глаз от книги.

Виктор остановился.

— Здравствуйте и прощайте. Еду.

Модест отложил книгу на столик, нисколько не стесняясь тем, что смешал Иванов пасьянс, перевернулся навзничь, закинул руки под голову, а ноги поднял к потолку и запел, нарочно гнуса в нос:

* «Дом Филиберта» (фр.).

Мальбруг в поход поехал.

Ах, будет ли назад?

— Надолго исчезаешь?

— По возвращении увидимся, — холодно ответил Виктор.

— Весьма удовлетворительно. Далеко едешь?

— Брату Матвею адрес мой будет известен.

— В высшей степени определенно. Мерсі.

— Не за что.

— Это вот и называется у вас конспирация?

Виктор поглядел на него.

— Нет, не это, — сказал он после минуты молчания, когда Модест опустил глаза и, чтобы скрыть смущение, опять заболтал ногами и завопил во все горло:

Мальбруг в поход поехал.

Ах, будет ли назад?

— Буду, сокровище, буду, — невольно усмехнулся Виктор.

Модест, словно польщенный, что вызвал улыбку на лице сурового брата, опустил ноги, перестал орать и заговорил проникновенным тоном обычного ему глубокомысленного шутовства, в котором всегда было трудно разобраться, где шутка разграничена с серьезом.

— Люблю я внезапные отъезды твои. Приятно видеть человека, у которого на лице написано сознание, что, перемещаясь из города в город, он творит какие-то необыкновенно серьезные результаты.

Виктор пожал плечами.

— Если дело ждет в Москве или Петербурге, полагаю, что напрасно сидеть в Одессе или Киеве.

— Ерунда! — сказал Модест.

— Что ерунда? — удивился Виктор.

— Москва, Киев, Одесса. Все города равны, как царство великого зверя.

— И все — ерунда? — усмехнулся Виктор.

А Модест закрыл глаза и декламировал, будто пел:

— Города — бред. Их нет. Вы только воображаете их себе, но их нет. Скверные, фальшивые призраки массовых галлюцинаций. В городах правдивы только кладбища и публичные дома.

— То-то ты из этой правды не выходишь... — холодно заметил Виктор.

— Господа! — с тоскою вмешался Иван. — Неужели нельзя спорить, не оскорбляя друг друга?

Но Модест надменно остановил его:

— Милейший Жан Вальжан, не залезай в чужое амплуа. Ты берешь тон всепрощающего отрока, брата Матвея... Пора бы тебе знать, что оскорбить меня нельзя вообще, а Виктору это никогда не удается в особенности... — И, обратясь к младшему брату, он подчеркнуто отчеканил с тою же нарочною надменностью: — Да, я люблю навью тропу между свежими могилами. Кресты навевают бред, и плиты журчат легендами плоти. Ты читал у Крафт-Эбинга? Сержант Бернар выкапывал трупы юных невест, чтобы любить их.

— Завидуешь? — коротко спросил Виктор.

И Модест опять потерялся под прямым вопросом, как давеча, когда наивный Иван огорошил его простодушным сомнением, что он бьет Эмилию Федоровну Вельс.

— Я не рожден для дерзновений действия, — сухо уклонился он, — но все они обогнаны дерзновением моей мечты.

— Ломайся, брат, ломайся, — с такою же сухостью возразил Виктор. — Ничем не рискуешь. Дерзновения мечты в этой области полицией не воспрещены. Напротив.

— Если ты, Виктор, ищешь Симеона, — сказал Иван, сидевший как на иголках, — то он сейчас наверное у себя в каби-

нете. К нему всего несколько минут тому назад прошла любезноверная Епистимия...

— Придется, значит, расстроить их tête-à-tête* и ее от Симеона выжить.

— Ах, пожалуйста! — громко подхватил Модест вслед уходящему Виктору. — Пришли ее к нам. А я-то думаю: чего мне сегодня не достает? Сказки! Пришли ее к нам.

— Можешь сам позвать, если она тебе нужна, — сухо отозвался Виктор, повернув к двери Симеона.

— Не сомневался в твоей любезности, — заочно поклонился Модест. — Иван! Постой у двери, посторожи Епистимию, чтобы не пропустить, когда она пойдет от Симеона... Мы зазовем ее к себе, и она будет рассказывать нам русские сказки. Никто другой в мире не знает таких мерзких русских сказок, как Епистимия, и никто не умеет их так аппетитно рассказывать. Ей дано произносить самые ужасные слова с таким ангельским спокойствием, что они расцветают в ее устах, как... жабы! — расхохотался он. — Знаешь, Иван? Мы ляжем на тахту, потушим лампу, снимем сапоги, и она, Епистимия, в темноте будет нам, как древним боярам, чесать пятки и рассказывать свои мерзкие сказки.

Услав Марфутку за Епистимией, Симеон остался у стола и писал крупным, размашистым почерком своим разные незначительные ответные письма, пока в дверь не постучались и на окрик его «Можно!» вошла в кабинет высокая, худощавая, немолодая женщина — как монашенка, в темных цветах платья, теплого серого платка, покрывавшего плечи, и косынки на гладко причесанной русоволосой голове. Женщина эта производила странное впечатление: точно в комнату вдвинулся высокий узкий шкаф или живой футляр

* Любовное свидание (фр.).

от длинных стенных часов. Все в ней было как-то сжато, узко, стесненно, точно она несколько лет пролежала в виде закладки в толстой тяжелой книге. А то серебряные монеты, на рельсы положенные, расплющиваются поездом в такую длинную, вытянутую, тонкую, пронзительную полосу.

— Спрашивали? — произнесла она тихим голосом, держа опущенными богатые темные ресницы, единственную красоту своего пожилого, увядшего, бледного, с лезвиеподобным носом лица. Эта монашеская манера держать глаза свои скрытыми под ресницами и опущенными долу придавала испитым, тощим чертам женщины характер какой-то лживой иконописности.

— Да, — хмуро отозвался, дописывая страницу, Симеон. — Очень рад, что ты еще не ушла. Запри дверь, Епистимия, чтобы нам не помешали. И садись. Поближе. Вот сюда.

Епистимия весьма свободно заняла место в том самом кресле, в котором только что перед тем тонул горбатый Вендль, и ждала, сидя под темно-серым платком своим, прямо, тонко, точно ее перпендикулярным стальным шестом водрузили на плоскости кресла для опытов каких-нибудь и, чтобы не отсырел аппарат, окутали его материей. Симеон кончил письмо и вложил его в конверт... Епистимия видела, что он волнуется и не случайно, а нарочно избегает смотреть на нее. Легкая улыбка скользнула по ее синеватым, отжившим, в ниточку сжатым губам.

— Да... так вот, видишь ли, — заговорил Симеон, все так же не глядя в ее сторону, — видишь ли...

— Покуда ничего не вижу, — возразила женщина.

Тогда Симеон рассердился, побурел лицом и отрубил с грубым вызовом:

— По городу в трубы трубят, будто мы с тобою украли завещание, которое дядя оставил в пользу Васьки Мерезова.

В иконописном лице не дрогнула ни одна жилка. Епистимия чуть поправила бледною, узкою, точно нерасправленная

лайковая перчатка, рукою темно-серый платок на острых плечах своих и спросила:

— Так что же?

— Я не крал, — проворчал Симеон, продолжая избегать взглядом лица ее, и наклеил марку на конверт.

Епистимия улыбнулась, задрожав острым подбородком.

— Значит, вам не о чем и беспокоиться, — сказала она. — Кто вор, того и печаль.

Но Симеон ударил ладонью по столу.

— А сплетня откуда? — вскричал он.

Епистимия равнодушно завернула в платок свой.

— Почему я могу знать? — сказала она. — Не от меня.

Теперь Симеон ей прямо в лицо грозно, пристально смотрел, вертя в руке тяжелую ясеневую линейку. Ни взор этот, ни жест, откровенно злобный, о большом, сдержанном гневе говорящий, не отразились, однако, на женщине в платке каким-либо заметным впечатлением.

— Горе тебе, если ты продала меня врагам моим, — с удушьем в голосе произнес Симеон.

Епистимия подняла ресницы и показала на мгновение глаза, неожиданно прекрасные, глубокие глаза, голубые, как горные озера. Странно было видеть их на этом нездоровом, изношенном лице плутоватой мещанской ханжи.

— Если бы я вас продала, — мягко и учительно, как старшая сестра мальчику-брату, сказала она, — так теперь здесь хозяином был бы Мерезов, а покуда Бог миловал: владеете вы.

Симеон порывисто встал от стола.

— Вот этим словом своим — «покуда» — ты из меня жилы тянешь.

Епистимия опустила ресницы. Губы ее опять тронула улыбка.

— Все на свете — «покуда». Один Бог, говорят, вечен, а что от человечества — все пройдет.

Симеон ходил, кружась по комнате с видом человека, не решающегося выговорить то главное, для чего он начал разговор. Наконец остановился пред Епистимией со сложенными на груди руками.

— Не могу я больше пытки этой терпеть, — глухо сказал он. — Завещание должно быть в моих руках.

Женщина в платке промолчала.

— Слышала? — гневно прикрикнул Симеон.

Она не подняла ресниц и не изменила выражения лица, когда отвечала:

— Копию вы имели, а подлинник мне самой нужен.

Симеон, стоя пред нею, ударил себя ладонью в грудь и заговорил, убеждая, быстро, порывисто:

— Сплетня плывет, Мезезов в городе... пойми ты! Пойми!.. Ведь мы на ниточке висим. Стоит прокурорскому надзору прислушаться — и аминь... Сыск... Следствие... Суд... Пойми!

— Не пугайте, — холодно возразила Епистимия, — не вчера из деревни приехала.

А он грозил ей пальцем и голосом:

— Пойдешь за сокрытие завещания куда Макар телят не гонял.

Епистимия под платком своим передернула острыми плечами.

— Какое мое сокрытие? — все тем же ровным тоном сказала она. — Документ понимать я не могу. И грамоте-то едва смыслю. Велел мне покойный барин бумагу хранить — я и храню, покуда начальство спросит.

Симеон даже ногою топнул.

— Опять — покуда! Дьявол ты жизни моей!

Епистимия продолжала тихо и ровно:

— Кабы еще я в вашем нынешнем завещании хоть в рубле помянута была. А то напротив. По той, мерезовской, бумаге покойник мне тысячу рублей награжденья отписал, а я, дуре-

ха, и понять того не смогла — не предъявляю. Это и слепые присяжные разобрать должны, что моей корысти скрывать тут не было ни на копейку.

Горько и притворно засмеялся Симеон:

— Что тебе теперь тысяча рублей, когда ты с меня что захочешь, то и снимешь!

Епистимия осветила его таинственными огнями голубых очей своих.

— Я куда ничего не просила, — тихо и почти с упреком произнесла она.

Но Симеон уже не слушал. Он кружился по кабинету и с укором твердил:

— Так я тебе доверял, а ты мне ловушку устроила!

Епистимия слегка пошевелилась в оболочке платка, и что-то вроде бледной краски проступило на доскообразных, плоских щеках ее.

— Что я могла противоречить, если покойный барин велел? Благодарите Бога, что с нотариусом так счастливо обладилось... Паче всякого чаяния повезло вам в этом деле. Другой полну душу греха наберет, а нарочно того не устроит, как вам от судьбы задаром досталось. Нотариуса нету: застрелился. Книг его нету: сгорели. Иначе нотариального-то завещания скрыть нельзя было бы, разве что с нотариусом в сделку войти. А это все равно что к себе кровососную шавку припустить бы... шантаж на всю жизнь...

— Любопытно это из твоих добродетельных уст слышать, когда ты шантажом возмущаешься!

— Я шантажничать против вас не собираюсь, а нотариус этот, Федор Иванович, покойник, выпил бы из вас кровь... с ним, по-моему, поделиться пришлось бы...

— А свидетели? — отрывисто бросил ей, шагая, Симеон.

— Вы же знаете. Сродственники мои. Темные люди. Подписали, где я пальцем показала, а что — им и невдомек.

Свидетелей не бойтесь. Спроведила их отсюда. В дальних губерниях на местах живут.

— Где? — быстро спросил Симеон, рассчитывая внезапно вызвать ответ.

Но Епистимия рассмеялась.

— Да, ловки вы больно! Глупа была сказать!

— Змея ты, змея!

Отвернулся от нее Симеон — прошел, качая головою, к возлюбленному шкафу своему и припал к его прохладному полированному дереву. А Епистимия ласково и поучительно говорила:

— Вы бы лучше змее-то спасибо сказали, что она к этому делу чужого глаза не подпустила. Теперь что ни есть греха, весь — промеж нас двоих.

Симеон утомленным жестом остановил ее.

— Хорошо. Довольно. Сколько?

— Чего это? — вскинула она на него озерные глаза свои.

— Говорю тебе: я устал, не могу больше. Давай торговаться. Объяви свою цену: за сколько продашь документ?

Епистимия обиженно поджала губы.

— Боже мой, сохрани, чтобы я вашими деньгами покоровалась. Когда вы меня интересанкою знали?

— Тогда из-за чего же ты меня терзаешь? В чем твой расчет? Объяви свой расчет...

— Придет время, — говорила Епистимия мягко и дружелюбно, — я вашу бумагу сама уничтожу и пепел в речку пушу.

— Говори свой расчет! — нетерпеливо повторил Симеон.

Епистимия смотрела на него с задумчивым любопытством.

— Маленько рано: не вызрело мое дело, о котором я собираюсь просить вас, — вздохнула она. — Не знаю только, захотите ли...

— Говори свой расчет.

— Да... что же? Я, пожалуй... — мялась Епистимия, все плотнее обертываясь платком, так что стала похожа на какое-то экзотическое растение, закутанное для зимовки под открытым небом. — Конечно, прежде времени это, лучше бы обождать, но, уж если вы меня так дергаете, я, пожалуй...

— Долго ты намерена из меня жилы тянуть?

Она зорко взглянула на него и, переменив тон, произнесла тоном условия строгого, непреложного, внушительного:

— Только, Симеон Викторович, заранее уговор: без скандалов. Буйство ваше мне довольно известно. Если дадите мне слово, что без скандала, — скажу. Если нет, лучше помолчу до своего времени. Мне спешить некуда, над нами не каплет.

— Хорошо, должно быть, твое условие, — злобно усмехнулся бледный Симеон. — В когтях меня, как раба пленного, держишь, а вымолвить не смеешь и — зеленая вся...

— Даете слово?

— Даю... Постой... Кто там? — насторожился Симеон, потому что в коридоре прошумели быстрые, твердые шаги и затем такая же быстрая рука ударила в дверь коротким и властным стуком.

Голос молодой, нетерпеливый и яркий, тоже с властной окраской и, должно быть, очень похожий на голос Симеона в молодости, отвечал:

— Это я, Виктор. К тебе по делу. Потрудись отворить.

— Я не один и занят.

— Очень сожалею и извиняюсь, но не могу ждать.

— Приходи через полчаса, Виктор.

— Не имею в своем распоряжении даже пяти минут свободных. Будь любезен отворить.

— Да почему? Что за спех внезапный?

— Когда ты меняпустишь, это будет тебе изложено.

Симеон бросил досадливый взгляд на Епистимию, которая поднялась с кресла, драпируясь в платке своем, как высохшая темно-серая огромная ночная бабочка.

— Я пойду уж, Симеон Викторович? — вопросительно сказала она.

— Да... Нечего делать... Сейчас, Виктор! Не барабань!.. Только ты, сударыня, не вздумай домой уйти... Мы с тобой должны этот разговор кончить... Сейчас, Виктор!.. Я этого сударя быстро отпущу... Ну, входи, Виктор. Что тебе?

Теперь, когда братья стояли друг против друга в белом свете ацетиленовой лампы, с яркостью рисовалось все их разительное родовое сходство при совершенном несходстве индивидуальном. Виктор, угрюмый лобастый юноша с глазами — как под навесом, был на полголовы выше старшего брата, в противоположность последнему совершенно не красив собою. Но, вглядываясь, легко было заметить, что его некрасивость обусловлена исключительно светлою окраскою волос, темно-синим отсветом глаз и мягким славянским тоном белой кожи, не идущим к сухому, слегка татарскому, скуластому складу сарай-бермятовской семьи. Если бы выкрасить Виктору волосы в черный цвет и подгримировать лицо желтыми тонами, то лишь более высокий рост да тонкая юношеская стройность отличали бы его от Симеона и, пожалуй, лишь здоровая энергия взгляда и движений, отсутствие темных кругов около глаз и беспокойного испуганного непостоянства и подозрительного блеска в самых глазах отличали бы от Модеста. Старший брат теперь, стоя у нового шкафа красного дерева, хмуро соображал это жуткое сходство и сердито удивлялся ему. Когда Симеон и Виктор были так близко и смотрели оба в упор, не надо было быть ясновидящим или особенно чутким психологом, чтобы понять, что между этими братьями категорическою раздельною полосою лежит чувство взаимной неприязни, гораздо более глубокой и острой, чем простое нерасположение; что здесь лишь с грехом пополам облечены в сдерживающие условные формы родственного общечития силы очень злой ненависти, с одной стороны — старшей и решительного презрения с другой — младшей.

— Еще раз извиняюсь, что пришлось так ворваться к тебе, — заговорил Виктор.

— Да, — угрюмо возразил Симеон. — Не могу сказать, чтобы это было деликатно. Ты помешал деловому разговору, который для меня и важен, и спешен...

— Епистимию Сидоровну ты можешь пригласить к себе по соседству, когда тебе угодно, тогда как я сегодня в ночь уезжаю.

— Что надо? — хмуро и брезгливо начал Симеон, как скоро Епистимия, покорно и преувеличенно согнувшись, со смиренным видом безотказно подчиненного человека исчезла за дверь в коридор.

Виктор ответил:

— Денег.

— Сколько?

— Все.

Симеон вскинул на него недоумевающие глаза.

— То есть?.. Не понимаю... объяснись.

— Все, что осталось мне получить с тебя по дядюшкиному наследству.

Прошла минута тяжелого молчания. Симеон возвысил голос, стараясь быть насмешливым:

— Ты трезвый?

— Как тебе известно, я не пью, — холодно возразил Виктор.

— Так белены объелся! — горячо вскрикнул Симеон.

Опять примолкли. Потом Виктор веско заговорил:

— Ты немедленно уплатишь мне мою долю из наследства покойного дяди.

Симеон сделал удивленное лицо.

— Разве я отказывался когда-нибудь?

— Нет, но ты тянешь. Мне больше ждать нельзя.

— Так-таки вот непременно сегодня и загорелось?! — воскликнул Симеон не то с испугом, не то с насмешкою.

Виктор, стоя перед ним прямо, как стрела, отвечал:

— В час ночи я должен выехать с этими деньгами.

— Откуда же я возьму? Таких сумм не держат дома в ящике письменного стола.

— Я удовольствуюсь твоим чеком. Чековая книжка всегда при тебе.

— Мы виделись днем. Почему ты меня не предупредил?

— Потому что сам еще не знал, что сегодня понадобятся.

Симеон сел к письменному столу и, подпершись правой рукою, долго и угрюмо молчал, барабанил пальцами левой по бювару. Виктор, такой же угрюмый и стройный в черной блузе своей, ждал, спокойный, холодный и уверенный. Что-то солдатское, неуступчивое появилось в его лице и фигуре, и Симеон видел это, и это раздражало Симеона.

— Нет, Виктор, я не дам тебе денег, — сухо отрезал он наконец.

— Вот как? — равнодушно, без всякого удивления, без искры в глазах сказал Виктор.

— Во-первых, расчеты между нами еще не кончены...

— Неправда, — остановил Виктор. — Моя доля в наследстве определена завещанием. Мой долг тебе подсчитан. Потрудись выдать разницу.

Симеон тонко посмотрел на брата и погрозил ему пальцем.

— Виктор! Деньги тебе не для себя нужны.

— Это тебя нисколько не касается.

— Как не касается! Как не касается! Выбросить вдруг ни с того ни с сего из своего кармана такую сумму на руки мальчику, который черт знает куда их упрочит...

— Хотя бы я их в печи сжег, они мои, и ты обязан выдать мне их по первому моему требованию.

— Нет! — резко оборвал Симеон.

Виктор смотрел на него в упор большими темно-синими глазами.

«Странно! — подумал Симеон. — Впервые замечаю, что он глазами на Епистимию похож...»

И эта мысль, напомнив ему унижительную, оскорбительную зависимость, в которой он находился, вызвала в нем нервную дрожь.

— Нет, — повторил он. — Нисколько я не обязан. Нет.

— Почему?

Симеон принял особенно значительный и твердый вид и ответил, разделяя скандируя слоги:

— Потому что я чую запах преступления.

Презрительная складка мелькнула и исчезла на тонких губах Виктора.

— Милая ищейка, на этот раз ты бежишь по ложному следу.

— Сказать все можно! — пробормотал Симеон.

— Ты слышал когда-нибудь, чтобы я лгал? — спокойно возразил Виктор.

Симеон раздражился.

— Ах, все вы вот такие, сами по себе, ходячая правда, души, растворенные настезь. Но чуть «партия велела» — кончено: глаза — под непроницаемую дымкою дисциплины, слова — на все, и ничего в них понять нельзя.

— Партия мне покуда ничего не велела, — равнодушно отвечал Виктор.

— Тогда — для чего тебе деньги?

— Ты не имеешь никакого права требовать от меня отчета.

— Я не требую, а прошу, — смягчил Симеон тон свой, — и не отчета, но ответа... И ты ошибаешься: имею право. Потому что ты требуешь деньги свои необыкновенно, оскорбляя меня подозрительною поспешностью, точно они в руках у вора. Между порядочными людьми должна быть деликатность взаимного доверия.

Виктор выслушал слова эти, проверяя мысленно их логическое течение, и они ему понравились.

— Хорошо, — сказал он. — Я объясню, пожалуй. Хотя не обязан, но объясню. Но умей молчать.

Симеон гордо выпрямил стройный стан свой.

— Ты говоришь с Симеоном Сарай-Бермятовым.

— Я должен немедленно... внести залог за арестованного товарища.

— Всю-то сумму?

— Вероятно, всю.

— Хорошо, должно быть, гусек попался! — протяжно произнес Симеон.

А Виктор объяснял:

— Он попался под ложным именем на пустом деле. Его необходимо выкупить во что бы то ни стало, прежде чем жандармы напали на след, кого они сцапали.

— А если догадаются?

— Виселица, — коротко сказал Виктор.

Симеон с шумом оттолкнул бювар и встал с порывистым жестом негодования.

— И ты воображаешь, что я выдам тебе хоть копейку? — резко почти прикрикнул он. — Разве ты не знаешь моих политических взглядов?

На этот раз искорки в глазах Виктора зажглись.

— Таких политических взглядов, чтобы чужие деньги присваивать, до сих пор за тобою не знал.

Симеон бросал ему быстрые, готовые фразы, которыми не столько его, сколько сам себя убеждал:

— Когда я уверен, что деньги пойдут на преступление? Когда ты собираешься выкрасть какого-то отчаянного злодея? Ни за что. Задержать твои деньги — теперь моя гражданская обязанность. Если бы я отдал их тебе, то стал бы соучастником твоих замыслов.

— Оставь мои замыслы и подай мои деньги.

— Никогда. Я желаю сохранить уважение к самому себе.

— И потому становишься вором, — ледяною насмешкою обжег его Виктор.

Симеона перекутило внутреннею судорогою, и страшно запрыгала его правая щека, но бешеный взгляд его встретился с глазами Виктора, и было в них нечто, почему Симеон вдруг опять сделался меньше ростом и стал походить на большую собаку, избитую палкой.

— Ты уже не в состоянии меня оскорбить, — сказал он голосом, который — он сам слышал — прозвучал искусственно и фальшиво. — От твоих ругательств меня защищает мораль истинно русского патриота и дворянина.

— В броню зашился? — усмехнулся Виктор.

Но Симеон обрадовался занятой позиции и победоносно твердил:

— Пеняй сам на себя. Зачем проговорился?

Виктор пожал плечами.

— Все равно ты добром не отдал бы. Знаю я твои комедии. Ну а насилием...

— Ты не смеешь насиловать меня в моих убеждениях! — придиричиво и не желая слушать, перебил Симеон.

В голове его быстро строился план — разрядить объяснение с братом в мелкую поверхностную ссору, чтобы в ее бестолковом шуме погасить главную суть объяснения. Он знал, что, несмотря на свой холодный вид и внешнюю выдержку, брат его по натуре горяч и вспыльчив. В былые ссоры ему не раз удавалось сбивать Виктора с его позиции и затягивать в ловушку мелочей, привязавшись к какой-либо неудачной фразе или даже просто к интонации.

— Да! Это непорядочно! Не трогай моих убеждений. Я не трогаю твоих.

— То есть — как же это ты не трогаешь?! — воскликнул Виктор.

Симеон с удовольствием услышал, что червячок его брошен удачно, рыбка клюнула. Но сам-то он был уже слыш-

ком разгорячен и мало владел собою. Вместо ответа язык его произвольно брякнул совершенно невероятную угрозу:

— Так, что тебе давно пора в Якутке гнить, однако ты на воле ходишь!

Сказал и сам испугался, потому что Виктор вдруг побледнел, как бумага, сделал широкий шаг вперед — и в глазах его загорелся острый огонь, сквозь враждебность которого Симеону почудилось теперь лицо уже не Епистимии, но смерти.

— Берегись, Симеон! — прозвучал ледяной голос. — За такие признания страшно отвечают.

Сконфуженный Симеон бессмысленно бормотал:

— Ну что же? Вынимай свои браунинг! Стреляй в брата! Стреляй!

А сам тоскливо думал: «А мой в потайном ящике. Что за глупость держать оружие так, чтобы не всегда под рукою!»

Никакого браунинга Виктор не вынул, но, спокойно глядя брату в глаза, отчеканил еще раздельнее, чем тот давеча:

— Я не верю тебе больше ни в одном слове. Садись к столу и пиши чек.

Симеон понял, что он проиграл свою игру безнадежно.

— А если не напишу? — в последний раз похрабрился он.

— Я убью тебя, — просто сказал Виктор.

— Экспроприация? — криво усмехнулся Симеон.

— Экспроприация — с твоей стороны... Я, напротив, веду себя как добрый буржуа: защищаю свою собственность от хищника.

Симеон молча повернулся к письменному столу, сделал два шага, остановился, еще шагнул, взялся за спинку кресла своего и с силой, потрясшей его, обернул к брату бурое лицо, искаженное болью унижения.

— Виктор, я никогда не прошу тебе этой сцены.

— Садись и пиши чек, — не отвечая, приказал Виктор.

— Виктор, я уступаю тебе не потому, чтобы я тебя боялся. Достаточно мне нажать вот эту кнопку, и сюда сбежится весь дом. Достаточно нажать вот эту, и я буду вооружен: тут у меня *ragabellum*, какой тебе и во сне не снился.

— Мне решительно безразлично, почему ты уступаешь. Садись и пиши чек.

Симеон опустил в кресло и, достав из бокового ящика длинную синюю чековую книжку, взялся за перо и два раза ткнул им вместо чернильницы в вазочку-перочистку, наполненную дробью...

— На чем, бишь, мы в последнюю выдачу кончили... — разбитым голосом произнес он. — 9200?

— 11 350.

Симеон бросил перо.

— Я не помню... Ты привел меня в такое расстройство... Но Виктор сел на угол письменного стола.

— Счет мой имеется и у меня в записной книжке, и у тебя. Проверим. Отдай мне ровно то, что мое. От тебя я копейки лишней не возьму.

Симеон злобным усилием исказил лицо свое в презрительную улыбку.

— Даже если бы я пожелал возложить жертву на алтарь революции?

— Даже. И предупреждаю тебя, Симеон. Чтобы все было начистоту: без хитростей и подлых шуток. Если с чеком выйдет какая-либо заминка или если лицо, которое будет получать по чеку, наткнется на полицию... Да! да! Не делай негодующих движений: ты способен... Так, если хоть какое-нибудь несчастье стряется в этом роде, даю тебе слово Виктора Сарай-Бермятова: завтрашний день — твой последний день. Понял?..

Симеон молчал. Стараясь овладеть собою, он нарочно долго рылся в книге записей, чтобы проверить цифру, на которую должен был написать чек, хотя отлично знал, что Вик-

тор назвал ее точно. Перенос внимания на деловые рубрики и цифры немножко успокоил его, и чек написал он довольно твердою рукою. Очень хотелось ему не подать, а бросить Виктору чек этот, но — не посмел и только молча передвинул бумагу по столу рукой... Виктор взял чек, внимательно прочитал, посмотрел, нет ли на обратной стороне безоборотной надписи, перечитал и, прежде чем спрятать, вынул из кармана брюк и подал Симеону заранее приготовленную расписку в получении.

— Предусмотрительно! — криво усмехнулся Симеон.

— Надо только номер чека проставить, — предупредил Виктор. — Позволь мне перо.

Он сделал нужную вставку и вежливым жестом левой руки передал Симеону документ в то самое время, как правую прятал чек.

— За сим — до свиданья.

— Не вернее ли: прощайте? — злобно оскалил серпы свои Симеон. — Надеюсь, что у тебя, как все-таки Сарай-Бермятова, достаточно ума и такта, чтобы догадаться, что ты больше никогда не переступишь порога моего дома...

Виктор повернулся к нему от дверей.

— Твоего — да, можешь быть уверен. Но, к сожалению, вместе с тобою живут брат Матвей и сестры. Их я буду посещать, когда хочу.

— А я тебя, в таком случае, прикажу метлою гнать! — завизжал, вскакивая, бурый, с раскаленными углями вместо глаз — черт чертом, — махая руками, топая ногами, иступленный Симеон.

Виктор пожал плечами.

— Попробуй.

И затворил за собою дверь.

Проходя мимо угловой, темной, с отворенною в коридор дверью, чтобы заменить яркость погашенной лампы полумраком отраженного света из коридора, Виктор услышал

нервный, болезненно-чувственный смешок Модеста и ровного-тихий, смешливый, вкрадчивый говор Епистимии:

— И вот, значит, поутру, Модест Викторович, приходит молодая-то к мужнину дяде и говорит ему...

Двойной взрыв хохота — басом Ивана, тенором Модеста — покрыл окончание.

— А дядя, значит, Модест Викторович, сидит на лавке, повесил голову и говорит: продать можно, отчего не продать? Только это вещь заморская, редкостная, и цена ей немалая, 50 тысяч рублей...

— Го-го-го! — басом загрохотал Иван.

«Тоже недурны ребята!.. — со злобою подумал Виктор. — Порода! Надо бы перетопить нас всех маленькими, как неудачных щенят».

И хотел пройти мимо, но Модест с тахты заметил на белой стене коридора тень его и окликнул:

— Виктор!

— Я, — неохотно остановился Виктор.

— Так едешь сегодня?

— Да.

— Ну, счастливого пути... Если хочешь пожать мне руку, не ленись зайти... Я не могу встать, потому что — без ботинок... Епистимия Сидоровна рассказывает мне сказки и, извини меня, чешет мне пятки... Для брата столь сурового Катона решительно непристойное баловство, но — что будешь делать? Крепостническая кровь, сарай-бермятовский атавизм... Изумительная мастерица... рекомендую испытать...

Виктор, не отвечая, пошел коридором, но голос Модеста опять догнал его и заставил остановиться:

— Виктор, с чего это Симеон так бесновался?

— Спроси у него.

— Ужасно вопил. Я уж думал, что вы деретесь. Хотел идти разнимать.

— Что же не пришел?

— Ах, милый мой, в разговоре между Каином и Авелем третий всегда лишний.

Модест язвительно засмеялся в темноте.

— Виктор Викторович, — возвысила голос Епистимия, — извините, что я хочу вас спросить. Как Симеон Викторович приказали мне, чтобы после разговора с вами я опять к нему в кабинет возвратилась, позвольте вас спросить: как вы его оставили? В каком он теперь будет духе?

— Подите и взгляните, — сухо отвечал Виктор.

Он очень не любил эту госпожу.

— Ой, что вы!.. После этакого-то крика?.. Да я — лучше в берлогу к медведю... Нет уж, видно, до другого раза. Я за чужие грехи не ответчица... Прощайте, Модест Викторович, до приятного свиданья... Попадешь ему в таком духе под пилу-то — тогда от него не отвяжешься. Иван Викторович, до приятного свиданья... Лучше мне побежать домой.

IV

Виктор вошел к брату Матвею не стуча. Матвей не любил, чтобы стучали. Он говорил, что стук в дверь разобщает людей, как предупреждение, чтобы человек в комнате успел спрятать от человека за дверью свою нравственную физиономию, — значит, встретил бы входящего как тайного врага. Между тем человек всегда должен быть доступен для других людей и никогда не должен наедине с самим собой быть как-нибудь так и делать что-либо такое, что надо скрывать от чужих глаз, чего он не мог бы явить публично.

— Однако ты сам всегда стучишь, — возражали ему товарищи.

— Потому что не все думают, как я. Я не считаю себя вправе насиловать чужие привычки и взгляды. К тем, кто

разделяет мои, в ком я уверен, что это не будет ему неприятно, я вхожу не стучась...

— Чудак! Но ведь ты же не знаешь, кто стоит за дверью... Ну вдруг женщина, дама? А ты между тем в беспорядке?

— Я не делю своих отношений к людям по полу. Если меня может видеть мужчина, может видеть и женщина.

— Ну, друг милый, это не согласно с природою, как ты всегда проповедуешь, а против природы: и птицы, и звери — все самцы для самок особо прихорашиваются.

— Да, — строго соглашался Матвей, — но когда? В период полового возбуждения.

— Да, бишь... извини... ведь ты у нас принципиальный девственник.

Матвей и от того отрекался.

— Что значит «принципиальный»? — возражал он. — Такого принципа никто никогда не устанавливал. Я тем менее.

— А христианский аскетизм?

Матвей закрывал глаза — он не умел вспоминать иначе — и читал наизусть из «Первого послания к Коринфянам»: «А о нихже писасте ми, добро человеку жене не прикасаться. Но блудодеяния ради, кийждо свою жену да имать, и каяждо своего мужа... Глаголю же безбрачным и вдовицам: добро им есть, аще пребудут, якоже и аз: аще ли не удержатся, да посягают: лучше бо есть жениться, нежели разжизатися». Я могу удержаться, не разжигаясь, — вот и весь мой принципализм, — объяснял он. — Если бы я почувствовал, что начинаю «разжизатися», то, конечно, поспешил бы жениться...

— Ну где тебе!

Еще проходя залом за две комнаты до Матвеевой комнаты, Виктор слышал молодой рев спорящих голосов, которые все старался перекрыть козлиный тенор студента Немировского:

— Я стою на почве наблюдения, а ты валяешь а ргіогі*.

А мягкий женственный альт Матвея возражал:

— Предвзятому наблюдению цена — медный грош.

И жаль стало Виктору, что не может он сейчас остаться с этою шумною, веселою, спорчивою, смешливою, зубатою товарищескою молодежью — покричать и поволноваться, покурить и помахать руками в ее бесконечных, всегда готовых вспыхнуть диспутах, для которых каждая тема люба, точно сухая солома, только ждущая искры из мимо летящего паровоза, чтобы воспламениться в пожар. Но суровый и угрюмый рок звал его далеко, — не мешкая, на жуткий путь, на трудное дело. И, когда жал он руки друзьям, опять лицо его стало солдатское, простонародное, и глаза утратили индивидуальность, точно у рядового, шагающего в составе роты своей, и движется та рота в далекий, тяжелый, безрадостный поход...

Народу в комнате Матвея набралась труба нетолченая. И длинный, тощий, с прыгающими вперед, точно белые шары на веревочках, глазами студент Немировский; и красивый, важный, с лицом сентиментального неудачника помощник присяжного поверенного Грубин; и методический, точный, на параллелограмм похожий, белобрысый остзеец, учитель мужской гимназии, историк Клаудиус. На окне в полутени широких синих занавесок сидела, забравшись с ногами на подоконник, в коричневом гимназическом платье Зоя, младшая из двух сестер Сарай-Бермятовых: некрасивая, почти дурнушка, очень полная девочка-блондинка лет пятнадцати, но с грудью, точно она троих ребят выкормила. Лицо калмыцкое, пухлое, дерзкое; губы, толстые, слегка вывороченные, на очень белом лице производили впечатление кровавого пятна, точно она во рту держала кусок сырого мяса; глаз почти не видать, а когда блеснут, не успеешь разобрать, какого

* Без доказательств (лат.).

они цвета: сверкнет в упор что-то смышленное, наглое и спрячется, будто театральный дьявол в трап, за длинные золотые ресницы. Девочка уже ушла из этого подростка, а девушка входит в нее недоброю поступью... еще молчит, но скоро заговорит... и вряд ли хорошо и на благо людям будет слово ее жизни... Подле Зои верхом на стульях качались двое юношей — один сухопарый гимназист с зеленым лицом, освещенным бутылочными сумасшедшими глазами; другой — студент-первокурсник, из тех, которые «и в кинематограф при шпаге ходят», румяный франт, чувственный, самовлюбленный. Глядел на Зою победителем — на что та, впрочем, не обращала ни малейшего внимания и вообще посматривала вокруг себя с видом самодовольствия неисчерпаемого. Каждая черточка этого сытого, счастливого собою лица, каждое движение, умышленно сильное, расчетливо выпуклое, холеного, тренированного на мускулы тела в щегольском мундире — так и вопияли навстречу приближающимся смертным: «Ах, да посмотрите же, полюбуйте же, какой я лейтенант Глан и даже сам Санин!»

А зеленолицый гимназист читал Зое наизусть хриплым, гробовым голосом:

Полюбила, зазелелась,
Вся хвосточком обвертелась,
Завалилась на луга.
Ненаглядный мой, приятный,
Очень миленький, занятный,
Где ты выпачкал рога?

— Тише вы! — носовым ленивым голосом повелевала Зоя. — Услышит Матвей... стыдно будет...

— А вы еще умеете, что вам бывает стыдно? — с роковою санинскою улыбкою спросил студент.

Зоя холодно посмотрела на него из-под золотистых ресниц, которые умышленно держала опущенными, потому что они были очень красивы, и сказала тоном безапелляционного начальства:

— Не ломайтесь, Васюков!.. И какой дурак выучил вас так говорить по-русски: «...умеете, что вам бывает...». А еще орловец и филолог!.. Леониду Андрееву земляк! Читайте дальше, Ватрушкин. Только не орите: вы не на пароходе в бурю — слышим и без рупора.

А гимназист прохрипел:

— Не беспокойтесь, Зоя Викторовна: им не до нас... они теперь до утра кричать будут...

До утра не расставались,
Ясным небом любовались
На восток и на закат...

Виктор мигнул Матвею. Тот понял и вышел с ним в темный зал, освещенный лишь четверугольным дверью, будто врезавшим правильное, изжелта-белое пятно свое в старенький паркет.

Матвей, стоя спиной к свету, зажигавшему пламенем его золотые кудри, был еще на полголовы выше своего высокого брата и слегка наклонялся к нему, тонкий, узкий, худой, слабо сложенный, чуть сутуловатый.

— Едешь? — спокойно спросил он

— Да. Прощай, брат. Спешу. И то запоздал.

— Симеон задержал тебя?

— Немножко. Не слишком. Я ждал худшего. Теперь — аминь. Вчистую.

— Я очень рад, — серьезно сказал Матвей. — Теперь вам обоим будет лучше. Люди начинают понимать друг друга только тогда, когда между ними исчезает эта страшная плотина — деньги. Пока она существовала, я боялся, что между вами произойдет что-нибудь ужасное.

— Ну, ломать эту плотину пришлось довольно грубо, — усмехнулся Виктор, — и вряд ли обломки ее годятся как фундамент для дружества.

— Простился с Иваном, Модестом?

— Не мог, — сухо сказал Виктор, — оба были заняты слишком важным делом... Ивану кланяйся, а Модест... Матвей, искренно, с убеждением прошу тебя: будь осторожнее с этим господином!

— Ты говоришь о брате, Виктор! — мягко и грустно упрекнул Матвей.

Виктор нетерпеливо тряхнул головой.

— В поле встречаться — родней не считается.

— Что ты имеешь против него?

— То, что у него — вместо души — всунута грязная тряпка.

— Полно, Виктор! Ну... выпить слишком любит... ну... немножко чересчур эстет... Но...

— Оставь! — с отвращением остановил Виктор. — У нас так мало минут, что, право, жаль их на него тратить. Знаем мы этих эстетов из публичных домов, с гнилым мозгом и половой неврастением вместо характера. По мере их удобства и надобности из них вырабатываются весьма гнусные сводники и провокаторы...

— Виктор! Виктор!

Но он хмурился и упрямо говорил:

— Во всей нашей семье ты — единственный, кого я еще чувствую своим... И жаль же мне тебя, бедняга!

— Что меня жалеть? — кротко возразил Матвей, и глаза его теплились в полумраке. — Я так устроен, что мне в самом себе всегда хорошо. А на Модеста не сердись. Он больной.

— По нашему времени, это иногда гораздо хуже, чем бесовственный, — холодно оборвал Виктор и вдруг внезапным, нежным порывом положил брату обе руки на плечи. — До свиданья, свят муж! Сестер поцелуй. Я с ними не прощаюсь. Ахов и визгов боюсь. Да Аглаи и дома нет.

Матвей нерешительно не одобрил:

— Жаль все-таки... Как знать? Может быть, на смерть едешь.

— Этого я им сообщить все равно не могу, — угрюмо проворчал Виктор, опуская голову.

Матвей грустно обнял его.

— Отрезал ты себя от нас!

Виктор ласково, но решительно высвободился.

— Да. И не надо по отрезанному месту пальцем водить. Мне сейчас все мои нервы нужны, весь характер нужен.

Матвей кивнул головою, что согласен.

— Надеешься на успех?

Виктор выпрямился, глаза сверкнули в полутьме.

— Если деньги не помогут, лбом стену прошибу, напролом полезу. Ну, прощай, свят муж. Обнимемся. В самом деле ведь... Ты дальше меня не провожай. Возвратись к товарищам. Совсем лишнее, чтобы отъезд мой вызвал разговоры...

Матвей крепко сжал его сильные плечи в нежных, худых руках своих и произнес голосом звучным, глубоким, трепетным, проникновенным:

— Брат! Если возможно... умей щадить!

По мрачному лицу Виктора пробежала судорога, и рад он был, что полумрак комнаты скрыл ее.

— Не умею! — нарочно грубо оторвал он.

И оторвался от брата. И ушел. И больше его никогда уже не видели в этом доме.

Матвей коротко посмотрел ему вслед, облегчил вздохом стеснившееся сердце и возвратился к себе в комнату, где в свету и дыму продолжал еще бурлить и шуметь прежний неоконченный спор... Матвей под гул его думал о Викторе. Ему было жаль брата, и не чувствовал он, непротивленец, симпатии к деятельности, в которую тот себя уложил. Но он любил, чтобы человек, принявший на себя обязанность, исполнял ее свято, и людей, страдавших и даже погибавших на служении долгу своему, только любил с умилением, но не сокрушался о них и не скорбел. И лицо его было спокойно, и с ясною головою прислушался он к товарищам, и сам быстро вошел в шум их.

Спор кипел из-за образовательного опыта, которому Матвей подвергал того самого Григория Скорлупкина, что давеча рекомендован был Модестом Ивану как субъект, обретающийся всегда при деньгах и обложенный в пользу Модеста кредитною повинностью за то, что он будто бы влюблен в красавицу Аглаю. Крепостной дедушка этого Скорлупкина состоял при дедушке нынешних Сарай-Бермятовых в егерях, а тятенька — при папеньке Сарай-Бермятовых в вольнонаемных рассыльных. А самого Скорлупкина Вендль, неугомонный изыскатель и коллекционер людей, любил иногда поэкзаменовывать, встречая его у Сарай-Бермятовых, либо на улице, либо в ресторане, потому что с некоторого времени молодой человек этот начал по каким-то особым, не высказанным причинам чрезвычайно интересоваться его.

— Ну что вы? Как? А? — спрашивал Вендль, обдавая некурящего Скорлупкина благовонием рублевой сигары и проницательно разглядывая его сквозь дымное облако.

Скорлупкин, питавший к Вендлю большое уважение за то, что он, наследник богатого дисконтера, не только не промотал родительских капиталов, но еще адвокатской практикой зарабатывает большие деньги, свободно кланялся и отвечал:

— Слава Богу. Живем. Покорнейше благодарю.

— Преуспеваете? А?

— По мере своих способностей. По распоряжению Матвея Викторовича посещаю народный университет.

— Интересно?

К удивлению Вендля, Скорлупкин отвечал без всякого восторга:

— Однако о серьезном читают. Приблизительно весьма многого не могу понимать. Все больше наблюдают о простом народе, как ему жить легче. Нам ни к чему.

— Ангел мой! — воскликнул Вендль. — Да вы-то сами — кто же? Аристократом почитаете себя, что ли? В бархатной книге записаны?

— Какая наша аристократия! — усмехнулся Скорлупкин. — Родня моя, сказать абсолютно, — черная, и образование — один пшик.

— В таком случае, почему же вы недовольны лекциями о простом народе? Среду свою изучить всякому любопытно.

— Да я ее сам лучше всякого профессора знаю. Поми-луйте, Лев Адольфович, — воодушевился Скорлупкин. — Мне ли народа не понимать? Дед был дворовый, родитель кре-стьянствовал, лишь перед смертью, спасибо ему, дога-дался в мещане выписаться. Маменька и посейчас в божес-ственности своей совершенно серая женщина. Кабы не те-теньки Епистимии настояние да не Матвей Викторович, было бы мне с дураками в черном теле пропасть.

— Не возноситесь, мой друг, не возноситесь! Помните, что гордость — грех смертный и некогда погубила сатану, — на-смешливо вставил Вендль.

Семитическая кровь его, благоговейная к семье и родо-вому союзу, была возмущена тоном презрительного превос-ходства, которым этот даже еще не выскочка, а только от-даленная возможность выскочки говорит о своем роде-пле-мени.

Скорлупкин заметил и осторожно поправился:

— Нет, вы не извольте думать: я родителей своих не сты-жусь. Но, сам возросши в темной дурости, я во всяком дру-гом слепоту подобную насквозь вижу за сто шагов.

— Матвей готовит вас к экзамену зрелости?

— Улита едет — когда-то будет, — усмехнулся Скор-лупкин.

— Не в охоту?

Скорлупкин замялся, но, не встречая в любопытных гла-зах Вендля решительного порицания, признался с искрен-ностью:

— Не то что не в охоту. Результат чрезвычайно отдален-ный. Это с детства начинать надо, а мне двадцать третий

год. Теперь мне — жить впору, капитал делать, а не уроки долбить.

— Так что, Матвей вас в некотором роде в ученый рай свой на аркане тянет? — засмеялся Вендль.

А Скорлупкин объяснил:

— Покойного родителя моего непременно желание было, чтобы я получил господское образование и гимназию кончил. Но здоровьишком я был в то время слаб, никаких способностей не оказывал — силенки, значит, мои ребячьи того не позволяли. Определили меня по торговой части, закатали на годы в мальчишки в бельевого магазин. Тем не менее родитель мой мечты своей не оставил. Умирая, просил Мотю, чтобы содействовал мне осуществить завет образования.

— Что же Мотя мог сделать для вас? — удивился Вендль. — Он тогда мальчик был. Следовало просить Симеона.

Скорлупкин, усмехаясь, покрутил головой.

— Пред Симеоном Викторовичем родитель мой пикнуть не смел, — сказал он опять с недавним превосходством. — Ведь мы, Скорлупкины, искони сарай-бермятовские слуги, еще с крепости, из рода в род. Я — первый, что сам по себе живу и свою фортуна ищу. А маменьку либо тетеньку Епистимию до сих пор спросите: где были? — не сумеют сказать: у господ Сарай-Бермятовых — говорят, у наших господ.

— Вам смешно? — с брезгливостью спросил Вендль: развязность этого потомка насчет ближайших предков опять его покорила.

Но на этот раз Скорлупкин чувствовал себя на твердой почве и нисколько не смутился.

— Да как же, Лев Адольфович? — возразил он. — Конечно, что должно быть смешно. Крепости не знали, в свободном крестьянстве родились, вольными выросли, а ум и язык — крепостные. Полувеком из них рабское наследство не выдохлось.

Вендль подумал, прикинул умом, воображением и — согласился.

— Да... жутковато! — вздохнул он. — Дрессировали же людей! Достало на два поколения!

А Скорлупкин продолжал:

— Родитель мой при Моте-маленьком, когда господа Сарай-Бермятовы в упадок пришли, остался вроде как бы дядькою. Мы с Мотею — однолетки, вместе росли, в детские игры играли.

— Так что просьба отца вашего попала по «адресу»? — одобрительно спросил Вендль.

Скорлупкин отвечал с гордым удовлетворением и почти нежностью в глазах:

— Да уж, знаете, если Мотя что обещал, так это стена нерушимая. Чуть сам в возраст вошел и свободу поступков получил, сейчас же и за меня принялся. Второй год тормозимся... Обижать его жаль, — тихо прибавил он, опуская голову, — а надлежало бы к прекращению.

Вендлю захотелось помочь Матвею, которого он уважал и любил, хоть легким ободрением скептического его ученика:

— Однако из учителей ваших Аглая Викторовна отзывалась мне о ваших занятиях хорошо.

— Да? — удивился и обрадовался Скорлупкин. — Покорнейше благодарю. Только это она, — подумав и с печалью добавил он, — по ангельской доброте своей. А мне с нею, признаться, всех труднее. Потому что, знаете, Лев Адольфович, стыдно ужасно, — с доверчивостью пояснил он. — С мужчинами осла ломать — еще куда ни шло. Но когда должен ты мозги свои выворачивать пред этакою чудесною барышней, и ничего не выходит, и должна она подумать о тебе в самом низком роде, что оказываешься ты глупый человек, оно, Лев Адольфович, выходит ужасно как постыдно.

— Вы в своего ангелоподобного профессора, конечно, влюблены? — спросил Вендль с улыбкой несколько высокомерной.

Но Скорлупкин сердито покраснел, точно услышал неприличность.

— Это Модест Викторович на смех выдумали — дразнят меня. Разве я дерзнул бы?

— Ну, влюбиться — на это большой дерзости не надо, — холодно возразил Вендль, посасывая сигару. — Вот признаться в том этакой красавице и взаимности искать — другая статья...

Но если Аглая Викторовна в кроткой нетребовательности своей удовлетворялась успехами, которые с грехом пополам оказывал взрослый ученик ее, то другие наставники — нетерпеливые мужчины — далеко не были так снисходительны. Нынешний спор между Матвеем и его товарищами именно и возгорался из-за того, что Немировский, дававший Скорлупкину уроки алгебры и геометрии, пришел от них отказываться:

— Не могу, устал. Даром время тратим. Совершенно дубовая башка.

Матвей возмутился и запротестовал, но остальные поддержали Немировского.

— Когда кто-нибудь не в состоянии вообразить себе четвертого измерения, — насмешливо говорил красивый Грубин, — то я его только поздравляю. Но если ему не удастся усвоить первых трех, дело его швах.

Матвей, взметывая золотые кудри свои — ореол молодого апостола — и сверкая темными очами, упрямо кивал головою, как норовистая лошадь, и твердил:

— Я дал слово, что сделаю Григория человеком, и он будет человеком.

— В ресторане, может быть, — сострил Немировский, — в жизни — сомневаюсь.

Матвей посмотрел на него, плохо понимая каламбур: он был совершенно невосприимчив к подобным речам. Потом сморщился и сказал с короткою укоризною:

— Плоско.

Немировский сконфузился, но желал удержать позицию и потому еще нажал педаль на грубость:

— Нельзя взв्यूчивать на осла бремена неудобноносимые.

— Ругательство — не доказательство, — грустно возразил Матвей.

Тогда вмешался Клаудиус, параллелограмму подобный, со спокойными, размеренными продолговатыми жестами, голосом, похожим на бархатный ход маятника в хороших стенных часах:

— Теоретически я высоко ценю просветительные опыты в низших классах общества, но, как педагог, научился остерегаться их практики.

— Остановись, педагог! — воскликнул Матвей, всплеснув худыми белыми руками. — Еще шаг, и ты, как Мещерский, договоришься до «кухаркина сына».

Но Клаудиус не остановился, а покатил плавную речь свою дальше, точно по рельсам вагон электрического трамвая.

— При малейшей ошибке в выборе мы не возвышаем, но губим субъекта.

— А обществу дарим нового неудачника, неврастеника, пьяницу, — подхватил Грубин.

— Либо сажаем на шею народную нового кулака, — язвительно добавил Немировский.

Но Матвей зажал ладонями уши и говорил:

— Ненавижу я интеллигентскую надменность вашу. Баре вы. Важнюшки. Где вам подойти вровень к простому человеку!

Грубин пожал плечами.

— Как тебе угодно, Мотя, но — что тупо, того острым не назовешь.

— Хорошо тебе с прирожденною-то способностью! — возразил Матвей.

— Не доставало еще, чтобы мы увязли в прирожденности идей! — захохотал Немировский, а Клаудиус молча улыбнулся с превосходством.

Но Матвей стоял посреди комнаты и, потрясая руками, говорил:

— Вы дети культурных отцов. Ваши мозги подготовлены к книжной и школьной муштре в наследственности образовательных поколений. За вас ваши батьки и деды сто лет читали, учились, писали. А когда какой-нибудь Григорий Скорлупкин полезет из тьмы к свету, он — один сам за себя работает, никаких теней помогающей наследственности за ним не стоит, его мозг действенный, мысль прыгает, как соха на целине: здесь — хватъ о камень, там — о корень.

— Позволь, Матвей! — остановил Грубин. — Двоюродный брат Скорлупкина, Илья, — такой же темный мещанин. Однако с ним — говорить ли, читать ли — наслаждение.

— То есть тебе нравится, что вы распропагандировали его на политику! — возразил Матвей.

— Положим, не мы, а твой брат Виктор, — поправил точный Клаудиус.

Матвей же, грустно усмехаясь, продолжал критиковать:

— Ленина с Плехановым разбирает по костям, Чернова с Делевским критикует, как артист, а «весело» через два «ять» пишет.

— Велика беда! — равнодушно заметил Грубин. — Зато — товарищ.

— Для меня это человека не определяет, — возразил Матвей. — Я сам социалист лишь наполовину...

— На которую, свят-муж? — ехидно отметил Немировский. — С головы до живота или от пупка до пяток?

Но Матвей, не чувствительный к насмешкам и трудно, и поздно их понимавший, стоял на своем:

— Я не считаю себя вправе тянуть в социализм человека, который не имеет выбора доктрин.

Клаудиус засмеялся торжественным гулким смехом, точно теперь величественные часы, в нем заключенные, стали полнозвучно бить:

— Да уж не вернуться ли нам ко временам культурной пропаганды?

— Вербовка в партию — не просвещение! — сказал Матвей.

— Равно как и фабрикация полуграмотных буржуа, — возразил Грубин.

А у окна зеленолицый гимназист Ватрушкин уныло гудел:

Ты пришла с лицом веселым.
Розы — щеки, бровь — стрела.
И под небом — небом голым
В пасти улицы пошла.
Продалась кому хотела.
И вернулась. На щеках
Пудра пятнами белела,
Волос липнул на висках.
И опять под желтым взором
В тень угла отведена,
Торопливым договором
Целовать осуждена...

— Задерните меня! — вдруг испуганным шепотом приказала Зоя, сильно пошевелившись на окне, студенту Васюкову.

— Чего?

«Санин» выпучил глаза, не понимая, а Зоя торопливо командовала:

— Задерните меня... Боже, какой недогадливый... занавескою задерните... Я слышу: в зал входит Симеон... — пояснила она, исчезая за синим трипом.

Материя еще не перестала колыхаться, когда на пороге комнаты действительно показался Симеон. Он был в пальто и шляпе-котелке, с тростью в руках и — неожиданно — в духе. Причиной тому была, как ни странно, грубая сцена, происшедшая между ним и Виктором. Оставшись один, Симеон внимательно перечитал расписку Виктора и трижды

вникал в последние ее строки, что «все причитавшееся мне из наследства дяди моего Ивана Львовича Лаврухина получил сполна и никаких дальнейших претензий к брату моему, Симеону Викторовичу Сарай-Бермятову, по поводу сказанного наследства иметь не буду». И чем больше он вчитывался, тем яснее просветлялся лицом, ибо эта категорическая расписка неожиданно оставила в его кармане — чего Виктор, конечно, и не подозревал, — немалый капиталец...

«Все... — думал Симеон, саркастически оскаливая зубные серпы свои. — То-то «все»... Юристы тоже! И чему только их в университете учат?.. Напиши он даже «всю сумму», «все деньги», и вот уже — другая музыка... Все!.. С этим «все» ты у меня, друг милый, на недвижимости-то облизнешься!.. Поздравляю вас, Симеон Викторович, с подарком. Теперь я этому мальчишке покажу, как брать за шиворот старшего брата, права свои, видите ли, осуществлять чуть не с револьвером в руках. Из недвижимости что хочу, то и вышвырну негодяю — и все будет с моей стороны еще милостью, благодеянием, потому что — могу и ничего не дать: расписка-то вот она, право-то за меня... Ах, мальчишка! Мальчишка!»

Эти соображения настолько развеселили Симеона, что он даже не особенно разгневался, узнав, что Епистимия вопреки его приказанию ждать новой беседы убоялась идти к нему и убежала домой.

«Ну и черт с ней! — решил он. — В конце концов, может быть, к лучшему. Я слишком много нервничал сегодня. С возбужденными нервами вести новый ответственный разговор — того гляди, попадешь в ловушку... Епистимия — не Виктор... Холодная бестия, вьющаяся змея... С нею держи ухо востро: эта безграмотная троих юристов вокруг пальца округит...»

Вместо того он решил поехать к Эмилии Федоровне Вельс, рассчитывая в салоне этой дамы, как в центральном бас-

сейне всех городских вестей и слухов, «понюхать воздух» — авось ненароком и нанюхает он волчьим чутьем своим какой-нибудь следок к источнику обеспокоивших его клубской болтовни и анонимок...

Проходя залом и слыша горячий спор молодежи, Симеон приостановился, послушал и, презрительно улыбнувшись, хотел пройти мимо, но Клаудиус заметил его в дверь и издали раскланялся. Симеону пришлось войти к Матвею, чтобы пожать руки Клаудиусу и Немировскому, которых он еще не видал...

— О чем шумите вы, народные витии? — спросил он, прислоняясь к притолке и посасывая набалдашник палки своей — художественную японскую резьбу по слоновой кости, изображавшую женщину с головою лисицы: японскую ламию.

Клаудиус объяснил:

— Матвей громит нас за то, что мы отказываемся непроизводительно тратить труд и время на занятия с его протеже Скорлупкиным.

Симеон вынул палку из рта, поправил шапку на голове и сказал внушительно, с авторитетом:

— Матвей прав. И я сожалею. Парень дельный.

Матвей, никак не ожидавший от него такой поддержки, взглянул на брата с изумлением. Потом вскричал:

— Слышите, фуфыри? Даже Симеон оценил!

«Даже» Матвея не очень понравилось Симеону, и он строго разъяснил:

— Симеон всегда любил энергию, уважал труд людей, которые понимают и исполняют его обязательность.

— Не умею подчиняться обязательности труда, — холодно зевнул красивый Грубин, садясь на Матвееву постель.

— В моих руках спорится только труд излюбленный, — вторя, отозвался ему Немировский.

Симеон закурил папиросу и учительно возразил:

— Всякий обязательный труд можно обратить в излюбленный. Надо только придать ему излюбленную цель.

— То есть? — спросил, будто полчаса пробил, Клаудиус.

— Цель, способную раскалить в человеке величайшую пружину воли: эгоизм любимой страсти. Чтобы из статического состояния он перешел в динамическое, из недвижимого сбережения сил — в энергию деятельного достижения.

Грубин зевнул.

— Вы, Симеон Викторович, сегодня говорите, будто русский магистрант философскую диссертацию защищает. Оставьте. Я две ночи не спал.

Но Симеон курил, посмеиваясь, и говорил:

— Вы все нехристи и безбожники...

— Меня исключи, — остановил Матвей.

— Его исключи: он еще донашивает ризы божеские, — глумясь, подхватил Немировский.

— По Владимиру Соловьеву, — пробил курантами своими Клаудиус.

Симеон, все посмеиваясь и покуривая, продолжал:

— Я не очень большой оратор и диалектик, обобщать не мастер, люблю говорить образами и притчами. Ну-ка, кто из вас, еретиков, помнит «Книгу Бытия»? Иакова, влюбленного жениха прекрасной Рахили?

Матвей взял с письменного стола своего черную толстую Библию и, быстрою привычною рукою листая ее, нашел желаемый текст: «Иаков полюбил Рахиль и сказал Лавану: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. И служил Иаков за Рахиль семь лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее».

Симеон вынул папиросу изо рта и повторил с выразительным кивком:

— «Потому что он любил ее». Слышали, аггелы?

— Так что же? — отозвался с постели Грубин.

Симеон направил на него папиросу, как указку, и сказал:

— То, что без Рахили в перспективе нет труда успешного

и приятного. А с Рахилью в мечте семь лет труда кажутся Иакову за неделю.

— Как всегда, ты — грубый материалист, Симеон, — раздумчиво сказал ходивший по комнате, руки за кушаком блузы, Матвей.

Симеон бросил папиросу.

— Неправда. Это ты понял меня грубо. Бери легенду шире. Мы все Иаковы. Я, ты, он, твой Григорий Скорлупкин, даже вот эти беспутные Модест и Иван, — кивнул он на входивших средних братьев. — И у всех у нас есть свои Рахили.

— А я был уверен, что ты антисемит, — промямлил Модест, лениво таща ноги и одеяло через комнату к кровати. — Ну-ка, Грубин, пусти меня на одр сей: ты мальчик молоденький, а я человек заслуженный и хилый...

Симеон оставил его вставку без внимания и продолжал:

— Одному судьба посылает Рахиль простую, будничную, домашнюю. Рахили других — мудреные, философские, политические.

— Ты своей Рахили, кажется, достиг? — бросил ему с кровати Модест.

Симеон обратил к нему лицо.

— Если ты имеешь в виду... — начал он.

— Дядюшкино наследство, — коротко и кротко произнес Модест.

На лицах блеснули улыбки.

— Когда вы боролись за него с Мерезовым, — сказал Грубин, — вам тоже год за день казался?

— Не наоборот ли? А? — поддразнил Немировский.

Но Симеон спокойно отвечал:

— Насмешки ваши — мимо цели. Я не герой, я обыватель, и Рахиль моя мне, как по Сеньке шапка: в самый раз. Благо тому, кто ищет посильного и достигает доступного.

— Да здравствуют Алексей Степанович Молчалин и потомство его! — воскликнул Модест в нос, точно ксендз возглас в мессе.

Клаудиус, тонко улыбаясь, смотрел на Симеона. Этот человек бывал в хорошем обществе города и кое-что знал уже из сплетен, плывущих о лаврухинском завещании.

— В своей легенде вы пропустили пикантную подробность, — защелкал он своим мягким маятником деловито и обстоятельно. — После того, как Иаков проработал за Рахиль семь лет, Лаван-то ведь надул его: подсунул вместо прекрасной Рахили дурноглазую Лию!

— Пересмотри завещание, Симеон! — расхохотался Модест. — Вдруг и оно окажется не Рахилью, но Лией?

Симеон испытал искреннее желание пустить брату в голову японскою дамою с лисичьей головой, но сдержался, лишь чуть прыгнув правою щекою, и обратился — все в том же тоне хорошей, умной шутки — к брату Матвею:

— Матвей, дочитай этим отверженным сказку до конца.

— «И сказал Лаван: дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других...»

— «И служил у него семь лет других!» — торжественно прервал и заключил Симеон, величественным жестом подымля трость свою, будто некий скипетр или жреческий жезл.

Немировский вскочил со стула и захолопал, как в театре.

— Bravo, Симеон Викторович! Правда! Правда!

Симеон поклонился ему с видом насмешливого удовлетворения.

— Насколько мне помнится, Рахиль господина, который мне аплодирует, известна под псевдонимом республики... федеративной или как там ее?

— Мы за эпитетами не гонимся! — весело отозвался Немировский.

А Симеон воскликнул с трагическим пафосом:

— Несчастный Иаков! Сколько обманных Лий обнимали вы, обнимаете и еще обнимете за цену Рахили, прежде чем Рахиль ваша покажет вам хотя бы кончик туфли своей?

— Где наше не пропадало! — засмеялся Немировский.

— Терпи, казак, атаманом будешь! — поддержал его Грубин. Симеон снял шляпу.

— Сочувствовать вам не могу, потому что все мои симпатии принадлежат жандарму, который рано или поздно вас арестует. Но уважаю в вас истинного Иакова, который понимает, что значит любить Рахиль. Не то что семь лет других, но даже семьдесят семь за Рахиль свою отдать не жалко.

— Так сказал... — зазвонил с особенною густотою Клаудиус, но Модест быстро перебил:

— Заратустра.

Но Симеон, надевая котелок свой, спокойно возразил тоном победителя, оставляющего поле сражения за собою:

— Нет. Иаков, убежденный, что он своей Рахили достиг.. Мое почтение, господа. Счастливо оставаться и приятной вам дальнейшей философии.

Едва он отвернулся и быстрые шаги его зазвучали, удаляясь по темному залу, Модест сорвался с кровати и, канканируя, запел с жестами:

Красавиц, песни и вино!..

Вот что всегда поет Жано!

Иван закорчился на стуле — помирал со смеху, а Матвей откликнулся с неудовольствием:

— Что с тобой, Модест?

— Это я — за Симеона. Без куплета водевильный эффект его ухода не полон.

— Сегодня ваш Симеон — весельчак! — сказал Немировский.

— Крокодил в духе! — кротко объяснил Модест.

— Выходите, Зоя Викторовна, гроза прошла мимо, — позвал, могильно смеясь, гимназист Ватрушкин, поднимая занавеску, за которою пряталась Зоя.

Она выглянула, красная сквозь синее, и блеснула по комнате испытующими глазками, еще не зная, как приняты обществом ее прятки, а потому и о себе — как ей поступить: выйти из засады, смеясь или надувшись.

— А-а-а! — благосклонно протянул Модест, набрасывая пенсне. — Что я вижу? Легкомысленная сестра — в роли Керубино? Смею спросить о причинах?

— Все несчастное платье это, которое я сегодня облила какао, — угрюмо отвечала девушка, красная, как пион. — Васюков, — со свирепостью обратилась она к студенту, который, видя непривычное смущение храброй девицы, фыркал от смеха, как морж плавающий. — Если вы сию же минуту не перестанете грохотать, я выгону вас вон и никогда больше не позволю вам приходиться...

Студент опешил и, мгновенно превратясь из Санина в мокрую курицу, запищал извинения даже бабьим каким-то голосом, но Зоя, пренебрежительно отвернувшись от него, взяла брата Модеста под руку и увела его в темный зал.

— Однако легкомысленная сестра своих поклонников не балует, — заметил Модест.

Девочка отвечала практическим тоном прожженной пятидесятилетней кокетки:

— Дай им волю, только себя и видела... Этот болван из себя Санина ломает... Наши гимназистки пред ним тают и ахают... Ладно! У меня он потанцует. Ты там Санин либо нет, да я-то тебе не Карсавина...

Она самодовольно захохотала грубоватым контральто своим и стала жаловаться на ложные положения, в которые ставят их, младших, скупость и грубость Симеона. Вот до того дело дошло, что уже начинаешь шагов его бояться и пря-

чешься от него, как от зверя, рискуя унизиться и быть смешною в глазах какого-нибудь Васюкова.

— Ведь ты знаешь милый характер Симеона, — говорила она. — Достаточно было бы ему увидеть меня под свежим впечатлением этого злосчастливого платья, чтобы он разбрюзжался и расшипелся, как старый граммофон, нисколько не стесняясь присутствием чужих людей... Сорок четыре рубля! Сорока четырех рублей! — передразнила она. — Велика, подумаешь, важность его сорок четыре рубля: у Эмилии Федоровны пряжки на домашних туфлях по пятидесяти стоят... Знаешь: в пятнадцать лет, когда чувствуешь себя уже не девчонкой и около тебя кавалеры вздыхают, совсем не привлекательно превращаться пред этим желторожим нахалом в приготовишку трепещущую...

— Тем более, — согласился Модест, — что насладиться подобною метаморфозою ты еще успеешь завтра или послезавтра. Легкомысленной сестре предстоит жестокое столкновение с Симеоном, в котором легкомысленная сестра рискует потерпеть кораблекрушение. Даже с человеческими жертвами.

— По картам гадаешь или видел во сне? — насторожилась Зоя.

— Вычитал в газетах. Сегодня «Глашатай» указывает пальцем на некоторую женскую гимназию, будто в ней завелась «лига любви».

Зоя в темноте выдернула руку из-под его руки.

— Врешь? — живо вскрикнула она голосом, впрочем, более любопытным, чем испуганным.

— Почел долгом любящего брата предупредить легкомысленную сестру.

— Покажи газету.

— Могу. Пойдем ко мне. Оставил на столе...

— К тебе? — В голосе Зои послышалось насмешливое сомнение. — А ты не пьян сегодня?

— Ни в одном глазу. С утра, как проспался, не принял еще ни единой капли.

— Нагнись, дыхни.

Модест, не обижаясь, исполнил требование сестры.

— Что за чудеса? — сказала она с искренним удивлением. — Действительно, кажется, трезвый... Хорошо, в таком случае, пойдем.

— С каких пор, — невозмутимо спросил Модест, — с каких пор легкомысленная сестра записалась в члены общества трезвости?

— С тех пор, — тем же искусственно равнодушным тоном возразила девушка, — как глубокомысленный брат начал до того напиваться, что, возвратясь домой, не в состоянии различить сестру от Марфутки и делает ей гнусные предложения на возмутительной подкладке... Короче говоря: со вчерашнего вечера.

— Разве было? — спокойно справился Модест.

— А то нет? Благодарю своего Диониса, что налетел на меня, а не на Аглаю... Эта плакса такой бы вон подняла...

— Тогда как легкомысленная сестра выше предрассудков?

Зоя холодно объяснила:

— Легкомысленная сестра гимнастикой занимается и у цирковой девицы уроки борьбы берет — так ей пьяные любезности не так-то страшны... Вон у меня мускулы-то — попробуй!

— Мускулы недурны, — одобрил Модест, — но коль скоро легкомысленная сестра чувствует себя столь надежно вооруженною, то зачем нужна была предварительная экспертиза дыхания?

— Затем, что мне нисколько не лестно быть участницей подобного инцидента. Эти романические эффекты, глубокомысленный брат мой, величественны только в сверхчеловеческих романах и декадентских пьесах. В жизни они пахнут

весьма скверною грязью, в пятнах которой ходить потом более чем не занимательно. Мы живем не в «Мертвом городе» Габриэля д'Аннунцио, а просто в губернском городе. Берегись, Модест! В последнее время ты что-то линию потерял и все срываешься... Влетишь ты в какой-нибудь большой скандал, глубокомысленный брат мой!

Модест возразил, скрывая смущение в сарказме:

— Покуда, однако, влетел не я, но кто-то другой...

— Это ты про гимназию? Да, теперь пойдет переборка! — со смехом сказала Зоя, выходя с прыжками из темной залы на свет в коридор.

— Вот почему и предсказываю тебе Цусимское сражение с Симеоном.

— Не за что. Меня не касается.

— Ну да! Так я и поверил! Уж, конечно, зачинщица! — говорил Модест, лениво влача за нею свои слабые ноги.

— Напротив: умоляли, да не пошла, — равнодушно возразила Зоя, входя в Модестову комнату.

— Добродетель или благоразумие?

Она, забирая со стула газету, усмехнулась презрительно.

— Я не маленькая, чтобы не понимать, чем эти лиги кончатся. Не ребенок — так болезнь. Не скандал — так шантаж. Терять себя за удовольствие пить пиво с мальчишками и слушать вранье, как один ломается Саниным, а другой Оскаром Уайльдом, *pas si bête, mon cheri!**

— А Евино любопытство?

Она еще презрительнее сложила странные губы свои.

— Еще если бы у них там делалось что-нибудь такое, чего я из книг вообразить не могла.

— Теоретическое образование, значит, основательное получила? — усмехнулся брат.

— Из твоей же библиотеки, мой друг! — отрезала сестра.

* Не так уж я глупа, дорогой! (*фр.*)

Он развел руками, поклонился с важностью опереточного комика в герцогской роли и произнес сентенциозно:

— В наш цивилизованный век Мефистофель того и смотри, чтобы Маргарита его не развратила.

— Это ты-то Мефистофель? — насмешливо возразила Зоя, играя сложенной газетою.

— Да ведь не настоящий... — с искусственным смирением извинился он. — Сама же ты говорила: губернский город... Так... по губернскому уровню... третьего сорта...

Но она безжалостно потрясла тяжелою, в русских косах, головою и, отдувая губы, произнесла басом, с расстановкою:

— Der Knopf — giesz er...*

— Что такое?

— «Пеер Гинта» читал?

— Mademoiselle, за подобные оскорбительные вопросы мальчишкам уши дерут, а девочек целуют...

— Только не братья, — уклонилась она. — В «Пеер Гинте» есть такое действующее лицо... Der Knopfgieszer... Помнишь?

— Ну, положим, помню... Так что же?

— Мне кажется, тебе с этим господином не следует встречаться... Он тебе опасен — принесет несчастье...

И, громко расхохотавшись, выбежала из комнаты, тяжело топоча большими ногами своими и крича по коридору:

Das ist ja der Knöpfer — du bist uns bekannt
Und leider kein Sünder im höhern Verstand,
Drum giebt man dir nicht den Gnadenstosz
Ins Feuer, du kommst in den Löffel blosz... **

* Пуговицу — отливают он... (нем.)

** О, ты, Пуговичник, — ты нам знаком.

И, к сожалению, не грешник на вершинах власти,
Из-за этого тебя не прикончат

В огне, ты получишь лишь оплеуху... (нем.)

Модест, слушая этот оскорбительно-веселый, наглый, горластый смех, смотрел вслед сестре глазами, рекомендовавшими в обладателе своем отнюдь не Пеер Гинта, но, скорее, самого таинственного Пуговочника и даже, пожалуй, ту странную тощую духовную особу с лошадиными копытами, которую Пеер Гинт встретил несколько позже Пуговочника — на перекрестке... Даже губы у него побелели...

«Вот-с как? — думал он, кривя лицо. — Надо мною уже девчонки издеваться начинают?.. Хорошо ты себя устроил в этом доме, пане Модест... Скоро, кажется, только иохранишь ты престиж свой, что у безмолвно восхищенного идиота Ивана... А нельзя не сознаться: молодчиною растет у меня сестрица!.. Если я — неудачный полугрешный Пеер Гинт, гожусь только в ложку Пуговочника, то она то уже наверное — принцесса из царства троллей! Эту на пуговицы, по тринадцати на дюжину, не перельют.. не-е-ет!.. Не те... промеси!..»

Глупое слово, вскочившее в мысль, рассмешило его, и он возвратился к Матвею уже успокоенный.

V

В центре города, в хорошем тихом переулке между двумя богатыми дворянскими улицами без магазинов, а следовательно, с малою ездой, в собственном доме, пятиэтажном по длинному уличному фасаду, занимала бельэтаж та самая Эмилия Федоровна фон Вельс, имя которой так часто и так разнообразно повторяли и учитель Протопопов со своею учительницею, и Симеон Сарай-Бермятов с Вендлем, и Модест с Иваном, и даже пятнадцатилетняя Зоя... Имя это — имя недавней гувернантки, у которой еще и Зоя успела поучиться по Марго французскому языку, а уж старшая-то девица Сарай-Бермятова, Аглая, была вполне воспитанницей Эмилии Федоровны — имя это уже пятый год наполняло и город, и губернию. Подъезд ее квартиры, правда, не был местом

настолько казенным, чтобы охраняться будкою с часовым, но дежурный околоточный разгуливал по переулку денно и ночью и нигде в других местах города не было столь усиленного наряда городовых, нигде не шныряло больше переодетых сыщиков, обязанных бдеть от зари утренней до вечерней и от вечерней до утренней, наблюдая издали за великолепным подъездом этим. Стояла и двигалась вся эта верная стража, конечно, не для того, чтобы стеречь бессарабскую красоту госпожи Вельс, хотя и действительно выдающуюся красоту смешанной румынской и малороссийской крови — такую красоту, что всякому лестно похитить; но на случай посещения г-жи Вельс «хозяином губернии» и сиятельным и высокопревосходительным князем Аникитой Вассиановичем Беглербей-Васильсурским, в городском просторечии и юмористических журналах более известным под именем Аники Еруслановича. Посещения же его бывали часты, даже по несколько раз на день, и могли воспоследовать по фантазии князя во всякое время дня и ночи, когда лишь ему взбредет в полутатарскую его голову страстная или ревнивая мысль посетить приятельницу, в которой он души не чаял.

В настоящее время князя нет в городе: уехал на торжества по открытию какого-то патриотического монумента в одном из уездов. Но стража от того не менее неусыпна, ибо, если в администрации и полиции богоспасаемого града сего спросить любого под строгим, конечно, секретом, кого он более страшится: самого ли грозного князя Аники Еруслановича или Эмилии Федоровны Вельс, ответ почти наверное последует в том смысле, что, мол...

— Его сиятельство... что же... таким ангелам во плоти — в раю место... Но их превосходительство Эмилия Федоровна порядок лю-ю-любят!.. Чрезвычайно как любят порядок их превосходительство!.. И князь-то сам, когда к ним едут, так всегда бывают в сомнении, не было бы взыска. Ходит-ходит,

кружит-кружит перед зеркалом-то с камердинером: смотри, Виталий, внимательнее, нет ли где пушинки на мундире да не криво ли сидит паричок...

Каким образом Эмилия Федоровна Вельс превратилась в их превосходительство и кто произвел ее в генеральские чины, покрыто мраком неизвестности. Во всяком случае, супруг ее Людвиг Карлович, подаривший бедной дворяночке, урожденной девице Панталыкиной, громкую остзейскую фамилию фон Вельсов, здесь ни при чем. Он в чине коллежского асессора где-то далеко кем-то служит, не то в Ташкенте, не то в Благовещенске, получает от супруги весьма солидную пенсию, и все его брачные обязанности сводятся единственно к условию: не попадаться на глаза ни дражайшей своей половине, ни ее вельможному покровителю.

Симеон Сарай-Бермятов принадлежит к числу тех гостей Эмилии Федоровны, пред которыми команда ее телохранителей тянется в струну, когда они подкатывают к подъезду ее квартиры, хотя в городе он не пользуется ни любовью, ни хорошею репутацией да и не занимал покуда никаких сколько-нибудь видных должностей. Попасть к Эмилии Федоровне Вельс постороннему человеку, помимо делового визита, который надо спрашивать в особом, довольно сложном порядке, через третьи лица, — весьма трудно, но для Сарай-Бермятовых двери их бывшей гувернантки всегда открыты.

И сейчас Симеон был принят, несмотря на весьма позднее время, настолько позднее, что Эмилия Федоровна, не ждавшая посетителей, была уже в домашнем халатике и бездокладный гость нашел ее по указанию служанки в интимном будуаре, рядом со спальнею, у письменного стола, усердно пишущую на голубой бумаге письмо, которое при задверном оклике и входе Симеона она спрятала в ящик и звонко щелкнула замком.

Красивая женщина была Эмилия Федоровна. Красивая и сильная. Когда она в желтом плюшевом халатике своим

встала навстречу Симеону, пружинное движение стройного тела ее напомнило пуму в зверинце, взыграв, поднывающуюся у решетки на дыбы. И глаза ее алмазно сверкали, как у пумы, хотя были не зеленые, но темно-карие, а под немного слишком густыми, сближенными темным пушком бровями казались они совсем черными...

— Ба! Неужели вспомнил? — дружески улыбнулась она всем янтарным, румынским лицом своим, подавая Симеону маленькую горячую ручку в изумрудных кольцах, которую Сарай-Бермятов поднял было к усам своим довольно небрежно, но, услышав, что надо было ему что-то вспомнить, задержал ее на всякий случай и, хотя покуда ровно ничего не помнил, дважды горячо поцеловал.

— Ну еще бы не вспомнить... конечно, вспомнил! — с чувством произнес он.

— Вот за что спасибо так спасибо!.. Ты знаешь, я уже не настолько юна, чтобы праздновать этот свой день, и даже — грешна! — скрываю его от всех новых знакомых... Но как-то немножко грустно было: неужели из старых друзей... от тех времен, когда я была не madame фон Вельс, но хорошею девочкой Милечкой Панталыкиной.... неужели все так мало думают обо мне, что никто не вспомнит? И вдруг — ты... Откровенно говоря: меньше всех на тебя надеялась и тем более довольна — такой счастливый сюрприз!

«Вот ловко попал! — мысленно восхищался Симеон. — Уж истинно не знаешь, где найдешь, где потеряешь...»

А вслух говорил:

— Вспомнил, Милечка, вспомнил... Извини, днем было слишком хлопотно, не мог заехать и поздравить, но как только освободился, сейчас же потребовал лошадей: хоть и поздно, думаю, но — авось простит, лучше поздно, чем никогда... Извиняюсь лишь, что с пустыми руками. Когда я ехал к тебе, уже все порядочные магазины были заперты...

— Какие пустяки! Зачем мне? Я тебе и так рада. Не дорог твой подарок, дорога твоя любовь.

Последние три слова Эмилия Федоровна произнесла с насмешкой — не то над Симеоном, не то над собою, и беспокойные темные глаза кольнули лицо Симеона двумя острыми алмазными гвоздиками... Он сделал вид, что не заметил ни взгляда, ни тона, и на пригласительный жест ее равнодушно опустил в фигурные, пунцовым шелком обитые кресла, изображавшие разинутую пасть дракона, так что челюсти сего ужасного зверя служили облокотнями, а подушкой для сиденья был язык.

— Курить можно?

— Можно... Но лучше перейдем в диванную.

— Разве ждешь Анику? — усмехнулся Симеон.

— Именно потому, что не жду, и не надо курить здесь.

— Его привилегия?

Двуногая «пума» сверкнула алмазными глазами и кивнула головой, отвечая с небрежным сарказмом:

— Одна из немногих.

— Да ведь ему по вашей конституции ревновать не полагается?

— И вообще, и к тебе особенно...

— Так что же?

— Милый друг, все вы, мужчины, более или менее фетишисты. И в любви, и в ревности. Когда мне нравится какая-нибудь замужняя дама, я доказываю ей свое расположение прежде всего тем, что даю ей вернейший рецепт против ревности мужа и любовников... Пойдем.

— Можно узнать? — спросил Симеон, лениво следуя за ее мягко ползущим по коврам желтым, вспыхивающим в изломах материи хвостом.

— Пожалуйста, — возразила она, открывая в диванной электричество и располагаясь с ногами на турецкой софе. — Не дорого стоит!.. Очень просто. Сходясь с мужчиной, женщина должна прежде всего окружить его кольцом маленьких жи-

тейских фетишей, уверить его, что они необыкновенно важны и что они-то именно и символизируют его право на нее... Понимаешь?

— Понимаю... Тонко!

Она засмеялась, потягиваясь, и сказала:

— Я уверена, что, если бы моему Анике Еруслановичу донесли, будто я вот тут в диванной отдалась тебе, это его меньше огорчит, чем если бы его сиятельное обоняние учуяло в моем будуаре запах чужой сигары или папиросы.

— Рассказывай!

— Уверю тебя... Все вы такие. Фетишисты! Фетишисты! Да!

— Ты и ко мне эту мудрую систему применяла в прежние славные дни наши? — надменно усмехнулся Симеон.

«Пума» сверкнула глазами и легла подбородком на белые изумрудные руки свои.

— Нет, — сказала она с тягучею медлительностью, не то грустя, не то насмехаясь, — нет... к сожалению, тогда нет. Была молода, была глупа, была честна...

— Сколько искренней скорби о том, что не успела вырастить своего ближнего в дураки!

Эмилия Федоровна остро посмотрела на него и слегка прикусила алую губку.

— Будешь скорбеть, когда вспомнишь, в какую дуру меня-то самое ближний вырядил, — протяжно сказала она.

Симеон смешался и, потеряв ответ, усиленно курил, окружаясь синим дымом... А госпожа фон Вельс, равнодушная и спокойная, рассказывала ему про вчерашний пикник, устроенный в честь ее казенным пригородным лесничеством, как все было безвкусно, неумно и скучно...

— Единственный интересный человек был твой брат Модест, да и тот вскоре напился до того, что от него надо было прятаться...

Симеон сделал гримасу отвращения.

— Сокровище! — процедил он сквозь зубы.

— Ничего, — успокоительно возразила Эмилия Федоровна. — Он алкоголик из легких. У него это быстро и ненадолго. С рюмки хмелеет, в полчаса вытрезвляется.

— То и скверно, — сердито возразил Симеон. — Пьяный он нахал, а с похмелья злой, как ехидна. Охота тебе с ним якшаться.

Эмилия Федоровна потянулась пумою в желтом плюше.

— Люблю неврастеников. Как лотерея. Шут, шут, а вдруг — пулю пустит?

Симеон усмехнулся, качая головою.

— Мальчишек к себе приближать стала... Обидный признак, душа моя.

— Что делать? — равнодушно возразила Эмилия Федоровна. — Стараюсь. Сегодня мне исполнилось тридцать лет.

Симеон саркастически обнажил серпы свои.

— Для публики — двадцать четыре? — подчеркнул он.

— Ты не публика.

Она устала локти, как подпорки, на мягкую пеструю ткань софы, положила подбородок и щеки в ладони и, пристально глядя на Симеона, говорила, янтарная лицом под черною массою сдвинувшейся вперед прически, сверкающая глазами из-под черных, слишком густых бровей и изумрудами в маленьких розовых, заслоненных тьмою волос, ушах и на белых, погруженных в эти волосы, пальцах.

— Я очень благодарна тебе, что ты все-таки приехал. Тридцать лет — для женщины важный срок. Перелом. Мне было бы грустно, если бы в такой день ты не захотел повидать меня. Ты так много значил в моей жизни.

Симеон поклонился с двусмысленною вежливостью, которая ответила на прочувственный тон г-жи Вельс уклончивым, но прозрачным отказом принять беседу в таком сентиментальном направлении.

— Видишь ли, Миля, — сказал он, повертывая — круто и грубо, по своему обыкновению, — разговор с этой опасной

и скользкой для него темы. — Видишь ли, Миля. Хотя подарка я тебе для дня рождения не принес, но кое-что приятное для тебя все-таки имею.

Он вынул бумажник и из бумажника — пачку кредиток. «Пума» на софе смотрела на него заискрившимися глазами, выражение которых не говорило о большой радости.

— Приехал я, между прочим, затем, чтобы передать тебе остальные деньги согласно нашему условию. Получи.

Она пожала плечами.

— Если тебе угодно — пожалуй, давай. Я могла бы ждать. Мне все равно.

— Очень угодно, — решительно сказал он. — Я из тех людей, которые, куда знают за собою денежный долг, чувствуют себя несчастными, душа ноет и мозги скулят, как слепые щенята.

— Долг долгу рознь, — бросила «пума» как бы не ему, а в воздух, осияв Симеона серьезными, предостерегающими глазами.

Симеон умышленно пропустил это замечание мимо ушей.

— Этою тысячей мы с тобою по мерезовскому делу квиты, — сказал он, протягивая Эмилии Федоровне руку с пачкою.

Та, видимо, раздумывала, брать или нет, и красивые пальчики левой руки, которою она наконец взяла деньги, слегка дрожали под изумрудами.

— Уж не знаю, — двусмысленным тоном недоумения возразила она, без благодарности пряча пачку под желтый халатик свой, за лиф, — уж не знаю, Симеон, квиты ли мы.

Правая щека Симеона прыгнула, но он сдержался и сухо отвечал:

— Я свои обязательства исполнил, и даже с излишком.

— Но я-то в своих обязательствах просчиталась, — холодно возразила Эмилия.

Он пожал плечами.

— Вина не моя.

Она смотрела на него в упор блестящими укоряющими глазами и, качая прическою, которая мохнатым курганом плясала на тени, говорила медленно и веско:

— Ты едва надеялся умолить дядю хоть на третью часть от Мерезова, а успел выклянчить все.

— Что же, тебе Мерезова жаль? — зло усмехнулся Симеон.

Она искусственно холодным жестом отвернулась и стала тянуться пумою, почти лежа на спине.

— Что же, тебе Мерезова жаль? — повторил Симеон.

Она все в той же позе отвечала со строгим укором:

— Прошли годы, когда я жалела мужчин. Но, конечно, разорять его я не собиралась.

— Хорошо он разорен! Двадцать пять тысяч я ему должен выделить.

— Из пятисот с лишком? — едко возразила Эмилия. — Без меня было бы наоборот.

Щеку Симеона страшно дернуло.

— Об этом теперь говорить поздно, — произнес он с тяжелым усилием над собою, чтобы не ответить резкостью.

Она равнодушно возразила, лежа все также навзничь и не глядя на него:

— О, я знаю и не спору. Просчет свой хладнокровно пишу себе в убыток, а на будущее время кладу памятку.

— Вряд ли нам придется считаться еще раз, Эмилия. Я кончаю дела свои.

— Слышала я. Невесту ищешь?

— Может быть.

— Лилию долины? — говорила она в нос, с пафосом актрисы из мелодрамы. — Невинный ландыш весенних роц?

— Не смейся! — сказал Симеон с новою судорогою в щеке.

Тогда Эмилия Федоровна вдруг перешла из позы лежачей в сидячую и, схватив руками колени, устремила в лицо Симеона испытующий взгляд сверкающих очей своих.

— Женился бы ты лучше на мне, — спокойным и твердым голосом, без всякой неловкости и волнения произнесла она.

Предложение это Симеон слышал уже не в первый раз, привык к нему, как к своеобразному чудачеству своей собеседницы, и потому отвечал со спокойною сдержанностью, нисколько не боясь Эмилию Федоровну обидеть:

— Ты знаешь мои взгляды на брак.

Она опять откинулась навзничь, точно он ее ударил, и долго лежала молча, с закрытыми глазами.

— Да, в ландыши я не гожусь! — услышал он наконец и, тоже помолчав в искусственной, нарочной паузе, потому что ответ его был готов сразу, произнес тихо, интимно:

— А я злопамятен и ревнив к прошлому.

Она поймала звук неуверенности в его голосе, и улыбнулась про себя, и не дала Симеону оставить за собою последнее слово.

— Которое сам сделал! — строго подчеркнула она.

— Не один я! — смело и сухо огрызнулся Симеон,

Этого пункта в спорах со старою своею приятельницею он никогда не боялся. Эмилия не нашлась, что возразить, и промолчала. Она лежала и думала, Симеон молчал и курил.

— Жаль, что бастуешь, — сказала Эмилия наконец. — Аника мой страх в гору идет. Баллотировался бы ты в предводители. Год за год, ступенька за ступенькою я тебя в министры вывела бы.

Он отрицательно тряхнул головою.

— В короли зови — не пойду. Устал.

— Я тебя крупнее считала.

— Не ты одна. Я сегодня с Вендлем говорил уже на эту тему. Пройдет два-три года, и все, кто воображал меня волком каким-то, убедятся, что я спокойнейший старосветский помещик с единственным идеалом: дожить в мире со своею Пульхерией Ивановной до восьмидесяти лет.

— А сестры? — после долгой паузы выжидающим голосом, будто вся настороженная, спросила Эмилия.

Симеон презрительно дернул плечами и, оскалив серпы свои, бросил короткое безразличное восклицание:

— Ба!

Тогда Эмилия Федоровна быстро поднялась и села на софе, спустила ноги на пол и, сдвинув брови, сверкая глазами, заговорила тоном человека, который не только видит своего неуважаемого противника насквозь, но ничуть и не намерен скрывать от него свое неуважение:

— Если бы я была твоею сестрою, я постаралась бы опозорить имя твое, которым ты так чванишься, как только сумела бы хуже.

— Очень рад, что ты не моя сестра! — насмешливо улыбнулся смущенный Симеон.

А она продолжала, негодуя:

— Хорошую молодость ты им устроил, нечего сказать! Ведь в вашем доме дышать нечем: тоска и злоба углекислотою ползут.

— Выйдут замуж, устроят жизнь по-своему, — старался как можно равнодушнее парировать он.

Она с презрением возразила:

— А где женихи?

— Зое рано еще, а вокруг Аглаи мало ли увивается? У братьев товарищей много. И студенты, и офицеры.

— Это не женихи, но так, бывающие молодые люди. Аглаю за человека без состояния выдавать нельзя. Она красавица.

— Разборчивою невестою с ее приданым быть не придется.

— Красавица замужем за нищим — либо мученица, либо кокотка.

— Уже это — на ответственности будущего супруга, — равнодушно возразил Симеон.

— Тебе, следовательно, только бы ее вдвоем с кем-нибудь в церковь к аналою впихнуть? — ядовито язвила, сверкая глазами, Эмилия.

Но Симеон был как в броню закован. На саркастический вопрос ее он отвечал почти с добродушием:

— И хотелось бы — поскорее. Ты имеешь на нее влияние. Внушай при случае, что пора развязать брату руки.

Она засмеялась горько, оскорбительно.

— Лишнее, мой милый. Ты сестрам настолько надоел, что — было бы за кого, а выскочат без оглядки.

— Любезные слова ты мне говоришь!

— Разве ты их от меня одной слышишь? — холодно возразила она.

Он примолк и окутался облаком дыма. Эмилия Федоровна тоже долго молчала, обнимая колени свои, задумчиво сверкая в пространство алмазными глазами. Потом заговорила серьезно, внушительно:

— Как ты хочешь, Симеон Викторович, а для Васи Мезезова ты обязан что-нибудь сделать... Победитель должен быть великодушным.

— Должен... обязан... — иронически повторил Симеон. — Как, право, у вас, женщин, все это категорично и скоро...

— Уж не знаю, скоро ли у нас, женщин, — строго оборвала Эмилия, — но тебе, мужчине, я советовала бы с этим поспешить.

— Зачем? — глухо спросил он, уклоняясь от взгляда ее.

Она отвечала значительно и протяжно:

— Для успокоения общественного мнения.

Правая щека Симеона прыгнула судорогой.

«Вот оно!» — подумал он про себя, но промолчал.

— В городе тобою очень недовольны, Симеон...

Он отозвался с сердцем:

— Вот на что мне — извини за выражение — в высокой степени... наплевать.

— Не думаю, — возразила она спокойно, — не думаю; чтобы так... не думаю, чтобы совершенно наплевать, Симеон... Особенно для человека, мечтающего сорвать в законном браке благоуханный ландыш.

— О, что до этого касается, — криво усмехнулся он, — то с теми средствами, которыми я теперь могу располагать, ландыши рвать не трудно... И дьявол сорвет, а надеюсь, я имею все-таки некоторые физические и моральные преимущества пред этим джентльменом.

— Ты же, помнится, о женитьбе по любви мечтал? — со спокойным удивлением возразила Эмилия.

Симеон кивнул головою.

— И мечтаю.

— Не похоже...

— Женюсь на той, которую поллюблю, — объяснил Симеон.

— А она?

Он горько усмехнулся.

— А она мне верна будет. Я стану ее беречь как зеницу ока, и она мне будет верна. Дети будут... много детей... хороших... Сарай-Бермятовых!

Алмазные глаза Эмилии Федоровны затуманились не то презрением, не то жалостью.

— Это... любовь? — спросила она с расстановкою.

Он пожал плечами.

— Чего же ты хочешь? Я не дурак и знаю жизнь. В мои годы, с моей изломанной жизнью я не могу рассчитывать на большее... Ландыши отлично растут на перегное и, вероятно, очень ему благодарны за питание, но вряд ли они пылают к нему нежною страстью.

Эмилия Федоровна, зажав янтарное лицо в белые ручки, осиянные изумрудами, глядела на него из-под черного леса прически долго, вдумчиво, серьезно.

— Несчастный ты человек, Симеон! — вздохнула она.

Сарай-Бермятов дрогнул щекою.

— Ну вот, — пробормотал он с усилием перевести гримасу в улыбку, — дожил и волк до того, что жалеть его стали...

— Несчастный, истинно несчастный, — повторила она. — Жалела я тебя и тогда, когда ты за этим своим наследством охотился, а теперь вдвое жалею. Плохо твое дело. Погубит оно тебя. Лучше для тебя было бы никогда не прикасаться к нему...

— Ну, я другого мнения, — сухо возразил он, — и притом, милая Сивилла...

Он выразительным кивком указал на место, куда Эмилия Федоровна только что спрятала полученные от него деньги. Янтарь лица ее чуть покраснел, будто зажегся внутренним огнем, но отвечала она спокойно, голосом равнодушным, ничуть не дрогнувшим и не повышенным:

— А что мне? Я тут орудие, человек посторонний... Ты попросил у меня помощи, я тебе сказала, что помощь моя будет стоить столько-то, ты заплатил, я помогла — и сегодня вот ты сам же, как только приехал, поспешил заявить мне, что мы квиты... Ну, квиты так квиты. Но права психологической критики чрез это я, надеюсь, не лишена...

— Зачем же помогла, если верила, что помогаешь во вред мне? — недоверчиво усмехнулся Симеон.

Она искусственно удивилась, широко открывая алмазы глаз.

— Да кто ты мне? Муж? Брат? Отец? Любовник? Э, миленький! «Було колысь»*, как говорит мой кучер Ничипор... Имеешь свой разум в голове, на что тебе моя маленькая женская сметка... Квиты, голубчик, квиты!

Он, насупясь, молчал в табачном дыму, а Эмилия Федоровна, сменив иронический тон на деловой и согнав улыбку с лица, говорила строго и раздельно, советуя так, будто приказывала:

* «Было когда-то» (укр.).

— Однако квиты, да не совсем. В наши коммерческие расчеты вмешалась, к несчастью, психология, и она, увы, не удовлетворена. Я решительно не могу позволить тебе пустить Васю Мерезова нищим по миру...

— Нищий с двадцатью пятью тысячами рублей! — огрызнулся Симеон.

— Велики деньги! У него, я думаю, долгов вдвое.

— Я их делал, что ли, чтобы за него платить?

— Ты не ты, но кредит Мерезову оказывали как верному и законному наследнику покойного Лаврухина, и, конечно, если бы ты не перехватил завещания...

— Что за выражения, — вспыхнул Симеон. — Понимаешь ли ты, что говоришь!

Она с любопытством смотрела на его дергающуюся щеку.

— Извини, пожалуйста, — этим грубым, но коротким словом я хотела только сказать: если бы, покуда мы с Мерезовым были за границей, ты не сумел заставить старика Лаврухина написать завещание в твою пользу... ничего более!

— Да, да, — сердито проворчал он, — но вышло у тебя более... и много... очень много более! Ты думаешь, я не знаю, какие сплетни распространяются обо мне по городу? У меня сегодня Вендль был... анонимки получаю... смысл фразы твоей я очень хорошо понимаю, Эмилия... очень...

— Я не думала сказать тебе что-либо неприятное и обидное, — возразила она. — Если так вышло нечаянно, то еще раз извиняюсь. Но... раз уже наш разговор коснулся этих слухов, я позволю себе спросить тебя: как ты к ним относишься?

Он встал с места и, стоя, положил руки в карманы брюк дерзким, фамильярным жестом, которого не позволил бы себе при посторонней женщине, и отвечал, дергая щекою, со смелым вызовом:

— Прежде чем отвечу, мне любопытно знать: как ты к этому относишься?

Она молча шевельнула плечом... Он взгляделся в окаменелый янтарь лица ее и во внезапном ужасе выставил вперед руки с растопыренными ладонями, будто для самозащиты.

— Веришь?!

Она молча сомкнула ресницы.

— Веришь, что я...

В голосе его зазвучали страшные ноты... Она взвесила их в уме своем, потом открыла глаза и мягко сказала:

— Я не верю, что ты тут прямо при чем-либо, но верю, что в пользу Мерезова было составлено какое-то завещание и что завещание это исчезло неизвестно куда...

— Веришь?!

Она молча склонила голову.

И оба молчали.

И тихо было в пестрой и блеклой турецкой диванной, под фонарем, который расцветал ее узоры своею острою не мигающею электрическою жизнью.

Наконец Симеон поднял опущенную, будто раздавленную, голову и произнес значительно, резко, твердо:

— Верить подобным слухам, Эмилия Федоровна, все равно что считать меня вором.

— Далеко нет, — спокойно остановила она, — это значит только, что ты пришел и сел на пустое место, не поинтересовавшись тем, почему оно опустело.

— Ты мне помогала в том, чтобы я сел на место это, да, ты мне помогала! — воскликнул он, обратясь к ней почти с угрозою. — Помни это!.. Если ты берешь на себя смелость меня осуждать, то не исключай и себя: значит, ты моя соучастница.

Она резко возразила:

— Поэтому-то я и не безразлична к тому, как город это принял и что говорит... Я совсем не желаю быть припутана в молве людской к грязному делу... Ты опять киваешь, что

мне заплачено? Ошибаешься. Мне заплачено за дележ, а не за грабеж.

Он угрюмо молчал, а она, сверкая глазами, наседала на него все строже и строже:

— Ты, когда решил раздеть Васю Мерезова, не учел его значения в городе, ты позабыл, что он всеобщий любимец...

Презрительно засмеялся Симеон.

— Завтра я открою дом свой всякому встречному и поперечному, устрою разливанное море вина за обедом и ужином, приглашаю гитаристов, цыганистов, рассказчиков из русского и еврейского быта, найму две-три тройки бессменно дежурить у моего подъезда — и буду, если захочу, таким же любимцем... вдвое... втрое!

— Сомневаюсь. Ты не из того теста, из которого вылупливаются общие любимцы. Тут надо тесто рассыпчатое, а ты... укусный ты человек, Симеон! — засмеялась она, сверкая живыми алмазами глаз и каменными огнями серег. — Да и во всяком случае, это будущее, а Мерезова любят и в прошлом, и в настоящем.

— Чем же я виноват, если для того, чтобы угодить вашему милому обществу, надо быть не порядочным человеком, а пьяницей, мотом и развратником? — угрюмо откликнулся из табачного облака Симеон. — На этих стезях бороться с Василием Мерезовым у меня не было ни времени, ни средств, ни охоты, ни природы... Притом, — презрительно усмехнулся он, — наблюдая за любезным братцем моим, Модестом Викторовичем, не замечаю, чтобы способ Мерезова был уже так непреложно действителен. Негодяйства и беспутства в Модесте не менее, однако не очень-то красива его городская репутация. Скоро ни в один порядочный дом пускать не будут.

— Чему же ты радуешься? — холодно остановила его Эмилия.

И, так как он не отвечал, а только курил и дымил гневно, она покачала с грустью темным снопом волос своих, заста-

вив сквозь ночь их блеснуть зелеными звездами изумрудные серьги.

— Как вы, Сарай-Бермятовы, все ненавидите друг друга... Какая ужасная семья! Все одичали, озверели... Только Матвей да Аглая и сохранили в себе искру Божию...

— Юродивый и блаженная, — презрительно бросил Симеон. — Виктора еще помяни! Не достает в коллекции.

— Виктора я слишком мало знаю, — грустно сказала Эмилия Федоровна, — он всегда чуждался меня... А уж с тех пор, как я сошлась с Аникитою Вассиановичем, по-видимому, я совершенно утратила его уважение... Что же? Он прав. Мое общество не для таких последовательных ригористов...

Симеон сердито курил и зло улыбался.

— Вот как в один прекрасный день, — грубо сказал он, — этот самый ригорист прострелит твоему Аниките его татарское брюхо, тогда ты достаточно узнаешь, что за птица этот господин Виктор наш.

Эмилия оглядела его с внимательным недовольством.

— Удивительный ты человек, Симеон!

— Ну и удивляйся, если удивительный... — пробормотал он, бессознательно повторяя «Гамлета».

— Очень удивительный: неужели ты не понимаешь, что ты вот сейчас на брата донос сделал?

— Кому?.. Тебе?.. Ты, кажется, не генерал-губернатор, не полицеймейстер, не жандармский полковник, не прокурор...

— Так ли ты уверен в том, что говоришь? — остановила она его ледяным голосом.

Он, смущенный, умолк.

— То-то вот и есть! Эх ты!..

— Ты сегодня нервная какая-то, — буря лицом, пробормотал он, — говорить нельзя: придираешься к словам... Кажется, не трудно понять шутку... между своими...

— Ты думаешь? Наивен же ты, если не лжешь. Между своими! А Аникита Вассианович мне чужой? Подобные

шутки в наше время отправляют людей на виселицы и в зерентуйские стены...

Симеон молчал, и по упрямому лицу его Эмилия ясно видела, что, собственно говоря, он решительно ничего не имеет против того, чтобы Виктор именно в зерентуйские стены и был заключен... И было ей и жаль, и противно...

— Глупая сантиментальность! — произнесла она, думая вслух. — И за что только я вас, Сарай-Бермятовых, люблю? Так вот застряли зачем-то вы все в душе моей с ранних годов девических... и давно бы пора выкинуть вас вон из сердца, как из вазы букет завядший. А вот — не могу, держит что-то... Глупая сантиментальность!.. Но — берегись, не злоупотребляй, Симеон! Не злоупотребляй!

Эмилия Федоровна встала, хмуря, сдвигая к переносью полуночные брови свои.

— Ну-с, — произнесла она решительно и опять как бы приказом, — время не ранее... Еще раз спасибо за честь, что вспомнил новорожденную, и тысяча эта, которую ты привез, — merci, — пришлось мне кстати, а теперь отправляйся: у меня деловые письма не дописаны... А Мерезова ты мне, как хочешь, изволь устроить — иначе поссоримся, это я тебе не в шутку говорю...

— Странная ты женщина, Эмилия! Ну сама подумай, чего ты от меня требуешь? Сама же говоришь, что у него долгов на пятьдесят тысяч... Что же — прикажешь мне, что ли, ни за что ни про что подарить ему стотысячный куш: половину на расплату с долгами, половину на новый пропой?

— Зачем сразу гиперболы?

— Да дешевле его на ноги не поставить...

— Долги можно и не сразу гасить. Если он половину заплатит, то обновит кредит и будет в состоянии жить, а Аникита Вассианович даст ему хорошее место...

— Украсите ведомство! — злобно засмеялся Симеон.

— Э! Не хуже других! Слушай, — быстро заговорила она, поспешно, обеими руками поправляя прическу, что всегда делала, когда оживляла ее вдохновляющая мысль. — Я укажу тебе путь к примирению... благодарить будешь! И волки сыты, и овцы целы... Слушай: отчего бы тебе не прикончить всей этой родственной неприятности в родственном же порядке? Давай женим Васю на Аглае... вот и сплетням конец.

Сарай-Бермятов хмуρο молчал размышляя.

Идея ему нравилась.

— За Аглаей всего пять тысяч рублей, — нерешительно сказал он. — Какая же она Мерезову невеста?

— От себя накинешь...

— Да! Все от себя да от себя!

— Знаешь, Симеон: иногда вовремя подарить единицу — значит безопасно сберечь сотню.

Тон ее был значителен, и опять Симеон почувствовал угрозу, и опять подумал про себя: «Вот оно!»

— Я подумаю, — отрывисто произнес он, поднося к губам руку Эмилии.

— Подумай.

— Сомневаюсь, чтобы вышло из этого что-нибудь путное, но... подумаю... доброй ночи.

— До свиданья... А подумать — подумай... и советую: скорей!..

«Вот оно! — снова стукнуло где-то глубоко в мозг, когда Симеон, мрачный, выходил от Эмилии Федоровны и на глазах козырявших городских усаживался в экипаж свой. — Вот оно! Где труп, там и орлы...»

С унылыми, темными мыслями ехал он унылым, темным городом, быстро покинув еще шевелящийся и светящийся центр для спящей окраины, будто ослепшей от затворенных ставен... На часах соседнего монастыря глухо и с воем пробило час, когда, поднимаясь в гору, завидел он издали в дому-

казарме своем яркое окно, сообразил, что это комната Матвея, и, приближаясь, думал со злобою, росшею по мере того, как росла навстречу сила белого огненного пятна: «Жги, жги ацетилен-то, свят муж!.. Горбом не заработал, не купленный. О отродья проклятые! Когда я только вас расшвыряю от себя? Куда угодно... только бы не видали вас глаза мои, только бы подальше!»

VI

За окном, позднее освещение которого так возмутило Симеона Бермятова, происходил между тем разговор странный и лукавый... Гости давно разошлись. Иван со слипшимися глазами и Зоя, громко и преувеличенно зевая и браня Аглаю, которая не возвратилась с десятичасовым поездом и, стало быть, заночевала в дачном местечке у знакомой попадьи, распростились с братьями и пошли по своим комнатам спать. Остались вдвоем Матвей, севший к столу писать письма, да Модест — он лежал на кровати Матвея под красивым пледом своим и, облокотясь на руку, смотрел на согнутую спину брата горящим взглядом, злым, насмешливым, хитрым...

«Так в ложку меня? В ложку Пуговочника по тринадцати на дюжину? Не годен ни на добро, ни на яркое зло? Ни Богу свеча, ни черту ожог? А вот посмотрим...»

И он лениво окликнул:

— Матвей!

— Что, Модя?

— Как тебе понравилась нынешняя аллегория остроумного брата нашего Симеона Викторовича, иже дан есть нам в отца место?

— О Рахили?

— Да.

Матвей повернулся на стуле, держа перо в руках, почесал вставочкой бровь и серьезно сказал:

— Я думаю, что, хотя он, по обыкновению, говорил в грубом практическом смысле, но символ удачен, может быть, расширен, одухотворен... и, в конце концов, Симеон в своем обобщении прав...

— Я того же мнения.

Модест закурил и нагнал между собою и Матвеем густой полог дыму.

— Этот спор, — сказал он серьезно, — у нас, как водится, соскочил на общие места, и за ними тоже, как водится, все позабыли начало, откуда он возник... Ты вот все со Скорлупкиным возишься...

— Да, — грустно вспомнил огорченный Матвей, — бедный парень... грубо и безжалостно мы с ним поступаем...

— Ну, положим, и дубину же ты обрящил, — скользнул небрежно аттестацией Модест, закутывая правую ногу левую в плед. — Знаешь, что я тебе предложу? Пригласи меня на помощь. А? Отдай своего протеже мне. Я его тебе обработаю — даю слово... в конфетку! Право!

Матвей с укоризною покачал головой.

— После того, как ты его сейчас сам назвал дубиной?

— А быть может, именно это-то обстоятельство и подстрекает мое усердие? Это очень гордый и лестный воспитательный результат — именно дубину взять и обтесать в тонкий карандаш, коим потом — черным по белому — что хочешь, то и пишешь...

— Я стараюсь дать образование Григорию совсем не для того, чтобы он был моим карандашом, — слегка с обидою возразил Матвей.

— Да? Я всегда говорил, что ты у нас в семье нечто вроде белого дрозда или зеленой кошки... Почему Симеон не показывает тебя за деньги? Впрочем, время еще не ушло. А покуда мы обеспечены наследством.

— Разве я сказал что-нибудь дикое?

— В достаточной мере... Полагаю, всякий учитель берет учеников с тем, чтобы в них отразить и продолжить самого себя, а не врагов и оппонентов себе вырабатывать... Естественная сила эгоизма, мой друг, в творчестве педагогическом властвует и действует столько же, как и во всяком другом... И — какого убежденного учителя ты ни исследуй, именно лучшие-то из них и оказываются совершеннейшими эгоистами по влиянию... Понимаешь меня? Более того: тут, если хочешь, в том-то и наибольший альтруизм заключается, чтобы быть как можно большим эгоистом и делать из питомца человека не по тому образу и подобию, как он сам хочет или другие советуют, но — куда тянут симпатии воспитателя...

— Ты отчасти прав, — с грустью сказал Матвей, — в воспитании, на дне где-то, есть осадок насилия... Может быть, слабый, может быть, парализованный прекрасной целью, но есть... Когда я пробовал быть педагогом, я его чувствовал — этот внушающий эгоизм влияния, как ты говоришь, эту жажду перелиться в душу учеников своею личностью, настоять, чтобы именно вот ты, такой-то, а не другой кто отразился в зеркале души, которое ты шлифуешь... Потому и бросил...

— Вот видишь... Стало быть, о карандаше я не так уж нелепо сказал.

— Ты не нелепо сказал, — тихо возразил Матвей, — а цинично... Всякое образование, всякое воспитание — конечно, временная условность. Когда все люди дойдут до сознания в себе Бога и поймут его истину, воспитание и образование станут не нужными...

— Но покуда Иван-Дураково царство не наступило и земля не залита океаном неблаговоспитанности...

Матвей пронизательно смотрел на брата и говорил:

— Что ты, что Симеон — странные люди. Вы оба на ближних, как на пешки, смотрите, которые будто для забавы вашей сделаны, для шахматной игры, и каждого вы принимаете именно с этой точки зрения: на что он годится? Не сам

по себе на что годится, а вам, вам на что годится? Как бы в него сыграть?

«Скажите пожалуйста?! — думал в дыму изумленный и несколько даже сконфуженный Модест. — Матвей Блаженный характеристики закатывает... Вот и не верьте после этого в прозорливость юродивых! Пряядовито в любимую точку попал, шельмец, да еще и жалеет...»

Размахал дым рукою и заговорил:

— Если ты сам не хочешь обратить Григория Скорлупки-на в карандаш свой, то уступи его мне...

Матвей отрицательно покачал головою.

— Не хочешь? Но ведь кто-нибудь же да сделает из него свой карандаш? Ты знаешь: *res nullius cedit primo occupanti**.

— Я не могу ни уступать живого человека, ни задерживать его при себе. Но я не скрою от тебя, Модест, что я был очень огорчен, если бы Григорий оказался каким-либо случаем под твоим влиянием.

— Да? Мило и откровенно! Почему?

— Потому что — я боюсь — в твоих руках этот карандаш напишет вещи, очень нехорошие для себя и для других...

Модест улыбнулся с превосходством и сказал:

— Ах, Матвей, хоть от тебя-то таких слов не слышать бы... Когда вы, окружающие меня, умные и добродетельные люди, поймете, что вся моя страшная и развратная репутация гроша медного не стоит и, в сущности, я совсем уж не такой черт, как...

— Я и не боюсь твоей репутации, Модест, — серьезно и мягко остановил его брат. — Я знаю очень хорошо, что в слухах и толках, которые о тебе распускают по городу разные легкомысленные люди, все преувеличено по крайней мере во сто раз...

* Ничья вещь принадлежит тому, кто первым ее захватит (*лат.*).

— Ну, положим, не во сто, — проворчал Модест. — Если во сто, то — что же останется?

— А в преувеличениях ты сам виноват, потому что они тебе нравятся...

— Скажите, какой сердцевед! — отозвался Модест с искусственным смехом.

Но Матвей спокойно повторил:

— Да, Модя, нравятся. Я не знаю почему, но в последнее время встречаю ужасно много людей, которым нравится, чтобы их считали жестокосердными злодеями, бесчувственными развратниками и сладострастными Карамазовыми... Ты, к сожалению, из них.

— Из них? — насильственно усмехнулся Модест. — Это прелестно — твое обобщение: из них... До сих пор я имел слабость думать, что я сам по себе... единица... Оказывается, я — дробь, часть какого-то неопределенного целого... «из них»... Гм...

— Нет, нет, — в невинности душевной поспешил успокоить его Матвей, — ты напрасно боялся и обособлял себя... Таких сейчас множество, бесконечное множество...

«Молчи! — едва не крикнул ему Модест, чувствуя судорогу бешенства в горле и видя зеленые облака, заходившие перед глазами. Но вовремя сдержался, перевел злобный окрик в кашель и, прикрыв лицо рукавом, будто от яркого света лампы, слушал, притаясь, и думал во внутреннем кипении, будто в нем с каких-то органов самолюбия заживо кожу снимали. — Везет же сегодня мне... разжалованному Мефистофелю... ну-с, дальше?» — думал он.

А Матвей говорил:

— Я уверен, что, какие бы нехорошие вещи ты ни говорил — быть может, иногда ты их даже делал, — это в тебе не твое главное, это — сверху, это — не ты...

— Я не я, и лошадь не моя! — презрительно бросил Модест, притворяясь, будто согласен.

— Ты можешь вовлечься во что-либо отвратительно грязное, сальное, унижающее твою человечность. Но я уверен: если бы случай или чья-либо злая воля поставили тебя лицом к лицу с конечным грехом и злом...

— Чья-либо? — усмехнулся Модест. — А не своя собственная?

— Твоя собственная воля никогда тебя на такой конец гибели не приведет.

Модест круто повернулся носом к стене.

— Ну, конечно! — пробормотал он. — Где же мне... Пеер Гинт! Ну-с, так лицом к лицу с конечным грехом и злом..

— Я уверен, что ты найдешь в себе силу пред ними устоять... и повернуть на другую дорогу.

«То есть — струсить», — горько переводил себе Модест.

— И, быть может, только тогда ты найдешь в себе себя самого. Потому что ведь ты себя совершенно не знаешь и собою себя обманываешь. Ты совсем не Мефистофель какой-нибудь...

— Слышал уже сегодня! Знаю!

— Не Дон Жуан, не Нерон, не Фоблаз...

— А просто кандидат в ложку Пуговочника. Знаю!..

Модест смеялся долго и нервно, так что и Матвей засмеялся.

— Я очень рад, что ты все это так просто и весело принимаешь, — сказал он. — Это очень хороший знак... В тебе много детского, Модест. Знаешь ли ты это?

— О да! Ужасно! Купи мне матросскую курточку и панталончики... и лакированную шляпу с надписью: «Орел».

— Ну, а вот видишь ли, — перешел Матвей в серьезный тон, — тот, кого ты предлагаешь взять в свою опеку, Григорий Евсеич мой, Скорлупкин, человек совсем другого сорта... Может быть, он не весьма умен, и вот — наши образовательные опыты показывают, что он не талантлив, даже не

способен... Но я искренно счастлив, что нам удалось извлечь его из среды, в которой он рос и получил первые воспитывающие впечатления. Потому что среда эта — насквозь отравленная жадностью, мелкою злобою, лицемерием, ханжеством, сластолюбивая, похотливая, полная коварства, лести и лжи... Мещанство и черная сотня — в полном объеме этих понятий. Если он нашел в себе достаточно сознательной силы, чтобы отдалиться от родного мирка и стать под наше влияние — ну, мое, Аглаи, Грубина, Немировского... — это очень благополучно не только для него, но и для общества. Потому что, видишь ли: он — весь — человек средний, даже, может быть, ниже среднего, но у него, знаешь, характер этакий... как бы тебе сказать? — корневой... Забирает жизнь вглубь, пристально, знаешь, этак властно, как щупальцами, впивается во все, что ему попадает на избранной им дороге. Вот он в нас, интеллигентах, сейчас полубогов каких-то видит — даже совестно. И истинно говорю тебе: среди нас, в глубокой вере в нас, он лучше всех нас — он борется со своею низменностью такими светлыми и тяжкими напряжениями, что я люблюсь им, он трогателен и прекрасен! Но он сам рассказывал мне, что покуда он верил в свой домашний уклад, то не было такой гадкой мещанской выходки, такой черносотенной гнусности, которых он не одобрял бы и не готов был сам совершить в самой острой и грубой форме. И я совершенно уверен, что, если бы и нынешний новый Григорий Скорлупкин на поисках образования заблудился и попал в ту праздную среду чувственных людей, которую ты любишь, под влиянием тех — извини мне выражение — грязных слов, мыслей и идей, которыми вы там, утонченники, небрежно обижаете в себе человеческое достоинство, — я уверен, Модя, что этот молодой человек не стал бы плавать на поверхности вашей утонченной культуры. Стоит ему однажды убедиться, что она хороша и именно ее-то ему и не доставало, и он спокойно и сознательно нырнет на самое дно...

— И в то время, как нас Пуговочник будет переплавлять в ложке по тринадцати на дюжину, твой краснорылый Григорий прекрасно сдаст экзамен в действительные черты?

Матвей кивнул головой.

— Если хочешь, да. Пойми: это — воля сильная, гораздо сильнее всего интеллекта. Он не знает, чего хотеть — хорошо, чего — дурно. Но однажды решив, что вот того-то он хочет, он хочет уже твердо, последовательно, методически. Сейчас он на дороге в порядочные люди — и, если выдержит эту линию, может весь век прожить прекрасным, кругом порядочным, полезным человеком. Но если бы чье-либо влияние выбило его из чистой колеи и бросило в низменные симпатии и искания, я ждал бы результатов жутких... Отвлеченностей он не смыслит, умозрения он не воспринимает, а — какую идею приемлет, сейчас проникается ею действительно и до конца... Он практик... Наше интеллигентское наслаждение мыслью для мысли и игрою культурного воображения, оставляющее жить в воздухе столько хороших позывов, но зато сколько же и порочных, злых, — ему совершенно чужды... Всякая идея трудно в него входит — даже не входит она, а лезет, пыхтя и в поту лица, тискается. Но когда она втолкалась в его голову, он считает, что мало иметь ее в голове — она ровно ничего не значит, если по ней не жить... Повторяю тебе: он теперь на хорошей дороге, но три года тому назад он в компании таких же диких парней мазал дегтем ворота провинившихся девушек, и мне пришлось битых три дня убеждать его, чтобы он не принял участия в еврейском погроме... Понимаешь? Не от чувства убеждать, а от логики — не внушать, что это вообще не хорошо, а доказывать, что это для него нехорошо... И когда я доказал, а он понял, то и сам не пошел и приятелей своих удержал и даже очень смело и решительно вел себя во время погрома — еврейскую семью спрятал, за детей вступался, девушку от насилия спас... Видишь? Поставлена машина на

рельсы, пары разведены — ну, значит, и пойдет прямехонько на ту станцию, на которую направит путь стрелочник. Да. Воля у него железная, а ум нетвердый, темный, мысли неразборчивые, спутанные... Машина! Просвети его каким-нибудь вашим сверхчеловеческим девизом, вроде «все позволено», так, чтобы он крепко почувствовал и поверил, и он в самом деле все позволит себе... И все это будет в нем не буйною страстью какою-нибудь, которая бушует грехом, и сама себя боится, и трепещет в тайных раскаяниях — нет, — с чувством своего права, спокойно, прямолинейно, холодно: все позволено, так чего же стесняться-то? Действуй!..

Модест выслушал брата с любопытством, лежа на спине, руки под голову, глядя в потолок.

— Характеристика твоя интересна, — сказал он, — я не подозревал в нем таких способностей к дисциплине... Если ты не ошибаешься, конечно.

— Нет, Модест, не ошибаюсь.

— Но именно то, что ты мне сообщаем, еще более разжигает меня вмешать в развитие твоего протеже свой, так сказать, авторитет... Видишь ли...

Он спустил ноги с кровати и сел.

— Видишь ли: ты в совершенном заблуждении, воображая, будто я хочу явиться около этого Григория чем-то вроде нового Мефистофеля или «Первого Винокура»... Напротив, я хочу сыграть на самой идеалистической струнке, какая только звучит в его душе... Вот — Симеон распространялся о Рахильях... Известна тебе Рахиль твоего протеже? Мне очень известна... Это прозрачный секрет... Хочешь ли ты, чтобы твой Григорий Скорлупкин сдал экзамен зрелости, защитил диссертацию об эхинококках, получил Нобелеву премию, открыл квадратуру круга, изобрел аэроплан и подводную лодку?

— Ты все дурачишься.

— Нисколько. Я только поддерживаю теорию брата Симеона. Ты и теперь не понимаешь меня?

— Нет.

Модест взглянул на него с каким-то завистливым недоверием и пожал плечами.

— Ну и слеп же ты, свят муж! Все зависит от Аглаи.

— От какой Аглаи? — удивился Матвей.

Модест ответил с быстрым раздражением, точно его переспрашивают о том, что стыдно и неприятно повторить:

— От нашей Аглаи... от какой же еще?.. От сестры Аглаи...

— Она имеет на него такое большое влияние?

Модест засмеялся самоуверенно.

— Пусть Аглая обещает ему выйти за него замуж, и он любую стену прошибет.

Матвей, изумленный, высоко поднял истемна-золотистые брови свои, а Модест, поглядывая сбоку, сторожил выражение его лица и будущий ответ.

— Разве это возможно? — сказал наконец Матвей и, закинув руки за спину, загулял по кабинету.

— А твое мнение? — отрывисто бросил ему Модест, водя вслед ему тревожно-насмешливыми глазами.

Матвей остановился пред ним.

— Если бы я был девушка и от моего согласия выйти замуж зависело какое-нибудь счастье человеческое, я не колебался бы ни минуты.

— Даже не любя?

Матвей, опять на ходу, спокойно ответил:

— Как можно человеку человека не любить — этого я себе совершенно не представляю.

— Женятся и замуж выходят не по юридической любви!

— То-то вот, что есть какая-то специальная. Все вы придаете ей ужасно много значения, а мне она совершенно не нужна и незнакома.

Все с тем же не то завистливым, не то презрительным лицом следил за ним Модест.

— Вырос ты в коломенскую версту, а, кажется, до сих пор веришь, что новорожденных детей повивальные бабки в капусте находят?

— Нет, я физиологию изучал. Но я не понимаю, почему надо подчинять деторождение капризу какой-то специальной любви? В природе все просто, а среди людей все так сложно, надменно, недоброжелательно.

Модест грубо, зло засмеялся.

— Возблагодарим небеса, сотворившие ты все-таки до известной степени мужчиною. Воображаю, каким зятем ты наградишь бы славный сарай-бермятовский род!

Матвей сел рядом с ним и сказал вдумчиво, рассудительно:

— Видишь ли, наша Аглая — прелестная и большой мой друг. Но я все-таки не знаю. Пожалуй, и она еще не на полной высоте... Предрассудки сословия, воспитания...

Модест встрепенулся, как от неожиданности, и воззрился на брата с любопытством большого удивления.

— Ты, оказывается, еще не вовсе обеспамятел? — процедил он сквозь зубы. — Гм. Не ожидал.

Матвей серьезно отвечал:

— Многое в действительности мне дико и непримиримо, но ее повелительную силу я разумею.

Оба примолкли. Модест сдул пепел с папиросы...

— Я, впрочем, и не предлагаю, — выговорил он как бы и небрежно, — не предлагаю, чтобы Аглая в самом деле вышла за Скорлупкина, но только чтобы пообещала выйти.

— А потом?

Модест пожал плечами.

— Видно будет. Тебе что нужно? Срок, чтобы высветлить Григорию его дурацкие мозги. Ну и выиграешь времени, сколько назначишь.

— Всякий срок имеет конец. Что обещано, то должно быть исполнено.

— Лаван рассуждал иначе, — криво усмехнулся Модест. Матвей встал, тряся кудрями.

— В обещании, которое дается с тем, чтобы не быть исполненным, я участия не приму.

Модест с досадою потянул к нему худое свое, бледное лицо, странно сверкающее пытливыми возбужденными глазами.

— Ты забываешь, что сейчас браки Рахилей зависят не столько от Лаванов, сколько от них самих.

— Так что же?

— Поверь мне, — сказал Модест веско и отдельно, дробя слоги взмахами руки с папиросою, — если Иакову легко работать за свою Рахиль, то и Рахиль редко остается равнодушна к Иакову, который ради нее запрягся в каторжную работу.

— А если останется? — спросил Матвей, круто остановясь. Модест сделал равнодушно-сожалительное лицо.

— Что же делать? Лотерея! Придется Григорию перестрадать некоторое разочарование.

— За что?

— За науку, что в жизни не все мед, случается глотнуть и уксусной кислоты.

Матвей резко отвернулся от него и стал бесцельно переключивать книги на столе.

— Несправедливо и зверски жестоко, Модест.

Модест встал, бросил папиросу и подошел к Матвею.

— Погоди. Давай рассуждать хладнокровно. Сейчас Григорий влюблен в Аглаю, как дикарь, грубо, слепо, безрассудно. Отдать Аглаю ему, такому, как он есть, было бы позором, нравственным убийством, скотством. Не возражай: это я говорю, не ты говоришь. Согласия не требую. Свою мысль развиваю. Но Аглая для него именно Рахиль, ради которой, если бы дана была ему хоть малейшая надежда, он готов работать семь и еще семь лет. Затем — две возможности. Развиваясь, он либо делается достойным Аглаи, и тогда

почему ей в самом деле не выйти за него замуж? Либо он поймет, что выбрал себе Рахиль неподходящую, и тогда обещание падает само собою.

Матвей глубоко задумался.

— Может быть, ты и прав... — произнес он медленно голосом человека, нашедшего неожиданный выход из трудной задачи. — Может быть, ты и прав...

Модест, ободренный, подхватил:

— Григорий — парень по-своему, по-первобытному неглупый. Он оценит, что мы, все трое, ему добра желаем. В случае краха нашей интриги мы, так и быть, попросим у него прощения, а он нас, тоже так и быть, извинит.

Матвей, не отвечая, задумчиво его разглядывал. Потом, без ответа же, улыбнулся.

— Многие считают тебя злым, а ведь, в сущности, ты добродушен.

Что-то язвительно укусило Модеста за сердце.

Матвей продолжал:

— Я не умею не верить людям, и потому посмеяться надо мною легко... Но если ты вполне серьезно...

— Я серьезен, как три дня похороненный немец, и притом неокантианец, доктор философии.

— Тогда — вот. Григорий — благодарная натура. Из него может выйти и должен выйти, если мы его не погубим, хороший человек. Если бы между ним и Аглаей возникла искренность любви, то — да освятится их брак. А классовые перегородки в моих глазах — чепуха. С моей точки зрения, если уж браки непременно нужны и нельзя без них, то необходимы именно демократические браки. Ими совершенствуется человечество. Уничтожается аристократизм особи, который есть величайшее зло цивилизации, и нарождается аристократизм масс, которым осуществится истинная культура и познается Бог. Но для того надо, чтобы совершенствующая сторона была сильнее другой и могла вытянуть ее на свой уровень...

— Так я и предлагаю, — заметил Модест положительным голосом, но сверкнув двусмысленным огоньком в глазах.

— Да, да, я понимаю, что ты именно так предлагаешь.

Матвей торопливо и согласно закивал головою.

— Единственно, что меня смущает в твоём предложении, это — что оно имеет исходом такой риск неисполнения, что... я, право, не знаю, как определить... Тут возможность не то что обмана, но чего-то около обмана... И от этого будет так же нехорошо на совести, как от действительного обмана, и я этого на себя принять не могу...

— Мы, юристы, — спокойно сказал Модест, — называем это «около обмана» введением в невыгодную сделку... Операция, конечно, не блестящая в этическом отношении, и даже закон ее не весьма одобряет... Но, любезный мой Матвей, элемент невыгодности и может, и должен быть устранен совершенною откровенностью отношений... С самого начала надо поставить дело ясно и договориться до конца. Чтобы — без темных слов, без несправедливых упреков и угрызений в будущем... Entweder-oder*. Хочешь быть мужем Аглаи? Вот тебе — три года... довольно ему трех лет?

Матвей кивнул головою.

— Следовательно, становись, машина, на рельсы, как ты картинно выразился, и иди к назначенной станции!.. Будь рыцарем, Иаков Месопотамский, завоевывай сердце своей Рахили!.. Дойдешь до станции, успеешь во время перегона завоевать Рахиль — торжествуй! Твое счастье!.. Не дошел, не успел...

Матвей задумчиво слушал.

— Да, тут нужно честно, — сказал он. — Лучше жестоко, но честно.

— Как в аптеке, — сказал Модест.

— Честно и целомудренно...

* Или-или (нем.).

— О, что касается целомудрия, то, раз я предлагаю свои услуги, мое дело и блюсти результаты, — усмехнулся Модест.

Матвей опять не обратил внимания на двусмысленность его слов и говорил с горящими глазами:

— Не надо налагать на себя оковы, обманываться нерушимостью обязательств и клятв. Человек должен быть свободным и другого человека свободным же оставлять. Пусть отношения будут не связаны и правдивы. Как бы они ни были худы, все же лучше обманов предвзятости. Отойти от человека с разбитым сердцем — больно. Отойти с сердцем, облитым помоями лжи, ужасно, грязно, жестоко...

— Повторяю тебе: доверь эти отношения мне — и я устрою их в лучшем и красивейшем виде, в каком только они возможны... Что, в самом деле! Надо же и мне когда-нибудь сделать так называемое доброе дело... И вот что, Матвей: я хотел бы, чтобы, во-первых, этот разговор наш остался между нами...

Матвей согласно кивнул.

— Во-вторых, чтобы вся эта наша, так сказать, антреприза была предоставлена исключительно мне и даже ты сам не подавал бы вида, что о ней знаешь, — не только другим... ну, Виктору хотя бы... Ивану, Симеону, Зое... но и самой Аглае, самому Григорию... понял? Обещаешь? Покуда, словом, они сами с тобою не заговорят... Понял?

— Я понял, но зачем тебе это? Я не люблю тайн... У меня их нет...

— Затем, чтобы предрассудки и глумления не окружили моего плана с первых же шагов... Он, план мой, пойдет по очень тонкому канату и вразрез со взглядами и мнениями многих, если не всех... Мы говорили о демократическом браке. На словах-то и в отвлеченном представлении восхвалять его — много мастеров и охотников. Но — когда «угодно ль на себе примерить?», когда демократический брак становит-

ся вдруг конкретной возможностью в твоём собственном доме, — тут, брат, нужно вот такое истинно реальное отречение от предрассудков, как у нас с тобою... Не то что боярин Симеон, но даже офицер Иван, на что смирен, и тот, может быть, против нас на стену полезет...

— Ты прав.

— Конечно, прав. Я всегда прав. Ты меня не знаешь близко, а я — предусмотрительный человек, благоразумный... Надо беречь от дурных и завистливых воздействий и влияний и их договор, и собственную совесть... Если я самостоятельно проиграю свою игру, это будет честное несчастье, в котором я пред жертвами проигрыша неповинен и могу смело смотреть им в глаза. Но если я не сумею уберечь их от зависти, злобы, предательства, ревности, насмешек, то я окажусь не только плохим игроком, но и мошенником, обманщиком, вполне достойным, чтобы его ненавидели и презирали, как изменника, — именно, как ты выразился, видящего в людях что-то вроде пешек, передвигаемых ради его выгоды или забавы.

— Ты прав, — прервал его Матвей. — Ты, мне кажется, прав...

— Итак — «руку, товарищ»?

— Нет... подожди... я должен размыслить наедине, посоветоваться со своею совестью глаз на глаз...

— Разве она у тебя, свят-муж, втроем разговаривать не умеет? — неприятно улыбнулся Модест: ему досадно было, что он не сразу убедил Матвея и тот при всей детской доверчивости своей все еще чувствует в его откровенностях какие-то далекие расставленные силки...

Матвей грустно ответил:

— Как у большинства людей... Ты не сердись, что я не спешу... Мне люди дороги, но одиночество — как вдохновение.

Модест принял равнодушный вид.

— О, мне все равно... когда хочешь... завтра... послезавтра... через неделю... через две недели... Мне все равно... Я ведь для тебя же...

— Ты, пожалуйста, не подумай, что какое-нибудь недоверие... — смущенно бормотал Матвей. — Просто... Ну, словом, я очень-очень тебе благодарен... И не ожидал никак... И... пожалуйста, Модест, не сердись!

— Да не сержусь я... Нисколько не сержусь... За что? Твое дело! Чудак ты!

Когда Модест, волоча плед, возвращался от Матвея в спальню свою, злобною иронией играла улыбка на бледно-зеленом в лучах рассвета, усталом, с черными подглазницами лице его и думал он, бережно сгибая ноющие, будто ватные, колена: «Ну, Зоя Викторовна, легкомысленная сестра моя, после каши, которую я завариваю, готов с тобою пари держать: если бы твой Knopfriegel с его дрянною ложкою повстречался мне сейчас, я засмеялся бы ему в лицо, а он весьма почтительно снял бы предо мною картуз свой...»

VII

Несмотря на позднее время, Епистимия, когда возвратилась домой от Сарай-Бермятовых, не сразу прошла в каморку, где стояла под густым рядом навешанных по стене и простынею от пыли покрытых юбок ее узкая железная кровать. Спросила полусонную старуху работницу, которая ей отворила, дома ли племянник, и, узнав, что нет еще, зажгла в маленьком зальце керосиновую лампочку и села к столу с вязаньем — ждать...

— Ты, Мавра, не беспокойся, спи, — приказала она, — позвонит, я сама отворю...

Но бежали минуты, щелкал маятник часов-ходиков, потрескивали обои, сыпалось сверху из клетки с канарейкою кормовое семя, сипел в лампе огонек, и ползла по колену изпод тамбурного крючка узкая белая полоска зубчатого узо-

ра, а Григория Скорлупкина все не было да не было домой... После полуночи Епистимия сказала себе:

— Ну, значит, закрутился с набатовскими молодцами либо Матвей Викторович задержал... Это, стало быть, до бела света.

И, убрав свое вязанье в комод, решила лечь спать. В это время глухой и мягкий топот, дойдя к ней сквозь закрытые окна в необычайно позднее для этой части города время, заставил ее выглянуть на крыльцо домика своего. В господине, мимо проехавшем, она узнала Симеона Сарай-Бермятова, возвращавшегося от Эмилии Федоровны, и язвительно улыбнулась про себя в темноте, и нехороши, и оскорбительны для проехавшего стали ее мысли.

Медленно разделась она в каморке своей, пошмыгала кистью правой руки по лбу, груди и плечам, что должно было обозначать молитву, и, засунув длинное и худое тело свое под байковое одеяло, прикрутила лампочку.

Но сон не шел. Нехорошие, темные мысли, разбуженные нынешним разговором с Симеоном, полезли в ум, как дорожка муравьев, свивались в воспоминания отошедшего, пускали ростки и побеги новых планов...

Разговор не был для нее неожиданностью, хотя и сейчас она размышляла про себя, передвигая под левую щеку маленькую пуховую подушку-думку:

«Эх, скорехонько немножко дело двинулось... раненько... не созрели планы-прожекты мои... Незрелое яблоко с дерева рвать — оскомины не набить бы...»

И думала она, ворочаясь в темноте и слушая тиканье часов в зале и бурный самодовольный храп через две комнаты сестры своей, матери Григория, Соломонида, — думала она о том, что вот спешащие обстоятельства приближают к ней самое важное, что когда-либо было в ее жизни и еще может быть...

«Когда быть-то? — горько улыбнулась она в облежавшую ее ночь. — Старуха становлюсь... Здоровьишко истрчено...

Могила ползет навстречу... Нового в жизни не наживу ничего... дал бы Бог успеть — со старым разделаться... Эка Соломонида сегодня разоспалась! Должно быть, вишневку на ночь пила. Словно орган! Так и насвистывает...»

И, слушая этот ликующий, захлебывающийся храп, который не давал ей спать, подумала без досады и злобы, равнодушно, как бы отмечая в уме давно решенное и известное: «Вот так-то всю жизнь... Теперь спать мешает... Смолоду жить мешала... Так всю жизнь!»

Думала и вспоминала...

Вся молодость Епистимии — с детства, как себя помнит — прошла в том, что кипела в ней неопределенная, могучая любовь к кому-то, куда-то в пространство бегущая, и задыхалась она от обилия чувства, ее волнующего, и мучительно искала, куда его пристроить, как и где собою за него пожертвовать...

«Собакой хозяина искала, — мрачно думает она, мигая в темноте горящими глазами, — собакой при людях хотелось быть... ну вот тебе, душка, и вышел твой выигрыш: будешь собакою век доживать... одинокою старою собакою... То-то было дуре смолоду — не забывать себя, не стелиться половиком под чужие ноги...»

Вот эту самую Соломониду, старшую сестру, храпящую там столь счастливо и сыто, не возила ли она с двенадцати лет возраста, как добрая лошадь, на плечах своих, выручая ее из всех бед и невзгод молодого мещанского девичества в суровой, замкнутой, старозаветной и бедной семье, где всякая копейка гвоздем приколочена и угрюмый труд с утра до вечера держит всех, от старого до малого, за горло своею костлявою рукою? Соломонида слывет красавицей — румяная, белая, пышная, а она, Епистимия, маленький, худенький заморыш, только глаза — по ложке, всех смущающие необыкновенною голубою красотой своей. И нет у ребенка гордости и счастья больше того, что сестра ее — вот эта самая

красавица Соломонида, ради которой шныряют мимо окон франты — чиновники, приказчики, вольноопределяющиеся, пи-саря, ездят, рисуясь станом и усами, на борзых конях молодые офицеры. А красавица — на всех нуль внимания, только дуетса самодовольствием, стреляет глазами да хохочет, распевая жестокие романсы. У строгой, жадной, сердитой матери, озверенной бедностью, все под замком, каждый кусок сахара на счету, а Соломонида сластена...

— Пишка, укради!

Епистимия крадет. Пришла мать из людей — первое дело, проверка по съестному шкафу...

— Это кто у меня тут хозяйничал?

Пухлые щеки Соломониды бледнеют... Епистимия видит и шепчет:

— Небось... я одна...

И бежит из горницы нарочно с таким преступным видом, что мать бросается следом, ловя ее и швыряя на ходу вслед чем ни попадя:

— Ага, воровка! Ага, каторжная! Ты опять? Ты опять?

Трещат по худым щекам Епистимии жестокие пощечины, прядями падают выдранные волосы из первой юной косы, заплеваны ее небесные ясные очи... Волчонком воет Епистимия, забившись на погребницу... Ничего! А Соломониду все-таки выручила. Ну и пусть! Соломонида нежная, она побоев боится, под бранными словами дрожит, как осиновый лист, — ей нельзя вытерпеть такое... А мне что? Я железная... Да я за нее... Ну и пусть!

Семнадцатый год Епистимии. Длинная она, тонкая, как свеча. Голубые глаза, радостные, каждым взглядом мир любовно обнимают и Бога хвалят. Живет она у замужней сестры, Соломониды Сидоровны Скорлупкиной, в роднях не в роднях, в работницах не в работницах. Весь дом, все хозяйство на себе держит. Соломонида только медовые пряники жевать умеет да чай распивает круглый день... В пятом часу утра встает Еписти-

мия к работе, за полночь ложится... Но много силы и воли в девушке, и нет ее веселее и счастливее певчей птицы на свете...

А старый барин Виктор Андреевич Сарай-Бермятов на Чукотский нос уехал золото искать и покойника Евсея Скорлупкина, мужа Соломонида, увез с собою. Прошел месяц, другой — взбесилась Соломонида. Нет ее сонливее и ленивее ни на какую работу, а когда молодой водовоз, Петруха Веревкин, привозит ранним утром воду в бочку, Соломонида уже тут как тут: и ворота отворила, и в сарай проводила, и уж сливают они, сливают воду-то там в сарае... всего десяток, много два, ведер надо перелить из бочки в чан, а времени уходит — впору утечь целому пруду...

А Епистимия во дворе бродит, сторожит, не вошел бы кто ненароком, не заглянул бы в сарай...

Долго ли, коротко ли, приходят от Евсея Авксентьича вести: «Возвращаемся мы с барином. Ждите от сего письма через шесть недель».

Прочитала Соломонида, так и пополовела. Потому что была она беременна уже по восьмому месяцу. Никто о том не знал, кроме виноватого да сестры и матери, потатчиц. Рассчитывала бабочка, что съездит на богомолье, отбудет свое время и встретит мужа — как ни в чем не бывало: чистенькая и безгрешная. Ан — муж-то поспешил... А характер у Евсея Скорлупкина был серьезный: драться — никогда пальцем никого не ударил, жену бить за низость почел бы, но тем больше она его боялась. И все три женщины боялись, потому что были уверены: если Евсей найдет жену виноватую, то шуметь много не станет, а возьмет топор и оттяпает на пороге грешную Соломонидину голову.

Как быть? Привидением в одни сутки стала красавица Соломонида. Мать громко выть не смеет, чтобы люди не спрашивали; зайдет в чулан, спрячет голову под подушки и стонет, будто смерть тянет жилы из ног ее. Потому что любила она Соломониду. Если бы Епистимию при ней на ско-

вороде жарили, она не так бы жалела, как — когда Соломонида у самовара мизинчик белой ручки обожжет...

Как быть?

Думала, думала Епистимия, вспомнила, как ребенком она сахар воровала — Соломонида ела, а ее били, — и надумала:

— Не плачь, сестра, не плачь, маменька. Видно, не кому другому, а мне выручать...

И сочинили три женщины бабью каверзу, в которой — чтобы спасти сестру — доброю волею потеряла Епистимия свое честное имя и девичью славу. Ловко пустили по соседям тихий слух, будто — точно, вышел грех, посетило дом горе, но не Соломонида изменила мужу, а Епистимия впала в разврат, потеряла себя, осрамила родительскую голову, и вот теперь она ходит тяжелая и должна уехать, чтобы тайно родить. Соломонида еще раньше уехала — будто для того, чтобы устроить Епистимию к потайной бабушке, и все по соседнему мещанству хвалили ее, как она заботится о сестре, даром что та выросла распутная. А Епистимия и в люди не смела показаться: камнями и грязью зашвыряла бы ее суровая мещанская добродетель. Ворота дегтем вымазали, парни под окнами скверные песни поют — Епистимия все терпит. А мать об одном только думает: как бы не выплыл на свежую воду обман их, как бы не пронюхали соседи, что невинная Епистимия — ни при чем, да не бросили бы подозрения на ее сокровище Соломониду. Сама Епистимии щеки мелит, подглазицы сажею натирает, чтобы казалась больною, подушки ей под платье навязывает, походке учит...

— Что прыгаешь сорокою? Разве тяжелые так ходят? Утицей, утицей, враскачку иди, с перевалкою... Ой, горюшко мое! Погубишь ты, нескладеха, наши головы!

Когда приблизилось время Соломониде родить, прислала она депешу, и мать с Епистимией уехали, сопровождаемые злословием и насмешками, на богомолье. Сто сорок верст от города мать везла Епистимию, ряженною в беременность,

чучелою: все боялась, не попался бы навстречу кто из знакомых. И только для встречи с Соломониною, в том городе, где ждала их роженица, привела Епистимию в обычный вид, потому что отсюда поехали они в третий большой город, поменявшись паспортами, и Соломонида стала Епистимией, а Епистимия — Соломонидой. По паспорту Епистимии и родила Соломонида, и отболела, и ребенка сдала в воспитательный дом, и поехала домой с матерью уже при своем паспорте, чистеньком, — как честная мужняя жена. А Епистимия осталась одна в большом городе грешною девушкою, без зачатия родившею чужого ребенка... И, когда доходили до нее слухи из родимых мест, как ее там ругают и клеймят, больно было узнавать ей, что никто так не позорит и не бранит ее, как Соломонида, которую она выручила из смертной беды, и Евсей, ее суровый деверь. А жилось тяжело. Пришлось ей — хотя из небогатой семьи, но все же отцовской дочери, в чужих людях хлеба не искавшей, — служить по местам прислугою... И вот, меняя места, встречается она вдруг с покойною ныне барынею Ольгою Львовною Сарай-Бермятовою. Та сразу влюбляется в ее поэтические глаза и слышать не хочет никаких отнекиваний, берет ее к себе камеристкою и привозит ее, расфранченную, гордую, так сказать, в величии и славе, обратно в родимый город, откуда три года назад уехала она, оплеванная за чужой грех. Под сильною сарай-бермятовскою рукой никто не посмел ее срамить, а за хороший характер, смышленность, ловкость и угодливость многие полюбили. С роднею она помирилась. У Соломониды она застала сына двухлетнего — вот этого самого Григория, которого, полуночника, напрасно ждет она теперь. И с первого же взгляда, как увидела она племянника ковыляющим по комнате на колесом гнутых, рахитических ножках, прилепилось к нему ее сердце и зачалась в нем новая великая любовь, в страдании рождающая радости и в жертвах обретающая смысл...

Все родные и близкие посетили Епистимию. Только суровый и гордый Евсей открыто брезговал ею. По должности своей при старом барине Викторе Андреевиче, почти постоянно находясь в доме Сарай-Бермятовых, Евсей не мог не встречаться с Епистимией, но проходил мимо нее, как мимо пустой стены, будто не видя. Это очень огорчало Епистиимию, потому что она деверя своего глубоко уважала, а еще больше потому, что был он отец неоцененного ее Гришеньки, в которого влюбилась она всем неиспользованным материнским инстинктом уже начинающей перезреть девственницы.

Но вот у Гришеньки — уже пятилетнего — явился соперник: приехал на каникулы в дом родительский юный, только что окончивший курс в закрытом заведении и поступивший в университет студент-первокурсник Симеон Сарай-Бермятов, красавец и нахал, с побудительными глазами, таившими в себе и магнит, и хлыст на женщину. Он подобно своей маменьке тоже нашел, что у Епистимии поэтические глаза, и пожелал рассмотреть их поэзию поближе. Хорошо осведомленный, что Епистимия хотя и держит себя строго и «корчит принцессу», но на самом деле «из таких», юноша вел себя решительно, а беспощадный талант Дон Жуана оказался в нем природный, яркий. Прошло всего две недели по его приезду, как Евсей, задержанный барином ночевать в каморе ради какой-то ранней посылки, услышал легкий шум в коридоре и, выглянув осторожно, увидел в лунном свете Епистиимию, крадущуюся в комнату молодого барина. Вид ее поразил Евсея: она шла, точно ее незримая сила в лучах месяца тянула и толкала, и тщетно она упрямылась, чтобы миновать ее ожидающую роковую дверь. И лицо ее при лунном свете было зелено, как лицо трупа, а в огромных глазах было такое безумие страха и стыдного отчаяния, что ведьмою какою-то показалась она Евсею. Всякий, более чуткий, на месте Евсея понял бы, что Епистимия шла на первое свое, властно

ей приказанное свидание, что сила, высшая воли ее, борет ее и мутит ум, и повелевает погибнуть. Но Евсей презирал свояченицу как «такую», был брезгливо уверен, что она «такая», и теперь видел только подтверждение своему дурному мнению. И так как она для него, можно сказать, не существовала, то ему было все равно, с кем она: с барином так с барином, со слугами так со слугами. Она для него в жизни была зачеркнутый номер. Поэтому ночное видение Епистимии возбудило его беспокойство и негодование только из того опасения, чтобы не вышло скандала в господском почтенном доме, чтобы не замечены были шашни Симеона людьми. А то что же? Епистимия все равно гуляющая, а Симеон Викторович, человек молодой, без этого не проживет, пусть уж лучше с нею, чем с другою, — по крайней мере не истратит здоровья...

Итак, Евсей решил, что его дело — только уберечь происшествие от скандала, сплетен и пересудов. С этою целью он быстро оделся и бессонною, бесшумною тенью сел в коридоре против двери Симеона с тем, чтобы предохранить выход Епистимии от посторонних глаз. А вот когда она выйдет и увидят они оба с Симеоном Викторовичем, что попались, то завтра поутру поговорит он с ними по чести и отчитает голубчиков: не заводи разврата под честною кровлею! Есть вам роща, сад и поле, и гостиницы в городе! Не срами благородный дворянский дом!

Рассвело. Чтобы, в случае кто проснется, его присутствие в коридоре не показалось странным, Евсей осторожно добыл из стенного шкапа, где хранил всякую утварь по канцелярии Виктора Андреевича, щетки и ваксу и, взяв собственные сапоги, сидел на подоконнике с таким видом, будто сейчас начнет их чистить...

А за дверью прощались. И прощались невесело. Епистимия беззвучно рыдала, чтобы не огласить дом воплем, и, шатаясь на ослабевших ногах, быстро одевалась, застегиваясь

как попало, лишь бы пробежать коридором до своей каморки. Симеон в белье сидел — совершенно смущенный, красный — на кровати, в нетерпеливом конфузе переступал босыми белыми ногами по ковру и говорил, не щипля, а скорее, выщипывая черный свой, молодой ус:

— Черт знает что... Я никак не ожидал... Зачем же ты... Если бы я предполагал... Черт знает что... Все говорят — «такая»...

И тогда Епистимия, растроганная его смущением и сожалением, в порыве благодарной влюбленности рассказала ему — первому за все годы, что она носила на себе незаслуженное пятно, — как и почему она, девушка, непорочная до этой ночи, прослыла распутною... И она, рассказывая, и он, слушая, невольно позабыли осторожность и заговорили вместо шепота голосами... И, когда Епистимия окончила рассказ свой, что-то резко стукнуло в коридоре... Молодые люди обмерли... Выждав минуту, Симеон сказал шепотом:

— Погоди... Стань за дверью... Я выгляну...

Приотворил дверь, высунул смолевую свою стриженую голову со встревоженными глазами, метнул ими вправо, влево, но никого в коридоре не увидел. Только на подоконнике чернела банка из-под ваксы да на полу лежала, топырьась щетиною, точно длинный сердитый еж, сапожная щетка...

Симеон пожал плечами, повернулся и сказал:

— Никого... Почудилось... Беги, Пиша, к себе, покуда путь свободен...

Она бросилась ему на шею.

Он целовал ее, с усмешкою покачивая красивой татарскою головою, — смущение совести уже прошло, неожиданный «сюрприз» начинал казаться забавною удачей.

— Миленький... миленький... жизнь моя... никого так... никогда...

Он сделал серьезное лицо и, с важностью вздыхая, сказал:

— Ты удивительный человек, Пиша... клянусь тебе: удивительный... То, что сделала ты для твоей Соломонида, это...

Он искал слова, но больших слов не было в его сухой маленькой душе, — и он для самого себя неожиданно рассмеялся:

— Но — какая же ты... извини... дурочка, Пиша! Разве можно так любить? На жертву себя отдавать? Юродивое что-то... Глупо, душа моя!

Она, блаженно улыбаясь, ловила поцелуями его руки и лепетала в трогательной радости, смеясь:

— Глупо, миленький... дура я, сама знаю, что дура... Только теперь мне все равно... Хоть до гроба...

Посмотрел он на нее, и самодовольное чувство наполнило его душу от догадки, как глубоко и цельно покорено им это восторженно мятущееся, странное, влюбленное существо с глазами-небесами, какая драгоценная и многообещающая собственность неожиданно свалилась в жизнь его в этой девственной рабе...

И тотчас же почувствовал в себе мужчину, хозяина и командовал:

— Н-ну, Пишок, марш... покуда не поймали!

Как тень, исчезла она, в последний раз осветив его синими очами...

А он, довольно улыбаясь, лег на спину, выкурил папироску и, засыпая, думал: «Курьезное приключение... А девица маньфик*. Лето проведем не без приятности... А сестрица эта у нее, должно быть, ше-ельма... Надо будет посмотреть...»

За утренним чаем Виктор Андреич Сарай-Бермятов с раздражением говорил супруге своей Ольге Львовне:

— Вот говорят: Евсей не пьет... Редко, да метко! Сегодня — можешь представить — вхожу в камору: лежит, чудовище, на диване, совсем одетый, но босой, а сапоги надеты

* Очаровательна (фр.).

вместо ног на руки — можешь представить, как хорош!.. Окликаю: молчит... Заглянул ему в рожу: зеленый, как лист, а вместо глаз — жернова какие-то кровавые... Смотрит мне в глаза и — не узнает... Уж мы с письмоводителем кое-как откачали его под насосом...

А вечером того же дня Епистимия была и обрадована, и испугана, и ошастливлена, и до глубины сердечной потрясена. Убирала она после господ с вечернего стола, вдруг вошел Евсей и, не говоря ни слова — впервые за шесть лет, — низко и глубоко ей поклонился... И, когда она глядела на него с таким испугом, что позабыла даже ответить на поклон, Евсей протянул руку и сказал:

— Не держите на меня сердца, сестрица, отпустите, в чем был против вас неправ...

И вспыхнула Епистимия, поняв, что он все слышал и знает. И стало ей жалко, странно, тоскливо, стыдно, душно. Но по глазам Евсея вдруг догадалась она, что в нем молчит судья и только кается в своей ошибке честный виноватый. И, низко нагибаясь к серебру на столе, с благодарным достоинством отдала она поясной поклон и со степенною важною ответила:

— Не в чем мне вас прощать, Евсей Авксентьич, — вы меня, если чем согрubiла, простите.

Вспоминает Епистимия в бессонной ночи своей Евсея Авксентьича и крестит в темноте нервно зевающий, с воспаленными губами рот:

— Царство Небесное!.. Хороший был человек! Большого характера... Какое горе вынес, а ни над собою, ни над женою никакого греха не сотворил... Кабы, говорит, у меня сына не было, конечно, ей бы в могиле быть, а мне на Сахалине. Но, когда человек пустил росток потомства, не свой он стал и нет ему в себе воли: на каждое чувство свое должен он, как сквозь очки некие, сквозь потомство свое глядеть... Так и перекипел в одиночку. Еще семь лет жили — словом, взгля-

дом не выдал он себя пред Соломонидою... Только на смертном одре обнаружил. «Ты, — говорит, — Соломонида, и вы, маменька, богоданная теща, не воображайте, будто от меня скрыто, как вы Епистимию невинную оклеветали и на всю жизнь несчастною отпустили. Все я, любезная моя супруга, испытал и проверил: и с кем вина твоя была, и как ты пряталась, и где родила, и под каким номером мальчик новорожденный был сдан в воспитательный дом... За все эти твои подлости мог бы я тебя проклясть, умирая, но — сына жалею: как сыну расти под рукою проклятой матери? Поэтому — опамятуйся, не блажи: видишь, нет ничего тайного, что не стало бы явным... И очень жаль мне, что этот твой мальчик, которого ты с Петрушей-водовозом прижила, помер. Если бы я застал-то живым, возрастил бы вместе с Гришуткою... Теперь Гришутку тебе растить. Молил я молодых господ: не оставят. Не нужды боюсь — не нищие: невежества, темноты нашей боюсь. Матвей Викторович обещался быть Гришутке за родного брата... Эх, жаль мне, в отъезде Епистимия: при ней легче было бы умирать, сказал бы я ей словечко за Гришутку... Супруга, теща, слушайте: Епистимии Гришутку наказываю... чтобы в ее воле был... А ты, Соломонида, помни: оставишь Гришутку в черноте и дурнем — не будет тебе от меня прощения... в черном свете начну тебе являться, покою не дам...»

«А ей что? — с презрением усмехнулась Епистимия. — Сказывала мне маменька: только вывиралась пред умирающим-то, что напраслину на нее клевет и знать она ничего такого не знает, ведать не ведает, а что Епистимия — уж это всякому, кого ни спроси, известно — что распутная, так распутная... У-у-ух вы, враги мои! Недобрые враги!»

И сверкает она в темноте негодующими глазами, и сжимаются костлявые, жесткие кулаки. А воспоминания роятся, клубятся, крутятся.

«Вот Ольга Львовна догадалась об ее отношениях к Симеону... вышвырнула вон из дома, как грязную тряпку... Си-

меон кончил каникулы... уехал... Месяца не выдержала, распродалась, позаложилась, помчалась за ним в Москву... Очень удивился, поморщился, однако, хороша еще была, принял, позволил жить в тех же меблированных комнатах... А две недели спустя застала она у него барыню — сорокалетнюю крашеную актрису... И стала она потом ему выговаривать, а он смеялся ей в лицо и говорил: «На что ты мне? Зачем приехала? Звал я тебя? Какие ты имеешь права? А через эту госпожу мне открываются хорошие дома и большие связи для карьеры... И то, что ты ревнуешь, очень глупо, потому что ты сейчас беременна и, значит, для меня покуда не любовница. Что же ты воображаешь, будто я, пока ты соблаговолишь разрешиться, обязан жить монахом? Черта с два, любезная моя! Не из больших ты графинь...»

Холодная злоба мурашками бежит по спине Епистимии.

«Я тебе покажу, голубчику, — думает она, — узнаешь ты у меня скоро, из каких я графинь».

Но тогда она не злобу чувствовала, а только ужас — ужас вдаль убегающей, обманом злым рассыпающейся, грубо отнимаемой любви, в которой она увязила все существо свое, как в песках зыбучих, невылазных. И грубое слово Симеона, что нужна она ему только как самка, не вызвало в ней тогда иного чувства, кроме стыдной испуганной виноватости, зачем она осмелилась быть матерью, как она решила перестать быть самкою... И она торопится прекратить свое материнское состояние, чтобы возвратить себе состояние самочье — возвратить себе то, что она еще наивно считает «любовью» Симеона.

Выкидыш. Нелепый, безобразный, варварский — по средствам бедных рожениц — у цинической и безжалостной немки акушерки, которая в то же время и сводня. Рядом с Епистимией лежат женщины, каких она еще не видывала в своей жизни. Загнанные в преступление детоубийства рабочею нуждой, те об одном стараются: скорее подняться на

ноги, чтобы стать к работе, которая кормит их семьи и часто тех самых мужчин, чьи ласки загнали их в эту берлогу. Едва перестав истекать кровью, еще качаясь, как былинки под ветром, спешат они слабыми ногами уйти к швейным машинам, переплетным станкам, ворочать тяжелые кастрюли и котлы в плите, убирать комнаты, мыть белье, ползать по полу с мокрыми тряпками. Но большинство попали к немке по тем же причинам, как и Епистимия: самки, жертвующие материнством, чтобы удержать при себе своего самца. И смотрится в них Епистимия, будто в зеркала, страшно искажающие черты ее, но она узнает себя в них — и в выпуклых, и в вогнутых, и в широких, и в продолговатых, и в раздувающих и втягивающих лицо. У каждой есть какой-нибудь свой Симеон, ради которого приносится проклятая Молохова жертва. И когда жертва принесена и выжившие мученицы ожидают сроков, пока они снова окажутся достойными ласк Симеонов своих, у них нет иной речи между собою, как о них же, о Симеонах: и проклинают, и анекдоты рассказывают — все о них, каждая о своем, каждая — раба страсти, приковавшей ее к одному повелителю, и трепещущая за свою хрупкую с ним связь. Вошла Епистимия в приют здоровым, прекрасным человеком — вышла искалеченная телом, вывихнутая, исковерканная в чувстве, с отравленным, изгязненным умом... Какие приемы и средства она узнала! Какие советы и правила она приняла!

— Ты дура, — внушала ей немка акушерка, — если ты, простой девушка, имеешь любовник благородный господин, то ты должен сохранять интерес...

— Не хочу я от него интереса, — угрюмо твердит Епистимия, темнея синими глазами, — люблю его, и все... Был бы он ко мне по-прежнему хорош, а интереса от него не жду... Не интересанка.

Немка затягивается толстой папиросою, которую сама свертела своими желтыми пальцами, и хладнокровно повторяет:

— Ты дура. Я тебя учу не на тот интерес. Если хочешь, чтобы он тебя любил, ты должен быть для него интересной, чтобы он не был от тебя скучный, — да! Что ты красивый — думаешь, это все? Я старый и некрасивый, но, когда хочу, отбиваю любовники на девушки, красивые, как ты. Потому что они не знают интересоваться мужчиной, а я знаю интересоваться. Ты думаешь: благородный господин — мужик? Извозчик? Артельщик? Благородный господин имеет разные примеры, его надо забавлять...

И узнала тут Епистимия о таких вещах, возможность которых никак не вмещалась в ее провинциальную, честную голову.

— Этого быть не может, — защищалась она, — это вы нарочно шутите надо мною, потому что я глупая...

Но немка принесла ей фотографические карточки, секретные книжки...

Выйдя из приюта, Епистимия, конечно, нашла Симеона уже с другой женщиной. Но, видно, права была немка, и помогла Епистимии подлая приютская наука. Опять вошла Епистимия в милость у повелителя своего.

— Да ты — совсем другой человек стала! — говорил Симеон. — С тобою презабавно... Откуда что взялось?

— Москва научит, — отвечала Епистимия, блаженствуя от ласковых слов любимого человека, но еле слыша их сквозь мрачный стыд унижений, которым она подвергалась.

— Молодец девка, что взялась за ум... Вот если бы ты еще ревновать разучилась... Глупая, пойми! Ведь ни жениться на тебе, ни жизнь с тобою навсегда связать я не могу... Что же тратить на ревность короткие дни, которые нам осталось быть вместе? Черт возьми, проведем время в радости... Бери пример с меня: разве я тебя ревную?

И действительно, не ревновал. Настолько, что однажды, нахвастав товарищу, будто его Епистимия никакой француженке не уступит, когда тот выразил сомнение, предложил

ему убедиться на деле, привел его к Епистимии в номер, а сам ушел. Товарищ едва убежал от разъяренной Епистимии, которая исцарапала ему лицо и избила его же палкой. Он, конечно, сделал Симеону страшную сцену, а тот ругательски изругал Епистимию, и опять пришлось ей услышать от него напоминание, что — «чего ломаешься? Не из больших ты графинь!».

И опять напрягаются злобою сухощавые кулаки в темноте ночной, опять одиноко шепчут воспаленные увядшие губы: «Выплатишь ты мне графиню эту, друг милый! За все позоры мои я с тебя до капельки получу».

На родине дела Сарай-Бермятовых шли все хуже и хуже. Денег из дома Симеон получал мало, а жить хотел светски, хорошо. Чтобы поддерживать свое существование с честью, завел карточные вечера. Для Епистимии это было хорошее, веселое время, потому что на вечерах Симеона она чай разливала и вообще была за хозяйку. Играли больше своим студенческим кружком, и нельзя сказать, чтобы нечестно, хотя богатеньким простачкам задавалось почему-то особенное несчастье и чистка шла изрядная. Играющая молодежь полюбила Епистимию, многие приходили гораздо больше из расположения к ней, чем к Симеону... Однажды Симеон среди игры вызвал Епистимию в коридор.

— В пух продулся, — угрюмо сказал он, — надо отыграться, а нечем... Между тем Вендль сегодня набит деньгами... Если бы только сто рублей, я бы его раздел... У тебя нет?

— Нету, Симеон Викторович, откуда же? И двадцати пяти не наберу... Да и тех дома нет, лежат на книжке...

— Эх!

Посмотрел он на нее, скрипнул зубом, и едва ли не впервые дернулась у него тогда правая щека.

— Спроси у Морковникова, — мрачно сказал он, — он богатый... и что-то слишком умильно на тебя смотрит... Попроси, даст...

— Симеон Викторович... да как же я...

Но он прикрикнул:

— Дура! Да ведь займы! Ненадолго — только до конца игры... Отдам хоть с процентами, рубль на рубль...

И, повернувшись, прибавил:

— Только ты не проврись, что для меня просишь... Выдумай что-нибудь про себя...

И ушел к игрокам, а она медленно поднялась к себе в номер и через коридорного вызвала Морковникова. Этот студент-математик из купеческих сыновей, парень бывалый и сдержанный, выслушал спутанный рассказ Епистимии о том, как ее какая-то несуществующая сестра выходит замуж и просит денег на приданое, сразу понял, в чем штука, усмехнулся и сказал:

— Дать вам сто рублей я могу... это для меня небольшие деньги... но какой будет процент?

— Василий Никитич, — радостно заторопилась она, вспоминая слова Симеона, — драгоценный! Да — какой хотите! Хоть рубль на рубль!

Но он перебил:

— Ну что рубль на рубль? Грабитель я, что ли? Не конфузьте. Мне вот при свете о такой вещи, как проценты, даже говорить совестно... краснею... вот какой я стыдливый человек. Знаете что: давайте мы с вами электричество-то притушим да уж в темноте о процентах и поговорим?...

Много денег выиграл в эту ночь Симеон с Вендя на проклятую сторублевку и, верный обещанию, возвратил ее Епистимии да еще от себя приложил двадцать пять рублей... Подумала Епистимия — не возвратит ли Морковникову деньги? — но сообразила уплаченные ему в темноте проценты и, вздохнув, заперла сторублевую в шкатулку свою, а двадцатипятирублевкою назавтра расплатилась за номер...

И с этого вечера пошло. За Морковниковым Шустов, за Шустовым Гернграсс, дальше Мулькевич, Кедроливанский, Линтварев, Колотыренко... Епистимия выучилась смотреть на тело свое как на источник кредитов для Симеона. Знал ли он, подозревал ли, что она для него продает себя? Никогда и никаких не бывало о том разговоров. Спокойно принимал он от нее деньги, если нужны были, перед игрою, спокойно возвращал их, если была возможность, после игры; спокойно прятала она их в свою шкатулку, а назавтра несла в ссудо-сберегательную кассу. Но однажды утром Симеон ворвался к ней как бешеный. У него в университете в присутствии товарищей вышла ссора с Морковниковым, и в пылу пикировки он обозвал того лавочником. Морковников приосанился, прищурился и отвечал:

— Конечно, лавочник. И отец мой лавочник. И дед был лавочник. Скоро сто лет, как миткалями торгуем. Но девками никогда не торговали. А вы, боярин Сарай-Бермятов, своею Епистимиею и оптом, и в розницу промышляете.

Едва их развели, и загудела по студенчеству молва о предстоящей дуэли...

Смело выдержала Епистимия бешеный допрос Симеона... Только и слышал он от нее:

— Для вас же старалась... Вы же приказывали... А что бы с вами было, если бы тогда денег не нашлось?

Видела она, что не по любви к ней он беснуется, оттого, что она ради него тайною проституткою стала, а испуган он и озлоблен только, зачем все это вскрылось и зацепило его срамом своим... И — впервые в жизни — ничуть ей не было его жалко; а позор свой и унижение она впервые чувствовала так, словно они всю ее, до краешков, наполнили и текут вместо крови по жилам огненную грязью. И, когда Симеон стал бить ее по лицу, обзывая позорными именами, она терпела с сухими глазами и — опять — только и сказала ему:

— Это правда: ради вас я такую подлою тварью стала, что не может быть мне в жизни никакой пощады... Бейте, бейте! Стою того!..

Даже у Симеона опустились руки... Ни словом не попрекнул он ее больше, только потребовал, чтобы она немедленно уехала из Москвы...

VIII

И вот Епистимия опять на родине, живет отдельно от сестры на квартире, переваривает внутреннюю муку свою, проверяет загубленную жизнь, и кажется ей, что у нее вместо нутра сплошной обжог, по которому день и ночь течет кипучая смола. Денег у нее много, живет без беды, но тоски в душе еще больше. И вспомнить она не может Симеона Викторовича без пламенного стыда, гееннского гнева, отвращения к себе самой, будто к луже вонючей, — и знает она, что вот стоит ему позвать — и, как собаку на свист, потащит ее к нему привычка любви, и опять он что захочет, то и вылепит из нее, рабы своей... И в такие минуты — одно ей спасение: бежит к сестре, берет племянника Гришутку, в чурки с ним играет, азбуку ему показывает, молитвам учит, в поле гулять водит за город, травки ему объясняет, козявок, жуков... просветляет, как умеет, детскую душу и светом ее, как щитом, старается отгородить себя от прошедшего страстного мрака.

Много денег у Епистимии по ее одинокому мещанскому девичеству, но ей надо еще больше и больше. Потому что задалась она целью — накопить Гришутке к совершенному возрасту его хорошее состояние, чтобы вошел он в жизнь безбедственно, твердыми ногами, как самостоятельный человек. И вот начала она раздавать капиталец свой в рост по мелочам, и быстро он удвоился, утроился. Одна покойница барыня Ольга Львовна что процентов переплатила Еписти-

мии, хотя та никогда с нее не требовала и расписки не брала. Возьмет сто на неделю, возвратит через месяц да за промедление по дворянской амбиции сама приложит два больших золотых. Винам своим Епистимия давно получила от Ольги Львовны отпущение, души в ней не чаяла теперь барыня, и стала Епистимия опять не только вхожа к Сарай-Бермятовым, но и самым необходимым в доме у них человеком. И, когда в неурядице бестолкового, разоряющегося дома, в хаосе разнообразно подрастающих детей (Зое тогда шел четвертый год, а Аглае восьмой, а Модесту — семнадцатый) становится в семье уж слишком нудно, дико и нестерпимо, старый барин Виктор Андреевич выбегает из кабинета и, хватаясь за жидкие волосы, зачесанные над красною лысиною, воеет, как недорезанный волк:

— Да пошлите же за Епистимией Сидоровной! Авось хоть она уймет этот шабаш бесовский...

И когда Епистимия приходит в дом, в самом деле водворяется порядок. У Зои в руках оказываются какие-то глиняные птички, Аглая рассматривает картинки в «Задушевном слове», Виктор убеждается, что, чем колотить Матвея линейкою по голове, лучше им вчетвером с Гришуткою Скорлупкиным и другим одиннадцатилетним пареньком из Епистимьиной же родни, по имени Илятка, играть из Жюль Верна в путешествие к центру земли; стареющая Ольга Львовна перестает скитаться из комнаты в комнату по следам стареющего Виктора Андреевича, напрасно ревнуя его к бонне и гувернантке; а Виктор Андреевич, свободно вздохнув, среди наступающей тишины вдруг находит идею, которая вилась вокруг думного чела его целое утро да все не давалась, спугиваемая детским шумом и взглядом ревнивой жены: как, имея в кармане всего-навсего сто рублей, уплатит он на будущей неделе в банк 500 рублей процентов, починит конюшню, пошлет деньжонок Симеону в Москву и кадету Ивану в Петербург. По часу и больше сидит он иногда,

запершись с Епистимией, советуясь об отчаянно плохих делах своих, и — странное дело! — Ольга Львовна, твердо, хотя и незаслуженно уверенная, что супруг ее ни одной юбки не пропустит без того, чтобы не поухаживать, нисколько его к Епистимии не ревнует, хотя Епистимия на 28-м году жизни еще очень и очень недурна, а ее прошлое барыне больше, чем кому-либо, известно. Она друг и поверенная Ольги Львовны, постоянная кредиторша и спасительница ее дырявого и зыбкого хозяйственного бюджета. Продать жемчуг? Заложить серебро? Кто же это может сделать лучше и секретнее Епистимии Сидоровны? Она мчится куда-то с таинственными узлами, а возвращается без узлов, но с деньгами... И слышится в барыниной спальне ее прерывистый шепот:

— Что хочешь, делай... не дает больше... уж я ругалась-ругалась... эфиоп, говорю, вспомни барынины благодеяния...

— Ничего, Епистимия Сидоровна, спасибо тебе, я обойдусь...

— Из-за процентов тоже... ну, статочное ли дело: ломит двенадцать годовых! Я, матушка-барыня, не уступила: довольно с него, Искарюта, десяти...

— Ах, Епистимия Сидоровна, еще раз спасибо тебе, но, право, я в таких тисках, что и двадцать спросит — дашь да поклонисься.

— Как можно, барыня! Упаси Господь! Это даже слушать страшно.

А между тем вещи-то из таинственных узлов лежат себе в сундуках на ее квартире, и эфиоп, и Искарюта этот мнимый, корыстолюбие которого она столь энергично клеймит, в действительности не кто иной, как сама она, Епистимия Сидоровна Мазайкина, любезно-верная Епистимия, как иронически зовут ее Сарай-Бермятовы.

Что она Сарай-Бермятовых чистит и тащит с них, правда, осторожно и деликатною рукою, но за то все, что толь-

ко может, замечает кое-кто со стороны... Между прочими суровый, верный слуга — крепко уважаемый Епистимией угрюмый Евсей Скорлупкин.

— Сестрица! Вы бы хоть поосторожнее, — сдерживает он ее, — надо совесть иметь...

Она складывает руки и умоляюще смотрит на него прекрасными синими глазами.

— Братец, не осуждайте... Ну что? Все равно: не сегодня завтра рухнут... Чем чужим в лапы, лучше же я свою пользу возьму...

— Оно так, да все же...

— Братец! Кабы я для себя... Для Гришеньки стараюсь... все ему пойдет...

И умолкали упреки на устах сурового Евсея, потому что сына он любил паче жизни и чести своей.

Из семьи Сарай-Бермятовых особые отношения сложились у Епистимии с Модестом, которого она по возвращении из Москвы застала гимназистом шестого класса. Она сразу заметила в нем большое сходство с Симеоном, и наблюдение это наполнило ее тоскливою злобою: «Такой же змей из змееныша вырастет!»

И так как, несмотря ни на что, продолжала она Симеона любить до того, что часто пролеживала в горьких слезах напролет бессонные ночи, то этот мальчик стал для нее как бы символом той отрицательной части, которую она признавала в своем сложном чувстве к Симеону. Модест для нее стал Симеоном вне любви к Симеону. Наблюдая Симеона, она могла мучительно страдать от сознания его грубости, сухости, разврата, эгоизма, но не могла — до сих пор не могла! — относиться к нему с тем холодом ненависти, с тем мстительным злорадством, с тою последовательностью глубоко затаенной, но тем более прочной вражды, которых ей против него так хотелось... Но, разглядев в Модесте второго будущего Симеона, только еще вдобавок с фантазиями, лен-

тя и без характера, она перенесла на него все недобрые чувства, которых не сумела иметь к Симеону настоящему. По наружности не было лучших друзей, чем Модест и Епистимия, а в действительности Епистимия даже сама не отдавала себе полного отчета, насколько она презирает и ненавидит этого опасного мальчишку, вымещая на копии гнев, который была бессильна выместить на оригинале. И все, что есть хорошего и положительного в Модесте, возбуждает в ней вражду и жажду испортить и разрушить. И все, в чем он противен и гадок, радует ее какою-то змеиною радостью.

«Погоди ты у меня, материнское утешение!» — со злобою думает она, сочувственно улыбаясь глазами и ртом, когда Ольга Львовна поет хвалы уму, способностям и блестящим успехам Модеста: «Это гений растет в нашей семье! Настоящий гений!»

На семнадцатом году Модеста Епистимия сделала его своим любовником — без всякой страсти, с холодным цинизмом профессиональной развратницы, исключительно ради удовольствия надругаться над его юностью так же, как когда-то Симеон над ее молодостью надругался. Развратила мальчишку и сейчас же и оборвала эту короткую связь, очень ловко передав Модеста в распоряжение одной из самых распутных и извращенных бабенок губернского города. Эта госпожа обработала будущего гения так, что он едва кончил гимназию и в университет вошел неврастеником и алкоголиком, с притупленною памятью, быстро утомляющеюся деятельностью мысли, отравленной 24 часа в сутки иллюзиями и мечтами эротомана... А в молодежи тогда как раз начиналось то помутнение декаданса, которое во имя Диониса и революции плоти вылилось потом ливнем порнографии в литературе и половых безобразий и преступлений в жизни. Нырнул в эту пучину Модест и вынырнул таков, что даже возвратившийся в то время на родину Симеон, всякое выдавший, только руками развел пред удивительным братом своим:

— Хорош!

А старики тем временем стали подбираться с этого на тот свет. Первым ушел из мира Виктор Андреевич, унесенный апоплексическим ударом ровно через неделю после того, как хинью пошло с аукциона последнее именьице Ольги Львовны, заложенное, перезаложенное и стоившее Сарай-Бермятовым столько же процентных платежей, что вряд ли не трижды покрыли они и самый капитал. За Виктором Андреевичем, как верный оруженосец за своим рыцарем, вскоре последовал угрюмый Евсей. Ольга Львовна тоже ненадолго пережила мужа: всего два года ревновала она ко всем память его, как при жизни ко всем ревновала его живого. И у дворян Сарай-Бермятовых, и у мещан Скорлупкиных оказались новые домодержатели: в дворянской семье — Симеон, в мещанской — Епистимия. Потому что не доверила она идола своего Гришутку вздорной бабе — матери и по смерти Евсея поселилась вместе с овдовевшею сестрою, чтобы иметь за мальчиком постоянный надзор, которого не чаяла от Соломонида.

— Вон она храпит, засвистывает... так бы и сына прохрапела, колода надменная, кабы не я!

Почтенная Соломонида Сидоровна Скорлупкина принадлежала к тем избранным женским натурам, которые обязательно должны давать приют в обширном теле своем очередному бесу какого-нибудь смертного греха. Отдав в юности щедрую дань бесам лжесвидетельства и блуда, после амурной истории с водовозом красавица едва ли не отдала некоторой дани бесу человекоубийства. Ибо водовоз ее — вздумавший было возобновить приятный свой роман с нею и на отказ разразившийся угрозами обо всем уведомить мужа — хотя и получил краткую взаимность, но вслед за тем преподозрительно умер от холерины, неосторожно покушав пирожка, испеченного доброжелательною мамою Авдотьей. Все эти обстоятельства совершенно отвратили Соломонида Сидоровну от романи-

ческих приключений, так как спокойствие в жизни она ценила превыше всего, и возвратили ее на путь супружеских добродетелей. Но, к сожалению, посрамленный бес блуда прислал на свое место беса чревоугодия и лакомства, а несколько позже, когда бывшая красавица приблизилась к тридцати годам, то пожаловал и бес — не то чтобы пьяный, но большой охотник до сладких наливок, которые великолепно варила мама Авдотья. Когда последняя волею Божиею помере, это искусство, с нею вместе умершее, было едва ли не главною причиною горьких слез, пролитых старшею дочерью над материнскою могилою. Раскормили эти два беса Соломону Сидоровну до того, что стала она весить при не весьма большом росте восемь пудов без малого, а лик ее издали походил не столько на черты человеческие, сколько на выходящую над горизонтом красную полную луну. Когда она овдовела и осиротела, соседи качали головою:

— Ну, закрутит теперь Скорлупчиха... спустили зверя с цепи!

Но, ко всеобщему изумлению, Скорлупчиха не только не закутила, но повела себя даже гораздо лучше, чем при живом муже, которого она боялась и терпеть не могла. Прозаические бесы не ушли из нее, но попятись, чтобы дать простор новому, высшему бесу лицемерия. Ей вдруг понравилась роль честной вдовы, богомольницы по муже, своем злодее, постницы и молитвенницы, которая — даром что еще не старуха и не обглодок какой-нибудь из себя — на грешный мир не взирает, веселия бежит, на пиры и беседы не ходит, на мужской пол очей не подъемлет, и, кабы не сынотрок, ушла бы она, вдовица, горе горькая, в монастырь, похоронила бы скорби свои и благочестивые мысли под черною наметкою. Так как по смерти Евсея оказались неожиданно довольно порядочные деньжонки, то к бесу лицемерия пристегнулся родной его брат, бес гордыни: ставши по соседскому мешанству из первых богачих, Соломонида Сидоровна

заважничала ужасно и начала держать себя — мало с высоким, с высочайшим достоинством, точно она сосуд, наполненный драгоценнейшим елеем. И важничала она с таким прочным убеждением, что мало-помалу заразила им и дом свой, и всю родню, и соседство. Когда она под вдовьей наколкой, величественно колыхаясь обильными мясами, облеченными в черный кашемир, шествовала в церковь, можно было подумать, что идет местная королева — настолько почтительно раскланивались с нею солидные мещане, а шушера и легкомысленная молодежь, еще издали ее завидя, спешили свернуть в первый переулок либо проходной двор:

— Скорлупчиху черт несет... Уйти от греха — сейчас осудит... Замает наставлениями, только попадись...

В родне она возвластвовала настоящею царицею и добилась того, что все ходили перед нею по струнке. И прослыла она и отчасти как бы в самом деле сделалась будто маткою в улье, большухою весьма немалочисленных двух мещанских родов — своего, Мазайкиных, и мужнина Скорлупкиных, — со всеми иными фамилиями, к ним прикосновенными. Не только в отдаленнейших частях губернского города, но и в уездах жены из фамилии этих пугали мужей, а мужья жен:

— Видно, мне, супруга любезнейшая, самому с вашим поведением не справиться. Но только ежели я вас еще раз замечу с главным мастером у забора, то готовьтесь отъехать со мною к Соломониде Сидоровне — пусть уж она тогда начлит вас, как старейшина наша...

— Очень я боюсь! — огрызалась любезнейшая супруга. — Сама обеими ножками побегу к Соломониде Сидоровне пожалиться, каков ты есть эзоп!.. Пущай подивуется, как ты третью субботу заработные деньги пропиваешь.

Единственный человек в родне, который не только не боялся Соломониды, но которого Соломонида боялась, была Епистимия. Давно, когда минула ее девическая влюбленность в сестру, поняла она, что под красивою наружностью Соло-

мониды живет ничтожнейшая баба: человек глупый, недобрый, пошловатый и подловатый. И Соломонида знала, что сестра о ней невысокого мнения, и, зная, потрухивала насмешливого огня в ее синих глазах, хорошо помнящих прошлое да зорко видящих и настоящее... При людях Епистимия обращалась с сестрою столько же уважительно, как и все, и племянника учила быть как можно почтительнее с матерью. Предоставляла ей важничать, лицемерить, надуваться ханжеством и чванством, сколько угодно разглагольствуй себе, были бы охотники слушать! Но когда Соломонида попробовала ломаться и святошествовать наедине с сестрою, та ее оборвала коротко и резко:

— Ты, Соломонида, шток не строй. Я тебя понимаю, и ты меня должна понимать. Комедианткою сама с собою быть не желаю. И в сына ты не вступайся, в святоши его не муштруй. Перед людьми хоть на небо возносись — твое дело, а дома — не ерунди. А вздумает надоедать — пеняй на себя: перед всеми тебя обнаружу...

Оробела Соломонида и залепетала, что я, мол, что же? Я — ничего... И обошлось с тех пор ладно. Помнит баба. Почет приемлет, а ухо держит востро.

Слушает Епистимия храп сонной сестры и усмехается в темноте. «Ишь, постница! Ох уж постница! За столом сидит, работницу дурачит, хлеб по мере ест, квасом запивает. А ввечеру запрет ставни, опустит занавески да и жрет в одиночку гуся жареного, вишневою прихлебывая... Бутылка в день у нас стала выходить вишневки-то... Вдовица целомудренная! Небось на ночь опять карточки рассматривала...»

Работница думает, что она на правиле стоит, а она карточки воображает...

Карточки у Соломониды Сидоровны удивительные. Ничем не может так угодить ей Епистимия, как подновив их таинственный состав. Часами тогда запирается Соломонида Сидоровна стоять на правиле и любуется Ледами, Пази-

фаями, нимфами в объятиях сатиров, негритянками, коих похищают гориллы...

— Ах, ужаси! — пищит она потом сестре в удобную минуту, потому что после удовольствия посмотреть карточки для нее второе удовольствие — поговорить о них. — Неужели ж это все с натуры и есть такие несчастные, которые себе подобное позволяют?

А у самой в глазах — масляная готовность, если бы только возможно было без ведома соседей, явиться не только Ледюю, но даже и негритянкою, которую похищает горилла.

Она — не какая-нибудь несчастная, которая себе подобное позволяет, но есть у нее две подружки-однолетки, такие же разжирелые вдовицы, такие же святоши, живущие на другом конце города, такие же потаенные охотницы до неприличных карточек, заграничных «русских сказок» и тетрадок с барковскими стихами. Сойдутся, запрутся, пьют вишневку, едят сласти, почтывают да посматривают, хихикая бесстыжими шепотами. Несколько раз в год Соломонида Сидоровна вместе с вдовушками этими едет на богомолье в какой-либо мужской монастырь, подальше от родного города. Епистимия участвовала в одной из таких поездок, и до сих пор ей, видавшей виды, и смешно, и стыдно о том вспомнить, потому что бывали минуты, когда казалось ей, что она, четвертая в компании с тремя ведьмами, участвовала в шабаше бесов. А в прошлом году Соломонида Сидоровна в местный храмовой праздник долго и внимательно смотрела на бравого глухонемого парня, толкавшегося среди нищих на церковной паперти. И затем она вдруг зачем-то заторопилась — купила в семи верстах от города участок лесу на болоте, поставила сторожку, и сторожем в ней оказался вот этот самый бравый глухонемой. И каждую неделю Соломонида Сидоровна ездит на лесной свой участок проведать хозяйство. А по монастырям вдовы-приятельницы теперь разъезжают уже одни.

IX

Такова была маменька любимца Епистимии, Гришутки Скорлупкина. Сам он рос мальчиком не очень крепкого здоровья — обыкновенным мещанским ребенком, потомком поколения бедных и переутомленных, который, хотя бы родился и в сытой семье, должен расплатиться за недоедание, истощение и алкоголизм предков и рахитизмом, и золотухой, и предрасположением ко всяким изнуряющим организм недомоганиям. Половина, если не больше, таких ребят уходят на кладбище в младенческом возрасте, добрую четверть уносят туда же возраст возмужалости и молодая чахотка. Но те немногие, чья натура выдержит все напасти и испытания скверной наследственности до периода совершенной зрелости, затем, словно попав в рай после мытарств, становятся жилистыми здоровяками и обыкновенно живут, не зная, что такое болезнь, уже до самого последнего призывного к смерти недуга. Сейчас, в свои двадцать три года, Григорий Скорлупкин не боится искупаться в проруби, но в детстве своем — каких только болезней не перенес он! И корь, и ветряная оспа, и дифтерит, и скарлатина... словно горело что-то такое поганое в организме ребенка, чему надо было выболеть и выгореть, чтобы стал он из хилого заморыша крепким, хотя и неказистым из себя молодцом.

Очень хотелось Епистимии отдать племянника в гимназию, да не позволило здоровье, принизившее его умственные способности надолго и настолько, что и в городском-то училище он еле-еле тащился.

— Вы только напрасно мучите ребенка, — говорили Епистимии доктора, — он сейчас не «не хочет», а «не может» заниматься. Отложите на время всякие заботы об умственном его развитии, дайте ему восстановить свои физические затраты. А за будущее не бойтесь: оправится — станет таким смышленным, что обгонит всех умников...

Епистимия не слушалась и настаивала, чтобы Гришутка учился и учился, слезами плакала и на голос выла с ним вместе над книжками учебными, но от книжек не отпускала. А Соломонида, недовольная нервною суматохою в доме, проклинала и ее, и сына, и Евсея-покойника, и всех, кто выдумал эту проклятую науку, которая не хочет лезть парню в мозги, а если и влезет, то парень «заучится» и станет навек не человек.

Не Соломониде, конечно, было убедить Епистимию, и в самом деле, может быть, уходила бы тетка племянника от большой любви к нему, но выручил Симеон, с которым теперь Епистимия встретилась после его возвращения из Москвы и постоянного поселения в городе очень спокойно, почти дружелюбно, точно никогда между ними не было ничего худого.

Приметил как-то раз Симеон бледное сонное лицо Гришутки, мутные глаза, открытый рот, пригляделся к вялым его движениям, прислушался к гнусавому ленивому голосу и глухому неохотному смеху и сказал Епистимии:

— Ты племянника, по-видимому, в блаженненькие готовишь? Мой тебе совет: бери его из училища. Схватит воспаление мозга — поздравляю: не покойник, так дурак на всю жизнь...

— Симеон Викторович! Батюшка! Да как же быть-то? Я покойнику Евсею слово дала...

— Так ведь не морить сына его ты слово дала, а человеком сделать. Говорят тебе доктора: надо подождать — ну и жди...

— А покуда-то, Симеон Викторович, куда я с ним? Дом наш вы знаете — от сестрицы моей Соломониды Сидоровны в нынешнем ее настроении и умный помешается в разуме...

— В мальчики отдай, — посоветовал Симеон. — Пусть приучится к какому-нибудь торговому делу. Головы не уто-

мит, а телом и смекалкою разовьется. На этом пути тоже человеком стать очень возможно. Для мешанина еще лучше, чем на всяком другом. Ведь наши-то дворянские карьеры для него все равно закрыты. А захочешь образовать его — время не ушло: взрослый и здоровый в месяц усвоит то, что больной ребенок едва осилит в год...

— Бьют мальчиков хозяева-то, — тоскливо говорила Епистимия, — не кормят...

— А ты найди такого, чтобы не бил и кормил.

И нашла Епистимия даже эту редкость; но все-таки даже авторитет Симеона не заставил бы ее отказаться от своих образовательных целей, если бы не подоспело тут одно дело... такое важное дело, что вся дальнейшая жизнь им определилась для Епистимии, как и для многих других людей, ей близких. А ввязалась она в то дело и стала его душою опять-таки ради племянника своего, любимого Гриши Скорлупкина.

По смерти стариков отношения Епистимии к дому Сарай-Бермятовых стали как будто теснее, а необходимость еще нагляднее признавалась в ней всеми — от маленькой Зои, презлбной малютки, которую, когда она принималась реветь без слез на весь дом, никто не умел унять, кроме Епистимии, до распутного студента Модеста, который в сумерках с особенной охотой ложился на колени кудрявою головою и поверял ей свои любовные удачи и неудачи, мечты и бреды, сочиненные стихи и сказки.

— Люблю тебя, Епистимия Сидоровна, — говорил он ей, — настоящий ты, натуральный человек. Никаких в тебе ложных стыдов. С мужчиною-товарищем нельзя быть так откровенным, как с тобою. Другая бы давно притворилась, будто от моих похощений и анекдотов у нее уши вянут. А ты будто и не женщина: слушаешь — и ничего...

— Еще и сама научу! — как будто и весело подхватывает Епистимия.

— А, конечно, научишь! — свысока смеется Модест. — Великая просветительница юнцов! Ты думаешь: я забыл уроки-то? Желаешь — повторим?

— Ну на что я вам, старуха! Моя пора прошла, стыжусь на себя и в зеркало-то взглянуть... А вы лучше загляните ко мне завтра вечером: я вас с такою штучкой познакомлю... будете за Епистимию Бога молить!

— Не черта ли, Епистимия Сидоровна?

— А уж это ваше дело, Модест Викторович, не мое: кто вам ближе, тому и помолитесь.

— Срезала! — хохочет Модест. — Иван! Ведь срезала!

— Срезала! — повторяет за братом уже смолоду ставший эхоподобным Иван.

— Ах, Епистимия Сидоровна, и откуда только ты, такой чудак, зародилась?

— Зародилась я, Модест Викторович, как все, нет ничего особенного... Но вот что школу я хорошую приняла... ну, это уж точно, приняла школу!.. Могу поблагодарить!

Человек, которому она и прямо, и косвенно обязана была этою школою, Симеон Сарай-Бермятов стал ей очень любопытен с тех пор, как он оказался неожиданным главою целой семьи братьев и сестер в возрасте от шести до двадцатилетнего возраста... С изумлением видела она, что у этого молодого эгоиста, обычно ходившего по людям, как по полу, да еще и в сапогах, подбитых гвоздями, есть уголки души, в которых цветут и долг, и хорошие чувства, может даже расцвести жертва. Он не любил никого из братьев и сестер, разве к одной Аглае был благосклоннее, чем к другим, некоторых же просто терпеть не мог — либо презирал, как Ивана и Модеста, либо ненавидел, как Виктора. Но, так сказать, по общей фамильной совокупности он оказался превосходным родным и надрывался всеми своими молодыми силами, чтобы не уронить своего разоренного рода, тянуть процентами и сделками отцовские долги, прилично оде-

вать и воспитывать сестер, давать средства к образованию братьям. Эта неутомимая и сверхсильная работа на честь фамилии доставила ему известное уважение в городе. Знали, что он не женится исключительно потому, что раньше желает обеспечить сестер и поставить на ноги младших братьев. Знали, что бремя, им принятое на себя, лишает его, блестяще способного, возможностей крупной общественной или административной карьеры, потому что ему некогда пройти стаж маленьких обязательных чинов — за это время Аглая с Зоей могли бы если не умереть с голоду, то, во всяком случае, уже не только гувернантку, но и бонну дешевенькую для них нанять было бы не на что. И вот вместо того чтобы шагать по лестнице чинов, Симеон Викторович погробал свои способности на частной службе, потому что она давала ему семь с половиною тысяч в год, которых не могла дать казенная, и вместо того, чтобы ворочать каким-нибудь департаментом, управлял лишь делами, правда, огромными, дяди своего по матери, Ивана Львовича Лаврухина.

Этот старый холостяк, богатый помещик-либерал и фрондер шестидесятых годов, дошедший к двадцатому веку заживевшим в безразличии, сытым циником-хохотуном и довольно-таки противно беспутным старцем, откровенно хвастался, что всех людей считает мерзавцами, способными решительно на всякую выгодную подлость, причем не исключал из этого милого счета и себя самого.

— А самое забавное зрелище, — утверждал он, — это когда подлец, подличая, не видит, что другой подлец его насквозь понял и, в свою очередь, ему подлость подводит... А он-то старается строить здание на песке! Он-то замечает следы и втирает очки. Иные так усердствуют, что даже самих себя обманывают и сами себе начинают казаться порядочными людьми...

Никому не верил и был убежден, что если человек к нему приближается, то не иначе как с целью грабежа. Нанимая служащих, предупреждал:

— Жалованья вам кладу столько-то... ха-ха-ха!.. Знаю, что мало, нельзя на это жить... ха-ха-ха!.. Но вы добывайте, добывайте... ха-ха-ха!.. Если уж не очень шкуру снимете, я в большой претензии не буду... ха-ха-ха!.. Но не зарывайтесь... ха-ха-ха!.. Я дела свои знаю, как собственную ладонь... Зарветесь, упеку под суд... в Сибирь... ха-ха-ха!..

И упекал...

Не было человека, которого Иван Львович не старался бы обратить так или иначе в шута своего. И так как был он умен, образован, смолоду даже к профессуре готовился и диалектик был превосходный, то потеха людьми давалась ему легко, а наслаждался ею он бесконечно... В роскошном кабинете его на письменном столе под статуэтками Версальской Дианы и Венеры Милосской лежали в плюшевых переплетах два толстых альбома. На одном была надпись — «Глупости Ивана Львовича Лаврухина», на другом — «Глупости моих знакомых». В первом записей почти не было, хотя Иван Львович сам с гордостью предлагал вписывать в альбом каждому желающему все, что тот заметит глупого в его словах или поступках. Во второй он собственноручно и с наслаждением вписывал каждый вечер издевательства над всеми своими встречами в течение дня... Понятно, что, несмотря на любезное хозяйское приглашение, гости пользовались альбомом «Глупостей Ивана Львовича Лаврухина» неохотно и осторожно либо вписывали туда под видом его глупостей тонкую или грубую, кто как умел, лесть... Но однажды беспардонный племянник Ивана Львовича, Вася Мерезов, накатал туда про дядюшку целый фельетон, читая который, старик так взбеленился, что месяца два не пускал племянника к себе на глаза.

Этот Вася Мерезов был едва ли не единственным существом, к которому Иван Львович чувствовал прочную привязанность. Так как между стариком и молодым племянником замечалось большое сходство, то губернские злые языки уве-

ряли, будто Вася Мерезов Ивану Львовичу не только племянник, но и сын побочный. Тем обстоятельством, что покойная мамаша Васи Мерезова, Зоя Львовна, приходилась Ивану Львовичу родною сестрою, злые языки нисколько не смущались. А напротив, утверждали, будто антипатия, почти ненависть, которую Иван Львович открыто показывал мужу другой своей сестры, Ольги Львовны, Виктору Андреевичу Сарай-Бермятову, и всему их потомству, имеет подобное же происхождение: будто бы Иван Львович до безумия влюблен был в обеих сестер своих и не мог простить Сарай-Бермятову, что тот спас от его навязчивости старшую — красавицу Ольгу. От младшей же, Зои, он будто бы добился полной взаимности, а когда плоды таковой обозначились, выдал сестру за весьма родовитого, но еще более разоренного и уже пожилого дворянина Мерезова, который у Ивана Львовича был в долгу как в шелку.

Правду ли, нет ли говорили злые языки, верно было одно: Васю Мерезова Иван Львович любил, насколько лишь способна была его насмешливая натура, племянников же Сарай-Бермятовых не хотел знать. Васю Мерезова считали непременно наследником дяди Лаврухина, о Сарай-Бермятовых говорили с сожалением:

— Неужели он даже никаких крох не бросит этим несчастным? Так-таки и достанется все этому Ваське-шалуну?

Впрочем, даже и тут имя Васьки-шалуна произносилось с ласковою улыбкою, потому что при всех своих беспутствах и дурачествах уж очень симпатичен уродился паренек: широкая, великодушная натура, озаренная безграничным весельем, доброжелательством и ласкою ко всему миру...

Несмотря на антипатию Ивана Львовича к сарай-бермятовскому «отродью», Симеон Сарай-Бермятов оказался управляющим делами Лаврухина. Устроил ему это отец его университетского товарища Вендля, старый дисконтер

Адольф Исаакович Вендль, один из немногих людей, которых Иван Львович удостоивал чего-то вроде уважения.

— За Адольфом Вендлем у меня в альбоме не записано ни одной глупости, — с удивлением говорил он.

И прибавлял со вздохом:

— Во всей губернии один умный человек, да и тот жид.

А Вендль, еще при первом знакомстве приглашенный расписаться в альбоме глупостей Ивана Львовича, не уклонился и написал нечто, но — по-еврейски, а перевести отказался. Иван Львович стал в тупик. Узнать, что написал Вендль, ему крепко хотелось, а знакомым евреям показать боялся: вдруг Вендль написал что-нибудь такое, что сделает его, Лаврухина, смешным? Наконец он ухитрился: сфотографировал автограф Вендля и послал снимок в Петербург к знакомому ориенталисту, как будто бы текст, встреченный им в рукописи. Перевод пришел:

«Веселый мудрец! Если бы тебе удалось собрать сюда глупости даже всего мира, поверь: все их перетянет тяжесть глупости потерять время, которое ты употребил, чтобы их собрать...»

Доволен афоризмом остался Лаврухин или нет, неизвестно, но тонкость того обстоятельства, что Вендль отчитал его на языке, не доступном губернскому обществу, он оценил весьма и стал относиться к старику с большим вниманием.

Когда Вендль по смерти старого лаврухинского управляющего рекомендовал Ивану Львовичу пригласить новым Симеона Сарай-Бермятова, Лаврухин с изумлением воскликнул:

— Что я слышу?! Я, кажется, должен записать в альбом первую глупость Адольфа Вендля?

— Можете, — отвечал старик, — но не ранее чем через год.

Конечно, и Симеон прошел через обычные лаврухинские глумления, включительно до милого предложения — красть,

но в меру... ха-ха-ха! Не зарываться... иначе... ха-ха-ха... в Сибирь упеку, хоть вы мне и родня... ха-ха-ха!

— Сколько же именно я могу красть? — спокойно спросил Симеон.

Лаврухин этою неожиданностью был сбит с позиции, но самолюбие не позволило спасовать.

— Мне кажется, любезнейший племянник — ха-ха-ха! — что в таких щекотливых вопросах — ха-ха-ха! — решает только своя рука владыка... ха-ха-ха!

— Нет, — еще спокойнее возразил Симеон, — я в деловых отношениях своей руки владыки не признаю. Надо обусловить. Вы предложили мне жалованье — две тысячи рублей в год. Этого мне по бюджету моему мало. Вы так любезны, что предлагаете мне добирать дефицит кражею. Я согласен. Так вот — сколько же вы разрешаете мне красть?

Иван Львович начинал терять почву под собою.

— Гм, — замычал он, еще не желая сдаться, — и ха-ха-ха!.. Оригиналом желаете казаться? Гм... ну, если в размере годового жалованья? Это вас удовлетворит?

— Если жалованье будет больше, то да, конечно.

— Сколько же вы желаете?

— Три тысячи семьсот пятьдесят рублей.

— Что за странная сумма? Почему не четыре тысячи? Почему не 3600?

— Потому, — сухо объяснил Симеон, — что я должен содержать четырех братьев и двух сестер. Если на каждого из них положить в год по тысяче, а мне, как работнику, не грех взять себе и полторы, то выйдет...

Иван Львович покраснел и перебил племянника уже без всякого смеха:

— Сосчитал-с: семь с половиною тысяч, дважды 3750 рублей... Хорошо-с... Можете... красть в этом размере.

С того часа, как Симеон вошел в управление лаврухинскими делами, осенила его одна идея: «Во что бы то ни ста-

ло покорить себе ум и сердце этого презрительного старика и отнять его наследство у Васьки Мерезова. Либо хоть добиться справедливого раздела: половина ему, половина нам».

«Нам» скоро отпало, и он стал мечтать: «Половина ему, половина мне».

Но напрасно вкладывал он в работу по лаврухинским делам истинно железную энергию и недюжинный талант, напрасно был безукоризненно честен в отчетности, оправдывая экономиями втрое, вчетверо свою условленную «кражу», напрасно поднял дядины доходы, открыл новые выгодные пути многим бездоходным прежде статьям, напрасно умно и тонко угождал Ивану Львовичу, предупреждая его малейшие желания. Не то чтобы дядя вовсе не оценил его стараний, но стоило блудному сыну, Ваське Мерезову, явиться из беспутных отлучек, в которых он хронически пропадал, к дяде хотя бы лишь метеором на полчаса и хотя бы лишь для того, чтобы вдребезги с ним поругаться, — и все положение, которое Симеон считал уже завоеванным у Ивана Львовича, рассыпалось песком. Он чувствовал, что Мерезов просто так вот и стирает его с внимания старика своею безалаберною, полупьяною рукою, точно ненужную запись с аспидной доски. И, быть может, всего досаднее было, что сам-то Вася несколько о том не старался: ему и в голову не приходило считать Симеона своим соперником в дядиной любви и капиталах, относился он к кузену дружески, искренно сожалел, что тому так трудно живется, и даже неоднократно предлагал займы денег — «для кузин».

«Получит наследство — пожалуй, еще расщедрится великодушно, — со злобою думал Симеон, — выбросит на голодные зубы тысяч десяток, другой. А уж что управляющим оставит и даже жалованья прибавит, в том не сомневаюсь... Благодетель! Широкая натура, черт бы его побрал!»

Мерезов к ждущему его наследству относился с беспечно-стью человека, настолько уверенного, что оно — его фатум,

что даже как-то стыдно ему перед людьми: словно он — не заведенные драгоценные часы, стрелка которых дрогнет и двинется по циферблату только в момент дядиной смерти. Дядя давал ему много денег, но кредитовался Мерезов еще шире, потому что жизнь вел совершенно безумную. Но в городе находили это естественным: еще бы! Лаврухинскому наследнику иначе и нельзя!

Дядя знал все похождения и скандалы своего любимца, равно как и его долги, и хотя ругался явно, но втайне тоже благосклонно находил, что лаврухинскому наследнику иначе нельзя: сам Иван Львович не лучше чудил в молодости, а если бы не подагра, так и сейчас бы не прочь. И потому очернить Васю в дядиных глазах, ведя под него подкоп сплетен, хотя бы и основательных, было невозможно. Симеон это понял и не пытался. Напротив, чтобы нравиться дяде, он старался по возможности сблизиться с Мерезовым. И, видя их вместе, даже скептический дядя задумывался про себя: «Да неужели приятели? Ха-ха-ха! Вот будет штука, если Симеонка этот в самом деле порядочный человек!»

Симеона он смутно чувствовал и некоторое время как будто боялся. Когда спустя год после своей рекомендации старик Вендль самодовольно спросил старика Лаврухина:

— Ну, что вы скажете за моего молодого человека? Будем мы записывать в ваш альбом первую глупость Адольфа Вендля?

Иван Львович задумчиво, без хохота ответил:

— Нет, Адольф, вы оказались правы, как всегда. Но боюсь, что надо нам записать большую глупость Ивана Лаврухина...

Вендль вынул из кармана платок и, расправляя его, внимательно смотрел на приятеля красноватыми своими глазами-гвоздиками...

— Уж очень усердно экзамен держит, — пояснил тот.

Вендль стряхнул платок.

— Экзамен?

— На наследника моего экзамен, — насильственно засмеялся Лаврухин.

Вендль с шумом высморкался.

— Ну, и что же тут для вас дурного?

— А что хорошего, Адольф? Ходит вокруг тебя человек и мерку для гроба твоего снимает. Я в каждом взгляде его читаю: скоро ли ты, старый черт, околеешь и оставишь мне приличную часть твоих капиталов?

— Но ведь вы капиталов ему не оставите?

— Гроша не дам... мало ли у меня босой родни?

Вендль спрятал платок и пожал плечами.

— Тогда я вас опять спрашиваю: ну, и что же тут для вас дурного? Нехай!

— Нехай?

— Вам это несколько не стоит, потому что денег вы ему не оставите, а молодому человку удовольствие мечтать, и он будет лучше стараться.

Зашатался Иван Львович в креслах тучным телом своим и оглушительным хохотом огласил свои покои. И с этой минуты перестал он бояться Симеона, и стал ему Симеон смешон, как все.

Часто старики вели речи о действительных наследниках своих, и тут уже не только Вендлю приходилось утешать Ивана Львовича, но и Ивану Львовичу — Вендлю. Потому что и умен, и талантлив, и удачлив, и с характером кротким вышел его единственный горбатенький сынок и уже самостоятельно стал на ноги и зарабатывает кучу денег адвокатурою, но перестал он быть евреем: оторвался от родительского корня, жениться не хочет, водится только с самою что ни есть золотою молодежью и беспутничает так, словно они с Васею Мерезовым пари держали, кто кого переглупит. И страшно старому Вендлю за сына, не отшатнулся бы Лев вовсе от него и от своего народа.

— Ну, что он синагогу забыл, Бог с ним... я и сам от молодых костей вольнодумец... Но еврей должен быть еврей... Мы знаем эту скользкую тропинку: сегодня трэфник и эпикуреец, а завтра — целый выкрест... Потому что, Иван Львович, он, мой Лев, ужасно увлекающийся, а в обществе его балуют. Он таки себе довольно остроумен и теперь стал самый модный человек в городе. И так как он, бедняжка, имеет неправильное сложение, то это его забавляет, что он при таком своем телосложении может быть самый модный человек. И ему подражают богатые христиане, весь наш губернский свет, даже князья и графы, потому что все знают, Лев Вендль — парижская штучка, уж если что надето на Льве Вендле или принято у Льва Вендля, то это, значит, шик, самое, что теперь есть модное, последний парижский шик. И ему нравится, что ему подражают, и так как он у меня, слава Богу, живой мальчик и ужасно насмешливый, то он делает глупые мистификации, за которые его когда-нибудь изувечит какой-нибудь кацап или убьют его на дуэли, как Лассалья. И он волочится за христианскими барышнями и пишет им смешные стихи, а в обществе наших еврейских девиц он зевает и уверяет, что напрасно их выводили из вавилонского плена. А христианские девицы знают, что он богат и будет еще богаче, когда я умру, и они его зовут «наш губернский Гейне», и вы увидите, Иван Львович: которая-нибудь его влюбит в себя, а как влюбит, то и выкрестит, а как выкрестит, то и женит, а как женит, то и заведет себе любовника с настоящим ростом и прямою спиною, а моего горбатого Лейбочку оставит без роду, без племени. И он все шутит собою, все шутит, шутит. В прошлом году он увез из оперетки примадонну, которая годами вдвое старше моей покойницы Леи, его матери, и толще колонн Соломонова храма. Ну, я вас спрашиваю: на что задалась молодому человеку одна такая археологическая колонна? И он ездил с нею в какую-то Исландию и влезал на какую-то Геклу, и я должен был переводить ему

деньги в города, названия которых отказывается выговорить честный человеческий язык. Я не знаю, кто там живет, в их Исландии, может быть, медведи, может быть, обезьяны, но знаю, что ни один разумный еврей не поедет вдруг вот так себе, ни за чем в какую-то Исландию. А Лев мой ездил и возил с собою примадонну, которая старше всякой Исландии и толще Геклы. И все это удовольствие стоило ему двадцать две тысячи триста шестьдесят два рубля, как одну копейку. А? Хорошо? И вы думаете: ему жаль? Нет, он хохочет, что в этом году еще два дурака уже потащились за ним, в его Исландию: губернаторшин племянник и городского головы сын, и оба тоже взяли с собою по примадонне... Ну, скажите мне, пожалуйста, Иван Львович: есть ли в этом человеческий смысл и чем себя забавляет это еврейское дитя?!

Х

В один печальный день местные газеты огласили траурное объявление о скоропостижной кончине Адольфа Исааковича Вендля. Смерть приятеля поразила Лаврухина страшно. Повлияла она и на Симеона, только иначе. На глазах его свершилось как раз то, о чем он мечтал, только — не по его адресу. Его университетский товарищ и близкий приятель, Лев Адольфович Вендль, получил в наследство от отца громадное богатство. И зрелище этого «счастья», которое оказалось так возможно и близко, наполнило его мысли новою завистью и новою решимостью.

Вскоре после смерти старого Вендля старик Лаврухин сказал Симеону:

— Переезжай-ка, брат, ко мне на житье, а то в доме у меня Сахара какая-то... одни лакейские рожи... скучаю... еще зарежут... ха-ха-ха! Боюсь...

— Вася же всегда при вас, — осторожно возразил Сарай-Бермятов, которого это предложение и обрадовало,

и смутило, как шаг, быстро приближающийся к задуманному завоеванию.

Старик нахмурился и сказал:

— Васька — онагр, а не человек... Рыщет да свищет... Вот уже десять дней, что я его не вижу, потому что он тенором в цыганский хор определился и необыкновенно серьезно относится к своим служебным обязанностям... А мне, старику, не с кем словом обменяться... Да и по делам моим необходимо иметь тебя ближе... Пожалуйста, переезжай... А то и дружба врозь...

Симеон исполнил желание старика. Сестер и меньших братьев он устроил на житье в учительские пансионы. Модест был уже студент, Иван выходил в офицеры. Старый сарай-бермятовский дом заколотили, а ключ к нему и надзор за ним получила любезноверная Епистимия.

Она в это время стала относиться к Сарай-Бермятовым не только напоказ, но и в самом деле много мягче, чем раньше. Подкупали ее то участливое внимание, с которым относился к ее Гришутке ровесник его, подрастающий Матвей, и ровный, мягкий характер, выработывавшийся у старшей из девочек, Аглаи.

— Чтой-то, право? — изумлялась она, неизменно встречая со стороны девочки кроткую ласку, отзывчивую сердечность. — Словно и не сарай-бермятовская кровь... И на Лаврухиных не похожа... Те все злыдни, шпыни, коршунники... вон — Зойка в их род удалась... А Аглаюшка... уж не согрешила ли, часом, покойница Ольга Львовна с каким-нибудь хорошим человеком?

Повлияло на нее и зрелище той энергии, с которою Симеон боролся с бедностью и ставил на ноги осиротевшую семью. Любовь к нему давно угасла в ее сердце, только злая тяжесть осталась от нее. Но тяжести было много, и носить ее было трудно. И все, что могло облегчить и уменьшить эту тяжесть, было приятно и принималось с благодарностью. А в числе

такого было немаловажно сознание, что хоть и растоптана ее молодость Симеоном, да все же не вовсе бессердечному подлецу она себя под ноги кинула: вон какой вышел из него работник и дому старатель... Простить она ему ничего не простила и при случае сосчитаться была не прочь, но той настойчивой ярости, в которой раньше кипели и смешивались в ней отчаяния отвергнутой, но не умершей любви и бессилой ненависти, уже не было; ее сменило не столько враждебное, сколько равнодушное и немножко злорадное любопытство: как Симеон вертится и выкручивается, — а ну «вывернись — поп будешь!»).

К тому же видела она, злорадно видела, что в борьбе своей Симеон страшно одинок. Он был из тех благодетелей семьи, от которых благодеяния принимают, но благодарности за них не чувствуют, и все, что они ни делают для других, вызывает в этих последних, скорее, досаду какую-то, удивление и скрытую насмешку. Семья, для которой тянулся он из последних сил, решительно не любила старшего брата. И больше всего те, кто чувствовал себя наиболее на него похожим: Модест, которого коньяк и ранний разврат быстро разлагали в совершеннейшую и небезопасную дрянь, и волчонок Виктор, наоборот, с четырнадцатилетнего возраста заковавшийся в суровый аскетизм, неутомимый читатель серьезных книг и мучитель напуганной фантазии гимназических директоров и инспекторов, потому что из трех гимназий его удаляли за организацию кружков саморазвития, которые до тех пор принимались за кружки политической пропаганды, покуда, с досады на придирки, в самом деле ими не стали... Этот мальчик, один из всей семьи, почти ничего не стоил Симеону и раньше всех ушел из семьи, пробивая себе одиночную, суровую дорогу в жизнь грошовыми уроками, перепискою, корректурую...

Глухое презрение, которое Симеон чувствовал в отношении семейных к труду своему, волновало его жестоко.

— Точно я им щепки даю, а не деньги, потом и кровью добытые! — жаловался он другу своему Епистимии Сидоровне, запираясь с нею для советов, совершенно как запирался покойный отец.

Мало-помалу он потерял терпение, озлобился, начались столкновения, крики в доме, ссоры... В представлении братьев и сестер Симеон перестал быть братом Симеоном, а превратился в полукомическую, полустрашную фигуру «отче Симеонтия»... Когда он объявил о временном распаде семьи и о своем переезде к Лаврухину, никто не огорчился, а многие неприлично обрадовались. Со своей стороны, Симеон, расставаясь с братьями и сестрами, думал крепкую думу:

«Я дал слово покойнице матери не покинуть их и вывести в люди. И выведу, слово Симеона Сарай-Бермятова крепко. Но я достаточно знаю вас, каковы все вы, голубчики! И, если сбудутся планы мои, вы в них не участники. Не мы будем богаты, а я буду богат».

Итак, рассыпались Сарай-Бермятовы по чужим семьям. Ушла искать приюта в какой-нибудь новой семье и последняя гувернантка Аглаи и Зои, красавица Эмилия Панталыкина, весьма облегчавшая Симеону его холостой быт. Сперва задумался было Симеон, не устроить ли ее вместе с собою при старике Лаврухине в качестве лектрисы, что ли, или переписчицы. Но струсил:

«Нет, слишком хороша и умна. И жадная. Это — вводить волка в овчарню. Если она захочет, то — не успеем оглянуться, как старик окажется у ее ног. И тогда капиталов его не удастся понюхать не только мне, но даже и самому оберлюбимчику, Васеньке Мерезову».

Вот когда Иван Львович Лаврухин, если бы знал рассуждение Симеона, мог бы записать в альбом свой, что Симеон сделал большую глупость. Эмилия крепко любила его, вдсятеро больше, чем сдержанная натура ее показывала, и была бы любовнику своему верною союзницею. Но основною чер-

тою характера Симеона было глубокое, подозрительное недоверие ко всем, кто его любил. Он почему-то решил однажды навсегда, что его нельзя любить искренно, и потому с теми, с которыми сближался, бывал насмешлив, жесток, коварен, презрителен — не хуже байронического героя какого-нибудь, свысока издевающегося над людьми. Некоторое исключение он делал для Епистимии, слишком наглядно доказавшей ему свою преданность. Да, кроме того, он считал ее с барского свысока достаточно, может быть, даже необычайно смышленною для той низменной среды, из которой она происходила и в которой вращалась, но между умом этой среды и своим дворянским интеллектом он предполагал разную породу и стену непроходимую.

Иван Львович начал часто хворать. Подагра гуляла по его тучному телу, и в дни ее старик становился невыносим настолько, что даже сам сознавал это. Злость свою срывал на Симеоне, глумился, шутовал. Унижал племянника всячески. Открыто, при людях, говорил ему, что видит его насквозь, как он за наследством охотится, да шиш получит. Это был единственный раз, когда нервы Симеона не выдержали и он крепко отчитал дядю.

— Если подобная шутка повторится, — твердо сказал он, — то мы должны будем расстаться при всем моем уважении к вам и желании быть вам полезным.

Сконфуженный старик просил извинения. И он сам, и Симеон отлично знали, что расстаться сейчас невозможно и они должны друг друга терпеть, как бы ни было трудно обоим. Одолеваемый немощами, обезножевший Иван Львович почти был лишен возможности вступаться в свои дела, а Симеона он, считавший всех людей ворами, мошенниками и подлецами, все-таки обучился считать воров, мошенником и подлецом в несколько меньшей степени, чем остальных своих ближних.

Холостяк и большой циник по женской части, Иван Львович смолоду отдал усерднейшую дань науке страсти нежной,

обращая ее, по уверению губернской сплетни, даже на родных сестер. Но чем становился он старше, тем дальше отходил от сложных романических интриг и приключений, тем больше укрощал свою «проблему пола» и свел ее наконец к тому откровенному разрешению, что в доме его всегда жила очередная сожительница по вольному найму и договору — до первой провинности, а там паспорт в зубы, деньги за два месяца вперед — на, подавись! И марш!

— Я, — говорил Иван Львович, — в этом случае поклонник и подражатель великого нашего композитора Михаила Ивановича Глинки: кому нужна жена, кому любовница, а мне, старику, по немощам моим требуется нянюшка... ха-ха-ха... нянюшка!

Нянюшек этих на глазах Симеона Иван Львович сменил великое множество. Один год был такой неудачный, что, по своей системе выдавать увольняемым вознаграждение за два месяца вперед, Лаврухин сосчитал, что жил он в году этом двенадцать месяцев, а непрерывно менявшимся «нянюшкам» оплатил сорок восемь. Это привело его в негодование, особенно после того, как последняя нянюшка, из немок, украла у него дорогой старинный хронометр.

— Нет ли хоть у тебя, Симеон, — жаловался он, — этакой на примете, чтобы была не вовсе дура и можно было бы положиться, оставшись с нею вдвоем, что она не впустит любовника — перерезать мне горло и взломать несгораемый шкаф?

Симеон усмехнулся.

— А это тоже входит в мои обязанности? — сказал он.

— Ну, для дяди-то...

— Пожалуй, есть, — подумав, протяжно молвил Симеон. — Только уж не первой молодости и свежести. А то и человек надежный, и женщина занимательная, и даже, как товарищ скуки, не ударит в грязь лицом — может и поговорить интересно, и почитать вслух, и в пикет отлично играет, и в шах-

маты, и, когда вам нездоровится, припарки сделает, и первую помощь подаст... Но повторяю: немолода и уже порядком увяла.

— Однако не вовсе рожа? — хладнокровно спросил Лаврухин.

— Напротив!.. Иконописна несколько, но...

— Это ничего... ха-ха-ха... это я даже люблю, чтобы — под византийское письмо...

— В таком случае, найдете ее весьма привлекательною... Глаза даже редкой красоты...

— Друг мой, — воскликнул старый циник, — тогда я ничего лучшего и не желаю: это даже роскошь! Ибо я преследую цели не эстетики, но физиологии... Я ведь, слава Богу, русский человек, милый мой Симеон. А слышал ты выразительную русскую поговорку о роже, которую можно фартуком прикрыть? Это, брат, эстетическая квинтэссенция истинно русского любовного романа...

И вот... Епистимия в «нянюшках» при старом, больном, решительно, хотя и медленно, пошедшем к могиле Иване Львовиче Лаврухине. Ради этого она должна была расстаться с Гришуткою и, так как не хотела доверить его Соломониде, в самом деле предпочла отдать в мальчишки знакомым купцам, хорошим людям.

«Ну, Епистимия, — думала она в первые дни, когда убедилась, что успела заслужить совершенное благоволение Ивана Львовича, — теперь только не зевать, будет богат Гришутка... Это не у Сарай-Бермятовых — по мелочам... тут, при уме, сотнями и тысячами пахнет...»

Шли недели, месяцы, потом пошли годы. Иван Львович день ото дня становился капризнее, требовательнее, сердитее, а «нянюшка» не менялась. Ровная, спокойная, безгневная, всегда тактичная, Епистимия — и через пять лет после того, как вошла в лаврухинские палаты, — не сделалась хоть сколько-нибудь фамильярнее со стариком, а преданность

и бескорыстие свое доказала ему в стольких выразительных случаях, что еще раз поколебался дряхлющий скептик:

«Кой черт? Неужели я доживу до такого чуда, что на старости лет буду окружен порядочными людьми? Сперва Симеон, потом эта...»

Симеон долго приглядывался к Епистимии, покуда ввел ее в свой план. Он был прост и даже формально — до известной своей ступени — не преступлен. Так как Иван Львович, дряхлея, приобрел страсть, вернее, болезнь многих стариков писать завещания, то увеличивая, то уменьшая суммы, которые он назначал Васе Мезерову, глядя по тому, как был им доволен, а остаток назначая на разные просветительные и благотворительные учреждения, то надо было добиться того, чтобы однажды какое-нибудь из завещаний этих он подписал в пользу Симеона Сарай-Бермятова, а затем постараться, чтобы новых завещаний уже не было и это осталось последним. Вот как этого-то достичь, чтобы после завещания в пользу Симеона Иван Львович не сделал нового, которым бы отменил то, и было самым мудренным. И это Симеону казалось даже невозможным без преступления. И с неприятным содроганием внутри себя, чувствуя себя почти маньяком охватившей его идеи, Симеон боялся сознаться самому себе, что в случае надобности он готов и на преступление. Что же касается Епистимии, она с тою решительною легкостью, которая так свойственна женщинам большого характера одинаково на путях подвига и злодейств, давно уже приняла за необходимость, что придется ей рано или поздно в Симеоновых и Гришуткиных интересах попоить Ивана Львовича чем-нибудь таким, что прекратило бы навек его завещательные вдохновения, остроумие и самые дни. В случае успеха интриги Симеон обещал Епистимии выплатить десять тысяч рублей. Это ее втайне обидело: без награды, и большой, она, конечно, не надеялась остаться, но ей хотелось, чтобы Симеон понимал, что она для него не из-за

денег старается, и удостоил бы, с уступкой своей барской спеси, быть с нею в равных товарищах, а не видеть в ней только продажную — за корысть, нанятую деньгами, слугу. Однако, не подав вида неудовольствия, она с насмешливою заднею целью спросила Симеона:

— Вы мне это и на бумаге напишете?

Симеон посмотрел пронизательно и сложил пальцы правой руки в выразительную фигу.

— Я, любезнейшая моя, не дурак и в Сибири гнить отнюдь не желаю.

Большою бы глупостью имел право записать, кабы знал, Иван Львович эту фразу Симеона Сарай-Бермятова о Сибири и дорого заплатил Симеон впоследствии за фигу свою. Потому что вместо друга и союзницы снова воскресил он в Епистимии оскорбленную женщину и тайного врага.

Подумала Епистимия:

«А для чего я буду стараться в пользу этого Симеона? Поработаю-ка я лучше сама на свой кошт. А его — чем я ему теперь помогаю — заставлю-ка лучше мне помогать...»

И стала строить новую, свою собственную сеть, тонкую, смелую, дальновидную, в которой мало-помалу завязли и Иван Львович, и Вася Мерезов, и Симеон, и все Сарай-Бермятовы.

А Симеону казалось, что Епистимия слушается только его и работает только на него.

Вести интригу против Васи Мерезова Симеону с Епистимией было легко: Вася небрежностью своей к старику дяде сам давал им оружие в руки. Но Епистимия никогда не выступала пред Иваном Львовичем обвинительницею Васи: напротив, защищала его от слухов и сплетен с такою энергией, что казалась даже в него влюбленною...

— Ну, еще бы! — дразнил ее старик, втайне довольный, что пред ним оправдывают его любимца. — Васька — бабник... Конечно, за него все бабы горой.

С Симеоном Епистимия была преднамеренно и условленно холодна, почти враждебна. Когда Иван Львович спросил ее о причинах, она откровенно рассказала, что значил в ее жизни Симеон. Открыть, что Симеон и Епистимия — тайные враги, между которыми не может быть заговора, было приятно подозрительному старику.

А Вася Мерезов тем временем увлекался без ума, без памяти новою губернской красавицею Эмилией Федоровной Вельс. Бывшая гувернантка девочек Сарай-Бермятовых и любовница Симеона после нескольких лет авантюры и сомнительного образа жизни в Петербурге и за границею вдруг явилась на родину в качестве «помпадурши» вновь назначенного генерал-губернатора, куртизанкою столь высокого полета и тона, что провинция рты поразинула, а молодежь поголовно влюбилась, — Вася же Мерезов больше всех... А красавица надменно говорила, что скучнее города не знавала, один на весь город шикарный человек — Вендль, да и тот горбун... Вася Мерезов из кожи вон лез, чтобы доказать Эмилие Федоровне, что он тоже чрезвычайно шикарный человек, но красавица убеждалась что-то туго... Траты Вася стал позволять себе такие, что даже Иван Львович стал морщиться, а уж имени Эмилие Федоровны, ради которой творились все эти безумства, он слышать не мог без пены у рта...

И вот пришла ему в голову идея: впервые в жизни пугнуть любимого Васю серьезно — без обычного шума и крика, кончающихся примирением, с тем чтобы завтра все началось сызнова по-старому. Он призвал Васю и спокойно объяснил ему, что устал терпеть и что Васе недурно бы помнить: не монополист он какой-нибудь по чаемому наследству, есть у Ивана Львовича племянники и помимо его.

Вася немножко призадумался, но очень мало — в голове у него звучала первая ласковая фраза, вчера сказанная ему Эмилией Федоровной:

— На днях я еду за границу... одна... хотите быть моим спутником?

Хотел ли он! С того времени, как услышал, он только и делал, что ломал голову, где найти ему денег на этот соблазнительный вояж...

Рассеянно выслушал он дядины нотации, промурлыкал что-то о непременном намерении исправиться, а сам поскакал к Вендлю — разживаться прогонами.

— Послушай, — сказал ему Вендль, — я дам тебе денег, мне для тебя не жаль... Но, Вася, ты играешь в опасную игру... Вчера у меня был Симеон Сарай-Бермятов... Ты знаешь, какой он благородный человек... Ну и он в страшном смущении... Говорит, будто Иван Львович так зол на тебя за Эмилию, что грозит лишить тебя наследства и отдать все ему. И это страшно его испугало и взволновало, так как спорить с бешеным стариком он не может: того при каждом противоречии, того гляди, кондрашка хватит, а между тем при ваших хороших отношениях ему в высшей степени неприятно...

— А черт с ним! — с беспечностью возразил Мерезов. — Лишит так лишит... Прокачусь с Эмилией в Париж и по озерам... Это — один раз в жизни, а жизнь, брат Вендль, не велика.

— А капитал?

— Выиграю в Монте-Карло.

— Ах, Васька! Васька!

— Вендль, милый! Знаешь ли ты, какой я человек? Мою душу надо понимать.

— Быть тебе на мостовой, Вася.

— Ну — в актеры пойду, ну — в акробаты, тапером в публичный дом... Или у меня талантов нет?.. Да врет старик: не лишит...

И на той же неделе поезд на Варшаву умчал его в Берлин, где он должен был встретиться с Эмилией...

Иван Львович серьезно взбесился. Сгоряча он действительно призвал нотариуса и составил завещание, по которому все свое состояние отдавал племяннику Симеону Викторовичу Сарай-Бермятову, мелкие суммы его братьям и сестрам, а Васе Мерезову — всего лишь 25 000 р. деньгами и кое-какие заветные родовые вещи. Тщетно отговаривала его Епистимия от этого шага. Рассвирепевший старик ничего не хотел слышать и разлютовался до страшного припадка грудной жабы, последствия которого уложили его в постель на целые три недели. Когда он оправился, Епистимия очень решительно и смело заговорила со стариком, что он слишком жестоко обидел Васю и так нельзя...

— Ты глупа, — ответил Иван Львович, — я хотел ему только острастку дать... Конечно, все его будет... Неужели ты вообразила, что это серьезно?

— Нет, извините, не глупа, — смело возразила Епистимия. — Вы человек немолодой, здоровье ваше слабое. Вот вы через острастку свою едва живы остались. Доктор говорит: если бы припадок чуточку посильнее, и был бы конец. И тогда осталась бы духовная ваша в пользу Симеона Викторовича последнею действительною и получил бы Симеон Викторович нежданно-негаданно все ваши капиталы, а Васе пришлось бы, с долгами кое-как расплатившись, определиться в писаря или околоточные какие-нибудь... Вот чем грозят острастки-то ваши.

Старик нашел, что Епистимия права, и хотел тотчас же исправить ошибку, старое завещание уничтожить, а новое написать опять в пользу Мерезова. Но Епистимия восстала и против этого плана. Она говорила, что Симеон не из тех людей, которыми можно так швыряться: сегодня ты богач, завтра — нищий. Он зол, горд, мстителен, игрушкою быть не захочет, роль пугала не примет, оскорбления не простит. А отомстить у него средств в руках много: мало того, что он умышленно может нанести Ивану Львовичу страшные убыт-

ки по управляемым им делам, но — просто — уже один уход его сейчас от дел вызовет в них жестокую путаницу и обойдется во многие тысячи.

— Вольно же вам было довериться этакому черту, прости Господи!

Иван Львович сильно растерялся. Васю обидеть — и стыд, и грех, и жаль. Симеона обидеть — не шут же он, в самом деле, чтобы над ним ломаться, как над опереточным халифом на час... вполне прав будет оскорбиться и мстить. А отомстить — верно — есть чем...

— Как же, по-твоему, нам теперь быть-то? — впервые зашамкал он в волнении омертвелыми губами, выдавая, какой он дряхлый старик.

— Ой, что вы! Какая я вам советница! У меня ум бабий: комар мозгу на носу принес, по дороге половину растрес...

Но так как Иван Львович настаивал, то высказалась, что она бы старого завещания не уничтожила: пусть Симеон Викторович думает, что он наследник, и не злобится, но старается, а на Васеньку действительно будет хоть какая-нибудь острастка. Но так как в животе и смерти Бог волен, то на случай внезапной кончины своей Иван Львович должен составить новое завещание, но тайно — так, чтобы о нем не знали ни Вася Мерезов, ни Симеон Сарай-Бермятов, и поручить его на хранение нотариусу, в банк либо вообще верному человеку...

Иван Львович замотал головою и решительно сказал:

— Тебе. Держи у себя, а после смерти моей передашь Василию... Пусть знает, какая он против меня, старика, был свинья.

Самое трудное теперь было составить завещание — так как предшествующее было нотариальным, то и это, его отменяющее, должно было быть нотариальным же, — в секрете от Симеона. Для этого старик Лаврухин услав Симеона в Казань продавать принадлежащий ему дом. А когда Симеон воз-

вратился, у Епистимии в сундуке лежал документ, по которому лаврухинские капиталы опять переходили главной своею массою к Васе Мерезову; ему же, Симеону Сарай-Бермятову, в вознаграждение понесенных им трудов Иван Львович завещал пожизненную пенсию в 3750 р. в год. Самой Епистимии Иван Львович записал не весьма щедро — всего тысячу рублей единовременно. Ей было все равно, хоть и ничего не оставляй: сознательно отдавая в ее руки документ, Иван Львович бессознательно отдал в ее же руки и судьбу обоих своих наследников — и Василия, и Симеона.

«Оба вы тут подо мною, мои голубчики, — думала она, посиживая худым, костлявым телом своим на крышке сундука. — Чем хочу, тем обоих и оберну».

А Вася Мерезов все метался за границую по следам своей обольстительницы. И не было о нем ни слуху, ни духу.

А три месяца спустя по написании того завещания, которое лежало теперь под крышкою Епистимьиного сундука, в ночь с 31 августа на 1 сентября вторичный припадок грудной жабы задушил Ивана Львовича Лаврухина. И так как отменяющее завещание осталось спокойно лежать под крышкою Епистимьиного сундука, то Симеон Викторович Сарай-Бермятов сделался капиталистом, а перед Васею Мерезовым насмешливо осклабила рот свой нетерпеливо поджидавшая нищета.

Не сразу все-таки дались Симеону Викторовичу лаврухинские капиталы. Если сам Мерезов оказался достаточно беспечным, чтобы затеять процесс, то нашлось довольно число бедных родственников, к тому охочих, в расчете не столько его выиграть, сколько сорвать отступного. Но не на таковского напали. В тяжких усилиях завоевав свое достояние, суровый победитель держался, будто когтями железными, за каждую копейку. По смерти дяди он до разрешения всех споров по наследственному имуществу переехал из лаврухинских палат в старый сарай-бермятовский дом. Созвал на жительство братьев и сестер, которые за время его

похода за золотым руном успели все вырасти во взрослых людей, — одна Зоя еще оставалась на положении подростка. И тогда-то сложился тот быт, который в доме Сарай-Бермятовых застало начало этой повести.

Претензий против Симеона выставлено было множество — даже Вася Мерезов не устоял против соблазна атаковать его через какого-то более веселого, чем толкового адвоката. Но кончались эти претензии без процессов, встречаясь с определенным правом наследователя, уничтожавшим всякую спорность. Так прошло полтора года до того дня, когда Вендль поздравил «Симеона Победителя» со счастливым окончанием всех хлопот и Симеон гордо принял поздравление.

Что такое человеческая молва?

Ни одна душа в городе, кроме Епистимии, не знала об исчезнувшем завещании. Подписавшиеся серые свидетели усланы были ею чуть не за тридцать земель: один жил в Керчи, другой в Архангельске, — да по темноте своей даже и не подозревали важности документа, под которым заставили их расписаться тетенька Епистимия и хорошо оплаченный нотариус. Последний решительно не видел ничего незаконного в совершающемся акте, а потому и легко уважил просьбу самого же Лаврухина, чтобы не посвящать в тайну его и свидетелей. Он так отбарабанил им текст завещания, что простаки под словесным горохом этим только хлопали глазами, пока не услышали протязно-повелительного:

— Распишите-есь...

И тем не менее молва о том, что было завещание в пользу Мерезова, было, да исчезло, упорно плыла по городу. И особенно усердно поплыла она, когда досужие умы и злые языки открыли факт, что кончина Ивана Львовича Лаврухина в ночь с 31 августа на 1 сентября почти совпала с пожаром, дотла опустошившим одну из нотариальных контор, пользовавшуюся незавидною репутациею; а сам нотариус, игравший тем временем в клубе в карты, будучи извещен о пожа-

ре, чем бы спешить домой, пошел в уборную и пустил себе пулю в висок. Уверяли, будто известие об этом пожаре и самоубийство и вызвали у Ивана Львовича тот припадок, который свел его в могилу. Следствие по делу о пожаре у нотариуса и самовольной его смерти хорошо выяснило, что причиною были растраты крупных вверенных сумм и мошенничества по документам одного из местных банков. Но молва упряма. Без всяких данных и доказательств твердила она, прозорливая, наобум, что все это, может быть, и так, но при чем-то тут и покойный Лаврухин, и неожиданная его милость к Симеону Сарай-Бермятову, и поправленные права Васи Мерезова, и любезноверная Епистимия.

А в один грозный для Симеона день, когда он хотел заплатить Епистимии обещанные ей десять тысяч рублей, она вдруг отклонила деньги, говоря, что платить ей не за что, так как она не сумела отстоять Симеона от нового завещания; что молва совершенно права, и оно действительно существует, и она — его хранительница; но пусть Симеон Викторовича не беспокоится: она ему не злодейка, а друг, и ежели он к ней будет хорош, то и она к нему будет хороша.

— И владейте вы лаврухинскими капиталами спокойно — ничего-то, ничегошенько мне от вас не надо, памятуя вашу ласку и питая благодарность к вашим родителям.

Тщетно испуганный, уничтоженный, разбитый Симеон пробовал торговаться и деньгами выкупить себе свободу от проклятого документа. Епистимия только обиженно поджимала губы да отемняла грустью непонятого благородства свои прекрасные синие глаза.

Много с тех пор имели они таких свиданий — и каждое из них доводило Симеона до белого каления и очень тешило ее, мстительную, а еще более практическую — не спеша, систематически проводящую давно задуманный, трудный, ей одной известный план.

Он не совсем вызрел в событиях, но — нечего делать, приходится с ним спешить. Сегодня она видела Симеона в состоянии такой взвинченности, когда дальше нельзя: лопнет слишком натянутая струна, и пошла к дьяволу вся музыка... Он не может больше выносить неизвестности... Так или иначе, добром или худом, а надо им развязаться...

Уже сегодня договорились было, да, спасибо, Виктор Викторович застучал, помешал. Все лучше, подготовившись-то... утро вечера мудренее... ночьку продумай, складнее день заговорит...

Завтра она сама пойдет к Симеону и объявит ему свою цену, которой он так добивается... большую цену... Ох, собьет же она с него спесь сарай-бермятовскую! Дорого станет ему с нею расквитаться. Велик счет ею на нем накоплен... Узнает он, платя по счету этому, из каких она больших графинь...

Звонок.

Это Гришутка вернулся. Эх его носит, полуночника! Вот я тебя, пострела.

Набрасывает платок на плечи и идет, тощая, худая, желтая, из темного чулана сквозь рассветные, солнцем розовые комнаты отворить племяннику. И хотя бранные слова на устах ее, но радостною ласкою наполнились — сами синие, как синее утро, — прекрасные глаза.

— Недурен сокол! Ты это где же бражничал до белого утра?

— Какое — бражничал, тетенька. Всю ночь просидели на Завалишинской станции... барышня Аглая Викторовна, Анюта, горничная, и я... Поезда ждали... Между Завалишином и городом крушение произошло... Уж мы ждали, ждали... С девяти часов вечера, тетенька, до двух пополуночи... Страсть!

Григорий весел, счастлив, возбужден. Епистимия смотрит на него с материнским восторгом.

И то, что он говорит, радует ее, кажется хорошим предназначением.

— Так ты говоришь, — улыбается она, — трое вас было? Аглая Викторовна, Анюта и ты?

— Аглая Викторовна, Анюта и я... Устали — беда... Подвез я их на извозчике к дому, на соборе половину четвертого било... Мне — что, а у Аглаи Викторовны глаза слипаются, а Анюта, как пьяная, качается, носом клюет... Уж я ее держал, чтобы не свалилась с пролетки-то...

Долго рассказывает Гришутка свои приключения, пока и его не берет сон и не гонит в свой мезонинчик — отдохнуть хоть два-три часа перед тем, как идти отпирать магазин.

Медленно уходит и Епистимия в темный чуланчик свой, медленно ложится и медленно засыпает, под новый, какую-то особую торжественность приобретающий к утру храп Соломонида...

«Аглая Викторовна, Анюта и Гришутка... Это хорошо... это к добру».

Завтра она пойдет к Симеону и объявит... Посмотрим, Симеон Викторыч, каков-то ты окажешься предо мною большой барин, даром что я не из больших графинь...

Ох, сколько еще трудного! Сколько еще грешного! А все ради тебя, Гришутка милый, глупый! Все из-за тебя!..

XI

Утром рано прибежала от Сарай-Бермятовых Марфутка — звать тетеньку Епистимию Сидоровну: барин Симеон Викторович ее ждет.

«Скажите, какой нетерпеливый стал! — усмехнулась про себя Епистимия. — Когда влюблен был, и то этак не поторапливал!»

Накинула серый платок свой на голову и пошла, странная, по улице в сиянии голубого дня, будто не вовремя вылетевший нетопырь.

Симеон, заметив из окна ее во дворе, вышел к ней через кухню на заднее крыльцо. Измятое, шафранное лицо и мутный блеск в усталых глазах ясно сказали Епистимии, что в истекшую ночь Симеон спал не больше ее и думал не меньше.

— Подожди несколько минут здесь или у барышень, — угрюмо сказал он, дергая щекою, — я уже опять занят.. у меня сидит архитектор... план привез перестройки дома... ни минуты покоя!..

— Хорошо-с, я подожду, мне торопиться некуда.

— Только не по-вчерашнему! — пригрозил, уходя, с порога Симеон.

Епистимия усмехнулась.

— Вчерась уж больно вы грозны были, — ласковым смешком послала она вслед.

Он обернулся и еще раз пригрозил ей поднятым пальцем с недобрим выражением лица, точно предупредил: «Ты, мол, эти шутки оставь. Фамильярной канители тянуть с тобою я больше не намерен. Дело так дело. Раз, два, три — клади его на стол...»

— Смелеющая же вы, сударыня Епистимия Сидоровна, — льстиво заговорила с нею от плиты краснолицая, с пьяными, лживыми глазами толстуха кухарка. — Свободно так разговариваете! Мы на него, аспида, и взглянуть-то боимся.

— А тебе бы, девушка, — сурово оборвала Епистимия, — так о господине своем не выражаться. Каков ни есть, а — нялась, продалась. Жалованье получаешь. Сойди с места — тогда и ругай сколько хочешь. А покуда на месте, он тебе не аспид, а барин: аспиды хлебом не кормят и жалованья не дают..

— Да, сударыня ты моя, разве я с чем дурным... — залепетала было сконфуженная кухарка.

Но Епистимия прошла уже мимо, ворча лишь так, чтобы она слышала:

— То-то — ни с чем дурным... Распустились вы все... Революционерки... Забастовщицы... Хозяйки настоящей в доме нет... подтянуть некому...

Барышень она застала в комнате Зои, которая сегодня «проспала гимназию» и потому решила, что вставать и одеваться до завтрака не стоит.

— Третий раз на этой неделе, Зоя! — упрекала ее, сидя на постели в ногах, красивая, с утра одетая, свежая, бодрая, спокойная Аглая.

— Наплевать! — равнодушно отвечала Зоя, лежа, подобно сфинксу, на локтях и животе и скользя ленивыми глазами по книге, перпендикулярно воткнутой между двух смятых подушек, а ртом чавкая булку с маслом вприхлебку с кофе, который наливала из стакана на блюдце и подносила к губам барышни смеющаяся горничная Анюта, хорошенькая, стройная, с чистым и смышленным ярославским личиком блондинка. — Корми меня, столп царства моего!

— Как тебе не противно, право? — заметила Аглая. — Такая неопрятная привычка... Вон, смотри: подушку кофе облила... крошки сыпятся...

— Это не я — Анютка.

— Да, как же! — засмеялась Анюта. — Во всем Анютка виновата! Сами Анютку головой под локоть толкнули...

— Молчи, столп царства! Ведь знаешь: решено однажды навсегда, что я никогда не бываю виновата и всегда перед всеми права... А, наша собственная химия, мадемуазель Епистимия! — приветствовала она вошедшую, посылая ей рукою воздушный поцелуй.

Когда женщины поздоровались и уселись, разговор у них пошел о плачевном событии вчерашнего вечера — о том, как Зоя едва не погубила нового платья, облив его какао, а Епистимия Сидоровна спасла его, пустив в ход какой-то особенный, ей одной известный выводной состав... Вынули из гардероба платье. Пятно, хотя и на белом шелку, даже днем было едва

заметно желтоватыми краями. Но Аглая и Анюта утверждали, что платье все равно недолговечно — материя должна провалиться от выводной кислоты. А Епистимия защищала:

— Никогда не провалится, барышни: кабы в моем составе была жавелева кислота, тогда, в том не спорю, обязательно должна материя провалиться, но я жавелевой кислоты не употребляю ни вот настолько. Потому что, скажу вам, милые барышни, ядовитых кислот на свете немного, но по домашнему нашему обиходу всех кислот кислее жавелева кислота.

Зоя захохотала и возразила, тряся непричесанною, в путанице белокурых волос головою:

— Врешь, Епистимия Сидоровна. По домашнему нашему обиходу всех кислот кислее любезный братец мой — Симеон Викторович.

От резкого ее движения книга упала на пол. Аглая нагнулась и подняла.

— Havelock Ellis... L'Inversion sexuelle...* — недовольно прочитала она заглавие. — Это что еще? Откуда промыслила?

— Васюков принес... Хвалил, будто анекдотов много... Да врет: все давно знакомое... Нового не нашла ничего.

— Ах, Зоя, Зоя!

— Что, Аглая, Аглая?

— То, что забиваешь ты себе голову пустяками...

— Хороши пустяки! — захохотала Зоя. — Если это тебе пустяки... Впрочем, лучше обратимся к Епистимии: она тебе про пустяки анекдот расскажет... «Не гляди, душенька, это пустяки!» — пропищала она, копируя кого-то из анекдота.

— Нет уж, уволь.

— Что вы, барышня Зоя! — запротестовала и Епистимия с тенью бурого румянца на зеленых впалых щеках своих: она не любила, чтобы ее обличали в темном и грешном при

* Хавелок Эллис... Половое извращение... (фр.)

Аглае. — Нашли рассказчицу! Что и знала — шалила смолу, — теперь, слава Богу, забыла.

— Ладно! Это ты пред нами почему-то в скромность играешь, а небось, когда с Модестом и Ванькою-чурбаном, другие песни поешь... Ну а ты, столп царства, что головою раскачалась? — повернулась она к Анюте.

Та серьезно сказала:

— Да удивительно мне на вас, барышня: откуда в вас столько озорства берется? Все бы вам озоровать, все бы озоровать.

Зоя чуть сконфузилась, притворно зевнула да и сказала, потягиваясь в подушках:

— Ну хорошо, будьте вы трижды прокляты, целомудренные лицемерки, — отказываюсь от анекдота!.. А следовало бы — хотя бы затем, чтобы научить тебя, Аглая, выражаться точнее.

— Да как ни назови — зачем, ну зачем тебе все это?

— Чтобы сны интересные видеть, — захохотала Зоя, но, видя, что лицо сестры приняло выражение серьезного недовольства, перестала ее дразнить и только возразила: — Да ведь ты ничего этого не читала?

— И не буду.

— Ну и честь тебе, и слава, целомудренная весталка, но — как же ты, не читая, можешь судить?..

И обратилась к неодобрительно выжидавшей Епитимии:

— Ну-с, Епитимия-химия! С нашею домашнею оберки-слотою у тебя, говорят, вчера была пальба?

Епитимия притворно улыбнулась и сказала, полуотвечая:

— А! Воин! Это уж грех будет про него другое слово сказать, что воин галицкий.

Зоя прервала ее, внимательно себя разглядывая:

— Анютка! Смотри, какие у меня белые руки... наливные, как... как ливерная колбаса!

— Сравнили! — усмехнулась горничная.

— Право! У Аглаи гораздо смуглее... Да-с! Вот это кожа! Атлас! Бело-розовая заря! Вы, сударыня моя, госпожа старшая сестрица, красавица славной семьи нашей, можете, по мнению глупых мужчин, даже с тремя богинями спорить на горе в вечерний час. Но — кожи такой — это дудочки, у вас не бывать... а ни-ни! Столп негодный! Ты опять свои белые зубы скалишь?

— Вот как пригреет солнышко да побегут по атласу-то вашему веснушки, — выговорила Анюта, сквозь фыркающий смех.

— Очень испугалась! А парфюмерные магазины на что?

— В прошлом годе — мылись, мылись, терлись, терлись, а ничего не помогло: проходили лето, как кукушка рябая, только даром деньги извели. Видно, лицо-то не платье, а веснушки — не какао! Не возьмет и жавелева кислота.

— Молчи! Не каркай!.. Но, возвращаясь к кислотам: хоть бы ты, Епистимия Сидоровна, нашему Симеонтию невесту нашла. Авось попадет под башмак — сколько-нибудь утихнет.

Епистимия принужденно улыбнулась.

— Выдумали сваху. Куда мне господские браки строить. Мне вон Гришусвоего, племянника, женить пора, и то не прилажусь, с которой стороны взяться за дело.

Зоя, решив встать, села на кровати, ловя голыми ногами туфли на ковре.

— Сватай мою Анютку, — сказала она, держа в зубах кончик белокурой косы своей и шаря рукою по постели выпавшие ночью шпильки. — Выдадим хоть сейчас. Она на него все глаза проглядела.

Девушка вспыхнула сердитым румянцем.

— Ошибаетесь, барышня Зоя. Совсем не мой идеал.

— Анюта — не той партии, — улыбнулась Аглая.

Зоя, зевая и переваливаясь с ноги на ногу, направилась к умывальнику.

— Виновата, — говорила она. — Перепутала. Гриша Скорлупкин — Матвея протеже, а Анютин предмет числится по полку брата Виктора. Влюблена в Илюшу? Признавайся!

— Пошли конфузить!

— Сама вдвоем вас застала, голубушка ты моя!

Анюта вызывающе дернула плечом.

— По-вашему, господскому, если простая двушка с молодым человеком сидит, так уж им, кроме пустяков, и подумывать не о чем?

— Поди брошюрами тебя просвещает Илюша? — мягко улыбнулась Аглая.

Горничная возразила с тем же вызовом:

— А хоть бы и брошюрами? Кому нынче не хочется образовать себя? Пора понимать свои права.

Зоя, нажимая педаль умывальника, говорила:

— Счастливые прежде барышни были. Имели горничных — о женихах пошептаться, о подругах посплетничать, о снах посоветоваться, на счет мужских усов поспорить, над оракулом поохотаться... Увы! Все это осталось в старых романах, а теперь встречается только в стилизованных повестях...

— Чем я вам не угодила? — улыбнулась Анюта.

— Во-первых, тем, что ты не горничная, а товарищ Анюта. Во-вторых, тем, что в этом умывальнике нет ни капли воды.

Анюта, покраснев, ахнула своей оплошности, но, заглянув в резервуар, рассердилась:

— Полнехонек! А вы опять в трубу апельсиновых корок насовали, и машинка не действует — полчаса ее чистить прутом надо... Перейдите уж в комнату к барышне Аглае: там помоешься...

— Не гневайся, всеобщая, прямая, равная, тайная... Скажи: ты решительно никак не можешь обойтись без национализации земли?

— Да ступайте же вы! — почти прикрикнула Анюта. — Что это, право? До полдня, что ли, будем ворошиться? Мне еще семь комнат убраться надо. Вы думаете: Симеон Викторович с одних вас взыскивает?

Зоя сделала безобразную гримасу, высунутым языком подразнила отсутствующего Симеона и, выразительно воскликнув:

— У! Жавелева кислота! — сопровождаемая Анютою, исчезла за дверью.

Епистимия Сидоровна смотрела на все это с видимым неодобрением и, когда дверь за Зоей плотно закрылась, придвинула стул свой ближе к Аглае и, понизив голос, спросила:

— Что это, Аглаечка, как много Зоенька позволяет себе насчет Симеона Викторовича? Нехорошо так-то — при горничной. Каков ни есть, все старший брат и дому хозяин.

Аглая вздохнула с грустью на прекрасном лице, досадливо сдвинув соболиные брови над яркими темными глазами.

— Утомил он нас, Епистимия Сидоровна. Ужас, до чего надоел. Мне-то легко. Мой характер спокойный, у меня сердце смехом расходится. А Зойка — ракета.

Епистимия закачала головою и продолжала:

— Сор-то в избе бы оставлять, голубушка, на улицу не выносить.

Аглая прервала ее:

— Да уж слишком много накопилось его, Епистимия Сидоровна. В самом деле, того и жди, что у Симеона с братьями дело до кулаков дойдет.

Епистимия зорко взглянула ей в глаза.

— Ужели так остро подступило? — спросила она, не скрывая в звуке голоса особенного, расчетливого любопытства.

Аглая, подтверждая, кивнула подбородком.

— Особенно с Виктором, — сказала она. — С Модестом Симеон как-то все-таки осторожнее. А Мотя — Божий человек.

— Его обидеть — это уж царем Иродом надо быть! — согласилась Епистимия.

— Да он и не понимает, когда его обижают! — вздохнула Аглая.

Прошло молчание, во время которого только плескала вода за стеною, выскакивали задушенными звуками взвизги и смех Зои и глухие, неразборчивые ответы недовольной Анюты... Епистимия заговорила, будто надумалась — каждым словом, как носком башмака, перед собою почву пробуя, с кочки на кочку по болоту ступая:

— Жалостно это видеть, Аглаечка, когда хорошая господская семья вразброд ползет.

Аглая пожала плечами.

— А только и остается, что разделиться, — сказала она. — Разделиться и каждому жить своею жизнью, за свой страх.

— Что ж? — подумав, согласилась Епистимия. — И то дело не худое. Теперь вы все имеете свой достаток. От дядюшки — кому хлеба кусок, кому сена клочок.

На белом стройном лбу Аглаи мелькнула, как зарница, морщинка, выдавшая уже привычное, не в первый раз пришедшее раздражение не охочего раздражаться, кроткого человека, доведенного до того, что даже он начинает терять терпение.

— Так — тянет он, Симеонтий наш, — сказала она с откровенною досадою. — Тянет, не выделяет.

— Аглаечка, да ведь до совершеннолетия нельзя!

Но Аглая уже оживленно и все с большею досадою говорила:

— Я полного выдела и не прошу. Я на дядины деньги не рассчитывала. Они с облака упали. Жизнь свою загадывала без них. Стало быть, могу ждать их, сколько Симеон пожелает. А просто — пусть из дома отпустит, на свою волю, — вон как Виктор живет.

Епистимия неодобрительно качала головою.

— Обидно ему, Аглаечка, — заступилась она. — Вы барышня. Вам в меблированные комнаты съехать — люди скажут: видно, брат-то — не сахар. Выжил сестру из дома в номера.

— То-то и есть! — прервала ее Аглая с прежним раздражением. — Если бы Симеон любил нас хоть немного, все ничего: от любящего человека и несправедливость можно стерпеть. Но ведь нет в нем к нам никаких чувств, кроме сарай-бермятовской амбиции.

— Смолоду таков, Аглаечка! — вздохнула Епистимия. — Ожесточил сердце, как ястреб. Так ястребом и живет. Либо добычу рвет, либо собою гордится, красуется, хвастает, клювом перышко к перышку кладет.

Аглая говорила:

— Вы вот о Зое замечание сделали. Разве я не согласна? Сама вижу, что Зоя никуда негодно себя ведет, а в том числе и к Симеону относится совсем неприлично. Но ведь невозможно, Епистимия Сидоровна! Никакими убеждениями нельзя заставить девочку любить и уважать человека, который словно поклялся нарочно делать все, чтобы показать себя не стоящим ни любви, ни уважения. Вот — теперь пилит Зою за платье. А кто просил дарить? В среде наших знакомых, молодежи, нам и в ситцах рады. Нет, нельзя: сестры Симеона Сарай-Бермятова должны одеваться у мадам Эпервье.

— Что хотите, Аглаечка, — опять заступилась Епистимия, — но уж это-то ему не в укор. Напротив, довольно благородно с его стороны, что сестер куколками выражает.

— Да дорого мы платим за это благородство, Епистимия Сидоровна! Ведь только и слышим по целым дням: сестры Симеона Сарай-Бермятова должны! Сестрам Симеона Сарай-Бермятова нельзя! Словно мы сами-то по себе уж и не существуем. Словно из всех Сарай-Бермятовых мы одного Симеона сестры и других братьев у нас нет.

Епистимия внимательно пригляделась к ней и с искусственной растяжкой вздохнула.

— Ох-ох-ох! Во всех семьях это обыкновенное, Аглаечка. Родным врозь скучно, а вместе тошно.

Но Аглая, возбужденная, говорила, торопливо перебирая тонкими пальцами наволочку на покинутой Зоей подушке:

— Ты меня знаешь. Я на твоих глазах росла. В бедности. Готовилась не к богатству, а к трудовой жизни. Много ли мне надо? Я на тридцать рублей в месяц буду королевой себя чувствовать. Я молодая, сильная, здоровая — мне работать хочется.

— Вы, Аглаечка, и теперь много трудитесь. Вами дом держится.

Аглая пренебрежительно отмахнулась.

— Какой это труд. Так — время суетой наполняю, чтобы тоска не брала.

Епистимия, не сводя с нее глубоких синих очей своих, заговорила вкрадчиво, примирительно:

— Ну вот, братец надумается, женится — станете на свои ножки, попробуете своего хлеба.

Аглая согласно склонила пышноволосую темную голову.

— В этом-то я уверена, что, как только он женится, всем нам укажет двери. Он об аристократке мечтает. На что мы ему тогда?

Епистимия подвинулась к ней еще ближе и не без волнения зашептала, положив ей на колено худую свою, испещренную синими жилами и все-таки еще красивую, с длинными, цепкими пальцами руку:

— Если разойдетесь с братом, то нас не забудьте, Аглаечка. Не обойдите нашей хаты. Люди мы простые, звания ничтожного, но живем, слава Богу, чистенько. Достатками не хвалимся, а крыша над головою есть и хлеба жуем вволю, да еще и с маслицем. Безвременье ли переждать, беду

ли перебежать — незачем вам в чужие люди идти, — у нас для вас квартирка всегда готова.

Аглая с мягкой растроганною улыбкою положила свою руку на ее.

— Спасибо, Епистимия Сидоровна. Я знаю, что в твоей семье я — как у родных.

— Улелеем вас, как младенца в люльке! Слава Богу! — кашлянув, сказала Епистимия и опустила синие глаза свои. — Не привыкать стать — природная ваша служанка.

Аглая, как всегда, смутилась при этом напоминании, разрушавшем давно установленное равенство.

— Э! Что ты, Епистимия Сидоровна! Когда это было! Пора забыть.

«Пора так пора, — подумала Епистимия. — А ну-ка, если ты такая добрая, попробуем...»

И с опущенными глазами, медленно глядя руку Аглаи, продолжала искренним, проникновенным голосом:

— А уж Гриша мой на вас, Аглаечка, как на богиню свою взирает. Вы для него на свете — самый первый и главный человек. Только что мать обидеть боится, а то бы пред портретом вашим свечи ставил и лампаду жег.

— Он славный, твой Гриша, — равнодушно согласилась Аглая. — Своим хорошим отношением он часто меня трогает.

Тогда Епистимия оставила ее руку, отодвинулась вместе со стулом, сложила костлявые руки свои на коленях и, отчаянно хрустнув пальцами, сказала — будто в воду прыгнула — решительно, почти резко:

— Аглая Викторовна, позвольте говорить откровенно.

Аглая подняла на нее удивленные темные глаза.

— Все, что тебе угодно, — сказала она.

А Епистимия протяжно и веско говорила, как рубила:

— Влюблен он в вас без ума и памяти, Гришутка мой бедный. Вот оно что.

И, зорко наблюдая за облившимся красною зарею лицом Аглаи, прочла в нем не только изумление, а почти испуг.. Аглая молчала несколько секунд, словно стараясь понять что-то слишком чуждое, и наконец произнесла голосом и укоряющим, и извиняющимся, голосом самообороны, отстраняющей дурную шутку:

— Ой! Что это, Епистимия? Зачем? С какой стати? Не надо!

Слишком искренне и просто это вырвалось, чтобы не понять...

«Провалилось дело! Рано! Поторопилась ты, девка!» — молнией пробежало в уме Епистимии. Следующей мыслью было — в самом деле перевести все сказанное в шутку, рассмеяться самым веселым и беззаботным голосом. Но какой-то особый инстинкт отбросил ее от этого намерения в сторону, и она, серьезная, возбужденная, с широкими глазами, принявшими цвет и блеск морской воды, лепетала, с каждым словом касаясь колен Аглаи дрожащими пальцами:

— Извините, Аглаечка, извините! Позвольте говорить.

Аглая, пожимая плечами, говорила мягко, извинительно, стараясь сгладить положение — острое и колкое:

— Это братья в шутку, дурачатся... Модест, Иван... дразнят меня...

А Епистимия торопилась:

— Аглаечка, разве же я не понимаю, что подобное с его стороны — одно безумие? Аглаечка, я же не дура! Позвольте говорить!

Аглая сложила руки на коленях движением внимания и недовольства.

— Да как же мы будем говорить, — сказала она, — если ты так вот сразу за племянника в любви мне объясняешься? Ведь это же ответа требует. Я Гришу хорошим человеком считаю, мне жаль сделать ему больно. Зачем же ты и его, и меня в такое положение ставишь, что я должна его обидеть?

Епистимия на каждое слово ее согласно мотала головою и касалась платья пальцами.

— Аглаечка, душа моя, все понимаю. Хорошо знаю, что любовь Гришина — дерзкая и безнадежная. Когда же я не знала? Дурак он. Истинно подтверждаю, что дурак оказался. Не за свой кус берет, рубит дерево не по топору. А все-таки, голубчик мой! Ангельчик! Собинка вы моя! Ну позвольте умолять вас! Ну прикажите ручки ваши целовать!..

Она сползла со стула и повалилась Аглае в ноги, стукнув лбом в носок ее ботинка. Аглая вскочила, испуганная, смущенная, пристыженная.

— Встань, Епистимия Сидоровна! Как можно?! Встань!

Но Епистимия ползала за нею на коленях, лоя ее за платье, обращая к ней лицо с настойчивыми, нестерпимо сиявшими сквозь хлынувшие слезы синими глазами.

— Солнышко вы мое! Если заговорит он с вами о любви своей — радостная вы моя! — не обескураживайте вы парня моего! Не убивайте!

Аглая, растерянная, взяла ее за плечи и старалась поднять.

— Но что же я могу, Епистимия? Ну что я могу? — повторяла она. — Да встань же ты, сделай мне милость. Ведь я же не могу так... мне стыдно...

Епистимия поднялась.

— Голубушка! — заговорила она, всхлипывая, с покрасневшим носом, странную полосою обозначившимся на зеленом ее лице. — Голубушка вы моя! Ведь все это — что он науку свою предпринял, учится, к экзамену готовится, — все это в одной мечте старается: буду образованный, стану всем господам равен, барышням пара, Аглае Викторовне жених.

Аглая смотрела на нее внимательными, участливыми глазами и качала головою.

— Мне жаль его, Епистимия. Мне очень жаль его. Но ты сама говоришь — и ты права, — это безумие! Между нами нет ничего общего. Нелепо! Смешно!

— Знаю! — даже восторженно как-то воскликнула Епистимия. — Очень знаю! Матушка! Разве я вас о согласии прошу? Невозможно! Не ровня! Но если у парня такая фантазия, что он по вам с ума сошел?

Аглая невольно улыбнулась.

— Не могу же я за всех, у кого ко мне фантазии, замуж идти!

Епистимия поймала ее улыбку и в тот же миг ею воспользовалась.

— Вы погубили, вы и помогите, — с глубокою ласкою сказала она, притягивая девушку к себе за руку и заставляя ее опять сесть на кровать, и сама села рядом с нею, обнимая ее за талию.

— Право, не вижу, чем я помочь в состоянии.

— Да вот только тем, чего прошу. Не отказывайте наотрез.

— Ты странный человек, Епистимия Сидоровна. Как же я могу не отказать, если этого не может быть, если я не согласна?

— Барышня, милая, не уговариваю я вас соглашаться. Откажите. Бог с вами! Откажите, да не наотрез. Обещайте подумать. Срок для ответа поотложите.

Аглая задумалась.

— Когда-нибудь ответить надо же будет, — нерешительно сказала она.

Но и этого было достаточно ободрившейся Епистимии, чтобы убедительно впиться в нее не только словом, но и пальцами:

— Детинька моя! Если вы его хоть полусловом поманите — он три года ждать рад будет.

— И три года пройдут.

Но Епистимия, пожимая ее костлявым своим объятием, похлопывая по колену костлявою рукою, говорила с нервным, лукавым смешком сквозь слезы:

— Мне лишь бы сейчас-то его уберечь, а в течение времени, будьте спокойны: образуется. Все силы-старания

употреблю, чтобы его фантазию освежить и вернуть парня к рассудку. Тоже имею над ним властишку-то. Только теперь-то, сразу-то в омут его не толкайте.

Аглая встала. Ей и хотелось сделать что-нибудь приятное для Епистимии, которая всегда была к ней отлительно ласкова и добра пред всеми другими Сарай-Бермятовыми, и дико было, не слагалось в ее уме требуемое обещание.

— Ужасно странно, Епистимия Сидоровна! — произнесла она, еще не зная, в какую форму облечь свой отказ, и в смущении перебирая безделушки на Зоинном комодe.

А Епистимия, оставшись сидеть на кровати со сложенными в мольбу руками, смотрела на Аглаю снизу вверх чарующими синими глазами и говорила с глубокою, твердою силою искренности и убеждения:

— Барышня милая, пожалейте! Ведь что я в него труда и забот положила, чтобы из нашей тины его поднять и в люди вывести! Мать-то только что выносила его да родила, а то — все я. Пуше роженного он мне дорог. Теперь он на перекрестке стоит. Весь от вас зависит. Пожалеете — человеком будет, оттолкнете — черту баран. Что я буду делать без него? Ну — что? Света, жизни должна решиться!

Аглая, тронутая, хорошо знала, что это правда, и ей еще больше хотелось помочь Епистимии, и еще больше она недоумевала.

— Что же я должна сказать ему? Я, право, не знаю.

Епистимия подошла к ней, ласковая, лстивая, гибкая.

— Мне ли, дуре, учить вас? Вы барышня образованная. У вас мысли тонкие, слова жемчужные.

Аглая отрицательно качнула головой.

— Как ни скажу, все будет обман.

— Лишь бы время протянуть! — с мольбою вскрикнула Епистимия, хватая ее за плечо костяшками своими.

Аглая высвободилась.

— Я не умею лгать, — сказала она с искренностью. — Когда приходится, теряюсь, бываю глупая. Братья сразу замечают.

Епистимия отошла.

— Братья в вас не влюблены, — возразила она, — а Григорий слепой от любви ходит.

— Грешно человека в лучшем чувстве его морочить.

— Нет, — строго возразила Епистимия. — Если ложь во спасение, то не грех, а доброе дело. Грех — человека в отчаянность ввести.

Аглая долго молчала. Прислонясь к комоду и положив руки на него, она в своем темно-зеленом, почти черном платье казалась распятою. Епистимия издали ловила ее взгляд, но Аглая упорно смотрела на коврик под ногами своими, и только видела Епистимия, что волнение быстро красит ее румянцем, так что даже шея у нее порозовела...

— Да, этого я на себя не возьму, — произнесла она наконец голосом, в котором тепло дрожала искренность самосознания, — этого я никак не возьму на себя, чтобы из-за меня человек жизнь свою испортил.

Епистимия в эти слова так и вцепилась, торжествующая, расцветшая.

— Кабы только испортил, родная! — возбужденно подхватила она. — Кабы только испортил! Потеряет он себя, Аглаечка! Верьте моему слову: вот, как самый последний оглашенный, себя потеряет!

Аглая, подняв свои длинные черные ресницы, осветив ее задумчивыми, ласковыми глазами, повторила решительно и твердо:

— Быть причиной того, чтобы чья-нибудь жизнь разрушилась, этого я и вообразить для себя не умею. С таким пятном на совести — жить нельзя...

Синие глаза победно сверкнули, увядшие губы Епистимии сжались в важную складку, и все лицо приняло такое же

значительное выражение, как те слова, которые она про себя подбирала, чтобы сказать их Аглае...

Но в скрипнувшей из коридора двери показалось курносое лицо Марфутки и пропищало, что архитектор от барина Симеона Викторовича уехал и барин Симеон Викторович приказывает тетеньке Епистимии, чтобы немедленно шла к нему... Глядя на Аглаю, Епистимия не могла не заметить, что она, как лучом, осветилась радостью прервать тяжелый разговор... И эта нескрываемая радость заставила ее придержать язык и замолчать то важное, что на нем уже висело.

«Не время, — подумала она. — Не поспело яблочко. Сорвешь — погубишь, укусишь — оскомину набьешь...»

И, накинув на острые плечи серый платок свой, она только низко поклонилась Аглае.

— Уж я пойду, Аглая Викторовна, а то Симеон Викторович будут сердиться... Очень много вами благодарна... Век не забуду вашей ласки, как вы меня приободрили... А разговор этот наш позвольте считать между нами неконченным, и, когда у вас время будет, разрешите мне договорить...

Аглая ответила ей только нерешительным и неохотным склонением головы...

— И уж вы мне позвольте надеяться, — продолжала Епистимия, — что я перед вами говорила — все равно как попу на духу... чтобы — сделайте милость — сберечь это в секрете, между нами двоими: чтобы ни Зоеньке, ни братцам...

— В этом можешь быть совершенно уверена, — сказала Аглая. — Ты говорила, я слышала. Больше никто не будет знать.

Епистимия еще раз поклонилась ей и вышла.

«Первую песенку, зардевшись, спели, — хмуро думала она, идя коридором к кабинету Симеона. — Ну да и за то спасибо. Я много хуже ждала... Теперь держись, Епистимия Сидоровна! С малиновкою было легко — каково-то будет с лютым серым волком?»

XII

Когда она, постучав и получив отзыв, вошла в кабинет, Симеон стоял у окна и смотрел во двор, заложив руки в карманы брюк, что сразу бросилось Епистимии в глаза, так как не было его постоянной манерой...

«Пистолет у него там, что ли?» — пугливо подумала она — не пред Симеоном пугливо, а по тому странному страху, которое большинство женщин питает к оружию, будто к какой-то мистически-разрушительной, самодействующей силе.

— Запри двери, — не поворачиваясь, приказал Симеон. — И ключ положи на письменный стол.

Она исполнила.

— Садись.

Села.

— Ну-с?!

Теперь он быстро повернулся к ней и глядел издали сверкающим, ненавистным взглядом, который был бы страшен всякому, кто знал его меньше, чем Епистимия. Она же сразу разложила взгляд этот привычным за много лет наблюдением на составные части и определила, что, как ни зол Симеон, но боится ее он еще больше.

— Ну-с?!

«Нет, пистолета у тебя в кармане нет, — насмешливо подумала Епистимия, — шалишь-мамонишь, на грех наводишь, обманываешь...»

И, сразу осмелев и успокоившись, она даже спустила серую шаль с острых плеч своих.

А Симеон стоял уже перед нею, как солдат в строю, пятки вместе, носки врозь, и, все с засунутыми в карманы руками, покачиваясь корпусом вперед и назад, повторял:

— Ну-с?

— Что нукаете? Не запрягли! — улыбнулась она.

Он круто остановил ее движением руки.

— Нет уж, пожалуйста. Довольно. Прямо к делу и начистоту.

Это — что он так сразу повернул дело, ждет ответа в упор на вопрос в упор и не позволяет подползти к сути и цели объяснения издали, окольным подходом, — смутило Епистимию, вышибло из седла и вогнало в робость... Она не могла преодолеть в себе этого смятенного наплыва, а в то же время чувствовала, что обнаружить его пред Симеоном — значит почти зарезать свое дело, что он сразу возьмет над нею свое привычное засилье...

«Эх, — с досадою думала она, — слишком понадеялась на себя. Не следовало сводить в один день два этих разговора. Слишком много силы истратила с Аглаюшкой. Не хватит меня на этого, прости Господи, дьявола...»

А «дьявол», стоя пред нею, позади высокого кресла, и постукивая по спинке его взятою со стола линейкою, требовал отрывистыми фразами:

— Что же ты? Оглохла? Онемела? Или уж такую мерзость придумала, что даже у самой язык не поворачивается выговорить? Открой наконец уста свои вещие, говори...

Последняя краска сбежала со щек Епистимии, и лицо ее было маскою трупa, когда, напряженным усилием возобладав над собою, пробормотала она голосом, неровным от стараний его выровнять и неестественно беззаботным, точно говорила не о решительном, обдуманном плане, а о случайном игривом капризе, и слова ее, подобно взбалмошным детям, сами резво спрыгнули с губ:

— Так... что... вот... стало быть... породниться мы с вами желаем.

Симеон опустил линейку.

— Что?

Если бы он обругал Епистимию самым скверным словом, если бы швырнул ей в лицо линейку свою — не так бы, кажется, резнул он ее по сердцу, ударил по лицу, как этим глубоко изумленным, ничего не понимающим, за ослышку

слова ее принявшим, искренним «что?»... Пришибленная, согнулась она в креслах и, тупо глядя под письменный стол, в корзину с брошенной бумагой, лишь бы не встретиться глазами с Симеоном, напрягла последнюю силу воли, чтобы пролепетать:

— Обыкновенное дело... Божье... Если бы нам породниться, я говорю...

Симеон уронил свою линейку... С глупыми глазами, разинутым ртом стоял он несколько секунд... И вдруг слух Епистимии кипятком ядовитым обжег громкий хохот — такой настоящий, живой, прямой и искренний, какого она от Симеона во всю жизнь не слыхала, на какой способным его не считала... И сыпались на нее толчки хохота Симеонова, точно удары плетей, и ежилась она под ними, стискивая зубы, слабея силами, мучительно думая про себя в тоске стыда и злобы: «Гришка ты, мой Гришка! Чем-то ты мне, тетке, заплатишь, что принимаю я за тебя этот позор...»

А Симеон все хохотал, даже необычно красный стал от смеха и слезы вытирал на глазах, а в передышках говорил, трясясь всем телом и вместе тряся тяжелые кресла, за спинку которых держался теперь обеими руками:

— Ты дура... Ах, дура!.. Вот дура!..

И, к ужасу своему, Епистимия под смехом его в самом деле чувствовала себя дура дурую — с головою, пустою от мыслей, с сердцем оробевшим, оставшимся без воли... будто на дно какое-то, бессильную, спустил ее и потопил этот смех, разливаясь над нею глумливую волну.

— Вряд ли, — пробовала она, тонушая, барахтаться, всплыть со дна. — Вряд ли я дура, Симеон Викторович. Не надеюсь быть глупее других.

Но он перебил ее весело, победительно, небрежно:

— Нет уж — это ты надейся! Ты дура. Напрасно ты вчера боялась, что я тебя бить стану. Надо было не мямлить, а прямо сказать — вот как сегодня. Мы повеселились бы и разошлись. Ты смешна. Ах, если бы ты только могла сейчас себя

видеть, какая ты, душа моя, дура и до чего ты, Пишенька моя любезная, смешна!..

— Не заплачьте с большого смеха-то, — огрызнулась она, с отчаянием чувствуя, что говорит это напрасно, себе во вред и лишь к новому смеху Симеона, что это именно то, чего ей сейчас, разбитой и посрамленной, не следует говорить...

А он и впрямь опять так и залился, восклицая:

— Нет, какова?! Вообразила, будто настолько запугала меня нелепым документом своим, что я даже жениться на ней способен!

Как радостная молния, вспыхнули в ушах Епистимии эти неожиданные слова. У нее даже дыхание захватило.

«Ага, голубчик! Вот куда тебя метнуло! — быстрым и злорадным вихрем полетела оживающая мысль. — Ну, значит, врешь: ничего еще не пропало — напрасно ты грохотал! Не я тебе дура, а ты предо мною в дураках останешься».

И впервые за все время разговора подняла Епистимия на Симеона синие глаза свои и, честно глядя, честно, по искренней правоте сказала:

— Откуда вам в ум взбрело? И в мыслях ничего того не имела.

Но он дразнил:

— Ловко, Пиша! Новый способ выходить в барыни! Епистимия Сидоровна Сарай-Бермятова, урожденная... как, бишь, тебя? Ха-ха-ха!

Но ее все это уже нисколько не трогало. Чем более сбивался Симеон на свой ошибочный, воображаемый путь, тем крепче и надежнее чувствовала она новую почву под своими ногами, тем злораднее готовила позицию для нового сражения... И, выждав, когда Симеон, устав издеваться, умолк и почти упал на кожаный диван у окна, Епистимия, опять спуская шаль с острых плеч и распрямленной спины, заговорила уже опять тем ровным, почтительно-фамильярным тоном близкого человека, с которым хоть мирись, хоть ссорь-

ся — все он не чужой, своя семья, каким она обычно говорила с Симеоном в важных случаях жизни. И она хорошо знала, что этот ее тон Симеон тоже знает и втайне потрухивает его, как серьезного предостережения.

— Что вы, Симеон Викторович, уж так очень много нехстати раскудахтались? — сказала она, ядовитою насмешкою наливая синие глаза свои и медленно окутываясь серою шалью поперек поясницы. — Так ли уж оно вам весело? Уж если дело пошло на чистую правду, то — по документу моему — вы не то что на мне, а, прости Господи, на морской обезьяне женитесь. Да я-то за вас не пойду.

Симеон действительно насторожился, но еще шутил:

— Жаль. Почему же? Дворянкой Сарай-Бермятовой быть лестно.

Она ответила быстро, дерзко, ядовито:

— Единственно потому, что жизнь люблю, Симеон Викторович, а жизнь-то у меня одна. Понимаю я вас, ясного сокола. Знаю достаточно хорошо. Постылую жену извести — в пол-греха не возьмете. Вот почему.

Симеон смутился и, чтобы скрыть смущение, ответил на дерзость дерзостью — бросил Епистимии, лежа, с дивана своего — нагло, глумливо:

— А то, Пиша, может быть, в самом деле трянем стариною? Вспомним молодость да и покроем, что ли, венцом бывалый грех?

Она быстро поднялась с места — высокая, узкая, прямая, острая, как злая стрела, и глаза ее засверкали, как синие молнии, жестокою, смертною угрозою.

— Ну, этого вам сейчас лучше бы не поминать, — прерывисто сказала она, смачивая языком высохшие от гнева губы. — Да! Не поминать!

Симеон отвернулся, пристыженный.

— Ты, однако, не вскидывайся... что такое! — проворчал он в опасливой досаде.

А она медленно шла к нему, потягивая концы шали своей, светила глазами и говорила, будто дрожала в рояле печальная медная струна:

— Где болело, хоть и зажило, это место оставь, ногтем не ковыряй...

Симеон сел и сердито ударил ладонью по колену.

— Так и ты не ерунди! — прикрикнул он. — В загадки пришла играть? Есть дело, ну и говори дело. А то...

Епистимия остановилась у нового, столь драгоценного Симеону книжного шкафа и, взявшись рукою за колонку его, заговорила, в упор глядя на Симеона, — ровно, ясно, внятно, как монету чеканила. Оскорбление выжгло из нее последнее смущение и страх. Она уже несколько не боялась Симеона и думала только о том, что вот сейчас она его, гордеца проклятого, срежет по-своему и уж теперь — шалишь! Она оправилась и собою владеет! — мало что срежет, а и скрутит — оскорбительно и больно.

— Свахою прихожу к вам, Симеон Викторович, — любезно и певуче чеканила она звонкие ехидные слова. — Насчет сестрицы вашей, Аглаи Викторовны. У вас товар, у нас купец. Ваша девица на выданье, а наш молодец на возрасте. Племянник мой, Григорий Евсеич, руки просит, челом бьет...

Симеон в долгом молчании, таком мертвом, будто никто и не дышал уже в комнате — и только часовой Сатурн тихо и мерно шелкал над Летою косою своею, — медленно поднялся с дивана своего, белый в лице, как полотно. Епистимия смотрела на него в упор, и страшный взгляд его не заставил ее ни дрогнуть, ни отступить ни шага. Он отвернулся, вынул портсигар, закурил папиросу и после нескольких затяжек тяжельми, решительными шагами подошел к письменному столу, на котором блестел ключ от двери... Сатурн махал косою... Все молча, докурив Симеон папиросу свою и, лишь погасив ее в пепельнице, уставил холодные, уничтожающие

глаза на зеленое лицо Елистримии и — голосом, несколько охриплым, но ровным и спокойным — произнес:

— Возьми ключ. Я дал тебе слово, что не трону тебя. Пооди вон.

Свет не изменился в глазах Елистримии, в лице не дрогнула ни жилка. Медленно и спокойно подошла она за ключом, медленно и спокойно прошла к двери и, только когда вложила ключ в замочную скважину, вдруг с правой рукою на нем еще раз обернулась к Симеону с усмешливым вызовом:

— А может быть, еще подумаете?

Симеон вместо ответа показал ей рукою на портрет на стене.

— Если бы на моем месте был покойный папенька, он не посмотрел бы на новые времена, на все ваши революции и конституции. Из собственных рук арапником шкуру спустил бы с тебя, негодяйки, за наглость твою.

Как ни решительно было это сказано — «Эге! Разговариваешь!» — быстро усмехнулась в себе Елистримия и без приглашения, сама отошла от двери и стала на прежнее место у шкафа.

— Время на время и человек на человека не приходится, — спокойно возразила она. — С папенькою вашим мне торговаться было не о чем, а с вами есть о чем.

Обычная судорога не дергала, а крючила щеку Симеона, и правый глаз его тянуло из орбиты, когда он, напрасно зажигающая трясущуюся в руке папиросу, заикался и хрипел:

— Шкура! Продаешь мне собственное мое состояние за бесчестье сестры моей?

— Чести Аглаи Викторовны я ничем не опозорила. Это вы напрасно.

— Вот как?.. Ты находишь? Вот как? Не честь ли еще делаешь? Дьявол!

— Мы люди простые, маленькие, но смотреть вверх нам никто запретить не может. Попытка не пытка, отказ не торго-

вая казнь. Аглаю Викторовну я уважаю настолько, что и другого кого в этом доме поучить могу. Но сватать Гришу я, Симеон Викторович, вольна — хоть к самой первой во всех Европах принцессе.

— От твоей холопской наглости станется! — рванул Симеон.

Епистимия, не ответив ни слова, не удостоив его взглядом, поддержала шаль свою и, повернувшись, как автомат, пошла к двери...

— Стой! — заревел Симеон, бросаясь за нею из-за письменного стола.

Она возразила с рукою на ключе:

— Что — в самом деле? У меня тоже своя амбиция есть. Холопка, да наглядка, да дура, да негодяйка. Не глупее вас, и честность в нас одна и та же. Ежели вы намерены так, то ведь мне и наплевать: могу все это дело оставить...

А он в безумном, озверенном бешенстве трясся перед нею, коверкался лицом, вывертывал глаза, скалил серпы зубов своих, колотил кулаком по ладони и шипел, не находя в себе голоса:

— К Ваське перекинешься, тварь? К Мерезову?

Епистимия отвечала внушительно и веско:

— Намекни я только господину Мерезову, что завещание существует, он двадцать, тридцать, пятьдесят тысяч не пожалеет. Я сразу могу богатой женщиной стать. А для вас стараюсь даром.

Горько усмехнулся на это слово ее Симеон.

— Душу и тело сестры моей требуешь. Это — даром? В старый дворянский род мещанским рылом лезешь. Это — даром?

Он отошел, усталый, волоча ноги, и опять бросился на диван, лицом к стенке...

Епистимия, зорко приглядываясь, последовала за ним по пятам.

— А, разумеется, не за деньги, — говорила она, великодушно решив на этот раз простить ослабевшему врагу «мещанское рыло». — Ни-ни-ни! Боже сохрани! Денег никаких. Если сами не соблаговолите, то мы с вас даже и приданого не спросим. А род ваш знаменитый — Бог с ним совсем! Собою надоедать вам не будем: не семьивашей ищем, а девушки. Вы собою гордитесь и хвастайте, сколько вам угодно, а я, Симеон Викторович, не очень-то вас, Сарай-Бермятовых, прекрасными совершенствами воображаю. Нагляделась всякого у вас в доме — знаю, каковы ляльки и цапки! Только одна Аглая Викторовна между вами и на человека-то похожа, если хотите знать мое мнение. И лыщусь я совсем не на родство с вами, а только — что барышня-то уж очень хороша. И это, Симеон Викторович, так вы и знайте — желание мое неперменное. Давно я это наметила, чтобы, ежели мой Гриша в люди выйдет, искать ему Аглаечку в законный брак. И если вам опять-таки угодно слышать правду до конца, то из-за этого одного я вам и помогала обстрипать старика Лаврухина...

— Не Лаврухина ты, а меня обстрипала! — глухо отозвался Симеон.

Епистимия пожалала плечами и улыбнулась с лукавством победы.

— Должна же я была себя обеспечить, чтобы не быть от вас обманутой и получить свою правильную часть. Ваше — вам, наше — нам. Поделитесь по чести. Капитал — вам, Аглаю Викторовну — мне с Гришуткой...

Симеон долго молчал. Мысль о сдаче на предлагаемое соглашение ему и в голову не приходила, но он чувствовал бесполезность спора и теперь думал только, как сейчас-то из него выйти, не окончательно истоптав уступками израненное свое самолюбие и в то же время не обозлив тоже окончательно Епистимию, злобу которой против себя он теперь впервые видел и слышал во всю величину...

— Возьми деньги! — еще раз, как вчера, предложил он, все не поворачиваясь, все уткнутой носом в стену.

Епистимия села на тот же диван у ног Симеона и спокойно сказала, спуская шаль по спине:

— Нет, Симеон Викторович, не предлагайте. Не пройдет. Тут есть такое, чего деньгами не купишь.

А Симеон лежал и думал: «Чует власть свою... Ишь — осмелела: села под самый каблук и не боится, что я ее, дохлятину, могу одним пинком отправить к чертям, у которых ей настоящее место... Знает, что уже не посмею... связаны руки мои!.. В кандалах!.. Плохо мое дело... На компромиссе тут не отъедешь... Да вертите же вы, мозги мои, черт бы вас драл! Шевелитесь! Подсказывайте, как мне ее надуть! Проклятые, выдумайте что-нибудь, лишь бы отсрочку взять, а уж в отсрочке-то надую...»

Вслух же он спросил:

— Миллион, что ли, ты нашла, что тысячами швыряешься?

И получил спокойный ответ:

— Уж если судьба мне расстаться с этим делом только на денежном интересе, то для меня спокойнее будет продать документ не вам, а господину Мезезову.

— Ты полагаешь? — отозвался Симеон, чувствуя, что от слов этих замерзло в нем сердце.

— Вы же так растолковали, Симеон Викторович. Васе завещание отдать — закон исполнить, вам — закон нарушить, судом, тюрьмою, ссылкой рисковать... Ясное дело, куда мне выгоднее повернуть. А уж в добродетели Васиной я, конечно, нисколько не сомневаюсь: душа-человек, что спросишь — тем и наградит.

«Сказать ей или нет, что Эмилия надумалась тоже сватать Аглаю за Мезезова? — размышлял Симеон, машинально изучая глазами на обивке дивана лучеобразные морщины коричневой кожи, складками сбирившейся к пуговице. — Пугнуть? Нет, погоди... Не так у меня хороши карты, чтобы все козыри на столе... Это — туз про запас... Покуда можно, придержим — поиграем втемную...»

И сказал вслух:

— А кто поруюкою, что ты меня не надуешь?

Епистимия засмеялась.

— То есть как же это — вы предполагаете — я могу вас надуть?

— Очень просто: Аглаю я за племянника твоего выдам, а ты мне завещание не возвратишь и будешь терзать меня по-прежнему — как теперь мучишь.

— А какая мне тогда польза вас надуть? Если Аглаечка выйдет замуж за моего Григория, то прямая наша выгода — не разорять вас, а чтобы вы, напротив, состояние свое упрочили и как можно целее сохранили. Потому что свояки будем. Как вы нас там ни понимайте низко или высоко, любите, не любите, а свой своему поневоле брат, и от вашего большого костра мы тоже нет-нет да уголочками погреемся... Да будет уж вам лежать-то! Какие узоры на диване нашли? Я же от вас обругана, я же осмеяна, да вы же мне трагедию представляете! Эх, Симеон Викторович! Грешно вам воображать меня злодейкою своею... Старым попрекнули... Кабы я старого-то не помнила, разве так бы с вами поступила? Чего я от вас прошу? Того, что вам совсем не нужно, только лишний груз на руках? Что вы, скажите, любите нешто ее, Аглаечку-то? Бережете очень? Ничего не бывало: одна дворянская фанаберия в вас взбушевалась... Кабы другая-то на моем месте оказалась, былого не помнящая, молодыми чувствами с вами не связанная, она бы вас, как орешек от скорлупки, облупила да и скушала... А я с вами — вот она вся, прямым, как на ладони, на всей моей искренней чести... Чтобы мне было хорошо да и вам не худо... Чего нам ссориться-то? Слава тебе, Господи! Не первый год дружбу ведем — у нас рука руку завсегда вымоет.

Симеон повернулся к ней, злобно, печально улыбаясь.

— Соловей ты, мой соловей, голосистый соловей! — произнес он с глубоким, насквозь врага видящим и не желающим того скрывать сарказмом.

— Вы не издевайтесь, а верьте, — серьезно возразила Епистимия, вставая, чтобы дать ему место — опустить с дивана ноги на пол.

— Хорошо. Попробую поверить. Ну, а теперь — слушай и ты меня, прекрасная моя синьора! Предположим, что ты настолько забрала меня в когти свои и что я окажусь такой подлец и трус: пожертвую этому проклятому наследству ни в чем не повинною сестрою моею и соглашусь утопить ее за твоим хамом-племянником...

Епистимия остановила его суровым, медным голосом:

— Кто на земле от Хама, кто от Сима-Яфета — это, Симеон Викторович, на Страшном суде Христос разберет.

— Молчи! Не мешай, я не диспутировать о правах намерен с тобою... Так — вот — предположим, как я сказал... Поняла?

— Предположим.

— Хорошо. Скажи же мне теперь, голосистый соловей: дальше-то что? Пусть я согласен — как с Аглаей-то быть? Ведь нынче невест в церковь силком не возят, связанными не венчают...

Епистимия решительно потрясла головою.

— Мы и не желаем. Насильно взятая жена не устроит жизнь, а дому разруха. Надеемся взять Аглаю Викторовну по согласу.

Симеон поднял на нее глаза, полные искреннего удивления.

— Что же, ты воображаешь, будто Аглая пленится твоим Гришкою и ему на шею повиснет?

Епистимия смущенно опустила глаза, но отвечала уклончиво и спокойно:

— Я с венцом не тороплю. Только бы с вами — старшим — между собою дело решить и по рукам ударить. И Аглаечка молода, и Гриша не перестарок. Сколько угодно буду терпеть, лишь бы свыклись и случилось, как я хочу, благое дело.

Симеон усмехнулся, с презрительным сомнением качая черною стриженою головою, на которой чуть оживало и на-

ходило обычные смуглые краски измученное желтое татарское лицо.

— Долго тебе ждать придется!

— А, батюшка! — выразительно и настойчиво, с подчеркиванием подхватила Епистимия. — Тут уж и на вас будет наша надежда, и вы старайтесь, Симеон Викторович, батюшка мой. Мы со своей стороны будем репку тянуть, а вы со своей подталкивайте...

Симеон раздумчиво прошел к письменному столу своему...

«Как-нибудь обойдусь, вывернусь, надую... — прыгало и юлило в его растревоженном, разгоряченном уме. — Во всяком случае, это ее согласие ждать очень облегчает мое положение и открывает возможности... Неужели это опять какой-нибудь подвох? Ну, если и так, то он не удался... Хитра, хитра, а из капкана меня выпускает... уйду!»

А вслух говорил:

— Ты не забывай, что в этом случае мой голос — не один. Вопрос семейный. У Аглаи, кроме меня, четыре брата, каждый имеет право свое слово сказать...

Епистимия ответила презрительной улыбкою:

— Э, Симеон Викторович! Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Если будет Аглаечкино согласие да вы благословите, так остальным-то — каждому — я найду, чем рот замазать... Вы за себя решайте, до прочих мой интерес не велик.

Симеон слушал и внутренне сознавал, что она говорит правду. Матвей и Виктор — демократы: что им сарай-бермятовский гонор и дворянская честь? К тому же Матвей любит этого Григория, возится с его образованием, в люди его выводит... Еще рад будет, пожалуй, сдуру, блажен муж, такому опрошенному союзу... Иван — тупое эхо Модеста, а Модест... выкинет ему вот эта госпожа Епистимия тысячу-другую рублей взаимишки, он и сам не заметит, как обеих сестер не то что замуж — в публичный дом продаст... только и пожалеет,

что третьей нету!.. Да и без денег даже... Просто выставит ему Епистимия своевременно коньяку подороже да подведет двух-трех девок пораспутнее... вот и весь он тут. Дальше непристойного анекдота взглянуть на жизнь не в состоянии. Все — анекдот, и сестра — анекдот. Еще пикантным найдет, декадент, Дионис проклятый...

«Э-эх, — томила сердце тоска и обижала истерзанный ум. — Э-эх! Один я — один, как всегда, ни друга, ни брата нет, опереться не на кого...»

И зубы просились сжаться и скрипеть, и рука нервно комкала на письменном столе попадавшие под нее газеты... Розовый листок под пресс-папье привлек внимание Симеона... Он машинально потянул листок к себе, пробежал, и губы его затряслись: это была вчерашняя оскорбительная анонимка, которую Анята, убирая поутру комнату, нашла брошенную на полу и, думая, что ненароком обронено что-нибудь важное, сунула на всякий случай под пресс-папье...

Честное создание,
Душка Симеон,
Слямзил завещанье
Чуть не на мильон...

— Епистимия! — позвал Симеон придушенным голосом, разрывая оскорбительный листок на мелкие клочки и трясуя рукою высыпая их в корзинку.

— Что, барин?

И, когда она подошла, он положил свою руку на острое плечо ее и, глядя своими беспокойными черными татарскими глазами в ее выжидающие бездонно-морские синие глаза, произнес спокойные, почти дружеские слова:

— Развяжи меня с позором моим, Епистимия. Я не могу жить под его гнетом... Это ад!

— Симеон Викторович! Да разве же есть что-нибудь против с моей стороны?.. Вы слышали: я всею душою...

Но он остановил ее, говоря еще спокойнее, решительнее, проще:

— Прямо тебе говорю: сделка эта — об Аглае — мне претит. Я не в состоянии тебе помогать. Но я в твоих руках, бороться с тобою не могу, за тобою сила, должен уступить. Но не требуй от меня больше того, на что моя натура способна податься. Союзником тебе в этом деле быть не могу. Не заставляй. Больше того скажу, заставишь — себе на беду: не выйдет у меня ничего, только твое же дело тебе спорчу. А что я могу обещать тебе и обещание сдержу — это полное невмешательство. Поле пред тобою, действуй, как знаешь. Я закрываю глаза. Удастся — твое счастье. Не удастся — не моя вина. Не буду ни мешать, ни помогать. Знать ничего не знаю и ведать не ведаю...

— А нам от вас больше ничего и не надо! — весело подхватила с засиявшими глазами Епистимия, наклоня лицо, чтобы благодарно поцеловать лежащую на ее плече Симеонову руку.

Он медленно убрал руку и бессознательно осмотрел ее, точно недоумевая — да его ли эта нервная, с короткими, изогнутыми пальцами цепкая рука, с темными волосами из-под манжет, с красноподушечною желчною ладонью, с налитыми синими венами на тылу.

— Контракт-то — будем кровью писать? — зло усмехнулся он, разминая большим пальцем левой руки надутые вены эти на правой.

Епистимия поджала в шутливой обиде бледные тонкие губы свои: угрюмая шутка пришлась ей по нраву.

— Что вы, Симеон Викторович, — засмеялась она, почти уже кокетничая прекрасными своими глазами. — Вы не Фауст из оперы, и я не красный демон с пером... Какая там кровь!.. Мы вам — вот как: даже без чернил — на одно ваше благородное слово поверим!..

ЗЛЫЕ ПРИЗРАКИ

Светлой памяти
Веры Федоровны
Комиссаржевской
посвящаю этот роман.

Александр Амфитеатров

Fezzano
1913.VIII.14

ОТ АВТОРА

Одиннадцать лет тому назад, когда вышел в свет первым изданием роман мой «Виктория Павловна», я получил в Вологде письмо от В.Ф. Комиссаржевской, в котором эта прекрасная муза порубежной встречи двух русских веков спрашивала меня, не переделаю ли я роман для театра, так как она заинтересована героиней и желала бы создать ее образ на сцене. Я был очень удивлен этим предложением, исходившим от артистки, имевшей репутацию жрицы мировоззрения, казалось бы, совсем чуждого моему реалистическому направлению и тону. Роман свой я не находил и не нахожу пригодным для инсценировки, а образ Виктории Павловны менее всего сливался в воображении моем с фарфорово-хрупкой, как бы оторванной от земли и к небу летящей, с полными тайны, глубокими и широкими очами мистической Комиссаржевской... Все это я Вере Федоровне с совершенною искренностью написал, а потом в короткой встрече 1904 года, пред отъездом своим за границу, имел с нею по этому поводу разговор. Она мне свое желание еще раз повторила, с тою тихою и упорною настойчивостью, которую хорошо помнят, я думаю, все, сколько-нибудь знавшие Комиссаржевскую, — так выразительно, когда она желала чего-нибудь хорошо ею обдуманного и прочувствованного. Я не был близко знаком с В.Ф. и не принадлежал к пылким поклонникам ее сценической деятельности, которую знал лишь в александринском периоде. В собственном театре Комиссаржевской я видел В.Ф. только однажды, много позже, в «Детях солнца» (декабрь 1905 г. или январь 1906 г.). Известно, что Комиссар-

жевская была очень застенчива и, говоря с людьми малознакомыми, выражала свою мысль несколько отрывочно и темно. Интонация давала больше, чем речь. Так и теперь было. На мое недоумение, зачем ей понадобилась Виктория Павловна, так не согласная с ее общим настроением, В.Ф. отвечала тоном большого убеждения: «Я ее чувствую». И мало-помалу объяснила мне, что героиня моя занимает ее двумя своими чертами: публицистической, как одна из первых ласточек русского феминизма, и физиологической — тою властью тела над духовною мыслью, которая по временам одерживает мрачные победы над свободою и энергией Виктории Павловны и передает ее цепям, ей самой ненавистным и отвратительным, и в особенности — казни обмана, отравляющего всю ее жизнь...

Вера Федоровна говорила об этой второй стороне Виктории Павловны с особенным жаром и даже не без волнения, немало меня удивившего... Речь ее стала яркою, меткою, понимание она явила глубокое, трагическое...

Переделать «Викторию Павловну» в драматическую вещь она тем не менее меня не убедила, так как я и считал и считаю, что в пьесе, из этого романа извлеченной, был бы слишком заметен недостаток действия...

Но разговор, многозначительный тон и выразительные глаза Комиссаржевской, когда она объясняла мне мою собственную героиню, остались в моей памяти неизгладимым впечатлением. Очень хотелось мне воплотить это воспоминание в сценический образ, написав для В.Ф. не переделку, а совсем новую пьесу с такою Викторией Павловной, как ей представлялось... Даже и начал было, назвал «Дионис», набросал несколько картин, но Париж, где я поселился, увел меня к другим работам и не позволил осуществить эту...

Вот причина, по которой я решился посвятить «Дочь Виктории Павловны» памяти незабвенной Веры Федоровны, а объяснить это нахожу нужным потому, что посвящение у многих может вызвать естественный вопрос: «Почему?»

Не успев поднести живой Комиссаржевской фигуру, которую она желала художественно воплотить, я приношу к могиле ее этот роман, являющийся продолжением и окончанием «Виктории Павловны», как запоздалый траурный венок женщине глубокой, умв-шей чувствовать и сознавать и цепи старого века, и цели нового...

Хорош ли, дурен ли венок мой, не мне о том судить, но сплетен он внимательным наблюдением, а возлагается с глубоким благоговением и тою естественною грустью, которою овевает стареющего человека мысль об отшедшем прекрасном-прекрасном и невозвратном-невозвратном...

Настолько невозвратном, что — совершись чудо и возвратись невозвратное — еще узнаем ли мы его в новом-то перевоплощении? Каждому времени — своя песня, каждой эпохе — своя музыка... Несчастлива Комиссаржевская, что умерла рано. Счастлива Комиссаржевская, что ушла в вечность, не вытесненная возрастом из великой символической роли, которую дала ей судьба, что легла она в гроб молодою музою переходного века — и такую навсегда запечатлелась в памяти людей. И никто никогда ее — эту белую лилию, неожиданным морозом убитую, — иначе, как светлую музою, не в состоянии будет ни людям изобразить, ни себе представить.

Александр Амфитеатров

1913.VIII.14. Fezzano

I

Каждый человек, если оглянется внимательно на свою жизнь, непременно заметит, что его отношения к другим людям слагались во времени более или менее разными полосами. Полоса приходила, полоса уходила и полоса полосу меняла. Да так, что часто следующая полоса даже как бы стирала предшествующую — и настолько решительно, что от первой не оставалось и следа.

Вот — люди, не только знакомые, а даже близкие, приятные, милые, свои и как будто родственные по духу и деятельности. А затем эти люди вдруг, ни с того ни с сего, как-то исчезают из вашего кругозора. Не было ни ссор, ни охлаждения, ни недовольства, просто вот взяли да исчезли. Иногда даже дальней разлуки нет — остаетесь в одном городе, а люди — исчезли. Зачем, почему, куда, как — вы вдруг теряете из вида и понимания, и, что удивительнее всего, это вас, тоже вдруг, даже не интересует. Отношения, точно платья, сносились и — что хочешь, то с ними и делай. Бережлив, так сложи в сундук, в кладовку. Щедр — подари прислуге или прохожему бедняку. Жаден или нуждаешься — продай татарину старьевщику. Потому что самому — «все равно» и «не нужно». Вот как в газетах публикуют: «Пожертвуйте, что вам не нужно». Так и тут. Были люди, были отношения, были общие обстоятельства — ну и отлично. А теперь — кончено с ними. Когда придется, вы вспоминаете о них с большим удовольствием, но вспоминаете именно — только когда придется; когда

встречный житейский случай притянет их имена и образы в ваши мысли и — случайные образы случайных воспоминаний — они возвратятся к вам просто интересными анекдотами. Иначе же вы о них не вспоминаете и надобности в них не чувствуете, как, разумеется, и они в это время давным-давно забыли вас и тоже вспоминают о вас только анекдотически, по случайной схожести с чем-нибудь параллельным в их новой жизни, вызывающим ваш образ в их памяти. А сами вы, по существу своему, им несколько не нужны. Когда от таких людей вы получаете поклон со случайным знакомым, письмо или вообще какую-нибудь неожиданную памятку, вы, конечно, бываете рады, довольны, что вас не забыли, но в основе своего приятного чувства почти столько же удивлены, как будто увидали покойника, пришедшего навестить вас с кладбища. Чем человек пестрее и быстрее жил, больше стран и городов посетил и усерднее пытался создать себе оседлую жизнь, а насмешливая судьба снова уносила его от людей к людям, из страны в страну, от профессии к профессии, из условий в условия и из обстоятельств в обстоятельства, тем, конечно, и таких полос у него в прошлом больше, и тем они разграничены, и тем решительнее полоса стирает полосу.

Вот так-то в 1899 году, летом, случайно попал я гостить к некой Виктории Павловне Бурмысловой^{*)}, весьма красивой, интересной и оригинальной особе хорошего дворянского рода-племени, но совершенно разоренной и устроившейся в жизни столь странно и своеобразно, что одни из соседей за это пред нею преклонялись, как пред кумиром, воздавая ей только не царские почести, а другие столь же искренно ненавидели и презирали, не находя слов достаточно сильных, чтобы эту бедную Викторю Павловну обругать.

Едва с нею знакомый, я каким-то не то счастливым, не то, наоборот, несчастным случаем вдруг оказался прямо,

^{*)} См. мой роман «Виктория Павловна».

можно сказать, в центре ее жизни, невольным свидетелем ряда событий, бывших для нее весьма внезапными и решительными и, кто ее знает, быть может, даже совершенно повернувших ход ее жизни на новые какие-нибудь пути. Но тут-то вот и подступила та, как я только что говорил, фатальная сменная полоса. Расставались мы с Викторией Павловной — лучше чего нельзя; мало сказать, друзьями, сердечнее родных; думали, что не на долгий срок, и, конечно, обещали и писать друг другу часто, и сноситься через общих знакомых. Даже, помнится, собирались вместе начать и вести одно издательское предприятие. А случилось так, что после того Виктория Павловна для меня как в воду канула. И — более того: я уже не встречал никого, решительно никого из тех, с кем тогда свела меня судьба в ее имении, никого из всех этих влюбленных в нее, преданных ей, считающих ее богиней своею мужчин и страстно ненавидящих ее женщин. Правда, что через несколько недель после того, как я покинул приют Виктории Павловны, и в мою жизнь тоже ворвался вихрь таких широких и трудных перемен, что стало не до чужих страстей, затруднений, щекотливых положений и из них исходов. Пришла, одним словом, именно новая полоса и заполонила собою ум, чувства и память, а все, что осталось в старой полосе, потускло, выцвело, стало не нужно, не интересно и — заживо умерло. Раза два или три я все-таки получал от Виктории Павловны маленькие записочки, обыкновенно имевшие целью рекомендовать какую-нибудь девицу, нуждавшуюся в интеллигентной работе, с просьбою устроить ее при редакции или конторе. О себе Виктория Павловна в этих случаях никогда ничего не приписывала. А года через полтора уже совершенно замолкли всякие о ней сведения, и никто от нее не приходил ко мне, и писем никаких не было. Затем судьба — и воля и неволя — начала меня швырять с одного края света на другой, и, правду сказать, мало-помалу я совершенно забыл о Виктории Павловне, и она выш-

ла у меня из ума, как будто никогда в нем не бывала. И так прошло ни много ни мало — двенадцать лет.

То швырянье с одного края света на другой, о котором я только что говорил, бросило меня наконец в Париж, в русскую эмигрантскую парижскую колонию, близко к ее стону и шуму, делам, страстям, страданиям, ссорам, увлечениям, обличениям — ко всему ее хорошему и дурному. Крутился я довольно долго и в этом нервном и страстном круговороте людском. Много и старых, и новых знакомых прошло перед моими глазами, выброшенных революцией с отечественного корабля и порядком-таки швырком этим помятых. Но малопомалу и парижская полоса должна была отойти в сторону перед другими и новыми запросами, ворвавшимися в жизнь. В один прекрасный день я почувствовал, что в Париже мне делать больше нечего и пришла пора вечному кочевнику опять собирать свои тюки и выючить верблюда для нового ковылянья куда-то в даль житейской пустыни. Нашел себе глухой угол «у лукоморья», отправил туда, будто в ссылку, библиотеку и начал готовиться к новой полосе, прощаясь и с людьми, и с улицами, со всем горем и со всею радостью, со всем делом и бездельем этого удивительного города городов, и веселого, и милого, и отвратительного, и проклятого — Парижа.

Это было в последнее колониальное собрание, на котором я присутствовал в Париже. Невообразимая давка. Седой туман над морем голов, пропитанный мягким молочным светом электричества. На эстраде — дюжий, здоровенный великан в ранней седине, но молодой лицом, к которому хорошо пошли бы омофор и митра. Встреченный громом рукоплесканий и совершенно от них растерявшийся, он сконфуженно и вяло бормочет что-то длинное и почти неслышное, но тем не менее понятное публике, сплошь революционной, по догадке. Говорит ведь о том, что все присутствующие чуть не наизусть знают. Публика сошлась не столько его слушать, сколько смотреть. Через каждые

пять-шесть минут свет в зале гаснет и на экране волшебного фонаря вспыхивают по очереди портреты шлиссельбуржцев, всем знакомые по старому календарю «Народной воли» и вновь народившемуся «Былому»...

Жара и духота нестерпимые, убийственные. Воздух — как в Черной яме Нена Сайба. Я, опоздав пройти к своему месту в первом ряду, беспомощно стою в проходе, тесно стиснутый плечами и боками малорослой в большинстве молодежи. Протолкаться вперед невозможно. Да и бесцельно: место мое, наверно, уже занято. Публика парижских колоссальных собраний не считается с условностью билета. Если вы не будете на месте своем по крайней мере за полчаса до начала собрания, то можете быть уверены, что на нем уже уселся кто-либо из даровой публики. Бурным наплывом врывается она — сплоченная в гневную, ревущую слитным шумом толпу, бесшабашная вольница бульвара Сен-Мишель, едва на бешеный ритмический стук ее палок и зонтов открываются двери зала, если только не выламывает их, наскучив ожиданием. И тщетно распорядители собрания вступают в бессильные убеждения и еще более бессильный бой с этою лавиною тел в крике, хохоте, перебранке, топоте ног, свисте, гиканье, катящейся вперед к эстраде, опрокидывая стулья, мешая ряды, сокрушая барьеры, расшвыривая встречную публику и награждая весьма не лестными и еще более ядреными остротами тех, кто на пути ее приходится ей не по нраву, потому что «смахивает на буржуя».

В этот раз по случаю реферата новопривывшей большой знаменитости революционного прошлого наплыв колониальной публики был особенно велик. А буйная лавина навалила в преувеличенно громадном количестве и с особенно пылкою готовностью устроить как можно лучше и удобнее самих себя и как можно теснее сжать остальную публику. Я с удовольствием покинул бы зал, в котором нельзя было ничего слышать и с минуты на минуту все меньше

и меньше оставалось чем дышать. Но, как вперед нельзя было пройти, так и назад тянулась по всем проходам та же река голов, в большинстве черных, густоволосых, кудрявых. В этот день я очень много ходил по Парижу и ноги мои ныли весьма нудно, прося покоя. А сесть было решительно негде, и нечего было даже лелеять на то надежду. Как-никак, а предстояло удовольствие простоять часа полтора на ногах, колыхаясь вместе с толпою и терпя от нее тычки локтями в бока. Понемногу колебание толпы присунуло меня к крайнему стулу в ряду, против которого я стоял. Не знаю, имел ли я уж очень усталый вид, что ли, но сидевшая на этом стуле девица, выделявшаяся среди чернокудрых соседней своею белокурою пышноволоосою головкою, вдруг обратилась ко мне с тихими словами:

— Не хотите ли сесть на мое место?

Я поблагодарил ее с удивлением, объяснив, что не настолько устал еще, чтобы отнимать места у дам.

— Да я-то очень устала сидеть, потому что — пришла рано и все берегла место, чтобы не заняли, а вот теперь не могу им больше пользоваться... Пожалуйста, не стесняйтесь.

Против этого сказать было нечего. Я поблагодарил любезную девушку и занял ее место, а она осталась стоять подле, с видимым удовольствием расправляя члены своего молодого тела. Так мы и пробыли до конца реферата. Когда электричество перестало мигать в угоду волшебному фонарю и референт ушел с эстрады под гром аплодисментов, я мог разглядеть, что девица, оказавшая столько милости моим усталым ногам, весьма недурна собою, очень стройна и прилично одета. Да и не имеет того измученного и тревожного вида, которым отличаются большинство русских эмигрантов в Париже, до мученичества изнервленных нуждою и бессодержательною трепкою жизни, привычных к большой и тревожной деятельности, а вдруг очутившихся «не у дел», не имеющих, куда приложить энергию, и вынужденных приду-

мывать для того мелочные суррогаты. Я еще раз поблагодарил девицу за оказанную мне услугу, и мы вместе вышли из зала. Оказалось, что девица живет весьма недалеко от зала собрания, и так как она разминулась в толпе со своими подругами, сожительницами по квартире, то я предложил ей проводить ее до дому. Это было буквально в двух шагах, так что мы и разговориться не успели, только представились друг другу, причем девица заявила, что давно меня знает и слушала меня, когда я читал публичную лекцию о роли женщин в русском освободительном движении. Свою фамилию она мне назвала так невнятно, что я ее толком не расслышал. Что-то на малороссийский лад — оканчивается на «-енко» или «-онко». У ворот ее дома я откланялся. Этот вечер тем и кончился. Несколько дней спустя я уехал в Италию... Прощай, Париж!

В прошлом году в Ницце, гуляя по Promenade des Anglais*, я был внезапно окликнут чьим-то незнакомым мне молодым женским голосом. Оглянувшись, увидел молодую девушку, розовую лицом и белокурую волосами, волнисто выбивавшимися из-под легкой соломенной шляпы. Девушка внимательно смотрела на меня из-за высокой, с будкою из зеленой материи детской тележки, которую она перед собою катила. Рядом с тележкой бежали мальчик и девочка, совсем еще «младшего возраста», и выступала степенная, хорошо одетая няня, которая сразу обличала в себе русскую, хотя одета была по французской моде. Сдав тележку няне, девушка подошла ко мне, улыбаясь, как старому знакомому, и напомнила нашу парижскую встречу. Я, конечно, по давнему времени, за три года, успел уже позабыть лицо моей случайной благодетельницы на том собрании, когда читал шлиссельбуржец. Да и по близорукости своей не очень хорошо разглядел ее тогда. Помнил только, что, кажется, молоденькая и хорошень-

* Прогулка англичан (*фр.*); бульвар в Ницце.

кая. И действительно, девушка и теперь еще была совсем юница — лет двадцати, много двадцати одного, не больше. Очень хорошо сложенная, свежая, белокурая, с лицом несколько странным в какой-то смешанной и как бы скомканной красоте. Ее беспримесно русское происхождение сказывалось некоторою неправильностью миловидных черт и тою большеголовостью, которою отличаются уроженки наших средних, ближайших к северу, губерний. Чем больше я вглядывался в это красивое и добродушное лицо, тем больше казалось мне, что я когда-то его видел. Не в Париже видел, а давно, где-то в России. Может быть, даже не его, не это именно лицо, а какое-то другое, ему родственное и мне очень знакомое, приятное и милое.

Мы поздоровались.

— Я должен извиниться перед вами, — сказал я. — Я совершенно забыл, как вас зовут.

— Забыть этого вы не могли, — сказала она, смеясь грудным звуком и обнаруживая очень милый и симпатичный, полный серебряного звона голос. — Никак вы не могли забыть. По той простой причине, что вы этого и не знали.

— Однако, извините, я помню, что мы с вами назвались друг другу.

— Я сказала только фамилию и ясно заметила, что вы не расслышали. А фамилия моя, если вам угодно ее знать, Пшенка.

— Как?

— Пшенка... Правда, странная фамилия?

— Вероятно, малороссийского происхождения?

— Право, уж и не знаю... Откуда мой почтенный папахен обзавелся такую рассыпчатую фамилией, изложить вам обстоятельно не могу, но, насколько мне известно, родители мои чистокровные великороссы...

Фамилия Пшенка решительно мне ничего не говорила. Никогда никакого и никакой Пшенки я не знал. А Пшенка говорила:

— Откровенно говоря, я тогда нарочно пробурчала фамилию так, чтобы вы не расслышали. Это на меня иногда находит, — засмеялась она, играя веселыми ямочками на румяных щеках, — что мне вдруг делается ужасно стыдно и досадно, зачем я Пшенка. Точно кличка на смех. Глупости, конечно, но если бы вы знали, сколько я претерпела из-за этой глупой Пшенки в гимназии и даже на курсах...

— Очень легко могу представить, — сказал я, — потому что и мне когда-то в гимназии покоя не было из-за странной фамилии. Только вам доставалось за то, что она у вас слишком коротенькая, а мне — наоборот — зачем вытянулась в три сажени...

Пшенка ободрилась и, блестя из-под полей шляпы пышными волосами цвета в самом деле пшенной каши, весело продолжала:

— А зовут меня Федосья Ивановна... тоже недурно, не правда ли? Этакое бабье, кухарочье имя — Федосья Ивановна... Впрочем, благодарение небесам, никто мне этой чести не делает — полным именем, противной Федосьей Ивановной меня не зовет... А уменьшительное свое Феня, хотя оно тоже не имеет аристократического звука, я даже люблю...

— А мне-то как же прикажете вас звать для первого знакомства?

— Да так и зовите, Феней...

— Товарищ Феня?

Она окинула меня быстрым пытливым взглядом и с легкой улыбкою немножко лукавства, немножко самоиздевательства сказала:

— Нет, просто Феня... потому что я не знаю, товарищ вы или нет...

— Ага! Значит, вы человек партийный?

Она рассмеялась.

— Нет, хотела быть партийною, да не успела: покуда программы изучала и партию выбирала, они все разложились

и рассыпались... Жду теперь в числе многих, что будет по возобновлении и куда откроется, так сказать, вакансия.

Девушка говорила бойко, смотрела ясно и самостоятельно и ничем не обнаруживала в себе ни внешней явной застенчивости, ни той внутренней, тайной, которая во многих ее подружках, ровесницах и сверстницах выражается вызывающе дерзостью, нарочною распущенностью жеста и слова, напускною изломанностью условных тонов и придуманных манер. Одета она была очень хорошо, и заметно, что не у совершенно дешевой, хотя и не чрезвычайно дорогой портнихи. Очевидно, не одиночка, но дитя семьи зажиточной и не пренебрегающей внешностью своих чад. И опять казалось мне, что где-то эту Пшенку или кого-то вроде этой Пшенки я когда-то знал и видел.

— Да — тоже крупинки Пшенки! — улыбнулась она, заметив, что я разглядываю детей, с которыми она гуляла. — Сестренка и братишка... Крохотный джентльмен в колясочке — тоже мальчик... Ему полтора года... Существо смиренное и покуда никому не вредит, но зато — увы! — до сих пор и не ходит... А это — позвольте вам представить: няня Василиса Анкудиновна, родом новгородка, характером человек вечевой, большая моя приятельница, хотя в убеждениях расходимся. Я — конечно, нехристь, а она богомольная, как игуменья Иоаннитского монастыря.

Я учел в уме то обстоятельство, что, находясь в Ницце в разгар сезона с тремя малыми детьми и русскою нянею при них, одевать такую орду хорошо может только семья с весьма недурными средствами и, следовательно, новая моя знакомая отнюдь не принадлежит к пролетариату русской эмиграции, как я мог думать по собранию, в котором ее впервые встретил. Собственный туалет женщины в этом отношении еще ничего не доказывает. Париж быстро снимает с русских эмигранток демократическое безразличие к одежде и по внешнему виду, которое они привозят из России и по которому легко узнается новое или срав-

нительно новое лицо в женской эмиграции. Своеобразное шегольство экзотическим видом в русской революционерке держится год, иногда два, а затем обыкновенно эмигрантка не доест, не допьет, во всем себя ограничит и урежет, но оденется так, чтобы не бросаться в глаза на улице и в кафе, — хотя скромнее скромного, да по-парижскому. Дети, которых Феня Пшенка сопровождала, мне не понравились. По сходству со старшею сестрою они должны были от природы быть миловидны, что подтверждали красивые глаза ребенка, которого везти в тележке Феня передала теперь няньке. Но их несчастные личики были так обработаны золотухою, что просто неприятно было глядеть. Должно быть, во взгляде моем выразилось сожаление или, может быть, даже брезгливость. Больной ребенок всегда производит на меня самое тяжелое впечатление. Потому что девица Пшенка вздохнула и сказала:

— Да, вот, что поделаешь? Я еще сегодня имела из-за них целую сцену с моею мамою — она так смущается их искалеченною наружностью, что даже не хочет выпускать их гулять на Promenade des Anglais. Стыдится. Что за предрассудки? Как будто они одни — золотушные и рахитичные дети в Ницце? Здоровых трудно найти, а таких сколько угодно. А вы сами посудите: возможно ли детям сидеть дома в гостинице, окнами на rue de France, почти без солнца, да еще детям, как эти? Ведь воздух и солнце для них все... Им, правду-то говоря, даже не здесь бы следовало быть, а где-нибудь на серных водах. Я уверена, что они быстро поправились бы, потому что ведь они, собственно говоря, очень здоровенькие. Но вот эта ужасная корка... Каждую весну и осень их так отделявает... Пройти бы основательный курс серного лечения — и конец однажды навсегда... Но нам уехать отсюда нельзя... Родитель мой греется здесь... Вот возим его так же, как этого Павлика, недвижимого по солнцу... обезножел он... не знаю, то ли подагра, то ли ревматизм, то ли нервное какое-нибудь поражение... доктора еще не решили.

— Вы всегда живете при родителях? — спросил я.

Она взглянула меня как-то пристально и подозрительно и сказала:

— Нет, в Париже, когда мы с вами встретились, я еще одна жила. А в Ницце я только две недели. Мама меня вызвала, потому что ей одной трудно с отцом и вот этим потомством... Пришлось даже отложить экзамены...

— Вы студентка?

— Да...

Она всем лицом зарумянилась и сказала, будто извиняясь:

— Право слушаю... Мечтаю адвокатесою сделаться... Ведь, говорят, скоро и у нас в России можно будет... Да что-то все мешает: третий год ни с места...

— Политика, поди, тормозит?

— Нет, — сказала она просто и искренно. — Какая же теперь политика? Выжидание... Все в резервах либо в отпуску... А для теоретической деятельности и революционной диалектики у меня нет призвания, умения и даже, пожалуй, понимания... То есть, вернее-то, если говорить по чистой правде и до конца, нет охоты уметь и понимать... Я человек действенный... Солдатом могла бы быть, а в штабные не гожусь... И политическое воспитание мое — слабое, и спорить терпеть не могу... Дойду сама, наедине со своей душой, до внутреннего убеждения, что надо, ну, и тогда вот — крепко... Назад не пойду, да и вперед меня, пока я сама не захочу и не раскачаюсь, никто не сдвинет... Зачем же я, став на якорь, дальше буду состязаться и спорить? Все равно ведь я уже непременно сделаю так, а не иначе. А — согласны или нет со мною другие и захотят ли они поступать, как я, — не все ли мне равно? Это их дело... Я когда в Париж приехала и с революцией соприкоснулась, то именно активности искала и ждала... Ну, не ко времени попала, опоздала... Дни-то и вправду стояли тяжелые, разгромные, азефские... Все растерялись и волками друг на друга косились... За готов-

ность и решимость была одобрена, а — насчет дела сказали: не сезон!.. Мы поосмотримся да подумаем, а вы поживите да пооглядитесь... Так вот и живу... — засмеялась она. — Вроде запасной, ожидающей призыва...

— Скучно?

— Нет, что же... Скучать в подобных обстоятельствах — значит не понимать... А я имею претензию, что понимаю... Я на свое положение не жалуюсь... А только досадно, что я, воображая, будто призыв будет не сегодня завтра, истратила напрасно целый год, не принимаясь ни за какое другое дело...

— Целый год? Так что — оказывается — вы в эмиграции-то уже очень давно? — удивился я, помня, как она только что сказала мне, что у нее по студенчеству ее идут третий год неудачи.

— Да, вот уже четыре года! — отвечала Феня с некоторою гордостью, поднимая красивую, золотом в солнце отливающую головку свою и как-то особенно — извиняюсь за лошадиное сравнение — породисто дрогнула розовыми ноздрями...

— Четыре года? Как же это случилось, что я вас в Париже не встречал, кроме того раза, и о вас не знал?

— А это потому, что я приехала незадолго до того, как вы уехали. Ну а затем, когда я убедилась, что работы мне не дадут и революция отложена в долгий ящик, то сейчас же сказала колонии «прости»... Знаете, что же вариться в собственном-то соку? Разве затем ехала? Все время и вся энергия уйдут на жалость к ближнему, теоретические споры о дальнем и колониальные интересы... Этак не стоило и покидать родного моего Рюрикова, потому что предметов для жалости, теоретических споров и кружкового обсуждения там не меньше... Сбежала... Нарочно даже переселилась на правый берег, нашла пансион в очень буржуазной семейке, в которую меня еле-еле допустили за то, что я русская... Сами, поди, знаете, как обожают нас союзники-то наши, когда мы в Пари-

же не для того, чтобы s'amuser* и деньги швырять, а учимся или работаем... Из русских только двух приятельниц имела — еврейки... ух, рабочие же! Эти по три года на месте не топчутся... По сторонам не глядят и даже родственную сантиментальность спрятали в карман... Это, мол, потом, когда выучимся и завоюем себе место в жизни... А покуда потерпите, други любезные: что и жалеть, коли нечем помочь?.. Железные воли... И не скажу вам даже, чтобы очень способные были, а своего добьются... завоюют жизнь! Куда легче и скорее, чем я!..

— Так вы рюриковская? — спросил я с интересом, так как часто бывал в этом городе во дни оны и знавал там кое-кого. И я назвал ей несколько фамилий.

Но — оказалось, что одних она не слыхала вовсе, и, должно быть, выселились эти семьи из Рюрикава, нет их, о других слыхала тоже как о выбывших, третьи ей известны, но она с ними незнакома, и лишь о двоих или троих она могла мне сообщить кое-что, так как училась в гимназии с их дочерьями... Гимназию кончила семнадцати лет, сейчас же компрометировалась в политике и — благополучно выпутавшись из-под одного ареста — не стала дожидаться следующего: уехала за границу... Теперь ее разыскивают... Пусть!

— А и рано же выпорхнули вы самостоятельным птенчиком на свет! — сказал я. — Родители-то, видно, были не суровы?

Девица Пшенка сделала гордое лицо со вздрагивающими ноздрями и с достоинством возразила:

— Я, знаете, не из тех, кого можно держать на цепочке... Да и мама у меня не такая... Сама человек строптивного духа и понимает его во мне... Да что же ее вам рекомендовать с этой стороны? Вы знаете ее — быть может — даже лучше, чем я...

Последние слова она произнесла с лукавою, шаловливою улыбкою, бросая мне вскользь выразительный, напоминаю-

* Развлекаться (фр.).

щий взгляд, которым вдруг опять сделалась необыкновенно похожа на ту, давно знакомую, забытую, которую я смутно помнил и никак не мог теперь хорошо вспомнить. И продолжала:

— Я уж и то удивляюсь, что вот вы сколько знакомых из Рюрикова назвали, а о маме не спрашиваете...

— Виноват, — сказал я. — С того самого момента, как я с вами встретился, мне все время кажется, что вы напоминаете мне кого-то... Необыкновенно близко напоминаете... Но — кого, — хоть убейте, не могу сообразить... Быть может, это именно с вашей мамою я был знаком когда-нибудь в Рюрикове... Однако, сколько мне помнится, я никогда не знал ни одной дамы, носящей вашу фамилию.

— Да это и не удивительно, что вы не знаете маму под ее новой фамилией... Ведь мама вышла замуж сравнительно недавно... Вы знали ее гораздо раньше... Урожденная ее фамилия вам очень хорошо известна... Моя мама — Виктория Павловна Бурмыслова, — сказала она не то с гордостью, не то со смущением, окидывая меня взглядом и стыдливым, и пытливым, и как бы вызывающим.

Я действительно восторженно и уставился на нее в большом удивлении. Старые, забытые впечатления лета, проведенного мною близ города Рюрикова, на реке Осне, при селе Правосле в полуразрушенной усадьбе Виктории Павловны Бурмысловой, так сразу и хлынули в память. Вспомнилась мне и удивительная сцена, положившая конец моему пребыванию в этой благодатной обители. Вспомнился красавец художник Бурун с его нелепою, требовательною и без прав ревнивою любовью, которою он безуспешно преследовал прекрасную хозяйку дома, его самолюбование, декламация, позы, трагические представления, таинственные исследования и открытия и в результате конечная решительная катастрофа, которая вдруг приподняла для нас занавес, прикрывающий прошлое Виктории Павловны, обнаружила в прошлом

этом большое — и нельзя сказать, чтобы красивое — пятно весьма низменного любовного приключения и наличность у нее малолетней дочери, отданной в чужие люди. Несомненно, вот этой самой Фенечки... Да, да! Я именно так и вспоминаю теперь, что ту девочку звали Фенечкой... Вот этой самой Фенечки, которая теперь вот стоит предо мною и смотрит на меня вопросительными и смелыми голубыми глазами. И по годам выходит! Маленькой Фенечке было, помнится, лет восемь или девять. Прибавить одиннадцать или двенадцать, как раз будет вот эта взрослая Фенечка... И вся она, именно так и есть, на нее, на Викторию Павловну похожа: и рост, и фигура, и овал лица. Однако в глазах у нее только выражение материнское, а форма их и цвет совсем другие. И, когда я подробно вглядываюсь, то изящный облик Виктории Павловны — яркой брюнетки, несколько смуглой и южного типа — исчезает, будто расплывается в этом слишком белом и румяном северном лице. У той профиль был, как из слоновой кости точенный, а здесь чувствуется некоторая огрубелость и, главное, неопределенность черт, будто красивое на картине лицо слегка смазано неосторожным прикосновением, прежде чем живопись успела совершенно высохнуть. Это уж — не от Виктории Павловны, а, надо думать, говорит об отцовской наследственности. А родитель этой Фени, этот тягчайший и тайнейший позор Виктории Павловны, так несчастно и без всякой к тому надобности открытый и выведенный на свежую воду ополоумевшим Буруном, тоже ожил предо мною с необычайной яркостью. Со всем его унижением стареющего приживальщика, смиренным пьянством, маленьким заугольным развратцем, тихонькою бессильною злостью, нарядившеюся однажды навсегда в всевыносящее добродушие и так привыкшею к маске своей, что она стала второю натурою. Человек, которому некуда идти... «Красноносая оказия»... «Сатир и нимфа» Буруновой обличительной картины... Вспомнил я и трагикомическую

сцену, как в наказание за то, что этот злополучный прощелыга разболтался некстати с Буруном, засадила его, горемычного, всевластная домоправительница Виктории Павловны... как, бишь, ее звали? Кажется, Арина Федотовна или Марина Федосеевна... что-то в этом роде... Как посадила она его, словно провинившегося мальчишку, в холодный погреб, и мне же пришлось выручать оттуда этого узника всякими правдами и неправдами, а узник и выходить на волю не хотел: до такой степени он своих властных повелительниц боялся.

Конечно, этот жалкий человек, со своим случайным приключением, как всплыл тогда — волею рока, что ли, — из неизвестности, неожиданный и в полный разрез с возможностями правильного хода действительности, чтобы всю ее отравить и перебаламутить, так и опять вернулся в неизвестность, отставной от жизни и никому в ней не нужный. Поди, давно уже спился и умер. Потому что задатки к тому, чтобы пойти на конечную смарку, у него были и тогда уже серьезные. Не кондрашка подбирался, так рано или поздно хороший *delirium tremens** должен был покончить не с ним, так с его рассудком и непременно сдать его в сумасшедший дом... Тогда ему было близко к пятидесяти — теперь, значит, было бы под шестьдесят, если не все шестьдесят лет. Разумеется, так долго не мог выдержать: лопнул. И отлично сделал, конечно. По крайней мере развязал руки Виктории Павловне по отношению к дочери, которой она из-за него стыдилась и прятала ее в крестьянской семье. То обстоятельство, что она теперь открыто признала дочь, ясно доказывает, что у нее с тайным отцом тайной Фени житейские счета покончены, и, освободившись от этого старого привидения случайного греха, она возвратила себе обычную свою во всех случаях жизни безбоязненность. Вычеркнула из быта своего последний, его омрачавший секрет и обман и обнажила

* Белая горячка (лат., мед.).

гордым вызовом своего женского права и этот самый решительный и щекотливый факт своей биографии. Признаюсь, я подумал об этом с большим удовольствием: люблю я цельность человеческую, а тайна Викторией Павловны и боязнь ее признать дочь тянулись в моей памяти по ее прекрасному образу единственною, но зато глубокою и непримиримою трещиною, которая нарушала его смелую гармонию резкою и грубою фальшью диссонанса — «совсем из другой оперы»...

Итак, все изменилось за двенадцать лет. Ой, сколько же воды-то утекло! Виктория Павловна не только приобрела новую фамилию (однако уж и выбрала! Фамилия!) и новые обстоятельства жизни, но и нажила целую семью собственного производства, как то свидетельствуют присутствующие младенцы... Стало быть, в конце концов нашелся какой-то счастливый более Буруна добрый молодец, который и ее, убежденную и суровую противобрачницу, победил-таки удалством своим и прикрутил к себе законным браком, привенчав вот эту ее миленькую Фенечку. И наградил ее вот этим не весьма симпатичным потомством, которое водит и возит по Promenade des Anglais вот эта нянька с иконописным и не весьма приятным лицом. По-своему красивая женщина, но никогда не согласился бы я держать подобную в своем доме. От нее так и веет скрытностью себе на уме, тихим жульничеством хитрой святоши, секретом, интригою, а при случае, пожалуй, и преступлением. Такие лица наводят на размышления о благодеяниях антропометрии и дактилоскопии. По обращению Фени с нянею Василисою я видал ясно, что госпожа эта в доме не последняя спица в колеснице. Показалось мне также, что эта по-своему весьма нарядная особа с большим любопытством прислушивается одним ухом к нашему разговору, хотя и хранит на иконописном лице своем с византийскими чертами, чуть бурыми от старой болезни печени или когда-то бывших тяжелых родов, вид совершенного бесстрастия и притворяется, будто бы вся поглощена над-

зором за детьми. А те — мальчик и девочка — успели тем временем благополучно расцарапаться между собою и ревели теперь дикими голосами, да так зычно и напряженно, что и младенец в тележке обеспокоился, похлопал, выжидая, большими молочно-голубыми глазами своими и тоже завизжал...

— Вот не ожидал! Это большой и радостный сюрприз! — сказал я Фене. — Мне очень хотелось бы повидать вашу маму. Мы с нею когда-то были хотя не долго, но очень большие друзья.

— Да, она мне говорила... Она даже очень взволновалась, когда узнала, что я встретила вас в Париже...

Феня ускорила шаг, причем я не мог не заметить совершенно определенно, что делается это для того, чтобы отдалиться от иконописной няньки и ее чуткого уха.

— Только, — понизив голос, сказала Феня с глазами не то жалобщицы, не то заговорщицы. — Только... вряд ли вы маму теперь узнаете... Она стала совсем другая, чем в те молодые годы, когда вы могли ее знать...

— Неужели так состарилась? — удивился я, потому что помнил красоту Виктории Павловны, как такую, которой, что называется, и износу не должно быть. Да и знал-то я ее уже не первой молодости — для незамужней женщины, хотя своей моложавостью и свежестью она очень обманывала относительно своего возраста, однако ей и на вид можно было дать года двадцать четыре, а в метрике, как Виктория Павловна сама мне говорила, значились и все двадцать восемь.

— Ну, конечно, не девочка... — как будто несколько обиженно возразила Феня. — Но я не в том смысле... Вы так меня поняли, что мама очень подурнела с годами... Нет, она по-прежнему очень хороша собою... чарует... Когда мы вместе, так на меня, бедняжку, никто и не взглянет... Я рядом с нею просто мешаночкою какою-то кажусь... Я не про наружность говорю, что другая стала... Нет... человек в ней очень переменялся... И уж, право, не знаю... Вы вот говорите, что хотели бы ее ви-

деть... А я, извините, не знаю, можно ли и надо ли... То есть я несколько не сомневаюсь в том, что маме очень хотелось бы с вами повидаться. Но — захочет ли она... — Феня подчеркнула голосом эту разницу между «хотелось бы» и «захочет ли». — Захочет ли она — это еще вопрос...

— Вы очень удивляете меня, — сказал я, в самом деле несколько смущенный этим неожиданным признанием. — Разве Виктория Павловна не самостоятельна в своих желаниях и поступках? В былые годы ее характер обещал, что, как бы ни сложилась ее дальнейшая жизнь, она все-таки всегда останется полною хозяйкою самой себя и своих поступков...

— То есть вы поняли мои слова в том смысле, что ей может кто-нибудь не позволить с вами видаться? — быстро спросила Феня.

— Признаюсь, иначе ваши слова трудно истолковать... Ведь мы с Викторией Павловной были в самом деле большими друзьями... Конечно, при нынешних русских обстоятельствах приезжие старые друзья из России иногда сторонятся нашего брата, опального изгоя... Но мне кажется...

— О, это-то, верьте мне, ни при чем! — быстро воскликнула Феня. — Мама нам совершенно не сочувствует, но она не из таковых... Сколько она ни изменилась, но в ней осталось настолько-то закваски старого политического либерализма, чтобы не воевать с людьми за разницу убеждений и не бегать от старых друзей в угоду или по страху полиции...

— Ну, вот видите. В таком случае, мне, конечно, естественно предположить, что супругу Виктории Павловны будет неприятно...

— Это еще менее... — Феня не дала договорить. — Он вас уважает и любит как немного кого... Уж не знаю, чем вы заслужили такое его благоволение... — сказала Феня с маленьким оттенком добродушной насмешки, из которой я мог заключить, что супруг Виктории Павловны ее большим уважением не пользуется.

Но час от часу не легче. Если господин Пшенка, мне неведомый, меня уважает и любит, то, следовательно, он так или иначе меня знает? Чем-нибудь да заслужил же я в его глазах уважение и любовь. Но — как же в таком случае я-то его не знаю и даже фамилии его раньше в жизни своей не слышал? А Феня тем временем говорила, слегка покраснев, что очень шло к нежному цвету ее лица:

— Впрочем, я все забываю, что вы маму знали очень давно и, значит, позднейшие ее дела и обстоятельства вам совсем не известны... Нет, — продолжала она, — нет, в этом-то вы не ошибаетесь, что характера своего мама не могла изменить и не изменила... Вряд ли кто-нибудь может заставить ее делать то, чего она не хочет, и удержать ее от того, что она серьезно решила и хочет... Красота прежняя, характер прежний, но вот мысли-то у нее чрезвычайно переменились с того времени, как вы ее знали... Вот в этом отношении она стала, как я говорю вам, совсем другой человек... Даже я еще помню ее другою, на заре первых моих сознательных дней... И она знает, что она переменилась и что ее перемена дает неприятные и тяжелые впечатления людям, которые знали ее в молодости... И я часто замечала, что встречи с людьми ее прошлого действуют на нее чрезвычайно волнующе... Каждый раз после таких встреч она становится мрачнее тучи и сама не своя... А волноваться ей вредно... У нее болезнь сердца...

— Признаюсь, — сказал я, — мне чрезвычайно любопытно было бы узнать, в каком именно отношении изменились, как вы говорите, мысли Виктории Павловны. Неужели...

— Да, да, да, — быстро перебила Феня, закивав хорошенькую свою головку. — Вы вряд ли узнаете свою Викторину Павловну в даме, которая, живя в Ницце, не бывает почти нигде, кроме православной церкви... Читает исключительно богословские книги и более всего на свете интересуется судьбами инока Илиодора и прочих рясофорных акробатов...

— Да, — сказал я, действительно ошеломленный. Этому я, признаюсь, не поверил бы, если бы слышал от человека, ей постороннего... Помню ее — она такое впечатление производила — способною и пригодною решительно для всего хорошего и, не стану скрывать от вас, может быть, для много дурного, но только не для ханжества.

Феня покосилась на меня из-под лба, довольно-таки крутого по всему окладу ее лица, не похожего на материнский, ведь у Виктории Павловны было настоящее чело богини! Лба, который говорил о несколько рахитической наследственности и придавал девушке вид упрямый и капризный; намек нарушенную симметрией черт о возможности выходов, знаменующих не совсем ясный и прямой характер, обнажил дно души, вероятно, и самой Фенечке еще не известной глубоко, — души, в которой — наряду с силою и добротою — таятся, быть может, начала отрицательные и недобрые, резко противоположные всему ее симпатичному общему облику и видимому духовному складу.

— Да, я думаю, что мама иногда и сама на себя удивляется... — сказала Феня задумчиво и опять с оглядкой через плечо, которую я опять хорошо заметил, понимая, что она должна относиться к сопровождающей нас, среди ревуших детей, няньке, хотя последняя по-прежнему делала вид, что не обращает на нас никакого внимания и разговор господ насколько ее не касается.

— Давно это у нее началось? — спросил я.

Феня отвечала:

— Да я-то застала маму почти уже такую, как она теперь... Может быть, не с такою яркою выразительностью и настойчивостью, но уже на этой стезе... благочестия и принятия действительности как воли высшего разума... От той, прежней Виктории Павловны, о которой мне потом рассказывали ее прежние же знакомые, оставались очень малые следы... Я ведь с мамой познакомилась поздно... — приба-

вила она, краснея. — Я ведь, извините за откровенность, внебрачная... До двенадцати лет я жила в крестьянской семье, воспитывалась, как подкидышек... Только на тринадцатом году я узнала, что мама — мне мама... Вы извините... но ведь вы это знаете... Мама мне говорила. Я потому вам все так прямо и говорю... Вы знаете, только забыли...

— Я теперь действительно очень хорошо вспомнил вас, — сказал я. — То есть, вернее сказать, не вас вспомнил, а о вас...

— Знаете ли, — возразила Феня, — мне чрезвычайно трудно говорить с вами о маме... Между тем временем, как вы с нею расстались, и тем, когда я ее сознательно поняла, прошла какая-то темная пустая полоса, после которой вдруг все сразу изменилось... И мне с вами, как с многими людьми, знавшими ее в тот период, до полосы этой, до провала темного, всегда очень трудно понять друг друга. Потому что вот и в выражении вашего голоса, и в вашем взгляде, и во всем складе вашего лица я сейчас читаю, что вы, как и другие, знали какую-то особую Викторину Павловну, какой я уже не застала, и она внушала вам симпатию и уважение, а многим, я знаю, и самую пылкую любовь и преданность... Теперь около нее этого ничего нет... И, по-моему, даже быть не может... Вы не подумайте, что я жалуясь... И — еще того хуже — не люблю маму или хочу ее осуждать... Напротив, уж если мне жаловаться, то кому же и быть счастливою от родителей... Может быть, немного в русских семьях найдется столь счастливых дочерей, как я... Нет, нет — дело тут не меня касается, а мамы... Она — скажу вам откровенно — человек, внушающий мне к себе какую-то необычайную жалость... Нет никого на свете, кого бы мне так жалко было, как мою маму...

— Вот чувство, — сказал я в новом изумлении, — которое именно менее всего могла вызывать в те старые времена ваша мама...

— Да, я слышала это уже не раз... И вот потому-то все в ее прошлом мне так и удивительно... Когда я о маме раз-

думаюсь или поговорю с хорошим человеком, который, я знаю, относится к ней сердечно и с пониманием, мне всегда хочется плакать... Я, может быть, даже бываю несправедлива иногда, потому что меня на эту мою симпатию легко подкупить... Вот, — понизила она голос почти до шепота, — эта госпожа Василиса, которая идет сзади нас и унимает любезных моих брата и сестрицу... О ней говорят много нехорошего, и многое из того, что говорят, по-видимому, совершенно справедливо... Но я никогда не в состоянии на нее ни рассердиться, ни дуться даже, потому что она очень любит маму и мама без нее была бы еще жалче и несчастнее, чем она в настоящее время... Потому что, дурна ли, хороша ли особа эта, она маме что-то дает, а я, к сожалению, ничего дать не могу: между ними есть что-то общее духовное, чего нет во мне, — и я его не понимаю и не чувствую...

— Вы, — сказал я, — извините меня, если я задам нескромный вопрос: это все-таки что же — брак ее, что ли, переработал? Позвольте узнать, господин Пшенка, нынешний супруг вашей мамы, кто он такой по общественному своему положению и где они сошлись?

— По общественному своему положению, — отвечала она просто, — он землевладелец одного с нами уезда, долго был управляющим маминого имения... Да вы же его знаете, он же был при вас и всегда вспоминает о вас, как я уже говорила, с особенным уважением...

Я порылся в своей памяти, но по-прежнему не нашел в ней решительно никакого Пшенки и должен был извиниться, что, к стыду моему, совершенно его не помню; это, впрочем, и неудивительно, так как я ведь попал тогда к Викторией Павловне на ее именины, когда у нее в гостях были чуть ли не все сколько-либо интеллигентные мужчины чуть не со всей губернии. А имением Викторией Павловны господин Пшенка стал управлять, вероятно, позже, так как в мое время дела ее были в руках не управителя, но управительницы.

— Я, конечно, не посмею отрицать того, что брак не сыграл важной роли в перемене мамы, — сказала, выслушав мое объяснения, серьезная и внимательная Феня. — Конечно, на ответственность брака и можно, и должно возложить известную долю в ее настроении... В особенности хроничность его, постоянную поддержку... Но далеко не все... Самый брак-то ее — уже, кажется, результат ее перемены... А началось это, как вы спрашиваете, с одного очень трагического случая, внезапно ворвавшегося в жизнь мамы и очень много для нее значившего... Незадолго до брака своего она пережила чрезвычайно сильное и острое потрясение... Вы никогда не слышали, что у мамы была очень хорошая приятельница и большая ее поклонница, некая госпожа Евгения Александровна Лабеус?*)

Я что-то смутно помнил, но — что именно, стерлось с мозга, как след грифеля с аспидной доски.

— Ну так вот с этой Евгенией Александровной — так, в результате того же самого случая, теперь еще хуже... Мама хоть семью какую-то сложила, и если в божественность бросилась, то по крайней мере только сама же и одиноко в ней тонет — никого не руководит и на путь своей новой религии не толкает и не насилует. А Евгения Александровна, о которой все говорят, что еще десять лет тому назад жила она пестро, богато и грешно, всей России на смех и удивление, теперь власяницу одела, разъезжает по сектантам разным, старцев и отшельников ищет в сибирских дебрях и глухих станицах, родными под опеку взята, потому что стала раздавать самого широкою рукою все свое колоссальное состояние разным проходимцам, которые пред нею играли роли пророков или юродивых. Нашла какого-то полоумного монаха, которого воображает Христом, и бьет ее, конечно, удивительный инок этот. И обобрал совершенно. И даже — говорят, это в газе-

*) См. мой роман «Виктория Павловна».

тах было — однажды запряг ее и еще двух таких же безумных своих поклонниц в санки и прокатился на них по первопутку от села до села...

— Вы эту метаморфозу госпожи Лабеус и считаете тем трагическим случаем, который дал толчок Виктории Павловне к ее новому направлению?

— Нет, я, наоборот, хотела сказать, что вот — не мама одна. Сколько могу понять, на них обеих произвела очень тяжкое и страшное впечатление смерть одной женщины, которая к ним была очень близка... Вы, может быть, ее знали... Даже непременно должны были знать... Это простая женщина была, бывшая нянька или кормилица мамы, а потом ключница или экономка, что ли... Звали ее Ариною Федотовною...

— Как же! — воскликнул я, живо вспоминая. — Как же! Отлично помню... Интереснейшая в своем роде фигура! Мы с нею тоже в добрых приятелях были... Любопытнейший тип русской простонародной черноземной феминистки... Так Арина Федотовна умерла? Жаль. Очень не глупая и с большим характером была женщина... И отчего же, собственно, она умерла? Сколько вспоминаю ее, производила впечатление здоровнейшего человека... Обещала жить много лет...

— Да, вероятно, и выполнила бы обещание, — сказала Феня, — я ее тоже помню, ей тогда никто не давал и сорока лет, а между тем было уже под пятьдесят... Была человек жизнелюбивый и жизнеспособный... Но ей было суждено умереть не своею смертью... Ее убили... Да неужели вы не читали в свое время в газетах? Громкое было дело, убийство вдовы Молочницыной... Ведь это она... Когда-то очень много шума наделало... В...

Она назвала мне один из больших городов средней России.

Я стал припоминать, как будто что-то померещилось, мелькнув в профессиональной памяти журналиста, но сейчас же и потухло... Несомненно, что фамилию эту я видел в

газетах, но обстоятельства, при которых она мелькнула в глаза и механически усвоилась памятью, совершенно потускли и как бы испарились...

А когда Фенечка указала мне год и месяц, когда произошло убийство, я понял, почему ничего о нем не знаю: в то время я был как бы умершим для всего очередного, что происходило в сутолоке русского общества, так как отбывал первое время своей ссылки в Восточной Сибири. Долго не получая ни писем, ни газет... В этом-то промежутке, оказывается, и покончила свое земное существование от руки убийцы старая моя приятельница Арина Федотовна...

— При каких обстоятельствах это произошло? Кто ее убил? — спросил я. — Расскажите, пожалуйста.

— Знаете ли, — слегка вспыхнув, отвечала Фенечка, — обстоятельства ее убийства были настолько щекотливы, что, знаете, хотя я и не страдаю ложным стыдом и чужда предвзвешенности, но пусть уж лучше кто-нибудь другой это расскажет вам во всех подробностях... Я ограничусь тем, что сообщу вам, что в один печальный вечер Арина Федотовна была найдена в номере городских бань мертвою и страшно изувеченною... Убийца вскрыл ей полость живота и выбросил все внутренности... Его нашли тут же удавившимся на дуге душа... Чудовищная грязь, понимаете... И маме, и госпоже Лабеевской эта история в свое время испортила очень много крови. Тем более что им как свидетельницам пришлось выдержать бесконечно много допросов и вообще всяких неприятностей...

— Вы сказали: как свидетельницам? — заметил я.

— Ну да, как женщинам, которые очень близко знали убийцу и последнее время пред преступлением жили с нею вместе в одной гостинице, даже в одном номере.

— Так вот как кончила Арина Федотовна... — сказал я, в самом деле очень заинтересованный и даже несколько взволнованный известием. Не могу сказать, чтобы я его на-

шел слишком уж необыкновенным и странным — в сообщении лица, которого оно касалось. Напротив, когда я вспоминал эту женщину, с молвою о ней ходившей, навязывая ей беспрестанную смену любовников, обставляя ее легендами разврата и преступления, сплетнями о бесконечной ее дерзости против людей — вроде того, что однажды она высекла управляющего соседними богатыми имениями господ Тиньковых; когда я наконец вспоминал, как она держала взаперти злополучного Ивана Афанасьевича, — то совокупность этих впечатлений рисовала мне покойную Арину Федотовну человеком, для которого подобный насильственный конец — пожалуй — вид естественной смерти. Слишком отчаянно вела она грубую чувственную игру и презрительную войну свою со всевозможным мужским полом, рано или поздно было несдобровать ей, как поленице удалой, столкнувшейся с богатырем сильнее себя, и вот действительно пришлось таки поплатиться жизнью за свою женскую удаль и неуважение к мужской силе.

Не удивило меня нисколько и то обстоятельство, что этот трагический случай так страшно повлиял на Викторию Павловну. Стоит только зацепиться мыслью за какой-нибудь штришок воспоминания, а затем остальные уже так и пойдут сами, сплетаясь лучистой паутиною, один другому подсказывая. Ведь покойная Арина Федотовна была для Виктории Павловны гораздо более чем другом и домоправительницею. Чувствовалась связь родственных душ, между которыми только та и разница, что одна — первобытная, грубая, а другая — окультуренная. Не мог забыть я и того, что Арина Федотовна и сын ее, великий комик и дразнилка, всеобщий пересмешник, белобрысый писарек Ванечка, о котором я слышал после, что он таки ушел на опереточную сцену, сыграли известную роль и в том большом скандале, разыгравшемся при мне в Правосле, когда был изгнан из этой счастливой местности красивый ревнивый художник Бурун... Я уехал тогда с впечат-

лением вполне определенным, что Виктория Павловна находится не только под влиянием, но, можно сказать, всецело в руках у своей бывшей няньки, а ныне домоправительницы, которая вдобавок в это время чуть ли не приходилась ей, потайну, чем-то вроде свекрови с левой стороны, потому что комик Ванечка успел высмеять у Виктории Павловны отношения, которых Бурун не умел выплакать. А Арина Федотовна, конечно, души в своей воспитаннице не чает, но, насколько лишь Виктория Павловна вообще поддается управлению, руководит ею эта самая Арина Федотовна, даже в делах и вопросах морального порядка. А уж материально — во всем, что ей, Виктории Павловне, принадлежит, — во всем этом Арина Федотовна хозяйка и распорядительница безусловная, и даже в гораздо большей степени, чем сама Виктория Павловна... Потерять такого человека, конечно, значит, потерять почти что половину, а может быть, и большую часть самой себя... Одного не понимал я: почему же потеря Арины Федотовны привела Викторию Павловну к перемене именно в том духе, как теперь сообщила Фенечка? Ни Виктория Павловна, ни покойница Арина Федотовна не были не то что религиозны, а, наоборот, Виктория Павловна однажды указывала мне в этой своей Арине доказательный образец того природного атеизма, наличие которого когда-то подчеркивал в русском народе Белинский... Совершить скачок из такой крайности к православию фанатического толка, включительно до увлечения иноком Илиодором, казалось бы, нелегко — особенно женщине с определенным даром пытливости и исследования, вдумчивости и самоповерки, каким, помнится, отличалась Виктория Павловна.

— Это все отец Экзакустодиан, — шепнула мне Фенечка с легкою оглядкою через плечо в сторону няни Василисы, называя имя, которое действительно могло если не объяснить существо процесса, то дать ключ к его внешнему нача-

лу и развитию. Об этом Экзакустодиане я уже не впервые слышал как о недюжинном демагоге-православнике^{*)}, успевшем натворить много чудодейств в разных губернских городах средней России, в том числе и в Рюрикове. Человек из тех, которые сами не знают, где в них разграничен фанатик с мошенником, и — несомненный талант. О нем много писали в газетах, да и из частных сведений я знал, что он окружен, как стеною, толпами поклонниц и поклонников, между которыми называли мне имена совершенно неожиданные. Но найти в их числе Викторию Павловну я все-таки уж, конечно, никак не ожидал...

А Фенечка шептала:

— Мне не хочется говорить об этом, а то я кое-что, конечно, могла бы вам сообщить... Но я боюсь, что все-таки мало знаю... Гораздо меньше того, сколько надо знать для уяснения... Если мама захочет вас видеть, то, вероятно, она вам сама даст ключ... Знаете ли, хорошо было бы, если бы так... Мама часто производит на меня впечатление человека, у которого от вынужденного молчания запеклись сердце и уста, и это ей больше невмочь, а сказать — некому... Мы с нею очень большие друзья, но все-таки я же девочка перед нею. Затем она — мать, я дочь... может быть, у нее есть какие-нибудь тайны, которые просятся наружу и, как бесы, мучат ее, просясь на волю, а она мне, как дочери, сказать не хочет... словом, она вот уже много лет — немой человек с какою-то заключенною скорбью в душе...

— А муж? — спросил я осторожным тоном, но прямым вопросом.

Фенечка досадливо передернула плечами...

— Ну какой же он поверенный для мамы? — сказала она, словно отвечая на величайшую нелепость. — Он недурной по-своему человек, гораздо лучше, чем может по первому

^{*)} См. мои романы «Сумерки божков» и «Паутина».

взгляду показаться, но между ними — как пропасть — разница воспитания, положения и вкусов... да, наконец, и лет... Люди совершенно разной психологии и... ну, словом, если хотите знать мое мнение, то мне кажется, что — это последний человек, с которым мама может поделиться своей сердечною тайною и задушевною мыслью...

Она опять умышленно ускорила шаг. Я последовал за нею.

— Значит, ваша мама не слишком-то счастлива в браке? — позволил я себе спросить уже напрямик.

— Я не знаю, — искренним звуком вырвалось у Фенечки. — Я ничего не знаю и не понимаю. Не потому, что не хотела бы с вами об этом поговорить. Напротив... Потому что мама меня мучит, как загадка. Нет, я просто-таки не знаю и не понимаю. Мама никогда не жалуется. Между ними никогда не происходит никаких ссор. Как вы видите, у них большая семья, потому что был еще брат, который умер. А за всем тем мама одинока, как, я не подберу далее сравнения, и, чем она спокойнее в своем одиночестве, тем мне больше жалко ее. Когда она улыбается, то мне хочется плакать, а если она весела и смеется, то мне делается страшно, и я тогда не сплю ночей, все думаю: а вдруг она в это время что-нибудь делает или уже сделала над собой и умирает?..

— Может быть, милая Феня, это у вас мнительность?

Феня повела плечами в жесте недоумения.

— Не знаю... Конечно, может быть, я маму уж очень высоко ставлю, и, кто бы рядом с нею ни стоял, мне все кажется, что она не нашла настоящего своего положения и места в жизни и все как-то унижена сравнительно с тем, чем быть она могла бы и должна была бы... Но нет... Это, знаете, не мое одно впечатление.. Это все почти, кто ее знавал раньше, находят... На всех точно такое тяжелое впечатление ложится... И она сама это знает, что производит тяжелое впечатление, и это главная причина, что она стала совершенно избегать людей...

Феня покосилась через плечо и, убедясь, что няня Василиса в это время занята упорядочением каких-то очередных нужд раскричавшегося младенца в тележке, быстро шепнула мне:

— Вот эта женщина, кажется, одна из немногих, а может быть, и совсем одна, с кем мама вполне дружна, спокойна и, по-видимому, даже откровенна... Чем она приобрела такую ее доверенность — я не знаю... но это так... Я не имею причин жаловаться на эту женщину. Она, как я вам сказала уже раньше, очень ко мне хороша и добра... Но вместе с тем я не скрою от вас, что я сама не знаю, почему, но не только всегда держу с нею ухо остро, но даже просто-таки боюсь ее немножко... Она имеет на маму громадное влияние... А — хорошо это или худо — я уж, право, и не знаю...

— Послушайте, — сказал я, — если хотите, то вот в этой черте я опять узнаю Викторию Павловну. Она не новая. Ведь и тогда — вот с этою злополучною Ариною, которая так странно погибла, — Виктория Павловна была в точно таких же отношениях... Не знаю, право, как характеризовать точнее, но — на язык просится даже слово — «подчинение». Потому что Виктория Павловна даже от самой себя не скрывала, насколько она считалась с волею и советами Арины Федотовны, хотя во всех внешних проявлениях казалась совершенною и повелительною ее госпожою...

— Да, я знаю, слыхала и даже немножко помню, — сказала Фенечка. — Но...

— Так что, — сказал я, — разница только в том, что тогда двух женщин роднили между собою смелость отрицания и неверие, сходство властных характеров и своеобразный, что ли, феминизм, а теперь — вы же мне отрекомендовали эту госпожу ханжою — они сроднились на почве общего религиозного увлечения...

— Так-то оно так... — выговорила, раздумывая, Фенечка. — Но это не все... понимаете, это, может быть, фон,

основной фон отношений... но я чувствую, что есть тут и какие-то совершенно мне неведомые и чуждые узоры...

— Вы говорите, — сказал я, — что супруг Виктории Павловны ранее управлял ее имением... Это меня еще и потому несколько удивляет, что имение Виктории Павловны вспоминается мне в таком плачевном состоянии, что управлять там, правду говоря, было нечем. Все готово было рухнуть и с аукциона пойти.

— О! — воскликнула Фенечка. — Вы не можете себе вообразить, как поправились дела мамы за эти последние десять лет... Знаете ли, на что уж все почти землевладельцы пострадали в периода аграрных беспорядков — они и нас, конечно, коснулись, кое-что сгорело, кое-что было разгромлено... Но тем не менее в настоящее время Правосла, то есть большая часть Правослы, принадлежащая маме, там ведь мильон совладельцев, считается из лучших имений в уезде...

— Вот как! — удивился я. — И это результат управления господина Пшенки?

— Да, он имеет репутацию прекрасного хозяина и очень оборотистого человека... Так что вот в настоящее время маме дают за Правослу хорошие деньги... Там, знаете ли, на Осне лесопилка есть... Мерезов, Окорлупин, Климушкин и К°... *) Громадное дело... Так вот они очень хотят приобрести и наши земли... большие деньги дают... Дело почти уже кончено, и предварительный договор подписан... Потому мы и здесь... на задаток кутим! — засмеялась она.

— Однако, раз именье пошло таким успешным маршем и приносит хороший доход, то зачем же продавать?

Фенечка кивнула на детей, ковылявших за нами, и сказала:

— Да ведь, видите, больница... Полон дом прокаженных и расслабленных... Одна я покуда совсем здоровый человек, потому что и маме, говорила я вам, маме изменяет сердце...

*) См. мой роман «Паутина».

А остальные не живут, жизнь тянут... Работать в таких условиях нельзя, надо ликвидировать свой успех, пока не поздно, на дожитье и отойти в сторону, пустив к своему труду новые силы и новых людей...

— Вот у вас какая суровая философия!

— Практическая, — спокойно сказала Фенечка. — Можно, конечно, барахтаться и упираться. Да ведь растопчут...

— Но, я думаю, Виктории Павловне было нелегко расстаться с Правослою? Она так любила этот свой угол...

— Почему? — с удивлением возразила Фенечка, широко открывая чистые голубые глаза свои. — Вот уж не замечала... Напротив... Именно она и настаивала на скорейшей продаже. Я уже четыре года, как из тех мест, да и раньше мало бывала в Правосле, так как училась в губернской гимназии... Но, сколько помню, мама вела там убийственно скучную жизнь. Ведь это же пустыня. У них месяцами никто не бывал...

— У Виктории Павловны никто не бывал?! — вскричал я, даже приостановившись от удивления.

— Ну да, — возразила Фенечка с некоторым смущением и досадою, раздувая розовые ноздри свои. — Что же тут странного? Так и должно было быть... Дамы местные маму всегда терпеть не могли, а мужчины вознегодовали на нее, зачем она совершила *mesalliance* и вышла замуж за неровню... Обвенчаться со своим управляющим! Променять фамилию Бурмысловой на фамилию Пшенки! Фи!.. Ну, и отпали все понемногу... Ну, и еще неприятная история была... Там у нас один магнат уездный... князь Белосвинский... Не слышали?

— Нет, знаю, очень знаю... — торопливо опроверг я, сильно заинтересованный мрачным тоном, которым Фенечка произнесла эту фамилию — так знакомую мне фамилию русского рыцаря Тогенбурга, столько значившего в жизни Виктории Павловны и так верно и безнадежно ей поработившегося...

— Ну, — хмуро и видимо нехотя продолжала Фенечка, — этого нелепого князя... не имела чести его знать, но терпеть его не могу... столько зла он принес маме!.. Этого нелепого князя умудрило вскоре после маминой свадьбы отправиться на охоту и, пробираясь частыми кустами, зацепиться ружьем за сучок так неловко, что оно выстрелило полным зарядом в княжескую голову, после чего князю не оставалось, конечно, ничего больше, как умереть... Очевидная случайность... Ну а по всей губернии заговорили-загудели, что самоубийство... Будто потому, что мама привела его в отчаяние браком своим...

Она покосилась на меня из-под крутого лба своего и с тихою досадою произнесла:

— По выражению лица вашего замечаю, что вы такое объяснение тоже допускаете...

Я видел, что для Фенечки этот вопрос — больной и острый, и постарался уверить ее как можно правдоподобнее, что нет, никак не допускаю, хотя внутри себя, с печалью вспоминая этого благородного и поэтического князя, наоборот, думал: «Еще бы не допустить!..»

Так мы дошли до Jetée, откуда мне надо было поворачивать в свой пансион. Я дружески распростился с Фенечкой, раскланялся с няней, покивал детям и, дав Фенечке свой точный адрес, чтобы на всякий случай передала маме (от самостоятельного визита Фенечка меня категорически отговорила), расстался с этою красивою и милою девушкою и ушел, полный воспоминаний, образов и ожиданий... Словно вдруг призраки старые встали из давно опущенных в могилы гробов...

* * *

Весь остаток этого дня и утро следующего я усердно и с беспокойством ждал, не будет ли весточки от Виктории Павловны. Напрасно. Ничего не получил. После завтрака в тот же час, как вчера, я вышел на Promenade des Anglais в расчете встретить Фенечку или по крайней мере ико-

нописную няньку с детьми... Но и тут неудача: никого не встретил. Когда живешь в Ницце на положении, так сказать, знатного иностранца, то Promenade des Anglais делается, хочешь не хочешь, центром жизни, деваться-то больше некуда, и оказывается необходимым пройти по ней в течение дня по крайней мере раз десять. Не встретиться в этих условиях с кем-либо из таких же «знатных иностранцев» решительно невозможно. Все видят всех каждый день и знают друг друга наперечет. Но вот мои десять раз были мною сделаны, а Фенечки все-таки нет как нет. Это было уже подозрительно и заставляло думать, что девушка не выходит преднамеренно, чтобы не встретиться со мною. Если бы нездорова была или занята, то все-таки хоть нянька-то с детьми гуляла бы. А тут — извольте ли видеть — все как сквозь землю провалились. То же самое повторилось и завтра, и послезавтра. Я помнил слова Фенечки, что Виктория Павловна очень болезненно относится к встречам со старыми знакомыми, и понимал теперь дело так, что Виктория Павловна видеться со мною отказалась, а Фенечке неловко мне это передать в глаза, вот она и спряталась. Остановившись на этом решении, я, хотя и с глубоким сожалением и даже некоторою обидою, поставил на ожидаемом свидании крест: не навязываться же! — и уже не ждал дальнейших встреч и разговоров... Но однажды вечером, в конце обеда, хозяйка пансиона, в котором я жил и столовался, сообщила мне с таинственным видом, что меня спрашивает дама... Я немедленно вышел в разговорную комнату — и увидел у окна, близ пианино, высокую фигуру в черном, в которой — даже со спины — нетрудно было узнать величавую осанку старой моей приятельницы...

— Виктория Павловна!..

Радостно окликнутая мною, она встрепенулась, обернулась, знакомо блеснув глазами на вспыхнувшем лице, бросила ноты, которые рассматривала в ожидании, и быстро пошла ко мне навстречу, протягивая обе руки. И знакомый глу-

бокий грудной голос заставил вздрогнуть мое старое сердце, переполняя его разом хлынувшими воспоминаниями хорошей прошлой полосы еще почти что из молодости.

— Извините меня, ради Бога... Я вот четвертый день все думала да гадала, надо ли увидаться нам... Все не решалась... Может быть, это и теперь лишнее, не следовало бы...

— Да как же не надо-то! — воскликнул я, сильно растроганный. — О чем было думать? Ну как вам, право, не грешно...

А она, знай, оправдывалась — не столько передо мной, сколько пред самую собою, — уже с беспокойными глазами и морщинкою на лбу:

— Обстоятельства так ведь переменились... Что теперь может быть общего между мною и вами? Но, знаете ли, не вытерпела, не могла уехать из Ниццы, не повидавшись с вами... Молодостью, знаете, пахнуло...

Вздохнула и прогнала морщинку с таким движением, точно тяжесть с себя стяхнула.

— Ну и вот... здравствуйте же!.. Давайте ваши руки... Следовало бы, говоря по-настоящему, даже поцеловаться на радостном свидании после многих лет... Да — вот у вас какие-то уж очень серьезные англичане сидят.. что их шокировать!..

Она, на мой взгляд, почти не переменилась, только пополнила очень, как почти всякая женщина ее сложения, перешагнувшая за роковой рубеж тридцати пяти лет, и это огрубило и отяжелило несколько ее все еще прекрасные черты. А ей теперь, пожалуй, можно было считать уже под сорок, если не все сорок. Чувствовалось, что запас сил, здоровья и свежести у женщины этой еще громаден и она не скоро даст. Рассматривая ее лицо, великолепный образ гордой и даже надменной несколько Юоны, я не видел ни единой обличительной морщинки. Разве, пожалуй, тон кожи, и прежде смугловатый, стал слегка темнее и напоминал теперь уже не столько слоновую кость, сколько полежавший в библиотеке пергамент. И вокруг глаз потемнело, и к вискам потяну-

лись желтоватые длинные пятна, говорящие уже о некоторой изношенности организма и не весьма здоровой печени. Я с удовольствием видел, что Виктория Павловна осталась верна себе в манере казаться такою, как она есть, не скрывая ни возраста, ни недостатков своих. Одета превосходно, а косметиков по-прежнему не употребляет — вся натура! Но если бы эту женщину немножко подкрасить, то, конечно, никто ей не дал бы настоящих ее лет, да и не в большой грех было бы ошибиться, приняв ее никак уже не за мать Фенечки, а разве за старшую сестру. Я вспомнил шутливую жалобу Фенечки, что ее при маме не замечают, и внутренне должен был согласиться, что — и впрямь — «застит»!.. Хороша Фенечка, но до матери ей далеко и не быть ей такою в возрасте Виктории Павловны. Как теперь я мог судить по живому сравнению, сходство между ними было действительно близкое, несмотря на то что дочь блондинка, а мать брюнетка. Трудно даже объяснить, в чем, собственно, так ярко определялось сходство. Не те глаза, много почти противоположного в чертах, а между тем каждый взгляд, каждое движение, каждый поворот головы или тела обличал их несомненное родство, напоминающее и подчеркивающее... И, покуда Виктория Павловна сидела передо мною и говорила, я все время видел перед собою Фенечку — даже еще явственнее, чем тогда утром, при встрече с Фенечкой, покуда она шла рядом со мною и говорила голосом матери, видел перед собою Викторю Павловну... Когда первое радостное возбуждение встречи схлынуло и сидели мы уже наверху, у меня в номере, Виктория Павловна впервые показалась мне тем другим новым человеком, о котором предупреждала Фенечка... она вдруг как-то угасла и потускла. Вместо прежнего жизнерадостного, насмешливого, гордо-веселого существа с яркою и дерзкою речью сидела предо мною женщина угрюмая, несловоохотливая, к чему-то внутри себя пристально и мрачно приглядывающаяся и прислушивающаяся

ся... Пришла, очевидно, с намерением излиться, а между тем слова не шли с языка, парализованные гордостью ли, застенчивостью ли... То, что Виктория Павловна сообщила мне о перемене в своей жизни и о своем браке, заставило меня невольно приподняться с места и, должно быть, уж очень выразительно вытаращить глаза, потому что она вся вспыхнула красным цветом, потом побледнела, как снег... Ох, не люблю я таких быстрых смен в лице — в особенности у людей, о которых имею предупреждение, что у них неладно с сердцем!.. Воображаю, какая сейчас стукотня у нее в груди!.. А я чувствовал себя тоже не в своей тарелке, проклиная про себя легкомысленную небрежность, с которой я не расспросил Фенечку о муже Виктории Павловны подробнее, и через то не подготовил себя к самому неприятному впечатлению, какое только мог испытать по этому поводу, и не мог этого неприятного впечатления скрыть. И, таким образом, пришлось теперь нам обоим пережить сквернейшую минуту обоюдной стыдной неловкости...

Желая расшевелить несколько гостью свою и помня, как живо и охотно она всегда отвечала на всякий вызов в словесной полемике, на лету ловила колкую шутку и быстрым ударом отвечала на удар, я нарочно позволил себе немножко поддразнить ее насчет новой ее религиозности. Но, к удивлению моему, она на этот вызов ответила лишь бледною улыбкою, брошенной как бы несколько свысока и двусмысленно: «Эх, мол, понимаю тебя и очень тебе благодарна за участие и доброе намерение, да только не из той оперы ты запел...» Во всяком случае, она на меня за вольтеррианскую шутку мою нисколько не обиделась и готовности к возражению не высказала, брошенного мяча не подхватила... И тогда вдруг мне стало ясно, что и это для нее совсем не играет той глубокой важности, какую в разговоре со мною намеренно приписывала Фенечка... Фанатичка разве так бы вскинулась? И — тем более фанатичка-неофитка, фанатичка,

нашедшая свой фанатизм после долгих лет неверия, отрицания. Обретшая последний приют раздражению ленной мысли и ревнивая ко всякому покушению на его, приюта, достоинство, авторитет, силу и, главное, покой... Большинство фанатичек потому и страшны так в своей ненависти к сомнению, что сомневаться им — «себе дороже» и боятся они смертельно быть столкнутыми на этот путь силою доказательного убеждения... Виктория Павловна не обнаружила ни этого пугливого раздражения верующей во что бы то ни стало, хотя бы и насильно, хотя бы и *quia absurdum**; ни — равным образом — в бледной равнодушной улыбке, которою сопровождался ее ответ, не нашел я оттенка и той спокойной, самоуверенной веры, которая чувствует себя настолько твердою, что не хочет уже и возражать, не вступает даже и в спор с невером... Нет, это — я очень хорошо видел — улыбнулась мне сейчас не новая, а прежняя Виктория Павловна... Только не радостная, гордая и уверенная в себе, а разбитая и опустошенная... Да, да, с религией у женщины этой, по-видимому, обстоит не лучше, чем со всем другим... В конце концов, и это едва ли не только маленькая попытка влить какое-нибудь содержание в душу, опустелую, темную и больную... И попытка зыбкая и ненадежная — которой сама душа, лечась ею, очень плохо верит: не больше, чем образованный человек знахарю, соблазнясь у него лечиться вопреки рассудку и здравому смыслу, — как утопающий хватается за соломинку, потому что механически действует инстинкт самоохранения, диктующий хвататься, пока можешь, за что попало, а совсем на нее не надеясь...

Попробовал я заговорить с Викторией Павловной об ее детях... И это прошло вяло и холодно... Оживление она выразила, только когда речь коснулась Фенечки и ее занятий в Париже, а также ее ожиданий и житейских возможностей в недалеком

* Бессмысленно, нелепо (*лат.*).

будущем... К Фенечке она, видимо, относилась любовно и горячо, и то обстоятельство, что девушка мне понравилась, очень обрадовало ее и наполнило ее прекрасные глаза теплым благодарным светом... Я напрасно подозревал Фенечку, будто она от меня пряталась. Отсутствие ее объяснялось тем, что в тот же день, вечером, после нашей встречи девушку увезла погостить к себе на виллу в Вильфранш знаковая дама, общая и матери, и дочери, новая приятельница, некая Эмилия Федоровна фон Вельс...^{*)}

— Вы, конечно, знаете? Слыхали? Ну, известная нимфа Эгерия этого короля в изгнании, князя Беглербей-Васильсурского... О ней говорят и даже пишут очень дурно, но — вы знаете — я сама всю жизнь окружена была ненавистью и злословием, и не мне обращать внимание на толки и сплетни о другой женщине... тем более о такой красивой и удачливой, как эта Эмилия... А Фенечке она нравится, и девочке там уютно и весело... Пусть порезвится хоть сколько-нибудь, покуда молода. Дома я не могу доставить ей много радости: у нас так однообразно, скучно, болезненно и угрюмо... Больной старик, больные дети и две стареющие печальные женщины... куда как весело для девушки в двадцать лет...

К остальным детям Виктория Павловна показалась мне довольно равнодушной. Видно, что обязанности материнского долга исполняет добросовестно и обстоятельно, но большой страстности нет...

— Ведь вы, как мне говорила Фенечка, — сказал я, — имели несчастье потерять одного ребенка?

Она на это кивнула головой и почти холодно, вскользь как-то сказала:

— Да, от эклампсии... Он еще совсем маленький был, на третьем месяце...

^{*)} См. мой роман «Паутина».

И продолжала прерванную моим вопросом речь о том, как она опасается сейчас за Фенечку, которая, желая быть ближе к ней, намеревается возвратиться в Россию. А между тем Фенечка здесь, за границей, сводила знакомство и вошла в тесные дружбы с революционными кругами, что, конечно, сейчас уже хорошо «освещено» (она так именно, этим полицейским термином и выразилась), и при возвращении Фенечку могут ждать большие неприятности...

— Я все уговариваю ее — сидеть здесь смиренно и, как говорят хохлы, не рипаться... — говорила Виктория Павловна. — Конечно, я очень желала бы иметь ее близко около себя... Ведь она, по существу-то, теперь единственный и последний человек на земле, к которому я привязана... Но не настолько же я эгоистка, чтобы ради своего удовольствия подвергать дочь опасности тюрьмы и ссылки и всех тому подобных благ нашего милого отечества... Ну зачем ей туда ехать — такой, как она теперь, с ее взглядами, с ее симпатиями, с ее планами, с ее характером! Ах, если бы вы только знали, какой она огонь! Что она там позабыла? Здесь она получает хорошее образование... Работает — как хочет, в каком ей угодно порядке и сроке... А там она высшего образования не найдет сейчас вовсе... Вы знаете, конечно, какие пришли у нас времена и порядки на этот счет... Аудитории под замком, а участки и тюрьмы настужь... Что ей делать? Участкологию, что ли, практическими занятиями постигать? Да, наконец, я просто не понимаю, как она может уехать в Россию, когда она здесь должна оставить большой кусок своего сердца... Ведь она, если признаться вам по-дружески в семейной нашей тайне, она уже почти невеста... А если не объявленная невеста еще, то все равно — накануне того, чтобы дать слово..

— Да что вы?! А я и не подозревал, и мне она ни словом не намекнула...

— О! Она о своих делах не болтлива... Вообще-то поговорить охотница... в мать! — слабо улыбнулась она. — Ну а свои

секреты бережет и на витрины для обозрения проходящих не выставляет...

— Тоже в мать? — попробовал пошутить я и в тот же миг раскаялся, потому что лицо Виктории Павловны болезненно сжалось...

— Надеюсь, что умнее и счастливее, — с насильственным спокойствием возразила она и продолжала, оправясь: — Да, невеста... и, кажется по очень хорошей и яркой любви... Спокойного буржуазного счастья, которого все родители желают своим детям в браке, ждать трудно, но я — вы, конечно, понимаете — не такая мать, чтобы могла в подобном случае ставить препятствия своей дочери... Всегда все чувства свои считала свободными и не подлежащими контролю третьих лиц. В этом отношении, — выразительно подчеркнула она голосом, — желала бы, чтобы и дочь также жила и думала... Но не без гордости смею сказать: когда у нее это чувство появилось, она первым делом почла мне сообщить... Конечно, не в виде просьбы о разрешении или даже о совете, — улыбнулась она, — где уж! Нет, все это было преподнесено, конечно, уже в виде совершившегося факта, но — просто нашла нужным поделиться своею радостью... Не как с матерью, а как с подругою... Я должна признаться, что очень счастлива своими отношениями с дочерью... Это, если хотите, единственный светлый луч, оставшийся мне в жизни... Если он погаснет, то, право, уж и не знаю...

Голос ее оборвался и глаза сделались испуганными, недоумевающими...

— И *он* здесь... — продолжала она, оправившись. — Удостоили познакомиться... Решительно ничего не нахожу сказать против, за исключением разве того, что с таким мужем рискуешь скоро остаться вдовою... Человек, которого ищут по всей России, и в каждом участке наклеены объявления с его приметам и обещанием награды за его выдачу и ука-

зание места, где он находится... Блистательная в своем роде известность.

Она засмеялась с усилием, сохраняя грусть в глазах и горьком складе губ...

— У вас дома известно об этой предполагаемой свадьбе? — спросил я.

Она отрицательно мотнула своею большою, в густых черных волосах головою, причем я впервые заметил, что на висках у нее поблескивают тонкие сединки...

— Нет, нет, как можно? — сказала она с каким-то презрительным испугом. — Нет... Да и не будет известно. Она, Фенечка, умела поставить себя так, что живет между нами — отрезанным ломтем... Доверенностью ее в семье пользуюсь исключительно я да еще, пожалуй, одна женщина... Моя служанка... Вы ее имели случай видеть... Фенечка мне говорила... Вот, скажу я вам, хороший и преданный мне человек...

— Да, — сказал я, — я обратил на нее внимание. Интересное лицо, с характером...

Должно быть, в голос моем прозвучало скрытое сомнение в достоинствах так лестно рекомендуемой особы, потому что Виктория Павловна, быстро вскинув на меня глаза, со смущением и даже как бы с некоторым испугом спросила:

— Не понравилась?

Я должен был сознаться, что — нет. Нисколько.

— Ну, вы неблагодарны, — возразила Виктория Павловна, — потому что вы, наоборот, произвели на нее превосходное впечатление... И это отчасти по ее настоянию решилась я наконец преодолеть дикую робость мою и пойти к вам.

— Однако! — невольно удивился я. — Вы с нею советуетесь даже о том, с кем вам видаться, с кем не видаться?

— Что же поделать! — воскликнула Виктория Павловна тревожно, как будто извиняясь. — Это очень странно, но я не умею, не могу жить без дружбы с сильным человеком... Ведь вот какая удивительная черта... Всю жизнь прожи-

ла, собственно говоря, безлюбовною... Любовников имела много. Замуж вот вышла. А любви, настоящей любви так вот и не узнала и в могилу без нее, вероятно, сойду... Знаете: сорок лет — бабий век... О романах поздно думать... Да и с искренностью говорю вам: до отвращения ко всему этому дошла, — выговорила она с усилием над собою, стараясь по гордости своей нарочно смотреть прямо мне в лицо, так что я невольно опустил глаза, но — пониженным, упавшим голосом. — А без дружбы никогда не могла жить... И с дружбою только считалась... Искала дружб и влиянию дружб подчинялась... Вот, как помните, мою Арину...

Голос ее слегка дрогнул, и она уставилась на меня пугливыми, вспоминающими глазами.

— Уж как меня удивила Феня, когда сказала, что вы совсем не знаете ужаса, которым ее жизнь кончилась... Ах, как бы мне хотелось рассказать вам все подробно и обстоятельно, выяснить психологию, так сказать... Да что-то я совсем оплошала в последнее время и на речь, и на память, и на желание говорить... Хочется сказать как будто много, а усилие, которое приходится сделать для того, чтобы сказать, убивает и речь, и охоту к ней...

— Эта ваша новая телохранительница с того самого времени у вас появилась? — спросил я.

— Почти... Я познакомилась с нею во время следствия по делу... обеих вызывали как свидетельниц... Она ведь приходится племянницею покойной Арине Федотовне... А тому-то... — Голос ее затрепетал и закачался. — Тому-то несчастному, который Арину зарезал... родная сестра!

— Ого! Однако роман-то сложный!..

— А вы думали, как? — со странною, угрюмою дерзостью почти огрызнулась она. — Жалею, что у меня нет литературного таланта; написать мою Арину Федотовну во всю ее глубину, как я ее знала, — никакому Сологубу не придумать... правда-то и проще, и страшней!

Она помолчала, тревожно думая и нервно вздрагивая плечами, и опять возвратилась к Фенечке:

— Нет, о предстоящем браке Фенечки, если будет, конечно, брак, у нас в доме нету и речи... Венчаться ведь, конечно, не будут: вольный союз... Ну а супруг мой, — принужденно выдавила она из себя слова эти, — не того поколения и не тех убеждений, чтобы это понять и для дочери своей одобрить... Он, знаете, на старости лет ужасным блюстителем нравственности стал, и что больше дряхлеет, то пуще сокрушается о развращении века и падении семейной морали... Ну что же его, больного, тревожить?... Переменить ведь он все равно ничего не в состоянии, а только обострятся преждевременно отношения с дочерью, которые и без того не очень хороши... Она, знаете, мало уважает... ну и... — подавилась она словом. — Конечно, имеет свои причины... не могу же я заставить... У нее всегда найдется, чем закрыть мне рот... А он чувствует и злится... Так что только мы с Василисою иногда шепчемся об этом и по-старушечьи, — улыбнулась она, — придумываем возможности и расчеты будущего... Нет, если бы муж знал, то, вероятно, умер бы от страха... Потому что господин, которого Фенечка себе выбрала, слишком уж нашумел в наших местах... Его именем только что детей не пугают... Вы, вероятно, его знаете — если не лично, то по слухам... В революционных кружках он известен под именем товарища Бабая... Ну вот уже по тому, как вы подняли на меня глаза, я вижу, что этот псевдоним вам очень хорошо известен...^{*)}

— Да, — сказал я с большим любопытством, — я знаком с этим именем... О нем сейчас говорят очень много и интересно...

— А вы лично его знаете? — спросила Виктория Павловна.

^{*)} См. мой роман «Паутина» и повесть «Разбитая армия».

— Видите ли... — отвечал я в некотором затруднении.

Но она меня перебила:

— Нет, я ведь вас спрашиваю не с тем, чтобы врываться в какую-нибудь конспирацию или заставить вас по дружбе совершить нескромность... Я вам прямо говорю: Бабая этого я сразу признала, так как видела его в России... Кто он, мне очень хорошо известно, да, я думаю, и всем отлично известно... Только ведь делают вид, будто это великий секрет... Но раз псевдоним этот здесь принят, так будем его держаться... Я только хочу слышать: знаете ли вы этого Бабая, какое он на вас производит впечатление?

— Да что же? — отвечал я. — Человек, кажется, крепкий...

— Да... — быстро подхватила она. — Вот это настоящее слово... Мне тоже показалось, что крепкий... Из тех, на кого можно положиться...

Она немножко примолкла, омрачившись, будто охваченная темною тучею... Потом тихо сказала:

— Знаете, когда я впервые его увидела, мне сделалось немножко страшно, будто мне призрак почудился... Вы не находите, что он чрезвычайно похож на покойного князя?

Я чуть было не переспросил: «Какого князя?» — но вовремя вспомнил, что речь идет, наверное, о покойном ее поклоннике, князе Белосвинском, который так странно застрелился на охоте...

— Я не нахожу, — сказал я не с особенною, впрочем, решительностью. — Нет, не нахожу... Издали — может быть, потому что оба высокие, тонкие и ярко выраженные блондины... Но князь был мягче лицом и глазами... У него не было этих солдатских челюстей, которые так портят Бабая...

— Да, это, пожалуй, правда... — согласилась Виктория Павловна. — Но первое впечатление удивительно схоже... Да еще Фенечка впервые показала мне его в сумерки... я страшное тогда потрясение испытала...

И, помолчав, с горькою улыбкою прибавила:

— Много панихид я по князю отслужила... Да что-то не помогает... Видно, уж очень виновата перед ним... Вспоминается, и так ярко, что... пожалуй, даже видится... Ах, дорогой мой, не дай Бог этого никому — злейшему врагу своему не пожелаю, — чувствовать и сознавать, что по твоей милости отправился на тот свет ни за что ни про что хороший человек...

— А вы так уверены, что в самом деле было самоубийство? — спросил я, сам-то в том убежденный совершенно твердо и только желая облегчить — может быть, удастся — зернышком сомнения бремя гнетущей уверенности, которая уж слишком заметно была тяжела и колюча для души этой женщины.

Она печально улыбнулась — как на детское возражение.

— Уверена! — воскликнула она. — Да больше, чем все, кто меня за смерть его обвиняет... Все ведь, как я раньше предвидела и ему в шутку предсказывала, все, точно по расписанию, проделал... Чтобы никто не мог подумать, что это самоубийство, чтобы на меня тень подозрения в том не упала... Уж такие ли предосторожности принял, чтобы умереть как можно естественнее... Ну, и, как водится, именно от обилия-то предосторожностей и сделалось каждому ясно, что человек сам покончил счет с собою, в самом деликатном, но хитро обдуманном плане, чтобы с формальной стороны было чисто: кроме случая, никто не виноват... Уж так-то ли сложно умер... Рыцарь! По-княжески!..

И, опустив голову, глухо прибавила:

— Любил очень!.. А все-таки, пожалуй, мало... Потому что не простил... Любил очень, а простить не сумел... Смертью наказал... Харакири — сухую беду мне устроил, бедняк!.. Не пожалела, мол, меня, душу из меня вынула, идеал разбила и осквернила — так вот же тебе! Походи по белому свету, чувствуя себя убийцею, с совестью в крови!.. Не простил...

Возражать на это было нечего. Она говорила то, что я думал.

Примолкли мы оба. Вижу: давят ее воспоминания — и мне остается только ждать, во что они выльются... Но с минуты на минуту она становилась все мрачнее, точно в самом деле гробовая тень обвевала ее своими крыльями... И это нас уже совершенно онемело... Вот тебе и раз!.. Ждали-ждали, желали-желали друг друга, собирались говорить много-много — выпорожнить души до дна, а не сказали ровно ничего... Часов около девяти Виктория Павловна очень искусственно спохватилась, что ее должны ждать дома, и заторопилась уходить... Так как она раньше сообщила мне, что завтра или послезавтра они всею семьею должны покинуть Ниццу, потому что врачи посылают ее мужа в Швейцарию да и для детей находят полезным побывать в горах, то, прощаясь с нею, я уже потерял надежду узнать ее новейшую историю от нее самой более подробно и понятно, чем давали мне возможность те короткие последние признания, которые она мне наскоро пробормотала запинаящимся и смущенным языком и которые так меня ошеломили... Нерешительно и довольно холодно пожали мы друг другу руки, оба понимая, что, собственно говоря, виделись не по что и из свидания оба не извлекли ничего; я не услышал, что хотел знать, она не сказала того, что приходила сказать... Так проводил я ее по коридору и еще раз простился с нею на верху лестницы, с которой она начала медленно спускаться... И с каждой ступенькою, которую проходила она, понурая, черным угрюмым привидением, овладевала мною все большая печаль, все тяжелее ложился свинец на сердце, словно вот я ее заживо хороню и она на глазах моих спускается в землю, в могилу... Прошла уже два марша, и я хотел уйти с площадки, так как на повороте должен был потерять ее из виду, как вдруг она остановилась, повернулась и, сделав мне предостерегающий знак, быстро побежала опять вверх по только что пройденным ступеням...

— Нет, — сказала она, задыхаясь, с лицом в красных пятнах, с глазами, горящими будто красным каким-то светом, — это невозможная бесхарактерность... Нельзя расстаться так глупо... Я потом сошла бы с ума от раскаяния... Ведь, может быть, это наша последняя встреча в жизни и последний случай мне быть откровенною с человеком и на человеческий суд поставить себя...

А затем мы опять очутились у меня в комнате, и Виктория Павловна, сидя предо мною на жестком стуле, ломая руки и разливаясь слезами, заговорила, зашептала и закричала ту удивительную историю, которая будет теперь вот изложена в ближайших главах этого романа.

II

Стояла лютая, поздняя зима умиравшего 1902 года. Лесное село Правослу, что на реке, и заколоченную при ней барскую усадьбу совсем замело вьюгою. Ранний вечер все сровнял — и жилье, и поле, и лес, оделих в мглу, полную крутящегося снега. Сквозь пляску и суету вьюги назло ее вою и морозным иглам полетело от села нечто еще более темное, чем ночь, похожее на средней величины движущийся скирд. Ползучая темная куча эта ругалась и ворчала голосом человеческим и фыркала голосом конским, так как представляла собою нарочного рассыльного, посланного верхом на малорослом одре от ближайшей к Правосле станции с телеграммою. Нарочный долго метался на усталом коне своем вокруг усадьбы, обнесенной забором, какими-то чудесами еще не раскраденным на дрова, пока счастливо не наехал на ворота, в которые он, соскочив с коня, и забарабанил обеими руками, и завопил всею глоткою, стараясь перекричать свист и визг вьюги. Стучал и ревел он более получаса, проклиная крепкий сон рано завалившихся спать или оглохших обитателей, и чуть было уже не решил поворотить на село, чтобы

там у знакомого найти приют до утра, а телеграмму можно будет послать завтра с каким-нибудь мальчишкою. Однако наконец счастливый порыв ветра донес его грохот и крик до флигелька, в котором проживал приказчик, управлявший этим покинутым имением; пожилой человек, известный в округе под именем Ивана Афанасьевича или иногда в отличие от других возможных Иванов Афанасьевичей с прибавлением вместо фамилии, которую все забыли, клички — Красный нос. Иван Афанасьевич в это время собирался ужинать и в приятном ожидании сидел за столом, раскладывая весьма затрепанными и пухло-грязными картами сложный пасьянс — он по этой премудрости был дока и знал их, пасьянсов, великое множество. Стук и зов нарочного заставили его выйти во двор, гоня перед собою собаку, имея в руках заряженное ружье, а позади себя он заставил идти вооруженную тяжелым косарем гигантского роста бабу — стряпку и сожительницу свою Анисью. Собственно говоря, эти меры предосторожности были совершенно излишними: вряд ли кому-либо пришло бы в голову напасть грабежом на полуразрушенную усадьбу, бедность которой давно уже была притчею во языцех по всему уезду. Поживиться в Правосле с тех пор, как отбыли из нее хозяйка ее, Виктория Павловна Бурмыслова, и ее домоправительница Арина Федотовна, увезя с собой последние сколько-нибудь ценные вещи, оставшиеся еще под осунувшимися потолками покосившегося господского дома, — поживиться здесь было нечем. Но год стоял тяжелый, голодный, смутный — народ шалел, был неспокоен и часто сам за себя не отвечал. Преступления вспыхивали странные и неожиданные, которым потом удивлялись сами их совершавшие. Было в них что-то произвольное, как бы инстинктивное. Точно люди вдруг — от чрезмерности терпения — теряли всякое терпение и вместе с терпением всякий разум, всякую целесообразность поступков. Без толку убивали, без толку грабили, без толку попадались. Что-то зрело

в воздухе, свивалось ядовитым клубком и невидимо ходило по деревьям, темное, душное и выжидающее. И это чувствовали все, сколько-либо прикосновенные к какому-нибудь землевладению. И хозяева-помещики, и хозяйственные мужички кулацкого образа и подобия, и управляющие, и приказчики, и сельские власти, словом, все собственники и владельцы и ими приобретенные на службу либо приставленные охранять их люди. Раньше Иван Афанасьевич был в превосходнейших отношениях со всем крестьянством и в Правосле, и во всей округе. Человек пришлый и бродячий, он появился в здешних местах лет пятнадцать тому назад — профершпилившимся^{*} и ошельмованным по суду барином, который как-то сразу пришелся ко двору во всех классах местного населения. По усадьбам помещиков — приживальщиком и потешником, у попов и деревенских тузов — приятелем, по крестьянству — запанибрата. Кому кум, кому сват, с кем собутыльник, большой любимец женского пола и еще больший его любитель. Чудесно играя на гитаре и не чуждаясь никакого общества, он приобрел большую популярность в уезде, и без него редкий праздник обходился, как без желанного и любимого гостя. Даже буйная и бурная новая деревенская молодежь, которую в то время называли еще просто «парнями», а не ругали «хулиганами», проклиная за бесшабашность и удаль свою всем окрестным жителям старше тридцати лет, даже и она ладила с Иваном Афанасьевичем, хотя сам-то он каждому в молодежи этой годился в отцы, даже поглядывал и в деды. Ибо — выпить ли, закусить ли, с девушками ли поиграть, на удалецкую ли какую штуку компанию настроить, похабную ли песню спеть, анекдот ли рассказать, от которого уши вянут, показать ли неприличные карточки, представить ли, как в городских господских кабаках танцуют канкан, — на это было никого не найти

* Те проигравшись (от нем. *verspielen*).

лучше Ивана Афанасьевича. И, однако, даже этот человек, дважды защищенный — и репутацией своей нищеты, и благосклонностью окружающей среды, даже и он последнее время стал чего-то побаиваться и при всех своих скудных доходах не поскупился купить ружье и завести большую собаку, ужасно много жравшую и жестоко объедавшую его более чем скромное хозяйство. Да и Анисью-то Иван Афанасьевич привязал к себе узами любви не столько потому, чтобы эта исполин баба уж очень ему нравилась, сколько по совершенно справедливому расчету, что в случае надобности богатырь Анисья за двух мужиков ответит и, чтобы справиться с таким лешим женского пола, надо привести немалую шайку.

«Еще хорошо, — думал Иван Афанасьевич, — что сторона наша лесная и за дровами никто не гонится. Без того давным бы давно от усадьбы нашей щепочки не осталось бы, всю растаскали бы по печам...»

Очень наблюдательный и чуткий, потому что привыкший за много лет к нравам и настроениям своей округи, Иван Афанасьевич замечал назревание неладного. На нем это сказывалось меньше, чем на ком-нибудь другом из его звания и положения. Однако как-то и сам вспомнил, и о нем вспомнили в последнее время, что он не свой брат-простолюдин, а, хоть и принизила его судьба в невольное опрощение и бедноту, все-таки по происхождению он барин и когда-то был богат, самостоятелен, служил и — худ ли, хорош ли, — значит, принадлежит к образованному и властному классу... И, как только вспомнили крестьяне его захудалое и давно забытое дворянство, так сейчас же начали его сторониться и сторожиться... А он, в свою очередь, тоже невольно начал держаться ближе к батюшке и становому, вместо «наши правослинные» стал говорить «они» и — вот подумал-подумал да и завел ружье, собаку и Анисью.

Долгою переключкою через забор сквозь вой и визг ветра личность нарочного была несомненно установлена, и полу-

замерзший горемыка был впущен сперва в темный двор, где собака чуть его не разорвала, несмотря на присутствие хозяина, который уж едва-едва отбил ее прикладом, а потом и во флигель... В привезенной окоченелым мужиком телеграмме Иван Афанасьевич нашел короткий приказ от владелицы имения, Виктории Павловны Бурмысловой: по получении телеграммы выехать в губернский город Рюриков, где она сейчас находится и ждет его к себе по важному делу завтра, не позже двенадцати часов дня, а потому велит не откладывать ни минуты и торопиться...

Телеграмма эта взволновала и испугала Ивана Афанасьевича... Известия и распоряжения от Бурмысловой он получал не то что очень редко, а можно сказать — почти никогда не получал и потому очень их боялся, как боится всякой неожиданности человек, не уверенный в месте, на котором он находится, и чувствующий, что сохранением этого места он обязан скорее добродушию хозяйки, чем собственным заслугам и достоинствам...

— Ужли от барышни? — зевая и почесывая плечами о стену, спросила его громадная Анисья.

Иван Афанасьевич молча, со значительным видом кивнул головою, потом перечитал телеграмму с начала до конца и тогда сказал:

— Да... Вот... в городе находится... Требуется немедленно к себе...

Его испуг и смущение передались и Анисье.

— Зачем бы? — спросила она.

Иван Афанасьевич только плечами пожал.

— Да я-то откуда же могу знать? — огрызнулся он с неудовольствием.

— То-то вот, кабы знатье... — добродушно возражала Анисья. — Кабы знатье, стало быть, к добру или худу...

— Ты на пальцах погадай, — буркнул Иван Афанасьевич, вчитываясь в каждое слово телеграммы и оценивая каждую

букву с таким усердием, что даже лысина его задымилась испариною и нос разгорелся, как зардевшаяся головешка.

Анисья приняла его иронический совет как серьезное приказание, зажмурилась, свела пальцы — не сошлись.

— К худу, — сказала она равнодушно, качая головою. — Как есть, к худу. Должно быть, Афанасьевич, крышка приходит тебе.

— Ври больше! Крышка! — хмыкнул Иван Афанасьевич в усы, испытывая глазами телеграмму.

— И очень просто, — возразила Анисья с тем же несокрушимым спокойствием, заставляя стену вздрагивать мерным трением могучих своих лопаток, — то есть чего проще быть не может... Надоело, видать, барышне кормить тебя, дармоеда...

— Сама больно рабочая!

— Не иначе, что зовет тебя, чтобы рассчитать; нажаловался, видно, на тебя кто-нибудь из недругов твоих... О-хо-хо! Жалко мне тебя, Афанасьевич: скверное выходит твое дело — придется тебе среди зимы идти на мороз...

— Чего каркаешь, а? Ну скажи пожалуйста, чего ты раскаркалась, как ворона? — обозлился и струсил Иван Афанасьевич, бледнея в лице, так что один нос продолжал светиться заревом. — На мороз... скажет тоже!.. Зажале-ла!.. На мороз... Себя жалеи! Коли на мороз, то не один пойду... с тобою вместе!

— Вона! — равнодушно ответила Анисья. — А мне-то что? С какой такой кстати? Врущий ты, врущий и есть! Я, брат, барышнина хлеба даром не ем, сама в себе вольный человек и сама на себя, стало быть, потрафляю... Думаешь: счастье великое мне здесь с тобою, филином, в совах-то вдвоем сидеть да волков под забором слушать? Так уж только — жалеючи, потому что характер мой чрезвычайно какой добрый... А то — собрала узел да и на село... Слава те Господи, не чужая в Правосле, своих дворов уроженка, родни полно село... Мне, брат, когда

захочу, все ворота настежь, потому я человек рабочий, надобный...

— Распелась! — с досадою оборвал ее Иван Афанасьевич. Но она, зевая, договорила:

— Но только никогда я не надеюсь этого, чтобы барышня меня отпустила... Разве что имение продаст и сама лишится родового своего угла... А то — вряд ли, никак не ожидаю этого от нее... Потому что она мне — скажем — разве госпожа? Друг! Лучше сестры родной!.. Я, брат, за барышню в огонь и воду... И это ей довольно известно, насколько я преданная...

Она всхлипнула и подняла передник к глазам.

— Последний-то год, как зимовала она здесь, помнишь? Я ей не то что слуга, а можно сказать — даже заместо печи была... Морозы когда стукнули — дом дырявый, в комнатах по ночам вода мерзла... Бывало, спальню-то самоварами греешь-греешь... нет, хоть ты что!.. Только тем и спасались, бывало, что стелились вместе — барышня, Арина Федотовна, покойница, да я, — все трое под один тулуп... Нешто барышня позабудет это, как мы вместе бедовали? Ни в жизнь. Не такой человек... Никогда я от барышни этого не жду, чтобы она меня, бабу, обидела...

— И меня ей обижать не за что, — проворчал Иван Афанасьевич. — А что — если кто ей наговорил на меня, так это пустое дело, взять с меня нечего, мои отчеты всегда готовы...

Анисья сейчас же передалась на его сторону, опустила передник от высохших глаз и, смигивая последние дешевые слезы, оглушительно захохотала:

— Ох, уж ты! Уморить хочешь. Скажет тоже: отчеты... В чем отчитываться-то?.. Врущий ты, врущий и есть... Живем на дыре, стережем пустое место... Тут поневоле честен будешь... Ваньку Каина посади на это место, так и тот не найдет, что украсть.

— А если так, то чего же ты меня пугаешь? — вскинулся Иван Афанасьевич. — Жалованье тебе, что ли, домовой платит, чтобы наводить на меня ужас и печальный дух?

На это фантастическое предположение Анисья не ответила, потому что уже опять мечтательно чесалась о стену и жмурилась от удовольствия, гудя певучим голосом:

— Ах, и повидала бы я ее, любезную барышню мою, ах, уж и посмотрела бы, какая она теперь, красавица наша, стала... И откуда только взялась? Скоро два года, как ни слуха ни духа от нее не было...

— Два?! Третий к концу идет... четвертый не пошел ли? — поправил озабоченный Иван Афанасьевич. — Она от нас отъехала после похорон, когда старая барыня, тетенька, скончалась, а теперь скоро уже два года будет, как Арину убили...

— Не к ночи будь сказано! — зевнула Анисья. — Эка, в самом деле, время-то бежит...

— А ты думала, стоять будет? Нет, извини: не моложе становимся, а старше...

— Ты, однако, как полагаешь: сама-то барышня пожалует в наши места или нет?

— А кто ж ее знает?.. Она шалая, от нее станется... Однако думаю, что нет... Потому что — если бы собиралась сюда, то зачем бы ей меня вызывать в Рюриков?.. Ну, и опять не вовсе же она без памяти: знает, в каком состоянии находится дом... Ни одной комнаты нет, в которой сейчас жить можно было бы... Только вот во флигелишке этом и держится еще кое-какое тепло...

— Только уж ты, Афанасьевич, если она думает к нам быть, не отговаривай! — жалобно пропела Анисья. — Смерть хочется ее, голубушку нашу, повидать.

— Ну да как же! Для твоего удовольствия заморозить ее прикажешь либо тифом наградить...

— Ты когда же думаешь ехать-то?

— Да мешкать нечего... — с большим неудовольствием пробормотал Иван Афанасьевич, снова перечитывая телеграмму. — Требуется властно... Вот — мужичонка отгадет малость, так вместе пошагаем на село...

— Лошадь наймешь?

— Нет, вот так на станцию за семь верст по сугробам, через выюгу, пешком пойду!.. — вышел из себя Иван Афанасьевич, что на Анисью не произвело, однако, никакого впечатления, ибо она лишь возразила с невозмутимым хладнокровием:

— Трудно! Навряд кто повезет. Пора поздняя. И, чай, на селе все давно спать полегли... И не достучишься...

— Ничего, попытаю счастья у Лаптева... Как-никак, а поспевать надо... Виктория Павловна требует редко, но — уж если требует, то — подавай, не зевай...

Часа полтора спустя, крепко ругаясь, ковыляя по снегу, проваливаясь в сугробы и оступаясь с дороги, Иван Афанасьевич плелся вслед за посыльным на его коньке, придерживаясь то за кострец, то за репицу, на село, совершенно заплыванное мятелью, которая от перемены ветра вдруг стала из сухой и колючей мокрой и липкою. Здесь ему повезло счастье. У Лаптева, знакомого мужика, промышлявшего зимним извозом, он нашел не только готовую, но даже запряженную пару, которую Лаптев обрядил было для господ из ближнего, за четыре версты, села Тинькова, да они испугались погоды и прислали нарочного — сказать, что не поедут. И вот Иван Афанасьевич потрепался на бодрях конях по недурно разъезженному проселку, просекою, между деревьями, похожими на привидения, сквозь темную ночь, начавшую, как только смягкла и улеглась выюга, проступать яркими изумрудными звездами. Станция отстояла от Правослы верстах в семи... По ухабам и заносам ехать было трудно... Отшибло поясницу, наколотило затылок о задок кибитки... Тем не менее Иван Афанасьевич приехал задолго до поезда... Станция была —

третьего разряда, курьерские и скорые поезда на ней не останавливались... Поэтому ночной пассажирский поезд собирал народа видимо-невидимо... Зал третьего класса — тесный, душный, вонючий, с тускло мерцающими от удушья лампадами в углу, перед образом святителей Зосимы и Савватия — был переполнен... Краснолицые и зеленолицые от усталости и дурного воздуха, мужчины в шапках и женщины в пестрых платках толпились тесно, качающуюся массой заполняя маленькую комнату, чуть не плечо к плечу, сидя на скамьях, лежа на полу, стоя во всех углах, только что друг на друга не влезая... Крик и шум гудели невообразимые, точно с грохотом, не переставая, сыпались с горы тяжелые камни... Иван Афанасьевич, проехавший весь путь, почти его не заметив от тревожных своих дум, даже сразу очумел было от этого гвалта. Отряхивая плохую свою шубенку оливкового цвета, смахивая мокрый снег, нападавший с деревьев на лысую коричневую шапчонку, снимая с усов и бороды ледяные сосульки, он протолкался прямо к буфетной стойке...

Буфетчица — пожилая толстая женщина, желтолицая и одутловатая от привычки к бессонным ночам, небольшого роста и очень степенная и вместе очень грешного вида, надо думать, копые-баба, прожившая свои молодые годы не без пестрых приключений и каких-каких только видов не видавшая на белом свете — встретила нового прибывшего, как старого знакомого и привычного гостя, но нельзя сказать, чтобы с большим почтением. В колючих глазах ее, на терновые ягодки похожих, сразу написались цифры, которые уже должен ей этот подходящий человек. Эти же грозные цифры отразились в смущенно согбенной фигуре Ивана Афанасьевича, в заискивающем выражении виноватых его глазок, проворно заморгавших редкими ресницами на красных веках, в дробном смешке и в усиленном потирании рук, во всей позе и во всем движении, покуда он приближался, хихикая и жалуясь на бесовскую погоду, совершенно его заморозившую,

и на волков, которых и помину не было в дрянном, полувырубленном, так что насквозь видать было, лешишке между Правослою и станцией, но которые тем не менее будто бы едва его, Ивана Афанасьевича, вместе с ямщиком и с лошадьми не съели... Если по платью встречать, то уважать и почитать нового своего гостя степенная буфетчица действительно не имела никакого основания: яркий электрический свет, наполнявший станцию, как-то особенно обидно выдавал, насколько Иван Афанасьевич человек потертый. Лысая шапочка в незапамятные времена — возможно, что бывшая поддельною котиковою, и плешивая, зеленоватого сукна, лянлая шубенка на крашенных зайцах, которые тщетно усиливались притвориться волками, и с воротником «американского зверя», который только что не лаял на плечах хозяина своего, необычайно складно, необходимо, можно сказать, гармонировали с самим Иваном Афанасьевичем в бесконечной поношенности его красноносого лица в темно-рыжих, с сильною проседью усах и бороденке, которую он стриг довольно франтовским клинышком, в блудливой растерянности бегающих зеленоватых глазок, в походке, обличавшей слабые ноги, гнущиеся в коленях, расшатанных алкоголем и распутством... Телеграмма, показанная им, несколько смягчила суровый взгляд желтолицей буфетчицы. Она сообразила: барышня в городе, вызывает к себе приказчика, стало быть, авось привезла какие-нибудь деньги и наконец сколько-нибудь из денег этих перепадет и ей, буфетчице, в уплату за зимний забор правосленских усадебных прощелыг, по которому давно уже не поступало ни единой копейки...

— Ишь ты... как спешно... — удостоила заметить она. — Не знаете, зачем понадобились?

Иван Афанасьевич не знал. И как подумал о том, что не знает, то в глазах его опять выразился невольный страх за свою судьбу, что буфетчица, как опытный психолог, сразу угадала...

— Душонка-то, видно, как овечий хвост, дрожит? — ухмыльнулась она, прищуривая лукавый левый глаз и наливая Ивану Афанасьевичу рюмку водки.

Он отвечал ей жалкою улыбкою, в которой смешивались и трусость и хвастовство человека, потерявшего почву под ногами, но не желающего в том удостовериться... пропасть, мол, так пропасть! Летать так летать!

— Ох, должно быть, уж и много же грехов против госпожи накопили вы, Афанасьевич, — продолжала дразнить его буфетчица...

Он, проглотив рюмку водки, сунул ее по стойке неопределенным жестом, выражавшим одновременно и просьбу налить другую, и — буде буфетчица найдет, что жирно будет, — готовность сделать вид, будто и не думал просить...

— Да что же, Ликонида Тимофеевна, — выговорил он козлиным вежливым голосом, усиливаясь быть веселым. — Как без греха проживешь? Я и не отрекаюсь. Живой человек, пить-есть надо, жалованья не получаю, за квартиру живу, питайся тоже — чем хочешь, как птица небесная, что промыслил из усадьбы, тем и сыт... В подобных условиях жизни с нашего брата безгрешной жизни спрашивать нельзя...

— Так и барышне ответишь? — насмешливо спросила, переходя с холодного «вы» на сердечное «ты», буфетчица, удостоила заметить подsunутую рюмку и благосклонно ее наполнила.

Иван Афанасьевич хихикнул.

— Так и барышне ответчу... Что же, я не боюсь... Виктория Павловна — человек справедливый... Она может рассудить... Вот ежели бы покойная ведьма жива была...

— Ну, брат, ежели бы покойная ведьма была жива, так ты управления и не понюхал бы, — выразительно произнесла буфетчица, зевая, и налила ему третью рюмку, с предупреждением: — А больше не проси... уж и так что-то я больно расщедрилась... Страница целая у меня за тобою в книге

мелким-намелко исписана... Муж-то, когда в субботу берет книгу проверять, так уж ругает меня, ругает. «Что ты, — говорит, — старая дура, прекрасными глазами его пленена, что ли? Какой он гость? За что про что ему, ледащему, подобный кредит? Вот как пропадут твои денежки, так будешь знать, глупое твое бабье сердце, как ихнего брата жалеть да прикармливать...»

— Ликонида Тимофеевна, когда же за нами пропадало, — пискнул Иван Афанасьевич каким-то даже мышинным будто голоском.

— Да — ежели и не пропадет, то все-таки товара расход, а деньги в оборот не поступают... — учительно заметила буфетчица. — Не платишь годами, а проценты-то ведь на тебя не насчитаешь: у меня не вольный торг, такция положена и начальством в Петербурге через правление утверждена... Лишнего за подождание с тебя не возьмешь... Ну, да авось Бог милостив, не в последний раз видимся и еще сочтемся... А насчет того, что барышня тебя вызывает, так, может быть, ты еще и напрасно робеешь...

— Да я нисколько не робею, — взъершился было Иван Афанасьевич.

Буфетчица отрицательно качнула головою и сделала ему глазами такой решительный знак, что Иван Афанасьевич сразу перестал возражать и свял, как тот цветок, что, голову склонив на стебелек, уныло ждал своей кончины.

— Робеешь, это ты мне не говори... Это я вижу: совсем ты всякого мужества решил... А я тебе говорю: погоди... Не для того ж она невесть откуда прискакала, чтобы в самом деле учитывать тебя в хоромах своих... есть чего! Я того мнения, не имение ли она продать приехала?

Иван Афанасьевич поднял палец вверх.

— О!.. — Приложил к красному носу своему и задумался, пораженный новою идеею. Предположения этого он не считал невозможным.

— Давно бы, собственно говоря, пора ей, — сказала буфетчица. — Что, в самом деле? Одна маета. Еще кабы жила здесь, в прекрасных палестинах-то наших. А то все равно — скитается без вести, где день, где ночь. А здесь только рухлядь стоит, гнильем гниет да в щепу разваливается... На что похоже? Ехала я намедни мимо — диву далась... Как еще вы живы? Костер, суший костер стоит... Только спички ждет... Вот как-нибудь ребятишки побалуются огнем у забора, только вы и видели хоромы ваши прелестные...

— Чего уж там ребятишки, Ликонида Тимофеевна! — льстиво и в тон подхватил Иван Афанасьевич козлиным хохочущим голоском. — Чего ребятишки... Сами боимся, не спалить бы... В дому, верите ли, с осени не смеем печи топить; все развалились... огонь сквозь изразцы так и пышет... Прошлую зиму еще пробовали топить — так Анисья у печи до последнего огня с ведром стояла... Потому что — не угляди, так кругом и займется полымем... Ну а постройка, вы знаете, какая обветшала... Ведь этакое трухлю загорится, так и сами не выскочим, да мало того, и село по ветру пустим... Теперь только и топлю, что у себя во флигельке, — знаете ту спальню, где покойница, тетушка барышнина, померла, ну и кухню при ней... для себя и Анисьи... А остальное — без внимания — не натопишься, пусть промерзает... Намедни вошел в дом: холоднее, чем на улице, право! Углы промерзли, по стенам иней, а в столовой, в углу, через щели сугроб намоло... Честное слово благородного человека! Что из всего этого по весне будет, так Господи упаси и помилуй, а я и думать не смею... Хорошо, коли сползет оползнем, — а вдруг разом ухнет? Батюшки!.. Совсем конец пришел... Капут кранкен... ферлорен ди ганце* постройка!

— Беспременно госпоже Бурмысловой свою хибарку надо продать, — поддержала буфетчица. — Ты бы ей советовал...

* Смертельно больна, потеряна вся (нем.).

И чего только держится она за мусор этот?.. И почище ее кругом господа жили, да и те почти все уже с обузами своими усадебными разделались... Да и поторапливать бы, — сразу понизив голос, сказала она. — Обузы много, а прока нет... Пожалуй, если времена-то пойдут все таким же путем да шагом, как сейчас, то — через год-другой и не продать уже... Не найти дурака в покупатели-то... Потому что времена наступают сомнительные, жуткие, а мужички у нас — сам знаешь, каков народец: новгородчина, вольница... Пойдет шепот да ропот, подует с Питера фабричным ветром, — так, того гляди, без всякой платы отберут... Народ-то шумит... Станция — место бойкое. Мы слышим... — шепнула она, подмигивая Ивану Афанасьевичу смышленными глазами. — Ты, Иван Афанасьевич, ежели она окажется в подобных мыслях — уж я на тебя надеюсь по дружбе, — не оставь меня без весточки. Ты не бойся: цену мы с мужем дадим не хуже других, потому что имение довольно нам известное... Запущено ныне, грош ему цена, конечно, что с того начать придется, чтобы всю постройку снести... Да мы на том не стоим, а есть наше такое желание, чтобы устроить для себя угол на предмет будущей старости лет... А тебя тоже постараемся убагатворить за комиссию как следует... Уж ты верь, обижен не будешь... Не первый год друг друга знаем... Ты — нам, а мы — тебе: чтобы, знаешь, по-приятельскому, по-соседскому, чтобы рука руку мыла и обе чисты были...

Иван Афанасьевич, выслушав это предложение, мгновенно учел его как возможность получить еще несколько рюмок водки — притом теперь уже даровых — и приосанился... Прежде всего он наврал буфетчице, что, пожалуй, она права в своих ожиданиях; по всей вероятности, барышня действительно вызывает его именно затем, что продает Правослу, так как теперь он вспомнил, что месяц тому назад он имел от барышни письмо, в котором Виктория Павловна писала, что ей уже надоело возиться с Правослою и — вместо того

чтобы иметь с нее доход, тратить на нее свои же заработанные деньги... Наобещав буфетчице, что в случае желания Виктории Павловны непременно продать Правослу он всецело будет на ее стороне и употребит все усилия для того, чтобы имение не минуло ее рук, Иван Афанасьевич очень мило провел время на станции до прихода поезда, который должен был унести его за сорок семь верст, в Рюриков — навстречу неизвестному еще поручению...

В душном вагонном тепле Иван Афанасьевич как-то сразу успокоился, и отошел от него терзавший его страх. Водка, выпитая им на полустанке, начала приятно его греть и навела привычные веселые мысли. Из угла своего, прижатый к стенке дюжим попом в меховой рясе, а насупротив имея долговязого студента, которого острые колени толкались в его колени, Иван Афанасьевич, как хорек из норки, поглядывал по вагону, оценивая едущих женщин глазами и опытом старого потаскуна и волокиты и думая, что, если бы переезд до губернского города был дольше да не так бы полон был вагон народом, непременно бы он которую-нибудь и «подманул». Дело знакомое, бывалое: только пошептать с кондуктором и войти в компанию с бригадой... бутылка водки, дюжина пива... сейчас предоставят служебное отделение либо откроют во втором классе купе: блаженствуй!.. Вон ту бы белокуренькую девчонку, что заплетает на ночь жиденскую косичку свою, держа голубую ленточку в зубах: подросток еще, не сложилась, тощий цыпленок порционный, а уже видать, что не невинная, — ишь глаза-то какую синевой окружила!.. Либо вон ту кривую толстуху в голубой кофте с зелеными линиялыми пятнами по бокам: надо думать, чья-нибудь господская няня или экономка... в доме этакie строгие — не подойди к ней, солидность свою соблюдают и младшим пример дают.. а вот этак, в дороге, нет их охотнее на амур со случайным проезжим человеком, чтобы, значит, здравствуй и прощай, моя твою не видала, а и увидала — не

признала... Весноватая сборщица на монастырь с книжкой... Купеческая вдовица либо мешанка из зажиточных, с утиным носиком, вся в черном — из тех, что мыкают свое вдовье горе по мужским обителям... А уж всех доступнее вон та, черная с пером шляпа, как воронье гнездо над желтым личиком, с дерзкими бесцветными глазами... сразу видать, что за птица! Была на побывке в родной деревне, а теперь опять в Питер едет хвост трепать по панели... С этою и кондуктора угощать не надо, только вызвать на тормоз — рубль посулил, а после обманул, — небось скандала в поезде поднять не посмеет...

И Иван Афанасьевич не утерпел, подмигнул пышнопестрой девице. Но проститутка беглым профессиональным взглядом скользнула по его облезлой шапчонке и потертой шубейке бутылочного цвета и отвернулась к окну, не удостоив заигрывающего претендента даже презрением... Это оскорбило Ивана Афанасьевича, он тоже отвернулся к своему окну и с внезапною сердитою слезливостью замигал воспаленными глазами в ночную темноту, океаном струившуюся навстречу поезду мимо густо-потного, дребезжащего в сотрясении гроыхающей оконницы стекла... И думалось ему о том, что вот он стар, нищ, оборван, унижен, противен — и даже какая-нибудь проститутка жалкая, жмущаяся, подобно ему самому, в уголке вагона третьего класса и, наверное, едущая даром, на заячьем положении, милостями бригады — известно чем купленными, — и та от него отворачивается, брезгует им, и для нее он уже не мужчина...

— Дрянь!.. Очень ты мне нужна!.. Как же!.. Не видал я таких!.. У меня, может быть, бывали женщины, которых князьям и графам не видать...

И торжествующие, злорадно и весело замелькавшие воспоминания прошедшей молодости, удачливой, богатой, проказливой, пьяной и блудливой, съели огорченный гнев...

Да что молодость, усмехался он про себя, тогда — диво ли? Я в гору шел, богат был, собою недурен, в обществе вращался — известно, жених для хороших невест, для барышень милый любовник... Что молодость! Давний сон... Иной раз подумаешь — сдается, может быть, и не было вовсе... Может быть, сразу так и жизнь-то: нищим, с запачканным формуляром, в скитании по чужим людям, которые кое-как, с грехом пополам кормят хлебом, поят водкою, дарят обносками, суют в руку мелкие подачки и дают упавшему человеку какой-нибудь кров над головою и всем тем покупают его и в шуты, и в лакеи, и в сводники... Сколько лет тянется подобная жизнь? Да уж близко к тому, чтобы перегнуть на третий десяток... Довольно времени, и было отчего поколеть. А он — вот, хоть пощупай, жив и бодрого духа не теряет! А что помогло ему выдержать, что скрашивало ему это его собачье житье? Женщины! Без них — лопнул бы в каторге этой приживальщицкой на первый же год, как осенила его судьба разорением и позором и выкинула за круг порядочных людей без надежды на возвращение. Без женщин, заступниц и баловниц, давно босячил бы, а того вернее, окошел бы где-нибудь под забором... А с ними...

И сердце в Иване Афанасьевиче радостно и самодовольно усмехнулось:

«Брось ты меня на остров необитаемый, к эфиопам каким-нибудь людоедным — я и там не погибну, потому что уж найдется же такая черномазая Аида, которая меня пожалеет и не оставит без ласки... не даст пропасть червем капустным... Вон как теперь Анисья, облом трехполенный... Она работает, а я с того живу... А — по существу рассуждая — что мне еще нужно? Ничего такого, в чем бы я не мог обойтись самою малостью. Жил в палатах — живу в мурье, ел фрикасеи с бламанжеями — тарань лопаю, и доволен, пил шампанское и ликеры дорогие — теперь на двадцатку водки променяю ведро хоть самого что ни есть

«Либфрауенмилху»* и не почувствую себя в убытке, ходил во фраках и визитках от лучших портных, а ныне — в такой капот облачен, что можно сказать: просто страм-пальто!.. Даже вон уличная тварь поглядела и рванью коричневою меня поняла, закобенилась. И сделайте ваше одолжение, и не надо... Ха-ха-ха!.. Ваше при вас и останется, а — что было наше, так этого уже от нас не отнять; прошлое уничтожить — дудки-с! — сам Господь Бог не в состоянии.

И еще картина встала пред ним — самая значительная и яркая, самая важная и тайная во всей его жизни... Тринадцать лет назад... Знойный лесной полдень... Стоит под вековым дубом на глухой поляне, от которой ближе двух верст — ни жилья человеческого, она — нынешняя Ивана Афанасьевича хозяйка, Виктория Павловна Бурмыслова, которой теперь он паче огня боится и которой загадочная повелительная телеграмма, лежащая в его бумажнике, заставляет его сердце стонать от испуга и виться, точно бересту в печи... Десять лет ей тогда было, царь-девице, красавице из красавиц, умнице-разумнице, своевольнице, гордячке... И кто только за нею не ухаживал! Каких красавцев, богатырей и умников она у ног своих не видала. Князь Белосвинский, из первых вельмож, миллионер, имение — герцогство целое, сватался-сватался, а она ему — все отказ да отказ... так он, любви-то не могши преодолеть, и остался на весь век неженатым, гуляет где-то за границею в холостом состоянии, и — не дай Бог помрет, тысячелетний род его прекратится... Ну, Ивану ли Афанасьевичу было зариться на такую царственную паву?.. Да и не терпела она его, в глаза обзывала — из мифологии — сатиром блудливым... А он — из всех мужчин, которые вокруг нее толпились, молясь на нее, как на свое божество, — один проник в ее истинную натуру и решил попробовать своего счастья... И в душный

* «Молоко любимой женщины» (нем.); вино.

лесной полдень на глухой поляне под вековым дубом умел такие слова сказать гордой красавице, такую страстную чарою помутить в ней разум, такую властною мужскою ласкою ее обойти, что — сама не своя, — как овечка, стала в руках его строптивая львица, божество живое, послушною рабою пошла за ним в глубь лесную и там, на дне оврага Синдеевского, предала ему свою девичью красу... И потом, что еще лета оставалось, была она его любовницей — тайною, жадною и пламенной, покуда не пришла осень и не увезла красавицу в Петербург... И все кончилось... Как нитка оборвалась!

Жмурится Иван Афанасьевич, и плывет перед ним прекрасно-смуглое тело в солнечных сквозь листья кружках, будто из слоновой кости выточенное, сверкают глаза-брильянты, сверкают зубы-перлы в кораллах-устах.

А теперь панельная дрянь нос воротит... Что? Молодость? Черта ли! Мне тогда под сорок подкатывало, и волос седой в бороде и на висках просвечивал, и лысина хоть и невеликая еще, а уже обозначалась, и рубины эти вот на носу хоть не горели жаром, а уже поблескивали... И нищий я был такой же... И перед ее же поклонниками должен был дурака ломать... по целым ночам заставляли на гитаре играть ради хлеба насущного... при ней же и плясал, и через голову кувырчался, чтобы изверга Ореста Полуриябова или Федьку Наровича тешить!.. Да! Хи-хи-хи! Кому посмеешься, тому и поработаешь. Они по ней умирали, а она мне досталась... Что? Молодость? Нет, это не от молодости, а от счастья... Счастье мое, значит, было тогда со мною... а потом вот отвернулось счастье — и пошли мои бедушки да полубедушки...

С лишком четыре года не видал Виктории Павловны Иван Афанасьевич после того счастливого лета: она жила то в Петербурге, то в Москве, то в больших провинциальных городах и за границу, трудом зарабатывая на жизнь, а без-

доходным и обремененным долгами именишкой ее правила с неограниченными полномочиями бывшая нянька ее Арина Федотовна, по кличке Молочница, которую кличку вышедший в люди сын Аринин, Ванечка, превратил в фамилию Молочницын... Впрочем, теперь уже и Молочницын исчез из природы. Викториним зовет себя. Намедни батюшка вычитал в газете «Свет», что был в Петербурге, в театре «Буфф», бенефис любимца публики, молодого простака Викторина, театр был полон, бенефициант получил дорогие подарки и смешил публику до упаду!.. Да-с! Не Молочницын Ванечка теперь, а Викторин... в честь Виктории Павловны выбрал имя себе... В гору идет! Большие капиталы загребать скоро будет.

А Ивана Афанасьевича те четыре года привели в большой упадок. После Виктории Павловны угораздила его легкая связаться с лавочницей из недалекого села Пурникова бабою озорною и пьющею, и закрутили они любовь такую веселую и бесшабашную, что — вернулся лавочник из Москвы, где должен был проживать по процессу, ан, в лавке ни товару, ни выручки, жена беременная и с круга спилась... Еле успел скрыться Иван Афанасьевич от ярости оскорбленного мужа. Лавочница от побоев выкинула и в три дня померла, а лавочник — суда ли испугался, затосковал ли от совести-мучительницы, — похоронив жену, в тот же вечер удавился... Драма эта имела то последствие, что Ивана Афанасьевича перестали пускать во многие дома, милостями которых он жил и кормился, и, опускаясь со ступеньки на ступеньку, дошел он до такой бедственной нищеты, что осенью 1896 года предвидел — наступающую зиму остаться буквально без крова... В этом отчаянном положении решился он прибегнуть к Виктории Павловне, которую ранее он, к счастью своему, никогда никакими материальными просьбами не беспокоил. Добыл ее адрес и написал ей прежалкое и препочтительное письмо, в котором имел такт ни словом, ни полсло-

вом не намекнуть на то, что когда-то между ними было, а только как человек, которому буквально некуда деваться, умолял ее разрешить ему поселиться в Правосле до приискания какого-нибудь места:

Лишь до вешних только дней
Прокорми и обогрей!

Со своей стороны, в виде ответа на благодеяния предлагал приставить его как человека грамотного и привыкшего к счетам в помощь Арине Федотовне по управлению имением.

Долго путешествовало письмо Ивана Афанасьевича в погоне за Викторией Павловной, которая в тот сезон, актерствуя в кочующей труппе крупного петербургского гастролера, быстро переезжала из города в город... Иван Афанасьевич готов был уже отчаяться, как вдруг откуда-то из-за тридевяти земель, не то из Благовещенска, не то из Хабаровска не он, но Арина Федотовна получила распоряжение — устроить Ивана Афанасьевича в Правосле, поскольку то возможно без риска голодать самим... Арина Федотовна развела толстыми руками, хлопнула себя по жирным бедрам, обругалась крепко, но повиновалась... Иван Афанасьевич был водворен в одном из полуразрушенных флигельков усадьбы с тем, чтобы сам его ухитил... Для этого он ровно ничего не сделал, а помещением и положением своим остался предоволен. Никаких новых мест он не искал и не желал и год за годом жил себе, беспечный и ленивый, под осунувшимися досками закопченного потолка, который давно должен был бы упасть, однако почему-то не падал, с печкою, которой уже лет пять пора было обвалиться, однако она почему-то не валилась. И, хотя дымила, когда ее зимою топили, чуть ли не во все пазы изразцов своих и на всех предметах во флигельке лежала, точно в черной избе, лоснящаяся копоть, однако Иван Афанасьевич ухитрялся в жилище своем даже не угорать... Так он

существовал — что-то ел и пил — откуда-то всегда имел водку и папиросы, — благодушествовал и решительно ничего не делал, за исключением игры на гитаре, в которой упражнялся с утра до вечера, достигая совершенной виртуозности...

Бытие свое он почел бы безусловно счастливым, если бы находил в Правосле хоть малое удовлетворение господствующей страсти своей — неукротимому женолобию. Но Арина Федотовна блюла за ним в этом отношении с какою-то будто ревнивою даже злобою. И — душеньек и милушек у Ивана Афанасьевича по окрестным селениям наклевывалось премного, но — стоило какой-либо из них показаться во флигельке Ивана Афанасьевича, чтобы Арина Федотовна сию же минуту, будто духом святым, прознала и нагрянула на место преступления, потрясая коромыслом, грозным орудием своих расправ, с жесткостью которого в энергической и сильной руке — увы! — очень скоро ознакомился Иван Афанасьевич...

Бабы этой, умной, властной, насмешливой, злобно обуянной всеми демонами женской гордыни, он всегда потрухивал, потому что ходили о ней в народе зловещие слухи, в которых всего было понемножку: и о муже, отравленном после первой же супружеской драки, и о любовниках, странно умиравших вслед за неверностью либо нескромною болтовнею, и о детях новорожденных, якобы спущенных в речку Осну. Не то чтобы Иван Афанасьевич всем этим бредням верил, но то обстоятельство, что они ползли упорно и постоянно, как дым, которого не бывает без огня, действовало на воображение. Что-то есть! Оплела какая-то угрюмая тайна эту сероглазую дородную бабу, в сорок лет со свежим тридцатилетним лицом, со взглядом в упор, пред которым опускались наглейшие встречные глаза, и с таким презрительным складом румяного, свежего рта, что от иных его улыбок — тому, кто вызвал их, лучше бы провалиться на

месте сквозь землю... Вдовела Арина Федотовна как будто очень скромно и честно — решительно никаких открытых любовных приключений не всплывало на свежую воду, а молва, все-таки не вразумляясь отсутствием улик, упорно стояла на своем: «Из потаскух потаскуха да и барышню-то развратила, на ту же дорожку свела...»

И фантастически, бесконечно исчислялись предполагаемые любовники обеих. Иван Афанасьевич понимал, что этот вздор наобум мелется. Но так как одного-то любовника Виктории Павловны он знал слишком хорошо и так как всем слишком очевидно было огромное, почти повелительное влияние Арины Федотовны на бывшую свою питомицу, то для него если не было много вероятного, то и ничего не было невероятного в общем лепете: «Барышню свою развратила и на свою дорожку свела...»

А совсем забоялся он Арины Федотовны с тех пор, как — в конце того давнего, счастливого своего любовного лета с барышней Бурмысловой — он, однажды придя на условленное место лесных свиданий, узнал в ожидающей его, сидящей под дубом женщине не Викторию Павловну, но Арину Федотовну.

— Не ожидал, сокол? — насмешливым утиным кряканьем раздался голос ее.

А он, растерявшись, молчал, глупо переминаясь с ноги на ногу по палому листу... Она же смотрела на него снизу вверх ненавистными серыми глазами, точно череп ими буравила и под черепною крышкою мысли ловила, — и говорила, поливая его словами, как холодным презрительным ядом:

— Хорош голубчик, очень хорош! Можно чести приписать!

И так как он все еще только моргал глазами да мял губами, то продолжала:

— Ты что же это, мерзавец, с моей барышней сделал, а?

Тогда он, подстегнутый «мерзавцем», словно ленивая лошадь кнутом, набрался в обиде храбрости, чтобы ответить:

— Что же вы ругаетесь? Разве я нудил... ее воля...

Жирное лицо управительницы исказилось холодной злобою, и уничтожающим, медно-шипящим голосом заговорила она, словно старые стенные часы долго и мирно били:

— Ее воля! Новость сказал. Известно: ее воля. Того еще недоставало, чтобы твоя воля была... Ее воля... Да у тебя-то, гнуса, откуда смелость взялась, чтобы этакую блажную волю ее принять и исполнить... Ровня ты ей? Пара ты ей? А?.. Видя такую ее блажь, как ты посмел оставаться здесь, тварь ты! В леса дремучие должен был бежать, пески сыпучие, в болота зыбучие — лучше, чем в подобном скандале ее увязить и самому увязнуть... Ну, да уж дело сделано, нечего, значит, толковать. От тебя — взять нечего, а что было, того ни Богу, ни черту не переделать. Это в сторону. А теперь, значит, слушай — да ухом, а не брюхом. Словечка не пророни и крепко на носу своем красном заруби. А то худо будет.

И, подступив к нему близко, так, что грудь груди коснулась, положила на плечи его цепкие, злые руки — пальцы ястребиными когтями в плечи впились, — и, дурманя глаза его прямо в них уставленным змеиным взглядом, звонила медным, ровным звуком:

— Была у Витеньки одна воля, теперь будет другая. Что было, то было. Вины на тебе не числим, наш грех, наш и ответ. А больше тому не быть. Понял? Кончено. На прошлом поклон, а вперед пожалуйте вон. Это я тебе и от барышни говорю, и от себя прибавляю. А ежели ты какой скандал в мыслях затеешь либо озорничество...

Она тряхнула его, очарованного ее взглядом, так, что он невольно мотнул голову, как кукла, и продолжала:

— Умел пакостить — умей молчать. Не хвастай, ворона, что орлена — гулена. Рот на замок запири да ключ забрось. Потому что — это я тебе истинно говорю и хочешь, Богом, хочешь, дьяволом поклянусь: если дойдет до ушей моих хоть слово худой молвы про Витеньку по этим вашим по-

хождениям — зови попа да кайся во грехах, потому что только и было твоей жизни... Недели не пройдет с того часа, а ты будешь лежать на погосте. Это я тебе говорю — так-то, сокол ясный, нос красный! А про меня ты, коли сам не знаешь, людей спроси: бывало ли когда, чтобы Арина Молочница тратила слова даром. Я теперь с тебя, покуда ты будешь в наших местах, глаз не спущу, так ты и знай. А уедешь куда, не надейся, что далеко. Вздумаешь хвалиться да врать — я тебя за тридевять земель в тридесятом царстве достану... от меня, как от судьбы: не уйдешь!..

Возвратясь с этого свидания, Иван Афанасьевич впервые в жизни узнал, что у него есть нервы, ибо с перепуга серьезно заболел лихорадкой... И, когда, изумленный такою неожиданностью, верный приятель и собутыльник его, фельдшер при земской больнице в селе Полустройках, спрашивал: «Да что с тобою, Иван? Или ты в лесу лешего встретил?» — Иван Афанасьевич только головою мотал да руками отмахивался, а про себя думал: «Лешего не лешего, а ведьму — с тем возьмите!»

Большой страх, который внушала ему Арина Федотовна, был главною причиною того, что, когда стряслось несчастье в Пурникове и растерял Иван Афанасьевич своих благодетелей и покровителей, он предпочел опуститься до последнего упадка, только бы не обратиться к милости Виктории Павловны, хотя был уверен, что она по доброте своей и великодушию сжалится над ним скорее и проще, чем кто-либо. Но Правосла под властью Арины Федотовны представлялась ему чем-то вроде пасти адовой, в которую только попади, а выхода назад не будет...

«Съест меня змеища эта... — думал он. — Поработит!»

Но, когда холод и голод, приближаясь, взглянули в глаза, он струсил их больше змеищи и пошел к адовой пасти на поклон...

Ожидания его сбылись только отчасти. Арина Федотовна действительно приняла его презрительнее чего уже нельзя

и продолжала держать его в черном теле все время, что он жил в Правосле, но ни к каким своим делам и счетам она его не подпустила и вообще никакими обязанностями его не обременила. А обленившемуся, стареющему человеку это было первое дело. Осень и зиму протренировал на гитаре, весну проповил на силках для певчей птицы, лето пробродил за ягодами и грибами, попутно вступая в романчики с ягодницами в грибовницами, — так слагался зоологический год Ивана Афанасьевича. И если бы он еще не боялся огнестрельного оружия и был охотником, то в существовании своем он, правду сказать, разве только возрастом да красным носом разнился бы от знаменитого лейтенанта Глана, который в ту пору уже родился на свет, но Ивану Афанасьевичу известен, конечно, не был да и по сию пору остается неизвестным. Ибо с тех пор, как Иван Афанасьевич в юности окончил какой-то курс какого-то учения и получил соответственный диплом, он не взял ни единой книги в руки, кроме разве «Запрещенных русских стихотворений» и «Русского Эрота», замасленные и разрозненные страницы которых хранились где-то на дне его сундучка, а также — в недрах его памяти... В этом зоологическом бытии Арина Федотовна ему совершенно не препятствовала, за исключением все того же строгого запрета: «На стороне амурься с кем хочешь, как хочешь, но в усадьбе — ни-ни-ни! Заведешь разврат, нагишом в сугроб высажу...»

На дело же никакое она не употребляла его даже как бы с подчеркнутою нарочностью: вот, дескать, держим неизвестно для чего на шее своей несчастного дармоеда, лежебоку никуда негодного, которому бы только жрать да пить, да по кустам девок подлавливать...

И вдруг в один день Иван Афанасьевич понадобился. Пришла к нему во флигель — не вызвала к себе, а сама пришла — Арина Федотовна, ругательски его изругала за сор на полу и копать на стенах, заставила на своих глазах вытереть мокрую тряпкою стул, на который затем села, а сев, спросила:

— Ты ведь, Афанасьевич, по науке своей ахтихтехтор?

Иван Афанасьевич, подумав, усмехнулся, точно его спросили о другом человеке из Аредовых времен, и отвечал, что действительно, было время, когда он был архитектором, но, собственно, ничего никогда не строил, а только служил при управлении, откуда и вылетел по несправедливостям начальства, настолько лютого, что мало было еще той ненависти к нему, чтобы выгнать, — оно его еще под суд упекло и вконец разорило казенными начетами...

— А ты бы крал меньше, — остановила его ничуть не разжалобленная Арина Федотовна. — Ну, всех твоих мощенств не переслушаешь... Но, коль скоро ты ахтихтехтор, можешь ли ты, например, осмотреть дом, который к продаже, и определить ему настоящую цену?

Иван Афанасьевич мог. Тогда Арина Федотовна приказала ему немедленно собраться в дорогу и ехать в «губернию», где в настоящее время находится, только что прибыв, сама барышня Виктория Павловна, приехавшая из Сибири с тем, чтобы продать свой городской дом, и уже имеющая на него покупателя... Сама барышня в этом деле ничего не смыслит; она, Арина, человек деревенский и грамоте не знает, на словах никакого адвоката не боится, а на бумаге ее и дурак обойдет; советчиков же и сводчиков в губернии хотя много, но барышня им не доверяет, а на Ивана Афанасьевича надеется, что он, памятуя хлеб-соль и все благодеяния, не окажется против нее свиньей и проведет дело по совести...

И назавтра Иван Афанасьевич — вот совершенно так же, как теперь, даже в той же шапке и шубейке, только поновее они были, даже с тем же самым ночным поездом — ехал в губернию в таком же тесно наполненном людьми и трясучем вагоне. И только мысли в голове были у него тогда другие — куда бодрее и веселее, чем сейчас...

Тогда он ехал с большим нетерпением и любопытством. Свидание, которое ему предстояло с Викторией Павловной,

было первым после тех летних, так внезапно и решительно оборванных появлением Арины Федотовны, и поэтому думать о Виктории Павловне значило для Ивана Афанасьевича вспоминать, как он видел ее в последний раз... Красная шелковая кофточка на зеленой траве... солнечные кружки на теле цвета слоновой кости... бриллиантовые глаза, гаснущие под дремучими ресницами... стройные руки, обвитые вокруг его шеи... смешливый взаимный шепот бесстыдных слов, передающийся из целуемых уст в целующие уста... и дикие вздохи вакханки, схваченной сатиром... И когда Иван Афанасьевич вспоминал все это, то в любопытство свидания вползала лукавою змейкою и робкая блудливая мечтишка: «А вдруг опять?..»

Что же? Переменилось-то, сдается, немного... Виктория Павловна по-прежнему не замужем, человек свободный, по-прежнему живет гордо, независимо, ни с чьим чужим мнением не считаясь, по-прежнему молва приписывает ей все новых и новых любовников, по-прежнему не зная, кто они... по-прежнему, значит, есть у нее кто-нибудь настоящий тайный, вроде того, как был он в то лето в Правосле... И почему бы теперь, когда она, измотавшись по свету и профершпилившись — вона, дом продает, — возвращается в родные места с очевидным намерением в них поселиться, почему бы ей не вспомнить о нем на этот случай, как о человеке испытанной скромности, и опять не поиграть в русалку с лешим? Ну, уж если... уж если... И вся его утроба сладострастно играла и хихикала воображением проснувшихся надежд...

Увы! Все его игривые мечты разлетелись, как пух под северным ветром, от первого же взгляда на Викторию Павловну. Если четыре года тому назад звали ее царь-девицей, то теперь перед изумленным Иваном Афанасьевичем явилась уже воистину царица — из цариц царица — во всем величии созревшей, державной красоты, с глубокими, полными опыта и силы глазами, каждым взглядом кладущими

непроходимую пропасть между собою и всякою попыткою к фамильярности. Разговор ее был деловой, ледяной. Иван Афанасьевич сразу встряхнулся, послал своим мечтам дурака и покладисто вошел в тон послушного и исполнительного доверенного, беспрекословно готового творить волю доверительницы. Впрочем, обращалась с ним Виктория Павловна очень любезно и ласково, дала ему немножко денег, чтобы поправить обветшавший гардероб, настояла, чтобы он переехал с постоянного двора в ту же хорошую гостиницу, где она сама стояла, и даже приглашала его несколько раз завтракать и обедать вдвоем с нею, у нее в номере. Но когда, ободренный, он однажды все-таки попробовал смотреть на нее прежними глазами, прежним голосом говорить и прежним смешком хихикать, то Виктория Павловна только посмотрела на него не то чтобы сердито, а... вдруг Иван Афанасьевич, бедный, почувствовал, будто она где-то этак на луне или по крайней мере на вершине горы снежной, а он, вроде лягушки, квакает внизу, на неизмеримой глубине, в болоте... И, однако, при всем том, хоть ты что, казалось Ивану Афанасьевичу, что не для одной продажи дома вызвала его Виктория Павловна. Сдавалось ему, что держит она про себя что-то, его касающееся, — и сомневается, надо ли ему знать, и присматривается к нему с экзаменующим любопытством — как лучше поступить: оставить про себя или заговорить?.. А дело, для которого Иван Афанасьевич был вызван из Правослы, не спорилось. Обещанный покупатель все что-то не ехал из Петербурга, и Ивану Афанасьевичу начинало уже казаться, что никакого покупателя нет и не было. Подозрения его превратились почти в уверенность, когда на шестой день по его приезде Виктория Павловна утром объявила ему, что сделка расстроилась и она продавать дом раздумала, извинилась за беспокойство и велела Ивану Афанасьевичу отправляться обратно в Правослу. А сама она намерена, дескать, ехать к приятельнице своей, госпоже

Лабеус, в Крым, в Гурзуф... При этом она казалась очень расстроенною и взволнованною, так что Иван Афанасьевич даже подумал про себя: «На что горда, а тоже, видно, не сладко, что денежки-то мимо рук проплыли... Ишь, даже глаза наплаканы и личико пятнами вспыхивает...»

Он уже простился, принял от Викториа Павловны разные поручения и наставления в Правослу для Арины Федотовны и откланивался, говоря разные почтительные и благодарственные слова, когда она вдруг резко оборвала его красноречие коротким приказом:

— Заприте дверь...

И, когда он, изумленный, повиновался, она, отдаляясь в глубину комнаты тем выразительным и грациозным, неопишесым движением, которым умные и опытные женщины так хорошо умеют предостеречь мужчину, что остаются с ним вдвоем не для любовного секрета, продолжала:

— Послушайте, Иван Афанасьевич... Я хочу сказать вам... Быть может, это лишнее и будет мне во вред... Но, во всяком случае, моя совесть этого требует, чтобы я вам сказала... Вам я говорю — понимаете? — но никому другому... Да... Судя по известиям, которые я имею о вас от Арины, вы, когда хотите, молчать умеете... Ну, так вот — я вам кое-что скажу, но вы молчите... никому ни под каким видом... Обещаете?... Дайте слово, что будете молчать...

Иван Афанасьевич в величайшем любопытстве и изумлении поклялся всеми страшными клятвами и присягами, что будет нем, как рыба, и даже протянул руку к стоявшему в углу фикусу, изъявил готовность съесть столько земли, сколько Викториа Павловна прикажет.

Тогда она, глубоко вздохнув и не глядя на него, сказала голосом, упавшим, но как будто успокоенным:

— Хорошо... Помните же!.. Я вам поверю... Ну вот...

Глубокий вздох опять прервал ее речь, и она с усилием, судорожною дрожью исказившим лицо, договорила:

— Дело касается, конечно, наших с вами милых похождений в том лете...

Иван Афанасьевич, живо читая на лице ее, как она теперь относится к этим «милым похождениям», сделал шаг вперед, положил руку на сердце и сказал с благородством:

— Виктория Павловна, к чему вам себя беспокоить? Это — верьте слову — как в могиле... Не лучше ли вам не вспоминать?

Сам же думал в эту минуту: «Не иначе, как она думает мне в награду за скромность мою отсыпать сотнягу-другую... Вот был бы ловкий коленкор!»

Но Виктория Павловна, давясь новым вздохом и бледнея, возразила:

— Совсем нерадостно вспоминать мне это, Иван Афанасьевич, и вдвое неприятнее вот так — пред вами вспоминать, но если уж я сама вспоминаю, то, значит, вспомнить надо...

Она опустила в кресло, к круглому номерному столу и с силою мяла в красивых длинных пальцах крупной руки своей забытую на столе муфту...

— Игра тогда не прошла мне даром, Иван Афанасьевич... — говорила она, усиливаясь быть спокойною. — Тогда из Правослы я уехала... — Она приостановилась, выбирая выражение, и, встретив жадно-любопытный взгляд Ивана Афанасьевича, нарочно, с вызывающей злобою самобичевания, подчеркнуто грубым словом договорила: — Беременная и к весне имела удовольствие произвести на свет дочь...

Иван Афанасьевич стоял с видом человека, которого невидимый индеец изо всей силы оглушил томагавком по темени. Не слыша более голоса Виктории Павловны и видя пред собою вопросительное — издали — враждебное блистание ожидающих глаз ее, он облизнулся, с кротостью улыбнулся и с еще большею кротостью произнес глубоко-мысленно:

— Да-с.

Есть сила, которая живого и страстного человека, когда он страдает и волнуется, озадачивает и обливает холодной водою хуже всякого громкого протеста, негодования, оскорбления: это — когда то, чем он страдал, волновался, терзался и уже вконец себя измучил, встречается без всякого впечатления, совершенным равнодушием со стороны тех, кто сопричастен его страданию и, казалось бы, по чувству и разуму должен оттого зажечься пламенем не менее остро, чем сам он. Бледное лицо Викторией Павловны залилось огненной краской, она встала, гневно оттолкнула муфту, которая, сорвавшись со стола, покатила по полу, роняя из нутра платок и портмоне... Иван Афанасьевич бросился поднимать.

— Оставьте, — сказала Виктория Павловна в изумлении.

— Нет, как же можно? — горячо отвечал он, собирая вещи и возвращая их на стол.

Виктория Павловна решительно начинала думать, что он ее не расслышал...

— Вы поняли, что я вам сказала? — спросила она в упор, стоя пред ним со сложенными на груди руками.

Он подумал и ответил:

— Да-с...

— Что такое — да-с?! — гневно вскрикнула Виктория Павловна. — Я говорю вам: дочь у меня от вас... дочь мы имеем...

Иван Афанасьевич слышал и понимал очень хорошо, но впечатление было слишком велико и внезапно, чтобы отвыкшая от эмоций натура могла его воспринять и выразить сразу хоть приблизительно всю ту силу и важность, каких оно требовало и заслуживало; чтобы прошлое, настоящее и возможное будущее нахлынувшей новости встали пред ним во всей своей настойчивой наглядности и вызвали наружу слова или хоть движения довольства или недовольства, восторга или ужаса, радости или скорби... Лишь каким-то ме-

ханическим, внешним, верхним чутьем догадался он, что остолбенение его совершенно неприлично случаю, и — насилуя себя — соболезнующим тоном, который в других обстоятельствах заставил бы Викторию Павловну расхохотаться, выговорил:

— Жива-с?

Виктория Павловна вглядывалась в него, словно в первый раз за эти дни рассмотрела, как сильно он постарел, обрюзг и опустился в минувшие четыре года... Она уже догадалась, что его мнимое равнодушие зависит от того, что он новости еще не «вместил», и ей стало жаль его и досадно на себя, что оставила это объяснение на последнюю минуту... Потому что — она знала, — когда впечатление дойдет до глубины сознания и будет им усвоено, оно запоздало вызовет тем большее волнение, чем холоднее сперва было принято...

— Сколько вам лет? — спросила она вдруг с резким участием, которое он почувствовал.

Он подумал и отвечал:

— Сорок, что ли, минуло... я аккурат на Покрова родился... с октября, значит, месяцы пошли...

Она зло, насмешливо засмеялась.

— А мне двадцать третий... Родители! Папа и мама!.. Пара, нечего сказать!..

Иван Афанасьевич машинально посмотрел в большое номерное зеркало — увидал в нем великолепную мрачную фигуру царственной красавицы, будто фею ночи, в дорогом черном туалете, с венцом темных кос на голове; увидал и полуседую голову с изрядною плешью, красный нос, налитые кровью жилки алкоголических глаз, дешевый, табачного цвета костюм, осанку человека, привычного, чтобы его била судьба, а иногда и люди...

А Виктория Павловна рассказывала.

Да, девочка жива и здорова. Она сама дочери не видала с тех пор, как Арина Федотовна увезла дитя из приюта, в ко-

тором Виктория Павловна рожала, но от Арины Федотовны знает, что дитя растет превосходно, находясь в руках людей достаточных и хороших. Ее, Виктории Павловны, намерение — оставить ее в тех руках на весь бессмысленный младенческий возраст, потому что сейчас при кочевом своем быте, при недостаточном и неверном заработке она не может дать ребенку никаких удобств и только разобьет его нервную систему беспрестанными переездами, хаотической жизнью, обществом взвинченных, беспорядочных людей. Переменить свою жизнь она покуда не может: средств нет. Зарыться в Правосле с внебрачной дочерью, открыто живущей в доме, значит, не только закопать себя в двадцать три года в могилу, но и еще иметь удовольствие от соседей, чтобы в усадьбе по крайней мере раз в месяц мазали дегтем ворота, а — выйдешь или выедешь из дома — парни свистать будут вслед по дороге. Главное же: не чувствует еще Виктория Павловна, что настолько нужна она дочери, нет в ней позова на жертву самоотречения. А если заставить себя насильно, то боится, что из этого выйдет не добро, а только худо, так как то горячее, далекое, может быть, сантиментальное, воображенное чувство, которое она теперь имеет к дочери, очень рискует смениться тоской по самой себе, по личной, слишком рано насмарку сведенной, жизни, а отсюда вырастут и разочарование, и нерасположение, и, наконец, отвращение и злоба. Помилуйте! Разве такие, как я, в двадцать три года себя исчерпывают и жизнь кончают? Не могу я сейчас искренно отдать себя такой случайности, как этот ребенок, — вот не чувствую, ни что это надо, ни что это будет правда... вот не могу и не могу...

Так говорила она, увлекаясь и забывая, с кем говорит. А новость до сознания Ивана Афанасьевича уже дошла, потрясла его совершенно, овладела им, как чародейное обаяние какое-нибудь. И первое чувство, которое она разбудила в нем, была гордость, та самая злорадная половая гордость,

с которою, бывало, издевался он, счастливый тайный обладатель Виктории Павловны, над ее вздыхателями явными: князем Белосвинским, Орестом Полулябовым, Федею Наровичем, Сашею Парубковым, — один другого богаче, красивее, моложе, интереснее, каждый для нее — прикажет — в омут бросится, прикажет — ко льву в клетку войдет, прикажет — лучшего друга на дуэли убьет и не пожалеет... А она — нимфа лукавая, с ним, с Афанасьевичем — хи-хи-хи! — днем в лесном овраге, ночью в своей девичьей спальне. И — вот — будто этой только заключительной ноты к тому далекому злорадному чувству и не доставало для полного удовлетворения: Виктория Павловна Бурмыслова от него беременна была! Виктория Павловна Бурмыслова от него дочку имеет!.. И хохотало в нем все нутро, и как ни старался он, а не мог скрыть веселья на раскрасневшейся, вспотелой, возбужденной роже... И Виктория Павловна, всмотревшись в смеющиеся, сатиры глаза его, нахмурилась тучею и подумала, что, кажется, сделала она огромную ошибку и не следовало Ивану Афанасьевичу тайны открывать...

Но что же было делать? Первоначально таково и было ее намерение, чтобы дочь была только ее дочь: когда дитя взойдет в разум, взять девочку из той богатой, на положении деревенских купцов живущей крестьянской семьи, в которой она теперь растет, — и заслонить от нее все вопросы о роде и племени своею материнскою фигурою. А отец — умер, когда ты была маленькая... и — конец!.. Но нечистая, больная совесть, маявшая ее с тех пор, как она себя сознавать стала, никогда не умевшая помирить грехов ее темперамента с широким, покаянным сердцем и гордою, властною натурою, — не дала ее решимости ответить на вопросы своим умом, в одиночку... И все три года по рождении дочери металась молодая мать по советчикам и исповедникам больных русских совестей — духовным и светским, священникам и писателям, монахам и адвокатам, сектантам и профессорам-психологам, умным старицам, блюдущим средневековую

мораль, и смелым людям, ломающим старое общество, чтобы выстроить новое... И слышала:

— Какое же право имеете вы лишать дитя его отца?

— Какое право имеете вы лишать отца его ребенка?

— Утаить от дитяти его отца — значит ограбить их обоих.

— Скрыть дитя от отца — значит опустошить две жизни.

— Дитя вы лишаете происхождения, отца — потомства...

Десятки красноречивых тирад, заостренных эффектными афоризмами, впивались ей в уши. А тут еще прибавилось увлечение петербургским Савонаролою — красавцем священником из дворян, вдохновенным проповедником-аскетом, которому непременно хотелось сломать строптивую женскую волю Виктории Павловны, обратив ее к семье... Энергетически схватясь за то смутное, беспокойное чувство, которое она имела к дочери, он убеждал молодую женщину не только открыть девочку отцу ее, но и признать его пред Богом и людьми своим мужем... Так далеко Виктория Павловна не решалась пойти, а полдороги сделала: возвратила отца ребенку и ребенка отцу — открыла секрет свой старому сообщнику, который его нисколько не подозревал и которому был он совершенно не нужен...

Когда Виктория Павловна сказала, что девочку зовут Феня, Иван Афанасьевич встрепенулся и проявил большое, внимательное оживление.

— Позвольте-с... извините-с... — забормотал он. — Так это-с... это-с... уж не Фенечка ли будет?.. В Нахижном у Мирошниковых приемная дочка взята?..

Виктория Павловна молча склонила голову.

А Иван Афанасьевич, неизвестно зачем согнувшись и взяв в руки колена свои, глядел на нее снизу вверх глазами, в изумлении потерявшими всякое выражение, не в силах будучи согнать с лица расплывшуюся улыбку, глупость и неприличие которой в этот торжественный момент он сам чрезвычайно понимал, но ничего не мог с нею поделать: она,

выпираемая наружу из неведомой какой-то глубины самодовольно удивленного инстинкта, оказывалась сильнее воли. Смотрел, тянул шею, как гусак, качая на ней голову, как черепаха, и лепетал мятым языком какие-то бессвязности, в которых ни один смертный не понял бы, что это — восторг, сожаление, испуг, извинение: скачка слов, прыгающих на язык неизвестно из какой клеточки мозга, внезапно пораженного забастовкою задерживающих центров.

Виктория Павловна наблюдала его тоже молча и слышала в себе, что ей теперь, когда все так смело, честно и откровенно сказано, вдруг стало страшно, зачем она сказала... И не стыдно, не жаль, не раскаянно, не досадно, а именно — страшно... Чего? Она сама не знала. Жалкий человек, стоявший пред нею, как был, так и остался жалким человеком. Она как была гордою самовластительницей, самой себя царицей, так и осталась — в прекрасной и надменной силе своей... Что он пред нею? Что он против нее? Ползущее насекомое, которое, задумай оно вредить, она раздавит носком ботинка. А между тем вот страшно. И — как будто именно потому, что она видит, как открытие обезумило его, как оно оказалось для его ничтожества настолько за пределами возможности и ожидаемости, что вот он — хихикает и моргает воспаленными глазами своими, идиот идиотом, не в состоянии совладать с объемом и силою новости, и, значит, настоящее-то его впечатление, которое разбудит его волю и подскажет ему образ действий, еще впереди... И тогда — как знать, во что разыграется риск, который она себе теперь позволила, какой скандал, какой позор из него могут вырасти? И — подозрительной и смущенной — ей показалось, что бессмысленная улыбка огорошенного Ивана Афанасьевича становится хитрою и злорадною и в мутных глазах его зеленым маслом расплывается мстительное торжество... И она в позднем раскаянии вспомнила давние

предостережения Арины Федотовны — паче всего беречь секрет свой насчет дочери именно от этого вот виновника дней Фениных — и мгновенно исполнилась мрачным гневом на себя, зачем не выдержала характера и «разболтала»; на него — зачем он слышал и теперь знает; на всех, кто ей советовал «открыться», — как смели они, легкомысленные теоретики, отвлеченно философствующие за чужой счет, толкнуть ее в такую волчью яму; и опять на себя — где же у нее разум был, откуда она такая дура стала, что пришла на чужом поводу к омуту и в него прыгнула... И сквозь мгновенную черную тучу злых мыслей, как молния, сверкала одна — предостерегающая: боясь, не показать, что боится... «Если этот человек поймет, что со мною, он поработит меня... Вся жизнь отравлена... Пропала моя свобода...»

И чувствовала, что — висит на ниточке: еще несколько секунд этого жуткого молчания во взаимную приглядку, и — «не понять» нельзя... И, хотя говорить ей хотелось много, чтобы сразу, однажды навсегда, твердо определить и поставить будущие отношения между ним, этим внезапным родителем, и новооткрытою его дочерью, — она не решилась более оставаться с ним вдвоем... Скрывая растревоженное лицо, она повернулась к Ивану Афанасьевичу спиною и, удаляясь от него медленною поступью к дверям другой комнаты своего номера, где была ее спальня, сухо, не оборачиваясь, произнесла:

— Для того я вас, главным образом, и вызвала, чтобы не носить в себе больше этой лжи... Теперь вы знаете — и, как вам в этом случае повести себя, ваше дело... Прошу только помнить, что в наших отношениях это ничего не меняет... ни на пылинку... Прав на Феню вы никаких не имеете, и я вам дать их не намерена... Не советую и искать... иначе — враги будем... А затем — прощайте, можете ехать. Кланяйтесь Арине Федотовне, и я надеюсь, что вы будете вести себя хорошо и от нее жалоб на вас не будет...

III

Того, что Виктория Павловна пред ним оробела и его забоялась, Иван Афанасьевич заметить не успел. Но что она сделала большую неосторожность, разоткровенничавшись ни с того ни с сего насчет тайны, которой он не подозревал и в которой не имел никакой надобности, это он сообразил, едва только прошел его первый столбняк и успокоились мысли. Личное отношение его к происшедшему продолжало быть мутным и неопределенным, и покуда, расставшись с Викторией Павловной, он чувствовал только облегчение и радость, что кончилось тяжелое объяснение, во время которого ему было жутко и неловко. Точно — человека, страдающего головокружением, внесли с завязанными глазами на большую высоту, которой он и не подозревал; а как сняли с него повязку, так и ахнул — и от великолепного необъятного вида, ослепившего его глаза, и от ужаса к пропасти, отверстой у самых ног его. Машинально покорный приказанию, он сейчас же отбыл из города. На вокзале, конечно, изрядно выпил в буфете и тем окончательно возвратил себе душевное равновесие. Обдумывал новость — и в то самое время, как Виктория Павловна тревожилась, не догадался бы он, что она его испугалась, он, наоборот, изумлялся ее бесстрашию и легкомыслию, с которым она «лягнула»... Придумывал причины, поводы и не находил ничего, удовлетворительно объясняющего, и это было обидно и возвращало мысли к всесторонней разнице, лежащей между ним и Викторией Павловной как непроходимая бездна...

«От гордости это все в ней, — рассуждал он хоть и сквозь водочный туман, а неглупым, по существу, своим умишком. — Не иначе. Всегда была такая. Всегда ее на вызов публике тянет... Стукнет ей в голову, будто она чего не смеет, боится или стыдится, — ну, и на дыбы... Ведь и в те поры амура-то нашего, если бы не мое благоразумие да не Арина ее в вож-

жах держала, — сколько раз весь секрет на ниточке висел... Хе-хе-хе... Мне, говорит, обман претит... если я сама себя не боюсь и самой себя мне не стыдно, так и нечего надуть почтеннейшую публику: пусть хоть весь свет приходит любоваться, какая я гадина... Хе-хе-хе... Именно такими словами, без всякой жалости к полу своему и достоинству... Ей это и в голову не приходило, что она подобными дерзостями себя в чужие руки предает, а чужие руки-то — бесжалостные, беречь не станут, что хрупко, то и сломают. Как можно! Она теменем в облаках, во лбу — звезда, под косою месяц ясный! Что мы, маленькие людишки, лягушки болотные, земляные черви, можем сделать против этакой Марьи Моревны, кипрской королевы?.. Ах ты, амазонка Пенфезилея, воительница удалая! Так черта за рога и хватает... А не хочешь ли ты...»

Но пугался дерзновенной мысли своей, прежде чем она успевала родиться, и спешил перехватить ее и исправить другую, смиренную и лицемерную: «Счастлив ваш Бог, что на порядочного человека напали. Другой бы на моем месте...»

Но здравый смысл останавливал его: «Что же другой на твоём месте?»

«Да уж... да уж... — веселым злорадным смехом загорялся в сердце Ивана Афанасьевича беспутный бесенок, совсем уже ничего общего с порядочностью не имевший, но ответа другого не находил, кроме смутного, то волною плывущего, то стеною с яркою вывескою на ней стоящего, то пестрым клоуном хохочущего, кувыркающегося слова: «Скандал!»

«А на кой черт тебе скандал? — допекал здравый смысл. — Шантажиком, что ли, рассчитываешь заняться помаленьку? Так — не тот предмет. На камне, брат, пшеницы не пожнешь и с голого человека рубашку не снимешь...»

Дела Виктории Павловны Иван Афанасьевич, как давний свидетель ее хозяйства, знал в совершенстве. Имение со-

вершено разорено, заложено-перезаложено, описано-переписано, — только тем и держится Правосла, что, когда уж совсем зарез подходит, Арина Федотовна ездит на поклон к Михаилу Августовичу Зверинцеву либо князю Белосвинскому. Покутится, пошепчется — глядь, проценты и внесены: гуляем, значит, до нового визита от судебного пристава... Положение, можно сказать, отчаянное, а ежели приглядеться, то Арина Федотовна точно нарочно делает его еще хуже. Они с Викторией Павловной так живут, словно знают, что завтра будет вечный потоп или светопреставление и ни о чем, значит, заботиться не стоит — все равно сами покойники будем, а все — наше ли, ваше ли, ихнее ли — пойдет тленом и хинью. Арина невесть с каких великих афер прослыла по уезду дельчихой, а — какая она дельчиха, если проверить резоны и по справедливости говорить? Только властительница безмерная да горлом широка, языком быстра и на злое слово зубаста. Дельчиха была бы, так Правосла не стояла бы каждую треть года в аукционных списках. Вон — дельчиха-то настоящая, госпожа Тинькова, соседняя землевладелица: на глазах обрастает и строением, и имением — не по дням, а по часам, — ну просто, как грибное гнездо! А у Арины — один разор. Продавать — так за бесценок, а покупать — так втридорога. На скотном дворе три коровенки от голода шатаются, а — на барышнины именины гости шампанским — хоть ноги мой. Оно, конечно, не своим — дареным... гости же и привозят... да ведь черт! Шампанскому-то в городе — бутылка — семь с полтиной цена. Все равно что деньги. По четыре целковых бутылку в любой трактир продал, а гостям по восьми гривен крымского купил — вот тебе и три двадцать экономии... с трех дюжин проценты за имение можно внести... Добро бы еще хоть в коня корм был! Ну, для князя там, для приезжих каких-нибудь из губернии или из столицы — я понимаю — оставь, пожалуй, бутылку-другую. А нас — удивила ты шампанским... Горла суконные, глотки луженые:

только оловом расплавленным не угощай, а то, какой ни по-
дашь оцет и омег*, выпьем не поперхнемся, да еще и спаси-
бо скажем.

Да. Просвистались — Господи, ты, Боже мой. Земля —
что распродана, что в арендах долгосрочных, клочками, так
и видать, что вся враздробь, по случаю продавалась — ка-
кой набегал покупатель к трудному времени, лишь бы раздо-
быться деньжонками для очередного взыскания по какому-
нибудь летучему долгу. Чересполосицу такую устроили себе
продажами этими удивительными, что на собственной зем-
ле не повернись: куда ни сунься, в чужое право упираешь-
ся... Остаточки недурные, пожалуй, еще есть кое-какие, уце-
лели чудесами. Так ведь только с того и живем, что соседи
на них зарятся, каждый надеется все забрать рано или поздно
на свою руку, вот по зависти друг к другу и не позволяют,
чтобы хороший участок погиб, разбившись дольками. Но
долго тянуть так нельзя. Вот — не дай Бог, хватит Михайлу
Августовича Зверинцева кондрашка либо князю Белосвин-
скому наскучат его рыцарские вздохи-то да послушает он
родни, женится на принцессе какой-нибудь — тут, значит, нам
и капут. Слопают нашу Правослу не Тиньковы, так собствен-
ный наш мельник-арендатор... богат рыжий черт... Мне бы
десятую деньгу из кубышки его в кармане иметь, так по-
казал бы я Арине, как из ее остаточков настоящее имение
склеить. Если бы к ним приложить руку — настоящую, прак-
тическую, мужскую, так, пожалуй, побарахтавшись годов
десяток, можно бы Правослу на путь направить и даже иметь
с нее хороший доход... Но, когда вместо управителя держишь
глумливую ведьму, которой, кроме наливки к обеду да парня
здорового на ночь, все остальное в природе плевки да смеш-
ки, то — понятное дело: не ты от земли сыт будешь, а земля
тебя съесть должна... Так именно сейчас у нас оно и дви-

* Укус и болиголов.

жется: мы тут ежели дареного не видим, то с хлеба на квас бьемся и лошади с голодухи не дают назему, а Виктория Павловна, как питерщица какая-нибудь, должна рыскать во всяких отхожих промыслах и от скудных своих заработков кормить в Правосле землю... А между тем, если бы она только подпустила меня к имению — ну хоть так, — на годик, хоть бы попробовать...

Но тут он со вздохом вспомнил, что для того даже, чтобы лишь мечту подобную себе позволить, надо переступить сперва через непреодолимый заслон Арины Федотовны. А при одной мысли о борьбе с нею Иван Афанасьевич ощущал нечто вроде озноба, быстро ползущего вдоль спинного хребта.

«Свяжись с дьяволицей, так потом — во всю жизнь — и съесть-выпить ничего не придется, кроме парного молока и воды из ручья... Да и за молоко-то тогда только ручайся, если собственными пальцами корову выдоил... Не то — сам не заметишь, как уморит крысиною смертью... Кабы ей впервой... Ведьма. Вон — мужики по округе верят, что она человека в пса оборотить может... Чудушка!»

А действительно ходил по окрестным деревням и такой слух об Арине Федотовне. Пустил же его кто-то из ее недоброжелателей после того, как пропала без вести молоденькая свояченица пурниковского попа, отца Василия, девица красивая и довольно смелого поведения, очень неприязненно относившаяся к обеим хозяйкам Правослы. А в особенности чего-то не поделила она с Ариною Федотовною, которую поносила бранью на всех перекрестках с такою энергией, что даже сама Арина Федотовна удостоивала ее злобным одобрением: «Здорова лаять — ей бы собакой быть».

Эту ее аттестацию вспомнили, когда — около того времени, как исчезла пурниковская поповна, а самые азартные кумушки уверяли, будто даже в ту самую ночь, — пробежала окрестными деревнями и была захвачена господином Тиньковым на своих землях невесть откуда взявшаяся вели-

колепнейшая сука редкостной породы, оказавшаяся, по определению знатоков, чистокровною ньюфаундлендскою... Нашлись над Осною умники, которые и самих себя, и ближних убеждали с совершенною искренностью, будто сука эта — совсем не собака, но исчезнувшая из Пурникова красавица, повернутая в собачий образ чарами — известно чьими... Люди здравомыслящие смеялись, а сплетня все-таки бежала да бежала, суеверная басня росла да росла... И, хотя очень скоро стало известно, что исчезнувшая поповна просто сбежала с акробатом из бродячего цирка и в настоящее время — отнюдь не в собачьем, а, напротив, в чересчур уж человеческом образе, ибо чуть не нагишом, — распевает шансоньетки на эстраде одного из московских загородных кафешантанов; хотя еще скорее нашлись хозяева заподозренной в человечестве собаки, которая, оказалось, препровождалась известным петербургским собачником в имение князя Белосвинского, но с правосленской платформы удрала от своего проводника в лес и — была такова; хотя, искусно зажиленная господами Тиньковыми, которым — что в руки попало, пиши пропало, ньюфаундлендица благополучно прожила у них несколько лет, каждую весну и осень принося превосходнейших щенят, на что оборотни, по утверждению специалистов деревенской демонологии, неспособны; все-таки к темной репутации Арины Федотовны прибавилось еще одно черное пятно, памятное для многих... Курьезнее всего, что дурацкий слух не пал совершенно даже после того, как бывшая пурниковская поповна опять побывала в родных местах — весьма шикарною барынею, завоевав себе великолепного супруга из гвардейцев и покинув ради того свою артистическую карьеру...

— Что ж такого? — возражали неумолимые скептики в избах над Осною. — Кабы она прежде приехала, а то ведь собаки-то у Тиньковых больше нет... в прошлую зиму пропала...

— Пропала! Свой же охотник спьяну за волка застрелил... только признаться не смел, барыни опасаясь...

— Мы о том неизвестны, — с загадочною политичностью уклонялись скептики от спорного факта. — А только нет...

— Да, пропала ли, застрелена ли — какое это имеет отношение к поповне?

— А такое, что, значит, собачий срок свой она отбыла, смилостивилась, значит, над нею Арина-то. Вот, значит, поповна из собак расколдовалась и опять женщиною разгуливает по белому свету.

Из слов Виктории Павловны Иван Афанасьевич понял, что Арине Федотовне происхождение и существование маленькой Фенечки не только известно, но именно она-то и оборудовала это, что девочка очутилась в качестве приемной дочери в селе Нахижном, в богатом крестьянском, на купеческом положении доме Ивана Степановича Мирошникова, когда-то предеятельного булыни, на промысле этом и разжившегося, а ныне шестидесятилетнего старика, сложившего с себя все мирские дела и хлопоты, чтобы на капитал спокойно доживать век свой вместе со своею пятидесятилетней старухой.

«Здорово, однако, тогда околпачили меня сударыньки эти, — размышлял Иван Афанасьевич, сердито усмехаясь в запотелое окно. — Н-да... Аринушка... Есть за что ей спасибо сказать. Эка лгуша безмолвная, эка глаза бесстыжие!.. Ну на что мне теперь это открытие — про дщерь мою, с неба упавшую? Ну, дочь так и дочь, ну, отец так и отец... никакого сахару для нас обоих из того не вырастет. Нет, вот если бы мне в те поры догадаться да Арины-то не пугаться, а удариться бы за Викторией Павловной в Питер... Так — поди же ты: мысли словно тестом залипли, затмение обволокло... Уж именно что ведьма эта Арина; только что, каков я ни есть, но образование имею, а то поверил бы, что в самом деле умеет колдовать. Ну как было не сообразить: пугались

мы с Викторией Павловной два месяца с лишком без всякой осторожности — статочное ли дело, чтобы беспоследственно?.. Хи-хи-хи! Бывало, ежели что мимоходящее в кустах поймашь, так и то — глядишь — своевременно, не сын, так дочка... мало ли их, моих отпрысков, императорский воспитательный дом растит!.. И ведь приходило в голову, вот ей-Богу, приходило, что удивительно это, как ей счастливо повезло. Ан, оно, оказывается, вон как повернулось. Дочка, Фенечка. Очень приятно, но покорнейше вас благодарю. Вы бы еще мне ее уже совершеннолетнюю предъявили...»

С досады стал курить; табак притуплял раздражение и нагонял мечту.

«Если бы мне только знать тогда, что она уехала беременная, я бы такую драму разыграл... Осеклась бы ты, Аринушка, сколько ни бойка... Потому что это позиция твердая: позвольте-с! Вы мать моего ребенка! Где мой ребенок? Вам его не угодно, вы его стыдитесь, так я признаю и желаю, чтобы он был при мне... Прав нету? Вне брака? Хе-хе-хе! А скандалище-то? А князь-то? А Федька Нарович? А Сашка Парубков и прочие влюбленные черти-дьяволы?.. Конечно, палка — она о двух концах и — по ней они лукошком, а по мне безменом... Да, я тогда не очень-то их боюсь, извергов кулакастых: в газеты брошусь, всюду защиту найду, со свету сживу... Потому что — спасите, мол, заступитесь, во имя человечества! Дитя с отцом разлучают! Родную дочь отняли из рук! Что же, мол, это, Господи? Или у нас лесные обычаи и звериные нравы? Блудить могла, а рождения своего устыдилась?.. Д-да... хорошие козыри в руку шли — играть было! Теперь шевельни эту историю — ну, ей напакостишь, а себе вдвое... только людям смех. А тогда... эх, Черт Иванович, проворонил! Обошли...»

И он даже плюнул и замигал слезливо, стараясь тупиться как можно ниже, чтобы не привлекать внимания соседей своим разогорченным и разгоряченным лицом... Докурил па-

пиросу, бросил, в дрему потянуло — закрыл глаза, прислонился головою к стенке, качался от тряски вагона и мечтал: «С таким хлюстом у меня на руках наша Марья Моревна, кипрская королева, пикнуть не успела бы, как я бы ее вокруг своего пальца обвел и в законное супружество ввел бы... Вот те и Правосла... И был бы ты, Иван Афанасьевич, теперь опять барин, и была бы у тебя теперь и земелька, и усадьба, и жена-красавица, и, как следует, семейка... хе-хе-хе! Уж я бы Фенечку в единственном экземпляре сохранять супруге не попустил бы... не-е-ет... А Арину со двора согнал бы... Нет, вру: не надо Арину со двора гнать — нарочно оставляю: пусть видит и казнится, а я ею, шельмою, помыкать стану...»

Остановка поезда заставила его открыть глаза. Правосла — он узнал знакомую платформу. Пожался всем телом, сложил губы трубочкой и, свалив с полки над скамьей себе на плечи тощий и обдерганный чемоданчик свой, поплелся, ковыляя слабыми в коленях ногами, к выходу, додумывая про себя, и в досаде, и в насмешке, и в огорчении, и с издевкою кусающую, щиплющую, обидную думу: «Н-да-с. Все это: если бы да кабы, да росли во рту грибы... Прозеванного куса не проглотишь... Ты бы Ариною помыкал, а Арина-то тобою помыкает... разница-с! Кончились празднички — пожалуйте, Иван Афанасьевич, опять в черную баньку, под ведьмин башмак... Эх, бабы чертовы! Кабы смелость, так и треснул бы чем ни попадя... Только вот — где ее взять, смелость-то подобную? Я и не чувствовал отродясь, какая она бывает... Что на баб смел бывал, так там ведь больше хитростью: перелестничать был горазд, большой на ихнюю сестру плут и обманщик... Кажется, вот только одна эта дьявол Арина и понимала меня насквозь, каков я есмь в натуре своей... Оттого и легла мне на пути бревно бревном: ни переступить, ни объехать... Эх, не судьба моя! Провалило счастье мое мимо, сорвалось!»

Арина Федотовна встретила Ивана Афанасьевича довольно милостиво, хотя по страсти и привычке повелительно лаяться не преминула обругать его, зачем не продал дома, точно, подумаешь, это от него зависело. Много расспрашивала о своей возлюбленной барышне, в каком она здоровье и духе, каковы ее намерения, куда она теперь едет, когда можно ее ждать в Правослу. Но о том, о главном, ради чего вызван был Иван Афанасьевич Викторией Павловной в город, не сделала ни намека, ни вопроса. Из этого Иван Афанасьевич, отвечавший ей осторожно, точно по льду ступал, каждое слово, каждый взгляд пытливо поверяя, так сказать, вторым зрением своего сердца, заключил — и справедливо, — что вопреки своему обыкновению советоваться с Ариной Федотовною не только в важных делах, но почти в каждой мелочи, на этот раз Виктория Павловна поступила совершенно самостоятельно и скрыла от нее свое намерение посвятить Ивана Афанасьевича в тайну Фенечки. Это ему очень понравилось. Хе-хе-хе! Таким образом, вот между ним и Викторией Павловной теперь опять завелась связующая ниточка, которая невидимо ни для кого другого тянется только от нее к нему, от него к ней, и вот даже она, эта всеведущая и всевластная здесь ведьма Арина, и та, на поди, облизнись, ни беса лысого не знает и не чуёт... Лестно!.. Любит последняя спица в колеснице колесо присрамить...

«А что, чертовка? — втихомолку хихикал он, валяясь в черной баньке своей на колченогом одре, служившем ему постелью. — Знай наших... съешь-ка! Кабы ты знала да ведала, какую мы с Викторией Павловной собачку промеж себя зарыли, так ты бы себе со злости на голове плешь надрала...»

Злорадное чувство это очень забавляло его и удовлетворяло в течение довольно долгого времени, пока в один прекрасный день Арина Федотовна не была, в свою очередь, вызвана Викторией Павловной в Крым, в то имение подруги

своей, госпожи Лабеус, у которой она теперь гостила. Дама эта питала к Арине Федотовне уважение, вряд ли меньшее, чем сама Виктория Павловна, и теперь не только звала ее к себе тоже погостить, но еще и перевела телеграфом денег на дорогу. Арина Федотовна пробыла в отлучке недели три. Иван Афанасьевич струсил и впал в раздумье самых неприятных предчувствий еще в ее отсутствие. А когда, возвратившись, она пригласила его побеседовать наедине да вместо того, ни слова не говоря, устала ему в лицо серые свои презрительные глазищи, он тут же, на месте, сделался совсем болен. И подогнулись под ним колени, и уж так-то ли живо вспомнилось ему, как некогда сероглазая ведьма, совершенно с таким же лицом и взглядом, трясла его за плечи там, на лесной полянке, и какие ему три этом заклятья приказывала и кары сулила... По одному взгляду этому он понял, что с барышнею у Арины обо всем переговорено и теперь Арина не прощает ему ни того, что барышня наделала глупостей, рассказав ему что не следует, ни того, что он, ее, Аринин, подневольный человек, закабаленный заручник, смел так долго носить в себе скрытую от нее тайну.

А у барышни с Ариною Федотовною действительно было переговорено, и нехорошо переговорено. Домоправительница, как только приехала в Крым, сразу, по первому взгляду заметила, что Виктория Павловна беспокойна и относится к ней с несколько принужденною ласковостью, которая в ней для старой няньки была верным признаком, что барышня натворила «глупостей», кругом в них запуталась и ждет от нее помощи, как от «оракула царя Соломона»...

И вот — вышли они на берег синего моря, пестрого от зеленой прорези ползущих с горизонта плавных волн, уселись на пестрые камешки, в глухом промежутке двух, углом сошедшихся серых, разгоряченных вешним, уже жарким на юге солнцем. И были — одна, как прекрасная Ифигения, эллинская жрица, дева-лань, смешавшая в себе божественное

со звериным, сильная и гордая молодым буйством обоих начал; другая, тяжеловесная и недвижимая, с каменным лицом и неморгающим презрительным взглядом, как тот, равнодушный и мудрый в холодном бесчувствии женский идол скифский, пред которым некогда в этой самой Тавриде вот такая же точно Ифигения проливала кровь пленных чужеземцев острым жертвенным ножом на алтарях, сложенных из дикого камня. Ифигения, красная и нервная, признавалась, а скифский идол покачивал мерно головою, встречая кивками кружева наплывающей к ногам его морской пены...

— Что ж молчишь?! — с нетерпением воскликнула Ифигения и гневно отбросила носком тувфельки камушек, который подкатила к ней волна.

Скифский идол отозвался:

— А что мне говорить? Не маленькая... сама понимаешь.

— Да хоть душой назови...

Идол усмехнулся:

— А разве легче станет? Ну, изволь: дура. — Помолчала и прибавила: — Очень даже дура. Не ожидала я от тебя... Эх тебя Питер-то портит!

— При чем тут Питер? — с досадою отозвалась Виктория Павловна.

— Тем, что расхлябываешься ты там очень. У меня на глазах — любо-дорого взглянуть: воля! Коза дикая! А там натуркают тебе в уши разные твои умники овечьих добродетелей, и приезжаешь ты с развинченною головою... Овца не овца, да не скажешь и молодца... Ведь не свое это ты придумала. А? Ну, говори правду, гляди в глаза: ведь не свое? Ага, предпочитаешь очами своими ясными в море рыбку ловить... То-то!.. Эх ты! Кто навертел тебе в мозги кружевов-то этих? Поп твой, что ли, а?

Виктория Павловна с угрюмо склоненною головою чуть промолвила:

— И поп, конечно... да он не один...

По каменному лицу пробежала усмешка.

— Еще бы одному быть... Удивительно это мне, Виктория: спрятала ты дочку, признаваться в ней не хочешь, а между тем года не пройдет, чтобы ты к кому-нибудь не слетала поисповедоваться насчет своего приключения...

— Да если меня мучит?! — горячо воскликнула Виктория Павловна.

— Что тебе мучиться, раз дело решено? Семь раз примерь, один раз отрежь, а снявши голову, по волосам не плачут.

— Я все эти прибаутки премудрые и без тебя знаю, да оно спокойствия не дает... Пойми ты: мысли мои о Фене для меня душевный ушиб какой-то... И чем дальше время идет, тем все чаще и чаще, больнее и больнее.

— Совсем не о чем тебе беспокоиться, — холодно остановила ее Арина Федотовна. — Девочка — на своем месте, и ей хорошо.

— Да, вот того не доставало, чтобы худо было!

Арина Федотовна обратила к ней внушительный взгляд и произнесла веско, значительно:

— Начнешь вокруг этого дела суеты разводить, шуметь да тормозиться, так может быть и худо... Они, умники твои, попы-советники, тебя еще устроят, погоди!..

— Привязалась к попу! — усмехнулась Виктория Павловна. — А я именно в нем-то и разочаровалась совершенно... Он полоумный, в конце концов... Ты знаешь, что он мне внушал? Чтобы за Афанасьевича замуж вышла... Очиститесь, говорит. Да! Похоже!

Она засмеялась резко, злобно, искусственно. Но скифская идолица нисколько не удивилась.

— То-то ты его вызвала дом-то продавать, — ухмыльнулась она. — А я-то думаю: откуда ей в мысли пришло — вдруг такового собственного оценщика вспомнила? Ну, Виктория, извини, а я еще раз скажу: ах, дура, дура! — Помолчала и продолжала: — А на попа за что же ты в претензии? Поп свою

линию ведет и по своей линии прав. На то они, попы, и выдуманы мужчичишками, чтобы нашу сестру на цепь сажать. Подумаешь, не знаешь ты, как эти ихние обедни служатся!

— Говорю же тебе: не один поп... Что ты за него ухватилась?

— А, все они — попы! — с досадою отбросила Арина Федотовна эту оговорку ее. — Когда мужчичишки женский грех судят, то все они — попы... только одни в рясах, а другие в пиджаках и визитках... То есть — вот — разрежь ты меня на кусочки, если я могу понять, как это умная женщина может настолько себя унижать, чтобы спрашивать у мужчины совета в своем женском тайном деле... Все равно что овца бы пошла с волком советоваться, как ей себе волчьи зубы вырастить, чтобы волки ее трогать не смели...

— Положим, что волчьих советов никто мне не давал, — угрюмо возразила Виктория Павловна, следя глазами, как металась над морем белогрудая чайка, падала на волны и все промахивалась по добыче.

— Как никто? Как не давал? — вспыхнула на нее Арина Федотовна вдруг румяным лицом и загоревшимся взглядом. — Довели умную девку до того, что она одурела — сама себе невесть зачем новую петлю надела на шею, да не давали? Ах ты! Ну, не надеялась я. В самом деле по-овечьи блекотать обучилась!

Она встала с камней и, отряхивая от них крутые бока свои, говорила:

— Жаль, велика выросла, не то что поперек лавки, а и вдоль не уложишь... А то — сечь бы тебя надо, Виктория, просто-таки сечь — прутом, как маленькую, бывало, тебя секла... Перед кем расчувствовалась! В чью совесть поверила! Вот теперь и возись с сокровищем этим... эх ты!.. Нет этого хуже, чем когда человек перед врагом своим рассиропливается... Ценить тебя в деликатности чувств твоих — враг никогда не оценит, а все твои слабые места высмотрит да потом по ним и ударит...

— Это я понимаю, — тихо защищалась Виктория Павловна, — но почему ты так настаиваешь — перед врагом? Он откуда ничем не обнаружил... Напротив, показался мне чрезвычайно благодарным за все, что мы для него сделали...

Арина Федотовна посмотрела на нее и, вздохнув с усмешкою, сказала коротко:

— Ложись.

— Зачем? — ответно усмехнулась молодая женщина.

— Да, видно, в самом деле время высечь тебя... До благодарности договорилась! Нет, вы ее послушайте!

И, прислонясь спиною к приятно теплой скале, она устала на Викторию Павловну толстый указательный перст свой и заговорила учительно, точно с амвона:

— Когда мужчина женщине благодарность являет, это значит, что он еще не все с нее получил, что можно, и еще получить рассчитывает. И — как только мужчина тебе благодарен, так ты и знай, что он тебе первый враг. Потому что, первое дело, обязан он тебе и через это пред тобою в мужской гордости своей сконфужен. А кто же это любит? Второе дело: чтобы ты для него ни сделала, он все-таки думает, что мало и могла бы ты его, этакое великолепного кавалера, оценить по высшему преискуранту. А третье дело — вот это самое главное и сидит у него против тебя в мыслях: «Как бы мне эту ласковую дуру так устроить, чтобы она расшиблась на высший-то прицкурант...» Нет, Витенька, я по опыту своей жизни неблагодарных завсегда предпочитаю благодарным. Потому что — который въявь неблагодарный — он человек ясный и с ним дело чисто: это значит, что ты для него — как для вора выпустощенная клеть. Он свое, что мог, стибрил и от тебя отвернулся, потому что думает, что тут взятки гладки, больше с тебя снять нечего... Я тебе по чести скажу: потому я и Афанасьевича-то в Правосле терпеть согласилась, что особой благодарности в нем не замечаю. Да и не за что, если правду говорить, быть ей в нем.

Жить позволяю, кормлю, одеваю: так не собака же, все-таки человек. Ну а затем — ты меня не благодари, а смирно седи, не пакостничай, смотри на свет из руки моей властной, — это мне надо, пожалуйста, а на благодарность твою — наплевать! И уж как хорошо у меня эта музыка была налажена, а вот теперь ты больно не в лад моей песнехватила, из голоса его вывела — то-то поди ему жару поддала! Не враг! — язвительно продолжала она, уперев руки в бока. — Если не враг, то зачем же ты испугалась-то его и сейчас боишься? Почему теперь на совет меня вызвала, как от него остеречься? И резон! И должна остерегаться! И хорошо сделала, что вызвала. Давно пора. Уж если раньше не нашла нужным упредить, так следовало бы хоть сейчас же после откровенностей твоих остроумных, чтобы и меня-то вместе собою впросак не усадить...

— Я так и хотела, — мрачно возразила Виктория Павловна. — Как только спохватилась, что сделала глупость, сейчас же хотела... Но писать тебе — ты по писаному читать не умеешь, а посторонним такого письма в руки дать нельзя. Вызвать тебя к себе было неудобно, раз уж раньше не вызвала, когда поднялся вопрос о доме. Да и все распоряжения для тебя я уже передала через Ивана Афанасьевича...

— Могла бы сама заехать в Правослу, — недовольно заметила Арина Федотовна. — Сорок верст от Рюрикова не велик крик, а хозяйке в своем имении всегда есть зачем побывать...

— Да, — перебила Виктория Павловна. — Но он-то ведь уже знал, что у меня нет никакого спешного дела в Правосле и нового быть не может. Значит, если бы я вдруг, ни с того ни с сего прискакала к тебе вслед за ним, он бы, наверное, сообразил, что я струсила и с перепуга бросилась под твое крыло... Опасалась еще большую карту ему в руки дать. Потому что свой страх ему показать — согласись, — уж самое последнее дело. Я этого больше всего боялась.

— Это она, умница, называет не считать человека врагом! — насмешливо заметила скифская идолица и, зевнув, договорилась: — Подобных друзей, мой ангел, хорошо только в одном положении видеть: когда они на спине под холстинкою лежат...

— Арина, — глухо и спешно откликнулась ей Виктория Павловна, — я тебя уже просила когда-то и еще раз прошу теперь — серьезно, настойчиво, — чтобы ты мне подобных намеков никогда не смела делать...

— Вона! Да разве я всерьез?

— Все равно... Хотя бы и в шутку... не надо... Ты умеешь так шутить, что...

— То-то я и говорю: на расправу ты жидка... — равнодушно возразила Арина Федотовна. — Блудлива, как кошка, труслива, как заяц.

— И вот пословицу эту, — угрюмо отозвалась Виктория Павловна, — ты же знаешь, что я ее ненавижу...

— Ах, матушка, да ведь шила в мешке не утаишь!..

— Ну и пусть... Да зачем дразнить? Ведь ты знаешь, что есть слова, которые во мне чертей будят...

Арина Федотовна одобрительно рассмеялась:

— Да ежели я тебя именно вот такую и люблю видеть, когда в тебе черти разыграются? А уж овцою... не смотрели бы мои глаза!.. Н-ну-с... так, значит, в конце концов, опять подошло мне возиться с нещечком этим? Ах, пропади он пропадом, красноносый! Вот уж подарила бы знакомому черту, да совестно: назад приведет... Но — каков сукин сын, Витенька? А, каков? Приехал — как праведник. Воды не замутил. Хоть бы глазом сфальшивил, хоть бы не то что словом ошибся, голосом сквозил... А ты говоришь: может быть, и не враг! Нет, душенька, уж ты мне поверь: он все два месяца тем жил, что обдумывал, какую бы пакость сочинить... Ну а за то уж теперь я его, голубчика, извини, почтенный, приструню...

И, подумав, прибавила:

— Меняются времена-то. Помнишь, как я была против того, что ты ему позволила жить в Правосле и кормить его велела. Самим жрать нечего — а тут еще фрукт с волчьей пастью. А вот сейчас нахожу, что все обращается к лучшему. Раз уж ты осведомила его насчет Фенечки, то, конечно, теперь надо его пришпилить к Правосле. Глаза своего я не спущу с него, милого. Разве что сама раньше очокурюсь, а то слово даю: отныне его из-под моего надзора в самом деле только под холстиною вынесут...

— Слушай, — остановила ее хмурая Виктория Павловна, — ты все-таки уж не очень...

— Уж как умею! — презрительно фыркнула в ответ скифская идолица. — Я не барышня, у которой в голове питерские мысли играют и язык с привязи некстати срывается. Мужчинским подлостям не потатчица.

Виктория Павловна не ответила на этот попрек, а в нервном движении сжимая по очереди руку рукою, расшвыривая камешки носком правой ноги и крепко упираясь всем корпусом на левую, говорила:

— Как-никак, но он Фенечкин отец...

— За то и кайся! — отрубилА Арина Федотовна.

— Ну, я эту твою паучью логику, по которой самка уничтожает самца за то, что он ее сделал матерью, понять могу — принять не в состоянии... Так ты уж, пожалуйста, все-таки... как-нибудь помягче...

— В вату заверну! — фыркнула Арина Федотовна, но, видя, что Виктория Павловна очень расстроена, прибавила: — Не беспокойся: слова дурного не услышит... Я, душенька, и без слов могу. Он помолчал со мною — и я с ним помолчу... Да... И больше ничего — только помолчу вот...

И она оправдала свое обещание, потому что, призвав Ивана Афанасьевича к объяснению, привела его в смущение и трепет именно тем, что к объяснению не приступала...

А она, вполне насладившись его ужасом и молчаливым разглядыванием своим доведя его до трясучей лихорадки, наконец отверзла зияющие уста и протяжно возглаголала, как пролаяла:

— Отличаешься, соколик... хорош!.. Глядела бы не нагляделась, да нонче неколи: от Анисьи двор надо принимать... Приходи, душечка, об эту пору завтра: я на тебя, красавчика-умника, опять полюбуюсь.

Иван Афанасьевич стоял пред нею с опущенною головою, как проворовавшаяся и ожидающая заслуженной порки собака, и, право, даже, кажется, физически ощущал, что у него растет уже хвост, который так и хочется зажать между ног и заскулить со смертной тоски жалобно-жалобно...

Возвратясь в черную баньку свою, он в самом деле свалился совсем большой и, то пылая жаром, то трясясь, хоть и под шубкою, от лютого озноба, проклинал свое приключение как некое дьявольское наваждение вместе со всеми, истекшими из него честолюбивыми планами и мечтами...

«И бес ли понес меня на эту чепуху? Как будто я Арины не знал, Виктории Павловны не знал, себя не знаю? Ведь очевидное же это дело было, что ничего очиститься тут мне не может, потому что я человек натурою больной, духом слабый и против них упорствовать не могу... Да и мне ли судьбу свою менять? Куда? На что? Чего мне, старому дураку, надо? Какие и где чертоги могут быть для меня построены? Слава те, Господи, сыт, одет, обут, кровлю над головою имею, работою не нудят... Да, Господи же, чего мне еще? В самом деле, бес какой-то меня обошел и мутит... Не дай Бог, вышвырнут — куда я пойду?.. На какие коврижки польстился, что вздумал над собственной головою крышу ломать, покоя себя лишать и этакую страсть на себя нажил?»

Арина Федотовна, услышав, что Иван Афанасьевич слег, пришла его проведать — все такая же спокойная, грозная, загадочная и несловоохотливая. А Иван Афанасьевич —

едва наклонилась она над болезненным одром его, испытывая пронзительным оком, действительно ли он болен или ломает комедию, чтобы разжалобить, — вдруг взревел, как бык, взвыл, как волк, запищал, как заяц, и стал ловить ее руки, поливая их горькими слезами и умоляя больше не пугать его и простить, потому что у него душа не на месте, желудка в животе не стало, ног не чувствительно и во всем составе смерть.

Арина Федотовна на каждое из заявлений этих одобрительно качала головою, как бы подтверждая, что именно этого она и ждала, ничего другого с Иваном Афанасьевичем теперь и быть не может, — да еще мало ему по грехам его, следовало бы хуже... Но опять ничего не сказала в прямой ответ жалкому его вою, а только, помолчав, заметила с хладнокровием, что довольно глупо этак свиньею в грязи валяться, когда на дворе весна...

— А что мне весна?! — вопиял отчаянный Иван Афанасьевич. — Какая весна в состоянии мне помочь, если вы на меня сердце держать будете? Вы скажите, что меня простили, снимите с меня вину мою, так я и без весны оживу...

Тогда Арина Федотовна повернула к нему лицо, как толстую каменную маску, правильно раскрашенную белым и розовым, и блеснул ему в глаза тот издавна знакомый — лесной, змеиный — взгляд, что заставлял его, обмирая, холодеть до костей, и памятный медный голос, который казался ему судною трубою, прогнусил:

— Смотри, Иван: до трех вин терплю, а на тебе уже две накопилось...

И — с тем — ушла.

А Иван Афанасьевич, проводив ее глазами, чувствовал, что колени у него стали не то из губки, не то из ваты, и опять по нему заиграла мурашками лихорадка, может быть, последняя пред окончательным выздоровлением, но за то уж и знобкая же — пуще знобкая, чем все, которые его за это время трясли.

IV

Мирошниковы, у которых воспитывалась на положении приемной дочери белокуренькая и голубоглазая найденыш — девочка Феня, были только слава, что крестьяне. Не выписывались в купцы лишь потому, что было не для кого. Родные дети, два сына и дочь, поперемежли, когда семья еще была в бедности. А когда упорный труд и практическая сметка неумолимого булыни Ивана Мирошникова сложили-таки довольство, из которого затем стало быстро расти богатство, старуха Мирошникова уже перестала рожать. Стало быть, привилегий купеческих приобретать было не к чему: род кончался, а купечества как сословия Иван Мирошников не любил. Свое же крестьянское звание он почитал Божьим и втайне осмеливался ставить его превыше всех иных званий и положений человеческих, справедливо утверждая, что, сколько ни худо в нем пребывать в настоящий век, оно — единственное, которое не только само себя, а и все государство кормит, и наступят некогда такие умные времена, когда люди опомнятся и поймут, что это-то и есть самое главное, и поставят крестьянина «во главу угла». Торговое свое дело Иван Мирошников уже лет семь как оставил, начав утомляться разъездами, а главное, надумавшись, что — ни к чему. Жить с семьею себе не в обиду есть на что, а всех денег со света не огрешь. Когда маленькая Фенечка ночным грибочком выросла у калитки его двора, старику Мирошникову было уже близко шестидесяти лет, и крестьянствовал он только по привычке и пристрастию — как убежденный любитель. Надел свой он обществу давно возвратил, а чтобы не прерывать связи с родною кормилицей землей, купил себе — в одну из тех трудных для Правослы минут, на которые так справедливо негодовал Иван Афанасьевич — небольшой, принадлежавший Виктории Павловне Бурмысловой участок. Да и то уже больше возился по усадьбе, ухичивая свой старческий по-

кой, а поле сдал на руки троим работникам — немолодым, много лет живущим при нем мужикам, ему под пару: дюжим, серьезным, невеселым и — все с глазами, смотрящими куда-то много дальше того дела, которое они делают. И жену Мирошников имел такую же: высокая, ражая, жилистая старуха, еле обтянутая желтою кожей по широким костям, как ястреб — лицом и как голубь — взглядом; задумчивая, на вид — ух, суровая, а на деле — мягче воска; по суете домашней и по вездесущию в хозяйстве громкого ее голоса — колотовка, а по существу, мечтательница, для которой самым большим наслаждением было запереться одиноко в камору и читать житие Алексея Человека Божия. Впрочем, в последние годы она стала изменять этому святому — для Франциска Ассизского, павленковскую книжку о котором подарила ей Виктория Павловна. Старик тоже любил читать. Выписывал газету — и не какую-нибудь, а «Русские ведомости». Но главное его чтение было рукописное: какие-то тетрадки, которые он хранил под замком и столь тайно, что никто никогда уследить не мог, откуда он их вытаскивает и куда прячет. Смолоду Иван Мирошников остался в памяти многих горячим спорщиком — любителем бесед о вере, о божестве, о братстве человеческом, о таком взаимоотношении мирском, чтобы люди не ели друг друга, как двуногие волки. Теперь он, напротив, никогда ни с кем не спорил, а все уединялся да молчал, но думал — должно быть — все о том же. Потому что вдруг возьмет да и пропадет из дома. Старуху спрашивают: «Где хозяин?» — «Уехал по своим делам...» А он, вернувшись, глядь, читает своей старухе и работникам красную книжку, издания «Посредника», — «Чем люди живы» или «Где любовь, там и Бог», — и на первой страничке ее крупным косым почерком написано, точно частокол нагорожен: «Душевному Ивану Мирошникову от сочинителя...» Прослышал Иван Мирошников, что в сибирских далях, в минусинских степях, есть село Юдино, в котором крестьянство живет по

Второзаконию, «хлебною верою», — и пропал на полгода. В Юдине побывал, с пророком царем Давидом — Тимофеем Бондаревым сдружился, рукопись его о хлебе и труде читал — ту самую, о которой Бондаревым заповедано: «Кто мою книгу понять хочет, так прежде чем читать ее, пусть три дня не ест...» Иван Мирошников этот завет исполнил, и очень ему понравилось, как Бондарев советует отменить воинскую повинность, а на место ее ввести земледельческую, чтобы хоть на два месяца в году выгонять городской народ на работу в поле... Но не понравилось многоженство и — зачем Новый Завет прячут в тень за Ветхий и тем как будто клонятся в иудейство... И так-то понемножку развелись у Ивана Мирошникова дружки подобные во всех концах России. Многие из них писали ему с оказиями длинные письма, которые он читал в большие круглоглазые, с выпуклыми стеклами серебряные очки, а потом прятал в неведомые свои тайники. Сам же, будучи малограмотен, писал неохотно. Но нередко по получении писем уезжал в город, и там не раз заставляли его на почте либо в банке отправляющим куда-то значительные суммы денег. Другому бы, пожалуй, все это даром с рук не сошло: и батюшка на селе закопошился бы, и становой обеспокоился бы. Но Иван Мирошников как-то удивительно спокойно умел и угостить, и взятку дать, и в гости съездить, и у себя принять, — так что и с властями, и с попами пребывал в наилучших отношениях. Только, мол, ты меня не тронь, как я никого не трогаю, а уж от меня за то можешь рассчитывать на всякое убоготворение. В церкви бывал, даже говел довольно аккуратно, на свой счет выкрасил главы церковные и вызолотил иконостас. Но в старосты не шел упорно и всячески откупался от этой принудительной почести, которую мир не раз уже старался на него навалить. За что Ивана Мирошникова при таком его благоразумном и благонадежном поведении все-таки считали еретиком, трудно сказать. Приход Нахиженский слыл бедным и скупым, однако

старый поп Наум, почему-то полюбившийся Мирошникову, всякий раз, как архиерей хотел перевести его из этого нищего прихода в лучший, спешно скакал в губернию — откланяться и от молиться в консистории от владычной милости, уверяя, что он-де уже, хотя и трудно, притерпелся и привык, паству свою любит, паства его любит, — избавьте, государи мои, старого человека от житейской порухи, а я рад на сем месте хоть и живот свой скончать! А Мирошников, в свою очередь, очень держался за попа Наума, который, однако, был старик — на ногу ему не наступи, и вся поповка по его струнке, не пикнув, ходила: воспитывал причт свой железным жезлом. Но был в гораздо большей мере сельский хозяин, чем священник, и уж совсем не фанатик. Шел в народе слушок, будто Мирошников ублажает духовенство для того, чтобы оно не охотилось по следам некоторой новой секты, вроде хлыстов, к которой будто бы принадлежит он с женою и всем двором своим и которая быстро, хотя и в глухой тайне, катится по уезду, цепко забирая над Осною одну деревню за другою в свою обаятельную власть. Но на сектанта Мирошников был не похож. Жили старик со старухою, как все богатые крестьяне живут, ничем не отличаясь в быту своем от православных. Обставили домик свой с посильным деревенским комфортом, ели хорошо, не чуждались убоины, а старик при случае не был отказчиком даже умеренно выпить.

Во всем везло Мирошниковым, но потеря детей и позднейшая бездетность наложили грустный отпечаток на всю их жизнь. Старуха долго не сдавалась на злую насмешку природы, отказавшей ей в потомстве, — к докторам обращалась, травы пила, воды, потом пошла по лекаркам. В этот-то период и сошлась она с Ариною Федотовною, которая хотя лекаркою и знахаркою не была, но окрестный женский пол привык прибегать к ней как к стене нерушимого совета во всех затруднительных положениях и горях семейного быта. Несмотря на резкую разницу между двумя женщинами, из

которых одна метила в рай в соседство к Алексею Божьему Человеку и Франциску Ассизскому, а другую шабры почитали чуть ли немножко не с родни черту, они как-то сблизилась, и Арина Федотовна приобрела на супругов Мирошниковых большое влияние, что удивленной округе опять-таки нельзя было иначе объяснить, как — «Аринка Мирошниковых приворотным корнем в чаю опоила»...

Когда в марте 189* года неизвестная мать оставила у калитки Мирошниковых плетушку из дранок, в которой, закутанная грубым тряпьем, спала крепким сном опоенная маком двухнедельная Феня, событие это осветило весь дом радостью и загло уводящее существование двух хороших стариков новым огнем. То обстоятельство, что Мирошниковым подкинули младенца, никого не удивило. Напротив, удивлялись, что при их богатстве и известной любви к детям это — только первый случай. Убогий короб из драни и тряпье, в котором нашли девочку, не оставляли сомнения в деревенском и бедном происхождении найденыша. Нравы-то на берегах Осны аховые — на всю Россию славятся и песнями, и пословицами, и прибаутками, и даже А.С. Пушкин, побывав в здешних местах, увековечил приосненских красавиц эпитетом «податливых крестьянок». Но подкидыш местного производства в деревне — дело хлопотливое и неверное, потому что может повести, ежели урядник придирчив да поп любит мешаться не в свое дело, к полицейскому дознанию, повальному обыску с участием акушерки и тому подобным радостям, которых в крестьянском быту боятся пуще огня. Поэтому большинство местных грешниц находили гораздо более простым способом отделяться от своих плодов любви несчастной, спуская их в прорубь на Осне — зимою, а в теплые времена года — в ее же омут. Решили на сем, что какая-то из «наших шлюх» готовила подобную же судьбу и Фенечке, да разжалобилась и, проходя мимо двора Мирошниковых, решила на «ура» испробовать девочкино счастье — подкинула ребен-

ка к калитке богачей... И нет никакого сомнения, что счастье девочке действительно везло, потому что — надо же быть такому чуду: обыкновенно старуху Мирошникову — как многие деревенские женщины, храбрую днем, а впотьмах трусоватую до визга — и на крыльцо-то не выманишь в сумерки из дому. А тут она почему-то в течение вечера, будто ее тянуло неведомым предчувствием, трижды выходила за калитку и в третий раз наткнулась на подкидыша едва ли не в тот самый момент, как только положила его на талый снежок убежавшая мать... Это обстоятельство — что девочка нашлась уж очень как-то для себя удачно, хоть бы чуточку зазябнуть и попищать успела! — заставило многих кумушек предполагать, что Феня у Мирошниковых — не совсем-то безвестный подкидыш и получили они ее по предварительному уговору с таинственной матерью, которая захотела с нею расстаться. Думали на одну вдову, на двух девушек, на жену питерщика, которого родительснохач упорно держал в столице, не желая разрушать его возвращением в деревню свое новое любовное счастье, на бобылку-черничку, праздношатающуюся нищенку Секлетю и даже на одну пятидесятилетнюю однодворку. Но никому в голову не приходило искать настоящую мать Фенечки в далеком Питере, в приюте для секретных роженниц, откуда Арина Федотовна примчала ее курьерским поездом и — это кумушки верно угадали — действительно с рук на руки сунула ее предупрежденной Мирошниковой, с которою они всю эту маленькую драму разыграли художественно, как по нотам. Но, надувая народ, обе бабы и друг дружку надували. Арина Федотовна, подготовляя событие, уверила Мирошникову, будто Фенечка — дочь ее племянницы, живущей в Питере на месте, в горничных. Свихнулась, мол, с барчуком, да уж очень некстати, потому что вот теперь девушке представился случай выйти замуж за очень солидного жениха. На Красную Горку назначена свадьба, а невеста — на тебе, на сносях!

Дело покуда облажено ловко, жених ничего не подозревает, — теперь вот только бы роды так провести, чтобы никому в нос не чкнуло... Любя свою племянницу, Арина Федотовна обещала ей, что не отдаст ее будущего младенца в воспитательный дом, а сохранит его и воспитает в надежных руках. Как женщина почти что одинокая, потому что единственный сын ее Ванечка учится и живет в чужих людях в городе Рюрикове, Арина Федотовна взяла бы, пожалуй, младенца к себе.

— Да, знаешь, как обо мне худо люди думают, будто я и такая, и этакая; не поверят мне, станут говорить, что мой. Мне бы и наплевать, да — сын уже взрослый, пожалуй, вздыбится. А племянницу жениху тоже — если вести протянут — покажется подозрительным: откуда вдруг у тетеньки на воспитании обрелось какое-то неведомое дитя?..

Арина Федотовна лгала очень складно, но женское чутье подсказало обрадованной старухе Мирошниковой, что приятельница что-то скрывает и путает. В племянницу питерскую она не поверила ни на волос. А из того, что Арина Федотовна в последнее время слишком часто ездит в Питер, будто бы вызываемая своею барышнею по хозяйственным делам, заключила, что правда-то — как раз именно та, которую Арина Федотовна затемняет и затирает, будто бы она боится, не подумали бы люди: просто, грешница неумная, сама беременна и конфузится осрамиться ребенком во вдовстве своем, а сбить младенца как-нибудь, лишь бы отвязаться, жаль... Не подавая Арине Федотовне мысли, что она подозревает, счастливая Мирошникова столкнулась с нею в плане, в числах, наконец, уже из Петербурга, условным письмом, в дне и часе, когда младенец будет подкинут и в каком виде. И все у них, хитрых баб, из которых одна сгорала от страстного желания усвоить себе хоть чужое-то порождение, а другая столько же страстно искала, куда ей чужое порождение сплавить, — удалось, как по механическо-

му заводу и сошло как по маслу. Уряднику Мирошников сунул четвертную, попу Науму другую, и подкидыш вкатился в жизненный круг села Нахижного так мирно, гладко и бесшумно, как давай Бог всякому законному.

В выборе Мирошниковых приемными родителями для Фенечки Арина Федотовна не ошиблась. Старики в девочке души не чаяли. Единственное, в чем Мирошников не согласился изменить для Фенечки крестьянскому своему понятию, — не позволял взять к ребенку кормилицу. Выросла девочка на коровьем молоке, но такая здоровая, большущая, сильная и красивая, что на селе не было ни одной, ей подобной, из питавшихся в правильном законе природы.

Иван Афанасьевич хорошо знал прелестного ребенка, которому теперь было четыре года, с сильным перегибом на пятый, и который так неожиданно оказался его дочерью. И не только знал, но даже был с Фенею большой приятель. Люди серьезные и нравственные, Мирошниковы были не компания Ивану Афанасьевичу с его грязноватой репутацией в околотке. Старик Мирошников принимал его, когда Иван Афанасьевич бывал послан из Правослы, с усадьбы, за каким-либо спросом, вежливо, но неохотно и к близости с собою не допускал. Но однажды случилось Ивану Афанасьевичу гримасами и прибаутками своими рассмешить маленькую, едва начавшую ходить Феню. А к кому Феня благоволила и кому она улыбалась, это для стариков Мирошниковых было уже настолько властной рекомендацией, что против нее не могло устоять никакое предубеждение и испортить ее ничем было невозможно. Таким образом, Иван Афанасьевич получил самостоятельный доступ к Мирошниковым, куда его прежде не очень-то пускали, и стал у них если не всегда желанным, то довольно частым посетителем, потому что там угощали.

В свое время сближение это привлекло к себе внимание наблюдательной Арины, и она задумалась было: «Удобно ли?

К добру ли?» Но, поразмыслив, решила: пусть. Так как нашла это верным признаком того, что ни Иван Афанасьевич не подозревает в Фенечке своей дочери, ни Мирошниковы в нем — Фенечкина отца... Сама она, наоборот, бывать у Мирошниковых теперь избегала, потому что дружба ее со старухой пошла врозь вскоре после того, как подкинута была Фенечка. При каждом посещении своем Арина от раза к разу все прозрачнее замечала, что старуха Мирошникова при ней сама не своя — безумно ревнует ее к Фенечке, ненавидит и боится, аж даже трясется, точно — вот, пришла ведьма, которая наше сокровище унесет и похитит... Арина Федотовна уже давно догадалась, что Мирошниковы считают ее матерью Фенечки, нашла, что в общем составе тайны это очень недурно, и сообщила о том Викторией Павловне: вот, мол, как дело-то повернулось, цени — собственною худою славою твою прикрываю... Таким образом, ревность старухи Мирошниковой — матери приемной к подозреваемой матери родной — была ей понятна, и, хотя заблуждение старухи ее немало сместило, дразнить такого рода ревность Арина Федотовна находила безнужным и опасным... От частых посещений Мирошниковых она уклонилась тем легче и охотнее, что девочка ее невзлюбила и в ее присутствии всегда куксилась и дичилась...

— Вот и говори после того, что дети не вещуны, — шептала старуха Мирошникова мужу в тайных разговорах, которые только стены слышали. — Уж на что ласковый ребенок Фенечка, а при Арине — словно обменок: такая угрюмая да сердитая... Чувствует ее невинное сердце, что не чужая ей эта дрянь: не прощает, что Арина ее от материнской груди оторвала и, как щенка, в чужие люди бросила... А той, ведьме, хоть бы что. Только глаза пучит да зубы скалит.

Но, ругая Арину Федотовну за отсутствие нежных материнских чувств, старуха пуще всего на свете боялась, как бы чувства эти в ней не пробудились. И малейшая ласка

Арины ребенку, ничтожнейшее ее к нему приближение уже заставляли старуху бледнеть... А вдруг опомнится, ощутит совесть и скажет: «Я мать!» Вдруг — предъявит права, потребует, отнимет?

Наоборот, Викторию Павловну старуха Мирошникова очень любила, отнюдь не подозревая, что если есть угроза для материнских чувств ее к Фенечке, так ходит он по свету, роковой страх этот, не пожилою сорокалетней бабою, но таинственно воплощенный в сверкающий образ нарядной и гордой красавицы барышни, которая так весело качает радостную, хохочущую Феню на коленях своих, так любовно осыпает ее бриллиантами взглядами из своих темных и ярких, как звездная полночь, очей...

Когда Виктория Павловна бывала в Правосле, она навещала Мирошниковых и два, и три раза в неделю, и отнюдь не делала секрета из того, что очень любит Феню и балует ее, как умеет и как ей позволяют средства... Но эта привязанность не бросала на нее подозрений, тем более что бывали у нее и другие любимицы на селе — нарочно заводила она множество детских дружб и старалась во всех быть равною. Некоторое предпочтение другим Фенечки со стороны Виктории Павловны легко объяснялось тем, во-первых, что девочка действительно была хороша собою — чудо, настоящая игрушка. А во-вторых, и тою естественною жалостью, которая является у женщин к ребенку, находящемуся все-таки, как ему ни хорошо на чужих руках, но в несколько ложном положении, без родных отца и матери... Так понимал раньше это дело и Иван Афанасьевич, который, конечно, о большой симпатии Виктории Павловны к семье Мирошниковых вообще, а к девочке в особенности, тоже знал... И тоже ему никогда и в мысли не приходило подозревать, что тут есть что-нибудь другое, кроме интереса к красивой милой девочке — игрушке. Фенечка Викторию Павловну тоже очень любила, но Виктория Павловна вообще была

очень любима детьми, как почти все веселые и молодые женщины, которые не имеют своих детей и потому рассыпают материнскую любовь, находящуюся в их сердцах в праздном и, так сказать, статическом состоянии, в динамическую розницу ласки, оказываемой детям чужим.

Теперь, когда Иван Афанасьевич знал тайну Фенечки, он легко мог объяснить себе, почему между Мирошниковыми и Викторией Павловой завелась в последние-то годы уж такая очень большая дружба. Понял он и то, почему в те месяцы и недели, которые Виктория Павловна проводила в Правосле, Арина Федотовна, бывало, не только не посылает его с поручениями в Нахижное, но и напрямки предупреждает, чтобы он покуда к Мирошниковым не «шлялся»...

— Можешь с барышнею встретиться... Она любит у них время проводить — чай-сахары, печки-лавочки... Не больно ей приятно видеть твое красноносое личико в одной компании с собою... Довольно того, что дома сияешь...

Теперь, когда он знал — третьим, потому что Виктория Павловна и Арина тоже знают, — его стал теревить и грызть вопрос: знают ли Мирошниковы? Молчат по неведению или только потому, что уж очень хорошо умеют держать язык за зубами?.. Очень любопытно стало это теперь Ивану Афанасьевичу, и страшно досадовал он на себя, что тогда, в губернском городе, не сообразил сразу, в растерянности, и не догадался расспросить Викторию Павловну, известно ли Мирошниковым происхождение Фени... В том, что они не подозревают в нем, в Иване Афанасьевиче, отца девочки, — в этом-то он был уверен, этого-то им, конечно, ни Виктория Павловна, ни Арина Федотовна не сообщили. Но знают ли они, что Феня — дочь Виктории Павловны?.. Если знают, что дочь, — ау! Много тут вокруг дела не натанцуешь... Значит, обо всем переговорено и условлено, все решено, покончено и подписано, в каких отношениях им между собою быть и какое у кого право... Ну а если это для Мирошниковых та-

кой же секрет, как был для меня по сю пору, то еще можно посмотреть... Этак — при случае, выбрав хорошую минуту, взять да и намекнуть, что, мол, вот вы девочку-то растите да холите, а ведь у нее родители есть... Смотрите, не потребовали бы ее от вас в одну печальную минуту...

«Ведь у них в этом случае так остро зашло, — рассуждал он, — что, случись подобный грех — Фени как-нибудь лишиться, то не знаю, как старик Мирошников, а старухе — хоть взять усил да удавиться на воротах...»

Что, собственно, мог извлечь Иван Афанасьевич из воображаемой игры, которая его в мечтах соблазняла, он еще определенно и сам не знал, а только чувствовал смутно, что из этого вытечет какая-то власть его над Мирошниковыми, а иметь власть над сильным и богатым человеком — штука всегда приятная и лестная. Но, сколько он ни вертелся вокруг Мирошниковых, а к интересующему его вопросу никак не имел случая подойти, равно как не мог составить вывода из косвенного наблюдения. Иногда ему казалось, что Мирошниковы знают о Фене меньше, чем кто-либо, потому что, как слепые, прячутся от вопроса об этих таинственных родителях, которые вот в один прекрасный день возьмут — явятся и ее от них отберут... А иногда начинало казаться по случайной фразе, которая подозрительно настроенному уму чудилась намеком, а то просто по взгляду, по обращению, что Мирошниковы знают все не только о принадлежности Фени Виктории Павловне, но даже, пожалуй, едва ли и не о нем... А каковы бы из того ни были результаты, но оба эти состояния тайны предполагали и различные тактики, которых он в отношении Мирошниковых должен был держаться... Родительскими чувствами Иван Афанасьевич не был богат. О чужих детях он с цинизмом, ему свойственным, говорил, что начинает их любить в возрасте четырнадцати лет, да и то только девочек. А когда друзья-благодетели предлагали ему, шутя, вопрос: «Иван Афанасьевич, есть у тебя

дети?» — он отвечал клоунским дурачеством, что есть, и даже очень много.

«Если в городе увидите — мальчики на улице спички-ваксу продают, — из троих один мой! Ежели в деревне увидите — девчонки босые милостыню просят, — из трех одна моя!»

Но к Фенечке зародилось в нем несколько иное отношение... Нежностью особенною он и к ней не воспылал, но смотрел на нее с невольною гордостью: она ему казалась очень похожею на него, и, вглядываясь в ее беленькое, еще мелкое чертами лицо и голубые глазки, он с тайным самоудовольствием думал про себя: «Вылитый я, когда водки не пил и бороды не растил.. Ай да мы!.. Какова принцессочка растет!..»

А принцессочка — славная деревенская принцессочка — и самом деле росла на славу...

С наступлением теплой вешней погоды день-деньской теперь бродило и шныряло по дому, по двору, по улице маленькое светловолосое, светлоглазое существо — аршин росту — с улыбающимися ямочками на румяных щечках, с оскаленными молодыми, точно белые грибочки, зубками-жемчужинками и с пытливым, допрашивающим взглядом — навстречу каждому предмету, будь то жив-человек, лошадь, курица или у ворот уродливый серый камень... Ходило и лопотало невнятным языком, слушая который, старик Мирошников только ухмылялся, терпеливо покачивал сивую голову, наслаждаясь звуками детского голоса, хотя старый, тупеющий слух его не разбирал в них ни единого слова. И в конце концов звал жену:

— Старуха, чего она тут плетет?

Старуха не только растолковывала, но еще и обижалась, как это старик не хочет понимать Фенечку, когда она такая умница и так прекрасно для своего возраста выговаривает...

— Фенечка, что ты тяте сказала? Ну скажи, будь умница, что сказала?

Фенечка вынимает изо рта палец, который она обсасывала в очередном порядке, обтирает его о ситцевое свое пузичко и с укоризненной самоуверенностью произносит:

— Бонти мака бя.

— Ну чего же тут не понять? — изумлена старуха. — Глухой ты, что ли? Пришла тебе доложить, что Фарафонтий большую овцу маслом намазал... сам же наказывал вчера с вечера...

— Ах ты, Господи, смотри, пожалуй! — заливается смехом Мирошников и, подхватив девочку на руки, начинает бросать ее, взвизгивающую, вверх, голубым пятнышком, точно бабочку, реющую под зеленою березой. — А мне и невдомек, что у нас подобная хозяйшкa завелась... Я ведь думал, кроха, что ты у меня зонтик просишь...

— Она у нас дому рачительница! — с гордостью подтверждает старуха. — Все видит, ничего не упустит... от земли не видать, а уже глазок-смотрок...

Друзей у Фенечки — полон мир. Друг-работник Фарафонтий, которого она зовет то Бонти, то Понти, но тогда он ее поправляет, что этак не надо, нехорошо, потому что Понтии бывают Пилаты, а он человек крещеный. Что за зверь Пилат и зверь ли он или какая-нибудь другая скверная штука, Фенечка не знает, но при имени Пилата ей представляется огромная пасть, ощерившаяся вместо зубов пилами, которые висят у тяти в кладовке, как запертые в темной конуре собаки. На синий отлив их приятно и жутко смотреть, когда в кладовку через отдушины льется слабое сияние светлого солнечного дня... И девочке становится жаль и совестно, что она обозвала такую отвратительно зубатую тварью милого Фарафонтия, который живет в таком прекрасном сарае, где по стенам висят такие прекрасные хомуты и шлеи, и от них идет такой очаровательный, прохладный и острый

запах... Она просит прощения, уверяя, что больше никогда не будет... А Фарафонтий рассказывает ей удивительные, любопытные вещи о ее других приятелях — пегом мерине, которого зовут Скобелев, и гнедой кобыле Неряхе, умной, со своими четырьмя ногами за двух двуногих баб, и великой мастерице отлынивать от работы, хотя, уж если захочет она везти, так против нее — жеребцу не вытянуть... А чуть пожалел кнута, сейчас — Неряхи будто и нет в упряжке, всю тяжесть переложит на Скобелева либо на Мальчика, а сама только делает вид, будто везет... вона какова искусница!

Бродит дитя и лепечет. Взберется на навозную кучу в углу двора — говорит с огненно-красным, чуть не с нее ростом, петухом Гусаром, а он, всегда стоя к ней боком, бессмысленно и гордо поглядывает на девочку желтым ярко-стеклянным колесиком глазка своего, точно хочет, дурак, уверить ее, что он «все это уже давно знает»... И вдруг в самом интересном месте захлопает крыльями, заорет, загорланит, и бегут к нему со всех сторон рассыпавшиеся по двору за кормом суетливые, глупые куры.

«Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!...»

А Гусар им смеется в ответ:

«Да что вы, глупые, разве я вас звал? Я так, на хорошую погоду...»

Говорит Феня с пегим Скобелевым, который медленно поворачивает к ней от яслей, жуя и чмокая овес, кроткую морду с отвислою губою и светит на нее глазами, налитыми коричневою влагою, странно отражающею в себе четырехугольник распахнутых в конюшню дверей, синий-пресиний от веселого дня, который так и прет с яркого неба на зеленую землю, чтобы поиграть с Фенею и сделать еще синее ее голубые глаза — из забудочек в василечки... А однажды Виктория Павловна Бурмыслова, придя навестить Мирошниковых, застала, как Фарафонтий стыдил Фенечку, а она — только головка из соломы торчит, забила в собачью конуру и прячется.

— Ну уж это, как хочешь, девица, не порядок... это, как хочешь, я должен тятеньке доложить...

И, увидав входящую в калитку барышню, обратился к ней с лицом, и сердитым, и хохочущим:

— Помилуйте, барышня, озорница-то наша Полкашку за ухо укусила!..

А девочка, барахтаясь в конуре в обнимку с грозным Полканом, которого все воры на сорок верст кругом знали и боялись хуже черта за неподкупно свирепый нрав его, звенела его цепью, смеялась — волосенки все в соломе — и кричала:

— Он сам меня первый... Он сам первый...

— Совсем бесстрашная растет... Никакого на нее пугала нет... — восхищались Фенею в доме.

Уйдет через огороды, спустится в овраг, раздирает сухие выползины сменивших свою шкуру ужей... Лежат они, медноголовые, узорно-мраморные пресмыкающиеся, вокруг нее, словно вытянутые палки. Другие ребята при одном взгляде на них воем воют и криком кричат, а ей хоть бы что... Навьет на руку да и носит: браслет! Один раз искали-искали ее — пропала!.. Где-где?.. Старика Мирошниковва, хорошо еще, дома не было, а старуха мало что сердцем не лопнула с перепуга: то ли девочка в Осну свалилась, то ли ее цыганы увели... А она, оказывается, через овраг на кладбище удрала — смотреть, как хоронили Андрея-плотника... Всю службу отстояла, покуда покойника в землю опустили и насыпали над ним глиняный бугор... И тем же вечером Феня торжественно закопала в ямку на огороде дорогую куклу, которую ей подарила Виктория Павловна в последний свой приезд... И ходила вокруг ямки, и что-то бормотала, и будто пела и кланялась... А на самой — мамкин платок длинный, с хвостами бахромы, тянется по грядкам. И на головке — по самые плечи — Фарафонтьев облезлый треушок, будто батюшкина скуфья... Пот с нее так и льет в три ручья... А она-то попит, она-то попит!..

Восхищения принцессочка, как звал Феню Иван Афанасьевич, вызывала много, но были глаза, которые приглядывались к ней с хмурою опаскою — и по той же самой причине, что порождала самодовольные восторги Ивана Афанасьевича: что дальше, то больше обозначалось сходство девочки одновременно и с отцом — глазами и носом, и с матерью — гордым, изящным ртом, статуейною смелостью лба, тонким благородным завитком уха... Сходства еще не замечали чужие люди, далекие от подозрений об истинном происхождении Фени, но те трое, кто знал, уже смущались им, потому что находили его уже поразительным, ужасающим, и только удивлялись, какое это счастье еще, что куда как-то никто не обращает внимания...

«Эк ее вылило! — с досадою наблюдала Арина Федотовна. — Такая рожица обозначается, что о родителях и в газетах не надо печатать: оба лика — как на медали!»

К собственному своему удивлению, Иван Афанасьевич чувствовал себя равнодушным к мысли о том, как устроена и живет Фенечка, и ему было очень приятно сознание, что ей у Мирошниковых хорошо, и, значит, это его произведение не осуждено скитаться, собирая под окнами кусочки в деревне или продавая на улицах спички в городе. И это условие умиротворяло его положительным влиянием едва ли не в той же мере и с теми же благими результатами, как отрицательным влиянием парализовала его брыкливый, но сердитый, да не сильный задор боязнь Арины Федотовны... Если бы девочка невзлюбила его или гнала от себя прочь, он, может быть, оскорбился бы и тогда с неразборчивого зла мог сделать Мирошниковым какую-нибудь неприятность... Но, наоборот, Фенечка, рассмешенная им, подкупила Мирошниковых в его пользу, а его — тем самым — и в ее, и в их, и даже в свою собственную... И, чем больше вглядывался он в ее положение и обдумывал свое, тем больше ему казалось совестным и нехорошим сделать что-нибудь такое,

что сейчас может испортить Фене пребывание в семье Мирошниковых...

«Я, положим, человек беспутный и морали строгой в жизни своей не был подвержен, — соображал он, — но злобы или жестокосердия там какого-нибудь особенного тоже в душе не питал, не питаю и питать не надеюсь... Ежели человек мне напакостит, конечно, это большое удовольствие, в свою очередь, угостить его на отместку, так, чтобы голубчик и внукам, и правнукам своим заказал не то что со мною — с моим родом связываться... Вот, например, если бы с госпожою Ариною Федотовною Молочницыною привел Бог когда-нибудь этак честно сосчитаться, так я бы потом, кажется, ограбить готов кого-нибудь, а уж пудовую свечу Николе Угоднику непременно бы поставил... Но — что касается Фенечки... Господи, ты, Боже мой, младенец, невинный, несмышлениш... Как это возможно, чтобы мыслить ко вреду ее? На кой прах мне ее извлекать из нынешнего ее состояния? Если бы еще я был в самом деле родитель, а то ведь только одно воображение... Какой я отец? Какая она мне дочь? Ну что бы я с нею стал делать, если бы вот, например, и Мирошниковы, и Виктория Павловна сейчас отступились от нее — сказали бы мне: «Хорошо, твое счастье, на, бери, воспитывай...» Ну что бы я стал с нею делать?.. Одно — продать шарманщику, чтобы вместе с обезьянкой водил по улицам да песни пела бы тирольские либо в трико по ковру кувыркалась. Так не подлец же я, в самом деле, какой-нибудь, не людоед и не Ирод, сорок тысяч младенцев в Вифлееме истребивший... Ну их... Пускай себе живут, лишь бы и мне немножко жить давали».

А жить ему сейчас давали. Он очень хорошо замечал, что открытие все-таки несколько повлияло на устройство его быта к лучшему. Видя, что он в своей закопченной баньке сидит смиренно, ведет себя хорошо и с тактом, проследив за ним, каков он, когда бывает у Мирошниковых, и получив от последних о нем хороший отзыв, Арина несколько смягчила

в отношении его свой презрительный и властный режим. Стала снисходительнее смотреть на его маленькие выпивки и даже на любовные шашни, прежде для него столько запретные... Это совсем устроило Ивана Афанасьевича. Он понял, что это — ему платят, чем могут. А так как он хорошо знал, что больше заплатить сейчас и нечем, то отвоенные уступки до известной степени пощекотали его самолюбие и разбудили, и ввели в обычную силу податливое легкомыслие, которое в нем, уже много лет развинченного водкою, распутством и привычкою робеть сильных людей и почти инстинктивно угождать им, даже когда они того не требуют, заменяло характер. Иван Афанасьевич мало-помалу в самом деле стал позабывать всегорделивые и корыстные планы, обуревавшие его после открытия в течение остальной зимы, когда он — одинокий за гитарою — чего-чего только не перемечтал в черной баньке своей при мигании тридцатикопеечной жестяной лампочки. Как он теперь, стоит только расхрабриться да захотеть, покажет себя: скрутит и Арину Федотовну, злодейку, и Викторию Павловну, гордячку, и Мирошниковых, богатых дураков, родительски завладеет принцессочкою Феней и начнет через ее посредство управлять-командовать в Правосле, а отсюда...

«Ага, Марья Моревна, кипрская королевна! Голова в облаках, во лбу звезда, под косою месяц! Мы — земляные черви, болотные лягушки... что мы против вас? Что мы можем вашему непоколебимому величию сделать? Хи-хи-хи... Да вот Фенечку сделал же!.. Хи-хи-хи... Глазки мои, волосики мои... Ай да мы! Принцессочка-то какая растет... Ваше счастье, подянки, что хороша удалась и к месту ладно пристала... Только ради ее терплю и прощаю! И... и ничего мне не надо! И... и я великодушный человек! И... и точка!»

И он не лгал, потому что принадлежал к числу тех счастливо-пассивных людей, которые, отволновавшись и отболев нервами по вопросу, как бы он ни был колюч для них и важен,

затем, в один таинственный наплывающий момент душевного парения, вдруг по какому-то спасительному инстинкту самосохранения, что ли, слагают его как бы в некий внутренний архив свой, будто дело решенное и не требующее больше никакого внимания.

Когда же разыгралась весна, да зацвели рощи, да запели птицы и потянуло его ставить силки по кустам и верши и морды в заводях Осны; да начал он, старый фавн, шныряя по лесным оврагам, по-прежнему ловить своих деревенских нимф — подманивать старых любушек и улещать новых, — зимняя драма улетучилась из его легкомысленной памяти, точно пар промчавшегося мимо поезда, растаяла, как гримаса праздного кошмара...

В один майский день, когда Иван Афанасьевич, босой и без пиджака, шагал, с удочками на плече и с банкою копошащихся дождевых червей, торчащею из брючного кармана, Арина Федотовна остановила его окриком из амбара, где меряла и освежала пересыпкою бедные остатки слежавшегося овса.

— Слышь-ка, — сказала она довольно мягко, когда он подошел, — я вчера ввечеру депешу получила: барышня едет... все лето думает в Правосле прожить...

Иван Афанасьевич не замедлил выразить по этому поводу искреннейшее восхищение, но несколько рассеянное, потому что нетерпеливо косился на свою банку с червями: в этот момент караси, ждущие его в пруду, были ему интереснее всех барышень в мире... Арина Федотовна очень заметила настроение Ивана Афанасьевича и оценила его.

— Так вот я и хотела тебя предупредить, — сказала она, пересыпая с белой руки на белую руку золотисто струящийся овес. — Ты там... когда ездил в губернию дом продавать... оценщик! Барышня в нервах была и много лишнего наговорила... Ну так вот, если ты от нее слышал что-нибудь этакое... ненужное... так ты запомни — ничего этого, что барышня тебе говорила, не было и нет... Понял?

— Помилуйте! — даже обиделся Иван Афанасьевич, думая о серебряных карасях. — Что же тут не понять? Не мудрость какая... Напрасно даже упоминаете: имею достаточно собственного соображения...

Арина Федотовна посмотрела на него с некоторым изумлением к благоразумию, превзошедшему ее ожидания, и упористо повторила:

— Да ты так это хорошо запомни, что, если даже она сама снова заговорит с тобою о том же, так ты ей должен сказать: это вам, Виктория Павловна, во сне приснилось, я знать ничего не знаю и ведать не ведаю... Понимаешь?

— Так точно, Арина Федотовна: именно — знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Великолепно. Именно это настоящее, что должен сказать.

— Чтобы вычеркнуто было — и конец.

— Конец, — как эхо, откликнулся веселым согласием Иван Афанасьевич, зажмуря глаза свои, пред которыми сверкала воображаемая серебряная чешуя.

Арина Федотовна отпустила его, конечно, не преминув на всякий случай прибавить:

— А иначе на меня не пеняй.

Но даже это зловещее напоминание не вывело Ивана Афанасьевича из вешней безмятежности духа. Он шагал со своими удочками к своим карасям, и, когда мысль его от предстоящего удовольствия следить на блестящей черни пруда, под ольхами, качающиеся в пробке перья поплавка отрывалась к только что выдержанному разговору, его охватывало смутное недоумение, готовое, право, уже не по Ариному приказу, а по собственному сомнению думать: а и впрямь не было ли все тогда во сне?

V

Вслед за телеграммою о скором приезде пришло письмо. Виктория Павловна не сообщала Арине Федотовне, что те-

атральная поездка, в которой она рассчитывала принять участие, расстроилась и, таким образом, она осталась на лето без приличного ангажемента; да и вообще сценическую карьеру намерена бросить, так как убедилась за два года, что таланта у нее никакого нет, а обращаться в театральную проститутку с туалетами что-то не по вкусу. Итак, она зачеркивает еще один неудачный опыт приспособиться к жизни и возвращается в Правослу, где и проживет сколько будет возможно по средствам и по силам. А выдержать такое отшельничество собирается долго — может быть, даже до конца дней своих, а уж года-то два-три — наверное. Деньгами покуда надеется обойтись, потому что дом она все-таки продала, хотя уже и без экспертизы Ивана Афанасьевича.

Однако именно эта продажа и подорвала ее окончательно. Дом был продан дешево, и почти все деньги ушли на уплату текущих долгов. А между тем распространился слух, будто она, напротив, очень много получила за продажу дома, — и вот решительно все кредиторы, как ее личные, так и покойных ее родителей, сразу двинулись к ней с требованиями окончательной расплаты... Виктория Павловна расплачивалась направо и налево, как могла, но весь этот неожиданный наплыв устроил ее так хорошо, что она оказалась в буквальном смысле слова без копейки и принуждена была засесть в Правосле уже не только по своему желанию, а по необходимости, потому что здесь ее хоть сколько-нибудь и как-нибудь кормило и содержало «натуральное хозяйство». Значит, оставалось в самом деле позабыть на время все другие возможные исходы и планы и надолго затвориться в своем углу, переживая тяжелую полосу, покуда Арина Федотовна как-нибудь обернется и покончит с наиболее досадными, с ножом к горлу пристающими долгами.

Вопреки такому невеселому положению приехала Виктория Павловна очень спокойною, бодрою, в духе, так что даже странно было видеть тем, кто знал ее тяжелые и трудные

дела. Сразу чувствовалось, что она очень много сломала и порешила в своей жизни старого и привезла в себе громадный свежий запас сил, воли и самообладания для нового, которое теперь авось жизнь укажет. Арина Федотовна по глазам возлюбленной своей питомицы угадала, что за срок, в который они не видались, Виктория Павловна успела пролететь сквозь какой-то бурный кратковременный роман, и теперь, как всегда после подобных встрясок, тайными вихрями врывавшихся в ее жизнь и вихрями же бесследно улетающих, она будет надолго «умницею» — спокойною, рассудительною и совершенно равнодушною к презираемой Ариною Федотовною «козлиной породе — несътому мужчинею». Перед приездом Виктории Павловны Иван Афанасьевич, несмотря на свое внешнее опьянение, струхнул было, как-то она теперь встретит его — впервые после городского разговора-то — и не было бы ему от нее худо за тот сон, что ей привиделся, а она неосторожно рассказала. Да и не один он, а даже Арина Федотовна побаивалась и зорко приглядывалась к Виктории Павловне в первые дни ее появления. Но оба ошиблись, и Иван Афанасьевич теперь даже не мог отдать себе отчета, приятна была ему ошибка или — совсем напротив. Виктория Павловна по нем, буквально как по неодушевленному предмету взглядом скользнула, любезно подала ему руку, спросила о здоровье и осведомилась, что он подделывает, как гитара, велик ли прилет певчей птицы в этом году, хорошо ли клюет рыба. Затем вассал был отпущен без всяких других речей, успокоенный насчет своей судьбы милостивым разговором, которого был удостоен, но с совершенно ясным показанием, что он «Марье Моревне, кипрской королевне», ни на что не нужен и как бы вычеркнут ею из записной книжки своей жизни.

Как всегда, с появлением Виктории Павловны в Правосле началось к ней усердное мужское паломничество со всего уезда. В этом году даже больше, чем когда-либо, так как

сверх обыкновения этим летом к Виктории Павловне наезжали и дамы, хотя, конечно, не местные, а в своем роде тоже экзотические и — «на особом положении», как она сама.

Верстах в двадцати от Правослы, вверх по Осне, в глухом лесном селе оказалась на подневольном жительстве юная барышня, высланная еще по прошлой осени в эту глушь, на попечение родных, из Москвы в результате много нашумевших в свое время первомайских беспорядков на фабрике мануфактуриста Антипова. Барышня эта, красивенькая, как белый и румяный херувим, сливающийся на итальянской иконе золотой пух кудрей своих с пропитанными солнечным светом облаками, звалась по паспорту Диною Николаевною Николаевой, но слыла в своем обществе Чернь-Озеровою: по фамилии одной весьма блистательной московской дамы — Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой, которая эту херувимоподобную Дину воспитала как приемную дочь^{*)}. Но Москва даже не подозревала, а давным-давно уверена была, что слово «приемная» тут совершенно лишнее: как Дина, так и другая воспитанница г-жи Чернь-Озеровой, помоложе первой года на четыре, Зинаида Сергеевна, приходятся великолепной Анимаиде Васильевне несомненнейшими родными дочерьми, прижитыми во внебрачном сожительстве этой дамы с Василием Александровичем Истукановым, крупным московским дельцом-коммерсантом, директором-распорядителем громадного универсального магазина Бэра и Озирис. Секрет своего происхождения девушки могли подозревать и, конечно, подозревали тоже давным-давно. Однако лишь ссылка Дины, запутавшейся в политическую историю, сломала лед тайны, которую Анимаида Васильевна искусственно и властно поддерживала не только во внешних и показных, но и в домашних, интимнейших отношениях с дочерьми своими, словно не замечая, что они уже взрослые и держать их в состоянии дет-

^{*)} См. мой роман «Девятидесятники».

ского неведения о самих себе — и жестоко, и нелепо. Ссылка старшей «воспитанницы» потрясла «воспитательницу» вопреки ее репутации женщины холодной и сухой, да к тому же ученой педантки, полупомешанной на феминизме, вне идей которого ей — хоть трава не расти. Анимаида Васильевна, кажется, только теперь впервые почувствовала, насколько дорога ей дочь, которую до сих пор она, пожалуй, даже мало любила, как не совсем-то удачный опыт своей феминистической дрессировки. Она растерялась, размякла, пожелала непременно сопровождать Дину в ссылку и, без предупреждения нагнав дочь в глухом селе, ей назначенном, бесконечно изумила Дину своим неожиданным появлением. Девушка никогда не ожидала, не смела не то что надеяться, а хотя бы даже мечтать и грезить, чтобы блестящая Анимаида Васильевна пожертвовала ради нее Москвою и обществом, в котором она царила, привычная к поклонению пред ее красотой, умом, изяществом, образованием, окруженная известнейшими, интереснейшими, талантливейшими, остроумнейшими людьми столицы... Дина была и растрогана, и смущена жертвою, наотрез отказалась принять ее, уверяя, что этого ей уж чересчур много. Она счастлива уже тем, что Аниманида Васильевна не пожалела времени и труда для свидания с нею, — но поселиться в медвежьем углу?! Как это можно? Анимаида Васильевна, чем облегчить ее положение, только отяготит его, потому что она истерзается совестью, чувствуя, как Анимаиде Васильевне здесь, с нею и из-за нее, нехорошо, скучно и одиноко.

Анимаида Васильевна, выслушав ее доказательства, долго молчала... Так долго, что Дина думала уже, что убедила ее, и — не без злорадства за свою угадливость пополам с горечью разочарования в блеснувшей было и так быстро погасающей надежде, — говорила про себя: «Что и требовалось доказать... Кусок чувствительной мелодрамы отмерян ровно

настолько, чтобы совесть была чиста и публика довольна... А затем...»

Но Анимаида Васильевна встала пред нею — в иссе-ра-фиолетовом парижском дорожном костюме своем, делавшем похожей ее, прекрасную и стройную в поздней неувядаемой молодости, на богиню красивой осени, которая тогда стояла на дворе. И — изящная и строгая, с чуть согретым новым светом в глубине хрустальных глаз, которые Дина всю жизнь свою так любила и которых ледяной власти так боялась, — она произнесла:

— Мне вдвоем с тобою не может быть одиноко, Дина. Я — твоя мать.

Сказано это было спокойно и просто. «Точно она мне стакан чаю предложила», — не то восхищалась, не то негодовала потом Дина, рассказывая сцену эту новому другу своему, Виктории Павловне Бурмысловой.

Но тогда она только растерялась... Настолько, что ни удивлением, ни радостью не откликнулась, а, заикаясь и не зная, куда девать ей глаза, пробормотала:

— А Зина?

Спокойный голос отвечал:

— Твоя родная сестра... Отец ваш — конечно, Василий Александрович Истуканов... Ты, вероятно, и сама была готова к этому...

Только теперь Дина почувствовала, как была она ошеломлена признанием матери, и по мере того, как ошеломление проходило, возвращающееся сознание несло ей с собою чувство какого-то горького, долгого, насквозь проникшего и пропитавшего душу оскорбления. И неожиданно для себя она вдруг заплакала обильным дождем детских слез и, по-детски пряча в ладонях херувимское лицо свое, произнесла с горьким упреком:

— Вы могли бы раньше сказать мне это... Да, могли бы раньше...

Теперь вот Анимаида Васильевна побледнела...

— Это правда, — сказала она, и что-то в ее голосе стукнуло в сердце девушки, прося в немом сознании греха о прощении и приюте.

И больше между ними в вечер объяснения не сказано было ни одного слова... Выждав, не будет ли от дочери ответа, но вместо того слыша лишь, как нарастает безмолвие, давая простор сверчкам перекликаться с маятником настенных ходиков, Анимаида Васильевна отошла прочь и принялась разбираться в своих дорожных вещах... Дина, сидя, водила уже высохшими глазами вслед ее спокойным, размеренным движениям, полным уверенности, что каждое из них необходимо и делается именно так, как должно его делать совершенно разумное существо, — и сама не знала, чего ей больше хочется: взвыть на голос и затопать ногами от обиды, которую чувствовала, но состава которой не понимала и стыдилась понять, или броситься на шею к этой женщине, которая сразу и так близка, и так далека от нее, которую она привыкла обожать с тех пор, как самое себя помнит, и которую — вот сейчас, да, именно вот сейчас, при всем кипении обиды своей, она обожает больше, чем когда-либо...

Но не взвыла и на шею не бросилась — совладала с собою и, когда вместо розовых сумерек с бельмом молочной луны на небе в окно глянул уже золотой вырезок месяца и мать сказала ровным голосом:

— А не лишнее было бы зажечь лампу...

Дочь так же ровно и спокойно ответила ей:

— Сейчас...

А потом, уже при свете подошла к ней, нагнувшись над чемоданом, и сказала:

— Я знаю, что вы не любите театральных сцен, а потому извините меня, если и я сейчас не театральна в той мере, как следовало бы прилично «событию»... Однако поверьте мне: я чувствую глубоко... может быть, даже слишком глу-

боко... И... и позвольте мне сейчас удалиться от вас: мне надо подумать наедине с собою и разобраться в себе... может быть, утро вечера будет мудренее, но сейчас у меня в голове — нисколько не стыжусь признаться — чудовищная сумятица...

Голос ее звучал печально и насмешкою, направленною на свою печаль... Анимаида Васильевна, распрямившись, стояла у чемодана на коленях и говорила:

— Конечно, Дина милая, ты совершенно права, я тоже чувствую себя совершенно усталою от дороги и с наслаждением думаю о приличной постели...

Так расстались они — мать и дочь — впервые после того, как открыто стали матерью и дочерью, — и впервые за долгие совместные годы даже без обычного поцелуя на сон грядущий... И тем не менее Анимаида Васильевна, проводив уходящую дочь одобрительным взглядом, думала, вынимая из чемодана одну за другой принадлежности богатого туалетного прибора: «Да она у меня, оказывается, совсем молодец... Не ожидала... Боялась, что раскиснет и придется пройти через мелодраму... Нет, мы поладим.. В ней все-таки моя кровь... Быть может, пободаемся сперва и поцарапаемся немножко, но поладим...»

Надежда Анимаиды Васильевны, очевидно, сбылась полностью, потому что в Правослу они — Чернь-Озеровы, мать и дочь, — приехали в самых лучших и уже вполне откровенных отношениях: воспитательница и воспитанница отошли в область преданий, которые теперь обе старались забыть с таким видом, как будто их никогда и не было. Анимаида Васильевна была знакома с Викторией Павловной еще ранее, по встречам в Москве и Петербурге. В настоящее время приезд ее к ссыльной дочери и пребывание в глухом лесном селе сделали немало шуму не только в уезде, но и в губернии. Даже, можно сказать, откликались всероссийски, всюду, где только были у Анимаиды Васильевны знакомые и известно было

ее имя, а — где же у нее не было знакомых и в какую же дыру захоластную не проникали лучи ее московской славы? Комфортабельный быт, которым Василий Александрович Истуканов не замедлил окружить свою подругу в добровольном ее уединении, откликнулся по уезду во всех господских домах и усадьбах преувеличенную славою неслыханной роскоши, богатства и влияния. Дину и без того еще раньше считали ссыльной княжною, впавшею в немилость при дворе^{*)}. Теперь эта репутация совершенно уже установилась — прочно-напрочно, крепко-накрепко. В двух-трех добродетельных гостиных при имени Анимаиды Васильевны продолжали презрительно фыркать, называя ее зазнавшейся содержанкой. Но — увы, добродетель по любопытству своему весьма редко бывает в состоянии утерпеть, чтобы не пойти навстречу пороку и с ним не познакомиться, хотя бы из предосторожности узнать его в лицо, конечно, с благоразумною целью — потом избегать его опасных и коварных, особенно врасплох, обольщений. Такое мужество добродетели требовало — опять увы! — известной готовности поклониться, так как порок, выраженный в лице Анимаиды Васильевны, сам решительно никому кланяться не желал, а жил себе да поживал, не нуждаясь ни в чьем обществе либо выбирая его себе по собственному вкусу... Однако, отправившись вместе с дочерью гостить в Правослу, порок сделал уездному обществу уже такой наглый по местным условиям вызов, что даже наиболее подкупленные его союзники содрогнулись... Если бы Анимаида Васильевна и Дина взяли себе гласно по десяти любовников, и то вряд ли бы они себя уронили во мнении уездных дам глубже, чем отправившись гостить к ненавистой правосленской Цирцее. Зато в Правосле Анимаида Васильевна принята была с великим почетом и вниманием. Уже не молодая, но поразительно моложавая, все

^{*)} См. мой роман «Дрогнувшая ночь».

еще красивая и эффектная в своей искусной замороженности под английскую леди, дама эта, что называется, «импонировала», а ее репутация смелой феминистки была хозяйкам Правослы как нельзя более по сердцу и сочувствию. Виктория Павловна, далеко не привычная склонять перед кем-либо свою гордую выю, тем не менее смотрела на госпожу Чернь-Озерову — невольно — немножко снизу вверх. Точно младшая ученица и покуда еще неудачница, на много старшую ее учительницу, успешно оправдавшую ту самую программу независимости, которую хотела бы Виктория Павловна осуществить в своей жизни, — да вот все срывается. Это был восторг не восторг, а уважение большое и не без некоторой зависти... Даже никого из ближних своих в грош не ставившая Арина Федотовна при Анимаиде Васильевне как-то уважительно притихала и держалась если не с опущенными, то, во всяком случае, лишенными обычной дерзкой усмешки глазами. Точно вот наконец-то она чувствует себя в обществе равного ей человека, с которым можно поговорить по душам о жизни и людях, о планах и их исполнениях. И, когда Анимаида Васильевна вела в обществе Виктории Павловны и других ее гостей какой-нибудь феминистический разговор: обыкновенно разговоры эти начинались в саду, на площадке перед домом — пребывать под кровлею дома своего с обветшалыми потолками Виктория Павловна и сама не любила и гостям не советовала, — Арина Федотовна тоже и, совсем себе не в обычай, приходила послушать. Усаживалась она, массивная и тяжелая, на ступеньки террасы, упирала локтями толстые руки в толстые колени, укладывала на ладони скифски красивое каменное лицо свое, и вся его умная бело-розовая маска с серыми, чуть подвижными, зоркими глазами как будто говорила без слов: «Вот умные речи приятно и слушать...» Совсем уже идоложертвенно поклонялась Анимаиде Васильевне третья гостя Правослы, Евгения Александровна Лабеус, чрезвычайно богатая, но и чрезвычайно же некраси-

вая собою южанка, из того типа, который на севере с улыбкою называют «одесситка», а в Одессе от него отмахиваются руками и навязывают его Кишиневу, Крыму, Таганрогу — пусть будет чья угодно и откуда угодно, только бы не наша... Будучи еще гимназическою товаркою Викторией Павловны, эта госпожа Лабеус была ее великим и даже неразрывным другом, связавшись с нею длинною и сложною цепью множества общих дружб и враждебностей, симпатий и антипатий, походов и приключений, хороших и дурных, веселых и печальных, порядочных и порочных. Дама эта, которая сама себя звала и в письмах подписывалась «сумасшедшею Женькою», тем и жила, в духе своем, что привязывалась к кому-нибудь мучительным, страдальчески страстным обожанием. Исключением из этого правила являлись только два человека — Виктория Павловна: к ней госпожа Лабеус чувствовала просто большую дружбу, как человек, уверенный в совершенной честности отношений к себе со стороны другого человека, — и собственный супруг госпожи Лабеус, Вадим Карлович, прелюбопытный в своем роде господин. Всероссийски известный инженер, строитель нескольких железных дорог, он зарабатывал такие сумасшедшие деньги, что, несмотря на двойные старания — свои собственные и супруги своей — разориться, никак не успевал почувствовать убыли в кармане. С женою своею господин Лабеус жил почти всегда врозь и видался редко, перейдя с нею чуть ли не в первый же год брака в отношения безобязательного дружества.

— Вадим — хороший товарищ, — одобряла мужа Евгения Александровна.

Но разойтись с нею совершенно, ни тем паче развестись формально Вадим Карлович ни за что не хотел, несмотря на бесчисленные к тому поводы и неоднократные просьбы самой супруги. Более того. Говорили, что, если этот (к слову сказать, весьма эффектный по своей наружности и смолоду

избалованный успехом у женщин) господин, которому к тому же по средствам было покупать любовь каких угодно красавиц, на что он даже и не весьма ленился, — так вот говорили, что если Вадим Карлович когда-либо любил женщину понастоящему, жертвенно и самозабвенно, то это — именно свою супругу, Евгению Александровну. Да, ее, — и только одну ее, с ее оливковой скуластой физиономией мопсоподобной мулатки; с ее звериными круглыми глазами, с ее фигурой девицы из цирка, играющей шестипудовыми гирями; с ее ужасным хриплым смехом и говором кафешантанной певички; с ее бомбообразными грудями, которыми она по какой-то аберрации вкуса гордилась и в туалетах своих нарочно как-то особенно обтягивалась, чтобы эта часть тела сразу бросалась в глаза; с ее кривыми рахитическими пальцами на маленьких красных руках... Житейский формуляр этой госпожи был из тех, о которых тургеневский помещик говорил, что он подобной репутации даже своей бурой кобыле не пожелает. Где бы, когда бы ни появилась госпожа Лабевус, за нею неизменно тащился грязный хвост скандального романа. А между тем, право, нелегко было бы найти на свете существо, которое усерднее и страстнее мечтало бы о какой-то особенной — надземной — чистой и возвышенной любви. Природа злобно подшутила над этою женщиною — странною и несчастною, — смешав в ней невесть каким атавизмом вдохнутый дух сентиментальной Лауры у клавесина с дюжим телом рыночной хохлуши-перекупки, какою и была некогда почтенная мамаша госпожи Лабевус, и отравив этот бестолковый состав безудержно-чувственным темпераментом семитско-молдаванской смеси в крови ее отца, бессарабца. Да сей последний вдобавок породил это сокровище на шестидесятом году бытия своего — аккурат перед тем, как отравился во избежание перспективы сесть на скамью подсудимых за растление и убийство малолетней служанки... Евгения Александровна всю жизнь искала и ждала ка-

кого-то невидимого рыцаря — Лоэнгрин, который вот-вот придет к ней в ладье, запряженной лебедем, во всеоружии всех высоких качеств идеального мужчины, а главное, тончайшей способности к любви чисто духовной, кристально-перламутровой, не опозоренной хотя бы малою примесью низменной чувственности и... корысти! Нельзя сказать, чтобы поиски Евгении Александровны были совершенно безуспешны. Напротив, кандидатов в Лоэнгрины вокруг нее всегда вертелось даже слишком много, и так как женские прелести ее были, что называется, на охотника, то и первому условию — отсутствию низменной чувственности — многие из Лоэнгринов легко удовлетворяли. Но вот второе условие так и резало их одного за другим. Потому что — к счастью своему... впрочем, пожалуй, и наоборот, к несчастью — эта женщина вместе с необузданною истерическою сантимаенальностью не лишена была практического смысла, и он позволял ей хотя не сразу, но все же в довольно быстром порядке разоблачать в своих Лоэнгрингах рыцарей совсем не лебединого, а разве вороньего образа. И тогда хронически повторялась одна и та же история. Разочаровавшись в очередном Лоэнгрине, госпожа Лабеус никогда не обнаруживала сразу, что уже разобрала в нем очередного жулика. Напротив, некоторое время — словно себе в наказание, а противнику в вящее унижение — она тут-то и осыпала его усиленными щедротами, тут-то и позволяла грабить себя с какою-то нарочною, будто радостною презрительностью, точно заставляла себя испить до дна всю горечь своей ошибки и зрелище неистошмой подлости человеческой. Но в один мрачный день, когда чаша унижения, разочарования и подлых впечатлений становилась уж именно — «как кубок смерти, яда полный», еще одна капля — и вдруг словно плотину прорывало. Бедная обманутая Эльза отчитывала Лоэнгрин в выражениях, от которых краснели мраморные статуи и фигуры на картинах поднимали руки, чтобы заткнуть свои целомудрен-

ные уши. А иногда в физиономию Лоэнгрин летели и вещественные знаки, вроде горчичницы или салатника с помидорами, чернильницы, шандала, а то за неимением под рукою метательных предметов и просто плевков из метких уст рассвирепелой Эльзы. Не все Лоэнгрины принимали подобное обращение как заслуженную и благопотребную дань — весьма нередко эпопеи скандалов госпожи Лабеус оформлялись полицейскими протоколами и попадали на страницы газет. Справедливость требует подтвердить, что в таких случаях она проявляла непоколебимое гражданское мужество и никогда гроша медного не истратила на то, чтобы откупиться от скандала и неприятных последствий своей горячности. Штрафы платила, аресты отсиживала, но — раз дело дошло до гласности и протокола — считала долгом справедливости претерпеть все мытарства скандала до конца. Но худшее для нее было не в том, а в нервной реакции, которая следовала за бурей. Упав с краткосрочного своего неба на землю, Евгения Александровна не помнила себя от огорчения и гнева и — в злобе отчаяния и во имя забвения — норовила — уж падать так падать! — шлепнуться в какое-нибудь такое болото, что грязнее нельзя. Как она тогда пила, что она публично проделывала, каких любовников находила и въявь с ними безобразничала — этими повестями в скандальной хронике южных городов исписано немало хартий. А вывести ее из подобного, явно патологического, состояния могла, увы, только новая идеальная влюбленность, то есть обретение нового какого-нибудь Лоэнгрин с бесовскими рожками под серебряным шлемом и с черным хвостиком под белоснежным рыцарским плащом. В шатаниях такой нелепой жизни госпожа Лабеус давно уже сожгла все свои корабли, кроме неистощимого мужнина кармана. Потеряла порядочное имя, потеряла доступ в общество своего круга, потеряла даже женское здоровье, потому что кто-то из Лоэнгринов наградил ее болезнью — хотя и не самую скверную, но против-

ною и истощающею, и хронический недуг этот еще более расслаблял Евгению Александровну, расшатывал ее нервную систему, обострял и развивал истеричность. В последние годы госпожа Лабеус вела себя так, будто дала себе честное слово непременно угодить в сумасшедший дом, куда всякий другой муж ее давно бы упрятал и даже за доброе дело почел бы... да, может быть, оно и впрямь было бы добрым делом! Громадный запас сил в могучем организме, которым благословила Евгению Александровну маменька-плебейка, покуда выручал... Но, когда ей случалось знакомиться с психиатрами, эти наблюдательные люди приглядывались не без любопытства к ее круглым звериным глазам, к низкому лбу крутым полушаром, почти заросшему волосами, к судороге ее неверных, лишенных ритма движений, к произвольному сокращению мышцы, то и дело жмурившему ее левый глаз, будто она кому подмигивает, и порывисто качавшему ее огромную курчавую голову на левый бок...

Грабили госпожу Лабеус все, кому не лень было: и мужчины-друзья, и женщины-приятельницы. Только покажись ей, что — «честная душа», а уж она рада будет распятыся для человека вся, как сумеет. Из всех друзей и знакомых Евгении Александровны Виктория Павловна Бурмыслова была едва ли не единственною, которая никогда от нее не попользовалась ни даже копейкою. За это госпожа Лабеус отличала свою подругу среди смертных мира сего как совершенно исключительное существо. Но в то же время если был у нее серьезный предмет огорчения, это — именно — зачем Виктория Павловна не позволяет ей вмешиваться в свои плачевные дела и поправить их ссудою, которая для супругов Лабеус — едва ли больше дохода за одну неделю, а между тем могла бы устроить Викторину Павловну с ее Правослою на долгие годы. Но Виктория Павловна твердо выдерживала свою линию. Она была уверена, что именно отсутствие счетов и обязательств между нею и подругою дает ей неко-

тору сдерживающую власть над Евгенией Александровною, которую Виктория Павловна очень искренно и тепло любила. Виктория Павловна могла похвалиться, что она — единственный человек, способный и умеющий унимать эту буйную анархическую волю, которая именно тогда, когда чувствует попытку обуздать ее, тут-то и начинает брыкаться самоубийственным метанием, словно пленный мустанг, почувствовавший на себе петлю лассо. Госпожа Лабеус отвечала Виктории Павловне глубоким доверием и прибегала к ней за утешением всякий раз, когда становилось ей уж очень тошно среди алчной толпы всевозможных охотников и охотниц по капиталу, тормозивших ее, простодушную истеричку, точно золотую руду, чтобы растащить по крупинкам. Принадлежа к той породе женщин, которая искренно почитает деньги за сор, для того и изобретенный, чтобы швырять его за окно, Евгения Александровна, однако, любила подчас чувствительно похныкать пред приятельницей, то слезно жалуясь, то громко издеваясь над собою, какая она уродилась несчастная, что ее все обманывают и обирают. Но «Москва слезам не верит», и, когда Евгения Александровна, бывало, расхныкается, Виктория Павловна только улыбалась. Она давно уже убедилась, что ее злополучная подруга втайне — еще больше, чем хныкать, — любит именно быть обманываемой и обираемой, болезненно находя в этом какое-то особое презрительное наслаждение и торжество.

— Что ты плачешься, казанская ты сирота? — обрывала ее Виктория Павловна. — Ведь только так — по традиции, а в существе-то тебе нисколько не жаль, и ты даже довольна...

Госпожа Лабеус с возмущением округляла и без того круглые, звериные глаза свои, протестуя:

— Помилуй, душечка, чем тут быть довольною? Он у меня шесть тысяч упер...

Но Виктория Павловна стояла на своем:

— Фальшивишь. Довольна. Не упри он, как ты выражаешься, у тебя шесть тысяч, ты бы в недоумении пребывала, по какому случаю ты еще не ограблена. А теперь все в порядке: шесть тысяч «уперто», твое провиденциальное назначение исполнено — и ты спокойна...

— Конечно, — оправдательно возражала госпожа Лабеус, — мне все-таки приятно, что он хотя и подлец, но по крайней мере скоро себя обнаружил... мог, пользуясь моею к нему слабостью, снять с меня много больше.

Но Виктория Павловна и в том ей не уступала:

— Нет-нет, миленькая моя, не вилай, пожалуйста, — совсем не потому... А просто это у тебя — мазохизм особого вида... капиталистический, что ли?

— Выдумашь!

— Да, да. Поверь. Любишь чувствовать себя жертвою, поруганною в своем доверии к человеку... Только ты все это по мелочам, вроде того, как наши актриски от несчастной любви нашатырем травятся: чтобы на границе смерти потанцевать, а взаправду умереть — ни-ни!.. А вот однажды какой-нибудь Лоэнгрин тебя на все состояние обработает — что ты тогда запоешь?

— Повешусь!

— Очень может быть, но сперва, я уверена: момент преострого наслаждения испытасешь... Вот уж, мол, когда наконец на подлеца-го нарвалась! Вот это подлец так подлец! Квинтэссенция! Из подлецов подлец! Раньше бывали — что! Искала — только время теряла! Мне бы сразу на подобного налететь...

Но тут госпожа Лабеус набрасывалась зажимать ей рот, визжа режущим уши хохотом, пламенея африканским лицом, сверкая одичалыми звериными глазами, звеня бесчисленными браслетами и всякими драгоценными цацками, которыми всегда была увешана.

— Витька, безумная! Не смей читать в моей душе... откуда ты знаешь? Какой домовый тебе говорит?

Виктория Павловна спокойно отстраняла ее тревожные, всегда в движении, слегка трясущиеся руки своею властною твердою рукою и со вздохом говорила, сдвигая морщинку на лбу, гордом и ясном, как слоновая кость:

— В самой доля этого есть... Сердце сердцу весть подаст... Родственность натур, моя милая!

Деньги женщины влекут за собою свиту, еще большую и усердную, чем доступная красота. Поэтому, сколько госпожа Лабеус ни хотела скрыться от мира в захолустной усадьбе приятельницы своей, — напрасно. Тотчас же начали являться из Одессы, Киева, Ростова-на-Дону и других южных центров, где гремела фамилия Лабеус, Лоэнгрины и Парсифали разнообразнейших званий и профессий. Необычайно переполненные чувством собственного достоинства и в той же мере рослые актеры, с величественною осанкою и синими щеками, с наигранною «интеллигентностью» взгляда, с полновзвучным рокотом тихого, внушительного разговора на «глубокие» темы, с цитатами из ролей и с такою совершенною пристойностью в изысканнейших сюртуках и учтивых манерах, что, право, было уж и непристойно. Журналисты с растерянными близорукими глазами под непротертыми пенсне и напряженно хмурым выражением интеллигентно-бородатых лиц, так что и не разобрать сразу: то ли это гражданская скорбь, то ли мучительное ожидание «со вчерашнего», скоро ли подадут водку. Приехал знаменитый художник-портретист из Петербурга, умевший уверить уже нескольких богатых дур, что он помнит свое существование бесплотным духом на какой-то звезде и неземную любовь свою в том удивительном состоянии к планетной женщине Амазузии. И вы, мол, мне мою Амазузию чем-то напоминаете... А потому я очень желал бы написать ваш портрет... за который — подразумевалось — вы заплатите мне не менее пяти тысяч рублей: вам, при вашем капитале, пустячки, а мне удовольствие. Приехал поэт-декадент из Москвы.

Приехали два офицера, до смешного похожие друг на друга, хотя были вовсе не родня и даже из совсем разных частей и губерний, — один со взглядом меланхолическим, другой со взглядом победоносным. Приехали два адвоката — один со стихами Верлена и Бальмонта, другой с остротами, вычитанными у Дорошевича. Вся эта саранча промелькнула в Правосле в продолжение лета, оседая на короткие сроки, покуда находила или чаяла найти некоторый корм. В каждого из пришельцев госпожа Лабеус с неделю была влюблена, с каждым мечтала в течение двух-трех дней связать свою жизнь навсегда, трижды — в июне, июле и августе — собиралась разводиться с мужем, а в августе даже и написала ему, что не может более носить брачные узы и требует свободы, так как безумно любит офицера с победоносным взглядом. Муж отвечал телеграммою: «Всякая роза имеет шипы, а маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию».

Из этого скептического афоризма офицер с победоносным взглядом справедливо умозаключил, что госпоже Лабеус его супругою не бывать, и благоразумно удалился, взяв на прощание у кратковременной невесты своей тысячу рублей взаймы. А Евгения Александровна имела удовольствие переписать еще одного адоратора из графы Лознгринов в графу подлецов — и на этот раз даже без традиционного последования скандалом с отчаяния... Не та была атмосфера в Правосле, хотя и странная атмосфера, и в это лето странность ее была особенно ощутима. Тем более — для нового, свежего человека, как Дина Чернь-Озера...

С великим любопытством приглядывалась она к четырем женщинам, которыми теперь определялся быт и двигалась жизнь Правослы, и все они — мать ее Анимаида Васильевна, ключница Арина Федотовна, госпожа Лабеус и сама Виктория Павловна — казались ей странно похожими между собою, несмотря на разницу лет, положения, образования, характеров, темпераментов. Словно все они были запечат-

лены каким-то тайным общим знаком, который выделяет их из толпы в обособленное сообщество и позволяет им «ма-сонски» узнавать друг дружку и прочих им подобных среди тысяч женских лиц по какому-то неуловимому «необщему выражению»... Она не удержалась, чтобы не высказать этого своего наблюдения матери после первого же визита в Правослу. Но Анимаида Васильевна, выслушав ее с некоторым недоумением, только пожала плечами и возразила, что она никакого сходства не замечает и была бы очень огорчена, если бы оно имелось, например, между нею и госпожею Лаббеус, так как последняя в высшей степени вульгарная дурнушка, совершенно не воспитана и обладает прескверными манерами.

— Ты не хочешь меня понять, — с нетерпеливым неудовольствием возразила Дина, — я не о физическом и внешнем сходстве говорю, а о внутреннем, психическом... что-то такое есть... склад ума и души у вас общий... У Арины Федотовны совсем никаких манер нет, она не дама, а баба, а между тем этим сходством — вы похожи... может быть, из всех — ты и она — больше всех...

Анимаида Васильевна чуть улыбнулась хрустальными глазами.

— Даже с Ариною Федотовною, о которой говорят в околотке, что она отравила своего мужа, высекла чужого управляющего и превратила какую-то попадью или поповну в собаку? *Merci, ma fille, vous êtes trop aimable...**

— Ты шутишь...

— А ты фантазируешь...

Дина умолкла, но осталась при своем убеждении.

И, одиноко размышляя, расценивала по новой мерке подмеченного сходства дам и девиц своего недавнего московского знакомства.

* Спасибо, девочка, ты слишком любезна... (фр.)

«Вот — в себе сходства нисколько не чувствую, а в сестре Зине, хотя она еще полуробенек, оно уже обозначилось почти с такую же резкостью, как в самой нашей маме, — думала она с тою сразу стыдливостью и гордостью, которые давало ей новое, так поздно к ней пришедшее слово «мама». — Почему — вот — вспоминая приятельниц мамы, я княгиню Анастасию Романовну Латвину^{*)} могу вообразить в Правосле вполне на своем месте и как у себя дома? А кроткую Алевтину Андреевну Бараносову^{**)} с ее застенчивою ласковостью и отзывчивыми наивными глазами, которую я так люблю и она так безгранично добра ко мне, я — ну просто не желала бы сюда? Мне было бы здесь больно за нее, как за человека, попавшего не в свое общество и ежеминутно рискующего очутиться в неловком положении быть если не явно оскорбленным, то тайно осмеянным... Здесь ведь над ними смеются, и больше всего — над такими женщинами, как она: мягкими, немножко восторженными, уступчиво примиряющимися и почему-то — не то чтобы несчастными, а... несчастливými... А между тем Алевтина Андреевна такая же свободомыслящая, как мама и Виктория Павловна, она любимая мамина подруга, и если взвешивать общественное положение, то даже и здесь небольшая разница: с супругом своим она разъехалась и живет одинокою безмужницею, как все они... Нет, это не оттого... А тетя Аня, которой открытый роман с Костею Ратомским был три года притчею во языцех всей Москвы?^{***)} По здешним понятиям, она — в этом случае — героиня, настоящая женщина, как быть должна. И, однако, опять-таки я ее здесь себе просто не представляю и думаю, что если бы случай какой-нибудь забросил ее сюда, она была бы тоже несчастна и страдала бы среди этих женщин, как рыба на песке, как птица без

^{*)} и ^{**)} См. «Девяностытники», «Закат старого века» и «Дрогнувшую ночь».

^{***)} См. «Девяностытники» и последующие романы.

воздуха, а они относились бы к ней предубежденно, как к чужой или, может быть, даже как к человеку из враждебного лагеря... Ведь мама и тетя Аня друзья тоже только потому, что сестры, а в существе — что между ними общего? Мама про себя считает тетю Аню слабою, игрушкою маленьких страстей, тряпичным характером, дамочкою-безделушкою, рожденною для упражненья в чувствах, куколкою для любования и баловства господ мужчин. Говоря по чистой правде, она просто-таки презирует немножко эту нашу очаровательно-женственную и хрупкую тетю Аню с ее красивыми чувствами, пылкими страстями и бесконечными болезнями, которых даже и в энциклопедии медицины не найдешь... А тетя Аня в глубине души маму побаивается. Определяет ее холодною и жестокою эгоисткою. И — хотя не смеет попрекать ее как грешницу, потому что сама грешна слишком открыто, но, собственно-то говоря, тетя в маме именно грешницу не любит: убежденную, не раскаявшуюся, спокойную, — в то время как она, тетя Аня, что ни согрешит, то грех свой оплакивает и слезами, и жалкими словами, а то и на одр болезни сляжет от угрызения совести и боязни самой себя... А когда-нибудь — надеется — и вовсе отринет от себя всякое искушение: побежденный грех из жизни уйдет и останется одно торжество покаяния — блаженство очищенной совести и предвкушение небесных наград... Ведь она религиозна и во все это верит. Seriously. Так что даже как-то конфузно становится, бывало, если пошутишь при ней на этот счет...

Нет: сходство их определяется вовсе не признаком свободной грешности... Евлалия Брагина^{*)} — самая строгая и целомудренная женщина, которую я знаю и могу вообразить, — она и с мамою хороша, хотя мама не любит социалисток; и с Викторией Павловною дружески пере-

^{*)} См. «Восьмидесятники» и последующие романы.

писывается, хотя Виктория Павловна совсем не политический человек и откровенно признается, что три раза пробовала прочитать первый том Марксова «Капитала», но засыпала уже на первых страницах введения... Однако, если бы я однажды поутру увидела Евлалию Брагину в Правосле за чайным столом, я не думаю, чтобы она произвела впечатление карты из другой колоды и уж очень не к масти... А вот уж если брать наших революционерок, Ольга Волчкова¹⁾ ужасно испортила бы пейзаж... Так вот и делятся, точно агнцы и козлища, одни — направо, другие — налево, свои и чужие... Нет, право, есть какое-то... *je ne sais quoi*²⁾ но — в нем-то и есть вся суть, потому что оно-то и категоризует, и определяет...»

Виктория Павловна, в которую Дина не замедлила влюбиться с тою идеализирующею и идеалистическою восторженностью, как только совсем молоденькие девушки умеют влюбляться в старших и уже успевших вкусить житейского опыта подруг, поняла ее лучше, чем мать. Выслушав со вниманием, она сказала:

— Это нас бунт в один цвет красит. Бунтовщицы мы.

— Помилуйте, — даже с обидою некоторою возразила Дина, — я сама бунтовщица, однако...

— Флюидов слияния с нами не почувствуете? — улыбнулась Виктория Павловна. — Милая моя бунтовщица, это оттого, что мы с вами против разных сил бунтуем... Вы социалистка, революционерка, вон на демонстрации какой-то громкой взяты и за то с рюриковскими медвежьими углами знакомитесь... А мы...

— Моя мать тоже сочувствует движению... — предостерегающе перебила Дина.

Виктория Павловна равнодушно качнула головою: знаю, мол.

¹⁾ См. «Девятидесятники», т. II, и посл<е>дующие романы.

²⁾ Я не могу уловить, что именно (*фр.*).

— Да и я сочувствую... Почему же не сочувствовать? Я в некотором роде еще молодежь — хотя и не первой свежести, а все же поколение скорее будущего, чем прошлого... И Женя Лабеус, хотя в политике совсем невинна и вряд ли точно знает, какой у нас в России образ правления, тоже, конечно, сочувствует вам, а не уряднику, который поставлен блюсти, чтобы вы из рюриковских болот не убежали... А об Арине Федотовне — что уж и говорить. Всякая предержавная власть для нее связана с идеей о взыскании штрафов, об исполнительных листах, судебном приставе и наложении печатей. Так, в результате подобного печального опыта другой столь убежденной анархистки вам по российским нашим трущобам и не найти...

— Ну, вот как вы объясняете!..

— Позвольте! Как же иначе-то? Веду прямо — от настоящего корня: от собственной шкуры... Разве вы в исторический материализм не веруете?

— Есть, я думаю, другая сторона...

Виктория Павловна согласно кивнула головою.

— Есть. Удаль мы, женщины, очень любим, смелый вызов Давида Голиафу, умной слабости — грубой силе. А удали в революции конца-краю нет — вот и сочувствуем... Красива она и горда, захватывает. Но и только... Вы вот революцией увлечены — хоть и не на баррикадах, а все-таки где-то вроде того побывали. А мы на баррикады не пойдём. Либо если и пойдём, то не потому, что революцию любим, а вот зараза красоты и гордости вдруг вот возьмет, поднимет и кинет... ах! Где упадем — лови!.. Но страданием за ваш бунт — нет! Себе дороже! — не окрестимся...

— Какое уж мое страдание! — с горечью возразила Дина. — Думала — лишения буду терпеть, а вместо того просто на даче живу, устроили мне бархатную ссылку...

Виктория Павловна засмеялась:

— Милая! Как же иначе-то? Вы не тем дебютом игру начали... Кто вооружается на идейный бой, тому ре-

комендуется оставить мать и отца, а вы ведь, кажется, как раз наоборот, тут-то и нашли их?

— То есть они меня нашли, — с некоторою хмуростью поправила Дина.

— И прекрасно сделали, — внезапно и мимолетно омрачася и глянув в сторону, сухо произнесла Виктория Павловна. — Вам жаловаться не на что...

— Да я и не жалуюсь, а только — нужна точность... Одно дело, если материнское крыло само меня догнало, и другое, если бы я в момент опасности бросилась под него по собственной инициативе — искать приюта с перепуга от охватившей меня грозы...

— Хорошо это — иметь крыло, под которое можно укрыться от грозы, — задумчиво произнесла Виктория Павловна, глядя в землю. — Не отталкивайте крыльев, предлагающих вам убежище. Берегите их и свое право на них, Дина...

Дина в удивлении устала на нее лазоревые глаза свои.

— Это вы говорите? Вы?

— Я, Дина... А что?

— Да, удивительно... не ожидала... не похоже на вас... вы кажетесь такою... ну, как бы это сказать? Преимущественно самостоятельной... — со смущенною улыбкою, заигравшею детскими ямочками на щеках, пояснила розовая Дина.

Виктория Павловна, держа глаза опущенными в землю, отвечала, и брови у нее полезли одна к другой:

— Я не себя и имела в виду... Вообще...

Дина почувствовала себя несколько уязвленной и гордо вскинула хорошенькую головку свою в пушистом золоте кудрей.

— Ах, вы — вообще... в виде правила, провозглашаемого от имени исключения, которого оно не касается... А вы не находите, что это несколько надменно? Я, может быть, тоже не «вообще»?

Виктория Павловна подняла веселые глаза на ее разобиженное личико и резво, искренно рассмеялась:

— Какой вы задорный цыпленок, Дина!.. Ужасно вас люблю... И еще спрашивает, почему она не такая, как мы...

Но Дина ее ласковым тоном не умилоствовала, а произнесла учительно и резко:

— Всякое прикрывающее крыло есть в то же время и ярмо... Согласны?

— Совершенно, моя милая, — подтвердила Виктория Павловна, обнимая ее за плечи, — а уж если угодно знать, то, пожалуй, к тому и весь бунт мой... Или, пожалуй, наш, потому что в нем мы и с вашей мамою, и с Женькою сумасшедшей сестры... Весь наш бунт сводится к тому, что не желаем мы принимать ярма под видом крыла... А так как нет на свете крыльев безъяремных, то не надо их вовсе... пропади они от нас, женщин, оба эти удовольствия — и ярмо, и крыло!.. Полагаю, что нового вам ничего не говорю. От мамы своей вы, наверное, уже слыхивали подобные формулы и аллегии...

— Ну да, конечно... мама — феминистка... — подтвердила Дина, нельзя сказать, чтобы слишком уважительным тоном, и даже, пожалуй, не без насмешки в голосе. — Как же, в некотором роде столп движения... Но... разве и вы? Вот не ожидала...

— Почему?

— Считала вас более передовою... Ведь это же, в конце концов, *vioux jeu*^{*}, чисто буржуазная отжившая выдумка... праздный идеал либералок, застрявших в старой вере в историческую личность, в психологические категории, в движение политики вне социальной необходимости... Новому миру, к которому мы принадлежим, пролетарскому строю, который мы создаем, нечего делать в феминизме... Мы уже впереди: перешагнули через него и пошли дальше...

Виктория Павловна выслушала ее с весьма большим вниманием и покачала головою:

* Старая игра (*фр.*; об устарелом, старомодном).

— Это большое счастье, если перешагнули... Я шагаю, стараюсь шагать, но — серьезно признаваясь — не дошагнула... Ужасно высокий порог, Дина.

— Недурное признание для женщины, которая называет себя бунтовщицею!

— Бунт, дорогая моя, надежда победы, но еще не победа... Мужевластие — страшная сила... Я читала в какой-то легенде, что один рыцарь, нагрешив безмерно, наложил на себя покаяние — не питаться иною пищею, кроме той, которую он зубами вырвет у собаки из зубов... Вот — вроде этой богатой добычи и счастливые приобретения, которые отвоевывает себе женщина, отрекшаяся от мужевластной опеки...

Она гневно передернула плечами — был у нее такой характерный жест, когда она возбуждалась, резкий, а красивый — и продолжала:

— И не охотница я, и не умею вести теоретические споры. Да и нет у меня никакой предвзятой теории, а просто весь мой характер, весь мой темперамент кричит и возмущается против того, чтобы мне быть рабою мужчины, чувствовать к нему самочье почтение и страх... Женька моя глупая — еще идеалистка: бунтует, а верит в «ихнюю братью, козлиную бороду», как выражается моя Арина Федотовна, — все духовного равенства полов ищет, придумывает возможность какого-то рыцаря вроде Лоэнгрин или Парсифаля, совершенно подобного ей, потому что она-то ведь уж совершеннейший рыцарь в юбке... И печального образа рыцарь... Дон Кихот... Вы смеетесь? Вам она не нравится? Мещанкою веселящуюся кажется? Да? Нисколько не удивляюсь. Сверху преотвратительною корою обросла, внутри — чистейшее золото... Ах, если бы на свете было больше женщин подобной души да господра мужчины их, еще девчонками, не коверкали, игрушки ради, — хорошо, друг мой Дина, могла бы выстроиться женская жизнь... А то ведь все мы сломанные,

все искаженные мужскою дрессировкою... Рабыни... И в покорности — рабыни, и в бунте — рабыни... И только тем мстит рабство наше за себя, что от него чем дальше цивилизация развивается и растет, тем больше в ней водворяются женский хаос и сумбур... Но — ведь — это, знаете ли, как в народе смеются, «наказал мужик бабу — в солдаты пошел»... только — наоборот: наказывает баба мужика — и всю свою природу ради того наизнанку выворачивает... Какой, бишь, это поэт делил женщин на мадонн и вакханок? Либо мать семейства, либо проститутка? Ну и вот... Женщину-мадонну общество что год, то больше в проституцию сталкивает, а природные проститутки облеклись в покрывала мадонн и играют роли жен и матерей... Иногда талантливо с той и с другой стороны, но — всем тяжело и всем скверно, и всем подло... Потому что — обман... кругом — обман... в атмосфере обмана живем и им одним дышим... Противно, тошнит, точно каждую минуту слизняков глотаешь...

— Обман этот, о котором вы говорите, я очень понимаю, — возразила Дина, с удивлением наблюдая ее горячность, торопливую, почти судорожную, с быстротою слов, как река несет, с мерным движением брови к брови, с нервным потиранием правой рукою тыльной части левой. — Я, как и вы, задыхаюсь от ощущения всегдашнего, повсеместного обмана, нас проникающего... Но почему вы ограничиваете обман отношениями полов? Это только одно из социальных его проявлений, органические причины глубже...

— Ну да, да! — перебила Виктория Павловна не то с насмешливою ласкою, не то с легкою досадою. — Я уже слышала: вы возвысились до классовой точки зрения... Меня крылья так высоко не несут. В пролетарскую победу — верю, а в то, что в ней мы, женщины, и себе завоюем победу, и пролетарская победа будет также нашею, женскою победою, — не верю... Это пускай Евлалия Брагина верит, а я — нет!..

— Тогда чему же вы в ней — вы сказали — сочувствуете? — возразила Дина со снисходительностью, не лишённую надменности, потому что в беседе этой она чувствовала себя гораздо развитее своей собеседницы и ушедшею далеко вперед от ее самодельного мирозерцания.

Но Виктория Павловна засмеялась, сверкая зубами и глазами, и сказала:

— Да покуда нам по дороге, отчего же не сочувствовать? А покуда — по дороге...

— Я это уже однажды слышала, — задумчиво возразила Дина, припоминая, — именно Евлалия Брагина говорила, которую вы помянули...

— Да? Это несколько удивительно, что она посмела гласно. Она теперь так прочно уверила себя в том, что она социал-демократка...

— Уверила? — с удивлением и неудовольствием остановила ее Дина.

— А разве без уверенности можно? — не без ядовитой невинности отозвалась Виктория Павловна.

— Нет, вы словами не играйте... Уверить себя и быть уверенною не одно и то же, — хмуро возразила Дина. — Я серьезно спрашиваю...

— Да вот именно, — хладнокровно согласилась Виктория Павловна. — Именно, что не одно и то же. Но без веры жить тяжело. А если ее нету? Нет хлеба — едят лебеду. А потом, кто не может верить, старается уверить себя... Это у нас на Руси обыкновенно и называют уверовать. Я много моложе Евлалии Брагиной, но еще застала и помню ее просто либеральною петербургскою дамою, из красных — цвета *saumon*^{*}, как тогда острили, она уверовала — и действовала! То есть я вам скажу: что она в то время «маленьких дел» натворила, — это удивительно!.. Летопись! Музей!.. Потом

* Переходящий от красного к белому (*фр.*).

разошлась с мужем, встретила с Кроликовым, который посвятил ее в народничество; она уверовала и — действовала! Потом — является в Москве высокоумный господин Фидеин, клянувшийся налево Марксом, направо Энгельсом, и она становится социал-демократкою; уверовала — и действует! Теперь вот, вы говорите, она эмигрировала. Кто-нибудь еще ее захватит там, в эмиграции, новою теорией — она уверует и будет действовать! Потому что не действовать она не может, весь ее характер и темперамент — действие. А действовать без веры нельзя. Это неточно нас в катехизисе учили, что вера без дел мертва. Для таких вот, как эта Евлалия Брагина, дело без веры мертво. И уж насилует она себя, насилует, чтобы веру-то приобрести и найти в ней право на веру...

Она засмеялась и прибавила:

— Я тут мужские имена пристегнула... Надеюсь, вы не подумаете, что это с моей стороны попытка к сплетне и злословию... Нет, я Евлалию Александровну знаю: чистейшее существо, сотканное из высокого целомудрия... И, если хотите, в этом-то и особенность ее среди других, ей подобных, что она всегда заражается мужским общественным энтузиазмом — как-то от противного... Другие в это усердие втягиваются мужьями или любовниками: известное дело, что мужчинам на Руси — теория и ресигнация, а бабам — практика и жертва... А Евлалия Александровна — наоборот — всегда летает вслед за врагами или по крайней мере за людьми, которых она нисколько не уважает... Она сама говорила мне, что когда выходила замуж, то была светскою барышнею зауряд без всяких политических взглядов и убеждений, и радикализм ее развивался в ней по мере того, как в муже ее падал и увядал, и она разглядела в своем почтеннейшем Георгии Николаевиче ветряную мельницу и будущего ренегата...^{*)} В народничестве — это я уже от Кроликова знаю — она

^{*)} См. «Восьмидесятники» и «Закат старого века».

отравляла своему апостолу существование вечным волнением и попреками, жизнь обратила в экзамены и враждебный диспут, искала самых крайних выборов и исходов и все расценивала, все проверяла... и сама себя, и всех других, и всю идею... Социал-демократы посулили ей дело — так и бросилась к ним... Но воображаю, как теперь счастлив в душе ваш противнейший господин Фидеин, что Евлалия Брагина — наконец за границею. Ведь я же знаю: она с ним зуб за зуб грызлась... Он, этот диктатор ваш восхитительный — извините уж мою непочтительность, Дина, — привык госпожами Волчковыми пошвыривать, как щенками, куда бросит, туда и падай. А тут явилась этакая — вот — товарищ Евлалия, которую никак не спрячешь в карман, потому что она ни от каких смелых выступлений не отказчица, а, напротив, их требует и с азартом несет свою голову в первую очередь опасности, но — начальственный авторитет для нее пустое слово, а не угодно ли выложить перед нею все свои карты на стол...

Она расхохоталась и, отсмеявшись, продолжала:

— Ужасно я люблю в ней этот положительный энтузиазм, из отрицания и сомнения сплетенный... Она над нами — мною и вашею мамою — тоже посмеивается вроде вас... А сама, того сознавать не желая, феминистка больше всех нас... Вся ее деятельность — одно кипучее желание перерасти мужчину, который берется управлять общественным движением, и доказать ему, что он не знает дороги либо — знает, да хитрит и обманывает, а дорога-то — вот она, не угодно ли? И как же вы, сударь, смели от нее отлынивать, притворяясь, будто ее не видите? Не притворялись? Тем хуже: значит, вы бездарность, невежда, дурак. Изволили руководствоваться особыми соображениями и высшими целями? А нас почему же не соблаговолили о них осведомить? Значит, вы демагог, враг коллективизма, политический авантюрист... Да! Уж если женщине суждено загребать своими руками жар для мужской политики, то — пусть хоть по методу Евлалии... Воду

возить на нас можешь — черт с тобой, вози!.. Но не считай нас дурами и не втирай нам очков... Уж извините, что говорю вульгарно... Я сегодня подсчитывала с Ариной Федотовной наш приход-расход, а эти интервью всегда отражаются на моем слогe самым плачевным образом...

— Вы не любите мужчин, — задумчиво сказала Дина, — а между тем всегда ими окружены, и я не знаю, может ли девушка больше нравиться мужчинам, чем вы нравитесь...

— Любезность за любезность, — поклонилась ей Виктория Павловна, — одну я знаю, которая нравится больше... А кто вам сказал, что я «не люблю» мужчин? Напротив. Преприятная публика. Посмотрите, сколько у меня хороших друзей. Князь Зверинцев, Келепушка с Телепушкой...^{*)} мало ли! Очень люблю — только на своем месте. Что вы смеетесь?

— Я свою тетю-псаломщицу вспомнила, у которой мы с мамой жили, пока не перешли в новый дом... Она, когда на любимую кошку сердится, так всегда ей говорит: «Ты думаешь, ты важная госпожа? Твое место — под лавкой...» Вы сейчас ужасно похоже на нее сказали...

Виктория Павловна пожала плечами.

— Согласитесь, что кошка под лавкою — зверь уместный, а на письменном столе или на этажерке с безделушками — вот как у вашей мамы в Москве кабинет заставлен — от кошки одно несчастье... А поди сердита тетушка-то на вас, — улыбнулась она, — что вы у меня бывать стали?

Дина с недовольною гримаскою кивнула херувимскою головкою и схватилась за этот вопрос:

— Вот и этого я никак не могу понять, Виктория: за что вас так ненавидят все эти госпожи здешние?.. Такая вы откровенная стоялица за женщину и женские права...

— Не за права, — заметила Виктория Павловна, — в правах я ничего не понимаю... За общее женское право — ска-

^{*)} См. «Викторию Павловну» и «Дрогнувшую ночь».

жите, это так... За достоинство наше женское, чтобы глядеть на свет своими глазами, а не сквозь пальцы властной мужской руки... А права... я к этому равнодушна: не знаю, которое из них нужно, которое — нет, чтобы мы, женщины, были счастливы... Ведь все это — их, мужское, мужчинами придумано и устроено и нам великодушно втолковано — какие будто бы нам, женщинам, нужны права... А может быть, оно нам, женщинам, окажется и вовсе не нужно... Может быть, мы совсем другое устроим, по-своему, по-женски, как нам понадобится... Когда женщины борются за право учиться наравне с мужчинами, быть врачами, адвокатами, судьями, чиновниками, я сочувствую им всею душою не потому, что нахожу каким-то особенно необходимым счастьем для женщины быть адвокатом или чиновником, а потому, что она должна иметь право устраивать свою жизнь, как она хочет, выбирать науку и профессию, какую она хочет, строить тот быт, то право, ту мораль, какие она для себя изберет и хочет... она — понимаете? — сама она, а не извечный ее победитель, ласковый враг...

— Следовательно, непримиримая война Адама и Евы?

— О нет, — быстро возразила Виктория Павловна. — Такой войны нету и не бывает, или она лишь шуточная распря у домашнего очага: знаете, милые бранятся — только тешатся. Ева — союзница Адама, Ева — адаmistка больше самого Адама. Вот вы спрашивали: почему меня женщины не любят? Так Евы же все — счастливые, что они ребро из Адамова тела, гордые, что есть над ними глава, крепкорукий господин с мужевластною опекою. Нет уж, какие мы Евы. Не та порода... А — вот — «Фауста» вы, конечно, читали, так не вспомните ли некоторую Лилит?

— Я не была бы другом Иво Фалькенштейна^{*)}, — рассмеялась Дина, — если бы не умела различить Еву от Лилит, солнечное от лунного и так далее, и так далее...

^{*)} См. «Девятидесятники» и «Закат старого века».

— Знаю, это не то... — перебила ее Виктория Павловна. — Это декадентские изощрения и выдумки. Я люблю ту настоящую Лилит, которая у раввинов в легендах Талмуда...

— Откуда вы такие премудрости знаете? — изумилась Дина.

— Умные люди не оставляют — рассказывают... Что же вы думаете — у меня нет приятелей из евреев?

— Да как будто вы не из того круга, который интересуется талмудическими легендами.

— Да ведь это только притворяются, потому что — несовременно же, а у евреев ужасно этот ложный стыд силен — не быть *moderne*...^{*} А о Лилит мне один харьковский приват-доцент рассказывал... Премилая особа. Ужасно ее люблю. Творец выдал ее, созданную из огня, замуж за Адама, созданного из земли. Она нашла, что для такого *mèsallianc'a*^{**} надо было спросить, желает ли она, и быть Адаму женою отказалась, главенство его признать — отвергла, мужевластную семью строить не захотела и улетела в Аравийскую пустыню. Адам, как всякий муж, от которого бежит жена, бросился просить защиты и помощи у высшей администрации. Ангельская полиция разыскала Лилит где-то на берегах Красного моря, но возвратить ее покинутому супругу не могла: Лилит предпочитала, чтобы ее утопили в море и истребили все ее потомство, чем подчиниться «куску глины»... В море ее топить пожалели, но превратили в бесовку, в призрак... А Адаму в утешение создана была Ева — из собственного его ребра... И с этою он поладил, хотя, как известно, и не без неприятностей. Так вот с тех пор и делимся все мы, женщины: одни от строптивой Лилит — из огня, другие от Евы — из ребра... Я — от Лилит...

^{*} Модный (фр.).

^{**} Неравный брак (фр.).

— А я? — тихо спросила Дина, исподлобья поднимая на нее пытливые глаза.

Виктория Павловна увертливо засмеялась:

— Откуда же мне знать, моя дорогая? Это разделение, как мне кажется, определяется только встречей с Адамом. Мы все — я, Женя Лабеус, ваша мама, Арина Федотовна, Евлалия Брагина — это испытание прошли и как Евы провалились: не годимся. Вам оно еще предстоит... Кстати, дорогая Дина, ходят слухи, что в вашем уезде имеется некий барон^{*)}, у которого, как у всякого барона, есть фантазия, и фантазия этого барона состоит в том, чтобы предложить некоторой херувимской девице, не пожелает ли она в качестве Евы взять его в качестве Адама... Извольте краснеть?

— А разве в ампула Лилит входит повторять уездные сплетни?

Виктория Павловна отвечала комической гримасой — шевельнула глазами, бровями, свернула румяные губы трубочкою — и отвечала:

— Увы! Лилит — хоть и привидение, а все-таки баба... Любит знать, что делается на белом свете, и перемьгть в обществе других Лилит косточки своим ближним, а в особенности Евам и кандидаткам в Евы... Нет, серьезно говоря, предложение уже сделано или еще висит в воздухе?

Дина, румяная и прелестная, с лазурными глазами, потемневшими от смущения в цвет морской воды, отвечала, задерживая слова насильственным смехом:

— Это зависит от того, когда я захочу понять, что мне при каждом свидании говорится...

— Разве невразумительно?

— Нет, при желании быть догадливой — нетрудно... Да что-то не хочется...

^{*)} См. «Дрогнувшую ночь».

— Не нравится?

Дина вспыхнула как маков цвет.

— Да... нет... как вам сказать...

— Можете и не говорить, — весело засмеялась Виктория Павловна. — Ответ на лице написан... Ах вы, маленькая плутовка! Разве вас на то в ссылку отправили, чтобы вы в баронессы вышли?

— Ах, и не говорите уж! — омрачилась Дина. — Вы себе вообразить не можете, как именно эта мысль меня мучит...

— Оттого и тянете?

— Ну-ну... не совсем... Но — что же это, в самом деле? Вчера — «Отречемся от старого мира», а сегодня — «Исайя ликуй»... ведь пошлость выходит...

— А с другой стороны, — усмехнулась Виктория Павловна, — в новом мире баронов уже не будет и, значит, надо пользоваться удобствами старого, пока они есть... Что делать, голубка моя? Маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию, как справедливо пишет сумасшедшей Женьке ее превосходный супруг...

— Ну вот видите, какая вы, — огорчилась Дина — уже смеетесь...

— Простите! Не буду!

— Даже вы смеетесь. А что же скажут другие?

— Да вам-то что? Имейте мужество собственного желания... Ведь любите?

— Ах, право, уж и не знаю... Человек-то уж очень хороший... А с другой стороны...

— Воли девичьей жаль, — положительно договорила за нее Виктория Павловна. — Все в обычном порядке. Любите!.. Ах, Дина моя прелестная, какая же вы хорошенькая будете в подвенечном уборе!.. И она еще осмеливается спрашивать, кто она — Ева или Лилит!.. Оставьте! Вам — жить, цвести да радоваться, а Лилит... ну ее! Бестолковое оно и мрачное привидение, эта наша Лилит!

И — дружески притянув девушку за обе руки — крепко ее поцеловала.

— Тогда, — слегка отстранилась та, — зачем вам ее держаться? Что лестного в том, чтобы чувствовать себя привидением, как вы себя назвали?

— Да вот то-то, что это надо разобрать, — с некоторою резкостью возразила Виктория Павловна, выпуская ее руки. — Надо решить еще: я ли держусь Лилит, Лилит ли меня держит...

На лицо ее легла тень, глаза под упавшими на них ресницами омрачились, брови затрепетали и сдвинулись.

— Знаю одно, — продолжала она, — что всякий раз, когда случай приводит меня на Евину дорожку, Лилит является мне с таким глумливым лицом, с таким бешеным хохотом во всем существе своем, что я — мгновенно — чувствую себя сварившеюся в стыде за себя, как живой рак в кипятке, краснею, как этот грациозный зверь, и — ау! — прощайте вы, Евины перспективы! «Свободной я родилась, свободной и умру!» — запела она из «Кармен» настолько громко, что госпожа Лабеус, тем временем писавшая какие-то письма в своей комнате во втором этаже дома, с любопытством высунула в окно африканскую свою голову и, вращая по саду круглыми глазами, крикнула пронзительно и хрипло:

— Витька, где ты там оперу разводишь? С кем?

— Ау! Иди к нам... — звонко откликнулась Виктория Павловна. — Мы здесь с Диночкой философствуем... напоследок, — уже тихо, для Дины одной, произнесла она, щуря на Дину пронизательные яркие глаза свои, полные печальным лукавством.

— Почему — напоследок? — удивилась Дина со строгим любопытством во внимательном лице.

— А потому, мой друг, — с большою сердечностью возразила ей Виктория Павловна, — что я человек самоотчетный и всегда знаю свое место... Вы не дали мне докончить поверье

о Лилит... А ведь она в пустыне-то не усидела, затосковала, заметалась, затомилась и — бросилась-таки назад в мир — посмотреть, как живет он, населенный людьми, и авось найдется же в нем какое-нибудь местечко с уютом и для ее угрюмой свободы... Но — что же? На всех домах, в которые хочет постучаться, она видит черную надпись: «Здесь Адам и Ева; прочь отсюда, Лилит!..» И, вспыхнув новым гневом, бежит она назад, в свою дикую пустыню — хохотать с лешими, переключаться с филинами, перегоняться со страусами... Так-то, Дина моя милая, где Адам и Ева, прочь оттуда, Лилит...

Дина передала этот странный разговор матери. Анимаида Васильевна, опустив на колени английскую книжку, которую читала, слушала с обычною ей холодной внимательностью, что не мешало ей в то же время любовно изучать тонкие длинные пальцы правой руки своей и именно теперь вдохновиться фасоном кольца с аметистами, которые она пред отъездом из Москвы присмотрела у Фаберже, а теперь Василий Александрович может их приобрести и привезти в следующий приезд свой. И, когда Дина с негодующим сожалением рассказала, как Виктория Павловна в качестве Лилит посулила от нее отстраниться, если она станет Евою, Анимаида Васильевна со спокойным сочувствием в хрустальных глазах возразила:

— У Бурмысловой это врожденная слабость — обнажаться без надобности... Всегда спешит, и слишком много темперамента... А поверье я знаю, читала, даже доклад когда-то о нем делала в Society Mythologie...^{*} Оно остроумно... Впрочем, Бурмыслова — вообще женщина, не лишенная остроумия...

— Это остроумное поверье, — перебила Дина, сверкая взорами, налитыми голубым огнем, — упускает из вида одну возможность: что однажды Ева не позволит вывешивать

^{*} Мифологическое общество... (фр.)

на дверях своих заклинательную надпись, а распахнет пред стучащеюся Лилит двери настежь и скажет ей: «Добро пожаловать!»

Анимаида Васильевна — окончательно решив, что будет носить кольцо на четвертом пальце и камень должен быть длинным и тонким, вот вроде ее отделанного, как розовый лепесток, ногтя, — произнесла:

— Ты ошибаешься. Поверье эту возможность предвидело...

— И?

— Оно уверяет, что, если Ева впустит к себе Лилит, Лилит загрызет ее ребенка...

— Ай, какие страхи! — рассмеялась Дина — однако озадаченная неожиданностью и немножко принужденным звуком. — Зачем?

— Да затем же, зачем кошка мышей ловит. Потому что природа ее такова. Потому что она — Лилит.

— Ну, от Виктории Павловны я подобных ужасов не надеюсь.

— Само собою разумеется, что мы изъясняемся символами и, как сказал бы твой друг Иво Фалькенштейн, плетем гирлянду иносказаний...

— Для того чтобы Лилит загрызла ребенка, — сказала Дина, помолчав, — еще надо иметь ребенка...

В хрустальных глазах чуть мелькнула насмешливая искра.

— А для бездетных у нее готово другое коварство. Жаль, нет под руками «Фауста»... Впрочем, может быть...

Анимаида Васильевна сомкнула глаза, прикрыла их рукою, откинула голову назад и, медленно припоминая и скандируя, прочитала:

Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren,
Vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt!

Wenn sie damit den jungen Mann erlangt,
So lässt sie ihn so bald nicht wieder fahren... *

— Какая у тебя память! — завистливо удивилась дочь.

— Кажется, и у тебя недурная?

— Да, но куда же мне до тебя. А между тем ведь ты старше меня на весь мой возраст...

— То есть ровно на двадцать лет... Не будем касаться этого грустного вопроса, моя милая... Мы, стареющие, его не любим... А секрет хорошей памяти я, если хочешь, тебе скажу. Очень простой: не пей вина, не влюбляйся без памяти, не рожай слишком усердно, не переутомляйся ни в умственной работе, ни в развлечениях и каждый день читай страниц пятьдесят какой-нибудь умной книги, о которой потом приятно думать... И благо тебе будет, и получишь ты награду...

— В виде способности цитировать «Фауста» наизусть, — перебила дочь. — Благодарю. Обдумаю на досуге, стоит ли игра свеч. Так как ты говоришь-то? *Nimm dich in Acht... nimm... Acht?..*

— *Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren...* — поправила Анимаида Васильевна. — Видишь ли, несмотря на всю былую обиду, Адам втайне сохранил смутное влечение к Лилит, и Ева не окончательно вытеснила ее из его сердца. Поэтому, если Лилит удастся приблизиться к Адаму, она обвиняет его своими волшебными волосами и — очарованного, уводит за собой... Поняла? *Damit — Punctum**.*

Она удостоила улыбнуться и, подумав, прибавила:

— Впрочем, нет, еще — подробность... Лилит может действовать так разрушительно для благополучия Евы и ее

* Обрати внимание на ее прекрасные волосы,
На это украшение, в каком она единственно щеголяет!
Когда она коснется ими молодого человека,
То не отпустит его так уж запросто... (нем.)

** В этом суть (нем.).

семейного очага — даже без злого умысла, бессознательно и ненамеренно... А просто натура ее такова — ihre schizze Naagen того требуют, что — где она появляется, там Еве приходится плохо... И, сколько я знаю Бурмыслову, она всегда была вот именно такую бессознательною Лилит... кстати же, у нее и волосы — прелестные... Потому что вообще-то она женщина с серьезным самопониманием, знает себе цену и на праздные любвишки тратить себя вряд ли способна... Но — хороша собою очень, и — ты видишь, что вокруг нее делается... Кроме разлучницы и прочих милых эпитетов женской ревности, ей от уездных Ев имени нет... Хорошо, что в этой глуши не принят витриоль, а то ей давно бы выжгли глаза... А как ее усадьбу до сих пор не сожгут, этому я даже удивляюсь... необыкновенное счастье... должно быть, их с Ариною Федотовною в самом деле Лилит бережет.

Дина слушала, стоя с опущенною головою, с потупленными глазами. Мать скользнула по ней видящим насквозь, хрустальным взглядом, и слабое подобие улыбки тронуло ее тонкие губы, давно отученные от смеха нарочную дрессировкою, чтобы лицо каменело вечно молодым мрамором, не зная морщин.

— Дина!

— Что?

— А ведь Бурмыслова угадывает тебя: ты, если полюбишь и по любви возьмешь мужа, ревнивая будешь...

Дина хмуро молчала, бледная, отчего лицо ее теряло красоту и выдавало свою неправильность, а лазурные глаза, темнея, стали, как синие омуты...

— Не знаю, — выговорила она наконец нехотя и с насильною, неестественною небрежностью. — Откуда бы? Разве по далекому какому-нибудь атавизму. Потому что ты-то, кажется, этим пороком не страдаешь...

— Жестоко ревнивая, — не отвечая, подтвердила мать. — Ты и в детстве ревнива была... Страстна, горяча и ревнива...

Такие, как ты, берут мужа в собственность и скорее позволяют с себя кожу снять, чем... ну — опять, как, бишь, это?.. «Из любви, которою владеют, малейшую частицу уступить». Нет, это Бурмыслова сказала тебе правду: ваша дружба — до свадьбы... Если ты в самом деле намерена превратиться в баронессу, то соседства Лилит ты, златокудрая Ева, не вынесешь и общество ее не для тебя...

VI

Спокойное и почти радостное лето протекало над Осною быстро и как будто хорошо кончилось. Василию Александровичу Истуканову при помощи каких-то особенных связей, а всего вероятнее, очень больших денег, истраченных им в Петербурге, удалось выхлопотать для дочери сокращение ее ссыльного срока и разрешение выехать за границу для лечения. От какой именно болезни, над этим изобретением долго ломали себе голову врачи, выдававшие Дине медицинское свидетельство: настолько она, словно вот на зло, оказалась человеком физически здоровым и хорошо построенным... Перед отъездом Дина наконец согласилась понять, что ей лепетал ее влюбленный барон при каждом свидании, — и прощальное свидание их заключалось предложением с баронской стороны руки и сердца, а с Дининой — принятием предложения. Правосле, таким образом, выпал еще один веселый день, отпразднованный шумно и радостно. Затем Чернь-Озеровы, мать и дочь, быстро, как только успели собраться, отбыли в Петербург, брать заграничный паспорт. Разрешение Дине пробыть две недели для устройства своих дел в столице также легко было дано. Барон уехал вслед за ними. Все как будто слагалось очень удачно, лучше чего нельзя было желать. Но из Петербурга Виктория Павловна получила от Дины отчаянное письмо. Барон, повидавшись со своею именитою остзейскою роднею, был совершенно ого-

рошен тем приемом, которым эти люди встретили его сообщение о предстоящей женитьбе. Благородные бароны заявили молодому человеку, что на поступок этот он не имеет решительно никакого права. Барон протестовал, что он человек взрослый и самостоятельный. Бароны, со своей стороны, объяснили, что он ошибается: в баронском звании человек никогда вполне самостоятельным не бывает. Он представитель их рода, более чем пятисотлетнего, и, следовательно, связан с ними обязательствами несокрушимых баронских традиций. В течение пяти веков благородные бароны не знали прилива другой крови, кроме самой что ни есть голубой: даже на русских-то дворянках стали жениться и за русских дворян выдавать своих дочерей всего только за два, много за три поколения. Молодой же барон задумал какое-то совсем противоестественное осквернение своей родословной, вводя в нее невесть кого: какую-то мещанку Николаеву, бездокументно слывущую Чернь-Озеровой, внебрачную дочь женщины, имеющей сомнительную репутацию, и господина, который, какими бы директорскими титулами ни определял свое общественное положение, но, в конце концов, просто главный приказчик на службе магазина интернациональной, то есть еврейской, фирмы. Все это благородные бароны разузнали до тонкости и торжественно заявили своему отпрыску, что тут выбор должен быть решительный: или — они, или — этот брак. Незаконнорожденную мещанку они баронессою никогда не признают, принять ее в свою среду — не примут, а вместе с тем попросят и барона прекратить с ними всякие сношения родства, свойства и знакомства. Словом, мы вас из своего баронского рода вычеркиваем — можете, исполняя слово Писания, прилепиться к жене своей в полном смысле слова и стать с нею таким же ничтожным мещанином, какова и она мещанка. О том, что вопрос идет о девушке прекрасной, образованной, воспитанной, наверное, лучше, чем большинство юных баронесс их голу-

бой крови, никто не хотел даже слушать. Это было — к делу не относящееся и вне круга понимания остзейских голов. Користные мотивы в этом случае вряд ли кем-либо преследовались. Барон был не малолеток и давно уже хозяйничал в своих обширных и богатых владениях не только самостоятельно, но и с большими чудачествами, довольно-таки для него разорительными. Бароны все чудачества его знали, но никогда в них не вмешивались каким-либо родственным давлением — находили, значит, что именно всякий барон имеет свою фантазию и волен ее исполнять, как ему, барону, угодно. Так что в запрете, который они теперь предъявляли своему родичу, спасали только, так сказать, родословный коллектив и химическую чистоту голубой крови.

Барон, приняв паровую баню милых родственников объяснений, явился к невесте совсем сконфуженный и растерянный. Конечно, он, как человек порядочный, ни одной минуты не колебался в выборе и — не давши слова, крепись, а давши, держись — предложения назад не взял. Жребий был брошен: он остается с невестою и уходит от рода. Но было слишком заметно, что жертва стоит ему очень большого усилия над собою и обходится дорого во всех отношениях. Он теряет целую группу людей, которых искренно любил и уважал до сей поры, и это создает в жизни его целый моральный перелом, из которого он не знает сам, как и с какими чувствами выйдет. Наконец, даже с материальной стороны он должен сильно пострадать от разрыва с родными и создать себе условия трудной и непривычной житейской борьбы в таких новых условиях и столкновениях, о возможности которых до сих пор не только что не думал — даже ее и не подозревал. При всей природной мягкости и деликатности барона это смущенное и неприятное настроение его проглянуло сквозь разговор с невестою — и они с Диною не то чтобы поссорились, но как-то сразу вдруг будто потеряли «моральный аппетит» друг к другу. Дине барон показался

трусом пред родней и втайне полным надменных предрас-судков аристократом, который вот, изволите ли видеть, нахо-дит какую-то необыкновенную жертву со своей стороны в том, что женится на любимой девушке назло глупому чванству неразвитой, застрявшей в Средневековье, устарелой и отжив-шей родни. А барон огорчился, вообразив Дину девушкой жесткого характера, которая не уважает семейного начала, легкомысленно относится к историческим традициям и не-достаточно ценит мужество, с каким он отстаивает свое право на женитьбу от протестующих баронов, что совсем уже не так легко, как она воображает. Так пробежала между ними первая черная кошка. Известно, что этот зверь, только узнай дорогу однажды, а там и пойдет шмыгать. Среди бароновой родни, кроме консервативно неумолимой правой, нашлась, конечно, и более либеральная левая, относившаяся к матри-мониальным планам барона хотя и не одобрительно, но со-гласная поискать каких-нибудь компромиссов, чтобы и ба-рон мог исполнить свою фантазию, и именитый род получил бы некоторое удовлетворение и возможность эту фанта-зию хоть отчасти признать. Ознакомившись с Диной в том искусном порядке, как только в Петербурге сватовские дела обделываются, так что Дина даже и не подозревала, что она — жертва вражеских смотрин, либеральная часть бароновой родни нашла ее действительно *tres distinguee** и по крайней мере с наружности, баронессою хоть куда. А так как в это время Василий Александрович Истуканов по новому договору с хозяйскою фирмою был уже не только директором-распорядителем универсального магазина Бэра и Озириса, но и одним из главных его пайщиков, то бароны-либералы находили, что за хорошее приданое, которым, по всей вероятности, наградит свою дочь господин Истуканов, можно было бы и примириться с некоторыми недостатками

* В высшей степени изящной (*фр.*).

в фамильном гербе невесты. Но — по крайней мере хоть бы она, эта Дина, была узаконена. Хоть бы родители ее потрудились на старости лет прикрыть свой грех, поженились бы и привенчали дочерей... На таком условии либеральные бароны обещали барону-жениху, что сохраняют с ним старую родственную связь и будут ходатайствовать за него пред более суровыми и непреклонными членами рода... Барон очень обрадовался такому компромиссу. Прилетел он к Чернь-Озеровым, совершенно счастливый и полный уверенности, что теперь дело в шляпе, так как хорошо знал, что никаких формальных препятствий к браку между Анимаидой Васильевной Чернь-Озеровой и Василием Александровичем Истукановым не существует и долголетняя, не прерывающаяся связь их не оформлена церковным браком только по нежеланию Анимаиды Васильевны поступиться своими религиозными и социальными взглядами свободомышлящей феминистки. Ну, взгляды, — это хорошо, пока не серьезно приспичит, теорию разводи сколько хочешь, а когда практика жизни глядит тебе в глаза и жмет тебя в угол, — тут не до отвлеченных рассуждений и выпренних соображений... Тут судьба и счастье любимой дочери на карте... Риторичу-то в сторону, дело — на сцену!.. Но, сперва к удивлению барона, потом к негодованию, потом к отчаянию, то, что он считал самым легким, в действительности оказалось всего труднее. Когда он заговорил с невестою о желательности церковного брака ее родителей, Дина открыла на него свои лазурные глаза с таким выражением, будто видела сумасшедшего, и заявила ему, что он, очевидно, не понимает, что говорит. Неужели барон хоть минуту может думать, будто она, Дина, способна потребовать от своей матери, чтобы та ради пустых капризов бароновой родни изменила главному убеждению всей своей жизни?

— Но это же пустая формальность!.. — убеждал озадаченный барон. — Никто не требует от Анимаиды Василь-

евны, чтобы она изменяла своим убеждениям. Пусть она хранит свои убеждения в какой ей угодно целости. Я ее убеждения уважаю и сам держусь точно таких же убеждений. Но мы люди слабые, мы не в состоянии переделать общество. Значит, пока не произошло торжества наших убеждений, мы должны делать обществу возможные уступки. Убеждения убеждениями, а жизнь жизнью. Надо применяться. Феминизм и свободомысле Анимаиды Васильевны несколько не пострадают оттого, что она ради формальности, ну просто только ради формальности дозволит повенчать себя в церкви...

— Которую она не признает, — язвительно подчеркнула Дина. — Великолепно!

— Да — что же из того? Ведь и мы с вами не признаем, однако решили же венчаться...

— А вы думаете, это с нашей стороны очень честно и искренно?

— Однако мы идем на это, потому что любим друг друга и желаем взаимного счастья...

— Да, но я, со своей стороны, сознаюсь откровенно, что это — измена своим взглядам, и чувствую за нее большой стыд, как человек, не выдержавший испытания своей зрелости... Но я — хозяйка самой себя. Мой поступок — мой и стыд. Но я не хочу и не имею права требовать, чтобы ради моих удобств близкий мне человек сдался на капитуляцию своим врагам и наживал себе внутреннее недовольство и стыд.

— Помилуйте, Дина, — возразил барон. — Зачем так глубоко зарываться в самоанализе? Ведь это какое-то предвзятое желание мучить себя рассмотрением в корень.

— Очень может быть, — резала Дина, — но что же мне делать, если я не принадлежу к числу людей, способных утешаться тем, что удачно скользят по лакированной поверхности?

— Да и меня, надеюсь, вы не имеете основания причислять к поверхностным людям. Я лишь стою за то, что существо предмета не изменяется от его видимых приспособлений к неопределимой необходимости. И, наоборот, очень часто — именно для того, чтобы сохранить целым существо, благоразумие и долг требуют подчинения наружной формальности...

Дина на это отвечала, что мало ли какие бывают формальности.

— В первые века христианства тоже никто не приглашал мучеников непременно верить в идолов и в божественное имя цезарей, а надо было только покурить пред ними щепоткою фимиама и сделать публично несколько благоговейных жестов. Формальность, пустая формальность, однако люди предпочитали ей — идти на кресты, на костры, на эшафоты, в львиные челюсти...

— Дина, вы ужасно экзажерируете!* — воскликнул барон: он любил подобные слова. — Что общего между христианами в цирках и амфитеатрах и десятью минутами стояния и хождения вокруг аналая? Неужели тут — в отказе подобном — вы способны видеть какой-то героизм?

Дина заметила, что о способах героизма она спорить не будет, но — убеждение, какое бы ни было и в чем бы оно ни проявилось, есть убеждение, и насиловать его нельзя. А к жертвам и уступкам его понуждать — это все равно что сказать человеку, что вера его — пустая вера, которая совсем ему, по существу, не нужна и не важна, и может он ее, значит, применительно к обстоятельствам и по мере надобности и коверкать, и обрезать, как ему в данный момент выгоднее и удобнее... А — захочет и условия приятные подойдут — то и совсем пустить ее побоку... Она настолько уважает свою мать, что

* Преувеличивать (от *фр.* exagerer).

подобного компромисса требовать от нее не в состоянии и не станет.

— Помилуйте, — спорил угнетенный барон, — что вы и меня, и себя пугаете словами? Компромисс не бешеный волк и не тигр бенгальский... Как же быть без компромиссов? Это воображаемая жизнь. В действительности подобной не бывает. Все общество — по идее своей — сплошной компромисс. Мы все компромиссам подчинены и ими только живем и целы... Почему, наконец, в отношениях своих вы одним позволяете вступать в компромиссы, не боясь, что они нарушают тем свою веру, а Анимаида Васильевна одна является для вас каким-то неприкосновенным исключением?

Дина, строго нахмурившись, немедленно остановила его вопросом:

— Какие же это, собственно говоря, веры с компромиссами и кому я позволяю?

— Да, например, мне, — бухнул сгоряча зарпортованный барон. — Ведь для меня-то вот, например, вы компромисс признаете возможным...

Дина еще строже любопытствовала узнать, о каком именно компромиссе он говорит. А барон, увлекаемый своею несчастною судьбою, так же поспешно и неосторожно брякнул, что — вот для него, барона такого-то, его фамильный культ — тоже в своем роде почти что религия, убеждение глубокое и драгоценное, однако вот он же поступается этими своими взглядами для счастья жениться на такой девушке, как Дина...

Если бы барон целый месяц нарочно придумывал случай и повод, чтобы разорвать свой короткий союз с Диной, он не мог бы успеть в том лучше, чем эту несчастную обмолвку. Девушка побледнела так, что сразу вся красота ее пропала и сделалась она почти безобразной, в углах и комках своего асимметричного лица. И голосом, полным ледяных

нот и сделавшимся изумительно похожим на голос матери, хотя в обыкновенное время между двумя их голосами ничего не было общего заявила барону, что она очень извиняется — решительно не подозревала до этой минуты, будто такова внутренняя религия и основное убеждение господина барона. С носителем подобной веры связать свою судьбу она не может и не желает, а потому — конечно: предложение она барону возвращает и свое согласие берет обратно.

Барон пришел в отчаяние, но Дина была непреклонна. Барон бросился за помощью к Анимаиде Васильевне. Та страшно взволновалась, но, когда пришла переубедить Дину, дочь не дала ей говорить...

— Я знаю, что я делаю! — восклицала Дина, сверкая глазами на подурневшем, опасном, асимметричном лице, ставшем похожим на Истуканова, как Анимаида Васильевна видела его в последний раз в Москве, больным^{*)}. — Я очень люблю барона, и мне страшно тяжело все, что произошло, но женою его я не буду. Ни в каком случае. За барона, приносящего «сословную жертву», я не выйду. Это значит, всю жизнь потом чувствовать себя должницею по векселю, которого не признаешь, а платить по нему почему-то надо.

И — раз, два, три — со стремительностью, ей свойственною и всегда отмечавшею все ее поступки, она, оборвав знакомство, возвратив письма и подарки, не попрощавшись даже лично с женихом своим, уехала за границу, как только исполнился дозволенный ей срок пребывания в Петербурге. Анимаида Васильевна угрюмо возвратилась в Москву, и теперь уже от нее Виктория Павловна получала письма, мрачные и тревожные. Видно было, что несчастный роман дочери ее глубоко уязвил и удручил, как трагический конфликт ее взглядов с обывательскою действительностью, — конечно, вообще-то не первый, а может быть, сто первый, но первый из

^{*)} См. «Дрогнувшую ночь».

такой категории, в которой ей приходится расплачиваться за свою веру не своею собственною силою и долею, а судьбою молодого поколения, счастьем своих, только что входящих в жизнь дочерей... Поведением Дины в этой тяжелой истории она как-то мрачно восхищалась, очевидно, не ожидая от дочери стойкости и глубины, которые та вдруг, внезапно явила. Но в то же время чувствовалось, что она сама-то глубоко сконфужена, словно мирная богиня, на алтаре которой вместо плодов, сыра, амфоры вина — обычного кроткого и красивого приношения тихих поселян — вдруг взяли да и закололи кровавую жертву...

Дина жила в Париже, училась, встретила москвичей, возобновила и сделала кое-какие революционные знакомства и вообще стала вариться понемножку в эмигрантском котле... Это покуда развлекало и наполняло интересом жизнь... Но на дне души ее остался осадок тяжелый и мутный. Он отравлял мысль и гноил существование. Девушка жила как будто спокойная и счастливая по наружности и глубоко уязвленная в душе...

«Не пойму я, в чем виновата перед Диною, да она меня ни в чем и не винит, — писала Анимаида Васильевна, — а чувствую между тем, что она — разбитая посуда, и не могу отделаться от тяжелой мысли, что несчастье ее создала я и разбила ее тоже я... И что в то же время иначе никак и быть не могло и не должно было быть...

Ничего не поделаешь, мой друг, — писала Анимаида Васильевна, — видно, судьба наконец жертв искупительных просит... Только уж лучше бы просила с меня, виноватой и строптивой, а девочка-то моя чем виновата?.. Или грех отцов — на потомстве седьмого колена?»

Вообще заметно было, что Анимаиде Васильевне живется нехорошо, и действительно, подошло к ней какое-то требовательное, назойливое, экзаменующее время, в бесконечной очереди предлагающее ей испытание за испытанием... Жа-

лоб открытых она не писала, но в письмах ее все чаще и чаще сквозило тяжелое настроение, понятно объяснимое фактами, на которые она слегка намекала... Главным ее опасением теперь, после неудачно сложившегося романа старшей дочери, стал сожитель ее Василий Александрович Истуканов, по-видимому, быстро клонившийся к какой-то серьезной душевной болезни... В чем дело, Анимаида Васильевна не извещала, но между строк читался страх, не свойственный этой смелой и холодной женщине...

«Только Зинаида и радуется, — писала она, — да и то... Мой портрет, я вторая. А надо ли это? Хорошо, ли это? Довольна ли я собою? Нужна ли была я? Нужно ли и ко времени ли мое повторение?»

Тяжелая история, пережитая Диною, произвела на Викторию Павловну глубокое впечатление. В Правосле ее, конечно, обдумывали и обсуждали долго и на все лады. Женщины много негодовали на барона, браня его и трусом, и кисляем, и дутым аристократишкой... Очень, подумаешь, нужны ему его заплесневелые бароны из лифляндских дырявых башен с мышами!.. Дурак! Какую девушку прозевал, сколько верного и красивого счастья упустил, как будто воду в решето! Теперь вот женят тебя на какой-нибудь золотушной Минне с гербом под короною — и терпи рядом с собою всю жизнь ее картофельную физиономию и куриные мозги!.. Упрекали и Дину за непремненное желание венчаться церковным браком. Если любила, так — не все ли равно? Зачем это понадобилось? Что за освящение кандалов до гроба? Прилично ли дочери такой матери спрашивать благословение у попов? Но госпожа Лабеус извиняла и защищала:

— Я бы на ее месте также поступила бы, совершенно так же, — нескладно и все в сослагательном наклонении бросалась она быстрыми словами, летя куда-то неугомонно вперед, как на борзых конях или, вернее будет сказать, на ламах южноамериканских, потому что ужасно при этом шлепала

и плевалась своими негритянскими губами, — совершенно так же бы. Не потому, чтобы мне это венчание было нужно, я, напротив, может быть, сейчас же бы вот и сбежала бы от него после венчания-то, нарочно сбежала бы, хоть и бежать не хотелось бы, затем сбежала бы, чтобы он понимал, что он дурак и что венчание, стоит только захотеть, не держит. А потому, что какой же это мужчина, если ему его какой-то там род смеет приказывать? Для того, что я выхожу замуж не за род, а за него самого. Если бы этого столкновения его с родом не было, то — сделайте ваше одолжение: не надо мне никаких родов, венцов и аналогий. Бери меня, я возьму тебя, и — живем, пока ты порядочный человек и я тебя люблю и уважаю. Но если мне подобные испытания ставят, то — нет, мой друг. Как законный муж ты мне совершенно не нужен, и я твоею законностью пользоваться в жизнь свою не намерена, но жениться на мне ты должен, именно назло прокисшим баронам твоим, потому что я не раба твоей пятисотлетней родни и брезговать собою не позволяю... Любишь, так женись, а не любишь, отвяжись, черт с тобой, с кисляем... целуйся со своими баронами! У! Ненавистная мне порода! От всех от них мышами и крысами пахнет...

Но, когда Виктория Павловна осталась с глазу на глаз с Ариною Федотовной, она особенно тяжело задумалась.

— Ты-то что затуманилась, зоренька ясная? — с участием спросила ее, зорко присмотревшись, всегда видящая ее насквозь домоправительница.

Виктория Павловна ответила ей долгим, значительным взглядом, покачивая своею юнонинскою головой:

— А вот о том, как Анимаида Васильевна пишет, что судьба просит искупительных жертв... Сдается мне, нянька, что подползают понемножку эти жертвы и ко мне... Сейчас вот Анимаида Васильевна Диною расплачивается... А лет через десяток — если будем живы — придет очередь и мне расплатиться Фенечкою...

— Ну... — неопределенно утешительным тоном протянула Арина Федотовна. — Авось мир-то не все на одном и том же месте стоит... Скоро ли, долго ли, а люди все-таки как будто умнее становятся...

— Ой, нянька, не так быстро, как нам с тобою хочется... И мы с тобою, и дети наши — успеем в могилы лечь, прежде чем ум-то этот вблизи себя увидим...

— А ты не киселься, — посоветовала Арина Федотовна. — Это ты себе новую какую-то манеру взяла, и я тебе по чистой правде скажу, что она тебя очень как много портит... Не киселься... Что будет, то будет, а мы постараемся, как нам лучше...

— Нам да нам... — с досадою передразнила ее Виктория Павловна. — Все — как лучше нам... А вон, оказывается, что нам-то, может быть, иной раз и хорошо, а им-то, — голосом подчеркнула она, — приходится уж вот как неладно и скверно.

— Не киселься, — повторила Арина Федотовна со свойственным ей оракульским напором. — Что это, право? В девчонках — и то была отчаянная, на всякое свое недовольство — сейчас головой повертишь, — глядь, уж и готова: нашла ответ, оправдалась. А теперь — в настоящем своем женском возрасте должна была бы много умнее и победительнее быть, а вместо того совсем некстати стала теряться сама перед собою... Все недоумения какие-то, да треволнения, да — что как так? Да — что как этак?.. И — язык стал с дыркою... Откуда? Замкнись ты, Виктория!.. Чего тебя к людям на посмеих тянет? То попам исповедуешься, то с Афанасьевичем откровенности развела, то теперь хочешь на десять лет вперед заглянуть и устроить... Оставь... Былого не вернешь, будущего не узнаешь... В мире, друг ты мой Витенька, ни прошедшего нет, ни будущего... Один только миг важен — настоящий, в котором ты живешь, один только человек в свете важен — с которым ты вот сейчас разгова-

риваешь, одно только дело важно — которое ты вот сейчас делаешь... Тут — и счастье твое, и несчастье... А кто на будущее надеется — обманется, а кто о прошлом скорбит и сокрушается — тот сим свою жизнь съедает...

— Все это, нянька, может быть, и справедливо, — угрюмо отозвалась хмурая, беспокойно играющая бровями Виктория Павловна, — да что-то не утешает...

Тогда Арина Федотовна стала умильно ласковою и мягко приманчивою, точно масляный блин, и, заглядывая питомице своей — снизу вверх, в мрачные, полуночные глаза, под опущенные темным лесом ресницы, — сказала, лукавая, с преступным кошачьим светом в глазах:

— Может, засиделась ты очень? Время «зверинку» пробегать? Так это в нашей власти... И уезжать никуда не надо, ты мне только намекни... Есть у меня на этот случай запасец — спасибо скажешь...

Виктория Павловна резко перебила ее:

— Никаких твоих запасцев мне не надо, а...

— Ну, это — как сказать... — ухмыльнулась домоправительница. — Не спеши зарекаться... Знаем мы тоже... Не впервой...

— Я и не зарекаюсь, — мрачно остановила ее Виктория Павловна, — к сожалению, не чувствую в себе смелости и искренности к зароку...

— Вона! Жалеть уже начала... Еще новости!.. Истинно тебе говорю: испортили тебя, Виктория, подменили...

— Оставь, — оборвала Виктория Павловна.

И в воцарившемся угрюмом молчании выговорила зло и ядовито, сквозь стиснутые зубы:

— Не беспокойся, мать-игуменья: не переменилась, такая же тварь, как была... Но ты знаешь, что, когда «зверинка» мною не владеет, ненавижу я слышать и вспоминать о ней...

— То-то вот, — учительно подхватила Арина Федотовна, — все у тебя не огонь, так вода, не на горе, так в боло-

те... Что ты, что Евгения Александровна — горе мне с вами... На грош прегрешения, на рубль сокрушения...

— У тебя наоборот? — невольно усмехнулась Виктория Павловна. — Или, впрочем, нет: и гроша сокрушению не оставляешь, полностью на весь рубль грессишь...

Арина Федотовна ударила себя руками по бедрам, подбоченилась и захохотала.

— Ну, вот это так! — воскликнула она, крикая утиным смехом. — Вот это сказано! По-нашенски! В этом я тебя, Виктория, узнаю...

Но — увы! — пробужденные печальною судьбою Дины новые мысли о будущем маленькой девочки Фени все чаще и чаще приходили в красивую голову Виктории Павловны тревожить ее гордый и грешный покой. И все чаще и чаще можно было видеть ее одиноко идущею межами сжатых полос по направлению к Нахижному, к нарядному дому с деревянными петухами и конями, в котором весело росла маленькая голубоглазая девочка в светлых волосах, со звонким птичьим голоском, неугомонная лепетунья, мелькавшая теперь, как маленькая молния, сегодня голубая, завтра розовая, послезавтра желтенькая, с чердака на погреб, с погребя на конюшню, с конюшни на огород, и так — день-деньской, круг кругом, словно белка, неугомонная в вечно вращающемся колесе... И целыми часами просиживала Виктория Павловна у Мирошниковых, любуясь девочкой и радостно смеясь на нее, умиляясь дочерью и стыдясь самой себя... А Фенечка хорошела день ото дня... И старуха Мирошникова, гордая, не раз уже говорила Виктории Павловне:

— Невозможно сказать, как наша Фенечка к вам привязана, даже все свои примеры только с вас и берет... Мы со стариком аж удивляемся: иной раз, что станет, что взглянет — ну совсем как есть вы... Просто даже ахнем, как она умеет подражать вам во всем...

Виктория Павловна давно замечала это, что девочка уж очень хорошо, слишком хорошо умеет ей «подражать», то есть, попросту говоря, удивительно похожа на нее в некоторых движениях, поворотах и даже в манере произносить иные слова, — замечала лучше, чем кто-либо другой... Замечала, может быть, даже преувеличенно, по предубеждению, потому что искала сходства, которого боялась... И каждый раз подобные рассказы старухи обливали ей сердце жгучим смешанным чувством гордости и унижения... Гордости, потому что девочка была прекрасна, унижения, потому что она не смела себя назвать матерью этой прекрасной девочки... И уже не раз после того, как поселилась она в Правосле и начала учащенно посещать Мирошниковых, шевелились стыд и как будто твердое намерение: «Вот следующий раз, как пойду я в Нахижное, то более уже не буду ни напрасно терпеть и мучить себя ложным и тайным стыдом, ни бояться, а прямо и откровенно скажу Мирошниковым всю мою тайну и заявлю права, которые имею на Фенечку. Да... по крайней мере если не всем, то — пусть хоть им, Мирошниковым... Что же? Я ведь не собираюсь у них ее отнимать, не стану даже чаще бывать у них, чтобы не волновать ревнивую старуху своим присутствием, как ее волнует, например, Арина. Я только уничтожу этот круговой обман и попрошу позволения быть матерью моей дочери... хоть немножко... хоть между нами... Вот и все... Я это сделаю непременно в следующий раз... Да, в следующий раз, не откладывая...»

Но следующий раз этот никогда не приходил... Словно фатум какой тяготел над подобными ее решениями... Вечно выпадал какой-нибудь случай, выбивавший ее из намеченной колеи и отбрасывавший ее очень далеко от первоначальных ее намерений... Да и Арина Федотовна, угадывавшая ее настроение, зорко следила, чтобы она не сделала какой-либо новой «глупости», и каждый раз спешила как-нибудь разбить

эти мысли... Вернейшим к тому средством являлось напоминание об Иване Афанасьевиче.

— Дочь признать не долго, — говорила она. — Да ведь она не одна. Ну а как ты в папеньке-то ее признаешься? А ведь без этого не обойтись. Еще — если бы ты не сделала этой глупости, пред Афанасьевичем не открылась бы, — куда ни шло. Соврали бы что-нибудь подходящее к тому времени, выдумали бы любовника, которого проверить нельзя... вон Паша Парубков застрелился, Орест в сумасшедшем доме помер^{*)}. Вали на покойников-то: преползшая нация — все стерпят... мертвым телом хоть заборы подпирай!.. А теперь, как сама расписалась, не соврешь: он — Афанасьевич — каждую минуту может тебя в глаза изобличить... Ты думаешь, он забыл и зарекся? Нет, дудочки: только — трус да молчит, а помнит и думает... Я ведь слежу. Он с того вашего разговора теперь не хуже твоего повадился к Мирошниковым: как тебя нет, так он и там — тоже дочкою любит... Этакие нежные чувства в нем неспроста... И я того мнения, что одной тебе он дочери не уступит. Теперь — да: как оно есть, так тому и быть. Ни твоя, ни его. Ты молчишь, он молчит. Ну а если ты дочь потребуешь, вот, посмотри, он тоже часть свою заявит... Да что я тебе разрисовываю? Сама неглупа, понимаешь. Недаром ты забоялась его. Он для тебя человек жуткий, страшный. Может, потому-то и страшен особенно, что уж очень он ничтожный, никакой он человек. Такой, что даже и расчетов-то о нем быть не может, чего от него ждать, чего не ждать... Ой, Виктория, берегись, не провались, ходя по льду! Береги ты свою молодость, береги ты свою свободу. Ведь надо же правду понимать: только что мы с тобою бабенки нетрусливого десятка, а Афанасьевич трус несчастнейший и за жизненку свою гнусную дрожит, как заяц, только тем ты и цела, а то — вся в его воле, как ему вздумается, так и осрамит...

^{*)} См. «Виктория Павловна».

— Я это сознаю, — мрачно соглашалась Виктория Павловна, — но уверяю тебя, нянька, все эти прятки постыдные и отчужденность моя от Фенечки в такую нестерпимость слагаются, что я уже и на огласку готова...

— Боже тебя сохрани! — с ужасом воскликнула Арина Федотовна, даже бледнея. — С ума ты сошла! Погубить себя хочешь?

— А — пускай... Не очень-то, нянька, жаль мне себя погубить...

— Себя не жалеешь, так других пожалей, — строгим упреком надвигалась на нее Арина Федотовна. — Вон это даже Диночка, из гнездышка цыпленок, понимает, а ты — нет? В самой себе — твоя воля, а в других тебе воли нет, а — что народу вокруг себя погубишь? Это ты считала? Это хорошо?

— Может быть, и нехорошо, — невесело усмехнулась Виктория Павловна — только уж очень удивительно мне слышать подобные речи из уст твоих... Когда это ты учила меня жалеть других и сама жалела?

— Жалость разная бывает, — холодно возразила Арина Федотовна, — и погибели тоже разные. По погибели и жалость. Околей сейчас красноносый Иван Афанасьевич твой либо какая-нибудь Тинькова госпожа, добрая соседка наша, я скорее по псу смердячему заплачу, чем по этаким мелочи человеческой слезинку выроню. Еще и сама бы им с удовольствием помогла в землю уйти, чтобы они, обманно в человеческом образе ходя, настоящим людям света не застилали и жизни не портили...

— Да ведь настоящими-то людьми ты, кажется, только и считаешь на целом свете, что себя да, может быть, еще меня немножко... — печально улыбнулась Виктория Павловна.

— Нет, не совсем так, — спокойно возразила Арина Федотовна. — Побольше. Некогда по пальцам считать, а то бы

дюжины две-три по именам назвала... Да и, кроме того, скажу тебе: я женщина справедливая. Если человек хорош, я его и во враге различу и почту хорошим человеком. И ежели который человек сам по себе хорош, а только мне чужак, не моей жизни и веры, то я ему этого в вину никогда не поставлю и злобиться на него за то не буду. Возьми в пример князя твоего либо Зверинцева Михайлу Августовича: не мои люди, всем духом своим мне чужаки, а — ничего, ребята добрые, не похую... И таких людей вокруг тебя много. Свою-то душу в жизни поизмытарили, что было своего святого — веру поистратили, а без этого капитала жить не умеют и не могут, ну вот и ищут утешение в твоей ласке и красоте — что подруга ты уж больно хорошая и сердечная, ласковая на всякое понимание, и при тебе в них свинья-человек молчит, а старые забытые ангелы сладко голоса поднимают. И это, Виктория, дружок мой, штука не простая, а дорогого стоит... Что головою-то затрясла?

— На обмане строено, — раздался угрюмый ответ.

— Ну, и на обмане! — с сердцем огрызнулась Арина Федотовна. — Эка беда... ушибла меня словом-то, подумаешь! Что же делать, если людишки в миришке так изолгались, что им только ложь и есть во спасение? Что же делать, если наше время еще не пришло и мы, бабы, еще своей правды себе не отвоевали? Обман-то — в жизни человеческой — как лестница: одному — эта ступень, другому — та... Фыркать-то на обман легко и дешево, а ты погоди плевать в колодезь, пригодится воды напиться. Если чем красна твоя жизнь, так не тобою самою, потому что ты человек беспоконный и душа твоя буйная и смутная. А в том твое великое счастье, Виктория, что нравишься ты хорошим людям и не оставляют они тебя, любят... Очень высоко тебя превозносят... Как икона какая-нибудь ожившая ты для них... Дай им волю — лампадки бы зажгли перед тобою, потому что —

кажется им — в окладе ты сияешь и чудеса творишь... Ну и хоть считаешь ты меня женщиною жестокою, а вот тебе мои мысли: нельзя обижать хороших людей в их любви и вере... Это — все равно что если бы, вот именно, ты к иконе чудотворной пришла с молитвою, а она вдруг — на, показала тебе язык или плюнула бы в тебя скверным словом. Чем ты грешна и как грешна, это твое дело. Безгрешной тебя никто не считает, а о грехах тебя не допрашивают, потому что огорчать себя не хотят. Ну и твое счастье, и держи его. Люди, что знают, чего не знают, с тебя не взыскивают и тебя любят много и при случае много тебе простят. Но Ивана Афанасьевича — это будь спокойна — тебе не простят никогда.. Никто!.. Всякую твою «зверинку» поймут и извинят, а эту — не надейся! Ни-ни!

— И не надо... пусть! И проживу одна, без них... И не нуждаюсь ни в чем прощении...

— Верю... Ты думаешь: не верю?.. Нет, знаю: гордая ты, норовистая... Да ведь штука-то не только в том, что не простят, а в том, как оно скажется... Не на тебе! Не на тебе! Подожди, не вспыхивай горячкой!.. Я прямо тебе скажу: многие будут беды. Человек я немолодой, опытный — верь. Что с князем будет? Как Зверинцев перенесет? На что Келепова с Телеповым — и тех жалко, потому что последнее у них в душонках чистое место — что они тебя уважают. Провалится оно — аминь, не стало и души, одна помойная яма осталась... Вот ты это и рассуди. Сад у нас густой, да неплодный, так не пришлось бы вместо фруктов висельников с сучьев снимать...

Она пристановилась, прислушалась, и так как Виктория Павловна, потупленная, ничего не отвечала, то продолжала напористо, быстро, внушительно:

— Кому польза? Кому радость? Себя отдать в насмешку людям, чтобы ворота дегтем мазали и парни по дорогам свистали и пели о тебе скверные песни? Фене — тоже на

всю жизнь только издевательство, будто на смех: вот, мол, чрез какое смешение естества ты, душенька, на свет произошла... за деньги надо показывать! Во сто годов один раз на всю империю подобная редкость бывает!.. Мирошниковых ты — это уж не сомневайся — зарежешь: не выдержать этого удара старикам... Сама-то, я знаю, понимает Афанасьевича хуже, чем избяного таракана... Всем добрым друзьям, которые на тебя Богу молятся, — плевков в глаза от иконы... Афанасьевич... Ну, о нем, скоте красноносом, я и говорить-то — языка марать — не хочу... Чем ему хуже, тем, по-моему, нам лучше... То есть — вот уж ни на одну секунду рука не дрогнула бы, чтобы этот срам твой в сырую землю положить... Ну не буду, не буду, знаю, что не любишь, не нагоняй морщин на лоб, а то, не ровен час, останутся, рано стареть начнешь... А я бы хотела, чтобы ты век была молодая — вот такая, как теперь... Царица! Марья Моревна, кипрская королева!.. Береги молодость, Виктория, ой, береги! Что молодость, что свобода — одно. Ой, береги и молодость свою, и свободу...

— А, полно, нянька, оставь! Уж какая свобода, когда вся — у собственного своего обмана в цепях...

— Твой обман — твоя в нем и воля, — равнодушно возразила Арина Федотовна. — Лишь бы людям воли над собою не дать, а на собственной цепи сидеть — все равно что не скованной быть. Хочу — ношу веригу, хочу — сбросила. Дело житейское — море житейское. А ты у меня белая лебедь, так и плыви, знай, по морю-то лебедью.

— И то плыву, нянька... — горько вздохнула Виктория Павловна — Давно, а плыву... Плыву, плыву... а где моя пристань? Конца не вижу. Берег мне дай.

— А ты не бойся: волна свой берег знает, мимо не пронесет. От судьбы не уйдешь, куда надо, приплывешь.

— Вот завидела бережок крохотный, хочу пристать, ты уже ухватила, не пускаешь, тянешь в сторону...

— И тяну, и буду тянуть, — оживленно подтвердила Арина Федотовна, быстро закивав скифскою своею головою. — Потому что, ладья ты моя великолепная, это не бережок ты завидела, а мель подводная камешек высунула и манит тебя, чтобы ты на нее наплыла и разбилась... Еще кабы ты мелко плавала, так, может быть, и проскользнула бы, только слегка зацепившись и поцарапав доньшко. А ведь ты у меня всегда в жизни, что ни начнешь, всегда норовишь плыть самую глубокою водою... Уж худа ли я, хороша ли, а люблю я тебя, вскормленную лебедь мою, и, покуда жива, не позволю я тебе разбить свою белую грудь о мель обманную... вот не позволю и не позволю!

Осень разогнала гостей Правослы. Ранняя зима накрыла усадьбу снегом. Сугробы занесли дороги к уединенному старому гнезду, где сбились в кучу, выбрав три комнаты, лучше державшие тепло, три женщины: Виктория Павловна, Арина Федотовна и дальняя родственница ее, молодая, богатырского телосложения стряпка Анисья. Вне главного дома в усадьбе был и жил отдельною жизнью флигелек, в котором медленно умирало безногое, злое, ненавистное Виктории Павловне существо, называвшееся ее теткою. За нею ходила особо приставленная и оплаченная девчонка, терпевшая от нее муку-мученскую. Зачем это существо скрипело еще на свете, оно и само не понимало. Кажется, исключительно назло своим родным, которых она всех ненавидела, и в особенности племяннице, которую она ненавидела несколько больше остальных родных — за то, что уж слишком была перед нею виновата^{*)}. И была черная банька, в которой смирно прозябал Иван Афанасьевич. Летом он еще встречался иногда с Викторией Павловой в саду или во дворе. Зима окончательно отрезала его от главного дома, и, живя на таком близком расстоянии, эти два человека были теперь

^{*)} См. «Виктория Павловна».

едва ли не дальше друг от друга, чем когда-либо. В главном доме жилось очень трудно. Денег совсем не было. Арина Федотовна билась, как рыба об лед, выворачивалась, сама не зная, из чего только она родит средства жить. Раза два Правосла уже назначалась к продаже, но всякий раз дело как-то обходилось. Чтобы не скучать очень, выучилась Виктория Павловна за зиму эту по-английски. Знакомый редактор из Петербурга прислал ей толстейшую немецкую книгу для перевода, который она понемножку и делала в короткие зимние дни. Жизнь шла однообразно и вяло, как в монастыре. Вставали со светом. Ложились спать — как только падали сумерки, чтобы не жечь понапрасну керосина. Из трех комнат одну обратили в кухню, в которой Анисья чадила день-деньской своими нехитрыми первобытными снедями; другую оставили вроде рабочей и приемной, на случай гостей; в третьей, единственной настоящей теплой, спали — все три женщины вместе, чтобы не бояться воров, а в особо морозные ночи даже на одной постели, завалившись всеми одеялами, шубами и тулупами, какие имелись в доме. Потому что, сколько ни топить было правосленскую развалину, вечерний жар к утру выдувало в незримые щели, и, однажды вода в умывальнике Виктории Павловны застыла в лед. Гости бывали редко. Все в уезде знали, что Виктория Павловна не очень-то любит принимать посетителей в своей полуразрушенной хороmine, которой зимние неудобства не искупаются и не скрываются, как летом, живописностью красивого сада и старинных служб. И себя Виктория Павловна тоже не любила в неизящном зимнем виде, с вечными валенками на зябких ногах, с варежками на зябких руках, с чалмою из шерстяного платка на зябкой голове, в домашней беличьей шубейке и, несмотря на то, все-таки с сизым от холода лицом, потолстевшую и потерявшую грацию от шерстяного белья, без которого она сейчас же застывала и простужалась. Она сама смеялась над собою в письмах к при-

ятельницам и приятелям, что на зиму обращается, подобно солнечной принцессе, в дикую Эльзу, которая, обросши еловою корою, разучивается даже говорить, а только мычит, покуда не явится вместе с весною великодушный красавец королевич, чтобы разбудить ее поцелуем к жизни, радости и красоте. Но никакой королевич не являлся, да что-то и не нужен был. Все еще расходовался запас того физического покоя, который Виктория Павловна привезла с собою в Правослу, а Арина Федотовна только диву давалась на ее благоразумие. «Зверинка», как называла она страстные смерчи, обычно так буйно повелительные в натуре Виктории Павловны и время от времени врывающиеся в жизнь ее неодолимым физиологическим запросом, спала и молчала. Тихая и кроткая, Виктория Павловна жила, вся ушедши в самое себя и в поверку многих важных и сложных вопросов, до сих пор ей не то чтобы чуждых либо не любопытных, но — вихрем крутившаяся всегда на людях, кочевая и безалаберная жизнь уводила ее в сторону от них, не давая времени ни для решения их, ни для пристальной задумчивости над ними, ни даже для возможности дать волю просимому ими чувству. Главнейший и серьезнейший из этих вопросов стучался к ней по два и по три раза в неделю, а по воскресеньям уже обязательно, в виде маленькой, тоненькой, длинненькой, разрумяненной морозом красотишки девчонки с личиком-блинчиком, сияющими светлыми глазками и с осанкою и миною деревенской принцессы, одетой то в новенький дубленый тулупчик, то в синюю шубейку и повязанной по головке низко-низко, с напуском на лоб — чтобы мозги не стыли, — толстым шерстяным платком... К весне Виктория Павловна перевод свой кончила, отослала, получила за него маленькие деньги и новый том для новой работы. Гонораром ее Арина Федотовна заткнула пасть какому-то очередному взысканию, опять угрожавшему Правослу молотком аукциониста, и с этих пор начала относиться с некоторым уважением к книгам,

которые толстыми пачками привозил для Виктории Павловны из губернского города Ванечка Молочницын, успевший уже вырасти в молодого человека, бреющего первые усы. Этот юноша, кончив в Рюрикове четырехклассное городское училище, поступил было по протекции кого-то из друзей Виктории Павловны в гимназию, но не замедлил нарисовать на классной доске карикатуру на директора, обратившую почтенного педагога в посмешище не только собственного учебного заведения, но и всего славного губернского города Рюрикова. Из гимназии Ванечку выгнали, и теперь он служил писцом в конторе одного нотариуса, большого и очень влюбленного приятеля Виктории Павловны. Этот последний, человек интеллигентный, но недалекий, добродушный, крайне сантиментальный, кажется, только потому и взял к себе Ванечку, чтобы было кому регулярно возить в Правослу разные съестные и книжные приношения на алтарь его кумира, в особенности толстейшие письма, в которых поэтический нотариус облегчал свою страстную душу изливаниями страниц по двадцать большого формата и мелкого почерка. Почте он доверять эти манускрипты не решался, так как был большим скептиком насчет скромности чиновников губернского почтамта, а имел сожительницею госпожу редкой красоты, но малого образования, совсем не способную ценить изящество тонких платонических отношений, но чрезвычайно охочую вцепляться в бакенбарды сожителя по первому ревнивому подозрению... Ванечка, великолепно поняв этого господина, умел прийтись ему по душе и благоденствовал в его конторе на положении фаворита. Понемногу выравнивался в губернского франта с тросточкой и серебряным портсигаром, носил удивительно пышные галстуки, стригся наголо, брился гладко-гладко и был оттого столь плотен, квадратен, розов и белобрыс, что мать, Арина Федотовна, глядя на сына, все вспоминала какого-то породистого поросенка, который-де при покойнице барыне бросился ей под ноги и страшно ее

перепугал в то время, как она была Ванечкой беременна на сносях. Являлся Ванечка в Правослу по воскресеньям, раза два в месяц, и вносил в жизнь затворниц большое оживление, во-первых, потому, что привозил почту, припасы и городские новости, а во-вторых и главных, потому, что был прелезельный парень, превосходный рассказчик, мастер на всякие резвые выдумки и штуки. Из тех тихих и скрытно умных русских насмешников, которые, неизменно сохраняя самый серьезный вид, хватают почти бессознательною наблюдательностью всякую смешную черту окружающей действительности и каждого умеют потом мастерски передразнить, обращая все, что в глаза плывет, в улыбочивые скоморошество и карикатуру...

— Не усидеть, нянька, твоему сыну в нотариальной конторе, — предсказывала Виктория Павловна. — Быть ему в актерах...

На что нежная мамаша отвечала:

— А по мне, хоть в черти, лишь бы хлеб...

В такой обстановке, тихо, как на дне озера, прожила Виктория Павловна два с половиною года, лишь изредка выезжая по каким-нибудь делам, почти всегда неприятным, потому что денежным и просительным, в губернский город Рюриков. Лето оживлялось наездами гостей, на осень и зиму Правосла опять застывала тою же сперва слякотною, потом сугробною пустынею. Так же было холодно в комнатах, так же полз по ним чад от Анисьиной стряпни, так же от сумерков заката до сумерков рассвета храпели сонные бабы, так же было неприятно поутру вылезать из-под нагретых шуб и тулупов; так же день уходил на письма и борьбу с иностранною книгою в союзе со словарем; так же если не переводилось и читалось, то невесело думалось; так же приходила в желтых тулупчиках и синих шубейках подрастающая и все хорошеющая Фенечка; так же наезжал из города с почтою, новостями и веселостями преуспевающий и процветающий

Ванечка... Все было так же — прочно и неизменно так же, и иногда Виктории Павловне казалось уже, что вот — дело конченное: нового уже никогда ничего не будет и всегда все останется так же...

К концу второго года стали вспыхивать «зверинки». Арина Федотовна угадывала их, как опытный врач:

— Виктория, никак у тебя губки обсохли?

Этот с давних-давних времен между ними условный насмешливый вопрос на том «своем» языке, который имеется в каждом доме, отгораживая его физиологическую жизнь от видения и догадки чужих, обливал Викторию Павловну румянцем, и если попадал в добрый час, то заставлял ее долго и беспричинно хохотать, а в час злой глаза ее темнели, как туча, и раздражалась она молниями такого же беспричинного гнева. Предлагала же свой вопрос Арина Федотовна, когда замечала, что Виктория Павловна вдруг забросит всякую работу; по утрам, чем бы вставать со светом, лежит и нежится в тепле до десятого часа; есть почти перестала, а воду пьет ковш за ковшом и, чем ледянее, тем она довольнее; по целым часам сидит одна где-нибудь в углу либо у окна, обняв руками колени и что-то обдумывая либо вспоминая, с длинною и загадочною, нехорошею улыбкою, которая делает лицо ее в эти дни как-то особенно великолепным и красивым и в то же время совсем не в обычай недобрым, чтобы не сказать — хищным и злым, истинно уж «зверинка».

Сопровождалось это состояние брезгливым отвращением, которое она вдруг получала к обществу своих женщин, к ихговору, смеху, прикосновению, наконец, просто к присутствию. Обыкновенно настолько дружная с товарками своего уединения и не брезгливая к ним, что вот, уходя от холода и ночного страха, не избегала даже спать в одной постели, теперь она искажалась лицом, даже если Арина ли Федотовна, Анисья ли невзначай заденут ее платьем. И видно было,

что это не каприз, а в самом деле ей противно до физической боли... И летели с языка злые, оскорбительные фразы:

— Не садись рядом — от тебя скверно пахнет...

— Хоть бы ты, Анисья, пошла умылась. Противно смотреть: блестяшь, как сапог...

— Сделайте мне постель в другой комнате: вы обе так храпите, что я не сплю целую ночь...

— О Боже, медведицы в лесу ловче, чем эти бабы.

— Ты, нянька, когда смеешься, то — словно из-под колоды целое гнездо змей шипит.

Если долго молчат — следовал недовольный окрик:

— Что у нас — заведение для глухонемых?

Разговорятся — оборвет:

— Не пригласить ли еще из рощи трех сорок для компании?

Запоют — «домового хоронят». Ужинать зовут — «не могу: все воняет салом и захватано грязными пальцами».

И так-то — с утра до вечера, круглый день...

Первые три «зверинки» Виктории Павловны были легко избыты при мудром содействии Арины Федотовны какими-то таинственными местными средствами, почти что домашними, потому что за ними обе женщины лишь ездили несколько раз в недалнее село Хмырово, где останавливались на ночевки у вдовой дьячихи, Ариной родственницы, женщины с репутацией лекарки... Но снадобья ее помогали, должно быть, плохо и ненадолго, потому что — когда Викторю Павловну ударила четвертая и самая злая «зверинка» — Арина Федотовна после нескольких дней мучения с нею куда-то поехала, с кем-то пошепталась, что-то заложила, что-то продала и, возвратясь, положила пред сумрачною Викторией Павловной две сторублевые бумажки, с лаконическим советом:

— Вот тебе. Пробегайся. Только, чур, недолго.

И — в тот же день ранней весны — Виктория Павловна исчезла из Правослы и вернулась в родные места только уже

в первых числах июля. Где она скиталась в этот срок, о том узнала от нее опять-таки только Арина Федотовна, а эта женщина молчать умела. Кое-какие следы все-таки наследила. Мелькнула в Петербурге, где ее и видели ужинающей в загородном ресторане с очень модным в тот сезон мулатом, укротителем зверей. Побывала у Жени Лабеус в Крыму, где по пятам ее следовал какой-то исключенный за политику, молчаливый гимназист трех аршин росту и косая сажень в плечах. И, наконец, один инженер с постройки Среднесибирской железной дороги уверял, будто видел ее где-то под Омском или Петропавловском в степи, верхом, одетую по-мужски, в бурке и папахе, в компании весьма дикого барина из той удивительной породы, которую Щедрин звал «ташкентцами», а после они слыли «ашиновками» и «вольными казаками»... Перед возвращением своим в Правослу Виктория Павловна остановилась на несколько дней в Рюрикове, где тогда был проездом я, пишущий этот роман. Я был представлен Виктории Павловне в театре и получил любезное приглашение погостить у нею в Правосле, которым и воспользовался. В Правосле я встретил довольно большое и очень пестрое общество, изображенное мною в другом романе^{*)}. Самым шумным и выдающимся лицом в этом обществе оказался уже ранее знакомый мне несколько молодой художник Алексей Алексеевич Бурун. Человеку этому суждено было сыграть в жизни Виктории Павловны роль важную и — жалкую. Красивый, талантливый, шумно риторический, впрочем, пожалуй, даже не лишенный искренности и с темпераментом, но без всякого характера и мелко самолюбивый, Бурун полюбил Викторину Павловну и, в свою очередь, успел произвести на нее впечатление более глубокое и серьезное, чем успевали до сих пор другие «флиртующие» мужчины. Но именно поэтому она

^{*)} См. «Виктория Павловна».

зарождающегося чувства своего испугалась. И — между нею и Буруном началась капризная борьба страстно желающего мужчины и гордой женщины, сопротивляющейся покориться заманчивому любовному союзу, в котором она смутным инстинктом почуяла лукавую угрозу порабощения, подползающего в ней на коленях, но с цепью в спрятанной за спину руке. Раздраженная любовными неудачами, гневная ревность самолюбивого Буруна, заподозрив наличность какого-нибудь счастливого тайного соперника, окружила Викторию Павловну целою системою влюбленного шпионства. Настоящего своего соперника Бурун не открыл, но зато совершенно нечаянно натолкнулся на старую тайну Виктории Павловны о Фенечке, заставил Ивана Афанасьевича во всем признаться, а затем — однажды — обезумев от ревности, горя и гнева, бросил Виктории Павловне секрет ее в лицо при постороннем человеке. А та, взбешенная, в ответ оскорблению надменно подтвердила, что — да, все правда, так оно и есть: Иван Афанасьевич был мне любовник, а Фенечка моя от него дочь... После этого печально-безобразного происшествия Бурун, конечно, должен был с позором покинуть Правослу. А Виктория Павловна почувствовала, что роковое свершилось: Фенечка уже требует ее к ответу — жизнь приплыла к точке, на которой должен свершиться переворот...

Быть может, никогда ни один влюбленный не вел себя глупее Буруна и не губил любви своей с более роковою и злополучною последовательностью. Но ревнивый инстинкт не обманул его: у Виктории Павловны действительно был в это время более счастливый любовник, а в появлении любовника этого был виноват ни кто другой, как он же, Бурун. Виктория Павловна чувствовала, что влюблена в художника не на шутку, а серьезного влюбления боялась больше всего на свете, тем более в человека, которого она не слишком-то уважала, понимая его и не весьма умным, и буйно бесхарак-

терным, и безмерно тщеславным и от чудовищного самолюбия чудовищно ревнивым. То есть именно мужчиною-собственником, мужчиною-поработителем, как раз того типа, который она считала главным злом мужевластной семьи и препятствием к женской свободе и равенству. А влекло! И ясно различала она, что повелительная сила, ее влекущая к Буруну, может быть, и не та, которую зовут чистою любовью, но и — какою-то таинственной перегородкою — отделена от той грубой и простой чувственности, которую она так же просто, без иллюзий и прикрас, изывала в своих таинственных поездках. Разобрала это и Арина Федотовна и пришла от развивающегося романа своей питомицы в ужас и злобу. А тут еще как раз, на грех, у Виктории обсохли губки — налетела «зверинка». Дразнящее присутствие влюбленного красавца Буруна стало для нее невыносимым, а женская гордость не позволяла ни признать его, ни бежать от него. Да бежать было и некуда: Правосла была полна гостей, съехавшихся, по обыкновению, на именины Виктории Павловны, и она, как хозяйка, была прикована к своей усадьбе. И вот в разгар этой угрюмо-странной борьбы — когда обе стороны ожесточились до того, что уже не знали, любят они или ненавидят, и Бурун, влюбленным шутом гороховым, бегал и ловил еще не существующих соперников, а Виктория Павловна была как знойная ночь от душившей ее «зверинки» — произошло крохотное приключеньце, которое, однако, повернуло вверх дном весь начинавший было разгораться роман и презрительно его зачеркнуло. В одном шуточном состязании, которое затеяли гости на именинах Виктории Павловны — кто достанет грачовое гнездо со старой, почти гладкоствольной, березы — все участвующие, в том числе и Бурун, провалились. А Ванечка Молочницын, не будь дурак, принес лестницу, влез по ней преспокойно и гнездо достал. При общем хохоте признали его достойным приза — за находчивость и остроумие, а призом были — три поцелуя

Виктории Павловны. Целовать Ванечку она, однако, отказалась, говоря, что у него еще молоко на губах не обсохло. Ванечка, со свойственным ему лукавым смиренством, с покорностью тому подчинился, великодушно заявив, что мы люди маленькие, можем и подождать^{*)}.

Неделю спустя после именин Ванечка опять приехал в Правослу. В кармане у него, по обыкновению, лежало толстейшее письмо от поэтически влюбленного нотариуса. Мать, встретив, объяснила Ванечке, что Виктория Павловна, только что вдребезги поругавшись с долгогривым жеребцом (ласковее слов она для Буруна не имела), ушла вне себя, расстроенная, в сад и, вероятно, теперь бродит где-нибудь в любимой своей аллее под прудом. А долгогривый жеребец, схватив ружье, свистнул собаку, кликнул Ивана Афанасьевича, который состоит при нем вроде верного слуги Личарды, и оба убежали невесть куда... Пьянствовать поди на слободку, к солдатке Ольге. Охотники! Вот кабы с пьяных-то глаз перестреляли они друг дружку, так я бы по ним, душкам, хоть и не охотница до попов, сорокоуст заказала бы...

Ванечка подумал и, попрыгивая и посвистывая, пошел в сад. Викторю Павловну он нашел действительно в аллее у пруда — и, ух, с каким нехорошим, полным темного румянца и зловеще-красивым и гневным лицом...

«Ого! Батюшки!» — струхнул Ванечка. Малый он был себе на уме и с присутствием духа, но Викторю Павловну почитал весьма и, пожалуй, хоть не без юмора, но все-таки немножко ее побаивался. Это не мешало ему и слыть, и быть в числе ее наиболее фаворитных людей, потому что он всегда умел ее рассмешить, а смеяться и быть веселою она почитала самым большим счастьем и светом жизни. Так что и теперь, хотя была крепко не в духе, Виктория Павлов-

^{*)} См. «Виктория Павловна».

на смягчила навстречу Ванечке чересчур уж яркие сегодня огни очей своих, ласково кивнула юнонинскою головою и, протягивая еще издали руку, с насильственной шутивостью заставила себя пропеть речитативом из «Гугенотов»: «Что ищешь ты, прекрасный шах, здесь в замке?» На что Ванечка извлек из кармана письмо влюбленного нотариуса, сделал грациозный пируэт и — с округлым жестом Светлицкой, знаменитой контральной примадонны, недавней гастролерши в рюриковской опере, имевшей слабость петь младенческие роли вопреки чудовищной своей толстоте, ответил в тон и ее густо колеблющимся голосом:

— К вз-ам пэ-эсммо!

Виктория Павловна рассмеялась: «Похоже!» — и лицо ее несколько просветлело. Взяла письмо, вскрыла, начала читать, но гневные, страстные мысли брали верх, мешали понимать и делали письмо ненужным и скучным. Пробежав несколько строк, она с досадою бросила письмо на скамейку. Ветер скатил его на землю. Ванечка поднял, положил письмо на прежнее место, придавил камешком. Виктория Павловна смотрела на его размеренно аккуратные движения и улыбалась,

— Ответ будет? — осторожно осведомился Ванечка.

— А, не до него мне, — отвечала Виктория Павловна, чуть дернув плечами в характерном досадливом жесте своем. — Какой же ответ? Ты видишь, я письма даже не читала... Вечные сахарности и миндальности... надоел!

Ванечка вздохнул и произнес учительно:

Кто нрав дурной имеет и свирепый,
Тому покажется и сахар хуже репы...

— Это еще что? — засмеялась Виктория Павловна.

— У Белинского в сочинениях нашел... Не огорчайте патрона-то: плакать будет...

Виктория Павловна подумала и, мирно кивнув головою, протянула ему письмо.

— Ну, хорошо... Прочитай мне вслух... Тут секретов быть не может...

— Присесть позволите?

— Вот вопрос! Конечно, садись...

Но с первой же строчки Ванечкина чтения красивые, шелковые плечи ее заходили и затряслись от приступившего к ней смеха, потому что из-за листка, который Ванечка держал перед лицом своим, так и зазвучал унылою струною восторженный, цитроподобный голос влюбленного нотариуса, так и засияли его шиллеровские очи — широкие, оловянные, как в народе говорят: «По ложке, не видят ни крошки». Виктории Павловне, право, стало уже казаться, будто безбородый и безусый Ванечка начинает даже нотариальными бакенбардами обрастать.

— Ах, Ванька, какой ты уморительный! — твердила она, красная, в слезах, задыхаясь от смеха. — Ах, Ванька, какой у тебя талант!

А Ванечка, знай, невозмутимо «фортелил». Сперва он стал выделять иные прозаические и иронические фразы, попадавшиеся в глубокомысленном письме, читая их сдобным голосом драчливой сожительницы влюбленного нотариуса, красивой и ревнивой Аннушки. Потом переменял систему и, наоборот, передал этому крикливому и вульгарному голосу, в котором за семь верст слышно полуграмотную мешанку, как раз все самые возвышенные и поэтические тирады... Этого уже Виктория Павловна не выдержала и бросилась отнимать письмо.

— Да нет, позвольте же, — защищался Ванечка, поднимая письмо над головою и читая его снизу вверх дальнозоркими глазами, — не кончено... тут еще есть...

— Ванька, отдай!

— Я всегда был одного мнения с Гамлетом, что «наша жизнь есть заглохший сад, заросший сорными травами»...

— Ха-ха-ха! Вылитая Анна Николаевна... Ой, не могу больше! Ванька, умру, отдай!

И в задоре борьбы и смеха она подпрыгивала на скамью, стараясь выхватить высоко поднятое письмо, не заботясь о том, что обнаженные руки ее соприкасаются с руками юноши и красная шелковая грудь скользит по его лицу... И вдруг письмо белым голубем упало ей на темную ее голову и перелетело с нее под куст в траву, а Ванечка крепко обнял ее и поцеловал прямо в губы. Ее так и шатнуло.

— Это что?

Ванечка безмолвствовал, продолжая обнимать ее, и имел вид озадаченный: он совсем не ожидал, что выкинет подобную штуку, и теперь сам недоумевал, как это у него вдруг вышло.

Тогда Виктория Павловна вся до корней волос залилась огненной краской, но молния, блеснувшая из глаз ее, уже не испугала Ванечку: как ни быстро она мелькнула, он успел разглядеть, что в ней больше удивления, чем гнева.

— Это что?

А он, глядя ей в лицо уже лукавыми, смеющимися, общинческими глазами, прошептал:

— А долг-то за вами с прошлого воскресенья... позвольте получить?

— Ах, ты... Я тебе такой долг... Пусти, сейчас же пусти...

А он с тем же взглядом — светлым, пустым и резвым, возразил так же, как и она приказала, — все — шепотом:

— А если не пущу? Если вот возьму да не пущу?

И лицо его было чуть бледное, веселое, настороженное, в одинаковой готовности — повезет и позволено будет, то прильнуть к ее лицу, а нет — сорвется, так и получить плюху и ничуть на то не обидеться: все в своем праве и порядке вещей.

И он получил ее, жданную плюху эту, — жестокою, громкую, со всей руки, так что его даже в самом деле качнуло на скамье и боль зажала щеку, как огнем, и в ухе зазвенело... Он чуть не взвизгнул от боли, но молниеносно успел овладеть собою и по-новому сшутовать: притворился, будто убит, и повалился со скамьи на траву, на левый бок, свесив голову с высунутым языком на плечо, точно фигурка из театра марионеток под палкою Петрушки...

— Напрасно, не рассмешишь, — сурово сказала Виктория Павловна, вставая со скамьи. И, встряхивая юбку, оправляя волосы, нравоучительно договорила: — Нечего сказать, хорош мальчик оказался... Дрянь какая! Щенок еще, а уже бесстыдный...

И пошла по аллее. Ванечка открыл глаза, сел и произнес стоном умирающего:

— Драться-то не шутка, а вы попробовали бы, как это больно...

Она ничего не отвечала, но Ванечка видел, что красные плечи ее опять дрогнули смехом, и послал ей вслед — «с трагедией»:

— А ей весело! Она смеется! Ха-ха! О женщины, женщины! — сказал великий Шекспир — и совершенно справедливо...

Тогда она обернулась, на ходу, через плечо, и бросила ему хохочущее прощение:

— Ты такой болван, что на тебя и сердиться нельзя.

Поздним вечером того же воскресенья Виктория Павловна, покончив с Ариною Федотовною хозяйственный и вообще обычный им в течение многих лет ежедневный разговор на сон грядущий и распроставшись с нею обычным же поцелуем, собиралась уже раздеваться, как вдруг — совсем необычно — Арина Федотовна возвратилась. Став у притолаки, несколько в тени, домоправительница принялась жаловаться на трудное хозяйство, на безденежье, на то, что

вот она стареет, а помощи себе ни откуда не видит, а пуще всего донимает ее Ванька-шалыган, который ее объел, опил, обносил, разорил, ничего не делает, нотариус его — того гляди, что прогонит, а ему, бездельнику, и горя мало, знай, ходит-посвистывает да еще научился за барышнями ухаживать... «Вот как треснет его какая-нибудь по роже — поделом ему, шуту, будет знать...»

Виктория Павловна слушала в величайшем недоумении: что вдруг сделалось с ее нянькою и домоправительницею? Потому что подобные жалобы нисколько не похожи были на обычные речи и настроение Арины Федотовны... Удивило ее еще одно обстоятельство: ушла от нее Арина Федотовна в будничной затрапезке, а теперь стояла, покрытая праздничной шалью, которая, Виктория Павловна знала, спрятана у нее в дальнем сундуке, и юбка из-под платка тоже виднелась воскресная... Когда же это она успела достать и переодеться?... Пригляделась — и ростом как будто Арина выше стала, и в плечах шире. Подошла, дернула шаль — она свалилась и обнажила низкостриженую белобрысую голову Ванечки, о котором все в доме — и Виктория Павловна первая — были уверены, что он уехал на Осну, верст за семь, рыбу ловить...

Рассердиться на него опять не нашлось никакой возможности...

Только на рассвете ушла от Виктории Павловны мнимая Арина Федотовна, унося с собою опасный кошмар облегченной «зверинки», но вместе и разбитые Буруновы надежды на победу над упрямою правосленскою царь-девицею и любовное счастье...

Настоящая Арина Федотовна, узнав о походе этом, только ахнула:

— Ну, ух, Виктория, тут я руки мою: моей вины нету ни на ноготок. Всяких чудес я ждала от тебя, но никогда не надеялась, что буду тебе свекровью...

VII

В ту пору, как не вышел роман у Буруна с Викторией Павловной, Фенечке было уже девять лет. Она была обучена грамоте, и ходила к ней заниматься учительница из Нахиженской земской школы, хорошая долгоносая старая дева, находившая, что растет девочка просто чудо какая уменькая и способная. Мирошниковы очень серьезно обдумывали и советовались с Викторией Павловной, как быть и что делать дальше, какое давать Фенечке образование. При всей своей привязанности к Фене ни старик Мирошников, ни его жена ни на минуту не сомневались в том, что нельзя ее оставить в деревне, на том уровне, как они сами прожили свой век. Необходимо, когда подрастет еще несколько и наберется сил и разума, отправить ее в гимназию в губернский город Рюриков. Расстаться с девочкою для старухи Мирошниковой, конечно, было тяжело, но себя она считала для города непригодною, так что даже ради Фени переехать в губернию не решалась. А потому весьма терзалась сомнениями, как ей быть. На чужого человека бросить Феню в Рюрикове — истерзаешься страхами и подозрениями, а сопровождать ее, бросив в деревне одинокого своего старика, — больно жертва велика, пожалуй, для шестидесятилетней старухи не по силам. Виктория Павловна увидела в этом затруднении Мирошниковых как бы некоторое благое указание. Посчитав и сообразив свои средства, она сказала Мирошниковой, что утомилась деревенскою скукою и подумывает о том, чтобы переселиться опять в город, где ей обещают приятную и довольно доходную сравнительно с обычными условиями женского труда службу. Это даже и правда была, так как приятель ее, петербургский редактор, успел пристегнуть ее в качестве переводчицы к изданию одного большого энциклопедического словаря и ей легко было получить от редакции ряд компиляций, для которых, разумеется, требовался материал

большой публичной библиотеки — в деревне не достанешь. Мирошниковы этому намерению Виктории Павловны очень обрадовались, так как оно открывало им ряд совсем удобных исходов из вопроса о Фенечкином образовании. Поселят Фенечку прямо на хлебах у Виктории Павловны или поместят ее в хороший пансион, а Виктория Павловна только будет ее часто навещать, следить, чтобы она не была обижена и всем удовлетворена, — обе эти возможности пришлось старикам по душе, и которую-нибудь из двух они решили осуществить непременно. Так теперь и сулили Фенечке:

— Гуляй, девочка, на последях. Вот барышня Виктория Павловна переедет в город, тогда-то тебя с собою возьмет, и начнешь ты там учиться уже по-настоящему...

Пансион старуха втайне предпочитала. Хотя она Викторию Павловну очень любила и дурным сплетням о ней не верила или, пожалуй, не то чтобы совсем не верила, а снисходительно думала про себя: женщина молодая, одинокая, тут и грех не в грех — лишь бы совесть имела и соблазнов не делала! — однако немного и побаивалась: а вдруг то, что Виктория Павловна хорошо скрывает от людей, не так-то надежно скрыто у нее дома и девочка насмотрится у нее гуляющих по квартире воочию соблазнов и наберется от них дурных примеров? Старик Мирошников считал эти опасения пустыми. Но Виктория Павловна их чувствовала, и, хотя они делали ей больно, она, чтобы не восстановить против себя подозрительную старуху, сама горячо отстаивала помещение Фенечки в пансион.

Так что девочка видела в этом плане как бы уже свою непременно судьбу и с каждым днем привыкала к мысли о будущем переселении. А вместе с тем все больше и больше привыкала и к Виктории Павловне, которая теперь, после истории с Буруном, не сделавшей, к счастью, покуда никакой огласки, стала посещать Мирошниковых в особенности

усердно и проводила с девочкою бесконечно долгие часы в разных беседах и забавах... Виктория Павловна чувствовала, что связь между ними утолщается, уплотняется, делается органическою, — нежность к дочери все больше обволакивала ее, становилась для нее как бы необходимою атмосферою...

Надвинувшийся вопрос об образовании Фенечки естественно вытолкнул вперед другой вопрос: кем же должна Фенечка быть и слыть? Нельзя же оставить девочку без имени, просто подкидышем, неизвестно откуда взявшимся, которому суждено и жить, и умереть без роду и племени... Мирошниковы задумали наконец официально, по-настоящему удочерить Фенечку, приписав ее к своей семье крестьянкою... Это было с их стороны, конечно, естественно и прекрасно и недолгой и несложной процедуры требовало: в крестьянском сословии усыновление всего легче. Но тут Виктория Павловна не выдержала. Ей стало страшно, что ее дочь останется, быть может, на всю жизнь в податном сословии. А главное, ей показалось, что с того момента, как Фенечка получит чужое имя, все для нее как матери будет кончено и она уже никогда, никак не в состоянии будет получить свою дочь... А с другой стороны, она хорошо понимала, что как-нибудь обзаконить Фенечку необходимо и время. Для хорошего учебного заведения крестьянский подкидыш — фигурка почти невозможная. Еще примут ли в порядочную-то гимназию? А затем, кто же не знает, как отвратительно тяжело положение внебрачных детей в женских учебных заведениях, как дурно и презрительно смотрят на них и товарки, и педагоги, как ядовиты бывают насмешки и придирки и как всем этим бессмысленным позором, терпимым ни за что ни про что, рано отравляется детское сердце, ожесточается характер, и, таким образом, приходит к своей зрелости девушка, с детства разбитою, изломанною, быть может, уже неврастеничкою и никуда не годною для жизни... Уже и узаконен-

ной-то Мирошниковыми, если суждена ей такая доля, придется Фенечке немало вытерпеть в учебном заведении за крестьянское свое происхождение: вон как сейчас Мещерские-то разные да Грингмуты бунтуют педагогическую среду против «кухаркиных детей»... Мирошников следил за полемикою против этого скверного похода по «Русским ведомостям», возмущался и все, что читал, прикидывая к судьбе, ждущей Фенечку, сокрушался и вздыхал, что нелегко дастся ей наука... И впервые в жизни попрекал себя за гордость, что не приписался в свое время к купечеству, — был бы теперь уже потомственным почетным гражданином, стало быть, оставил бы Фенечку хоть в личном-то почетном гражданстве... Воспользовавшись таким настроением Мирошниковых, Виктория Павловна стала внушать им, что, может быть, будет лучше покуда Фенечку не отдавать в гимназию, где вот как дурно сейчас относятся к крестьянским детям, а просто поселить девочку при ней в городе, и пусть к ней ходит хороший учитель или учительница из той же гимназии, которые мало-помалу приготовят ее или прямо к экзамену на домашнюю учительницу или в высшие классы. А может быть, тем временем в судьбе Фенечки определится какая-нибудь перемена... Намек заставил старуху Мирошникову насторожиться, тем более что он был уже не первый и она, чуткая любящим сердцем, давно стала замечать, что вокруг вопроса об удочерении Фенечки Виктория Павловна как-то зигзагами и извилинами ходит и точно нарочно старается затянуть это дело в долгий ящик. Сперва старуха заподозрила было здесь наущение врага своего, Арины Федотовны, могущественное влияние которой на Викторию Павловну было ей, конечно, известно. Но, когда дело дошло до открытого объяснения, Виктория Павловна набралась достаточно смелости, чтобы объяснить старухе, что она в большом заблуждении, считая Фенечку дочерью Арины Федотовны. А — что если она, Виктория Павловна, действительно сомневается,

надобно ли Мирошниковым удочерить Феню, так это потому, что у Фени ведь в самом деле могут найтись родители, которые не будут довольны тем, что дочь их записана крестьянкою...

— Присмотритесь к девочке, — говорила она, — ведь она вся, с головы до ног, барышня. В ней простонародного ничего не видно. Посмотрите на эти ручки маленькие, ножки нежные... Это — порода... это дитя барское, господское, дворянской крови... Ведь вы же сами с тем согласны и сколько раз говорили мне это самое... То, что вам Арина Федотовна относительно племянницы своей рассказывала, это она все выдумала: племянница ее в то время, как вам подкинута Фенечка, была уже с полгода замужем, да и племянница ли она Арине Федотовне — право, не знаю... Ну вот теперь и представьте вы себе такой случай, что — тогда родителям Фенечки никак нельзя было в ней признаться и пришлось ее вам подкинуть... Привезли вам ее из Петербурга, вы это знаете... Что подкинули в жалких тряпках, так это ничего не значит, нарочно было сделано, чтобы отвести глаза... И вот — тогда эти родители... эта мать преступная не могла сознаться в том, что у нее дочь есть, а времена принесли улучшение обстоятельств и возможность исправить ошибку. Ну и вдруг она явится, предъявит доказательства, и окажется, что Фенечку надо переусыновлять и выписывать ее из сословия крестьянского? А это... право, я даже не знаю, как это делается...

Чем больше она говорила, тем больше смущалась и робела, совсем на себя не похоже, так что наконец изумленная ее растерянностью старуха Мирошникова пытливо впиалась в ее виноватые глаза своими честными, никогда не лгавшими глазами — и у нее у самой-то с глаз как пелена упала.

— Феня, значит, ваша дочь? — спросила она Викторию Павловну в упор.

Виктория Павловна как стояла перед нею, так, сама не зная, какую силою, словно швырнуло ее, упала перед нею на колени, охватила руками ее старые сухие ноги, уткнулась головою в подол ее и зарыдала, завывала на голос и надолго, как простые бабы воют по покойнику или в рекрутчину.

Как ни тяжело было признание, а все-таки после него стало как будто легче. Оно расчистило атмосферу замалчиваний и обманов, накопившуюся вокруг Виктории Павловны в отношениях с хорошими людьми, которых доверием и уважением она очень дорожила. Со своей стороны, Мирошниковы приняли сообщение гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Старуха Мирошникова была обрадована уже тем, что Феня оказалась не дочерью Арины Федотовны, как она раньше предполагала и с совершенной откровенностью пред собою ставила это Фене чуть ли не в единственный недостаток ее природы и в опасное обещание на взрослые годы. Арину Федотовну, чем дальше шло время, тем больше старуха не любила — просто-таки ненавидела, слышать о ней больше не могла равнодушно. Большую и в то же время ненавязчивую, осторожную, всегда почтительную к приемным родителям любовь Виктории Павловны к Фенечке она знала и в ней не сомневалась.

Конечно, она не могла не предложить вопроса об отце. Но тут Виктория Павловна сурово нахмурилась, вся как-то сразу будто толстой кожей непроницаемо обшилась и отвечала, что разговор об отце Фени для нее слишком тяжел и подымать его, если тетушка (она всегда так звала старуху Мирошникову) позволит, она не хотела бы — по крайней мере в настоящее время. Отца Фени, как человека, с которым у нее все связи порваны, совершенно недостойного такой дочери, она не намерена и близко-то к дочери подпустить. Там счета кончены, и ни она с Фенею ему, ни он ей и Фене не нужен, никогда не понадобится, никогда не войдет в их жизнь, — так сложились все обстоятельства, и дело это

погребено решительно, твердо, бесповоротно. Не совсем-то поверила ей старуха, но, деликатная, как только в крестьянстве бывают настояще деликатны хорошие и честные люди, она остереглась назойливо распытывать Викторию Павловну насчет обстоятельств, при которых Фенечка появилась на свет, предоставляя Виктории Павловне когда-нибудь, со временем самой не утерпеть и обо всем подробно распространиться. Теперь же она пришла только к одному убеждению: если Фенечка в самом деле, оказывается, по матери барышня, господская кровь — да, вероятно, такова же и по отцу (втайне у старухи Мирошниковой зародилось уже подозрение на близкого в оны дни друга Виктории Павловны моряка Наровича), — то, конечно, выводить ее из дворянского сословия и окрестьянивать — дело не подходящее.

— Если бы мы со стариком были помоложе, — сказала она Виктории Павловне напрямик, — то я, барышня, с вами, пожалуй, на этот счет еще поспорила бы. Но старику моему вот уже под семьдесят, мне под шестьдесят, мы люди не долгосрочные. А Фенечке всего десятый годок. Если бы я уверена была, что проживу еще лет десять, то я бы ее сумела и воспитать, и вырастить, и в жизнь ввести так, что лучше всякой дворянки. Слава Богу, достатками мы не обижены, не хуже людей живем. Ну а если ей судьба вероятная остаться от нас раннею сиротою, то покидать ее в крестьянстве, конечно, не годится... Тут уж вступает ваша пора действовать: с вами ей жизнь-то жить, а не с нами. Значит, как-никак, а надо теперь вгонять ее обратно в ваше, стало быть, дворянское звание... Если мы со стариком не можем ее узаконить, так это должна быть ваша обязанность...

Виктория Павловна съездила в Петербург посоветоваться со знакомым адвокатом о «ребенке одной моей знакомой». Адвокат с проникательно бесстрастными глазами сказал ей, что с наступлением тридцатилетнего возраста «знакомая Виктории Павловны» может удочерить девочку — при усло-

вии, если она старше удочеряемой на восемнадцать лет — и тогда удочеряемая девочка получит имя и все сословные и имущественные права своей усыновительницы... «Знакомая Виктории Павловны», прибавил он, может удочерить девочку и ранее тридцатилетнего возраста, но тогда необходимо заявить, что девочка эта — в самом деле ее «натуральная дочь» и доказать это, то есть указать суду отца или, если отец неизвестен, те роковые обстоятельства, в результате которых девочка появилась на свет...

Виктория Павловна нашла такой процесс грязным.

Адвокат, усмехнувшись бескровным, пепельным лицом, согласился с нею, что оно действительно слегка попахивает, но делать нечего: закон... *Dura lex, sed lex...** Статья 146... Закон 1891 года... Надо благодарить Бога и за то, прежде хуже было...

— Да вашей знакомой сколько лет?

Виктория Павловна подумала и без большого удовольствия ответила:

— Двадцать восемь.

— А девочке?

— Десятый...

— Здоровые?

— Совершенно никогда не болели.

— И мать, и дочь?

— И мать, и дочь.

— Тогда — куда же им торопиться? Пусть переждут два года — и дело в шляпе... Единственное, о чем придется вашей знакомой просить в исключительном порядке — если она потомственная дворянка...

— Да, потомственная, довольно старинный род...

— Тогда обязана, но это уже после усыновления, подать прошение на Высочайшее имя о соизволении передать усы-

* Закон суров, но это закон... (лат.)

новленной свою фамилию. Формальность. Никогда не отказывают. У вашей знакомой родители живы?

— Давно умерли.

— Все от нее одной зависит. Формальность. Отказа никак нельзя ждать.

Радостная, что все так хорошо слагается, возвратилась Виктория Павловна в Правослу и тотчас же, даже не заехав к себя домой, помчалась прямо со станции в Нахижное — обрадовать стариков хорошими вестями. Но, к величайшему ее ужасу, в Нахижном не нашлось кого обрадовать. Старуха Мирошникова лежала пятый день в жесточайшем тифе и никого не узнавала, а старик, неотступно за нею ходивший, имел такой вид, что уже сам в жару и заговаривается — нет-нет, тоже сейчас свалится. Фенечку взяла долгоногая учительница и держала у себя в школе. Виктория Павловна сделала единственное, что могла в таких обстоятельствах, — увезла ее к себе в усадьбу, оставив больных стариков на руки рабочих, привязанных к старым своим хозяевам пуще, чем родные дети, и учительницы, которая, кстати, немножко и фельдшерила. Каждый день навещала Виктория Павловна больных: тиф по Нахижному ходил, кося людей, как траву. На четвертые сутки старуха Мирошникова умерла, и старик даже не слышал, как ее хоронили, потому что лежал уже в беспамятстве. Могучая натура его, однако, сломила болезнь, и он выздоровел, хотя и захирел с тех пор. Одинокий и неумелый обращаться с детьми, он сам нашел, что девочке лучше остаться при Виктории Павловне.

— Только уж, — просил он, — теперь измените прежние планы-то, не торопитесь увозить ее в губернию. Если и приотстанет немножко от возраста своего знания, так это ничего, авось потом нагонит, девочка шустрая. А то мне теперь, вдовцу одинокому, без нее уж очень тяжело будет... А я без старухи все равно долго не проживу... Год-другой кое-как

промыкаюсь на белом свете, а потом поди развяжу ей руки, тоже лягу под холстину...

Таким образом, Виктория Павловна фактически получила свою дочь. А старик не ошибся в своем пророчестве и пошел в могилу догонять свою старуху даже гораздо раньше, чем предполагал. Позднею осенью, возвращаясь от Виктории Павловны из Правослы, куда он каждую неделю по нескольку раз бывал — повидать свою приемную дочь, он, переезжая Осну, попал в зажору, вымок, обмерз, и горячка, ворвавшись в ослабевший после тифа организм по старому следу, скрутила и сломала его в трое суток.

Похоронив старика, горько оплаканного не только в доме своем, но и во всей округе, Виктория Павловна вместе с девочкою переехала в город, оставив Арину Федотовну полнопомочно властвовать в Правосле. Старик Мирошников оставил завещание в пользу Фенечки, причем капитал его оказался хотя менее крупным, чем предполагали, но все-таки значительным. Викторию Павловну старик просил быть попечительницею Фенечки и в награду за любовь к Фенечке, как и было оговорено в завещании, оставил ей свою усадьбу в Нахижном. Это значительно поправило дела Виктории Павловны. Усадьбу она, конечно, сейчас же заложила, расплатилась со многими из своих кредиторов, и в истории Правослы настал мертвый период. С отъездом Виктории Павловны с Фенечкою в город Арина Федотовна без малейшей печали от разлуки с давно насиженным местом перебралась из правосленских развалин в прекрасный и благоустроенный нахиженский дом стариков Мирошниковых и закомандовала там. То-то неожиданное вторжение это должно было перевернуть в гробу кости старухи Мирошниковой! Что же касается опустевшей и дряхлеющей Правослы, то смотреть за нею оставлен был Иван Афанасьевич. Он в ознаменование своего нового управительского положения не замедлил приблизить к себе богатырку-стряпку Анисью — и это, кажет-

ся, был его единственный самостоятельный акт за все годы, с тех пор протекшие... Да еще, когда наконец умерла безногая тетка Виктории Павловны, он из черной баньки, в которой обитал раньше, перебрался в ее опустелый флигелек, где и застало его начало этого рассказа...

Любви и страстности в отношениях Виктории Павловны к Фенечке было много, но воспитательницею она оказалась никуда не годною, нетерпеливою и без твердой линии в поведении: то являлась слабою потатчицею и потворщицею, где надо остановить, то бестолково вмешивалась туда, где девочке, наоборот, надо было бы предоставить полную свободу. Арина Федотовна, наезжая из Нахижного, только диву давалась на то, как Виктория Павловна не умеет управляться с дочерью.

— Я тебе истинно говорю: ты так и девку погубишь и кончишь тем, что сама любить ее не будешь... — каркала дурною пророчицею Арина Федотовна.

И не одна она. В Рюрикове Виктория Павловна встречала старую свою приятельницу, еще по московской гимназии, некоторую Анну Владимировну Балабоневскую, годами пятью старше самой Виктории Павловны, старую деву, очень добрую и очень печальную. Девушка эта в жизни своей перенесла большое потрясение. Почти на глазах ее была зарезана ее мать, Нимфодора Артемьевна Балабоневская, богатая и немолодая уже женщина, сумасшедшим любовником своим, Антоном Валериановичем Арсеньевым, блестящим московским баричем, к которому, вдобавок, и эта вот самая Аня, тогда шестнадцати- или семнадцатилетняя, была втайне более чем равнодушна...^{*)} Ужасное зрелище это подействовало на нее так, будто сразу исчерпало всю ее жизнь, и она едва ли в то время сама немножко не тронулась в уме. По крайней мере так полагали те, кто знал величай-

^{*)} См. «Восьмидесятники».

шую странность ее жизни: боготворящий культ, обращенный ею на память матери, особы, в действительности вряд ли достойной такого глубокого уважения, тем более со стороны такой безусловно чистой и добродетельной девушки, — и в особенности, что было уже совсем дико и ни на что не похоже, на память ее убийцы, Антона Арсеньева. Она и с Викторией Павловной-то теперь встретилась, после многих лет разлуки без вестей и переписки, именно по силе этого болезненного культа. Кто-то ей сказал, что видел великолепный портрет Антона Арсеньева у Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой, с которой Аня Балабоневская была лично не знакома^{*)}. Но так как Виктория Павловна слыла приятельницей Анимаиды Васильевны, то Балабоневская, услышав, что она в Рюрикове, явилась просить ее написать Анимаиде Васильевне, чтобы та позволила сделать переснимок с драгоценной своей реликвии. И вот так возобновились отношения, воскресла старая дружба. Оказалось, что младшая сестра Ани, Зоя Владимировна Турчанинова, замужем в городе Рюрикове за одним педагогом весьма передовых убеждений, держит пансион, в котором преподавание ведется на новых началах, и по городу идет дружный гул как о прекрасных успехах в науках, так в особенности о воспитании помещенных в него детей. Аня Балабоневская была также причастна к пансиону сестры — занималась на младшем отделении. Дети ее обожали. Если бы девушка эта не дала себе слово никогда не выйти замуж, то из нее вышла бы изумительная мать. В совершенную противоположность Виктории Павловне она как-то чувствовала ребенка, даже когда он не то что не говорил, а и не смотрел на нее. Брала каким-то особенным инстинктом к ребенку. Всегда знала, что ему надо, что его обрадует, что его опечалит. В Фенечкины праздники Виктория Павловна была мученица: хоте-

^{*)} См. «Дрогнувшая ночь».

лось, а воображение отказывало — придумать девочке в подарок что-нибудь такое, что выделило бы ее дар из остальных приношений, сыпавшихся, конечно, на хорошенького ребенка от друзей и поклонников Виктории Павловны богатым дождем. А явится Аня Балабоневская — принесет какую-нибудь глиняную свистульку, за пяточок купленную на улице, — и вдруг вот оказывается, что именно этой-то свистульки Фенечка и желала, и ее-то недоставало для полного ее детского благополучия, и никто другой, как Аня Балабоневская, не умел этого понять и отгадать, и Фенечка визжит от радости и дует в свистульку целый вечер, покуда у всех уши не заболят.

Аня Балабоневская сделала тот же вывод, как и Арина Федотовна, и очень серьезно и дружески посоветовала приятельнице покуда отказаться от воспитания дочери, потому что — ты этого не умеешь; ты еще слишком жива сама и жить тебе хочется, ты нетерпеливая, нервная, страстная и ребенка только испортишь... Виктория Павловна несколько не обижалась на эти речи, хотя они были ей больны, — не обижалась потому, что она тоже, как Арина Федотовна хвалилась, была человек справедливый и, сознавая сама правду, уже не боялась ее в устах других...

— Но, — говорила она, — что же я буду делать? Ты знаешь, что Феня — подкидыш, ребенок без рода, без племени, скрыть этого в учебном заведении невозможно, а обратит это ее школьную жизнь в такой ад, что просто я и не знаю, как девочка это переживет... Она у меня самолюбивая, страстная, гордая, унижения не выносит, власть любит... При первом же столкновении, когда ей захотят показать, что она чем-то хуже других и нечто вроде парии в среде законнорожденных, это будет такая громадная детская драма, в которой может разбиться, как драгоценная чаша, вся ее жизнь...

Аня Балабоневская, которой девочка чрезвычайно нравилась, обдумав этот вопрос и обсудив его с сестрою, пред-

ложила Виктории Павловне поместить Феню в их пансион. Здесь — она ручается — секрет ее будет соблюден строго до того времени, когда Виктория Павловна, как намеревается, найдет возможным девочку усыновить, и, значит, те опасения, которых Виктория Павловна теперь трепещет, тогда опадут. Журналов у нас нет, отметки не ставятся, мы усиленно настаиваем на том, чтобы девочки — особенно младшего отделения — дружили между собою без всякой официальности, и зовут друг друга полуименами, значит, до фамилии и происхождения Фени никому не может быть дела — по крайней мере покуда она маленькая... Посоветовавшись с непреложным оракулом своим, Ариною Федотовною, — эта сказала, что уж если необходимо вообще так много возиться с девчонкою, то предложение — лучше чего и не надо, — Виктория Павловна решила последовать совету Ани Балабоневской. Фенечка была определена в пансион по бумагам и с крестною фамилией Ивановой и пробыла там довольно долгое время...

Кроме прямых причин отдать Феню в пансион, бывших предметом обсуждения между этими женщинами, была еще одна тайная. Связь Виктории Павловны с Ванечкою, которая началась летом в Правосле и так странно заполнила знойные июльские ночи, в одну из которых смелых любовников чуть не поймал освирепелый от ревнивой влюбленности Бурун, поддерживалась потом приездами Ванечки в Правослу, если они совпадали со «зверинками» Виктории Павловны. А с переездом последней в город превратилась в довольно постоянное, даже не особенно таинственное сожительство, которое Виктория Павловна, конечно, избегала афишировать, но и прилагала очень мало стараний, чтобы его скрывать. Ванечка поселился на дальней окраине города, в меблированных комнатах тихой и мирной репутации. Там же Арина Федотовна поселила некую почтенную старицу, свою родственницу, особу хилую и недугующую. Виктория Павловна

посещала ее по вечерам несколько раз в неделю. А по воскресеньям Ванечка у нее обязательно обедал, и потом она несколько не стеснялась брать его с собою в театр, концерт или на какое-нибудь гулянье... И, если кто-нибудь из друзей, не знавший Ванечки, любопытствовал:

— Кто сей?

Она с невозмутимо дерзкою флегмою отвечала:

— Предположите, что мой жених...

— Ну вот!.. — улыбался друг.

— Ну, любовник...

И друг хохотал, восклицая:

— Что говорит! И как у вас язычок повертывается? Ах, проказница!..

Прислуга Викторией Павловны, да и все в доме, где она квартировала, были убеждены, что Ванечка — действительно ее любовник, но, странным делом, никто еще из близких к ней мужчин не возбуждал так мало сплетен и разговоров, как этот. Рюриковская публика, очевидно, находила, что — дело житейское: коль скоро Виктория Павловна потеряла, по-видимому, надежду выйти замуж, то, как девица, не совсем молодая, но и не старая, имеет она право найти себе амурное развлечение в какой ей угодно форме, лишь бы это не производило общественного скандала. А обывательские жены — каждая в отдельности — еще рассуждали про себя: «Ну и слава Богу, что у этой чертовки наконец завелся какой-то там Ванечка... по крайней мере не мой муж!..»

При всей грубой упрощенности этого романа отношения между его героем и героиней были искренни и не худы. Ванечка был весьма влюблен в свою благоговейно обожаемую повелительницу и горд ее благосклонностью настолько, что вряд ли променял бы свое счастье на царство индийское со всеми богатствами его. А повелительница относилась к нему хотя несколько не влюбленно, но гораздо более по-человечески и дружески, чем к кому-либо ранее в своих «зверин-

ках». Никогда еще в ее жизни отношения этого рода не принимали такой формы: спокойной, затяжной, хронической, упорядоченной, чуть не супружеской — только что под спудом. Частые любовные встречи сделались сперва привычкою, потом постоянною потребностью, и было досадно, что они редки, случайны, зависят от чужих людей, попустительство которых надо покупать или выпрашивать. Когда Фенечка поступила в пансион, Виктория Павловна объявила, что квартиры, ею занимаемая, для нее теперь велика и она намерена сдавать две комнаты жильцам. Но жильцом одной оказался, конечно, Ванечка, а другая комната никогда не была сдана. Кое-кого из друзей Виктории Павловны это шокировало, кое-кто к ней за это охладел, но скандала и на этот раз не вышло. Находили — и справедливо, что Виктория Павловна имеет и нравственное, и юридическое право сдавать лишние комнаты своей квартиры кому она пожелает; что, сдав комнату не первому встречному с улицы, а хорошо знакомому молодому человеку, она поступила благоразумно и осторожно; что Ванечку в городе знают за юношу деловитого, скромного, порядочного, знающего свое место, и дурного сказать о нем никто ничего не может; что если подобные подозрения начнут отнимать у одиноких женщин возможность сдавать комнаты молодым людям, то этак и последним жить негде, кроме каких-нибудь меблирашек, и множеству женщин, которые только сдачею комнат и живут, придется положить зубы на полку... А — сверх того — проводилась мысль, что кому какое дело, если кума с кумом сидела? Дела действительно никому не было. Единственный человек, который имел способность смущать Викторию Павловну страхом своего осуждения, главный и старший друг Виктории Павловны, весьма щекотливый в требованиях нравственности и женственности, князь Белосвинский второй год жил за границей и толков рюриковских не знал, а если бы и знал, то не стал бы слушать. Уездные друзья ее только отмахивались от до-

ходивших к ним слухов: «Наизусть знаем все бабьи сплетни о Виктории Павловне... Не хотите ли, еще сами прибавим — расскажем, что о ней у нас наши барыни врут?»

Бурун тоже метался где-то за границею, но раза два в год обрушивался на Викторию Павловну толстейшими письмами. В них — увы! — старая любовь не ржавела или по крайней мере не погасало чувство оскорбленной ревности, готовой пройти сквозь какое угодно унижение, чтобы только удовлетворить дешевое самолюбие «интересного мужчины» хоть внешнею и формальною победою над женщиною, которая его оттолкнула и продолжает отталкивать... Виктория Павловна не любила этих писем. Чувство ее к Буруну давно погасло, но они волновали ее оскорбительною досадою, точно — вот — была в лесу ее жизни какая-то славная, симпатичная, красивая лужайка, а теперь — что ни придет она взглянуть — вместо цветов — кучи навоза, вместо бабочек — грязные жуки, соловья сова съела и с чахлых, облетевших берез каркают угрюмые черные вороны... Она умышленно не отвечала Буруну — ни разу. Но он чутьем оскорбленного самолюбия чувствовал, что она читает и принимает близко к сердцу. И писал со злорадством, как человек темперамента, и охочий оскорбить, и умеющий оскорблять... А то вдруг раскается, расхнычется и плачет, плачет, плачет чернилами... А между строк — сладострастие, ревность и закусившая губы злость... Этих писем Виктория Павловна в особенности не любила.

Ванечка в глубине души, по всей вероятности, рассчитывал, что рано или поздно, как скоро привычка к совместному сожителю обратится в необходимость, Виктория Павловна, входящая уже в лета, когда пора бы остепениться и успокоиться, — в конце концов осчастливит его своею рукою и из тайного любовника сделает явным мужем. Он этого и боялся, как заветного клада, сверкающего волшебным огнем, о который схватись — обожжешься, и пламенно желал... Мол-

чал и желал. А мать его, видя, что роман все тянется, та — просто боялась.

— Ты смотри, не отличишь, — предостерегала она Викторю Павловну. — А то, сколько мне ни лестно звать тебя невесткою, а только я скорее Ваньку на деревенской девке женю, а тебя за Ивана Афанасьевича выдам, чем соглашусь, чтобы ты этак себя унизила — выскочила, как какая-нибудь стареющая влюбленная дура, за мальчишку, моложе тебя на десять лет...

Виктория Павловна могла с совершенным чистосердечием отвечать, что уж вот о чем она никогда не думала и чего быть никак не может. Большая — действительно крепко и сильно выросшая — привязанность ее к Ванечке, помимо чувственных отношений, когда бушевала «зверинка», в остальное время носила характер с ее стороны покровительственной дружбы, в которой, пожалуй, было что-то даже как бы материнское. Именно еще молодые и добрые матери с полувзрослыми послушными сыновьями умеют быть в таких хороших, искренних, все, что можно, близко знающих и доброжелательных, товарищеских отношениях. Надо отдать справедливость Ванечке: такого хорошего чувства и внимательного участия он заслуживал. Виктория Павловна прислушивалась к молодому человеку, присматривалась и все больше и больше увлекалась его комическим талантом. И вот свершилось: Ванечка впервые в жизни явился на сцене и сыграл в местном художественном кружке, полублюбовительском-полуактерском, Бальзаминова в комедии Островского «Старый друг лучше новых двух». Держался он на сцене, словно на ней родился, был естествен, умен, тонок — вся актерская суть его природы так сразу и развернулась и наполнила собою театр. Серьезен он был, точно каждую фразу какое-то откровение читал, а публика в зале каталась от смеху, билась лбами о передние стулья. Жребий был еще не брошен, но уже сам сунулся в руки. Когда на

другой день после спектакля Ванечка пришел к Виктории Павловне, она без слов, по одним глазам его увидала, что нотариусу своему он больше не слуга: «Потребовал поэта к священной жертве Аполлон». Ванечка выступал еще в двух-трех спектаклях местных художественных обществ, и о нем заговорили в Рюрикове. Шиллероподобный нотариус, гордый, что у него в конторе объявился такой даровитый человек, хоть и жаль ему было расстаться с деловым помощником, сам предложил денег, чтобы Ванечка ехал в Москву и поступил либо в драматическое училище, либо на курсы к художественникам. Ванечка деньги принял, очень пылко и серьезно поблагодарил и действительно уехал в Москву, но не один, а в сопровождении Виктории Павловны. Она хотела сама ввести Ванечку в артистический мирок и наметить для него путь старыми своими знакомствами и связями. Вот эта поездка действительно нанесла Виктории Павловне удар сильный и оправдала правило, что «свет не карает заблуждений, но тайны требует от них...». Шиллероподобный нотариус выдрал последние волосы со своей розовой лысины, а в городе хохотали над ним, что вот, мол, добрый человек — оплатил прогоны!.. Но, с другой стороны, Ванечка был теперь ведь не просто Ванечка, а награвевший уже в губернском городе, кичившемся своею театральностью, талант... Увлечение талантом — кому оно не прощалось, не прощается и не будет прощаться? Какой талантливый актер не имел своих психопаток? Вот — и у Ванечки Молочницына они уже появляются. А что первую оказалась Виктория Павловна Бурмылова, так это уж, во-первых, комикам всегда счастье такое, что они глотают лучшие куски, а во-вторых, доказывает, что знаменитая губернская Калипсо, Цирцея и, как, бишь, их еще-то, очаровательниц, стареет и впадает в тот бальзаковский возраст, когда опытные в любви женщины приобретают как бы специальный вкус и аппетит к мальчишкам...

Между тем как Рюриков издевался и хохотал, Виктория Павловна с Ванечкою в Москве ходила на экзамены, испытания и пробы в разные театральные педагогии, которыми так богата Белокаменная. Результат этих экзаменов был покуда только тот, что по целым вечерам потом Виктория Павловна умирала со смеху в номере своем, созерцая, как перед нею — в лице Ванечки — разглаживает бакенбарды важный и тихий Владимир Немирович, как трясет седым хохлом и приглядывается французскими глазами Станиславский, как склоняет голову бочком, точно хочет боднуть, и, сверкая, расширяет голубые глаза Ленский, как хитрою немецкою лисою, прищуренный, с лицом-маскою, задает неискренние вопросы Правдин. Затем Ванечка начал куда-то пропадать, все будто Москву осматривает. А в один прекрасный день явился с лицом сконфуженным, загадочным, имея в руках жокейский хлыст, и, недолго таясь, сказал:

— Виктория Павловна, вот плеточка...

— Что? Зачем? — изумилась Виктория Павловна.

— Да... бить меня стоит, так я уж сам плетку купил...

Оказалось, что все эти дни Ванечка сидел по театральным трактирам в обществе провинциальных актеров, завел между ними друзей и — вот сегодня он подписал контракт в один из южных губернских городов, в опереточную труппу, на роли первого простака. Виктория Павловна пришла было в ужас, потому что никак не ожидала, чтобы ее любимец устремился вместо комедии на грешные опереточные подмостки. Однако имя антрепренера и довольно крупный оклад, на который он брал начинающего Ванечку, ее несколько успокоили. А, когда она лично увидалась с антрепренером этим, то он ей показался человеком и порядочным, и понимающим, что в лице Ванечки он приобрел настоящее дарование. О том же свидетельствовала весьма крупная неустойка, проставленная в контракте, и теперь по силе ее, делать нечего — хочешь не хочешь, а служить надо, потому

что неустойку платить нечем. Плеткою бит Ванечка, конечно, не был, но отчитала его Виктория Павловна жестоко, что, впрочем, было равносильно нотации повара коту, притаившемуся за укусным бочонком. Снявши голову, по волосам не плачут!

И вот таким-то образом исчез с лица земли Ванечка Молочницын, а народился новый опереточный простак Викторин. Любезный антрепренер, конечно, сразу угадал опытным театральным глазом существующие между Викторией Павловной и Ванечкой отношения. Тонкий ценитель красоты, он и самое-то Викторию Павловну уговаривал вступить в труппу, льстя ей обещаниями успеха, который должно иметь уже одно появление ее на сцене:

— С такою-то царственной наружностью! Да вы, как только покажетесь, заполоните театр...

На это Виктория Павловна отвечала:

— А вы слышали, что служила у вас в городе актриса Июньская?

— Помилуйте! — воскликнул антрепренер. — Как же не знать... Это при моем предшественнике... До сих пор о красоте ее легенды ходят... Но какое же может быть сравнение? Ведь она же, говорят, была совершенная тупица, бездарность, не умела ни ступить, ни слова сказать...

— Совершенно верно, — подтвердила Виктория Павловна. — Это я могу вам засвидетельствовать лучше, чем кто-либо, потому что Июньская — это я...

Ванечка доставил ей в этот вечер много удовольствия, изображая лицо антрепренера в момент ее ответа...

Ванечка упросил, укланял, умолил Викторию Павловну поехать с ним в город его первого театра, присутствовать при его первом дебюте на настоящей сцене и принести счастье первым его шагам. Виктория Павловна, подумав, согласилась — ей самой было очень интересно. Ванечка должен был дебютировать в «Птичках певчих» ролью

полицеймейстера, но вместо того совсем неожиданно принужден был заменить внезапно запившего комика, любимца публики, который должен был исполнять роль губернатора. Для такого отчаянного первого шага надо было или совершенным наглецом быть, или сознательно чувствовать себя вдохновенным талантом. В труппе, конечно, говорили первое, а публика, пред которою Ванечка появился, признала второе. Назавтра после спектакля антрепренер явился с предложением переписать контракт с прибавкою и бенефисом вместо полубенефиса, потому что о запившем комике во время вчерашнего спектакля никто уже в театре не вспоминал...

Виктория Павловна следила за успехами Ванечки — баснословными, все растущими не по дням, а по часам, сделавшими его в одну неделю самым модным человеком в городе, со смешанным чувством радости и грусти.

«И приятно, матерински счастлива им я, — писала она госпоже Лабеус, — что не ошиблась и в некотором роде вывела такой большой талант в своем правосленском инкубаторе... Но в то же время переживаю ежедневно ощущения курицы, высидевшей утенка... Только не мечусь от недоумения и страха, а фатально жду, когда птенец мой оттолкнется от твердой земли, на которой я его соблюдаю, и поплывет по озеру, оставив меня напрасно кудахтать вслед ему на пустынном берегу...»

Однако предчувствие не торопилось оправдаться. Сезон шел уже к концу. Виктория Павловна продолжала жить в городе, не только в одной гостинице с Ванечкою, но даже в смежных и сообщенных номерах, открыто — на положении его подруги. И покуда, по чистой совести, не могла пожаловаться, чтобы положение это, так легко и просто принимаемое в театральном мире, было отравлено какими-либо неприятностями, зависящими от ее друга... Конечно, молодого любимца публики крутили разные городские кутящие компании

поклонников, но Ванечка оказался породю в железную мамашу свою, Арину Федотовну — с логическим характером и крепким самообладанием. Виктория Павловна по первому же разу, когда увидела его в такой обстановке, с удовольствием признала, что он не из «пьяных героев», столь обильных на русской сцене, нет, этот паренек и с публикой поладит, и спойть себя не позволит. Другой соблазн — женский, — конечно, пылал вокруг новой знаменитости еще более жгучим пожаром. Ухаживали за Ванечкою семнадцатилетние дерзкие девчонки-пажи; ухаживали кокетки-хористки и красавицы певички на выходах, приезжавшие в театр на собственных рысаках, в тысячных шубах, каких не было и у примадонн, сверкавшие брильянтами, щеголявшие в туалетах прямо из Парижа от Пакена; ухаживали толстые, обсыпанные пудрою примадонны с хриплыми голосами и стереотипными улыбками, первое появление которых, кажется, еще Наполеон приветствовал, когда проходил эти края во главе двенадцати языков; ухаживали дамы из публики — блудливые администраторши, великолепные коммерсантки и чуть не семидесятилетняя местная княгиня, из восточных человечиц, в драгоценных камнях тысяч на сто, как икона, пресловутая покровительница опереточных талантов, с мертвыми глазами и синими даже сквозь губную номаду губами, которая хвалилась могильным голосом, что она еще «Сашку Давыдова в ход пустила...». Виктория Павловна была не ревнивой породы, и женская мотыльковая толкотня вокруг свечка таланта не давала ей горьких минут, хотя она очень хорошо сознавала и была совершенно уверена, что вот именно тут-то и обозначится теперь озеро, пруд или лужа, по котрым уплывет от нее высиженный ею утенок, оставив ее кудахтать на берегу...

И все вышло — как по расписанию и так обыкновенно, буднично, по-всегдашнему, что даже и пошлым жаль назвать, потому что какая уж, казалось бы, пошлость в фатуме?

А между тем зачастую — нет ничего пошлее именно фату-ма, и вот теперь выпал именно такой случай... Миллион первая копия подобных же... из века в век, из края в край!

В один плачевный вечер, когда Ванечка ушел уже в театр гримироваться к спектаклю, а Виктория Павловна собиралась, чтобы тоже пойти в театр, посмотреть Ванечку в новой роли Жупана в «Цыганском бароне», привлек ее внимание маленький белый квадратик на полу в комнате, где молодой артист только что переодевался... Подняла — письмо... А в письме:

Милый Ванванвансюрсюрушинка

Преходи послы спектаклю куды вчера какскора тебе тва гувернанка отпустит иначе тебе и ей вицарапу глаза старушкам ночью полезна спат а нам молдим за бавляца цилую тебе семсот шестдсат чтыри раза и жду безперменно душонка моиво

Тва любяча Грузя.

Прочла Виктория Павловна, перечла... улыбнулась... Взглянула в зеркало: вот как? уже в гувернантки и старушки попала? Не рано ли? Ах вы!.. Молодые!..

Грузю эту она хорошо приметила, как она вертелась вокруг Ванечки на генеральной репетиции «Прекрасной Елены»... Бойкая, тощая девчонка, длинная, гибкая, в каких-то курьезных золотисто-пепельных вихрах и завитушках, зеленолица, острозубая и с глазами светлыми, как олово, — каждому смотрят прямо в лицо с бессознательно-наглым выражением бессмысленного смеха, о котором никак не разберешь, что это — безумие или бесстыдство... Без голоса и слуха; «поет» третью роль — Парфенис, но комическая старуха шептала вчера, что режиссер от этой девчонки без ума и ей дадут роль Ореста... То-то будет безобразничать в мужском костюме!.. Повидимому, совершеннейшая и типическая закулисная дрянь, но ей восемнадцать лет, у нее тело — как стальная пружина,

а намедни на репетиции она при всех сгибалась и разгибалась в платье, стоя, так, что ее золотые вихры падали то на носки ее ботинок, то покрывали пятки...

Шел третий акт «Цыганского барона»...

Но раз
В экстазе
Привел испанку я,
Обняв
Меня,
Шептала: я твоя!
На ней брильянт сиял,
Его я быстро снял,
И, как залог любви, себе я взял... —

пел Ванечка, едва пробиваясь голосом сквозь гул качавшегося в зале смеха...

Но когда артист Викторин после чуть не пятого bis'a, оглушенный аплодисментами и ревом восторженной толпы, запыхавшийся, потный, с плывущим по лицу гримом, вошел в свою уборную, он увидал: на столике перед зеркалом лежала телеграмма. Он взял ее еще дрожащею от сценического возбуждения рукою, небрежно распечатал, рассеянно пробежал глазами... и обомлел. Телеграмма была с первой контрольной станции — верстах в 50 от города, — а стояло в ней:

Милый Ванвансюрсюрушинька

Передай Грузе, что я тебя отпустила. Прощай, мой мальчик!

Гувернантка

VIII

Дорога Виктории Павловны лежала на Москву. Она пользовалась этою попутностью для того, чтобы посетить

Анимаиду Васильевну Чернь-Озерову, которую не видала уже несколько лет, да и почти прервала с нею всякие сношения — не по ссоре какой-либо, а просто потому, что у обеих как-то уж очень густо слоилась личная текущая жизнь и каждой, углубленной в свое, стало не до другой. Но Анимаиды Васильевны Виктория Павловна в городе не застала, да и с прежней квартиры она съехала, на которой прожила чуть не двадцать лет. Швейцар дал Виктории Павловне адрес, удививший ее своею отдаленностью от центра. Хотела расспросить швейцара, давно ли совершился этот странный переезд, но швейцар оказался тоже совсем новым человеком, от которого нельзя было получить никаких подробностей о старых жильцах, кроме лоскутка с адресом. Поехала Виктория Павловна к Екатерининскому институту, на Божедомку, и там, в переулке, в особнячке, правда, очень уютном, но будто погребенном между двумя занесенными снегом садами, нашла новую квартиру Анимаиды Васильевны. Ее самой не было в городе — только что уехала за границу проведать старшую дочь. Викторию Павловну приняла младшая дочь, Зина, строгая, удивительно похожая на мать, девушка, уже по девятнадцатому году, с классическим профилем, прозрачным и нежным, будто из севрского фарфора, — «вся в самоуде», как похваливала ее мать: замороженная, глядящая прямо в глаза, говорящая очень мало, будто слова у нее на вес, без жестов, точно бережет энергию движений, почитая ее драгоценною на вес золота, тонкогубая и, должно быть, не очень добрая. Она сообщила Виктории Павловне, которой, заметно, обрадовалась по-своему, как только могла и умела, что у них в последнее время сложились очень тяжелые обстоятельства. Василий Александрович Истуканов уже с год тому назад в припадке умопомешательства покончил с собою самоубийством. Дела его оказались расстроеными. Правда, он не оставил никаких долгов, но и средств тоже оставил немного. Вот почему Анимаиде Васильевне пришлось силь-

но изменить свой прежний образ жизни, сократить и создать себе это уединенное «логовище», рассчитанное уже не на блеск жизни, а только на комфорт «дожития». О матери Зина сказала коротко и с большим уважением, что она «все такая же». И показанная ею Викторией Павловне последняя фотографическая карточка Анимайды Васильевны оправдала этот приговор. Виктория Павловна нашла только, что Чернь-Озерова пополнела, и это не шло к ней, так как грубило ее изящные черты. Да щеки отделились от носа новою чертою, которая придавала лицу хмурое и как бы даже несколько трагическое выражение философской иронии — отпечаток возраста, скептически оглядывающегося на прожитую жизнь, безрадостного в настоящем, пессимистически прозорливого в будущее. Дина по-прежнему живет в Париже, совершенно офранцузилась, в Россию не собирается, уже третий год замужем за французом художником, не без имени. Кажется, покуда живут довольно ладно, есть ребенок, собирается произвести второго, потому мама и уехала к ней, хотя средства не весьма поощряли... Все это Зина докладывала, как урок. Виктория Павловна чувствовала, что она бесконечно много умалчивает и взвешивает каждое слово, чтобы не обмолвиться лишним. В доме пахло недавнею драмою, но Зина избегала о ней говорить. А спрашивать Виктория Павловна не решалась, потому что в застылых глазах Зины прозрачно читала, что оно было бы и бесполезно: девушка не из тех, которые позволяют себя спрашивать. О самой себе Зина сообщила только, что она думает переселиться в скором времени в Германию, так как решила сосредоточиться на изучении естественных наук, а в Москве женщине негде работать на этом поприще. Да и вообще учебная жизнь в России стала так неверна и необеспечена, что нельзя надеяться на цельность курсов. Все отравлено политикою — и справа, и слева. Зина не винит, она понимает. Оставаясь в России, конечно, нельзя не участвовать в политике. Творятся такие безобразные дела,

что скоро камни — и те возопиют. Но Зина в себе политического инстинкта не чувствует, заниматься ей надо неотрывно и серьезно, большие московские ученые видят в ней кое-какие задатки для того и обещают ей хорошую дорогу...

Виктория Павловна уехала от Чернь-Озеровых после разговора с этою девушкою, словно в холодном погребке посидела, однако, вспоминая ее не без приятности и с чувством уважения: сказывалась в этом спокойном, сдержанном и замкнутом существе какая-то новая и большая сила, самосознательная, самоуверенная, благоустроенная и действующая без словоизвития и красноречия...

«У нее, счастливицы, как будто совсем пола нет», — думала про себя Виктория Павловна, вспоминая ясные глаза Зины, такие же хрустальные, как были у матери, но словно еще каким-то новым составом промытые и почищенные, так что уже совершенно исчезло из них то русалочье выражение, на которое Анимаида Васильевна все-таки бывала иногда еще очень и очень способна.

Возвратившись от Чернь-Озеровых в гостиницу, Виктория Павловна нашла у себя телеграмму от Евгении Александровны Лабееус. «Сумасшедшая Женька» в отчаянных выражениях приглашала ее к себе в один из крупных губернских городов юга... По тону телеграммы Виктория Павловна сразу поняла, что неугомонная дама потерпела какое-нибудь жесточайшее крушение с новым очередным Лоэнгрином и барахтается на дне одного из тех безобразных дебошей, которые у нее всегда за подобными катастрофами следовали... Виктория Павловна подумала и решила исполнить просьбу подруги. Спешить в Рюриков ей сейчас очень не хотелось, так как она знала, что уже совместный отъезд ее с Ванечкою сделал ее в городе предметом насмешек и пересудов. А сейчас — поди — уже дошла весть и об ее разрыве с «восходящим светилом», и, значит,

она будет встречена бесконечным числом злорадных улыбок: вот, мол, и ты, гордячка, дожидая до поры крушений, когда тебе стали давать отставки... Тянуло повидать Фенечку, но в последнее время письма о ней, приходившие от Ани Балабоневской, производили на Викторию Павловну такое впечатление, будто именно ради Фенечки ее в Рюрикове не очень-то желают. Не то чтобы в письмах этих чуялась какая-нибудь недоговоренность — напротив, скорее, они страдали переговоренностью: точно Аня Балабоневская преднамеренно спешила доложить Виктории Павловне о Фенечке решительно все, до ничтожнейших мелочей, так подробно, чтобы уже больше и узнавать нечего было, а следовательно, не надо и приезжать лично... Отсюда Виктория Павловна заключила, что ее положение в родных местах сделалось очень щекотливым и что в самом деле пришло к ней время каких-то тяжелых расплат за то презрение к общественному мнению и говору, которым она отличалась в течение всей своей жизни... Подумав несколько, она решила переждать неудачную полосу... Телеграфировала Евгении Александровне, что выезжает к ней немедленно, — и действительно выехала... Но когда человеку не везет, то уж не везет... Накануне отъезда Виктория Павловна встретила со старинным и отвергнутым влюбленным своим, художником Буруном, выставившим у передвижников новую свою картину. Он не замедлил прийти к ней и разыграл страшную сцену с трагическими объяснениями, расстроил Викторию Павловну совершенно, и ей пришлось вторично почти что выгнать его от себя вон... А когда он ушел, то Виктория Павловна чуть ли не впервые в жизни, испытала нечто вроде истерического припадка: и в слезах, и в смехе недоумевала, что представляет для нее этот человек, — не то он лютейший враг ее, не то безнадежно и на всю жизнь влюбленный и покоренный раб, а всего вернее — то и другое вместе...

«Что же? — злобно и насмешливо над самой собою думала она. — Во всяком случае, застрахована: этот и в старости к ногам моим приползет — если уже не по любви тогда, то хоть со злости, что вот, в конце концов, ты-таки от меня не ушла... Ну что же, говорят, иногда — на последний конец — и то счастье... Пока еще живем, морщин на лице и седых волос нету... А там, о мой возлюбленный Финн, так и быть, бери свою Наину, береги покой старых лет ее, и будем вместе спорить целыми днями, кому больнее от подагры или ревматизма...»

Евгению Александровну она нашла в весьма жалком состоянии и сильно пьющую... Лознгрин, оставивший ее на этот раз, распорядился с нею уж как-то особенно подло, потому что в сообщницы взял компаньонку Евгении Александровны, девушку, которую она держала при себе неотлучно лет пять, относясь к ней с большою страстностью, не хуже, чем к родной дочери, и считала эту юную особу чуть ли не единственным существом близ себя, ее искренно любящим. Дело разыгралось скверное. Мало что у Евгении Александровны пропали любимые ценные вещи, но девчонка теперь, очевидно, под диктовку жулика-любовника, писала ей дерзкие письма, требуя обеспечения себе деньгами или векселями и угрожая в противном случае некрасивыми разоблачениями...

— Вот дура-то! — вопияла Евгения Александровна, косматая, лохматая, в драгоценнейшем, но истерзанном пеньюаре, уже два дня едва ли мывшаяся и — как застала ее Виктория Павловна — в комнате накуренной, хоть топор повесь, заброшенной окурками по дорогому гостиничному ковру, продушенной сильным спиртным запахом и с недвусмысленными следами недавнего мужского присутствия, весьма бесцеремонного. — Вот дура-то! Она думает вытянуть из меня денег разоблачениями! Да если бы она мне только просьбою — честною просьбою — заикнулась, что

ей нужны не тысячи какие-то мизерные, которые вымогать у нее хватает воображения теперь, а десятки тысяч, — неужели бы я для нее пожалела? Бери! Ты моя, я твоя, все общее! Ну а под шантаж — шуточки! Я, скорее, удавлюсь, а весь остаток моего состояния пожертвую на приют для новорожденных мышат, чем она увидит от меня хоть одну копейку... Грозить мне смеет... Да разоблачай — сделай милость! Чего я боюсь? Я одного боюсь: когда люди своею подлостью мне сердце царапают до крови. А бояться и стыдиться — я этого даже как-то совсем не умею... То есть перед другими... Ежели сама перед собою не стыжусь, то перед кем мне может быть стыдно?.. Что делала, то делала... И если делала, то вот — черт с вами со всеми, смотри, кто хочет... Разоблачай меня, пожалуйста!.. Я, матушка, конфузов от шантажников не понимаю. Ты хочешь меня разоблачать, так сделай свое одолжение, вот выйдем на площадь, и ты меня на площади разоблачай... В буквальном смысле, догола... Посмотрим, кто первый сконфузится и убежит!..

Все это говорено было и смело, и искренно, и Виктория Павловна нисколько не сомневалась, что «сумасшедшая Женька» остается, как была, и совершенно способна на все, что она говорит и обещает... Но она видела так же ясно, что еще ни одна из старых любовных историй не производила на Евгению Александровну такого оскорбительного и потрясающего впечатления; что она на этот раз в самом деле вся — вне себя и что за нею просто, как за больной, нужен постоянный призор и уход... Это, кажется, в первый раз было, что даже присутствие Виктории Павловны не могло удержать госпожу Лабеус от запоя... Виктория Павловна успела было все-таки, по обыкновению, овладеть ее волею, и дня два или три Евгения Александровна сдерживала свое буйство и пьянство. Даже сделалась в лице бледнее и глаза начали терять прежнее ожесточенное выражение. Но на четвертые сутки,

ночью, Виктория Павловна — сказать спасибо, что вовремя успела встать с постели, услышав, как в общей их спальне что-то звякнуло... Открыв электричество, она увидела Евгению Александровну с какою-то чашкою у рта... Сразу с постели бросилась и вышибла чашку... Евгения Александровна свалилась на ковер в обмороке, а по комнате распространился острый запах аммиака, не оставлявший сомнений в ее намерении... Приведенная в чувство, Евгения Александровна призналась, что дальше так жить не может: все противно, все разрушено, нет ни веры в жизнь, ни цели, ни желания существовать... Пить — не радость, но не пить, значит, тяжело и беспощадно думать, проверять всю свою жизнь пытками неумолимого анализа, безумно жалеть себя и жаждать смерти... Виктория Павловна написала обо всем происшедшем мужу Евгении Александровны, но — к удивлению — не получила от него никакого ответа... А Евгения Александровна тем часом глушила коньяк, уничтожая его в течение дня прямо-таки чудовищное количество и, собственно говоря, совсем от него не пьянея внутренне, — получался лишь внешний безобразный вид лица и движений, а мысль работала, голова была светла...

— Ты Вадиму телеграфировала? — спросила она Викторию Павловну.

Виктория Павловна сказала, что да, телеграфировала и писала...

— И нет ответа? — усмехнулась Евгения Александровна.

Действительно, нет, и Виктория Павловна очень удивлена...

— Сам пьет... — очень спокойно объяснила Евгения Александровна.

А подумав прибавила, с горькою усмешкою:

— Потому что все могу себе представить, только вот этого не могу — чтобы Вадим перестал относиться ко мне

с интересом и хорошим чувством... Кабы еще это пришло, так ты бы у меня чашку не отняла...

Виктория Павловна подумала под ее вопрошающим взглядом, пожала плечами и сказала:

— Да, пожалуй, и отнимать не стала бы...

— То-то, тогда не стоит... — даже с радостью подтвердила Евгения Александровна.

— Да, пожалуй, что не стоит... — согласилась и Виктория Павловна.

А судьба продолжала неистовствовать и играть злые шутки. В один далеко не прекрасный день Виктория Павловна неожиданно увидела входящую в ее номер Арину Федотовну, в шубе, повязанную по-дорожному платком, сопровождаемую тяжеловесными узлами, а из себя — нахмуренную, с весьма перекошенным лицом. Первая мысль Виктории Павловны — навстречу ей — была, что случилось что-нибудь с Ванечкою, от которого с того самого знаменательного вечера Виктория Павловна не имела ни слуху ни духу... Но приезд Арины Федотовны оказался вызван событием гораздо более серьезным. Дом в Нахижном, оставленный Виктории Павловне покойником Мирошниковым, третьего дня внезапно в ночь вспыхнул, как лучинка, от лампадки пред иконою, опрокинутой котенком, который повадился играть цепочкою, и сгорел дотла, так что и сама-то Арина Федотовна едва успела выскочить и только чудом никто из людей не пропал... Скотину тоже успели повывести... Но от дома и усадьбы оставались буквально только одна зола да торчащие из нее трубы... Это был большой удар по благосостоянию Виктории Павловны. Усадьба, правда, была застрахована, но в значительно меньшую сумму, чем она действительно стоила, так как страховка была давняя. Мирошников потом ее не увеличивал, а хозяйство обрастало и инвентарем, и стройками, и хозяйство все улучшалось и совершенствовалось... Таким образом, приходилось Виктории Павловне после недолгого сравнитель-

но благоденствия, как бы в сказке о золотой рыбке, опять вернуться к правосленскому разбитому корыту. Было тяжело и обидно. Фатум в лицо смеялся. Сама Виктория Павловна в Правослу не собиралась совсем, а Арина Федотовна прямо слышать о ней не могла, хотя видела очень хорошо, что не избыть ей этого пути, теперь опять деваться больше некуда. И, кажется, это впервые в жизни — что она чувствовала волю судьбы сильнее своей воли и до белого каления раздражалась необходимостью подчиниться. Но, так как еще стояла зима, а в Правосле, и по собственному ее опыту, и по письмам Ивана Афанасьевича, жить было теперь совершенно невозможно, то Арина Федотовна решила остаться до лета вместе с Викторией Павловной и Евгенией Александровной в том городе, где их застала... Ее прибытие, хотя мрачной и удрученной происшествием, ввело много порядка в их жизнь. Евгения как-то сразу опаматовалась, перестала пить... Несчастье подруги сильно на нее подействовало, и — наконец-то — ей удалось уговорить Викторию Павловну хоть временно взять у нее денег, так как у той в это время буквально ни гроша своего не оставалось, а денег Фенечки она ни за что не хотела трогать.

Жили они все три в гостинице, занимая отделение в три комнаты. Как только сошел с Евгении Александровны ее безобразный запой, она сделалась, по обыкновению, тиха, застенчива и очень кротка, будто виноватая, старающаяся отслужить свои вины, хотя ей никто о них не напоминал. Виктория Павловна тоже переживала хорошее время ровного, спокойного настроения, похожее на то, как было три года тому назад. Никаких «зверинков» на нее не находило и не предчувствовалось, чтобы скоро нашли. Несмотря на все обрушившиеся на нее и на людей вокруг нее неприятности, она чувствовала себя очень бодрою и смотрела в будущее довольно спокойными, если не веселыми, глазами. От Ани Балабоневской приходили письма, по которым Виктория Пав-

ловна видела, что Фенечке живется в пансионе очень хорошо, что она делает успехи, что к ней все очень привязаны и ее любят, что девочка обещает не совсем обыкновенное развитие и что она, Виктория Павловна, отлично делает, покамест не приезжая в город... Арина Федотовна подтвердила эту последнюю догадку Виктории Павловны, порядочно-таки обругав ее за гласность отъезда с Ванечкою, после которого теперь в Рюрикове хоть не кажись: в трубы трубят про нее всякие сплетни и гадости... Аня Балабоневская, по словам Арины Федотовны, еще не все дает понять, что могла бы...

Арина Федотовна, оправившись от первого впечатления после пожара и убедившись, что Виктория Павловна приняла это бедствие со спокойствием, которого даже она не ожидала, тоже возвратила себе обычную самоуверенность и бодрое настроение духа. Засиделась она, что ли, очень в деревне, но городская жизнь ей теперь удивительно пошла на пользу, и она — словно сбросила десять лет с костей. Помолодела, похорошела, стала сытая, белая, нарядная. Оделась по моде, чуть не каждый день бывала в театре, оказалась большою любительницей оперетки и фарса. А единовременно с тем влез ей в ребро бес, часто беспокоивший ее и в деревне, и стала она временами пропадать невесть куда для приключений, которые потом рассказывала своим дамам со свойственным ей юмором и цинизмом... В числе этих приключений одно вдруг сильно ее зацепило и было не весьма обыкновенно.

В городе появилась странная личность. Монах не монах, странник не странник, бунтарь не бунтарь, сыщик не сыщик, не то уж чересчур православный, не то совсем сектант, существо в подряснике и скуфье, с посохом, сумбурное, с безумными глазами, с наружностью беглеца из сумасшедшего дома, но такого, что в сумасшедший дом-то попал не иначе как из-за прилавка, за которым он долго обмеривал и об-

вешивал покупателей. И имя у этого человека было странное — звали его отец Экзакустодиан. Но был ли он отец, был ли Экзакустодиан — этого никто не знал толком. Говорили о нем и о проповеди его подспудной очень много, но куда еще больше по низам. Толковали, что — хлыстовщина не хлыстовщина, а какая-то смесь того же состава. Человек был, несомненно, со способностью влиять — и влиять уже начинал. Полиция о нем, конечно, знала с первых же шагов его прибытия и пропаганды, но почему-то не вмешивалась, находя, кажется, что это не враг пришел, а, наоборот, скорее, друг и сотрудник. В слободке, так называемой Матросской, на окраине города, происходили какие-то радения, которые даже не весьма скрывались. Настолько, что, не будучи посвящена и не собираясь посвящаться, Арина Федотовна, которая не веровала ни в сон, ни в чох, тем не менее на радения эти попала. Рассказывали о них в городе ужасы, но она, возвратившись, по чистой совести сообщила Виктории Павловне, что решительно ничего безобразного и развратного там не видала, но, напротив, было очень скучно, потому что Экзакустодиан этот ломается и врет «от божественного» что-то такие, чего никто и сам он первый не понимает... Очень может быть, что слухи о распутствах, которые совершаются вокруг Экзакустодиана, и справедливы, потому что глаза у него такие — косятся да прыгают: черти в этом омуте вот как здорово водятся... Ну и бабицы, которые к нему притекают, тоже фигуры известные, определенные...

— Достаточно я этой публики насмотрелась по монастырям, а двух-трех так даже и знакомых признала... Уж эти-то меня не проведут, знаю я, зачем они по обителям скитаются и к каким живым мощам прикладываются, — собственными глазами их, голубушек, на этом деле видала... Но — по внешности — все в высшей степени прилично... Если есть какие-нибудь грехи, то, конечно, хорошо спрятаны, творятся

келейно... А вот верят этому Экзакустодиану — так даже досадно видеть, как верят... И есть совсем хорошие девочки и ребята, которых он так одурманил, что они видят в нем только что не самого Христа...

И вот один из таких-то верующих пареньков очень приглянулся и полюбился Арине Федотовне... А так как она была женщина быстрая и решительная и отказывать себе в своих блажных помыслах не любила, то немедленно и атаковала она этого юношу совсем на библейский манер, по рецепту жены Пентефрия... Но потерпела жесточайший афронт... Юноша оказался целомудренным и чистым — истинным Иосифом Прекрасным не только по виду, но и до глубины своей души... Арина Федотовна противоречий не любила вообще, подобных в особенности, и — по мере того, как испуганный молодой человек щетинился и от нее отстранялся, тем больше она к нему устремлялась и на него наседала... Проникла в его семью. Она оказалась очень бедною и суровою и с большим внутренним развалом на две части. Половина семьи, с больным ревматиком-отцом, вот этим мальчиком Тимошею, который полюбился Арине Федотовне, и старшею его сестрою, угрюмою красавицею Василисою, «вроде женщин на нестеровских картинах» — определила, ее увидав, Евгения Александровна Лабеус, — оказались людьми не от мира сего: поглощенными рвением к божеству, усердно читающими жития и учительные книги подвижников и пустынножителей, денно и нощно размышляющими о своей греховности и путях к спасению. Другая половина — мать, измаявшаяся в труде и хлопотах нищего мещанства, и красивые младшие сестры-подростки, уже озлобленные безрадостно протекающею голодною юностью, — была совсем другого закала: все — хоть сейчас готовые черту душу продать, лишь бы явился да захотел купить. Черт не черт, но Арина Федотовна явилась с предложением сиделки — по характеру как будто немножко из того же разряда. Обрадо-

вались ей, как с неба пришедшей, неожиданной избавительнице и благодетельнице, несколько подарков, сделанных ею матери и сестрам мальчика, окончательно расположили в ее пользу эту обглодалую, жадную, мещанскую свору, вообразившую по нарядам и расточительности Арины Федотовны, что у этой «управительницы» денег куры не клюют. Тимошу, как только уяснили себе мать и сестры истинный источник и смысл благоволения и щедростей новой своей приятельницы, сперва вознесли до небес, а когда он не явил никакой охоты идти навстречу желаниям пожилой обольстительницы, ему пришлось в семье худо. Прямо как на врага стали на него смотреть. Чего упрямится, ломается, нищий, не уважит блажь богатой вдовы, которая при средствах своих может его человеком сделать и семью поставить на ноги? Слияет он, что ли? Еще — когда девица соблюдает целомудрие, так это имеет свои резоны: порченной трудно замуж выйти, ребенок может быть, соседи глумлениями прохода не дадут, ворота дегтем вымажут... Ну а ему-то какая беда грозит, двадцатилетнему балбесу? Одно удовольствие — всякий другой за честь почел бы. Добро бы Арина Федотовна была больная или урод какой-нибудь. А то женщина еще в соку, из себя видная, дородная, ни морщинки, ни седого волоса... Какого рожна еще тебе, привереднику, надо?.. Если бы Арина Федотовна захотела, то ей стоило только приказать домашним: Тимошу хоть связать, а ей предоставили бы. Но она забавлялась совсем иною игрою. Влюбившись на старости лет, с обычным себе грубым сладострастием, она, однако, находила задорным и лестным — в последний раз испробовать свою прежнюю женскую силу, свое обаяние, которым она была так могущественна в былые времена, заставляла мужчин — как слухи ходили, и кое-что за собою она и впрямь знала, — и отравлять соперников, и в воду бросаться, и большие, жестокие унижения переживать^{*)}. А теперь вот

^{*)} См. «Виктория Павловна».

какой-то мальчишка смеет говорить, что она искушение от дьявола, и бормочет что-то о глазе, который надо вырвать, если он соблазняет тебя, и о прочих, еще худших, увечьях. Задетая в своем самолюбии отцветшей победительницы сердец, раздраженная, злая, Арина Федотовна мало-помалу как-то вся сосредоточилась на своей дикой, похотливой облове. И с течением дней, как женщина опытная и в средствах соблазна не стесняющаяся, с торжеством стала замечать, что ее натиск действует и мальчишка уже не так неподатлив, как был сначала. Раза два или три Тимоша, посылаемый матерью и сестрами под разными предлогами, приходил к Арине Федотовне в гостиницу. Приглядевшись к его благообразно аскетическому, худому лику, тихим, скромным, святым манерам, задумчивым и глубоким голубым глазам, в которых светилась опасная сосредоточенность отвлеченной мысли, весьма похожая на задаток безумия, прислушавшись к мечтательному разговору, Виктория Павловна после ухода его каждый раз говорила своей домоправительнице:

— Я бы на твоём месте оставила этого юношу в покое... Ты не знаешь, с кем ты шутишь... Это вода глубокая. В ней утонуть можно...

— Небось, матушка, — самоуверенно возражала Арина Федотовна, — во всяких водах плавали и на берег сухи выплывали...

— Да что тебе за радость вести игру с таким святошею? Ведь он весь в религии. Тут вся его мечта, идеал и радость. Он больше ни о чем и думать-то не хочет... Его в пустыню тянет, схиму бы рад принять, даром, что так молод...

— Ну вот, он в пустыню иноком, — отшучивалась Арина Федотовна, — а я туда же бесом, чтобы его дразнить да искушать... Пусть, коли свят хочет быть, не даром ему пресветлый рай-то достанется... — И прибавляла значительно: — А уж святошество это я из него выведу... Я этого терпеть не могу,

чтобы, если женщина удостоила обратить внимание на мужчину, так после того — оставалось бы ему еще что-нибудь ее дорожке... Нет, ты промеж себя и меня богов-то не городи: они тебе не защита, мне не благодать... Он теперь, я знаю, прямо от нас к своему Экзакустодиану побежал — исповедоваться, как он у нас оскормился, — мало того, что в этом грешном месте, в гостинице, с тремя женщинами чай пил, да еще одна из них на него, паршивца этакого, зарится... Погоди... Вот я тебя уж доведу до точки... Не то что перед Экзакустодианом каяться, а — велю тебе на Экзакустодиана твоего, как на коня, сесть да так на нем верхом по улицам ко мне приехать. И — ништо: сядешь и приведешь... так-то-с, любезный друг!

Виктория Павловна на речи эти только сомнительно качала головою, а вообще авантюра Арины Федотовны ей более чем не нравилась. Но она хорошо знала, что возражать тут напрасно: уж если этой бабе вошло что-нибудь в голову, то, умно ли, глупо ли, хорошо ли, дурно ли, она это исполнить должна непременно... Иначе ее замучат недовольство самою собою и сознание, будто она оказалась слабою, чего-то струсила и не осилила совестью... А что она влюбилась — это было несомненно. Влюбилась, как умела, — похотливо, злобно, свирепо даже, ненавидя, желая властвовать и унижать — но влюбилась. И — настолько, что образумливающие речи Виктории Павловны стала встречать окриками и колкостями:

— Да тебе-то что, матушка? С какой стати марьяж разбиваешь? Самой, что ли, по сердцу и в охоту? Так — ништо! Давай силами померяемся, чья возьмет... Ну чего ты лезешь не в свое дело? С каких пор ты мною в гувернантки нанята? Ведь не препятствовала я тебе, когда ты с Ванькою моим спуталась, — а уж тут ли ты дуру не сломала...

Что Тимоша уже заколебался между Ариною Федотовною и Экзакустодианом, это была правда. Но покуда Экза-

кустодиан все-таки был еще сильнее. Тимоша, точно, ходил к нему несколько раз жаловаться на соблазны, которые ставит ему Арина Федотовна, и на потворчество, с которым встречаются эти соблазны в его семье, где только и спят, и видят, чтобы спихнуть его то ли в законный брак (потому что в хитростях своих Арина Федотовна уже и на эту возможность намекала), то ли просто на содержание к этой, ни с того ни с сего вклепавшейся в него бабе... Не скрывал он от Экзакустодиана и того, что человек он слабый, грешный, борется, как может, но дух силен, а плоть немощна. Соблазнительница начинает ему нравиться так, что просто огнем охватывает и кажется иногда — все так и сделал бы очертя голову, что она приказывает, хотя бы и погубил тем навек свою душу и пошел бы потом к чертям на растопку... Экзакустодиан сперва вскипел было. Но — навел справки, кто такова Арина Федотовна, какие у нее средства, какие ее отношения к богатой госпоже Лабееус и Виктории Павловне Бурмысловой, которая хоть и не богатая, а все-таки землевладелица, и быстро сообразил головою своею, наполовину сумасшедшего, наполовину кулака, что тут пахнет возможностью большого публичного эффекта, а может быть, чего-либо и более существенного... И — в то время, как Тимоша ждал от него строжайшей эпитимии и средств к убиению тела и устранению соблазнов, Экзакустодиан вдруг, совсем напротив, заговорил с ним на ту тему, что искушение, напускаемое дьяволом, есть совсем не наказание, как он понимает и боится, а, напротив, знак величайшего благоволения небесного. Потому что слабому человеку соблазнов и не посылается, а допускает Бог дьявола озорничать таким образом только против избранников своих, вроде, скажем, Иова многострадального либо Моисея Мурина, затем, что любит их борьбу и победу над исконным врагом и первородным грехом. А потому Тимоше совсем не следует чуждаться и чураться женщины, его преследующей, а, напротив, всячески

стараться ее, коварную и беспутную, образумить и привлечь к своим правым понятиям... Вот это будет настоящая победа над грехом... Конечно, дьявол силен, и он, Эксакустодиан, понимает, что при такой скользкой борьбе возможно и оступиться, и впасть во власть дьявола, и осквернить себя блудом... Но Тимофей пусть не боится: этот грех не в грех, это — только падение, которое и величайшие праведники испытывали, которому и он, Эксакустодиан, сколько раз был подвержен... Однако, как видит Тимофей, он не погиб, а спасся и других спасает...

— Я тебе, малец, скажу: это еще под сомнением, что больше уничтожает грех: воздержание от него или истощение его в себе... Такое, понимаешь ли, чтобы не токмо сильный дух, но и ослабленная плоть возропала, и стал грех чрез пресыщение тебе противен и потерял над тобою всякую власть, и то, что страстные люди почитают соблазном наслаждения, сделалось бы для тебя страхом истязания... Сказано: «Не учащай ближнего твоего, дабы он не возненавидел тебя...» Ну а дьявол глуп — он соблазнитель и хитер, но в глубине своей глуп: он этого правила не знает и учащает без веры и, учащая, так тебе в конце концов осточертеет, что ты ни его скверной рожки, ни греха, им несомого, мыслию своею воспринять уже не в состоянии и ненавидишь его всею силою своей души... Ты за средства кайся, а цель помни и блюди: в корень смотри, в корень! Как ни прийти к несмущаемому духу, лишь бы его достичь... Это вот самое главное и важное, а остальное все приложится... Когда достиг — тут ты и премудр, и благ, и свят, и состояние твое, как Адама и Евы в раю до грехопадения: невинен и блажен... А откуда смущаешься, потуда и страстен... Страстность же есть величайший грех пред Богом, потому что Бог ни к кому страстности, кроме себя, в человеке не прощает и простить не может, ибо сказано: не сотвори себе кумира, и любление твари паче Бога — есть мерзость перед Господом... Вот ты, сыне

Тимофее, говоришь, что она, дьяволица твоя, тебе голову мутит... А разве с мутною головою можно помышлять о благе? Пока в голове муть — до тех пор и мысль, и слово ни вывьсь к Господу, ни долу — к людям — извергать ничего, кроме мути, не могут... Прочищай голову-то, прочищай, чтобы ясными мыслями к Богу стремиться, а не мешать богомыслие с бабьею прелестью пополам.

Тимоша пожаловался Экзакустодиану, что общество Арины Федотовны, помимо чисто блудного соблазна, тяжело ему тем, что она, заметив, как он ревнив к святыне, нарочно дразнит его кощунственными словами, рассказами, смеется над обрядами, которые он привык благоговейно уважать, и вообще богохульствует и бесует, словно одержимая целым легионом дьяволов вместе с Вельзевулом, князем их...

— Вот я тебе и говорю, — нетерпеливо прервал Экзакустодиан, — вступи с нею в борьбу, покори ее и всю эту погань бесовскую из нее изжени... Совершишь — то будет твой подвиг; не сможешь — падешь, — не отчаивайся: Бог и намерение приемлет, яко жертву благопотребную... Ибо, как грех бывает словом, делом, помышлением, так точно и благие чувства... А что дьяволица твоя кощунствует, того не смущайся: это неспроста, стало быть, есть ей такое попущение от Бога... Что же ты — или Бога самого защищать от нее хочешь? Не высоко ли берешь? Ежели бы Он, Батюшка, не хотел того попустить, так неужели же Он без тебя не справился бы с нею? Не у одного такого кощунника, когда Господь-то указывал, язык отнимался, руки не писали, весь расслабленным становился злодей, а то и на месте умирал... А если она может и ей ничего — так, значит, это Божие попущение. А зачем оно, о том судить не нашему с тобою короткому разуму: тут произволение... Кто знает, может быть, затем оно именно и нужно, чтобы воссияла твоя сила и правда... Грешные люди, брат, затем именно и посылаются в мир, чтобы через них святые проявлялись.

В результате подобных наставлений и переговоров Тимоша понемногу стал склоняться в том направлении, что истощить силу греха в плоти своей столь же спасительно, как от греха воздерживаться, а между тем много легче и приятнее. И со дня на день все больше и больше оплетался сетью Федотовны... А она, тоже смекнув, в чем дело, повела с ним новую игру, все время начистоту доказывая ему, что он ее только сдуру боится, а на самом-то деле давным-давно в нее влюблен без памяти, и желает ее, и плачет по ней; да вот беда — и хочется, и колется, и батюшка не велит: робеет потерять свою святость... А поэтому он, собственно говоря, просто, трус и дрянь, и святости за ним ровно никакой нету, потому что вот он смущается же от одной ее близости...

— Разве настоящий-то святой смутился бы? Плевать бы на подобную опасность хотел настоящий святой... Я, брат, хоть и неграмотная, а Четьи-Минеи-то слыхала — угодники-то себя на одну цепь с нагою блудницею ковали, — нарочно, чтобы показать дьяволу, что — немного ему очистится от них, не владеет им его искушение и думают они о нем столько же, как о прошлогоднем снеге....

Юноша, который в глубине души не мог не чувствовать, что все это, собственно говоря, правда, но слишком гордый и упорный, чтобы со смирением правду принять и еще больше остерегаться сетей, ему расставленных, — нарочно, в оскорбленной дерзости, начинал доказывать, что он несколько Арины Федотовны не боится, может она рассыпать ему какие угодно соблазны и ласки, он все-таки будет вести свою линию и тоже устоит против нее, не хуже любого святого Четьи-Миней.

Свидания странной пары давно уже не производились в той гостинице, где жили три женщины. Виктория Павловна прямо сказала Арине Федотовне, что она ведет грешную игру, в которой черт знает какой конец может быть...

— Ты смотри: ведь у него глаза совсем сумасшедшего человека...

— А то и любо, — смеялась Арина Федотовна. — Девочкой маленькой была — любила на Осне по первому льду кататься, а теперь, на старости лет, мило молодость вспомнить... Либо вот, бывало, на Ивана Купала через костры прыгала: ожжет иль нет?.. Так и сейчас...

И кончались эти свидания тем, что злополучный малый — с лицом краснее сукна на судейском столе, с мутными глазами, с бусами испарины на лбу — убегал, сопровождаемый хохотом Арины Федотовны, словно в самом деле черти гнались за ним, вырвавшись из ада и все превратившись в голых, белотелых, толстогрудых блудниц, которые, шипя задушенным змеиным хохотом, гогоча утиным криком, кричат ему с бесстыдными движениями блудные, преступные, кощунственные слова... На каждую подобную встречу шел он, как на сражение, — много раз выходил победителем, но наконец свершился и его жребий — обезумел и был побежден...

А, быв побежден, был и покорен, и обращен в рабство женщиною глумливою и жестокою от природы и к тому же оскорбленною долгим сопротивлением...

— Ты, мать, можешь быть спокойна за сына, — говорила она матери Тимоши. — я твоего Тимофея не погублю, а человеком сделаю. Я его на настоящую линию выведу. Святошество-то из него я повыкурю. Он у меня — это шалишь! — ханжествовать позабудет... Этакому молодцу-парню надо в жизни жить да дела человеческие орудовать, а не у Экзакустодиана в чулане ладан нюхать... Я подобных блажей не уважаю и не терплю...

Такие дерзновенные слова она имела неосторожность говорить при старшей сестре Тимоши, Василисе. Девица эта в Экзакустодиане видела если не Христа, потому что Христом для нее был — по Экзакустодиановому же внуше-

нию — Иоанн Кронштадтский, то по крайней мере Иоанна Крестителя или Андрея Первозванного... Разумеется, рассуждения Арины Федотовны Экзакустодиану были переданы... И это обстоятельство совершенно переменяло его отношение к Тимошину роману, из которого он знал каждую страницу, как только незримая рука жизни писала ее...

IX

В городе был чудесный бульвар, глухой, с запущенною, рощеподобною частью, в которой зимой городская управа заботилась расчистить только две или три дорожки к охотничьей беседке, стоявшей в самой ее глубине. Эта беседка служила ежедневною целью в прогулках Виктории Павловны, которые совершала она в предсумеречное время, всегда одна, потому что потребность быть по крайней мере часа два в сутки на ногах и в одиночестве была в ней и теперь властна, как прежде. В один серый мартовский день, когда в воздухе уже чувствовалась начинающаяся весна, она, по обыкновению, дошла до беседки и села на одну из ее скамеек... Задумалась о Фенечке, о своих невеселых делах: о том, что вот вышла какая-то заминка со страховкою и почему-то до сих пор тянут ее, не выдают; о планах на лето, которое волею-неволею придется, должно быть, провести в Правосле; о последнем письме Ани Балабоневской, в котором те чрезмерные заботы о Фенечке, что так сильно смущали Викторию Павловну, сказались с особенно прозрачною выразительностью; о том, как странно прошел в жизни ее Ванечка, — что вот был и нет его, и писем от него нету, ни вестей, ни слухов, и решительно ей все равно это, и не нужно, и не интересно, и — словно никогда ничего не было... Задумалась — и не заметила, как к ней близко подошел, словно из земли вырос, странный человек в каком-то призрачном одеянии, с ветхим треухом на голове и в чем-то вроде ман-

тии вместо шубы на длинном теле... Глаза человека — огромные белком и какие-то будто рыжие зрачками — беспокойно бегали под крутым и нависшим лбом, словно две лисицы, убегающие от незримых собак... И при всем том в лице человека, хотя почти курносом, вульгарном и, очевидно, простонародном, была своеобразная значительность, настолько делавшая ему «физиономию», что сперва получалось любопытство к нему и только потом уже хотелось рассмотреть черты, весьма неправильные, бороду клином, прямоволосую, точно лошадиный хвост, запотелые инеем усы, кожу, обожженную морозом и ветром, как у мужика, долго шедшего с обозом... Роста был небольшого, а казался длинным, довольно тщедушный, а казался крепким... и оказалось также, и зрачки человека не всегда бегали лисицами, потому что, когда Виктория Павловна подняла на него любопытные глаза, то встретила со взглядом прямым, пронзительным и даже смущающим... белки недвижно блестили и приковывали внимание, затягивали в неотрывность... Так смотрели они — ряженный человек и Виктория Павловна — друг на друга несколько секунд, после чего ряженный человек голосом отрывистым и как бы лающим тьякнул:

— Могу?

И сел, не ожидая ответа, на ту же скамью, только не рядом, а на другой конец...

Виктория Павловна сделала движение, выразившее, что, мол, зачем вы спрашиваете, если уже сели, и я, мол, не хозяйка здешних мест, чтобы запрещать или позволять... Она по первому побуждению воли хотела было встать и уйти, но человек с рыжими глазами так бесцеремонно и упорно установился ей в лицо молчаливою приглядкою, что она приняла это рассматривание как вызов, и отчасти любопытство, отчасти нежелание показать себя оробевшею и смущенною приковало ее к месту... Она сделала вид, будто перестала замечать незнакомца, и спокойно наблюдала возню черных

ворон на белом снегу вокруг какой-то брошенной синей бу маги...

— Я тебя знаю... — вдруг тьякнул незнакомец.

— Да? — усмехнулась Виктория Павловна этому началу, словно в маскараде, незнакомца, который словно для маскарада был одет.

Но он, не обращая внимания на ее усмешку, лаял также отрывисто и угрюмо:

— Да, теперь я тебя знаю... Вот посмотрел и знаю...

— Ну а я, напротив, похвалиться не могу, — возразила Виктория Павловна. — Я вас совсем не знаю и, кажется, никогда раньше не видала...

— Я тебя знаю, — упрямо повторил незнакомец. — Знаю. Ты женщина грешная. Ты женщина блудная. Вот...

Виктория Павловна вспыхнула, встала, выпрямилась, бросив на незнакомца уничтожающую молнию из великолепных очей своих, так что того на мгновение как будто даже передернуло, но он выдержал взгляд и, прыгая перед нею рыжими глазами, все твердил:

— Видишь, я тебя знаю...

Виктория Павловна резко повернулась к нему спиной и хотела было уйти, как вдруг ей блеснула в голову быстрая мысль.

— Вы Экзакустодиан? — спросила она, рассматривая с любопытством его обоженное лицо и странный костюм...

Но он не отвечал, а продолжал бормотать, тьякая:

— Женщина грешная... женщина блудная... женщина дерзкая... А — все-таки врешь, не уйдешь... Меня за тобой Бог послал, я тебя к Богу приведу...

— Да?.. — несколько растерянно возразила Виктория Павловна, чувствуя себя неожиданно попавшею в глупое положение, которое, если из него резко не выйти, кто его знает, чем разрешится... Может быть, и скандалом...

— Да, вот те и да — пришла и на тебя узда, — подчеркнуто срифмовал он, торжествующе юродствуя. — Мечтала

степная кобыла пробегать век без узды — ан, стара штука: заарканили да и обратали...

Виктория Павловна почувствовала, что он нарочно груб, чтобы вывести ее из себя, и сдержала вспышку негодования, не позволив себе даже покраснеть.

— Ну это, знаете, не интересно... — с искусственной холодностью сказала она и пошла по дорожке.

Тогда он вскочил, побежал за нею, нагнал, и так как она шла скоро, то долгополое привидение будто несло за нею по воздуху, проваливаясь с боку дорожки в рыхлый снег.

— Беги не беги, — говорил он, — а я нагоню и приведу... Что ты думаешь о себе? Что ты очень властна и сильна?... Врешь, ты только грешна... Бог видит твою слабость и хочет тебя поддержать... Потому и послал меня сегодня тебе навстречу... Оттолкнешь меня — Бога оттолкнешь... А он не приходит к грешнику дважды... Не бывает этого... нет... Ой, не отгалкивай великого Гостя-Батюшку! Ой, не смотри, что он в рубище и яко смех человеком! Пришел — так ты смири гордыню-то, узнай его, узнай, гордодумная, носа-то не вороти.

Виктория Павловна остановилась и глянула ему прямо в лицо.

— Что вам от меня угодно? — произнесла она твердо и раздельно. — Кто вы такой и по какому праву ко мне пристааете?

В это время они стояли на повороте тропинки от беседки на главную аллею. Экзакустодиан кивнул на близстоящую скамью и скорее приказал, чем предложил:

— Сядем.

Виктория Павловна подумала, пожала плечами: «Посмотрим, какое твое представление дальше будет!..» Сели.

Экзакустодиан долго молчал, разгребая перед собою длинною палкою свою желтый песок на промерзлом снегу. Он молчал и как будто совсем позабыл о Виктории Павловне, рядом с ним сидящей, хотя сам же ее и усадил. Виктория

Павловна последила за движением его посоха и очень ясно увидела, что сосед ее старается вывести на песке какое-то подобие еврейских букв... Это ее покорило. Совсем не религиозная по природе и воспитанию, она тем не менее с ранней юности питала особый «человеческий» культ Христа как Идеи и Евангелия как великой Легенды, и пародии, направляемые в эту область, казались ей непозволительными и невыносимыми...

Экзакустодиан, словно почувствовав ее враждебное настроение, круто к ней повернулся.

— Дети есть? — твякнул он своим лисичьим лаем.

— Вам какое дело? — возразила Виктория Павловна холодно и спокойно.

Он, словно ожидая именно такого ответа, с удовольствием кивнул ей треухом своим, на котором — теперь Виктория Павловна заметила — нашит был потемневший галунный крест, а на остром верху болталась смешная меховая кисточка.

— Есть, — утвердительно сказал он. — Не девка, а баба. Сразу вижу. Мой глаз меня не обманывает. Подобно Демокриту, философу эллинскому, я девицу от женщины духом распознаю... Много ли рожала?

Виктория Павловна смотрела на него во все глаза — еще впервые в жизни она сталкивалась с нахалом такого типа. И сердце в ней зажглось — на вызов отвечать вызовом.

— Один раз, — отрубил она таким же резким, отрывистым звуком, как тьякал на нее Экзакустодиан.

Он опять как бы с удовольствием кивнул головою и сказал:

— Это хорошо, что один... Жалеет тебя Бог-то, воспрещает блюду твоему распознаться по свету... Нет, значит, тебе больше от Него женского благословения, запер он твоё чрево...

— Я на это совсем не жалуюсь, — сказала равнодушно Виктория Павловна. — Если вы, по-видимому, знаете меня...

— Что я знаю? — прервал ее Экзакустодиан. — Я знаю, кто ты, как сестра моя в человечестве. Вот что я о тебе знаю. Не по имени знаю — откуда мне имя твое узнать? Впервые тебя вижу. Я знаю, что ты женщина грешная, блудная, что душа у тебя смущенная, сердце мутное, нечистая мысль, дерзкая совесть; вот это я о тебе знаю. А — кто ты по условностям мира сего и какое положение в них занимаешь, этого я не знаю... Скажешь — буду знать. Не скажешь — мне все равно... Я вижу, что ты в геенну идешь, — вот это мне не все равно... А как тебя зовут, барыня ли ты какая-нибудь важная, горничная ли франтиха, девка ли гулящая — это мне все равно... Люди предо мною равны: поставь меня в царский чертог — я буду так же говорить, как говорю с тобою... Брось меня в вертеп разбойничий — я буду так же говорить, как говорю в чертоге... Вижу грешника или грешницу — значит их спасать надо... Тонущего человека вижу — значит его из реки тянуть надо... Вот... А кого спасаю, кого из воды за волосы волоку, это мы на берегу разберем... Вот... так-то... И — не хочешь, чтобы я тебя по имени знал, — так и не говори... Не надо...

— Да я и не имею никакого намерения говорить, — возразила Виктория Павловна с некоторою досадою. — Хотя, впрочем, извините меня, но мне почему-то сдается, что вы прекрасно знаете и мое имя, и мое положение общественное, и даже биография моя вам небезызвестна... И зачем эти комедии разыгрывать, когда можно просто познакомиться, этого, извините, я не понимаю... Все равно, как вот этих букв еврейских, которые вы изволили перед собою начертать... Так что даже читать их некому, равно как и умилиться изяществом вашего плагиата...

Он слушал, притворяясь, будто не слушает, или в самом деле уйдя в новые какие-то размышления, колотил палкою по обледенелому снегу — причем Виктория Павловна успела заметить, что еврейские буквы он как бы нечаянно стер и заровнял, — и бормотал себе под нос:

— Ух, злая душа! Злая у тебя душа...

Потом — влоборота — бросил сквозь усы:

— Девочка или мальчик?

Виктория Павловна отвечала:

— А этого «духом» вы угадать не можете?

— Ух, злая душа, злая душа... — повторил он как бы в раздумье и вдруг уже не тьякнул, а гавкнул, и не по-лисьи, а как большой сенбернар: — Помолюсь — так и узнаю! Что? Взяла?

— Ну, из-за таких пустяков я вас не заставлю небеса беспокоить, — улыбнулась она. — Если уж вам так любопытно знать, то — девочка...

— Имя скажи, — задумчиво произнес он.

— Зачем? — удивилась она. — Ведь вы же сейчас только сказали, что именами не интересуетесь...

— Неправду говоришь. Я этого не говорил. Я говорил, что мне не надо имени, чтобы человека пожалеть, грешника в нем узнать и на путь спасения направить. А имя нужно. Без имени как молиться за человека? Нас у Бога с сотворения мира миллиарды миллиардов — у каждого было свое имя, и все имена Он знает. Имя дочери скажи. Я за нее молиться буду. Я за всех таких молюсь, которых отцы и матери губят...

Викторию Павловну сильно передернуло...

— Ну... Феней зовут... — сказала она нехотя, сквозь зубы, делая движение, чтобы подняться и уйти.

Но он удержал ее рукою, снял свой треух, причем оказался необыкновенно большелобым и с довольно красивою растительностью, волнистою и червонного золота, по круп-

ной, ежом каким-то встопорщенной голове. Перекрестился и произнес:

— Помилуй и спаси, Господи, рабу твою младенца Феодосию и отпусти грех родителям ее, преступникам святого закона Твоего, не ведали бо, что творили...

А потом столь же истово надел на себя обратно треух свой и, обратясь к смущенной и гневной Виктории Павловне, произнес с ласковою строгостью:

— Ежели тебе не терпится и не сидится со мною, простецом, то — ступай, не держу... Видно, нет во мне сейчас такого голоса, чтобы тебя держать... Но — помни, сестра: я тебя встретил недаром... Мне тебя Бог указал, и я тебя настигну и приведу к нему... И не токмо настигну, а сама ты будешь искать меня и найдешь...

Виктория Павловна встала и, кивнув ему головою, сказала:

— Ну, если вы так уверены, то — до свидания... А вернее — прощайте, потому что не вижу я никакой надобности в нашей встрече...

— Не видишь, — возразил он, глядя на нее из-под треуха своего снизу вверх, так что глаза убежали под крутой лоб, — вижу это я, что ты не видишь. А не видишь потому, что дьявол, хозяин твой, глаза тебе застит... Но это ненадолго... Он уже, дьявол-то, смугился, увидав, что я приближаюсь к тебе... Он уже хвост поджал... И вот ты увидишь: от сего дня начнет он от тебя уходить, да, уходить... И тогда ты увидишь, что сейчас от тебя затемнено и скрыто... А — как увидишь, так и поймешь, а как поймешь, так и начнешь искать меня, найдешь и придешь...

— Ну вот, все в порядке, — засмеялась Виктория Павловна. — Пророчество есть. Теперь — только знамения не достает...

Экзакустодиан вдруг быстро встал со скамьи и как-то так вытянулся, что показался много выше ростом, чем до того времени, и лицо его вдруг стало худое, значительное и — вдаль глядящее, как будто что-то видящее.

— Знамение тебе? — сказал он голосом таким глухим и трепетным, что Викторию Павловну, хотя она менее всего была суеверна, подрал мороз по коже. — Хочешь знамения?.. Я дам тебе знамение...

Падали сумерки, запад горел зловеще красным огнем, возвещая на завтра день морозный и ветреный, и на красной полосе этой нетопырья фигура в меховом-треухе с поднятыми в широких рукавах руками казалась жуткою и допотопною какою-то...

— А, — с удовольствием кивнула на предложение Экзакустодиана Виктория Павловна, — вот это другое дело... Это я понимаю и принимаю...

— Какого ты знамения хочешь? — отрывисто сказал Экзакустодиан, все еще длинный и жуткий, мотая лошадиным хвостом клинообразной бородачи своей.

— О, это я вполне оставляю на ваш выбор, от вас зависит... — с насмешкою возразила Виктория Павловна. — Располагайте вашими средствами, как вам угодно...

Экзакустодиан важно и гордо кивнул ей головою, почти уже темною в надвигающихся сумерках.

— Тогда слушай и запомни. Вот будет тебе знамение от Господа... и скорое. Кто бы ты ни была, я вижу: около тебя и близких твоих смерть и стыд ходят... Но тебя они не тронут, потому что Бог бережет тебя для покаяния и лучших дней... Ты увидишь смерть близко около тебя и спасешься... Некто падет, а ты спасешься.. И это будет тебе знамение... Умей его понять...

— Ну, нельзя сказать, чтобы очень определенное, — принудила себя засмеяться Виктория Павловна. — Подобные знамения всех нас окружают повседневно, ежечасно, ежеминутно. Смерть стоит около меня каждый раз, даже когда я с конки на ходу спрыгиваю... Вокруг каждого из нас день-деньской ходит смерть...

— Пока человека не ударил Бог незримою палицею своею, — холодно возразил Экзакустодиан, — он всегда

суюмудрствует и буесловит... Я сказал. Ты увидишь. Теперь — иди...

И он, круто повернувшись от нее, зашагал по аллее, малопомалу исчезая в сумерках, точно медленный огромный нетопырь...

Виктория Павловна отправилась домой в весьма смущенном состоянии духа. Нелепая встреча тяжело подействовала ей на нервы. Она очень досадовала на себя, что любопытство и желание не уступить позиции задержали ее с этим сумасшедшим, который так похож на плута, или, наоборот, с плутом, который так ловко разыгрывает роль сумасшедшего. А посуленное знамение все-таки как-то неприятно царапнуло ее воображение... И домой она пришла рассерженная и угрюмая. Застала Евгению Александровну, наоборот, в очень хорошем духе, так как та только что получила от мужа ласковое и сердечное письмо... Арины Федотовны не было дома... Ужинать сели без нее. Пришла ночь, ее нету. Полночь — нету. Решили, что, значит, опять где-нибудь закрутил ее бесконечный ее роман с новообретенным Иосифом Прекрасным, посмеялись немножко, немножко понежались... Евгения Александровна легла спать, Виктория Павловна присела к столу — перед сном написать несколько писем. Но не успела она вынуть из бювара бумагу, как в помер постучали и вошедший человек доложил, что приехал господин полицеймейстер и просит ее принять его или выйти к нему по очень важному делу... Еще молодой и очень вежливый офицер этот извинился пред изумленную Викторией Павловной за позднее беспокойство и предложил ей последовать за ним — нельзя сказать, чтобы в приличное место: в городские бани. Там только что совершилось страшное убийство и лежит женский труп, нуждающийся в ее опознании, так как первые свидетели преступления показывают, что убитая женщина состояла при ней, госпоже Бурмысловой, в качестве компаньонки или прислуги... И — сверх того, сей-

час в гостиницу прибудет судебный следователь, так как необходимо произвести и обыск в помещении убитой и сделать опись ее вещам. Арина Федотовна пала жертвою рискованной борьбы, которою забавляясь, довела она противника своего до конечного иступления. Что именно произошло между ними в номере бань, где нашли ее, страшно истерзанную ей же принадлежащим ножом из дорожной ее корзинки-погребца для провизии, а убийцу ее, Тимошу, висящим на дужке душа, догадаться было нетрудно. Из вещественных доказательств — платье, сброшенное в предбаннике, остатки ветчины и полувыпитая бутылка вина немного сказали. Зато красноречивую уликою, наводящею на суть драмы, оказалась маленькая иконка, которую Тимоша всегда носил на себе... Иконка эта была найдена в таком виде, что — несомненно — она была подвергнута умышленному и весьма безобразному надругательству. Когда на допросе у следователя Виктория Павловна увидала это вещественное доказательство, драма, погубившая Арину Федотовну, стала ей совершенно ясна. Не стало никакого сомнения, что надругательство над иконою было новым опытом Аринина глумления над своим насильным любовником, святошею, которого она дала себе слово отучить от ханжества, но — лучше бы не бралась. Потому что, надменная и жестокая, из тех, кто гнет — не парит, сломит — не тужит, она вела свою линию без всякого уважения и пощады к религиозному чувству Тимоши, не жалея его мягкого характера, со всею ей присущею прямолинейною грубостью и стремительностью, которая в одержимости страстью ли, властью ли не умела ждать, а — вот подай ей победу тут же, сейчас же, всю целиком... О религиозности Тимоши она в последнее время и думала, и даже говорила со злобою ревнивой соперницы — и, улучив возможность, нанесла иконке, главному предмету Тимошиной любви и веры, такое же рассчитанно грязное, нарочное осквернение, каким не постеснилась бы

опозорить публично какую-либо живую разлучницу, если бы нашлась такая... И, так как бесконечно было обожание Тимошею иконки, то — несомненно — не взвидел он света при виде сотворенной над нею мерзости, попался ему под руку нож, которым только что резали ветчину, ножом он и расплатился за оскорбление своей святыни... Вскрытие тела показало, что Арина Федотовна должна была умереть, не пискнув, от первого удара, коснувшегося сердечной полости... Но ран на теле найдено было множество. Вся ненависть согрешившего аскета в смешении с бешеною, дикою, долго сдерживаемую чувственностью вырвалась в этот кровавый миг на волю. И так исковеркал и исказнил он тело женщины, что самые привычные к уголовным следствиям люди не могли смотреть без содрогания на это располованное чрево с выпавшими внутренностями, на груди, отрезанные и брошенные далеко от корпуса, на страшный рот жертвы, разорванный пальцами убийцы настолько широко, что обратился в пасть до ушей...

Убийство наделало очень много шума, но дела не создало, потому что виновник был слишком очевиден и покончил с собою самосудом, а данные дознания совершенно ясно осветили психологическую картину преступления... Соучастников никаких быть не могло — и их не искали... Следствие довольно долго тягало Викторию Павловну и Евгению Александровну как почти единственных свидетельниц, которые могли пролить хоть некоторый свет на происшествие... Виктория Павловна не раз вспоминала при этом слова Экзакстоциана: «Смерть и стыд ходят около тебя...» Не знала она, каким образом относится к ней первое, но что стыд ходил около и не тронул ее с тою губительною силою, как мог бы, — это она сознавала. Потому что если бы убийство Арины Федотовны сделалось предметом судебного разбирательства, то никакие закрытые двери не спасли бы имя Виктории Павловны Бурмысловой от громкого, всероссийс-

кого позора: до такой степени, когда дознание пораскопало прошлые грехи и тайны убитой, гнусно запахла слагавшаяся сумма всего преступления и некрасиво пачкала хотя бы самомалейшая к нему прикосновенность... И как ни благоприятно было для обеих женщин, Виктории Павловны и Евгении Александровны, прекращение следствия за смертью преступника, нельзя сказать, чтобы дело осталось для них вовсе без дурных последствий... Очень гордо и смело держала себя Виктория Павловна на следовательских допросах, умело и строго поддерживала она свое достоинство, но хорошо чувствовала, что достигает только внешности: внутри себя вежливый и выдержанный следователь, интеллигент-буржуа с головы до ног, презирает ее совершеннейше и мало-мало, что не видит в ней нечто вроде шикарной и ловкой и потому лишь не зарегистрированной кокетки... Что касается покойной Арины Федотовны, следователь повторял неоднократно, с выразительным подчеркиванием, что убийца ее напрасно поддался воплю смущенной своей совести и поторопился казнить себя: суд присяжных его, наверное, оправдал бы и, кроме церковного покаяния, вряд ли пришлось бы ему нести другую кару... А однажды даже позволил себе заметить, что очень сожалеет о том, что делу не суждено осветиться гласным судом, так как ужасная жизнь и роковая смерть убитой мещанки Молочницыной могли бы послужить учительным уроком для многих и многих женщин, идущих тою же безнравственною стезею...

Виктория Павловна умела встречать и отражать подобные выходки, соображаясь с щекотливыми условиями, в которые она попала, что называется, закусив губы и стиснув зубы: «Провоцируешь, милый? Ну нет, не на идиотку напал... Оскорбляй, если не совестно, — твое счастье. Когда-нибудь авось сочтемся, а сейчас — оставь эти надежды: не попадусь...»

Но Евгения Александровна была опасна. Виктории Павловне пришлось чуть не на коленях умолять ее, чтобы она

сдержала свой буйный нрав, потому что уже на первом допросе она дважды приходила в бешенство, которое только чудом каким-то не разразилось скандалом. А возвратясь в гостиницу, она клялась, что если следователь позволит еще хоть один «подлый намек», то она ему «морду побьет»...

— И тогда тебя будут судить за оскорбление чиновника при исполнении служебных обязанностей! — оборвала ее Виктория Павловна.

— И пускай! И великолепно! Только того и хочю! — неистовствовала «сумасшедшая Женька». — Свету больше! Пусть все слышат...

— Ну а я совсем не хочю, — решительно и строго запретила Виктория Павловна. — Несчастливая ты женщина, неужели ты не понимаешь, что он был бы рад...

— По морде-то получить? — злобно захохотала госпожа Лабеус.

— До «морды» он тебя не допустит, — недовольно морщась, остановила ее Виктория Павловна. — Не так глуп — опытный... А протокол, который ему очень нужен, составит... Разве ты не видишь, что ему — лишь бы какой-нибудь предлог найти, хотя маленькую бы прицепочку, чтобы только провести нас фигурантками перед судом и в печати?..

— Зачем? — изумилась Евгения Александровна.

Виктория Павловна печально усмехнулась.

— Нравственный человек! — сказала она. — Страж семейных добродетелей и социального строя. Во имя общественной морали, которую мы нарушаем... Порок должен быть наказан, а добродетель должна торжествовать...

— О, черт же с ним! — равнодушно возразила Лабеус. — Неужели ты воображаешь, что я стану с подобною ерундою считаться? Если еще судейским крюкам шантажничать позволить, так это после того и жить нельзя.

— Да, но давать поводы, чтобы всю жизнь мою тащили в судебную палату и разрывали, как мусор, в газетах, — я тоже не согласна.

— Виктория! Ты трусишь? — изумилась Евгения Александровна.

Та долго молчала с мрачно сдвинутыми к переносице бровями.

— У меня есть дочь, Женя, — сказала она наконец.

— Ты трусишь! — раздумчиво повторила Евгения Александровна. — А я-то думала и верила: ты бесстрашная...

Еще больше нахмурилась Виктория Павловна и опять, выразительно упирая на слоги, сказала:

— У меня есть дочь...

— Это все равно, — угрюмо возразила госпожа Лабеус.

Но Виктория Павловна пылко перебила:

— Нет, не все равно. Я и без того кругом виновата перед нею. Мне нечего дать ей, кроме себя самой, какая вот я есть. Ну и если еще это сокровище достанется ей, облитое помоями, то...

Голос ее задрожал, глаза покраснели, и она едва договорила:

— Если я трушу, как ты говоришь, то не за себя и не перед буржуа этими высококонравственными... А боюсь я за Феню и перед Феней — ты права — действительно, большую виновность и страх чувствую...

— Это все равно, — упрямо повторила госпожа Лабеус. — Если ты испугалась пред дочерью, то — понятно, — должна бояться и гласности. Забоявшись гласности, должна избегать суда. Избегая суда, должна примириться со взглядом на тебя нахала следователя... Словом, ниточка за ниточкою, а приводит этот клубок разматывающийся к неизбежному результату: признать над собою волю мешанства со всеми его законами и обычаями... со всею тою мужевластною моралью, против которой ты всегда воевала и меня научила воевать...

— Это слова, Женя, — нетерпеливо прервала Виктория Павловна, — и я их не заслужила...

Евгения Александровна покачала курчавою головою.

— Я тебе верила, — серьезно сказала она. — Всю жизнь... Ай, как я тебе верила!

— Слушай, — возразила Виктория Павловна, — я не понимаю, почему ты это принимаешь так странно... почти трагически... Неужели ты находишь неестественным и странным мое желание — остаться в глазах моей дочери, когда она достигнет сознательного возраста, достойною уважения, без грязи на имени...

— А ты уже находишь, что сейчас ты не заслуживаешь уважения? Что имя твое в грязи? — быстро прервала Евгения Александровна. — Уже?

— Не я нахожу, люди уверяют... — горько и гневно, сквозь зубы бросила ей Виктория Павловна.

Евгения Александровна нетерпеливо отмахнулась от ее возражения:

— Ах, что нам до людей... Когда мы с ними считались?.. Я о тебе говорю, Виктория... Сама-то ты, сама-то?..

Виктория Павловна склонила голову и угрюмо молчала.. И тогда Евгения Александровна, от бледности став из оливковой зеленою, повторила прерывистым голосом:

— Я тебе верила, Виктория... ай, как это нехорошо... Я верила тебе, верила...

Виктория Павловна отвернула от нее мрачные глаза свои и медленно молвила, не отвечая, не возражая:

— Что же делать? С тех пор как я видела это тело ужасное, изрубленное, будто свиная туша...

— Не говори, я понимаю тебя, — нервно перебила ее Евгения Александровна. — Я все понимаю и вовсе не упрекаю. Не виню... Потому что все, что ты чувствуешь сейчас, и я чувствую, чего ты боишься, и я боюсь, от чего ты хотела бы уйти и спрятаться, и я хочу... Давно уже и тяжело, и сквер-

но, и подло... жизнь невтерпеж!.. Но ты-то понимаешь ли, что это значит? Ведь это крушение, Виктория, это вера в себя лопнула, это капитуляция, мировоззрению конец... совершенный край...

— У меня есть дочь, — опять будто пригвоздила Виктория Павловна.

Евгения Александровна отвечала с горькою улыбкою, ужасною на ее мулатском, сейчас, как трава, зеленом лице:

— Да, в конце концов, у тебя вот есть хоть дочь... Но у меня нет дочери... Куда же мне-то, куда же?.. Я без того, чтобы у меня были храм и вера, не могу...

Как только следователь объявил им с нескрываемым сожалением, что дальнейшие показания двух подруг ему бесполезны, Виктория Павловна немедленно покинула город и поехала в Рюриков. Сильно убеждала она сделать то же самое и Евгению Александровну, но не успела в том. Со временем их разговора о потерянной вере в себя и страхе перед гласностью обе подруги почувствовали, что между ними, без всякой ссоры и внешней причины, как будто если не лопнула еще, то надорвалась многолетняя внутренняя связь...

Во время следствия Виктория Павловна ближе познакомилась с семьею покойного убийцы Тимоши. Ей не понравились ни мать, ни младшие сестры, жалкие, о хлебе едином живущие, мещанки, но не только понравилась, а большее впечатление на нее произвела старшая сестра — Василиса. С нею Виктория Павловна мало-помалу сблизилась и, несмотря на кажущуюся разницу взглядов и религии, в какие-нибудь две-три недели обе женщины почувствовали одна к другой такую симпатию и дружбу, точно они век вместе жили. Виктория Павловна не без удивления чувствовала себя с Василисой этою почти так же близко, как с покойницею Ариною Федотовною, а в иных отношениях даже, пожалуй, ближе и легче... И вскоре Василиса эта по тайну сообщила

Виктории Павловне весть удивительную: будто Евгения Александровна, все более и более мрачная в последнее время, со дня на день, так что Виктория Павловна начала уже побаиваться, не подбирается ли злополучная женщина к новому запою, познакомилась с Эзкакустодианом, видимо, интересуется его беседою и обществом и уже несколько раз его посетила... Викторию Павловну в этой новости очень удивило и несколько обидело только, почему Евгения Александровна ни слова ей не сказала о новом своем знакомстве, а что последнее состоялось, не было для нее столько неожиданным. Уже та встреча Виктории Павловны с Эзкакустодианом на бульваре, когда Виктория Павловна рассказала ее своей приятельнице, произвела на Евгению Александровну сильное впечатление, которое стало потрясающим после убийства Арины Федотовны, как бы оправдавшего своим совпадением с загадочными словами Эзкакустодиана знамение, которое он обещал.

Что Евгения Александровна падка на оригинальных людей и имеет влечение рода недуга ко всему таинственному и загадочному, это Виктория Павловна давно знала за ней. Спириты и теософы в свое время пощипали шкатулку госпожи Лабеус не хуже, чем впоследствии эстеты... Но прежде, когда врывалось в жизнь ее какое-нибудь мистическое увлечение, она с того начинала, чтобы разболтать о новом своем пристрастии на все четыре стороны света, и прежде всего посвятить в свой секрет Викторию Павловну. А сейчас молчала, как рыба... Умела молчать!.. Выдержка, почти невероятная для ее неугомонного языка!.. Оскорбленная необъяснимою скрытностью подруги, Виктория Павловна тоже решила ни о чем не спрашивать и делать вид, будто не замечает ни таинственных исчезновений Евгении Александровны, из которых она возвращалась, точно после тяжелой работы, мертвец мертвецом, с провалившимися глазами, зеленая, истощенная и вялая до бессловесности; ни

появления в ее комнате каких-то странных толстых книг в старинных кожаных переплетах, которые она читала преимущественно по ночам, засиживаясь долго после того, как Виктория Павловна ляжет в постель... Однажды, когда Виктории Павловне не спалось, она встала на свет, пробивающийся в дверь из соседней комнаты, и застала Евгению Александровну в одной рубашке, стоящую на коленях и кладущую земные поклоны...

— Что это?.. Ты молишься?.. — изумилась она.

Евгения Александровна поднялась с лицом, бронзовым от румянца смущения, и глухо отвечала:

— Пробую...

Виктория Павловна долго молчала... Потом спросила:

— И что же? Помогает?

В голосе ее не слышно было насмешки — одно настороженное любопытство. Евгения Александровна закрыла глаза, тряхнула с отчаянием кудлатою головою и сказала с тяжелым стоном:

— Не умею... не выходит...

Виктория Павловна, ничего не сказав на этот ее ответ, села на диван — и так долго сидели они обе, полунагие, безмолвные, каждая погруженная в свои смутные тяжелые думы и не смеющая, и желающая высказаться... Виктория Павловна почувствовала, что у нее заглодели плечи, и поднялась, чтобы вернуться в постель... Тогда Евгения Александровна порывистым жестом остановила и прошептала:

— Он тебя все ждет...

— Кто? — жестко, почти грубо спросила Виктория Павловна.

Евгения Александровна виновато съежилась и сказала с упреком:

— Зачем так? Ты знаешь...

— Ничего я не знаю, — сухо возразила Виктория Павловна. — И знать не хочу. Одно вижу и знаю: ты опять в чью-

то сеть попала и опять чьи-то хитрые руки тебя обрабатывают и коверкают...

Но Евгения Александровна подняла свои красные руки с кривыми пальцами к мохнатой, как копна, голове и зажала ладонями уши, повторяя:

— Не говори... я не хочу слышать... не говори...

Виктория Павловна пожалала плечами и пошла в спальню... Ночное происшествие это очень взволновало ее... Она долго не могла заснуть, раздражаясь сознанием, что в соседней комнате при свете электричества мучится и нервничает живой, близкий ей человек, почему-то вдруг заметавшийся в судорожном искании какой-то неведомой и до сих пор ему не нужной веры, насильственно дрессируя себя на молитву, которой в себе не чувствует, телодвижениями, которых не уважает и не может считать иначе, как фальшивыми и бессмысленными... А когда заснула, то — в сонном видении — запрыгали пред нею, как две рыжие лисицы, плутовски сумасшедшие глаза на обожженном морозами лице и затыкал лающий голос: «Врешь... не уйдешь... придешь...»

Это было за два дня до отъезда Виктории Павловны, которому Евгения Александровна как будто даже обрадовалась, точно он освобождал ее от тяжелого и стыдного надзора... Кто был очень огорчен отъездом Виктории Павловны, так это успевшая крепко привязаться к ней иконописная красавица Василиса.

На прощание она взяла слово с Виктории Павловны, что если ей понадобится прислуга или верная компаньонка, то она никого бы не брала, кроме ее, Василисы, так как она рада служить Виктории Павловне душой и телом — хоть и жалованья не платите, только хлебом кормите! А в городе, где так погиб страшно ее брат, единственный любимый ею человек на свете, ей теперь оставаться и тошно, и скучно.

Взять ее с собою Виктория Павловна не могла, но пообещала вызвать ее, как только будет к тому возможность...

Х

Путь до Рюрикова Виктории Павловне предстоял довольно длинный, по новой, только что выстроенной Волго-Балтийской железной дороге, покуда больше слывшей Никитинскою, от имени инженера, ее проектировавшего и добрую четверть века уложившего на то, чтобы доказать ее необходимость и добиться ее осуществления^{*)}. Дорога работала уже третий год. По ней можно было попасть в Рюриков в объезд Москвы, притом без пересадки. Из города пришлось выехать ночью. Виктория Павловна взяла спальное место. Войдя в купе, она нашла в нем какую-то даму, спавшую, закрывшись с головою, в синем свете ночного фонарика. Виктория Павловна была очень утомлена сборами к отъезду и проводами Евгении Александровны, которые вышли трогательными, печальными и острыми, точно женщины расставались навсегда и хоронили свое прошлое... Виктория Павловна, едва вручила проводнику билет свой и получила квитанцию, а поезд тронулся, тоже немедленно разделась и легла и почти мгновенно, чуть коснувшись подушки, уже заснула. Но отголоски пережитых тяжелых впечатлений и вагонная духота не дали покойного сна, а налегли тяжелым кошмаром и окружили ее страшными и причудливыми видениями.

Ей снилось, что она не она, но огромная медная статуя, как Екатерина Великая, только вся нагая, и будто бы она упала с пьедестала, потому что у нее были глиняные ноги и — вот подломились, не выдержав тяжести туловища... При падении она больно ударилась затылком и спиною и вот лежит и стоит: доктора, доктора...

^{*)} См. «Девятидесятники» и «Закат старого века».

— Я доктор, — пищит маленькое серое существо, мячом прыгающее и волчком вертящееся у нее на медной груди, отчего внутри ее и гудит, и стонет, показывая то — вместо лица — разинутую красную пасть гадкой и бесстыдной формы, то такую же красную спину, отвратительную, как у обезьяны, которую Виктория Павловна однажды видела в зоологическом саду. — Я доктор, я проктор, я моктор... Великое, безликое, гордое, безмордое...

Виктория Павловна хочет согнать его, но она — медная, руки и ноги не повинуются. А существо растет, дуется, теряет очертания, превратилось в огромное серое мохнатое яйцо, которое — пух! — лопнуло и осыпалось лохмотьями... И Виктория Павловна, задыхаясь от внезапной тяжести, видит: на груди ее сидит верхом — громадная и голая — Арина Федотовна и понукает:

— Но! но! но!..

— Я не могу, — умоляет Виктория Павловна, — ты видишь: я медная и у меня нет ног...

— А у меня верблюжьки ноги! — хохочет Арина Федотовна.

И, вдруг облившись кровью, вся расседается на части, и каждый кусок ее тела, вдруг сделавшись живым и осветившись рыжими, прыгающими по-лисичьими глазами, забегал и запрыгал по Виктории Павловне, гнуса и твякая: «Придешь, придешь, придешь!» А Виктория Павловна под наглым топотом глазастых обрубков чувствует себя все мертвее и недвижимее. Но вместе с тем она в неподвижности своей будто растет, и это ужасно больно, нудно, тоскливо, ломит руки, ноет тело. А князь Белосвинский, проходя мимо с записной книжкой, высчитывает что-то карандашом и говорит:

— Вот: вы переросли уже всю Европу, сейчас кончится мыс Финистере и вы упадете в Атлантический океан.

— Боже мой, но я же медная, я тону... — мечется Виктория Павловна...

— Да, удельный вес меди — штука серьезная, — замечает кто-то, сразу похожий и на Буруна, и на судебного следователя. — Медь почти в десять раз тяжелее воды.

Виктория Павловна чувствует, как ползет она с мыса Финестере, и ноги ее чувствуют уже холод невидимого океана... Она плачет и томится, но кто-то сбоку шепчет ей, посмеиваясь:

— Вы не бойтесь: мы выиграем дело во второй инстанции... Ведь вы мне отдадитесь за это, не правда ли?

И обнимает ее, и сразу замер страшный рост, и нет боли в теле, и — успокоение... Но лицо обнимающего — как густой туман, а в тумане что-то зыблется, мигает и хихикает, и вдруг качается красный нос и мигают лукавые, бутылочную искрою, воспаленные глазки... Иван Афанасьевич!..

— А... вот что!..

Виктория Павловна сразу понимает, что она видит сон, и вспоминает, что этот сон всегда приходит к ней перед каким-нибудь несчастьем и что, значит, надо непременно проснуться, проснуться, проснуться... А хихикающий сон борется с нею и проснуться не дает, не дает, не дает... И, что всего страшнее, борьба становится забавною и смешною. Виктория Павловна, усиливаясь проснуться, боится, что вот сейчас она перестанет желать проснуться. А если она поддастся лукавому сну, то завтра ее ждет какой-то неслыханный, небывалый еще ужас, в котором разрушится, быть может, вся ее жизнь... Сон мечется, кривляется, то пропадая, то выступая с яркостью скульптурной маски, и все лепечет нелепую фразу:

— Допустите, что так мажутся блины...

В словах этих есть что-то таинственное, заклинающее, потому что, слыша их, Виктория Павловна — сама не зная, почему — едва в состоянии удержаться от смеха, бесстыдного, желающего, соглашающегося, а между тем она знает, что это грех, стыд, несчастье и нельзя этого, нельзя, нельзя, нельзя...

— Допустите, что так мажутся блины...

— Простите, но вы, кажется, больны, — раздается в ушах Виктории Павловны уже новый, чей-то незнакомый голос, кажущийся очень громким.

И в тот же миг видения гаснут, словно электрический свет от повернутого выключателя. А Виктория Павловна с удивлением убеждается, что она не спит, но сидит на постели, свесив с диванчика ноги, и — над нею наклонилась встревоженным бледным лицом с черносливыми глазами незнакомая дама в ночной кофточке...

— Простите, но вы, кажется, больны, — сладким и тихим, но звонким голосом произнесла дама. — Вы так ужасно стонали и плакали во сне, что я решилась вас разбудить...

Виктория Павловна с глубоким вздохом облегчения убедилась, что она уже наяву...

Извинившись пред незнакомой спутницей за доставленное беспокойство, Виктория Павловна получила любезный ответ, что, напротив, дама даже рада, что ей пришлось проснуться раньше, чем она рассчитывала, так как ей выходить на одной из близких ночных станций, и она хотя и поручила проводнику разбудить ее, но на этот народ плохая надежда, и она с вечера очень опасалась, не проспять бы ей свою остановку... Теперь остается ей всего лишь час с минутами, и она, конечно, не ляжет до места назначения... Только что пережитый кошмар и Викторию Павловну лишил охоты ко сну... Она вышла в уборную освежиться и, браня себя за суеверие, в то же время и туда шла, и назад пришла с назойливой мыслью в голове, что противный сон, как всегда, был не к добру и как-то она в Рюрикове застанет Фенечку?

«Того еще недоставало, чтобы судьба меня через нее, бедную, начала наказывать... — мрачно думала она, вытирая лицо водою с одеколоном, и, думая, вспоминала, что эти слова — не ее, что она их когда-то где-то как будто слышала... Где? когда?.. Ах да... От Анимайды Васильевны, когда

Дина разошлась с бароном. — И мы тогда с Ариною рассуждали, что вот одну судьба уже настигла, — лет через десять настигнет и меня... Ох, боюсь я, что скорее! Боюсь, что скорее!..»

Возвратясь, она нашла купе освещенным. Незнакомая дама извинилась, что она позволила себе открыть электричество, но mademoiselle сказала, кажется, что не намерена спать... Быстрыми и ловкими движениями приводила она в порядок вещи свои, довольно многочисленные... При полном свете дама показалась Виктории Павловне как будто знакомою: где-то видала она эту длинную и тонкую, гибкую женщину-змею в черном трауре, с маленькою, гладко причесанною головкою на длинной шее, желтым, капризным по существу и сдержанным по воспитанию личиком, черносливые глаза под разлетом своенравных бровей и рот опасным пунцовым бантиком, скрытым, лицемерным и чувственным... Минуты три дамы, как водится, убили на взаимные извинения, а потом разговорились... Оказалось, что дама тоже узнала Викторину Павловну — и сразу, как только при свете разглядела ее, спросила: не Бурмыслова ли она?.. И тут же сообщила, что видала ее на похоронах Арины Федотовны, которые посетила из любопытства... Виктория Павловна мрачно приготовилась к неприятным расспросам: ах, мол, какой ужас! Скажите, что это — собственно — за трагедия такая? Так много и разно говорят! Ведь вы, кажется, были даже свидетельницей по этому делу?.. Но дама оказалась тактичнее, чем ожидала Виктория Павловна, и, кроме упоминания о той встрече, не коснулась убийства Арины Федотовны ни словом, за что Виктория Павловна почувствовала к ней благодарность и — сразу — симпатию...

Вообще дама произвела на Викторину Павловну хорошее впечатление: видимо, женщина из приличного общества, воспитанная, неглупая, образованная, охотница поговорить. Ехала она в ужасную глушь, о которой Виктория Павловна име-

ла некоторое понятие, так как лет пять назад прожила в тех местах несколько недель на уроке, доставленном ей по проекции Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой: в семье поэта Владимира Александровича Ратомского, живущего отшельником под городом Дуботолковым, в имении своем Тамерниках, человека с весьма громким именем в печати, но в дуботолковском уезде известного больше под именем «мужа Агафьи Михайловны»¹⁾. Место было хорошее, спокойное, но, как все педагогические опыты Виктории Павловны, дело и тут кончилось быстрым крушением. Виктория Павловна очаровывала детей при первом с ними знакомстве, но так как они интересовали ее только несколько часов, то и она занимала их только несколько дней. А затем начиналась скука, уроки теряли искренность и напитывались ядом формального спроса и принужденных ответов, являлись обоюдное недовольство и недоумение, Виктории Павловне начинало казаться, что она — нечестная шарлатанка, взявшаяся не за свое дело, берущая деньги не только даром, но даже — за приносимый ею вред, — и следовал отказ. К Ратомским Виктория Павловна попала как раз после крупного события в их семье: когда из их дома только что бежала от жандармов, приехавших ее арестовывать, и скрылась за границу сестра хозяина, Евлалия Александровна Брагина, известная революционерка. Происшествие это и хлопоты, за ним последовавшие, ужасно потрясли и перепугали Ратомского, давно уже неврастеника, да и выпивающего к тому же, и окончательно увело его на «правую дорожку», к которой он и без того клонился вместе с уходившею молодостью, с года на год все податливее и охотнее. Виктории Павловне барин этот весьма не понравился — аффектированным тоном человека, привычного вещать глаголом богов и требующего к себе внимания, манерами стареющего красавца — уже

¹⁾ См. «Девятидесятники» и «Закат старого века».

порядком-таки, впрочем, обрызгшего от черносмородиновки, — чрезмерным красноречием, отвлеченным и туманным и при совершенной внутренней неискренности, всегдашним видом и тоном полной и глубокой откровенности — души нараспашку. Наоборот, с женою его, пресловутою Агафьей Михайловной, бой-бабою, державшею в руках весь уезд, точно свою вотчину, Виктория Павловна сошлась очень и характером, и взглядами — настолько, что Агафья Михайловна уже начинала думать, не посылает ли ей судьба нового душевного друга взамен утраченной Евлалии, которую она крепко любила. Симпатия поддерживалась тем обстоятельством, что Виктория Павловна с Евлалией Брагиной была знакома и весьма ее уважала. Но педагогическую бездарность Виктории Павловны Ратомская быстро угадала и очень вскоре сказала ей с совершенною прямою:

— Бросьте-ка вы эту канитель, не ваше дело, ничего не выйдет... Вы из тех, кто может учить только своего ребенка, да и то, пожалуй, через силу...

Виктория Павловна, положительно, обрадовалась этой бесцеремонной откровенности и уже начала «делать свои чемоданы», но Агафья Михайловна дружески убедила ее не спешить и побыть в Тамерниках, сколько проживется, просто, уже в качестве гостя... Виктория Павловна охотно согласилась, так как успела очень привязаться к энергической даме, из бывших горничных, сохранившей среди столбовой и даже в некоторых петербургских отростках знатной родни и едва ли уже не с миллиончиком, «благоприобретенным» в имении и бумагах, — душу, характер и тон глубоко демократичного человека и великое искусство женовластия. Такого спокойного и насмешливо равнодушного отношения к сильному полу Виктория Павловна ни в ком еще не встречала, кроме своей Арины Федотовны, пожалуй. Да и то эта последняя была в сравнении с Ратомскою уж слишком злыдня и страстница... Но долго пробыть в Тамерниках Виктории Павловне

все-таки не удалось, так как Владимир Александрович не замедлил сделать ее предметом весьма надоедливого ухода. И не только надоедливого, но и довольно противного по существу, хотя Владимир Александрович старался сделать его эффектным и красивым по форме и писал в честь Виктории Павловны чудеснейшие стихи, которые потом печатались в хороших толстых журналах не менее как по рублю за строчку. Но волочился он за красивой учительницею, и трезвый, и выпивший, и Виктория Павловна уж не знала, когда бывало хуже. Главное, что ни капельки искреннего увлечения ни на минуту не чувствовала она. А очень хорошо слышала, что в трезвом Ратомском говорят привычка ухаживать за каждою недурною из себя женщиною и, может быть, обиженное самолюбие, зачем на него, такого красавца и знаменитость, не обращает внимания эта гордая дева, обучающая его детей за пятьдесят рублей в месяц. А в пьяном — играла чувственность, да уж хоть бы разыгрывалась, а то — так только, шевелилась, обнаруживая все свое безобразие, без признака властной силы, изящества и красоты. Был сантиментально труслив и оглядчив, когда ему удавалось остаться с Викторией Павловной наедине, но зато пробовал довольно дерзко фамильярничать с нею — хотя и был сурово обрываем — при посторонних людях, не без расчета прихвастнуть, что, мол, понимаете, господа, как знаете, а у нас с mademoiselle Бурмысловой того — роман не роман, а кое-какой флиртишко уже завязался... Между тем mademoiselle Бурмыслова могла чистосердечнейше хоть присягу принять, что если бы на нее даже казнь ее жизни — «зверинка» нашла, то Владимир Александрович Ратомский был едва ли не последним из знакомых ей мужчин, который мог бы рассчитывать на ее благосклонность... Агафья Михайловна видела штуки своего супруга, как сквозь хрустальный колпак, и только издевалась над ними, как над привычною слабостью жалкого, опустившегося человека. Сама же иной раз предупреждала Викто-

рию Павловну: вот, мол, увидите, какую трагедию сегодня мой сочинитель выкинет. О том, что ухаживание вообще будет, она с совершенным хладнокровием предварила Викторию Павловну в первую же неделю ее приезда, как только рассмотрела, что за человек ее новая учительница.

— Вы с ним в случае чего не ругайтесь: на слова у него совести нет, — учила она, — потому что слов у него у самого ужасно как много заготовлено и из книг набрано. И не деритесь: на это он очень обижается и много пьет потом... А просто скажите: «Надо, видно, с Агафьей Михайловной посоветоваться...» Это уж — я вам ручаюсь — снимет, как рукой!

Но совсем иначе относилась к новому увлечению знаменитого поэта некая, весьма недурная из себя девица, хотя занимавшая в доме скромный пост горничной, но именовавшая себя не Анисьей (Аниской звала ее только Агафья Михайловна), но Агнесою, носившая корсет, модные кофточки, модную прическу, проглотившая 1001 бульварный роман, умевшая падать в обморок, хохотать и дрыгать ногами в истерическом припадке и пр., и пр. Эта девица Агнеса, удостоив Викторию Павловну своей ревностью, успела, пользуясь частым отсутствием Агафьи Михайловны из дома, отравить существование гостьи всякими мелкими бабьими неприятностями, недочетами в услугах и пошлыми уколами в совершенно достаточной степени, чтобы противно было оставаться в доме. Ну, и в сплетнях гнуснейшего содержания недостатка не было, тем противнейших, что выдуманных с начала до конца, так что оставалось только изумляться творческой изощренности этого «ума из народа». Положение создавалось глупое и тошное. Чтобы выйти из него, надо было либо уехать, либо довести о всех этих гадостях до сведения Агафьи Михайловны, которая к наличности Агнесы в доме относилась с самым циническим равнодушием, но держала Агнесу в ежовых рукавицах,

и та перед нею дрожала, как осиновый лист. Второй исход уж очень претил гордости Викторией Павловны. Возможности жаловаться на «девчины» обиды Виктория Павловна предпочла, чтобы «девка» выжила ее из дома, — и уехала, сопровождаемая всеобщими сожалениями, за исключением, конечно, тайно торжествовавшей Агнесы...

За время пребывания своего в Тамерниках Виктория Павловна хорошо ознакомилась с околотком верст на тридцать кругом. Знала она и тот железнодорожный поселок, куда теперь направлялась ее спутница. Расспросив последнюю, Виктория Павловна вынесла впечатление, что дама решительно никого не знает в тех местах, едет, точно капитан Кук к дикарям: не предчувствуя ни страны, ни людей, ее ждущих. То ли Кука дикари съедят, то ли Куку за неимением другой провизии дикарей есть придется

— Простите, — сказала Виктория Павловна, не скрывая своего удивления, — но я просто в недоумении: чего может искать в подобной труппе женщина, подобная вам? Ведь это же дрянной полустанок между двумя уездными городами, в пятнадцати верстах от каждого и в семи верстах от села, которого именем он назван...

Змееобразная дама улыбнулась таинственно, помолчала... Потом, слегка зарумянившись, потупив черносливые очи свои, сказала, что цель ее путешествия, собственно говоря, секрет и не следовало бы ей впадать в излишнюю откровенность... Но m-lle Бурмылова так ей нравится и так много хорошего слышала она о m-lle Бурмыловой, что она не хочет таиться и лишь надеется, что Виктория Павловна не злоупотребит ее искренностью...

— Еду, чтобы повенчаться... Замуж выхожу... — призналась она, смеясь, в кирпичном румянце, как-то странно, без всякого веселья, скорее, с усилием.

Виктория Павловна поздравила, но ее удивление еще более выросло: какого жениха там могла выбрать для себя такая

приличная и даже изящная госпожа?.. Вокруг Тамерников она не могла вспомнить не то что на тридцать, а и на все шестьдесят верст ни единого холостого интеллигента, достойного претензии обладать подобною супругою... Когда же дама назвала фамилию некоего Смирнова, удивление Виктории Павловны достигло таких размеров, что она не сумела даже скрыть... Дама взгляделась черносливыми своими очами в выражение лица Виктории Павловны и горько усмехнулась.

— Вижу по вашим глазам, — сказала она с расстановкою, — что люди, предупреждавшие меня о том, что в будущем супруге моем я найду совершенное ничтожество, в рекомендации не ошиблись...

— Разве вы сами его не знаете? — опять изумилась сконфуженная Виктория Павловна.

Дама с грациозною грустью качнула маленькою головкою своею на длинной тонкой шее, которою она, видимо, щеголяла, несмотря на ее преувеличенно желтый цвет.

— Никогда...

— Но...

— Вы хотите понять, как я его узнала? Очень просто: один из моих друзей нашел его для меня через сваху. Способ несколько первобытный, но в иных обстоятельствах удобный... Вы курите?

— Нет...

— Ну, а мне позвольте...

И, затягиваясь тоненькою папиросою, весьма благоуханною, она говорила, покачиваемая упругим диваном.

— Видите ли, m-lle Бурмыслова, вы-то мне назвались, а я-то промолчала... Потому что моя фамилия не из тех, чтобы ею хвалиться... не всякому человеку я спешу ее назвать... Вы видите пред собою Любовь Сальм...

Виктория Павловна встrepенулась и стала смотреть на даму с большим любопытством: имя это много шумело в по-

следнее время по газетам... А госпожа Сальм, может быть, и с искусственным, но отлично выдержанным спокойствием, продолжала:

— Да, да, не сомневайтесь, не самозванка, та самая... «Наша знаменитая убийца» Любовь Сальм, застрелившая поручика Туркменского...^{*)} и нисколько о том не жалеющая, — позволяю себе в скобках прибавить... Но — вместе находящая скучным и неудобным, чтобы каждый встречный и поперечный показал на меня пальцем: вот, она знаменитая Сальм, которая застрелила своего любовника в гостинице так умно и искусно, что ее даже оправдали присяжные заседатели... Теперь вы, вероятно, уже догадались, почему я выхожу замуж за первого встречного... Кто он там? телеграфист, что ли, или помощник начальника полустанка?.. За первого встречного, который, сговорясь через сваху, согласился одолжить мне свою фамилию?..

Она нервно засмеялась и, докуривая папироску, держала ее несколько дрожащими пальцами:

— Утопить свое имя хочу, m-lle Бурмыслова... — словно докладывала она резко и учительно. — Женщина я, смею похвалиться, не робкого десятка, но убедилась, что Любовью Сальм гулять по свету жутко... Это — вызов, это — поединок. А в условиях поединка можно геройствовать минутами, часами, но жизнь жить — нельзя. А я желаю жить, и хорошо жить, без всякого стыда признаюсь вам в этой моей слабости, не очень, впрочем, необыкновенной. Еще если бы я была одна, то, может быть, побарахталась бы... Но я должна вам сознаться: я в таком положении... В моде, знаете, была, после оправдания-то... Увлеклась успехом... свой же защитник наградил... Ну, и... Это, знаете, обязывает... Не могу же я пустить будущего своего ребенка в свет с единственным званием: незаконнорожденное дитя известной убий-

^{*)} См. мой роман «Паутина». Повесть вторая, «Аглая».

цы поручика Туркменского, вдовы штабс-капитана Любви Николаевны Сальм...

Черносливные глаза ее наполнились слезами, и нос покраснел.

— Ну вот... Надо выйти замуж... Нарочно искала такого, чтобы был Смирнов, либо Петров, либо Иванов... без всякой, знаете, экзотики, которая побуждает любопытных спрашивать: а кто она — эта дама с громкой фамилией, урожденная?.. Известное дело, что Ивановы, Петровы, Смирновы так и женятся на Ивановых, Петровых, Смирновых... Своего рода половой подбор... Года через три, встретив Любовь Николаевну Смирнову, никто и не подумает признать в ней знаменитую Любовь Сальм... А мне не все ли равно, как зваться? Он же все-таки ведь дворянин... Я получила засвидетельствованные копии со всех его бумаг... Это у нас строго, по-деловому...

— Послушайте, — остановила ее Виктория Павловна, внимавшая ей как-то особенно сосредоточенно и мрачно, — а не страшен вам риск ваш? Ведь все-таки ярмо... Да еще по такой лотерее! С закрытыми глазами...

— А разве у него опасный характер? — насторожилась госпожа Сальм.

Виктория Павловна отрицательно качнула головою.

— Нет, сколько я помню, наоборот... Извините, но он, ваш Смирнов этот, мне, право, белогубого теленка какого-то напоминал, которого всякий куда погонит, туда он побредет...

— Ну вот, — облегченно вздохнула Любовь Николаевна. — Как я рада. Рекомендации сошлись в одну точку... Почти теми же словами и отец Экзакустодиан мне его изобразил...

— Экзакустодиан? — насторожилась теперь, в свою очередь, Виктория Павловна.

— Ну да. Разве вы, живя в своем городе, о нем не слыхивали? Святой человек. Я вот нарочно приезжала в ваш город

из Петербурга, чтобы он благословил меня, как мне быть дальше и что делать с собою...

— Это, значит, он вас и надоумил замуж-то идти? — спросила Виктория Павловна с подозрительною усмешкою.

Но госпожа Сальм спокойно отвечала:

— Нет, замуж идти я надумала сама, а отец Экзакустодиан только, выслушав, очень меня похвалил и был так добр, что вот этого жениха Смирнова мне подыскал... Вы — как — не помните ли: он не пьет ли?

— Кто же там не пьет?! — с досадливым жестом возразила Виктория Павловна. — Камни разве... Владимир Ратомский, академик, спился, так телеграфисту ли Смирнову не пить?

— Но не больше других? — деловито осведомилась госпожа Сальм.

— Мертвецки пьяным не видала. Буйствующим тоже... Но — совершенно трезвым, до полной отчетливости в словах и поступках, — простите, кажется, тоже нет...

— И за то спасибо! — вздохнула Любовь Николаевна. — Мне, знаете, все-таки ведь придется год или даже два прожить с ним в этой дыре, покуда не уляжется все взбаламученное мною море... Так с пьяницей-то возиться в подобных условиях, знаете, уж очень было бы не в меру трудное испытание... Не люблю я пьяных... Если муж пьяница, то надо держать его очень строго, чтобы он боялся и не вздумал — Боже сохрани — на тебя страх нагонять... Устать и уступить я, смею похвалиться, не надеюсь хоть пред самым Бахусом, но борьба с пьяным утомительна и скучна, и гнусна по обстановке... Гадость и неопрятность... А я, покаюсь вам, чистюлька...

— Вы, что же, религиозны, значит, очень, — спросила Виктория Павловна, — если даже подобное интимное дело отдали на решение Экзакустодиана?

Да. Госпожа Сальм религиозна. А Виктория Павловна разве нет? Удивительно. Вот этого госпожа Сальм совсем

не понимает, как женщина может обходиться без религии. В нашем рабстве — единственная сила и поддержка.

— Что было бы со мною, если бы я не была религиозна, в страшные дни, когда ангел гнева вооружил мою руку на то, что люди называют моим преступлением, а я считаю, что только поступила, как следовало: истребила негодяя... за себя и за многих других... Все улики были против меня, настроение суда и общества было против меня, печать меня травила. Но я чувствовала свою правоту пред Богом и знала, что Бог не оставит меня. И Он не оставил, хотя дьявол вооружил против меня злобного и хитроумного прокурора, с которым моему защитнику было очень трудно бороться...

А с отцом Экзакустодианом госпожа Сальм советует мадмуазель Бурмысловой, если случится ей где-нибудь с ним встретиться, непременно сблизиться. Потому что она даже изобразить не в состоянии, какой это неистощимый кладезь утешений, какой глубокий и великий психолог, так тонко понимает он и грех, и покаяние, сколь густые залежи благодати на нем почивают... Знаете, ведь в нем — благословение отца Иоанна... сам отец Иоанн послал его уловлять человек и целые народы...

И до того расчувствовалась госпожа Сальм, что вынула платочек, оросила она хрустальными слезами из черносливных очей желтые свои щеки и проплакала — от умиления ли, от воспоминаний ли, от нерадостной перспективы полуфиктивного брака, к которому теперь устремлялась, — до самого того полустанка, где надо было ей выходить...

Слыша, что госпожа Сальм в Экзакустодиановом кружке чуть что не свой человек, Виктория Павловна попробовала попытать ее с осторожностью, как далеко зашли отношения к этому кружку Евгении Александровны Лабеус. Но оказалось, что госпожа Сальм об Евгении Александровне ничего не знает. Покойного Тимошу знала, о сестре его Василисе имеет понятие — и весьма уважительное... Но госпожа Лабеус?..

— Слыхала, что есть такой инженер Лабеус, один из строителей железной дороги, по которой вот мы с вами теперь едем...

— Это его жена...

— Да? Понятия не имею. Впрочем, у отца Экзакустодина так много поклонниц из общества...

«Значит, Женя до сих пор в числе их по крайней мере не выдается, — с некоторым успокоением подумала Виктория Павловна. — Лучше, чем я ожидала... Женька привыкла — уж если прыгать в воду, так в самый глубокий омут и на самое дно, а здесь — пока — умница еще плавает по поверхности...»

Женщины расстались чрезвычайно дружелюбно и, видимо, серьезно понравившись друг дружке, с намерением не прекращать случайного знакомства и когда-нибудь свидеться. Обменялись адресами и обещали каждая каждой — писать...

В Правосле Виктория Павловна с радостью могла убедиться, что сон ее не был в руку. Фенечку она застала выросшею, здоровую, с хорошими успехами, в полном довольстве своей обстановкой и, обратно, с бесконечными ей похвалами со стороны Ани Балабоневской и ее сестры. Но — одним из первых вопросов от Ани Балабоневской к Виктории Павловне было: «Долго ли она намеревается пробыть в Рюрикове?...» И, когда Виктория Павловна, полусуя, сказала:

— Ça dépend... *

Аня Балабоневская поторопилась сделать вид большой радости и воскликнула:

— Ах, как это хорошо, как я тебе завидую, что тебе не надо жить в этом противном городе! Ты не можешь себе представить, какая это тина.. Задыхаешься от мещанства и сплетен...

* Смотря по обстоятельствам (*фр.*).

Из чего Виктория Павловна справедливо заключила, что молва и пересуды, окружавшие ее имя там, на юге, после убийства Арины Федотовны, уже успели добежать сюда и приготовить ей встречи безрадостные, а может быть, и оскорбительные...

«Еще новое удовольствие, — угрюмо размышляла она, возвращаясь в свою гостиницу. — Кажется, я здесь оказываюсь тоже на положении маленькой госпожи Сальм...»

Две-три сухие встречи со старыми знакомыми, наглость, с которою набивались на знакомство некоторые новые лица с дрянною местною репутацией, прежде не смевшие к ней соваться, и весьма прозрачный ядовитый фельетон в одной из местных бульварных газет быстро доказали ей, что так оно и есть... Виктория Павловна пришла к убеждению, что — дальше что будет, то будет, а покуда в родном городе ей не житье. Выждала с большим трудом, покуда не кончилось ее дело в страховом обществе и не получила она свою страховку. А потом, к большому удовольствию и при искренних поздравлениях Ани Балабоневской, не заботившейся даже скрывать свою радость, уехала — еще впервые — за границу...

Уезжала она чрезвычайно озабоченная... Феня ее беспокоила теперь больше, чем когда-либо... Девочка вырастала умненькая, сообразительная, развитая, намного опередила свой возраст, всматривалась во все окружающее с пытливым любопытством и уже экзаменовала себя и свое положение, в котором она находила много не похожего на положение своих подруг. Почему ее мама, если она мама, не живет с нею? Почему ее нельзя называть мамою при всех? Почему у нее в списках, которые были, конечно, давным-давно подсмотрены, фамилия Иванова, тогда как мамина фамилия — Бурмыслова? Почему у нее нет отца, тогда как у всех других девочек они либо есть, либо были?... Почему у нее совершенно нет родных? Почему она так безвыходно живет в пан-

сионе Балабоневских, и они словно ограждают ее от других, никогда не пускают ее в общество малознакомых девочек? Почему Аня Балабоневская не любит, чтобы Феня выходила в люди без ее надзора? Почему следят, чтобы она не очень якшалась с прислугою?.. Все эти вопросы либо уже прямо предлагались девочкою, либо — видно было по глазам, по поведению, они назревали и скоро будут предложены... Ясное дело, что с официальным признанием и узаконением девочки надо было спешить и спешить... Виктория Павловна удивлялась несколько, что, когда она говорила об этом, Аня Балабоневская соглашалась, но как-то неохотно и уклончиво... Утверждала эту необходимость, но будто о ней жалела.

«Должно быть, — с горечью думала Виктория Павловна, — и эта милая моя подруга уже поколебалась в хорошем мнении относительно моих «качеств»... И не находит для Фенечки большим счастьем переделаться из неведомой Ивановой в девицу Бурмыслову... А ведь она, Аня эта добродетельная, убеждена, что любит Феню больше, чем я... Феня ее тоже несравненно больше меня любить должна... Она видит Аню годами, а меня часами, в Ане для нее все, а я что ей дала, даю, могу дать? Дюжину игрушек и плату за учение?.. Недурно! Этак я в один прекрасный день после всего — самым бессмысленным образом — останусь без дочери, и даже некого будет в том винить...»

И снова, и снова приходила Виктории Павловне в память мимолетная встреча с госпожою Сальм, утопившею, как она выражалась, свою фамилию в замужестве за первым встречным для того только, чтобы своим прошлым не компрометировать свое будущее дитя...

Если бы она захотела последовать примеру этой дамы, то теперь был у нее случай удивительный. За границу, в чудесном уголке на Женевском озере, между Монтрё и Веве, встретила она своего старого друга и вернейшего рыцаря,

князя Белосвинского. Князь этот, породистый барин и хороший человек, — неведомо сам для себя основная причина, с которой началось несчастье жизни Виктории Павловны^{*)}, — встретил ее с таким восторгом, точно в первое свидание, четырнадцать лет тому назад, когда только что началась и порознь разыгралась их — все время певшая соло, оба порознь, так и не слившаяся в согласный дуэт, — любовь... В себе Виктория Павловна уже не обрела никаких любовных чувств, кроме большой дружбы в благодарность за долготелную бескорыстную привязанность... Но она видела, что князь и любит ее, и страстен к ней, как в первый год, и в ее воле вылепить из этого воска ту фигуру, какую она захочет. Приняв предложение князя, она сделает его счастливым на весь остаток жизни, быть может, уже недолгой, потому что в роду Белосвинских мужчины вообще недолговечны, а князь уже страдал болезнью печени, по-видимому, довольно серьезной. Когда-то фарфоровое и нежное лицо его теперь, к сорока двум годам, стало желто, как пупавка, а в глазах, по-прежнему красивых, но теперь как будто слегка испуганных, светилась неподдельная неврастения...

Во время одной поездки из Уши в Эвиан, на палубе пароходика, Виктория Павловна получила от князя формальное предложение руки и сердца, уж она и не знала, какое по счету, за долгий срок их приязни. Но на тот раз оно звучало особенно решительно, обстоятельно и глубоко... И — обыкновенно, отделявавшаяся от княжеских предложений смехом или короткими грустными фразами о том, что это, мол, между нами совсем лишнее, было дело, да быльем поросло и мертвых с погоста не носят, — на этот раз Виктория Павловна серьезно задумалась... Не о себе, и — должна была сознаться в своем материнском эгоизме — еще менее о князе, но о том, что может дать его предложение Фенечке...

^{*)} См. «Виктория Павловна».

И вот впервые на страницах долголетнего их романа начертано было ее полужутливое обещание...

— Ввиду вашей неизлечимости надо подумать...

Князь находил, что думать нечего, так как знают они друг друга достаточный срок, в который *все* (он выразительно подчеркнул это слово) могло быть взвешено и обдуманно... По крайней мере со своей стороны он ручается, что у него все, что касается, может *касаться* (опять подчеркнул он) Виктории Павловны, обдуманно вполне — ясно, определенно и бесповоротно...

Виктория Павловна насторожилась. Ей послышалось в этих подчеркнутых словах отрадное... Ей показалось, будто князь намекает ей, что он гораздо более знает о ней, чем она предполагает, и что, зная, он уже все простил и со всем примирился... И, растроганная, она пошла навстречу его чувству...

— Знаете ли вы, дорогой мой друг, — сказала она князю, — что я когда-то вас безумно любила?.. И оттолкнуть вас от себя мне стоило перелома всей моей жизни, всей моей натуры... Я после трагедии этой, невидной и неслышной, стала никуда не годный, изломанный человек...

— Зачем было отталкивать? — сказал князь таким голосом, что Виктории Павловне опять показалось: он все знает.

— Не могла я... — отвечала она. — Чувствовала себя слишком грешною для того, чтобы стать вашею женою...

— Об этом лучше вам теперь не вспоминать и не говорить, — быстро сказал князь.

— Нельзя, мой друг, — мягко возразила она. — Мы оба довольно прожили на свете, чтобы знать, что прошлое не умирает, и, покуда настоящее не знает его совершенно, оно всегда останется угрозой будущему...

— Да, — согласился князь, — мы оба оскорбительно больно наказаны за неискренность, которую мы между собою допустили, и теперь единственное, что нам остается сделать для нашего благополучия и счастья, — это совершенно упразднить ее...

Он помолчал, ожидая, что скажет Виктория Павловна, но, видя, что она сидит сама не своя и язык у нее прилип к гортани и не хочет повернуться, продолжал, слегка побледнев:

— О том, что у вас есть дочь, я знаю уже довольно давно... Три года...

— Откуда? — прошептала Виктория Павловна...

Он подумал и потом сказал:

— Сперва были анонимные письма... Мои хорошие отношения к вам вообще подлежали весьма внимательному надзору разных лиц, оберегавших меня от ваших «чар»... На анонимы я не обратил, конечно, никакого внимания... Но потом мне уже не анонимно, а совершенно открыто и дружески к вам написали из Рюрикова, что вы там устраиваете какую-то девочку, как свою воспитанницу, поместили ее в пансион Турчаниновой, и, по всей видимости, начиная с внешнего сходства, это едва ли не ваша дочь... Я просил лицо, которое мне писало, по возможности проверить это предположение... Кто это, я не имею причин от вас скрывать: ваш большой друг Михаил Августович Зверинцев, который очень просил меня не ставить вам этого вашего секрета в вину и не переменить к вам моего отношения за такую новость... А писать мне он взялся потому, что забоялся за вас, не написал бы кто-либо другой и, изобразив дело в ином свете, не бросил бы между нами черную кошку... Если бы только знал он, этот старый хороший человек, сколько я за вас в то время переболел душою и упрекал себя, что не мог поставить наши отношения настолько прямо и искренно, чтобы между нами не могла держаться годами такая острая и ненужная тайна...

В Эвиане на горной прогулке они продолжали этот разговор. Князь нарисовал Виктории Павловне картину, как воображает он будущее их семейное устройство. Конечно, девочку после брака надо будет объявить их добрачною дочерью и «привенчать...». Предложение было более чем великодушно, но смутило Викторию Павловну. Она сразу сообразила, что для того, чтобы беспрепятственно утвер-

дить за Фенею такое право, необходимо прежде всего быть вполне уверенною, что Иван Афанасьевич не выступит с заявлением о том, что эта будущая княжна — в сущности говоря — его кровная дочь... А князь, как будто отвечая на думы, которых она не успела, да и не хотела высказывать, говорил:

— Ведь все это зависит, насколько мне известно, исключительно только от вашей воли... Простите, если я должен коснуться такого печального предмета, но ведь, сколько мне известно, отец ребенка умер?

— Откуда вы знаете? — быстро вскинулась Виктория Павловна. — Кто вам писал?

Князь посмотрел на нее с удивлением и сказал:

— Я читал в газетах... Неужели вы пропустили?.. Это уже довольно давно... месяцев семь или восемь... Я на всякий случай сохранил тогда этот номер, и он у меня всегда с собою в бумагах... Специальных справок я не наводил, так как известие было официальное.

Виктория Павловна решительно не могла понять, о чем говорит князь и каким образом смерть Ивана Афанасьевича могла бы попасть в газеты, да еще в официальные известия. Осторожность, женская, звериная осторожность, которую она в себе ненавидела как пережиток рабской трусости, но которая была в ней властна над нею помимо ее собственной воли, несмотря на то что она сотни раз убеждалась, что именно эта осторожность портит ей жизнь всякий раз, как в нее вкрадывается, — эта потайная, хитрая осторожность заставила ее промолчать и теперь... Ей было почти ясно, что князь в заблуждении и говорит о ком-то другом, относительно кого дошли до него сплетни. А в то же время мелькнула молния безумной надежды: а вдруг в самом деле в мое отсутствие случилось что-то такое, что убрало Ивана Афанасьевича с моей дороги в сопровождении такого же неожиданно-го скандала, какою была смерть Арины Федотовны, о которой ведь тоже мало ли писали газеты...

Быть может, если бы разговору этому было суждено развиться дальше, то что-нибудь и выяснилось бы к взаимному разуменнию с той и другой стороны... Но в этот самый момент из маленького ущелья сбоку дороги, по которой шли князь и Виктория Павловна, вывалилась целая компания знакомых французов, которая окружила их со смехом и разговорами, — и почти на целый вечер, они уже не могли остаться не то что вдвоем, а каждый из них даже наедине с собою...

Но назавтра поутру, проснувшись и позвонив прислуге, Виктория Павловна получила в свой номер вместе с кофе старый-старый номер «Нового времени», в котором синим карандашом отмечено было, что вот такого-то числа такого-то года в японских водах в Нагасаки погиб от несчастного случая, купаясь в море, молодой, многообещающий моряк, капитан второго ранга Федор Нарович..

Виктория Павловна опустила газету на колени и наедине сама с собою горько засмеялась...

Вчерашний разговор был убит этою пулею... Некролог бедняги Наровича, словно загробная месть за покойного, чувством которого она много и легко играла, показал ей, как не могло бы выяснить самое подробное объяснение, что думал о ней князь с чем в ее прошлом он мог помириться, куда могло идти его понимание и прощение...

И самая злая насмешка тут была в том, что как раз и мириться-то было не с чем... Именно с ним, кому приписывали ее ребенка слухи и вот даже, оказывается, подозрения самого князя, — именно с этим покойным Федею Наровичем, превосходным и нежным другом ее, никогда у нее не было — даже мига единого, даже позыва жадного — грубой плотской любви...

Она обдумала свое положение. То, что теперь предлагал ей князь, конечно, было лучше всего, что она могла бы выдумать для Фенечки и устроить для нее... Но тут выдвигалась на первый план давно забытая красноносая фигура Ивана Афанасьевича, который, почтительно приложив руку

к сердцу, склонив голову набок, смотря исподлобья почти-тельными и насмешливыми глазами, с бутылочной искрой, тем не менее решительно заявлял:

— Извините, это моя дочь... И как вам угодно, а я и в княжны уступить вам ее дешево не намерен... Поторгуюсь!

Нет, впрочем, сомнения, что если хорошо заплатить Ивану Афанасьевичу и вообще устроить его жизнь, то есть, вернее сказать, дожитие, потому что не век же он существовать намерен, а сейчас ему все-таки уже за пятьдесят лет, то, несомненно, он согласится в конце концов вычеркнуть Фенечку из своей памяти без воспоминаний. До сих пор он по линии этого интереса не проявлял решительно никакой самостоятельности... С того дня, как Виктория Павловна поговорила с ним в Рюрикове, а потом Арина Федотовна поговорила в Правосле, вопрос был похоронен. Только нелепость Буруна взмутила было это затишье, да и то Виктория Павловна не могла не сознаться — поведение Ивана Афанасьевича в то время было в отношении ее безукоризненно и именно по этому случаю она могла считать его гораздо более явным другом, чем тайным и злоумышляющим врагом... Словом, с Иваном Афанасьевичем так ли, иначе ли спеться будет можно... Но вот от чего никто, даже сам Иван Афанасьевич, не может ее застраховать, что, если признать предложение князя, даже не признать, а просто промолчать в ответ — она, впрочем, не скрывала от себя, что в данном случае молчание равносильно признанию, — что, если после всего этого настоящая правда все-таки выйдет наружу?.. Как? Да кто же знает, как? Вот разве она предполагала, что князь может знать о Фене? А оказывается, что он превосходно знает, сам проделал большой анализ фактов и извещений и сам пришел к убеждению, что Феня — ее дочь... Ошибся только, будто тут при чем-то бедный Федя Нарович... И ошибка эта роковая для Виктории Павловны, потому что вчера полученное княжеское предложение все строено как раз на ней,

на ошибке... И вспомнились ей страшно и горько слова покойной Арины Федотовны, как зловещее завещание: «Ивана Афанасьевича тебе никто не простит...»

И, когда она обдумывала это, все больше и больше казалось ей, что покойница, порочная, дикая скифская ведьма, знала людей и мир в тысячу раз лучше, чем она, и вот в этом пункте она особенно права: никто никогда не простит... Из объятий увлекательного романтика, красавца и гуляки, всесветного бродяги и поэта, князь, переломив свою мужскую гордость и скрепя сердце, берет ее. Ну а с той лесной полянки, где она играла с Иваном Афанасьевичем в нимфу и сатира, — нет, этого испытания князю не выдержать, не помирится, не возьмет... Да и знала она: при всех своих передовых взглядах и либеральных убеждениях князь — большой аристократ. Он верит в породу, придает значение крови. И если бы ему стало известно, что он последнею княжною Белосвинскою делает дочь Ивана Афанасьевича, то опять вряд ли пред подобным искусом родословной выдержит его безграничная — покуда по виду — любовь...

В большом волнении, в буре сомнений прожила Виктория Павловна дни и недели, в которые предполагалось и позволялось еще «думать»... А оборвалось все это — опять-таки — вдруг и катастрофически...

В одно печальное утро, очень, впрочем, солнечное и яркое, в Монтрё, на исходе уже приблизительно месяца после объяснения с князем на пароходе Виктория Павловна получила от князя — тоже, как тогда, газету вместе с кофе — распечатанное анонимное письмо... В письме — изящным, косым, английским, по-видимому, женским почерком — излагалась по-французски в весьма сдержанном тоне вежливого предостережения, но с большою осведомленностью решительно вся история происхождения и воспитания Фенечки с того проклятого лета, когда была зачата, и кончая ее пребыванием в пансионе Балабоновской... Писал человек, настолько знающий дело, что и Виктория Павловна сама вряд ли могла бы рассказать лучше...

Уронила она письмо на пол, и был у нее момент, когда она пошла было к балкону с решительной мыслью — броситься с него вниз на мостовую...

«А Феня?»

И не пустила Феня... Стала между нею и улицей...

Невидимая, стояла, спорила и говорила:

— Оставь... Всех оставь... Никто тебе не нужен... Я тебе нужна... Ты мне нужна... Живи.

И переспорила...

Пошла Виктория Павловна к письменному столу своему, подобрала по дороге оброненное на пол письмо, села, подумала и приписала к нему в конце по-русски:

«Все, что здесь обо мне рассказано, совершенная правда. Простите мою жалкую трусость, что молчала и довела себя до позора таких разоблачений, а вас до тяжелой неожиданности. Прощайте. Ваша Виктория Бурмыслова».

Позвонила. Отдала письмо слуге, чтобы снес князю...

Прошел час, другой, третий — ответа не было... Да Виктория Павловна и не ждала его... Она была уверена, что сейчас, по крайней мере сейчас, — ответа не будет...

Завыл гудок полуденного женевского парохода... Сама не зная, по какому инстинктивному побуждению, Виктория Павловна вышла на балкон взглянуть на муравьиную кучу людей, толпящихся на пристани и палубе парохода... Зрение у нее было чудесное — и она сразу угадала в толпе серое пальто и оригинальную мятую шляпу князя... Пошла в комнату, взяла бинокль, посмотрела: да, это он... и рядом у груды чемоданов стоит с недовольным лицом его француз камердинер... А у князя самого лицо спокойное, точно он совершает простую прогулку...

Позвонила Виктория Павловна... Слуга ей сказал, что князь действительно только что отбыл и адрес свой дал на Рим... Ну, значит, и это кончено... Бежал от нее... И объяснить не захотел... Роман вычеркнут из жизни вместе со всеми действующими лицами...

Горько засмеялась Виктория Павловна, но не знала, смеется она или плачет...

Обдумывая анонимное письмо, известившее князя о ее грехе, она никак не могла приложить ума, кем бы оно могло быть послано. За смертью Арины Федотовны оставалось очень немного людей, которые знали ее тайну всю до конца. Один — главный — Иван Афанасьевич — выпадал из счета уже потому, что не знал ни о том, где она сейчас находится, ни об ее возобновившейся близости к князю, да и вообще никогда не совался ни в какие отношения с людьми. И где бы он в своей уездной глуши нашел человека, — тем более, судя по почерку, женщину, — так хорошо владеющего французским языком? Второй человек — Евгения Александровна Лабеус. Но подобной возможности Виктория Павловна не могла вообразить себе практически, зная глубокую привязанность этой женщины, ее прямоту и благородство и полную неспособность действовать какими-либо обходными путями.

«Если бы я обманно, не посвятив князя в тайну свою, вышла за него замуж, — думала Виктория Павловна, — то, может быть, Женя встретила бы меня на паперти, чтобы плюнуть мне в лицо. Это так, это в ее духе, — но анонимных писем она писать не станет...»

Затем следовал петербургский литератор, при котором разыгралась сцена между нею и Буруном, когда она гласно признала Феню своею и Ивана Афанасьевича дочерью. Но этот литератор давно порвал с нею всякие связи, забыл, вероятно, об ее существовании, до князя Белосвинского ему нет никакого дела, они едва были знакомы, да и с какой стати он, кипящий, как в котле, в публицистических заботах и общественной жизни, стал бы соваться в такую, в конце концов, частную и грязную историю...

Тот эффектный батюшка из благородных, красавец поп, Савонарола, который одно время в Петербурге имел на Викторину Павловну такое громадное влияние, против которого возмуща-

лась покойница Арина Федотовна и который когда-то убеждал ее выйти замуж за Ивана Афанасьевича, мистически внушая, что женщина, однажды принадлежавшая мужчине, навеки связана с ним таинственным браком, неразрывным, что бы они потом ни предпринимали для того, чтобы разлучиться, и должным рано или поздно обнаружиться перед высшим господним судом?.. Но и петербургский Савонарола не годился для анонимного письма — уже потому, что все свои признания Виктория Павловна делала ему лишь в общих чертах, не называя ни имен, ни мест, ни времени, ни обстановок, — а в письме было все...

И, наконец, оставался последним — вечный неудачный кандидат в ее любовники, безумно влюбленный, безумно ревнивый, безумно ненавидящий, целующий след ноги ее и весьма способный при этом укунить за пятку, Бурун... Этот был достаточно осведомлен для такого письма и достаточно бешен, нервен и невоспитан, чтобы на него посягнуть... Было несколько удивительно, что он так хорошо осведомлен, где в настоящее время находятся и Виктория Павловна, и князь. Но — тем не менее, кроме него, было думать не на кого, и Виктория Павловна стала думать на него... И, думая, озлоблялась тем более, что письмо было написано не почерком Буруна — да он же и по-французски едва ковылякает, — а почерком женщины, и женщины, очевидно, очень интеллигентной, хорошо образованной, пишущей без орфографических ошибок, безупречно прошедшей школу каллиграфии, даже вставившей в французский текст одну английскую фразу, из Байрона, что ли... Итак, Бурун не только пользуется всяким случаем, чтобы вредить ей непосредственно, давая чувствовать свое презрение и ненависть и в письмах, и при свиданиях, но еще выдает ее секреты посторонним... быть может, своим любовницам? Да и наверное, своим любовницам, потому что — кто же такие вещи о любимой женщине станет рассказывать другой посторонней женщине...

А затем жизнь Виктории Павловны — одинокая и не ищущая общества — потянулась надолго в бесцельном и вялом

скитании по Европе, в обычном маршруте неопытных русских туристов, так как за границу она была всего лишь третий раз в жизни, причем первые ее выезды ограничивались Берлином и Парижем... Теперь она ездила в дешевом порядке круговых билетов, лишь бы убить время и немного отдохнуть нервами и мыслями от ряда житейских разгромов, обрушившихся на нее в эти последние годы... Деньги были: жила экономно, на траты не тянуло...

В Париже встретила она Анимаиду Васильевну Чернь-Озерову, постаревшую, осунувшуюся, уже придумывающую себе изящный старушечий наряд, совершенно одинокую и гордо-несчастную... Из дочерей она охотно говорила о Зине, которая училась в Гейдельберге. Но — чувствовалось, что здесь слишком велика разница лет и поколений и что между Анимаидой Васильевной и младшею дочерью есть большая связь породы и симпатий, но вряд ли возможна связь возраста... О Дине Виктория Павловна узнала от Анимаиды Васильевны, что муж златокудрой красавицы, художник, идет в гору, зарабатывает большие деньги, преуспевает, кажется, уже стяжал орден Почетного легиона... Что у них — салон, но Анимаида Васильевна в нем не бывает: для нее — слишком *moderne*...^{*} Вообще она страдает мизантропией, удаляется от людей и старается ни у себя не принимать, ни в людях не бывать...

А люди посторонние осведомили Викторию Павловну, что Анимаида Васильевна — из гордости — скрывает, что ее просто-напросто выжили из новой дочерней семьи французы свойственники, которым присутствие между ними этой матери, осмеливавшейся родить без брачного свидетельства особу, вошедшую в их высоконравственную буржуазную среду, резало глаза и возмущало чувства... И — сперва на их стороне оказался мало-помалу муж Дины: господин, в 1900 году называвший себя анархистом, в 1901-м довольствовавшийся званием ради-

^{*} Модно, изысканно (*фр.*).

кала, а в 1902-м уже возмущавшийся дерзостью синдикалистов и антимилитаристов, с сочувствием говоривших о расстрелах стачечников, одобрявший машину мосье Дейблера и сожалевший, что она мало работает, имевший бумаги русского займа и получивший правительственный заказ на патриотические фрески в *hôtel de ville** большого провинциального города... И вот — уже года полтора минуло с тех пор, как Дина сперва стала редко бывать у матери; потом намекнула ей, что не надо делать неожиданных визитов, потому что у них с мужем, как беспартийных артистов, бывают люди самых различных лагерей и направлений, от Лафарга до Рошфора, и мало ли с кем неприятным для себя мать может встретиться, — так лучше всегда предупреждать о том, что она приедет.. Анимаида Васильевна не без угрюмого юмора уверяла, что если бы они говорили по-русски, то Дина никогда не посмела бы высказать ей подобных намеков, но французский язык ведь создан для того, чтобы золотить пилюли и превращать грязь в конфеты. А по-русски Дина уже почти не говорит: или забыла, или находит красивым притворяться, что забыла... И после предупреждений этих Анимаида Васильевна, приезжая, уже не заставала в доме никогда никого, кроме самой Дины и прислуги... Да и Дина была всегда такая восторженная и неестественно ласковая, что не мог чуткий и умный человек, как Анимаида Васильевна, не чувствовать, что ее принимают лишь в виде трогательного самопожертвования, в результате трудной победы в какой-то огромной борьбе наперекор сильному течению... Что каждый прием ее Диной — со стороны последней, — в своем роде подвиг гражданского мужества, который обходится недешево и в конце концов когда-нибудь утопит подвигающуюся. И тогда Дина тоже скажет себе, что она сделала довольно в защиту своих убеждений и привязанности к этой — помимо закона родившей ее — преступной матери: последняя должна наконец оценить ее само-

* Городской отель (фр.).

отверженную деликатность и сама удалиться с ее сцены. Ани-маида Васильевна, конечно, не допустила себя до возможности подобного намека... Спокойно и тихо отошла она в сторону... И теперь в глуши Латинского квартала жила одинокою, любительски рабочею жизнью, среди книг и рукописей, окруженная по большей части такими же усталыми и пожилыми неудачницами. Каждая из них потерпела большое крушение в жизни, каждая из них мечтала о какой-то новой утопии со счастливою женскою жизнью, как куртиною роз в июньском саду; каждая из них едва ли не каждый месяц бывала так несчастна, что хоть в Сену броситься, и — перемогалась. А перемогшись, опять говорила громкие и сильные слова, пылала обветшалыми, но негаснувшими надеждами, жила будущим и заживо умирала в настоящем...

В таких-то странствованиях, делах и обстоятельствах Виктория Павловна прожила почти целый год в чужих краях, редко получала письма с родины, где кружок ее изрядно распался либо повымер, но имея очень аккуратные, хотя и всегда суховатые, подробные сведения о том, как живет, учится, развивается Фенечка. Аня Балабоневская была в этом случае идеальной осведомительницею... Но пришел конец и этому светлomu лучу в темном царстве все мрачневшей и мрачневшей жизни Виктории Павловны... Однажды она получила от Ани Балабоневской письмо отчаянное. Кто-то постарался не только воскресить, но и подчеркнуть, и распространить в Рюрикове слух, что Фенечка Иванова, обучающаяся в пансионе госпожи Турчаниновой, незаконная дочь пресловутой госпожи Бурмысловой, известной своим эксцентрическим образом жизни, пороками и бесстыдными романами и даже причастной как-то к «известному делу Молочницыной»... Собственно говоря, новостью для Рюрикова это не было, но — до сих пор — мало интересовало. Теперь молва была пущена по городу такую сильною и острою струей, что сразу зацеплены были и общество, и администрация, и попы... Все как-то сразу зашевелилось, зашумело, заворчало — и вот теперь в результате либо им, сестрам Балабонев-

ским, надо закрывать пансион, либо надо убрать из него бедную Фенечку, с которою своих дочерей рюриковские губернские мамы не желают оставлять ни в каком случае, дабы они не набрались дурных примеров... Сестра Ани — своя рубашка к телу, конечно, ближе — струсила... Гражданским мужеством она никогда не отличалась... Муж ее возмущен, но что же тут поделаешь? Можно только погибнуть, но какая от того кому польза? А победить нельзя. Покуда, слава Богу, девочка сама ничего не подозревает... Аня воспользовалась легкой болезнью Фенечки, чтобы увезти ее из города и поместить у одной большой своей приятельницы, одних с нею взглядов и убеждений, переждать как-нибудь эту грозу и найти способ из нее прилично выйти... Она, Аня, в этом случае теряется, так как уже просто по неопытности и непрактичности своей не видит, какие для того имеются пути и возможности. Викторией Павловне следует немедленно возвратиться в Россию и как-нибудь наконец дать дочери имя и упрочить ее будущее положение в обществе...

Получив это письмо, Виктория Павловна мешкала не долго и на той же неделе выехала. Но не в Рюриков, а в Петербург, так как она сперва хотела посоветоваться снова с тем знаменитым адвокатом, ее приятелем, который когда-то говорил ей о способах удочерения Фенечки, как скоро Викторией Павловне минет тридцать лет... В настоящее время возраст этот был Викторией Павловной не только достигнут, но и превзойден... Ей шел уже тридцать второй год... А Фенечке — тринадцатый.

Произошло это поздною осенью 1902 года, а в одну зимнюю ночь затем Иван Афанасьевич в заметенной снегом Правосле получил ту внезапную телеграмму, которая так спешно вызвала его в Рюриков для свидания с внезапно налетавшею невесть откуда хозяйкою и — предстоящим свиданием этим — столько его перепугала...

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ И «ДИРЦЕЯ»

I

Все знают из мифологии трагическую судьбу Дирцеи, супруги Лика, размыканной диким быком по дебрям Киферона в отмщение за издевательства ее над Антиопою. Все знают хоть по копиям и фотографиям знаменитую группу неаполитанского Museo Nazionale «Того Farnese»*, изображающую момент, когда сыновья Антиопы Амфион и Зет прикручивают зловредную Дирцею к рогам быка. Светоний, Дион Кассий, христианские апологеты, оповестили потомство о казнях с окраскою мифологических спектаклей, какими забавляли римлян цезари, а между последними будто бы особенно Нерон. О казнях некоторых преступниц именно смертью Дирцеи сообщают и Плиний, и Лукиан, и Апулей. А один из мужей апостольских, св. Климент, епископ римский, в первом своем послании к коринфянам — предполагаемом отголоске гонения Неронова, о котором, впрочем, я очень сомневаюсь, чтобы оно когда-либо было, — по крайней мере в тех эффектных размерах, как рассказывает, по Тациту, блестящий Ренан, — так вот, св. Климент свидетельствует с христианской стороны: «Завистию были гонимы женщины, как Да-

* Национальный музей «Фарнезийский бык» (*ит.*).

наиды и Дирки; претерпевши тяжкие и ужасные мучения, они прошли твердым путем веры и, немощные телом, получили славную награду».

Многочисленные казни женщин по способу Дирцеи, таким образом, не подлежат сомнению, а частые указания о них у современных писателей доказывают, что зрелища эти оставляли в публике глубокое впечатление. Тацит указывает нам, что повальное избиение христиан, хотя Рим считал их преступным, вызвало сострадание и сочувствие к гонимым «не ради блага общественного, но для удовольствия одного человека». Они или, вернее сказать, христианский интерполятор, вставивший этот знаменитый, но весьма сомнительный кусок текста, пишет так о «живых светочах Нерона». Сенкевич счел возможным распространить эпидемию жалости на амфитеатр: такова пресловутая сцена освобождения одной из христианских Дирцей — Лигии, колоссом Урсом в романе «*Quo vadis?*»*. Когда увидела свет картина Семирадского, многие ошибочно ославили ее иллюстрацией к роману Сенкевича, не сообразив, что хронологически создание картины много предшествовало созданию романа.

Если кто из литературных деятелей влиял на Семирадского в его «Дирцее», то это, конечно, Ренан, посвятивший в своем «Антихристе» несколько блестящих страниц моменту, изображенному художником. Ренан чудесно передал и пластику этой обычной драмы амфитеатра, и ее психологию, и ее эстетико-исторические последствия, — хотя эти третьи и не без преувеличений и крайностей. У Ренана вообще есть оптимистическая склонность к проповеди Вольтерова Панглосса: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Панглосс умел найти свои хорошие стороны в лиссабонском землетрясении, Ренан находит их в страданиях христианских Дирцей. По его мнению, муки последних, осквернение их девственной наготы возо-

* «Куда идешь?» (лат.)

рами пятидесятитысячной толпы, озверелой, кровожадной, распутной, содействовали тому, что, пресыщенный красотою физической, народ почувствовал обаяние красоты духовной, сквозящей в изможденном и немощном теле. «Когда изжившийся мир язычества, унизясь до способности делать себе праздники из пыток бедной, перепуганной девушки, сорвал скотскою рукою покровы христианской наготы,— она без слов сказала ему: «Ты видишь? И я прекрасна!» И дух победил тело, христианская мученица затмила Венеру. Нерон, как эстет из эстетов, говорит Ренан, должен был первый найти, оценить и просмаковать эту новую красоту.

Г. Семирадскому принадлежит честь быть талантливым изобразителем момента — едва ли не самого характерного для эстетики древнего, дохристианского мира, — момента воплощения божества телесной красоты и любви физической, — в лице Фрины, сыгравшей роль Афродиты в волнах Коринфского залива. Увековеченный Г. Семирадским, момент этот всякий может видеть и ценить в Музее Александра III. «Христианская Дирцея» — прямое продолжение Фрины. Она изображает такой же яркий, но еще более важный перелом в эстетической истории человечества. В Афродите, вышедшей из пены морской, люди обожествили совершенство материи и формы, в Дирцеях римского амфитеатра — дух, подъемлющий материю до сверхъестественного могущества, наполняющий форму святою прелестью, неземным очарованием. Рухнула эстетика непоколебимого, самодовлеющего здоровья, ярой, самооправдываемой чувственности, эстетика телесной воли, красота наслаждений без оглядки — изумленный язычник видит пред собою красоту, скрытую в области, внушавшей ему до того лишь отвращение и ужас, — красоту смерти, прелесть страдания, очарование тела, покинутого духом в наивысшем развитии мученического экстаза... «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну человеческому...»

Картин, передающих столкновение мира языческого с миром первых дней христианских, великое множество. Но в картине Семирадского есть особенность, крайне типическая для эпохи и, по-моему, весьма лестная для исторической проницательности автора. Мы видим в искусстве десятки христиан исповедников, смелых и терпеливых мучеников, обличителей, проповедников — словом, христиан действия; Семирадскому же пришла идея передать ту пассивную силу терпеливого, неповинного страдания, которою именно и победило христианство языческий мир, которою и разбудило оно в нем чувство совести и позыв к покаянию. В пышном, шумном, живом, радостном языческом мире Семирадского — всего одна точка христианская, да и та — мертвое тело «девушки, умерщвленной за принадлежность к гонимой секте, слабенькое, бледное, изящное, хрупкое... в крови и прахе... Мертвая и униженная победительница среди живых и торжествующих побежденных! Она погибла... за что? «За ненависть к роду человеческому, — *odium generis humani*»*, — гласит обвинение. Да разве этот прелестный ребенок с бледностью смерти на грустном личике может ненавидеть род человеческий, свершать пиршества Тиэста, поджигать Рим? Всякий видит, что не она ненавидела, но ее за что-то возненавидели и зверски убили, а она за это что-то покорно и тихо приняла лютую смерть... За что же? За что? Сбитый с толку Рим смотрит на мученицу глазами майковского Деция и недоумевает:

Глазам не верю!
На казнь идти и гимны петь.
И в пасть некормленому зверю
Без содрогания смотреть!..

С сумрачным уважением смотрит на мученицу преторианец, старый солдат Субрий Флавий — преданный служака Нерона, кончивший, однако, впоследствии жизнь на плахе за

* Ненависть к роду человеческому (*лат.*).

покушение на кесаря, которого он возненавидел как врага рода человеческого, тем сильнее, что пылко любил кесаря в золотые дни его юности, ждал от него миру добра и радости. Эта женщина в зеленом сзади Флавия, с боязливым сожалением выглядывающая из-за плеча префекта на жертву гонения, — кто она? Быть может, Актея, первая любовница Нерона, если не христианка, то склонная к христианству... быть может, одна из тех исстрадавшихся жаркою душою в пустоте века Лид, что, насмотревшись на мучениц, сами шли по их кровавым следам к новой, блеснувшей им надежде во Христе...

И с той поры три ночи рядом
Та дева, с тем же кротким взглядом,
Ко мне являлася и те ж
Слова мне тихо повторяла:
Иди и мать мою утешь!
И я пошла... и все узнала...
Там, среди тихих, светлых слез,
Я все нашла, чего искала, —
Я поняла, кто был Христос...

Вольноотпущенник — Эпафродит, литературный секретарь Нерона, или Алитур, любимый мим его? — глядит на труп с диким, но не враждебным любопытством. Нерон Семирадского именно таков, как предполагает его Ренан: «Ce fut un monstre, mais ce ne fut pas un monstre vulgaire»*. В его брезгливой и в то же время созерцательной mine знатока-эстетика есть искорка: «Гм... да это как будто что-то и не испытанное, новенькое!» — говорит она. Он уже оценил, разобрал по косточкам, рассмаковал, пустил две-три эффектные цитаты кстати — исполнил все, что Нерону, артисту-практику и теоретику, надлежало исполнить при виде «трагического

* «Это было чудовище, но не примитивное чудовище» (фр.).

сюжета». Он понимает, что красота Дирцеи — новая, чувствует ее силу, уже классифицировал ее и готов прочесть о ней пикантную лекцию своему двору. А сверху, с подиума на трагическую сцену смотрит — из-под балдахина, беспечно разваливаясь в креслах, в лице сверкающей пурпуром и камнями императрицы — тот страшный «Рим гетер, шута и мима», что, побежденный, мнит себя в предсмертной слепоте своей победителем, обреченный на уничтожение, воображает себя владыкою мира. На арене этот подлый Рим представлен фигурой белокурой женщины с измятым лицом, небрежно играющей веером. Мне эта женщина представляется тою *Calvia Crispinilla*, которую Светоний зовет *magistra libidinum Neronis**. Эту госпожу ничем не удивишь: при ней убивали, насиловали, кощунствовали, грабили... впоследствии одуревший от разврата Нерон женился на евнухе Опоре, объявил его «*diva Augusta*»** и приставил к нему эту самую Кальвию Криспиниллу в качестве обер-гофмейстерины... Для столь опытной дамы эго диво мертвое тело какой-то замученной христианки! Нашли чем заниматься!.. Золото, сладострастие и полная нравственная бессознательность — вот и вся эта женщина. Тип из публичного дома, каким, впрочем, и был Золотой дворец Нерона.

Такова картина Семирадского или — вернее сказать — таковы образы, вызываемые ею в памяти человека, занимающегося эпохой, с которою она связана. Предоставляю специалистам художественной критики разбирать недостатки ее техники, если есть таковые. Я их не вижу. Я знаю, что небо Семирадского — типическое римское небо, — голубовато-лиловое, с тучками, каким оно бывает по крайней мере триста дней в году; что ковры, шелк, металлы, рога буйвола на картине — «как живые», хочется дотронуться и пощупать — до

* Наставница похотливого Нерона (*лат.*).

** «Богиня Августа» (*лат.*; в императорском Риме титул жен императоров, иногда матерей, дочерей, сестер).

того они осязательны; что крови на картине множество, но пролита она так искусно, что от нее не претит зрителю; что исторический изумруд в венце Нерона мечет лучи; что под тем особенным светом, и ярким, и мягким, который в Риме и в пасмурные деньки из-под тучек льется, белая балюстрада амфитеатра сквозит и сверкает своею нагретою белизною...

1898

II

Вот уже лет двадцать пять, как в образованных слоях общества и западноевропейского, и русского — назло переживаемым нами переворотам социальным, экономическим, научно-техническим, — неутомимо, последовательно, растя, как снежный ком, катящийся с горы, — зреет странное движение, отвлекающее современные умы от жизни действительной к жизни измышленной, от осязательной правды к фантастическим лжам, от насущных потребностей дня — к вечным призракам и снам, которыми обманывает себя в горькой доле своей человечество едва ли не с того же самого часа, когда архангел огненным мечом изгнал из рая Адама обрабатывать землю, производящую волчцы, а Еву — в болезнях родити чада.

Движение это с нарочитою силою скрывается в двух смежных проявлениях духа: в религии и в искусстве.

Никогда во всемирной истории не сказывалась с большею напряженностью усталость от религиозного индифферентизма, от отсутствия живого Бога в душе, не заменимого никакими диалектическими умствованиями, как в первом веке христианства. Старые — государственно-имперская и национальные, областные — религии одна за другою терпели крушение как уличенные бессмыслицы, а новая вера, вещающая в новом Боге новую совесть, еле мерцала слабою зарею. Потеряв богов Олимпа и своих городских богов, греко-римский

мир мечется в бессильной тоске на поисках богов-заместителей, бросается к таинствам Изиды, к сирийской богине, к Симону-волхву, к иудеям, к Аполлонию Тианскому и Александру Авонотихиту: спаси! Дай чем-либо наполнить опустошенную душу! Истязай нас, дурачь, заставляй веровать в глупые фетиши-символы и в нелепые формулы, но — чтобы мы чувствовали себя в родстве хоть с какою-нибудь сверхчеловеческою властью и силою, в соседстве с неземным и сверхъестественным... Мы видим, как нарождаются философские теории, равносильные религиозным системам, разнуздывающие человеческий произвол до беспредельной свободы, до апофеоза животной чувственности; мы видим, как, с другой стороны, делают быстрые успехи, религии, проповедующие отрицание всякой чувственности, идущие в истязании и убийстве плоти до идеалов, гораздо более резких, чем, борясь с ветхим Адамом, поставило их потом даже христианство. Архирозвратник, живой «Антихрист», Нерон презирает всех богов, но поклоняется сирийской богине, жрецы которой — самоистязатели и скопцы. А самоистязателей и скопцов этих Апулей, Лукиан и другие тоже описали нам как невежественных шарлатанов и бесстыжих распутников первой руки. И из них же потом вышел, однако, еретик Монтан — самый суровый из всех христианских отрицателей плоти. С одной стороны — дух рвется в пределы «сияния неизреченной красоты» и в неудержимом полете своем губит бессильное следовать за ним тело: христианские мученики, инсургенты-мессиане иудейских войн, Аполлоний Тианский, гностики; с другой — тело, махнув рукою на дух, лезет в самые низменные лужи: Калигула, Нерон, Мессалина, автор «Сатирикона», Александр Авонотихит. Ужасающий разврат и неугасимая жажда идеала. Живут безумцами — расстаются с жизнью, как мудрецы. Трепещут перед смертью, а умирают, ничуть не жалея жизни. Мир словно растерялся, что ему с собою делать: убить себя или обожествить? Создан он злостью силою или доброю? Зло он или добро? Христианство

знало секты, с презрением отвергавшие ветхозаветные добродетели как обман низшего божества, Демииурга, ненавистника людей; они проклинали святых иудейского закона и поклонялись змию-искусителю, Каину, Иуде Искаротскому как проявлениям высшей божественной силы, заставлявшей их творить мнимое зло, чтобы в конце концов восторжествовал свет истинного добра, возвещенный миру «эконом» Иисусом. Вот как хитро! А ведь этому — две тысячи лет... Ужасно все не ново под луною! Когда мне случается раскрыть какой-нибудь современный кодекс какого-нибудь модного «окультурченного» вероучения — имя же им легион, — я в конце концов всегда, опуская книгу, повторяю мысленно мудрые слова великого раввина Бен-Акибы, сказанные им молодому мечтателю Уриэлю Акосте, как представил нам его Гуцков, хотя Акоста в пору еретичества своего был и не мечтатель, и не молод, да и еретичество-то его было чисто талмудическое — вроде знаменитого недоумения «о погибельном яйце, в шабаш курицей снесенном».

Бывало все! Да, всякое бывало!

Недовольство государственными религиями — характерная особенность европейского общества и в наши дни. Государственные формы христианства сталкиваются все чаще и чаще с рационалистическим отрицанием, построенным на основах социального и международного порядка, — все чаще и чаще сменяются они или полным религиозным индифферентизмом, распространенным на целые группы христиан, остающихся христианами только по имени, либо даже открытою враждою к их историческому складу, как, например, обстоит дело с католицизмом во Франции, в Германии, в Италии. Древний мир, когда потерпел крушение государственной религии, имел задачу, конечно, глубже и сложнее, чем может иметь наше время: он должен был найти или изобрести себе нового Бога. Чтобы спасти его от гибели, должен был явиться Христос. XX веку придется искать не новое, а лишь потерянное и забытое: не нового Бога, но старого Христа, заслоненного от нас двухтысячелетними

историческими наслоениями. Поиски, казалось бы, много легче, но даются они современному обществу в не менее болезненной и шальной суете, чем читаем мы у Тацита, Светония, Сенеки, Ювенала, Лукиана. Суть великой религиозной реформы первого века заключалась в том, что общество с могучим надломом над своею эгоистической волею отказалось от богов мудреных, хитро придуманных и истолкованных философами, возвеличенных и поставленных на пьедесталы, от богов умственных — для Христа и его учения, простого, душевного, учения равенства, братской любви и добросердечия. Прежде чем прийти к этой простой сути — мы знаем, — древний мир вдоволь пометался между религиями и философскими системами, долго старался найти способ жить в самоудовлетворении вне Христа — и сдался ему, лишь убедясь, что ни Эпикур, ни Сенека, ни жрецы Элевзиса, ни синагога, ни обоготворенные кесари, ни все другие хитрые религиозные выдумки человеческого ума не в силах предохранить его от самоуничтожения. К простым религиям, как к простым идеям, люди приходят позже всего и труднее всего. Не то же ли и теперь? Начиная с Константина Великого и до Нантского эдикта, от Владимира Киевского и до К.П. Победоносцева мы видим, как христианство, теряя из века в век свою первоначальную простоту и ясность, завоевывает себе государственно-обязательные положения, перерождаясь в ряд стройных политических систем. Оно всюду стало очень мудреным, очень сложным, очень умственным — и мир затосковал по старом, простом и душевном Христе, который спас его тысяча девятьсот лет тому назад своею любовью. Но, так как, повторяю, уму человеческому по гордости его свойственно приходить к самым простым и естественным выходам лишь в последних, когда уже все выверты испробованы и идти больше некуда, то сейчас европейские общества еще бродят и изворачиваются: а нельзя ли как-нибудь обойтись — и религию себе найти, чтобы она воскресила в нас христианскую мораль,

и первоисточник этой морали, Христа, оставить в стороне? Тут и теософы, и необуддисты, и Сар Пеладан, и Блаватская, и религия Зороастра, и иудействующие, и контисты, и черные обеды сатане, и воскресшие языческие культы — Бахуса, Венеры, Юпитера... Смешно сказать: наши петроградские «феньдесеклисты», как звали их одно время, идут всегда лишь в хвосте у Парижа, а и то некоторое общество прекрасных и образованных молодых людей, начитавшись «Света Азии», завело себе кумирню и самым серьезным образом било поклоны перед медным Буддою. Один из этих господ был охотник до автографов. Когда он обратился со своим альбомом к одному из наших известнейших литераторов, тот написал ему из Гоголя: «Я знаю, кому ты молишься! У тебя на дому есть деревянный болван, ты ему целуешь руки, язычник скверный! Тебе нужно монастырское покаяние!..» Другие же, признавая, что без Христа им не обойтись, думают: однако зачем-нибудь да прожили мы две тысячи лет и пережили в них некоторую нравственную эволюцию! Не хотим принимать Христа древнего — примем его на новый лад, таким, как нам угодно, с теми изменениями, как нам заблагорассудится, сообразно с требованиями нашего разума. В течение XIX века появилось во всех христианских государствах апокрифических евангелий, то есть жизнеописаний Иисуса Христа в произвольном применении их к истолкованию Его вероучения, гораздо больше, чем за все 15 веков с Константина Великого. Европейская интеллигенция дробится на десятки негласных и гласных ересей. Воскресает мессианизм. У нас на Руси является в толстовцах что-то вроде древнего эссеизма на христианский лад, вроде эбионизма, живущего по свободному Евангелию, «очищенному» гр. Л.Н. Толстым от элементов, которые казались ему неудобными. В.С. Соловьев и Меньшиков в проповеди дурно понятого аскетизма, в борьбе с плотскою любовью бессознательно тянут наше юношество прямее

хонько к энкратитам Татиана, к Маркиону, к Оригенову самоискажению, к хлыстовщине и скопчеству¹⁾.

Другая область разительного сходства века XIX с веком, в котором родилось христианство, — искусство и отношение наше к нему. На мой взгляд, когда раздаются печатные и устные жалобы на падение искусства, на упадок интереса к нему — это какая-то привычная обществу условная ложь, традиционное жалобное притворство, не более. Если мы пробежим мысленно восемнадцать веков, отделяющих нас от Нерона, от Адриана, то хотя и встретим на протяжении этом периоды, когда люди искусства властвовали над умами человеческими не менее, чем в эти предельные точки, но никогда не было людей искусства больше, чем тогда и теперь, никогда они не заслоняли от общества его действительной жизни с большею назойливостью. При Нероне в искусства ушли все *blasés*²⁾, потерявшие надежду найти религию духа и взамен принявшие утешение в религии тела. У кого не хватало сердца воспринять Христа и ума, чтобы постичь его красоту в Павле Тарсийском, — тот искал красоты в безумствах Палатина, по кодексу Петрония и Отона. Здесь Павел, там — *arbiter elegantiae*?³⁾ Здесь — «больше сия любви никтоже имать и пр.», там — живые статуи, Лаокоон, Дирцея, точащие неповинную кровь. В наше время искусство стало прибежищем не только для религиозных и этических разочарований и метаний; оно — драгоценная пища, укромный приют и для мысли, потерпевшей крушение в теориях политических и социальных. Кто не умеет построить по-своему общество — старается строить по-своему хоть воздушные замки. Кто не умеет собрать партии — начинает собирать статуи и картины. Кто бессилен глядеть правде

¹⁾ Давно это писано! Но был г. Меньшиков и в таком трансе (1905).

²⁾ Пресыщенные (*фр.*).

³⁾ Арбитр изящества (*лат.*; имеется в виду Петроний).

жизни в глаза — смотрит на нее через бинокль в театре. Кто потерял в противоречиях морали и практики почву под ногами, отвык мыслить определенно, живет не убеждением, а настроениями — тонет в хроматизме Вагнера, в символистическом тумане, в полутонах и полутенях... Артист — опять полубог. Кому — кроме разве артиста же Диодора, который об руку с Нероном въехал в Рим в художественном триумфе кесаря после его греческих гастролей — могут завидовать Фигнер, Мазини, Сальвини, Росси, Сара Бернар, Дузе, Савина? Они — первые люди всякого общества, их дело — первое в лестнице дел, интересующих век, их портреты вы находите в каждом доме, их имена — единственно известные всякому. Я знал девицу, которая была твердо уверена, что Спиноза — болезнь, но все родословие Фигнера так и отчитывала наизусть. «Вася Андреев» — имя, говорящее девяти десятым Петрограда гораздо более, чем имя, ну хоть — если брать из литературы — г. Альбова. А что касается до ученой части, то я голову прозакладываю, что из ста петроградцев девяносто не сумеют назвать известнейших русских химиков, юристов, техников, историков, математиков, но разве десять возвысятся в своем невежестве до недоумения: кто такой Андреев, Аполлонский, Дальский, Яворская и т.п.

Это первенство вопросов искусства в ряду интересов общества сказывается для нашего брата, журналиста, очень ярко и наглядно на практике. Если — скажем, к примеру — я напишу: «Ах, как жаль, что выбрали в головы гр. Мусина-Пушкина! Совсем он к этому не пригоден!» — я могу надеяться, что получу на сей поклеп два-три возражения — печатные или письменные, — но в самой приличной и сдержанной форме. Так — *sine ira et studio**: лишь в интересах восстановления

* Без гнева и пристрастия (*лат.*).

истины. Но если я напечатаю: «Артист Звонский-Громобоев очень плохо играет Уриэля Акосту», — я могу быть твердо уверен, что завтра же мой стол будет покрыт письмами с самыми пылкими опровержениями, оскорбительными намеками, руганью. И это не от самих артистов — о нет! Они хотя народ и самолюбивый, но робкий и втайне сомневающийся: конечно, я велик и Кин мне в подметки не годится, — ну а вдруг при всем том он, критик злобный, прав и я действительно только декламирующий сапожник?! Нет — это публика. Добродушная, гипнотизированная публика, для которой искусство — последний не разрушенный храм цельных впечатлений, а артисты — последние в нем, не поверженные кумиры. Можно утверждать до известной степени безнаказанно, что профессор Менделеев ни аза в глаза не смылит в химии, но горе тому, кто скажет, что бывают голоса красивее, чем у Фигнера. Никто не воспрепятствует вам раскритиковать в пух и прах военные сочинения генерала Драгомирова, но сохрани вас Бог и помилуй сказать, что г. Давыдов неверно понял роль или что г. Аполлонский мог бы проявить мимику более оживленную, чем то ему свойственно. Недавно еще, бросив мельком несколько неодобрительных слов об одном любимце публики, я имел удовольствие получить в числе прочих и такое послание: «М.г., прочитав внимательно ваш отзыв о г. N., я решаюсь просить вас: не изложите ли вы мне подробно в письме эстетические мотивы, по которым вы судите об этом артисте именно таким образом. Мне это чрезвычайно важно, чтобы проверить свои собственные впечатления». Важно ей — да еще чрезвычайно!.. Подай целый трактат о случайном спектакле! Заниматься игрою актера как наукою, как жизнью! Актер — центр общественного интереса! Не то же ли это отношение к театру, как и в те дни, когда Нерон, недовольный, что, из-за тревожных слухов о восстании Виндекса он не может посещать спектаклей, писал актеру, своему при-

ятелю: «Это просто бессовестно — отвлекать от искусства человека, столь занятого!»

В меньшей степени, но тот же самый энтузиазм — и к жрецам других искусств. Если мы соберем вместе все, что было писано хотя бы о г. Репине, соберется толстейший том, каким вряд ли порадует нас собрание критических статей о деятелях, равносильных г. Репину в других отраслях общественной мысли, — хотя бы о Гаршине, например. Но художников не только порицать — их и одобрять нельзя. Я вон похвалил картину Семирадского, а г. Rectus^{*)} взял да и прочел мне строгую нотацию, как я смею надувать почтеннейшую публику — находить в «Христианской Дирцее» и Кальвию Криспиниллу, и Эпафродита, и Актею, и Субрия Флавия, когда он, г. Rectus, их на картине не видит? И так это он меня авторитетно «жучит», словно по меньшей мере у него на то в кармане нотариальная доверенность и от Кальвии, и от Эпафродита, и от Актеи и Субрия Флавия.

Я хочу сказать по этому поводу два слова. Что картина Семирадского — не совершенство, об этом я не стану спорить: совершенством и я ее не выставлял. Да и вообще — где они, эти современные совершенства? Больше того: может ли совершенство быть открыто современникам во всем объеме красоты своей? Вот — постоит вещь лет двадцать пять, сохранит свое обаяние на публику, тогда еще можно с некоторою долею уверенности пророчить ей место в коллекции шедевров. У меня в библиотеке есть издание трагедий Альфиери от 1803 года, где современный критик-француз в примечаниях пишет о «Дон Карлосе» Шиллера: «Хорошо еще, что этому (следует нецензурное слово) г. Шиллеру суждено немедленное вечное забвение, ибо наша публика, обладая изящным вкусом, сумеет оценить всю мерзость его революционных и богопротивных выдумок». И тут же воспекает

^{*)} Под этим псевдонимом писал, если не ошибаюсь, П.П. Гнедич (1905).

какие-то шедевры, память коих не то что умерла, а уж и косточки-то ее лет семьдесят пять как сгнили.

Я сказал лишь и повторяю, что картина Семирадского произвела на меня огромное впечатление. А произвела впечатление не чем другим, как именно блестящею красотою своею — которую признает, ко как-то странно ставит ее в вину художнику и г. Rectus — и десятком близко знакомых мне образов нероновской эпохи, которые «Дирцея» вызвала в моей памяти. Rectus'у она не нравится — мне очень нравится, и, вероятно, нравится как раз по тем причинам, по которым не нравится ему: у нас разные вкусы. Он в восторге от репинского «Грозного» и суриковских «Стрельцов», а я — даже насильно «воспитывал себя» к этим картинам, стыдясь моего к ним равнодушия, но, кроме отвращения к безобразной харе Коцея бессмертного, каким г. Репин написал Грозного, и к звероподобию свирепо ошетилившегося зеленого Петра да чувства тошноты от обилия пролитой крови из воспитания этого ничего не вынес. Я имею слабость предпочитать прямые фигуры кривобоким и кривоногим, а удовольствие стоять пред картиною в долгом ее созерцании — удовольствием «бежать от нее в паническом ужасе, куда глаза глядят», что ставит г. Rectus в заслугу «Грозному» и «Стрельцам». Это — наслаждение на охотника.

Среди авторитетных замечаний г. Rectus'а некоторые я подвергну некоторому сомнению вопреки всей их авторитетности. Г. Rectus пишет, что небо у Семирадского — «серое, не римское». Смее уверить г. Rectus'а как человек, ежегодно живущий в Риме хоть по несколько летних дней, что он очень ошибается, если думает, будто над Вечным городом сверкает и вечная синева. Это — романтическое, театральное представление об Италии. А уж в особенности небо Семирадского верно для августа, когда происходит действие и когда в Южной Италии дует усиленно учащенный сирокко. Семирадский — старожил Рима,

постоянно в нем живущий. Неужели он хуже нас с г. Rectus'ом знает, что сверкающее синее небо — более эффектный фон для группы, чем небо серо-голубое? Что он большой мастер писать яркое небо, Семирадский доказывал десятки раз. Стало быть, если в «Дирцея» небо не яркое, а мутное, так надо было, того требовала правда картины. Не следует забывать, что Дирцея была замучена в *ludus matutinus*^{*}, т.е. до полдня, когда южный день еще не разгорался.

Недоразумение второе. Г. Rectus называет Дирцею «очень длинною девицею, привязанною к рогам быка за тщательно расчесанные волосы». Что касается «длинной девицы», право, не знаю, что сказать. Мне она длинною не представляется, но я ее, должен признаться, на сантиметр не прикидывал. С другой стороны, я знаю, что иные строгие критики даже Аполлона Бельведерского считают слишком долгоногим (опять-таки не мерял). Гёте по этому поводу написал смешную сценку, переложенную Майковым в смешные стихи. А расчесанные волосы Дирцеи (вовсе уж и не так тщательно) меня мало смущают. Напротив, они напоминают мне поэтический, необычайно женственный эпизод мученичества св. Перепетуи, среди других пыток претерпевшей и ту, что изображена Семирадским. Звери на арене растрепали и вскосматили ей волосы, в смертельной опасности мученица улучила, однако, момент привести свою прическу в порядок. Когда изумленные ее мужеством палачи потребовали объяснения, что это значит, Перепетуя призналась, что считает неприличным, страдая за Христа, иметь волосы всклокоченные, как в знак траура; имея радость мученичества, надо иметь и радостный вид.

Недоразумение третье. Г. Rectus находит, что «так трактовались картины четверть века назад и во Франции, и в Гер-

* Утренняя пора (*лат.*).

мании, и в Англии. Теперь в Италии и в Испании пишут вдвое виртуознее и колоритнее». Я не знаю: недостаток ли это художника, если он пишет так, как писали 25 лет назад во Франции, Германии и Англии? Не достоинство ли, наоборот, что он не пошел подражательно, по модному течению века — ни в импрессионизм, ни в символизм, ни в прерафаэлизм, пышно развившиеся в означенных странах за эти 25 лет, а остался самим собою — тем же, что и был, реалистом с романтической окраской, служителем красоты, проверенной строгим чувством меры? Испанцы, конечно, пишут еще ярче, чем г. Семирадский, но... в Италии-то кто же? Если не считать ди Грассо, новые итальянские художники — такая молчалинская умеренность и аккуратность в цветах, такая облизанность в рисунке. А об испанцах тоже надо подождать говорить с такою решительною определенностью. Прадилла велик, Галлегас и Виллегас великолепны, Барбудо блистателен, но... не знаю, как в Испании самой, а на европейских выставках последних лет испанцы выставляли вещи весьма жидковатые. На той же венецианской выставке была знаменитая «Смерть тореадора» — вещь в своем роде блистательная. Но южная, чуткая публика все-таки шла мимо нее, как и мимо столь нашумевшей у нас «Погони за счастьем» Рошгросса, — к репинской «Дуэли» и к «Христианской Дирcee». Не могу я плениться и перспективами, открытыми для живописи успехами фотографии, о чем с таким уважением говорит г. Rectus. В нашем русском искусстве фотографическое вторжение пока сказалось лишь тем, что мы потеряли одного великого жанриста (В.Е. Маковского), который прежде писал в год по две великолепные и содержательные картины, а теперь дает на каждую выставку по пятидесяти... крашенных фотографий с натуры.

Словом, не споря о законности вкуса г. Rectus'а, я позволяю себе несколько заступиться и за свой старомодный вкус.

Чей лучше — об этом не спорят. Я думаю, что мой, а он думает, что его. Каждый при своем, конечно, и останемся... А ведь воззрения-то г. Rectus'а на задачи искусства опять привели меня совсем неожиданно к тому, чем я начал фельетон, — к сходству нашего общества с обществом эпохи цезарей. Именно в это время стала умирать древнегреческая изящная и спокойная красота, выражение здоровой и изящной души, — именно в это время по требованию настроения общественного начали создаваться статуи, колоссальные, грозные, посвященные передаче не столько моментов психологических, сколько физической боли, пыток и казней. Психические страдания Ниобеи уже не удовлетворяют толпу. Потребовались ощущения острее. Тогда вошел в моду Лаокоон, этот «Грозный» античной скульптуры, тогда стал приводить критиков в восторг Того Farnese, с которого копировал Нерон казнь Дирцеи, — исполинский родосский мрамор, любимый двором цезарей не менее, чем г. Rectus'у нравятся «Стрельцы».

1898

III

Позвольте сказать еще несколько слов о Семирадском — слов последних и окончательных, по крайней мере с моей стороны. Г. Rectus опять поехал в поход на даровитого художника — и уже гораздо более грозным Мальбругом, чем в первой заметке о «Христианской Дирцее», на которую отвечал я. Теперь оказывается уже, что не только «Дирцея» — вещь слабая, но и сам Семирадский гроша медного не стоит; всю жизнь свою он, берясь за сюжеты, огромные, как горы, рождал из них мышей; он не более, как хороший декоратор, и в исторической живописи — величина, равная Сумарокову в литературе. «Грешница» — лживая, мертвая теа-

тральная сцена, «Светочи Нерона» — картина для занавеса, «Фрина» — невозможная бессмыслица, о «Дирцее» уж и говорить нечего. Словом — как в «Ревизоре»: а если у г. Семирадского есть тетка, то чтоб и тетке добра не было!..

Пламенный натиск на г. Семирадского бросает г. Rectus'а в крайности, которыми он, сам того не замечая, ставит автора «Дирцеи» на пьедестал, куда даже самые усердные почитатели и хвалители не дерзали, да и в мыслях не имели возводить талантливому художнику. Г. Rectus уверяет, что красоту человеческую объяснили искусству не Макарт и Семирадский, а Рембрандт, Веласкес, Мурильо. Совершенно справедливо. Так справедливо, что и объявлять этой новости, пожалуй, не стоило. Более того, скажу: я полагаю, что сопоставлять г. Семирадского с Рембрандтом, Веласкесом, Мурильо — прием вряд ли основательный. Рембрандт, Веласкес, Мурильо — мировые гении, каким никто никогда не провозглашал г. Семирадского, каким, по всей вероятности, он и сам себя не считает. Г. Семирадский — просто очень хороший художник, написавший несколько картин на очень интересные темы красивее, чем пишут большинство современных русских художников, и только. Рембрандт, Веласкес, Мурильо оставили по себе школу, наставляющую неофитов искусства целые века. Г. Семирадский — не основатель, а сам представитель школы, и, разумеется, именно Макарта, на кого г. Rectus ополчается с гневом и ядовитостью, даже несколько комическими: подумаешь, что дело идет не о теоретическом вопросе из эстетики, а о личной обиде г. Rectus'а г. Макартом! Макарт писал «стереотипные блины» вместо лиц, «макартовщина» подлежит истреблению, погибнет, исчезнет, яко тает воск от лица огня, от нее останутся только безобразные (NB. Вполне согласен в этом с г. Rectus'ом) макартовские букеты... Ну, это скоро, но несправедливо и немилостиво! Думаю, вовсе не будучи большим поклонником Макарта, что от него останется на-

долго кое-что и получше макартовских букетов — тем более что именно последние-то и начинают, слава Богу, выходить из моды.

Статья г. Rectus'а дышит благоговением к «ценителям искусства» и презрением к «толпе», т.е. к публике. Пробегая набросанную г. Rectus'ом художественную биографию Семирадского, я убедился, что каждое произведение этого мастера неизменно сопровождалось повторными явлениями: полное одобрение «толпы» и резкий протест «ценителей». «Чем больше успеха имела «Грешница» в публике, тем осторожнее были ценители и судьи». Привели толпу в восторг «Светочи Нерона» — ценители опять осторожны. Радует толпа «Фрине» — ценители уже даже не осторожны, а прямо ругаются. Теперь толпа довольна «Дирцеею», и недовольство ценителей на успех картины изливается устами г. Rectus'а.

Что ценители и публика — два разных рода человеческих, объединенные лишь одинаковою внешностью, унаследованным от Адама образом и подобием Божиим, но враждебные между собою, — дело давно известное. Я — публика, толпа. Превратиться в ценителя, собственно говоря, штука не трудная — особенно по условиям нетребовательной российской эстетики, — но скучная, а главное, лишаящая счастливых обладателей титула, ценителей, возможности непосредственного наслаждения тем самым, что они ценят. Если картина, статуя, стихи, певец, актриса производят на нас, публику, известное впечатление, мы можем откровенно и простодушно его высказывать как суждение, ни для кого не обязательное, родившееся в тот самый момент, когда мы наблюдали заинтересовавший нас предмет искусства. Нравится — так нравится; нет — так нет. Ценитель — совсем другое дело. У него — воспитанный или, вернее сказать, дрессированный вкус, у него программа, у него — традиции, у него — предвзятая теория. Приближаясь к произведению искусства, он

решает не то — нравится или не нравится ему эта вещь, но прежде всего — имеет она право ему нравиться или не имеет? Согласна она с его эстетической программой или не согласна? Гоголь в понимании искусства был толпою, Тургенев — ценителем. Первый посмотрел «Явление Христа народу», пришел в восторг, написал пылкие строки; посмотрел «Последний день Помпеи», пришел в восторг, написал пылкие строки. А Тургенев по этому поводу именно пишет, что Гоголь ровно ничего не смыслил в искусстве, раз способен был одинаково горячо приветствовать и Иванова, и Брюллова, которого он, Тургенев, по своей эстетической программе вычеркнул из ряда стоящих внимания художников и потугинскими устами обозвал в «Дыме» «пухлым ничтожеством».

Мы с Rectus'ом — увы! — не Гоголь с Тургеневым, от сего Бог нас и Россию миловал. Но я говорю об искусстве как публика, а он как ценитель, — мне нравится, потому что нравится, а он сердится, зачем мне нравится, когда, по его мнению, не имеет права нравиться? И он ставит мне упрек: не понимаешь искусства, не умеешь «при норд-весте отличить сокола от цапли!». Свою ценительскую программу он высказывает ясно и определенно: понимаю, говорит, Репина, Васнецова, Поленова, Серова, а Семирадского не понимаю. Вот тут-то и сказывается первая выгода быть публикою, а не ценителем, ибо — в качестве толпы — я, понимая и любя все, что понимает и любит г. Rectus, т.е. Репина, Васнецова, Поленова и Серова, имею еще удовольствие понимать Семирадского, коего г. Rectus не понимает. Плюс художественного наслаждения, таким образом, на моей стороне. И — «пускай слыву я старовером!».

Сокол и цапля влетели мне при норд-весте за то, что я осмелился удивиться: что дурного, если г. Семирадский пишет картины свои, как писали их пятнадцать — двадцать лет тому назад, — укор, поставленный ему ранее г. Rectus'ом. Последний отвечает на мое удивление кратко, но нельзя сказать, чтобы уяснительно:

— Как что дурного! — восклицает он. — Это очень дурно!

Я хотел было предложить г. Rectus'у вопрос: ну, а что хорошего, если — возьму для примера художника, одинаково почитаемого обоими нами, — В.Е. Маковский стал теперь писать свои жанры в небрежно-фотографической манере, какой не знал он пятнадцать — двадцать лет назад? Но отлагаю попечение, ибо опасаясь получить возражение той же убедительности, что и ранее:

— Как что хорошего? Это очень хорошо! Ipse dixit... audite verba magistri!..*

Подобные инстинктивно-вдохновенные ответы иногда эффектны. Сент-Илер спорил с Кювье и, что называется, притиснул его к стене. Кювье, истратив все свои аргументы, продолжал, однако, упорно твердить:

— Нет!.. нет!.. нет!.. Ложь!.. ложь!.. ложь!..

Сент-Илер потерял терпение.

— Да скажите же, наконец, почему ложь?

— Потому, что — неправда!

Этот эпизод считается величественным, потому что на сцене Сент-Илер и Кювье — люди большой величины. Но за сто двадцать пять лет до их спора Мольер записал другой ученый диспут, где ответ был поставлен, хотя à la** Кювье, однако впечатление от него получилось совсем не величественное. Это знаменитый ответ незабвенного Фомы Диафориуса:

Mihi demandatis, quare
Opium facit dormire,
A cela respondeo
Quia est in eo
Virtus dormitiva!

(Вы спрашиваете меня: почему опиум усыпляет? Отвечаю: потому что в нем есть снотворная сила!)

* Сам сказал... слушай слово учителя (лат.).

** Наподобие (фр.).

Г. Rectus хочет уверить нас, что писать, как пишет Семирадский, все равно что сочинять в конце XIX века трагедии во вкусе Сумарокова. Сказано строго, но несправедливо! Писать сумароковщину, конечно, бессмыслица, но от сумароковщины отделяет нас не двадцать лет, как от манеры Семирадского (по уверению г. Rectus'а), но сто тридцать, а это — «две большие разницы». Да и эволюция литературная свершила на Руси путь гораздо более дальний, сложный, с гораздо большею стремительностью и скоростью, чем эволюция живописи. Так что относительно параллели между Сумароковым и Семирадским — это, как говорится, через борт хвачено. Период сумароковщины русская живопись пережила много раньше не только Семирадского, но и Брюллова, к кому г. Rectus тоже приравнивает г. Семирадского, чего на месте критика я при всей своей симпатии к автору «Дирцеи» не сделал бы.

И вот почему. Г. Rectus относится к Брюллову довольно небрежно, на потугинский манер, хотя и признает в нем долю таланта, как, впрочем, признает он ее и в г. Семирадском. Но ведь при всей небрежности отношения г. Rectus не может не знать, что роль презируемого им Брюллова в русском искусстве была совершенно исключительная, какой по смерти этого художника уже не пришлось сыграть ни одному из его преемников по кисти. Не может не знать, что положившая начало этой роли картина «Последний день Помпеи» — хороша ли она, дурна ли, — во всяком случае, была откровением в русском художестве; это была первая наша европейская картина; до Брюллова в России так не писали, до Брюллова в России живопись так не интересовала публику, не подвергалась такой жаркой критике, не имела значения вопроса общественного. Брюллов дал живописи права гражданства в русском обществе, как Глинка — музыке. Брюллов создал эпоху, чего после него достигли в русской живописи вряд ли не одни лишь «Бурлаки»

г. Репина, ибо «Явление Христа народу», великое произведение, долго не оцененное в своем отечестве, осталось навсегда стоять в московском Румянцевском музее как-то одиночкой, не создав собою школы. Создаст ли школу и направление другое великое дело русской живописи, Владимирский собор, с Васнецовым и Нестеровым, мы тому еще не судьи: об этом заговорят дети наши, как мы уже получили право говорить об Иванове. Без Иванова русская живопись имела бы огромный пробел в списке своих сокровищ, но она мыслима; без Брюллова — не мыслима, ибо Иванов есть счастливый случай, лотерейный билет, на который наше отечество выиграло двести тысяч, а Брюллов есть эпоха. Этого значения г. Семирадскому, конечно, не иметь: он блестящее украшение нашего времени, но не художественный символ его, каким был Брюллов для искусства романтической России. Приравнивать Брюллова к Кукольнику и Марлинскому поэтому ошибочно, хотя это уже не новое сравнение. То были приросты к русскому искусству; Брюллов — один из корней его.

Над знаменитыми в истории картинами суд потомства — занятие весьма трудное и двусмысленное.

Дело в том, что тут толпа страшно резко расходится с ценителями. Был я в Венеции и встретил там поэта Минского и одну русскую писательницу по эстетическим вопросам. Разговорились об искусстве, причем я откровенно высказал, что никакой прелести в прерафаэлитах не вижу — все какие-то кривоногие юноши, селедкообразные девы и лупоглазые херувимы в завитых париках. Застыдили меня безвкусием страшно — настолько, что я нарочно поехал во Флоренцию осмотреть шедевры Сандро Боттичелли в музее на Via Ricasoli. При этом М. и русская эстетка дали мне в напутствие такой рецепт:

— Главное, не поддавайтесь первому впечатлению. Не нравится вам — все равно сидите перед картиною час, два, — вглядывайтесь. Сегодня не понравится — завтра опять при-

дите, опять сидите. И в конце концов достоинства картины выступят пред вами из полотна и вы поймете, что нет художника, равного Боттичелли.

— И этак пред каждую картину?

— Пред каждую!

— Да ведь это надо полжизни убить, чтобы понять вашего Боттичелли?

— Что ж такое? Иные и целую жизнь полагали!

Являюсь в музей, брожу. Бог послал в товарищи соотечественника — сосредоточенный такой, добросовестный турист; видимо, дал себе слово осмотреть в путешествии все подноготные, предписанные Бедкером. Смотрим Боттичелли и молчим. Чувствую: ему не нравится. Он чувствует: и мне не нравится. Но авторитет давит, прослыть безвкусными стыдно — молчим. Вглядываюсь: нет ее, этой поэзии, обещанной Минским, — все селедки, все парики, все кривые ноги. Осмотрели тринадцать картин — переходим со вздохом облегчения — *sublime!** — в другой зал. Вижу какое-то старье на стене, справляюсь я в каталоге... четырнадцатая картина Боттичелли! Всякому лицемерию бывает предел. Я не успел удержаться от жалостного восклицания:

— Господи! Что же это? Опять Боттичелли!

А соотечественник, обрадованный этим воплем природы, вдруг протянул мне руку, засверкал глазами и — голосом человека истрадавшего, озлобленного — прошипел:

— Нет-с, я вам доложу, есть у них тут еще какой-то Фра Беато Анджелико... вот тоже подлец-то!

Я чуть не умер от смеха: сколько лицемерия нагоняют на нашего брата Бедкеры и их ценительский гипноз! Замечательно, что все эти знаменитые картины никогда не смотрит итальянская толпа, вообще очень охая блуждать по даровым музеям; никогда никого в старинных галереях — кроме

* Возвышенно! (*фр.*)

иностранцев, т.е. людей, обреченных кодексом путешествия на казнь посредством «ценительской живописи».

Я рассказал этот маленький эпизодик, разумеется, не к умалению достоинств Боттичелли, до понимания которых, прав был М., я действительно досиделся-таки впоследствии, но в пример того, как ценительские вкусы обособились от вкусов толпы, и либо они, либо симпатии публики, что-нибудь из двух всегда в извращении. Ценители думают, что толпа мыслит чувственно и грубо, что ее духовная часть извращена и подсказывает ей симпатии ложные, подлежащие искоренению. Тот же самый М. со своею спутницею прямо с сожалением смотрели на меня, когда я хвалил красоты Веронеза, Тициана, Джулио Романо. Толпа думает, что у ценителей ум зашел за разум, и хотя по моде иной раз подчиняется их гипнозу, но втайне — никогда не с ними.

Мне думается, что отрицать вкус, который толпа обнаруживает сама по себе, по собственному инстинкту, и навязывать ей вкусы, диктуемые теоретическим ценительством, — историческая несправедливость. Если заглянуть в глубь истории искусств, мы неизменно видим: все долговечные их шедевры были оценены толпою по достоинству — хоть не тонко, да зато прочно, хоть не по критическому сознанию, зато по вечному инстинкту правды и красоты, смутно живущему в массах. Фидий, Пракситель, Лизипп, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Делакруа, Брюллов, Иванов были оценены толпою так же, как и ценителями, если не в большей еще мере. Например, художники Возрождения были прямо какими-то полубогами для своих сограждан. Ценители-меценаты и товарищи-критики довели Доменико Зампиери до голодной смерти, захулив его картины, противоречившие началам модной тогда неаполитанской школы, а толпа реабилитировала память художника, любя его живопись настолько горячо и постоянно, что и ценители должны были признать наконец в Доменико колоссального художника и ввести его в пантеон славы рядом с Рафаэлем

и кровным врагом покойного Зампиери — Рибейроу-Спаньолетто. Когда китайцу предлагают какое-нибудь новое лекарство, он, говорят, задает первый вопрос: сколько тысяч лет им лечатся? И если менее одной тысячи, отказывается принять снадобье как не оправданное давностью. Когда мне говорят о знаменитом произведении искусства, мне всегда хочется а *la chinois** спросить: а сколько лет его известности, интересу к нему публики? Знаменитая картина Брюллова прогремела на всю Европу, толпа признала ее полубожественною, критика забраквала — *un oeuvre manqué*** . Но вот какая странность. Прошло 50 лет, за это время Русь видела тысячи картин, породила сотни художников. И, несмотря на то, нет имени в искусстве более популярного на Руси, чем имя Брюллова, и именно в связи с «Последним днем Помпеи». Картина страшно устарела для нас, в ней трудно найти что-либо интересное зрителю, знакомому уже с Ивановым, Репиным, Васнецовым, Маковским, Семирадским и так далее. Почему же ее так знают, так помнят?.. Значит, сказала она в свое время что-то массе, и сказала так внушительно, что надолго заставила слова свои запомнить. Если г. Rectus, сравнивая Семирадского с Брюлловым, напророчит г. Семирадскому историческую судьбу первого, автору «Дирцеи» останется лишь благодарить богов за сходство со своим прототипом. Пятьдесят лет известности художника, полвека значения в жизни искусства — огромный срок по современному быстрому ходу живописи. Я не смею предположить, чтобы «Дирцея» — захаянная ценителями, но возлюбленная толпою — обладала жизнеспособностью брюлловских полотен, под уровень которых подгоняет ее г. Rectus. А может быть — вдруг проживет? И вдруг — в 1948 году какой-нибудь Rectus-потомок поправит суд Rectus'a над «Дирцеєю», как теперь сам Rectus поправляет суд Rectus'ов-

* Наподобие китайца (*фр.*).

** Неудавшееся произведение (*фр.*).

предков над «Последним днем Помпеи» и хотя свысока, но все же признает достоинства в Семирадском, как тот признает их уже теперь в Брюллове?

Итак — Брюллоу и Макарт: вот компания, в которую г. Rectus решается поместить г. Семирадского. Оба г. Rectus'у антипатичны, но... компания все-таки более чем недурная. Особенно если поместить сюда же и Дорэ, который, по словам г. Rectus'а, обезобразил Евангелие, что, как известно, не мешает быть Библии Дорэ наиболее распространенным иллюстрированным изданием в мире. Г. Rectus обещает — и очень смело — с самоуверенной категоричностью объяснить нам, почему он считает Семирадского художником старомодным, но, сказав два-три слова в этом направлении, забывает обещание и сам просит каких-то объяснений. А сказанных два-три слова сводятся к тому, что в картине есть недостатки. Да кто же говорит, что их нет? Недостатки есть и в новомодных, и в старомодных картинах. И, в конце концов, опять: нехорошо... потому что нехорошо... *Opium facit dormire, quia est in eo virtus dormitiva!*

Г. Rectus полагает, будто разнообразие толков об экспрессии действующих лиц «Дирцеи» — прямое доказательство слабости картины. «Экспрессия должна быть ясна как день, не возбуждая никаких сомнений». Положим даже, что должна. Но должна — ведь это идеал, как все должное. А был ли где и когда-нибудь идеал этот осуществлен практически? Была ли картина, которую признавали все без исключения, совершенно точно изображающею свой сюжет? Единство впечатления от художественного творчества — вещь недостижимая во всех отраслях искусства. Что было спора, резких столкновений, крупной полемики из-за репинских «Бурлаков» и «Запорожцев», из-за васнецовского Владимирского собора в Киеве, из-за статуй Антокольского! А Фигнер и Мазини? А «кучка» и Рубинштейн, Чайковский и *tutti quanti*?* А Тима ди Лоренцо?

* Иже с ними (*ит.*).

Да что далеко ходить? Испробуйте хоть сейчас, читая эти строки, вернейшее средство вызвать бурю истинно петроградского художественного разногласия: похвалите или похулите — как вам больше нравится — среди своего семейства и дружеского кружка игру какой-нибудь артистки. Немедленно восторженные поклонники и ожесточенные противники поднимут такую полемику, так «оживят вечер», что хоть зажимай уши и беги вон. Нет, споры о художественном явлении — не свидетельство его непригодности, а, напротив, доказательство, что оно «попало в точку», что оно по плечу эпохе и живо ее заинтересовало. И, конечно, в отношении картины Семирадского это в особенности справедливо: уже лет десять ни одно новое создание искусства не возбуждало столько интереса к себе, не порождало таких усердных споров, противоречий. «Христианская Дирцея» оживила сезон. Это — Фигнер выставок 1898 года.

Брюллов, Макарт, Дорэ и Семирадский — таковы четыре угла, намеченные г. Rectus'ом. Я с его наметкою вполне согласен: большего я для г. Семирадского в статьях своих не искал. Мурильо же, Веласкесов и Рембрандтов оставим спать в их гробах, не беспокоя втуне сих славных мертвецов: они тут ни к чему. Вот все, кажется, что хотел я сказать г. Rectus'у, — и думаю, что на этом месте мы можем завершить нашу семирадскую войну, затянувшуюся чуть не в целую семилетнюю.

1898

ВЕРДИ

Vittorio Emmanuele Re d'Italia**.

Если вы сложите начальные буквы этих пяти слов, получится фамилия Verdi. Смешно сказать! Это странное совпа-

* Иже с ними (*ит.*).

** Виктор Эммануил, король Италии (*ит.*).

дение сыграло немалую роль в карьере знаменитого композитора и значительно содействовало его популярности.

Известность имени Верди, как акростиха имени и титула Виктора Эммануила, создалась, конечно, в последние годы австрийского пленения, когда акростих этот звучал девизом для лучшей части итальянского общества, мечтавшей видеть Италию объединенною, свободною, национальною, под конституционную власть Савойской династии. Выражение каких бы то ни было симпатий к Савойскому дому было строго запрещено австрийцами, владычествовавшими на Аппенинском севере. Имя Виктора Эммануила было изгнано из газет; произносить его вслух с сочувствием стало политическим преступлением. Тогда неистощимый юмор итальянского народа зло посмеялся над цензурою притеснителей, переделав имя молодого, но уже известного и любимого композитора Верди в политическую шараду, хорошо понятную всем патриотам, но темную для чужеземцев-тедесков.

Вопль «Evviva! Viva Verdi!»* раздавался на всех гуляньях, собраниях, в театрах и т.д. Австрийцы только изумлялись музыкальному фанатизму, внезапно обуявшему итальянцев, и энергии их симпатий к вновь восходящей звезде оперного творчества. У музыки Верди, конечно, немало поклонников и между немцами. Поэтому, рассказывают старики очевидцы, нередко случалось, что, увлеченные общим энтузиазмом, австрийские офицеры тоже присоединялись к непостижимым для них овациям и от души кричали:

— Viva Verdi!

И, конечно, имели затем довольно глупые лица, не понимая, что заставляет живую итальянскую толпу хохотать им в глаза, иронически аплодировать и требовать:

— Еще! Еще!..

* «Да здравствует! Слава Верди!» (ит.)

С годами криков «Viva Verdi!» знаменитый композитор дождался уже и за свой собственный счет, без всяких шарад, анаграмм и акростихов. Я жил в Милане зимою в сезон постановки «Отелло» (1887). Не знаю, увижу ли я когда-либо еще раз подобное торжество в области искусства. Это был не театральный успех — это было чествование национального героя, взрыв национальной гордости. В течение целой недели Милан был неузнаваем: его биржевая и торговая жизнь, бойкая, интересная, его неугомонное политиканство — сразу потускли. Только и слышно было на всех перекрестках: Верди, Верди, Верди... Каждая репетиция «Отелло» становилась событием, моментально оглашаясь по городу:

— Слышали? Он сказал Фаччио, что у него не оркестр, а шайка разбойников!

— Он обозвал Таманьо собакою!

— А Морелю аплодировал и сказал: «Браво!»

— Придирается к бедной Панталеони... все не может простить, что не поет его старуха Штольц.

На окнах всех ресторанов — анонсы: «По случаю генеральной репетиции «Отелло» торговля будет продолжаться до 2 часов ночи»... «По случаю первого представления «Отелло» торговля будет продолжаться всю ночь»... Газеты самодовольно считают имена знатных иностранцев и европейских знаменитостей, прибывающих в Милан, чтобы присутствовать на всемирном торжестве итальянского музыкального гения. Весь парижский Жокей-клуб с принцем Уэльским во главе; вся европейская haute finance*: Ротшильды, Эфрусси, Блейхредер; сколько артистов, художников, поэтов... Гуно, Массне, Сен-Санс — все звезды лирической Франции! В галерее Виктора Эммануила показывают пальцами:

— Вот Варрезе... первый Риголетто!

— Вот Пандольфини... он создал Амонасро!

* Финансовая верхушка (фр.).

— Bravo, Варрезе! Bravo, Пандольфини! Да здравствует Верди!

Старик композитор не показывался все эти дни, выезжая в театр и из театра в закрытой карете: берег себя от эмоций популярности, дурно отражавшихся на его истинно по-итальянски слабом желудке. Посредником между ним и публикою был Арриго Бойто, его либреттист и сам композитор, — странный человек, который, написав всемирно известного «Мефистофеля», затем вдруг разочаровался в своем музыкальном даровании и весь ушел в поэзию. Стихи он пишет действительно очень хорошие, и либретто «Отелло», конечно, одно из удачайших приспособлений шекспирового текста к оперной сцене. Бойто — человек огромного и разностороннего образования, даже по-русски знает и перевел на итальянский язык «Руслана и Людмилу» для издателя Рикорди. Как большинство южан-вагнеристов, он хорошо знаком с Глинкою, высоко его ценит, считает его себе родственным и пропагандирует — хотя и не особенно удачно — в Италии музыку Чайковского.

Этот милый и любопытный человек был тогда жертвою настоящей осады. Все тормозили его, требуя новых известий, подробностей... Как Тамань? Хорошо ли выдрессировал его Сальвини на игру? Ну, Морель, конечно, на высоте задачи? А Панталеони не старовата? Правда, что в «Отелло» есть удивительное «Ave Maria»? Доволен ли Верди? Много ли кричит? Часто ли останавливает оркестр? Какие города уже заявили желание поставить оперу? С какими певцами «Отелло» пойдет в Риме, в Неаполе, на венецианском «Fenice»*, в лондонском Ковент-Гардене?..

Интервью с Бойто, с Фаччио телеграфировались во все города Италии, в Париж, в Лондон... Какой-то *impresario*, проникнув на репетиции, удосужился зарисовать Верди в де-

* «Фениче» (*ит.*).

сятке выразительных моментов: то — учит оркестр, как надо играть *piano-pianissimo*^{*}, то — зажимает уши от фальшивой ноты, то — в бешенстве кричит на певца, опоздавшего вступить в ансамбль; то — сидит, довольный, благосклонно улыбаясь... Альбом этот расходился тысячами экземпляров.

Одно скажу: вот когда можно было понять, почему народы юга создали триумф, в каких размерах и какими средствами они его осуществляли и почему для деятеля-южанина публичный триумф был да и теперь остается лучшей надеждою жизни! От радости, говорят, не умирают, однако чахоточный Тассо умер от триумфальных волнений, и мне кажется, надо иметь исполински могучую натуру, на редкость упругую восприимчивость, чтобы бесследно для нервной системы выдержать бурные овации всей Европы в лице пестро собравшихся ее представителей, как обрушились тогда овации на голову Верди... Старик плакал, его шатало... Он расцеловал Мореля — Яго и так растерялся, что, войдя в уборную к Таманьо, не нашелся ничего сказать ему, кроме:

— Отчего ты сегодня такой черный? Я пришел поцеловать тебя, но боюсь запачкаться...

— *Illustrissimo maestro!*^{**} — возопил певец. — Да ведь я же Отелло пою! Как же мне не быть черным?!

До «Отелло» Верди был первою музыкальною знаменитостью в Италии, после «Отелло» он стал для нее полубогом... Начался уже культ. Я был представлен Верди в 1894 году. Он произвел на меня впечатление замечательно законченного человека, уже не имеющего желаний, которые зависели бы от других людей; полного огромной, созерцательной жизни, прозревшей внутри себя, как сказал Майков; уравновешенного, мягкого, скромного... Это был мудрец и поэт, которого вели-

* Тихо, очень тихо (*ит.*, *муз.*).

** Знаменитейший маэстро (*фр.*).

чие сделало добрым, щедрым, самоотверженным, благожелательным.

А ведь смолоду этот человек, как говорят старики и пишут мемуаристы, представлял собою явление совсем иной категории. Его звали в насмешку *maestro Frenetico* (бешеный), его болезненное самолюбие, театральные интриги, ненавистничество к соперникам и денежная жадность слагали один из отвратительнейших характеров, какие знает закулисный мир. За огромный талант публики все ему прощала, но пресса не щадила Верди и из итальянских карикатур на его слабости и странности можно составить богатую коллекцию.

Любопытно, что одна из самых злых сатирических выходов против Верди появилась в России, в «Искре» за № 43 от 30 ноября 1862 года под заглавием: «Любопытные и необыкновенные похождения маэстро Френетико в Италии и Константинополе и судьба оперы, написанной этим маэстро» — за подписью Богдана Княжицкого. Памфлет был вызван постановкою в Петрограде неудачной оперы Верди «*La forza del destino*» («Сила судьбы»), которую Верди, не сбыв на большие европейские сцены, продал дирекции наших казенных театров за 58 000 р. Несмотря на гипноз публики личным присутствием знаменитого композитора, «Сила судьбы» провалилась, и сам Верди смеялся, говорят, над незаслуженною огромностью гонорара, им полученного. Оконфуженная дирекция, конечно, не желала признаться в своем промахе, приняла меры цензурного воздействия против возможных обличений, и последствия спектакля Богдан Княжицкий излагал таким образом: «Газета «*Journal de Constantinople*» уже заранее приготовила статейку, в которой бессовестно возвещала всему миру о необыкновенном, блистательном и совершенном успехе оперы славного маэстро Френетико на константинопольском театре. Так как статья была писана прежде представления, когда еще не знали, осмелятся ли турки шикать, поймут ли, что их дурачат и кормят грязью, то

потому о свистках и шиканье не было сказано ни слова. Впрочем, ни одна газета не высказала совершенной правды, вероятно, из опасения попасть в руки башибузуков, заменяющих в Турции цензуру, с которыми шутить нельзя. Да избавит от них Господь Бог и нас с вами... Однако же теперь существует в Турции поговорка: «Ему нравится новая опера Френетико», что означает: он глуп непроходимо и без всякого вкуса, без самостоятельного мнения, — и другая: «Отправить слушать *Ужасные удары Рока*», что значит «Сослать на каторгу». Директор Гедеонов был выведен под именем Аслан-Аги с более чем непочтительным описанием его наружности, манер, склонностей, привычек, а его правая рука, начальник репертуарной части Федоров, получил выразительный псевдоним Болванпуло. Несколькоими нумерами позже «Искра» снова вернулась к «Силе судьбы» и изобразила закулисную историю постановки оперы в карикатуре, на которой, кроме Верди и его примадонны, фигурируют Федоров и знаменитая в своем роде Мина Ивановна, всемогущая «театральная дама» шестидесятых годов...

В другой раз Верди посетил Россию в семидесятых годах и слушал в Москве «Аиду». Это пребывание было для него рядом оваций — кратковременных, но пылких, и карикатуристы на сей раз сломили перед ним свои карандаши, а эпиграмматисты обмакнули свои перья вместо желчи в мед и стали писать панегирики.

1901

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ И СЕРГЕЙ ВОЛКОНСКИЙ

О записках декабриста С.И. Волконского и романе «Война и мир»

«Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.

— Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив... он бы согласен был с вами? — спросил он».

Разговор, взволновавший Николеньку Болконского, происходил 5 декабря 1820 года и имел предметом организацию одного из тех тайных обществ, что в данную эпоху росли как грибы, — в защиту либеральных начал, которыми взманили и обманули русское общество первые годы царствования Александра I и которые теперь так безжалостно давила солдатская реакция Аракчеева.

На нервный вопрос Николеньки Болконского Пьер Безухов ответил:

— Я думаю, что да.

Сценою этою Л.Н. Толстой дал заключительный аккорд характеристике князя Андрея Болконского, главного и наиболее интересного, глубокого и содержательного из героев «Войны и мира». Он указал, куда направила бы деятельность свою эта огромная, нервная и мыслительная сила, если бы не покончило все житейские счета с нею бородинское ядро. В романе Толстого князь Андрей должен был умереть преждевременно, потому что того требовала полнота психологической картины, предпринятой и написанной великим художником. Но, кончив свою личную, земную жизнь, князь Андрей не умер как идея и сила общественная — напротив, тут-то он и стал расти и определяться, ясно разграничая трагическою фигурою своею лагери русской мысли, течения русских социальных и политических идеалов. «Война и мир» обрывается на том, что Николенька Болконский мечтает, как он станет подобен героям Плутарха, вдохновляемый — кем? Памятью отца, которого он не знал и которого лишь поэтически себе воображает.

— Отец, отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен.

Николеньке во время этих мечтаний было пятнадцать лет. К роковому 14 декабря 1825 года он, если дожил <бы>, был

двадцатилетним офицером, боготворящим Пушкина, восторженно декламирующим:

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды...

А может быть, даже вел свой взвод под картечь Сенатской площади. Потому что гордый и самостоятельный дух проснувшейся политической мысли — именно дух этого «отца», убитого при Бородине, дух князя Андрея Болконского, веял над молодежью, которой голосом и полубогом был юный Пушкин — всего пятью годами старше Николеньки, — а вождями оказались Пестель, Рылеев, Тургенев, Трубецкой и Сергей Волконский.

Содержание «Записок Сергея Григорьевича Волконского» обнимает почти целиком первую четверть XIX века — эпоху, в высшей степени многозначительную в исторических судьбах нашего отечества. В этот период снова, как за сто лет назад, при Петровом переломе, ворвалась в русские пределы иноземная грозная сила и «тяжкий млат ковал булат»: калилась в пламенном горниле Наполеоновых войн новая для механизма Европы громадная политическая пружина, в которую выработал Россию екатерининский век. Дорого стоил закал, и жутки были контрасты его процесса. Блистательные торжества русского имени сменялись глубочайшими унижениями, мы имели Аустерлиц и Тильзит, имели и Бородино с «пылающею Москвою», и Лейпциг, и Париж. Страшные колебания государственной жизни под напором внешних сил потрясали Русь почти сверхъестественными размахами. Сегодня почти ставилось на карту самое существование России; враги собирались делить ее, как Польшу или в наши дня Турцию; у царя Александра Павловича вырвалась знаменательная обмолвка, что миру с Наполеоном внутри России он предпочитает — *уйти в Сибирь*, одеть мужиц-

кий армяк и отрастить бороду по грудь. Завтра — Россия повелительно диктовала волю свою всей Европе. Наполеоновы искусы были роковым испытанием новосозданной и паразитально скороспелой империи, которой чудовищно быстрый рост менее чем во сто лет поглотил старую допетровскую Московию настолько глубоко и прочно, что даже архаически термин этот позабылся в цивилизованном мире, исчез из политического языка и с географических карт. Карл XII воевал еще с Московией, а Наполеона победила уже Россия. Иноземные историки-полемисты, в особенности польские, неоднократно отрицали древность России как государственного понятия и имени, доказывая, что Россию «выдумала» и повелела быть ей Екатерина II. Некоторых русских возражавших писателей насмешливые укоры эти озлобляли чуть не до неистовства. Я же думаю, что оскорбляться русским тут нечем. Наоборот: мы могли бы только национально гордиться своею необычайно быстрою приспособленностью к государственному прогрессу — к новым формам в символе нового наименования — как историческим свидетельством о редкой жизнеспособности и здравом смысле молодой страны, о неудержимой воле ее идти вперед и вперед, бросая позади себя как ненужное все условное, одряхлевшее, отжившее свой век. При Петре Москва, Московия, Русь, Русия стала слыть Россиею, в екатерининский век она Россией себя со знала и в твердом и гордом сознании этом зачеркнула и забыла все свои прежние устаревшие имена. Конец XVIII века застал Россию государством сильным, европейски влиятельным, но военно-аристократическим и крепостным. Теперь настал для нее период как бы европейского экзамена: насколько естественным был стремительный ход ее политического развития? На каком фундаменте построилось ее великолепное здание? Что такое в ней народ? Одно ли оно тело с государством? Есть ли в нем и, если есть, то что говорят и куда ведут его исторический инстинкт и национальное са-

мосознание? Мы знаем, что экзамен был сдан трудно, но, на поверхностный взгляд, блестяще. Первая четверть девятнадцатого века — мерило для показания изумительной, почти беспредельной растяжимости сил и способностей, отпускаемых Богом в удел молодых и жизнеспособных наций, заключаемых в молодые и жаждущие жизни государства. Начиная 11 марта 1801 года, датую смерти императора Павла Петровича, и кончая 14 декабря 1825 года, Россия — даже при условиях позднейшей александровской реакции — мчится вперед с неукротимую силою по всем отраслям и направлениям своей внутренней жизни. В этот промежуток родилась новая русская литература; начались попытки упорядочить законодательство; крепостное право получило первые серьезные удары от аболиционного движения; определились на добрые полвека вперед течения социал-религиозной мысли; решительно выяснился исторический характер русской верховной власти с суровою победою убежденно самодержавной реакции над конституционными движениями века; создались первоначальные теории славянофильства и западничества, либерализма и охранительства. И надо повторить: все эти «первообразы» будущих государственных и общественных форм и явлений кипели, все эти творческие процессы нарождались и развивались именно между молотом и наковальней — и каким молотом!

Не вся ль Европа здесь была?

А чья звезда ее вела!

Вот эти-то удары «тяжкого млата» в руке могучего «человека звезды», чьей бессознательной и грубой силе мы так нечаянно обязаны столькими благими начинаниями и оборотами нашей русской жизни, и успел изобразить Волконский в своих недоконченных записках. И надо сказать с прямою и смелою откровенностью: редко какой-либо мемуарист

оставлял по себе об эпохе своей документ более полезной содержательности и характерной, летописной, пушкинского Пимена достойной, красивой простоты.

Записки С.Г. Волконского обрываются на розыске по политическому процессу после 14 декабря.

«Левашов взял мой допросный лист и пошел к государю; вскоре оба опять воротились ко мне. Государь мне сказал: «Я...»

На этом таинственном «я» смерть взяла перо из рук мемуариста. Никогда подобный перерыв рассказа не возбуждал более жгучего любопытства — что было дальше? Никогда роковой диссонанс заключительного многоточия не казался более досадным. Сравниться с ним по впечатлению брошенной в вечность загадки может лишь недописанная последняя страница Тацитовых «Анналов», повествующая о кончине Пета Тразеи: «Post, lentitudine exitus graves cruciatus afferente, obversis in Demetrium...» «После этого, когда медленность кончины приносила ему тяжкие мучения, он, обратившись к Деметрию...» И — больше ничего. Занавес опустился на полуслове... Что сказал Деметрию великий римский философ-аристократ, людям не узнать: дослушала только вечность. Вечность дослушивает и Волконского.

Но нет худа без добра, и — пусть слова мои прозвучат парадоксом: этот обрыв «Записок» все-таки отчасти к лучшему. Записок декабристов, носителей и страдальцев русского пробуждения к политическому самосознанию — немало в нашей литературе, но — в известном отношении — все они должны будут теперь отступить в тень пред исповедью кн. С.Г. Волконского, несмотря на ее краткость, частую сухость тона, скупость на анекдоты и эффектные эпизоды. С эпическим спокойствием человека, пережившего после двадцати лет самой блестящей военной и придворной карьеры одиннадцать лет каторги и девятнадцать поселения в Сибири, все испытавшего, все отстрадавшего и все простившего — без

фраз, без предвзятых антипатий и сантиментальных апологий, — Волконский выяснил то, чего не умели выяснить большинство других мемуаристов 14 декабря. Быть может, не так резко определилось бы это «то» и у него, если бы он познакомил нас с подробностями второй половины своего жития — после катастрофы. Субъективная сила трагических впечатлений от декабрьского восстания и сопряженных с ним военных заговоров, а потом от каторги и поселенчества в Сибири заслонила для ссыльных декабристов то житейское предисловие, которое привело их к страде этих впечатлений. Летопись их страданий полнее летописи их деятельности. Мы гораздо больше знаем о том, как декабристы мучались и погибали во искупление своих проступков, чем о тех путях и причинах, которые внушили им неотложную потребность «дворянской революции», повелительную более страшных перспектив правительственного возмездия. Мартиролог декабрьской эпопеи был доселе подробнее и красноречивее ее исторической экспозиции. Вот почему можно с уверенностью утверждать, что, за исключением нескольких, весьма немногих специалистов по александровской эпохе, декабрьское дело остается темным и вопросительным для огромного большинства русских образованных людей. Официальная история революционных попыток в последние годы Александра I скудна; даже и Шильдер не успел разработать ее с достаточной ясностью. Весь смысл и ход движения тенденциозно сводятся ею к французскому влиянию как причине, а повод полагается в случайности — в династическом эпизоде передачи Константином Павловичем престолонаследия в младшую линию царствующего дома. Материалы по александровским смутам оставались приглушены для гласности целым пятидесятилетием безусловного цензурного запрета и начали выплывать на свежую воду лишь в последнюю четверть XIX века. Через это 14 декабря с обстоятельствами, к нему прилегающими, воображается в обществе

потомков не столько как исторический факт, сколько героическим мифом — какой-то красивою, но совершенно внезапною и случайною вспышкою, моментом из либеральной сказки. Для большинства это — молния без туч, взрыв вулкана, которого существования раньше почти не подозревали, политический экспромт, не имевший ни предков, ни потомков. Налетело облако, нагрелось громом, наблестало молниями, разлилось дождем — и следа от него не стало; невесть откуда пришло, невесть куда и девалось. Те из русских образованных людей, которые ознакомились с историей сказанного движения не по официально разрешенным к обращению в России данным, но по оппозиционной литературе, начиная с Герцена, получали от источников своих больше отрицательных эпизодов, но не только не избывали впечатлений сказанной внезапности, но едва ли еще не усугубляли их. По целям прямой и быстрой революционной агитации, коим служили Герцен и ближайшие его сверстники, им надо было действовать не столько на рассудочное мышление, сколько на чувство читателя, не так на выработку характера, как на подъем темперамента; строго историческая сторона события им была нужна менее, чем героическая, полная романтизма легенда. Публика Герценовой плеяды довольно слабо интересовалась «сухою материей» вроде разницы между конституционными проектами Северной и Южной думы и деталей о «Русской правде» Пестеля, Волконского, Тургенева. Зато она с жадностью запоминала подробности повешения Пестеля, Рылеева, Бестужева, плакала, читая, как в Петропавловской крепости они вели переписку на кленовых листьях, ненавидела Шервуда, благоговела пред Волконскою и Трубецкою. Ее волновали и трогали роман революции, предполагаемая и легендарная картинность его поз, слов, то, что в наши дни стало называться «красотою жеста». Декабристы у Герцена, как позднее жены декабристов у Некрасова, — вдохновенно задуманные и красиво исполненные ста-

туи, полные симпатично-романтического настроения; это — герои шиллеровских драм, т.е., скорее, идеи в действии, чем живые люди в плоти и крови. Герцен, в чьем огневом таланте — едва ли не самом крупном публицистическом таланте XIX века — было много именно шиллеровской проповеднической лирики, умел, касаясь декабристов, короткою фразой, двумя-тремя строчками *à parte*^{*}, намеком, анекдотом «ударять по сердцам с неведомою силою» и зажигать людей пятидесятых годов протестом к недавнему «николаевскому» прошлому, остатки которого они еще застали и переживали. Он удивительно «чувствовал» декабристов и научил чувствовать их своего читателя, и чувство инстинктивной силою своею заслоняло потребность в точном знании. История декабристов в руках Герцена явилась разрушительным тараном против современного ему врага — режима Николая I, — александровские корни события 14 декабря, как вопрос уже теоретический, не прямо прикладной, сравнительно мало его занимали. Группа Герцена создала эпос, поэзию декабристов. Ту боевую, приподнятую, по нервам быющую, беспокойную, требовательную поэзию, которой последние отзвуки прогремели — уже в цензурованных стихах — строфами «Дедушки» и «Русских женщин» Некрасова. Риторическая суховатость этих произведений не умаляет их типического значения. С меньшим талантом Некрасов допеваает, однако, именно Герценову песню о «красивом жесте» декабристов, мало заботную об исторической точности своего предмета, но почти до экстаза вдохновенную публицистическими целями. Как поэт-публицист Некрасов, певец «Несчастных», «Русских женщин», «Рыцаря на час», — ученик романтиков и сам романтик, и та тенденциозность, которую пропекают его лирику жрецы и поклонники «искусства для искусства», есть не иное что, как цинический романтизм, ищущий вы-

* Отдельно (фр.).

литься в красивый жест и сильный образ. Некрасовским «Русским женщинам» скоро уже сорок лет. Они пережили и реакционную критику восьмидесятников, и эстетическую проверку девяностых годов. Десятки раз указывалось на условность фигур в них, на растянутость обеих поэм, на вялость образов, небрежность стиха, плохие отглагольные рифмы. И все это правда: фигуры условны, поэмы растянуты, образы скудны, стих и рифмы неважные. И тем не менее «Русские женщины» живут, не потеряв после придинок критики даже десятой доли своего обаяния, и будут жить, и еще внуки наши прочтут их с холодом восторга, бегущим вдоль спины и шевелящим волосы на голове. Потому что гражданская «красота жеста» в символе Волконской пережила навеки самое Волконскую.

А — вот некрасовское описание торжественного возвращения декабриста из ссылки в родную усадьбу:

Все, уж давно поджидая,
Встретили старого вдруг..
Благословил он, рыдая,
Дом, и семейство, и слуг,
Пыль отряхнул у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого Бога
И, покрестившись, сказал:
Днесь я со всем примирился,
Что потерпел на веку..
Сын пред отцом преклонился,
Ноги омыл старику;
Белые кудри чесала
Дедушке Сашина мать,
Гладила их, целовала,
Сашу звала целовать.

Ведь здесь — что ни слово, то житейская фальшь: никогда ни один русский человек не возвращался домой с чужбины таким образом — с омыванием ног, с крестами не пред красным углом, но пред иконою, снятою с собственной шеи.

Это не бытовая, русская, а библейская какая-то картина. И герой ее — конечно, не русский генерал и не русский политически преступник, а «человек в хламиде». Разумеется, между настоящими возвращенными декабристами и этими отвлеченных амидными мужами было весьма мало общего. В отрывках из начатого Л.Н. Толстым романа «Декабристы» нам оставлен неподкупно правдивый художественный образ одного из декабрьских «поворотников», Петра Лабазова, — глубоко симпатичный, привлекательный, теплый, милый, но, разумеется, не заключающей в себе ровно ничего библейского, а в подробностях даже как бы несколько юмористический. Приехал декабрист в Москву, как все добрые люди, поселился себе в гостинице у Шевалье и живет: и ног-то этому прелестному старику не моют, а просто едет он с дороги париться в Сандуновские бани к Каменному мосту, а на другой день добродушно и патриархально принимает визиты, и домашние очень старательно убирают от него вино, чтобы старец не выпил лишнего. Разумеется, и Некрасов житейски видел в декабристах совсем не оперных старейшин из «Юдифи», а просто хороших стариков — обмолвился же он в «Медвежьей охоте» таким, не особенно-то почтительным определением кого-то:

Глуп, речист —

И стар, как возвращенный декабрист.

Но настроению эпохи нужны были гражданские идеалы, а не действительность, нужны были возвышающие обманы, а не обыденная истина — и до настоящего декабриста, моющегося в Сандуновских банях, никому не было дела, а декабрист, которому сын фантастически омыл ноги, всем оказался нужен, близок, дорог. Быть может, потому отчасти и остался неоконченным роман Толстого в 1861 году, потому и застрял он на первой главе, что гениальный худож-

ник сразу увидел, что прямолинейный реализм его придется уж очень не ко времени. Нет никакого сомнения, что, если бы начальная глава «Декабристов» появилась в печати, когда была написана, а не четверть века спустя, она вызвала бы сильную и неприятную для Толстого бурю — не за декабриста только, конечно, но за весь свой сатирический и «реакционный» тон. Перечитав эту главу, я нарочно снял с книжной полки для сравнения «Взбаламученное море» Писемского, наиболее обруганный прессою шестидесятих годов роман-памфлет того времени. Отрицательный тон грубоватого и неглубокого ворчуна Писемского показался мне детским лепетом сравнительно с отрицательным замыслом и первым приступом к нему глубочайшего скептика — Толстого. Язык его каждою фразою хлещет, как плеть, колет, как стилет. Бывают романические периоды, когда обществу совершенно не нужно, чтобы поэт, публицист, историк были правдивы и рассказывали ему его прошлое, как оно было на самом деле, и жизнь, какова она на самом деле; когда ему необходим не Толстой, а Тиртей — не исследователь, который анализирует и повествует, а энтузиаст, который веровал бы и пел... Что? А вот что:

Пел он о славном походе
И о великой борьбе;
Пел о свободном народе
И о народе-рабе;
Пел о пустынях безлюдных
И о железных цепях;
Пел о красавицах чудных
С ангельской лаской в очах;
Пел он об их увяданьи
В дикой далекой глуши
И о чудесном влияньи
Любящей женской души...
О Трубецкой и Волконской
Дедушка пел — и вздыхал,
Пел — и тоской вавилонской
Келью свою оглашал.

Таким-то образом и случилось, что в вопросе о декабристах по требованиям общества от пятидесятых до семидесятых годов включительно люди в хламидах заслонили настоящих деятелей, а рапсодия и анекдот заглушили повесть о смысле и последовательности событий.

И вот тем-то и дороги записки С.Г. Волконского, что оглашение их, снимая с декабрьской эпопеи романтическую окраску, придает ей взамен нечто более серьезное и важное для нашего времени: возвращает ей историю, устанавливает неотвратимую логику движения.

Читая записки Волконского, вы без страшных анекдотов и поэтической истерики начинаете понимать, что все эти Пестели, Волконские, Трубецкие были совсем не выразителями какого-то самоотверженно-либерального каприза, ни с того ни с сего разгоревшегося в лучшей части русского барства, и уж менее всего позволительно считать их *pecus imitatorum*^{*}, воспитанном французскими идеями, взятыми напрокат в Париже 1814 года, — как часто раздавались в том упреки. Сваливать происхождение и смысл события 14 декабря на «французский дух», принесенный нашими войсками из похода на Париж, было в моде и поощрялось при Николае I. Русская беспечность, русский небрежный скептицизм в политических вопросах помогали слишком многим и слишком долго раздвигаться с важною загадкою декабрьской вспышки высокомерными недоумениями вроде пресловутой ра-стопчинской шутки:

В Европе сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует — понятное дело.
У нас революцию сделала знать.
В сапожники, что ль, захотела?

* Стадо подражающее (*лат.*).

Гениальная прозорливость графа Л.Н. Толстого — одного из первых на Руси — постигла сквозь такие и сочувственные, и враждебные недоумения истинную подкладку дела. Роман «Декабристы» был начат молодым Толстым и брошен. Почему? Вовсе не по нецензурности сюжета, как думают. Декабрьское дело носило отражения — и очень подробные — во многих произведениях русской художественной литературы. Для примера назову хоть «Записки Сергея Чалыгина» Я.П. Полонского. Да и некрасовские «Русские женщины» современны «Войне и миру». Декабрьское дело в шестидесятых годах оставалось запретным, скорее, для исторического исследования, чем для беллетристического изображения. Я говорил уже, что в этом отказе от сюжета, быть может, сыграла некоторую роль общественная осторожность автора, тогда еще не столь бесстрашного в плавании против течения, как впоследствии. Но не одна же она — причиною и не главною же из причин. Нет, причина иная — более глубокая и не внешняя, а внутренняя. Просто Толстой всю жизнь свою не любил говорить о ветвях и листьях, когда не познал еще корней, а, пробираясь к корням своего сюжета, к источникам декабрьского дела, он уперся в великую эпопею 1812 года, и она захватила его, увлекла; и — вместо «Декабристов» мы получили «Войну и мир», огромное и великое предисловие к «Декабристам». Записки Волконского часто похожи на фактический и идейный конспект к «Войне и миру». Сходство мысли, чувств, настроений у действительных героев Волконского с таковыми же у вымышленных силою художественной интуиции героев Толстого часто почти чудесно. Для образца укажу хотя бы на следующую сцену Волконского, совсем юного офицера, во время Пултусского сражения: «Когда я в раздумье ехал туда, где начинались пушечные и ружейные выстрелы, я встретил незнакомого даже мне Остермана, который спросил у меня: «Кто ты?» Я ему отвечал: Волконский. «Какого ты Волконского сын?»

— Князя Григорья Семеновича. — «А при ком ты здесь?» — При фельдмаршале. — «Так ты без места теперь?» — Ищу его. — «Так будь при мне: я начал мою службу при твоём отце, ты начнешь ее при мне». — Эту встречу и теперь оцениваю. Начать боевую жизнь при Остермане — это искус (noviciat) не пустой. — Кто не вспомнит, кто не узнает в эпизоде этом рыцарских блужданий Николая Ростова по полю битвы при Аустерлице, его встречу с Багратионом и Долгоруковым, случайное ординарство его при первом» и т.д.

Отношение самого Льва Николаевича Толстого к неоднократно возбуждавшемуся вопросу, поскольку «Войну и мир» следует понимать летописью и портретною галереею действительно живших людей и бывших происшествий, было разное в разные времена его жизни. Я думаю, что можно не считаться с его прежними отрицаниями такой портретности и поставить их всецело на счет условных светских отношений, которыми стесняться «Толстой до 1882 года» тогда еще не разучился и во имя которых он не решился обидеть многих потомков признанием, что Долохов, Курагин, Друбецкой — живые портреты их предков: дедов и отцов. В настоящее время, — и очень недавно — воскресла от долгого забвения статья «Русского архива», где Толстой портретность «Войны и мира» признает; соглашался он с нею и в некоторых, оглашенных собеседниками яснополянских interview's*.

Как бы то ни было, и в «Войне и мире», и в «Записках Волконского» вы страница за страницей чувствуете точнейшее единство настроения: как накапливается нравственное недовольство русского общества самим собою; как бессильны разрядить эту тучу даже страшные громаы Отечественной войны; как чувство протеста делается господствующим, не-

* Интервью (англ.).

пременным, требовательным в обществе... И, в конце концов, во власти чувства этого очутился даже тот, в чьей личности протест видел своего прямого врага, несчастный счастливец, император Александр Павлович. Из записок Волконского выясняется лишний раз, что Александр I прекрасно знал о заговоре Южного общества гораздо раньше пресловутой истории с доносом Шервуда Верного. На одном смотре Второй армии в 1823 году государь лично сказал Волконскому, который был одним из деятельнейших агентов революционной организации: «Я очень доволен вашей бригадой; Азовский полк — из лучших полков моей армии, Днепровский немного отстал, но видны и в нем следы ваших трудов. И, по-моему, гораздо для вас выгоднее будет продолжать оные, а не заниматься управлением моей Империи, в чем вы, извините меня, и толку не имеете».

И это была не угроза, но лишь предостерегательный намек. Доносы, полученные Александром в Таганроге, остались без движения. Известны многозначительные слова императора Васильчикову в ответ на донос о политическом заговоре 1821 года: «Я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения; не мне подобает карать». Да не только разделял и поощрял, а непосредственно и властно проводил в жизнь. Государь, который в начале правления пришел в гнев из-за выражения в манифесте «*нашему сенату*» и указал звать сенат *правительствующим*, конечно, был конституционалистом не меньше Тургенева. А вспомним, как с обычной чуткостью своею к историческим настроениям описывает Л.Н. Толстой впечатления петербургского общества от речи Александра I в 1810 году при открытии Государственного совета. «Бицкий озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности заседания... и с восторгом рассказывал о том. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционны-

ми монархами. Государь прямо сказал, что совет и сенат суть государственные сословия; он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердые начала. Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны, рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза.

— Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории, — заключил он».

Связь с такими «новыми эрами», сознание, что он-то и есть их родоначальник, невольно должны были влиять на зыбкую душу Александра Павловича и располагать ее к широкой снисходительности. Записка Бенкендорфа от 1820 г. о тайных обществах найдена пять лет спустя, уже по смерти Александра I, в кабинете его в Царском Селе, даже без пометок. Глубокое убеждение Волконского — что Александр I вовсе не хотел преследовать революционеров, по крайней мере, гласно. Правда, последнее условие Волконский комментирует скорее чувством гордости императора, а не тем мучительным разладом с самим собою, в котором прошли последние годы Александра Павловича. Но это мнение можно приписать и некоторому пристрастию со стороны мемуариста, той органической личной антипатии, которая несомненно существовала между ним и императором. Не гордость, а иные психологические причины парализовали наказующую волю последнего: в минуту мучительной искренности вырвалось у него к Васильчикову трагическое — «не мне карать». Как ни изменился характер Александра I к концу царствования, как ни исказила его реакционная полоса, все же нельзя забывать, что государь был человек еще далеко не старый, почти молодой, и «сегодня» русских конституционалистов было для него — недавнего друга Новосильцева, Чарторыжского — не далее, как «вчера». Ведь только что в 1814 году Александр Павлович заставил «ничему не научившихся и ничего не забывших» Бурбонов дать конституционную хар-

тию Франции, а в 1818 г. сам дал конституцию полякам, отметив это событие либеральной речью, которая всколыхнула русское общество, как прокламация реформ, и для него приготовляемых. Раздавить такое свое «вчера» грубою силою было бы для Александра Павловича видом нравственного самоубийства, которое вряд ли обошлось бы ему легко. Ходили слухи, что донос о заговоре Второй армии потряс его до решимости немедленно отречься от престола... и в это время застигла его в Таганроге смерть...

Что война не принесет мира, что, когда покончится расчет с врагом внешним, начнутся счеты со злейшим и врагом, и благодетелем внутренним — с общественною совестью, это хорошо сознает каждый читатель Л.Н. Толстого, следя за князем Андреем Болконским при Шенграбене, слушая разговор его с Пьером Безуховым в бараке бородинского лагеря. Страшное чувство разочарования самими собою и необходимая потребность заполнить новым содержанием пустоту разрушающейся жизни прошлого века, сбить от себя наследия *ancien régime*^{*} для новых начал и идеалов, гнездились в сердцах образованных людей, опять-таки начиная самим государем Александром Павловичем. Неспроста бросил Толстой Пьера Безухова французским пленником, в поиски за житейскою мудростью, в народ, к Платону Каратаеву. Недаром странная народная легенда о старце Федоре Кузьмиче верила, что сам Александр I не умер, но лишь променял царскую порфиру на мужицкий армяк. Да и помимо всяких легенд, какова была в конце царствования психологическая действительность монарха? «Благословенный» — какая ужасная ирония звучит в этом прозвище, как сопоставить его с духовным самоистязанием, которым мучил себя под конец жизни несчастный царь, этот «грозный ангел», этот «спаситель Европы». Пять лет ужасной тоски,

* Старого порядка, строя (*фр.*).

метания в погоне за верою — именно мужицкою, чудотворною верою. Царь стучится с таинственным покаянием к киевскому схимнику из мужиков, смиренствует и бьет поклоны среди монахов Валаама, который и посейчас еще «крестьянское царство», как удачно называет его Вас.Ив. Немирович-Данченко, а в то время был уже вовсе темною мужицкою общиною. Крюднер, Татаринова, «хам в рясе» Фотий, «хам в мундире» Аракчеев. В моде простецы и юродивые. Томление духа влечет многие беспокойные умы еще глубже: к хлыстовским и скопческим кораблям. Словом, верхи русской мысли еще бессознательно и неумело, нескладно, но уже говорят народу то, что на разные лады, но уже вполне сознательно заговорили пятьдесят лет спустя Толстой, Достоевский, Леонтьев, народники: «Учи нас Богу, учи нас вере, учи нас жить».

Белоголовый в своих «Воспоминаниях сибиряка» сообщил нам быт Волконского в ссылке, в Иркутске, на поселении, когда к концу царствования Николая I декабристам несколько полегчало. Это картина полного и резкого опрощения, даже оумажения. «С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами: летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым времяпровождением князя в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки». Он уже не мог жить в нанятом его женою барском доме и ютился в какой-то кладовой. «В гостях у князя чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапог. В салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клоч-

ками сена на платье и в своей окладистой бороде надушенный ароматом скотного двора или тому подобными несалонными запахами». Это бегство к зипуну и бороде, — уклонение от своего природного круга и общества — едва ли не результат того же душевного отчаяния, что вызвало из уст Пушкина вопли: «Угораздило же меня родиться в России с умом и талантом». Это — сознание ненужности, неприменимости своей к тогдашней жизни в качества человека образованного, самостоятельного и вдобавок свободомыслящего. Я бессилён как представитель интеллигенции, я не хочу быть ни чиновником, ни «капралом», живущими за счёт соков крестьянского царства, — так пойду же к мужикам, в это самое крестьянское царство, которое всех нас кормит. Буду жить, как оно — пассивный, бездеятельный, но честный, — до тех пор, пока не переменятся условия нашего быта и не позволено будет спящим силам проснуться и воспрянуть. Белоголовый же — свидетель, что мужичество быстро слетело с Волконского в Москве, по возвращении из ссылки, когда он очутился в молодом энергичном обществе эпохи реформ, к которому проникся глубоким сочувствием и уважением, часто отражающимся и в его «Записках». Старик уверовал в новое общество, к которому был возвращен, в новую жизнь, в новые целесообразные формы деятельности — и растаял его «александровский пессимизм», заставивший его отвернуться с презрением от своего общественного круга и искать утешения в темной, невежественной, но сердечной и дельной массе, в народе, который, как видел он сам в Отечественную войну, спас Россию в то время, когда привилегированные классы систематически ее губили. Да, русская «интеллигенция», несомненно, именно в эти страшные годы открыла народ свой, открыла мужика, поняла, что отечество — в нем, темном и молчаливом, удивилась и преклонилась пред ним в лице лучших своих представителей. Из среды декабристов же вышла желчная сатира «Земля Безглавцев»

Кюхельбекера — описание фантастического путешествия на Луну, в страну Акефалию, где все воспитание направлено к тому, чтобы совершенно уничтожить в человеке голову и сердце, а ходячею монетой по всем сделкам, общественным и частным, приняты палочные удары и побои; одной черни в Акефалии позволено сохранять сердце и голову, совершенно излишние, по мнению высших классов, части тела человеческого. Кюхельбекер так же стремился к опрощению в быту, речи и costume, как и Волконский, а в ответе своем на вопросные пункты следственной комиссии указал, что бросился в заговор по глубокому уважению своему к характеру народа русского и по желанию спасти его от порчи нравов, в которую втягивают его условия несносного рабства и разложение высших классов. Поразителен в этом смысле рассказ Волконского о свидании его с Александром I, к которому послан он был от Винценгероде оправдываться на «воплъ чиновников, которым препятствовал Винценгероде делать закупы по фавулезным ценам, и таковой же вопль господ помещиков, которые, как тогда и теперь, и всегда будут это делать, кричат об их патриотизме, но из того, что может поступить в их кошелек, не дадут ни алтына». Государь, благосклонно приняв Волконского, сделал ему следующие вопросы:

1) Каков дух армии? — Я ему отвечал: «Государь! От главнокомандующего до всякого солдата все готовы положить свою жизнь в защиту отечества и Вашего Императорского Величества».

2) А дух народный? — На это я ему отвечал: «Государь! Вы должны гордиться им: каждый крестьянин — герой, преданный отечеству и Вам».

3) А дворянство? — «Государь! — сказал я ему. — Стыжусь, что принадлежу к нему, — было много слов, а на деле ничего».

Государь тогда взял меня за руки и сказал: «Рад, что вижу в тебе эти чувства; спасибо, много спасибо». И в то же вре-

мя просил Волконского не проговориться Аракчееву, что он одобрил действия Винценгероде... Какое трагическое раздвоение мысли и воли! Психология Александра I — великий сюжет для драматургов будущего.

Жестокий приговор Волконского современному дворянству не напрасен. Годы гвардейской распущенности в последнее время царствования Екатерины и затем гатчинское «капральство» Павла I внесли совершенную деморализацию в нравы высшего государственного сословия. Известно мнение Ростопчина о гатчинцах: «Самый честный из них заслуживал быть колесованным». Смесь этой опричнины с оргиастами целого ряда женских царствований водворила в высшем государственном классе русском сумбур невообразимый. Иллюстрации дворянского разложения рассыпаны по запискам Волконского щедрою рукою. Весьма часто мемуарист отказывает своим коллегам по сословию даже в самом примитивном условии порядочности: в военной храбрости. Так, во время несчастного фридландского сражения Волконский, посланный Беннигсеном вместе с английским генералом Гутченсоном в город Фридланд на рекогносцировку, встречен был в ратуше «зрелищем весьма неожиданным и стыдным для русского имени, особенно ввиду иностранца: комната была наполнена двумя генералами и многими штаб- и обер-офицерами, не ранеными, отлучившимися от своих мест в позиции. Это зрелище для меня было неожиданное; утаю я имена двух генералов, а прочие, тут находящиеся, были мне не известные лица; но мимоходом скажу, что эти два генерала были из числа тех, что у нас называются «скороспелками гатчинского павловского времени». «Коренной» полк Волконского — кавалергардский — славился составом корпуса офицеров, но «в общем смысле моральной жизни» автор не решается сказать об укладе полковой жизни ничего хорошего. «Во всех моих товарищах, не исключая и эскадронных командиров, было много светской щекотливости, что фран-

цузы; называют: *point d'honneur*^{*}, но вряд ли кто бы выдержал во многом разбор собственной своей совести. Вовсе не было ни в ком религиозности, скажу даже, во многих безбожничество». «Шулерничать не было считаемо за порок, хотя в правилах чести были мы очень щекотливы. Еще другое странное было мнение — это что любовник, приобретенный за деньги, за плату (*amant entretenu*^{**}), не подлец». Невежество в этом избранном офицерстве царило глубокое: «Книги не сходили с полок». Известен отзыв корпусного командира Васильчикова, на запрос П.М. Волконского, отчего среди офицеров после Отечественной войны стало развиваться вольнодумство:

— Причину надо искать в различии времени; немногие из нас читали тогда газеты, никто не говорил о политике, служили утром и веселились вечером.

И веселились яро.

Препровождение времени военной молодежи в мирное время, ухарство, пьянство, шалости самого дерзкого и пошлого свойства, описываемые Волконским, опять-таки можно принять за новые страницы из «Войны и мира»: бурное буршество Волконского и Лунина в Петербурге, на Черной речке, битье стекол в доме французского посла Коленкура и т.п. — все это сцены, достойные оргий Долохова, Анатоля Курагина и молодого Пьера Безухова. Вне этих безобразий кичились только «быть фронтовиками», хотя суворовские и Наполеоновы войны уже успели доказать полную практическую неприложимость фронтовой и вахтпарадной страды, которую привил России Павел и от которой избавил ее только полвека севастопольский разгром и — через пятнадцать лет еще — прямой плод его: реформа всеобщей воинской повинности. Опорные пункты и покровительство это тор-

* Честь (*фр.*).

** Любовник на содержании (*фр.*).

жествующее фронтовое направление находило в самом государе Александре Павловиче, на пристрастии которого к шагистике англичане в Париже провели даже весьма ловкую политическую игру (Шильдер). Император с гордостью выражался иногда: «Это по-нашему, по-гатчински», — и не мог равнодушно видеть свободного ружья солдатского: так и тянуло его проделать все должные приемы сообразно артикулу. Великие князья Николай и Михаил Павловичи встречают Сергея Волконского, въезжающего в Петербург курьером с театра турецкой войны, от Каменского; встреча мимолетна, лошади несутся стрелой, но «капральский взгляд» воспитанных Гатчиною князей успевает подметить у курьера недозволенные формою усы, и турецкий воин встречен во дворце весьма холодно, хотя привез хорошие вести. Придворный «капральский» тон делал музыку гвардии и армии, а, как видим и увидим, сам был антипатичен и нехорош. Проявление офицерской независимости — остатки «екатерининского духа» — возбуждало в государе гнев и ненависть, хотя бы выражалось только в пустых и безвредных шалостях. Волконский с товарищами разгуливает по дворцовой набережной, отпуская остроты насчет карьеристов-низкопоклонников, забегających — даже на прогулке — вперед, чтобы раз десять попасться на глаза и сделать фронт высшему начальству. Александр Павлович делает сцену командиру кавалергардов Депредадовичу: «У вас не офицеры, а якобинцы». Старик едва удержался на службе. Богатая родовая знать с историческими фамилиями и своевольными традициями XVIII века, когда она лейб-кампанствовала и устраивала «петербургские действия», становилась все более и более неудобною для двора, прошедшего чрез гатчинскую школу. Понадобился немецкий солдафон Шварц в Семеновский полк — назначение, как известно, вызвало военный бунт, стоивший многих разбитых жизней и карьер. Менее известна, но еще более характерна норовская история. Василий

Сергеевич Норов служил в лейб-егерском полку и считался служакою, страстно любившим военное дело. Однажды великий князь Николай Павлович, командовавший гвардейским корпусом, при фронте разругал Норова и, топнувши ногою по земле, обрызгал его грязью. Норов подал в отставку, и то же сделали все офицеры полка. Это было сочтено за бунт. Норов и многие офицеры были переведены теми же чинами в армейские полки. Норов вскоре вышел в отставку, поселился в Москве, сошелся здесь с декабристами и очутился в их числе. Разумеется, при вахтпарадном «капральском» направлении, какое приняло русское военное дело, сплошь пропитавшееся беспощадною аракчеевщиною, спесивые Норовы и гуманные Волконские оказались куда менее ко двору, чем Шварцы и Берги, устами одного из которых Л.Н. Толстой рассказал с неподражаемым юмором сцену столкновения, как раз аналогичного с норовским. «Берг с наслаждением рассказал, как великий князь (Константин Павлович), очень разгневанный, подъехав к нему, закричал «Арнауты» (Арнауты — была любимая поговорка цесаревича, когда он был в гневе) и потребовал ротного командира. «Поверите ли, граф, я ничего не испугался, потому что я знал, что я прав. Я, знаете, граф, не хвляясь, могу сказать, что я приказы в полку наизусть знаю и устав тоже знаю, как Отче наш на небесах». Поэтому, граф, у меня по роте упущений не бывает. Вот моя совесть и спокойна. Я явился (Берг привстал и представил в лицах, как он с рукой к козырьку явился. Действительно, трудно было изобразить в лице более почтительности и самодовольства). Уж он меня пушил, как это говорится, пушил, пушил, пушил не на живот, а на смерть, как говорится, и арнауты, и черти, и в Сибирь, — говорил Берг, проницательно улыбаясь. — Я знаю, что я прав, и потому молчу, не так ли, граф? — Что, ты немой, что ли? — он закричал. — Я все молчу. Что же вы думаете, граф? — На другой день и в приказе не было: вот что значить не потеряться».

Лишь одну черту хвалит Волконский в своих сослуживцах-сверстниках, забубенной кавалергардской молодежи: общий порыв в ней мстить французам за поругание русской военной чести поражениями при Аустерлице и Фридрихсвальде. Блестящая характеристика Л.Н. Толстым унылого и сконфуженного настроения русской армии после Тильзитского мира представляет собою как будто развитие коротких строк о том же Волконского. Часть о Тильзите у Толстого завершается офицерским кутежом — с горя. Волконский — свидетель, что это верно. Офицерство именно заливало вином свое смущение и досаду. И не брезговали таким препровождением времени даже столь избранные натуры, как сам Волконский. Чтоб заглушить свое негодование на заключение унижительного мира, Волконский и барон Шпрингпортен из свиты Беннигсена «с горя (по русской привычке), не имея других питий, как водка, выпили вдвоем три полуштофа гданьской сладкой водки, и так мы опьянели, что, плюя на бивуачный огонь, удивлялись, что он от этого не гаснул».

Кавалергардский полк был составлен из сливок общества (Левенвольд, Левашов, Уваров, Михайло и Григорий Орловы, Билибин, Васильев), воспитанного французскими аббатами и дворянами-эмигрантами. Неудивительно поэтому, что держался в нем с такою силою западный принцип *point d'honneur*. Но в других частях армии понятия о личной чести стояли, по-видимому, невысоко. Не все были Норовы, чаще попадались Берги. Тимирязев в своих записках признается, что цесаревич Константин Павлович бил юнкеров — детища знатных фамилий — из собственных рук. В Берлине начальник Волконского генерал Винценгероде, в горячности по ошибке приняв за рядового, дал пощечину офицеру. Волконский при отвратительном зрелище этом расплакался навзрыд. Узнав о своей оплошности, Винценгероде очень смутился и пожелал объясниться с оскорбленным офицером. Когда последнего привели, Винценгероде сказал ему: «Я неумышлен-

но перед вами виноват; я принял вас за рядового, и поэтому мой неумышленный поступок не могу другим поправить, как предложить дать вам сатисфакцию поединком, несмотря на наше обоюдное звание». Но офицер не понял благородного поступка начальника и, к стыду Волконского, ответил: «Генерал, не этого я от вас прошу, но чтобы при случае не забыли меня представлением». Тут уже Волконскому пришлось за соотечественника сознаться, что «этот подлец» не заслуживал его сочувствия.

Генералитет, руководящий русскими армиями, в портретах с натуры Волконского едва ли не еще печальнее, чем в художественных характеристиках Толстого, хотя последний, как известно, из всех генералов Отечественной войны относится с сочувствием лишь к Багратиону, Дохтурову и Коновницыну. М.И. Кутузов в данном случае не в счет, так как он для Толстого — не столько деятель, сколько ходячая идея: воплощение той слепой стихийной логики, какой, по мнению Л.Н., независимо от всяких военных наук и личной воли полководцев единственно и исключительно подчинено грозное явление войны. Обвинительный акт С.Г. Волконского очень выразителен. Горькое пьянство Платова парализует движение его отряда на отступающую армию Наполеона; еле вытрезвись, он едва успевает захватить в Смоленске отсталых французов. Генерал-майор Иловайский 4-й, отбирая у французов обозы с церковною утварью и образами, награбленными в московских церквах, отделял лучшие и богатейшие вещи — якобы для «храмов Божьих на Дону» (на что тоже не имел права), в действительности же — для собственных своих кладовых. Чернышев идет в гору дутыми победами, маршами не более трудными, чем переход с Марсова поля на Семеновский плац. Михайловский-Данилевский — «лактей» и т.п. Взгляды этих людей на войну по большей части были ужасны. Умный, острый и даже мягкосердечный в жизни Ланжерон прямо проповедовал, что для успеха дела нужно,

чтобы на войне солдат чувствовал себя разбойником. Под Силистрией он откровенно заявил Волконскому: «Oh, je sais comment enthousiasmer le soldat russe et je donnerai avant l'assaut un ordre du jour très laconique: коли, граби и блуди — oui; ma foi, блуди, et je suis sur de la réussite»*. Главкомандующий в ту же турецкую войну, гр. Н.М. Каменский 2-й — какое-то отвратительное чудовище, смешанное из злости, трусости, зависти, всех семи смертных грехов. Он сажал пленных на кол, обмазывал их, нагих, медом и выставлял на съедение москитам; подличал против собственных офицеров, гадкими насмешками вынуждая самых способных и возбуждавших в нем ревность бросаться на верную смерть и погибать напрасно (гр. Сиверс, Кульнев); был совершенно бездарен и тиран, каких мало, как в служебных отношениях, так и в частных. Личности Н.М. Каменского и брата его Сергея вполне соответствуют превосходным художественным портретам, набросанным Н.С. Лесковым в его рассказе «Тупейный художник». Это «крепостное» сказание, посвященное «благословенной памяти святого дня 19 февраля 1861 года», — едва ли не самое трагическое из всех, Лесковым написанных. Отец Каменских, знаменитый фельдмаршал Михаил Федотович, в котором в 1805 году хотели видеть — и весьма неудачно — спасителя отечества, был впоследствии убит своим камердинером за нестерпимую жестокость.

Мрачные картины и характеристики военного быта усугубляются указанием Волконского о царивших между высшими чинами армии алчности, казнокрадстве, плутовстве. «Беспорядок в снабжении войск всем, оным нужным, был следствием, к стыду русской чести, всех тех незаконных денежных оборотов, которые шефы полков имели с провиант-

* О, я знаю причину энтузиазма русских солдат и всегда отдаю перед штурмом лаконичный приказ <коли, граби, блуди> — да мое кредо <блуди>, и мне сопутствует успех (*фр.*).

ской и комиссариатской комиссией. Эти шефы по подрядной цене брали от комиссии денежные выдачи, клали оные себе в карман и снабжали войска насильственными способами от жителей. После замирения все эти счета поступили в учрежденную в Мемеле комиссию, которая ничего не распутала; деньги, незаконно приобретенные, остались в карманах тех, которые по сделке между собою выдавали и получали, а одним только последствием было, что провиантские и комиссариатские чиновники, носившие до того общий армейский мундир, были лишены оного и не считались более по рангам военным, а распределены были по классам гражданским». В войну 1805 года войска были доведены до такого бедственного и голодного положения, что один отряд отбивал у другого вооруженною рукою продовольственные транспорты: дело о «разбое» Васьки Денисова, напавшего с голодным эскадром своим на обоз пехоты, и фигура проходимца Телянина, провиантмейстера из штрафованных офицеров, оказываются, таким образом, списаны Л.Н. Толстым прямо с живой натуры. Знаменитый высочайший смотр русских войск под Парижем «стал в копейку полковым командирам, наверставшим впоследствии этот расход обсчетом отчетности полковой, иногда с грехом и в обиду нижним чинам. Таков был тогда быт русского солдата: снаружи казалось все гладко, глянцевито, чисто, а копни внутрь, — все шероховато, подмазано, а часто и гадко, бессовестливо».

Жизнь солдата слагалась страшно. Жутко читать, что солдаты на войне чувствовали себя лучше, чем в мире, и фронтовая служба в Петербурге казалась им ужаснее всякого сражения. После Тильзита кавалергардам предстояло до русской границы четыре перехода. «Будущность тяжелой казарменной петербургской жизни, предстоящие опять тяжкие фронтовые занятия, манежная езда, ученье так действовали на наших солдат, что в этом отборном войске родилось отчаяние и на первом ночлеге оказались дезертиры.

Для охранения от этого на втором переходе бивуак был окружен ночью цепью, но и с оной оказались побегу, и в четыре перехода исчислено побегов около ста человек». Когда же полк вошел в Петербург и вступил в свои казармы, то в первую ночь вступления один кавалергард из нижних чинов повесился — «вероятно, из отчаяния от мысли о предстоящей ему каторжной жизни».

«Дедушка» — декабрист, написанный Некрасовым едва ли не с С.Г. Волконского, с ужасом говорил маленькому впечатлительному Саше:

Душу вколачивать в пятки
Правилом было тогда.
Как ни трудись, недостатки
Сыщет начальник всегда:
«Есть в маршировке старанье,
Стойка исправна совсем,
Только заметно дыханье...»
Слышишь ли?.. дышат зачем!
А не доволен парадом, —
Ругань польется рекой,
Зубы посыплются градом,
Порет, гоняет сквозь строй,
С пеною у рта обрыщет
Весь перепуганный полк,
Жертв покрупнее прищет
Остервенившийся волк...

И люди, не боявшиеся штыков Наполеона, не бегавшие от турецких ятаганов, теряли головы от перспективы смотров «остервенившимися волками», бежали от начальства куда глаза глядят, рискуя «зеленою улицею», вешались в петле, уродовали себя...

Пальцы рубят, зубы рвут —
В службу царскую нейдут.

В рассказанном случае о столкновении Винценгероде с офицером, даже такой мягкий и гуманный человек, каким рисует Винценгероде Волконский, находил возможным оправдываться, что треснул офицера по зубам, приняв его за рядового: бить по зубам солдата даже для столь порядочного и симпатичного человека, притом иностранца по рождению и воспитанию, кажется делом самым обыкновенным, извинительным. Русский адъютант — Волконский — оказался в данной истории много выше душою своего немца генерала. Когда Винценгероде извинился: «Да ведь я думал — это простой рядовой», — Волконский возразил ему: «Да и в таком случае было бы ваше действие предосудительно». Прекрасные слова 1814 года, увы, к сожалению, еще не всеми офицерами усвоенные даже и к XX веку.

А между тем у этого голодающего, забиваемого изо дня в день кулаком и палкою, безгласного, серого стада людского приходилось учиться и храбрости, и самоотвержению, и бескорыстию. Почти без исключения факты, приводимые Волконским из быта солдатского, полны доброго, хорошего света — рассказчик умиленно и убежденно свидетельствует, что команда была бесконечно лучше своих тогдашних командиров. После Батинского сражения, где русскими взят был турецкий лагерь, — «не помню, какого полка пехотного, рядовой забрался в одну палатку (вероятно, где помещался войсковой казначей) и сделался хозяином груды мешков с золотою и серебряною монетою. Вместо того чтоб воспользоваться одному этой несметной для него поживой, он вот как хозяйничал оною. Он поднял полы палатки и призывал всех проходящих вразброд по лагерю солдат и наделял горстями монет каждого, не помня о черном дне, ожидающем русского солдата при отставке, когда часто он нуждается и в насущном хлебе, — и так щедро наделял каждого, что проходивший мимо него ротный командир остановил его расточительность и едва спас в пользу счастливица несколь-

ко мешков. Я сказал: в пользу этого солдата, но сохранена ли ему остальная его добыча — за это не ручаюсь. Этому происшествию я сам был свидетель». Вот вам и Ланжероново «граби и блуди!». И это в то время, как — при счете сданного турками оружия — даже генералы клянчили у приемщика, Волконского, дорогие сабли и т.п. ценности. Удивительно ли, что «имеющие душу» молодые офицеры, свидетели таких деяний, проникались презрением к своему брату, эполетоносцу с капральскою душою, и выучивались ценить «святую серую скотинку», которая под их командою покорно и бессознательно рушила армии, брала крепости и — вскоре отразила двенадцать язык? В 1816 году масоны явились выразителями этих новых военно-демократических тяготений, дав торжественный обед гвардейским фельдфебелям и унтер-офицерам, причем эти люди изумили общество, их угощавшее, порядочностью своего поведения, чувством собственного достоинства в речах и манерах. Бесспорно, многих офицеров, вроде того же Сергея Волконского, должна была жестоко угнетать мысль о незаслуженной исторической несправедливости, которой жертвою на глазах их вновь сделалась темная народная масса. Знамениты солдатские слова о войне 1812 года: «Ну, слава Богу, вся Россия в поход пошла».

И действительно, Отечественная война была походом «всей России». Всенародный патриотический подъем дружным восстанием спас русское государство от гибели, от политического порабощения, но — чем же теперь благодарило своих спасителей государство? Что эти спасители для себя спасли? Решительно никаких прав и выгод. Мужик повоевал, удивил своею доблестью всю Европу, отвоевал и теперь возвращался в ту же помещичью крепость, что тяготела над ним до войны. Вышло, что, спасая Россию и Европу, он для себя самого спас только ненавистное крепостное право, что подвигами своими он только закабалил себя еще на пятьдесят лет вперед. Чудовищность такого противоестественного

результата выступила вперед тем ярче и рельефнее, что ведь всем было известно: Наполеон-то, уничтоженный этими мужиками, нес им свободу от крепостной зависимости. И вот — теперь спасенное государство было бессильно и безвольно сделать в благодарность своему крестьянину то, что сулил ему «антихрист», «враг рода человеческого», мужицкою силою раздавленный враг. Напротив: мы знаем, что — словно в отпор новым аболиционистским веяниям — крепостное право даже как бы ожесточилось и огрубело в это время. Двадцатые годы минувшего столетия полны ужасами помещичьего произвола. Это время Каменских, Измайловых и им подобных. В Грузии Настасья Минкина, любовница всевластного Аракчеева, неистовствовала не менее пресловутой екатерининской Салтычихи, — и разница во временах была не в пользу нового. Екатерина упрятала Салтычиху в тюремный затвор, а внук ее, когда ведьму Минкину зарезали дворовые люди, писал Аракчееву сантиментальные письма о великой его потере и допустил розыск самой возмутительной свирепости. Все эти роковые непоследовательности и нелестные контрасты не могли не удручить лучших умов русского общества, не могли не отталкивать их от правительства, ударившегося к тому же в крайнюю реакцию, не будить протеста — сперва идейного, потом действием.

Вот почему повторяю еще раз: логично и хорошо сделал Лев Николаевич Толстой, что отправил князя Андрея на тот свет до окончания романа, иначе ему нельзя было бы заключить «Войну и мир» в декабре 1820 года: жизнь князя Андрея не могла бы разрешиться ни в какое личное, домашнее счастье и несчастье — конец настиг бы его лишь на общественно-политической арене. И, конечно, прав Николенька в своих ожиданиях, а Пьер Безухов в своем ответе. Толстому было бы некуда направить князя Андрея, кроме как в верховную думу Пестеля, а оттуда в сибирские рудники, как, вероятно, и направились туда впоследствии и этот доб-

родушный, страстный, чувствительный и бесконечно милый умница Пьер Безухов, и пылкий Васька Денисов, и холодный, честолюбивый бретер Долохов: люди разных характеров, направлений, темпераментов, но все недюжинные, все сверх уровня века, все объединенные одним чувством: задыхаемся! Больше так жить нельзя!.. Пьера Безухова вспоминаешь, читая страницы Волконского о «Русской правде», Ваське Денисову был бы конец на Сенатской площади, Долохов, как исторически схожий с ним удалец Лунин, задохнулся бы где-нибудь в Акатуе — этом страшном Акатуе, о котором до сих пор поет сибирская варначеская песня:

Славное море — привольный Байкал,
 Славный корабль — омулевая бочка.
 Ну, Баргузин! пошевеливай вал, —
 Плыть молодцу недалечко.
 Долго я звонкие цепи носил;
 Душно мне было в горах Акатуя.
 Старый товарищ бежать пособил,
 Ожил я, волю почуя...

 В бочке невесело быть омулям, —
 Рыбки! утешьтесь словами:
 Раз побывать в Акатуе бы вам,
 В бочку полезли бы сами.

Прочтите записки Волконского, проверьте по ним роман: вы убедитесь, что это роковая, органическая последовательность того общества, что должно быть так, что не могло быть иначе, чем так. 121 человек пошли в Сибирь после декабрьского дела: именитые, титулованные, цвет русского дворянства, которое «устыдилось за свою принадлежность к нему», ростопчинская «знать, которая захотела в сапожники». Только 19 выжили до радостного дня воскресения к свободе — только 19 вернулись на родину по высочайшему манифесту Царя-Освободителя... Но по крайней мере эти

19 седых стариков имели предсмертную радость видеть исполнение главной из тех великих надежд, ради которых они «во глубине сибирских руд хранили гордое терпенье».

75-летний Волконский, как старец Симеон Младенца Христа, принял на свои руки младенца крестьянской свободы, увидел «народ освобожденный и рабство, павшее по манию царя», — и осталось ему только умереть... И он умер.

С.Г. Волконский — давний и хороший друг каждого русского человека, знакомого с отечественною литературою. Мы знали его идеи в кн. Андрей Болконском. Сближает Волконского с кн. Андреем и тот огромный и немножко влюбленный интерес к великому врагу — благодетелю нашему, Наполеону, которым кн. Андрей так полон в начале романа, а Волконский горел им даже и после войны, во время «ста дней». Император Александр Павлович — в ранней молодости сам поклонник Наполеона, пока последний не оскорбил его ответною нотою о расстрелянии герцога Энгийенского, — Александр Павлович настолько знал эту любовь своих воинов-победителей к побежденному гению войны, что — хорошо знакомый с увлекающимся характером Волконского — счел нужным предупредить его друзей, когда тот поехал в Париж из любопытства видеть возвращение Наполеона с острова Эльбы: «Если он возьмет на себя какое-либо поручение ко мне от Наполеона, я его прямо в Петропавловскую крепость». Вообще в неудовольствиях, возникавших между Наполеоном и Александром, имея, к несчастью, слишком тяжкие политические последствия для Европы и России, играла немалую роль ревность русского императора к громадному военному и государственному авторитету главы французов. Шильдер выясняет это неоднократно. Помимо всех патриотических и политических соображений, Александру доставила огромное личное счастье, несравненное удовлетворение личного самолюбия победа над Наполеоном — гением войны, в сравнении с которым, по собственному выражению Александра

Павловича, «он еще недавно считался почти дурачком». Как хорошо доказал Шильдер, эти самолюбивые радости Александра I не дешево обошлись России, нарушив наполеоновскими войнами не только естественный ход молодого государства, энергично устремившегося было на путь внутреннего развития, но и оторвав нас почти на целое столетие от Франции. Молодая русская сила надолго закабалилась невыгодным служебным союзом с пруссаками, с Австрией Меттерниха — со злыми гениями России, работая для которых, она всегда работала во вред самой себе, против своей пользы и против своей славы. Ошибка сделать из Наполеона врага России, тогда как и воля его и прямая выгода была оставаться ее другом, отбросила нас на три четверти века от прямых наших исторических задач в Азии и на Балканском полуострове. И сейчас еще не поправлены и не восполнены промахи и проигрыши, которых источником были наш европейский поход 1814 года и пресловутое спасение Европы. Настроение в пользу Наполеона после его падения было в молодом русском обществе господствующим.

Хвала! Он русскому народу
Великий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал, —

восклицал юноша Пушкин — почти в тот же самый год, как старый отставной генерал Василий Денисов кричал в деревне у Николая Ростова:

— Прежде немцем надо было быть, теперь надо плясать с Татариновой и m-me Крюднер, читать... Эккартсгаузена и братию. Ох! Спустил бы опять молодца нашего Бонапарта. Он бы всю дурь повыбил. Ну, на что похоже солдату Шварцу дать Семеновский полк?

Между князем Андреем и Александром I существовала глухая органическая антипатия; «князю Андрею всегда ка-

залось, что государю неприятно его лицо и все существо его». Так оно и должно было быть — по разности характеров этих людей: расплывчатая, двойственная, полная колебаний и двуличности, неясная натура императора инстинктивно отталкивала своего антипода и предчувствуемого, будущего, неперемного и деятельного врага в энергическом, беспощадном к себе, логически прямолинейном, крепком и умом и характером офицере и камергере. Ту же антипатию Александр I питал и к молодому Сергею Волконскому, и надо было пройти многим годам, чтобы государь поборол это предубеждение, да и впоследствии ласковость его к Волконскому — какая-то подозрительная, через силу. Чувствуется, что Александру был тяжел этот независимый, самостоятельный человек, скучавший бездеятельностью и пустотою двора в флигель-адъютантах, умевший сохранить уважение к Сперанскому, которого Александр не захотел отстоять против придворно-аристократической партии; делом тянувший к конституционным идеям, которыми юный император мечтательно забавлялся на словах. Читатель, конечно, помнит, что Л.Н. Толстой не пропустил случая сблизить князя Андрея со Сперанским: черта, необходимая для передового человека той эпохи. «Теперь судят и обвиняют Сперанского все те, которые месяц назад восхищались им, и те, которые не в состоянии были понимать его цели. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки других; а я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствование, то все хорошее сделано им, им одним». Этот суд князя Андрея в то же время и суд Сергея Волконского. И, как известно из записок де Санглена, отчасти суд и императора Александра Павловича: он делил взгляд на Сперанского ровесников и сверстников своих молодого поколения, но — с обычною ему раздвоенностью воли — не сумел за него вовремя и, так сказать, против самого себя постоять, как сумели в своем обществе Сергей Волконский и Андрей Болконский.

Таким образом, оказывается, что поздно пришедший в наши библиотеки лично, без псевдонимов, С.Г. Волконский — давний и хороший друг каждого русского человека, не чуждающегося знакомства с отечественною литературою. Мы знали если не его самого, то его нравственный портрет и идеи в Андрей Болконском. Мы знали и любили его в том блестящем «Сергее», за которым пошла в ссылку любвеобильная страстотерпица, княгиня М.Н. Волконская, прославленная Некрасовым в его бессмертной поэме, знали и любили его в возвращенном патриархе «Дедушке». Но никогда еще не был он так ясен, близок, понятен русскому «интеллигенту», как в своих величавых, эпических записках. Прав Вольтеров Панглосс. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Как ни ужасны для осужденных заговорщиков были последствия декабрьского движения, нельзя не согласиться с Волконским, что, в конце концов, едва ли не лучше для русского прогресса вышло, что было именно так круто и беспощадно, а не мягче и жалостливее. Он говорит: «Что воспоследовало бы с членами тайного общества, если бы Александр Павлович не скончался в Таганроге? Хоть а ргіогі заключаю, но я убежден, что император не дал бы такой гласности, такого развития следствию о тайном обществе. Спасено бы было несколько двигателей, которые, быть может, сгнили бы заживо в Шлиссельбурге, но он почел бы позором для себя выказать, что была попытка против его власти. Гласность, приданная нашему делу и намерениям, возвеличила нас перед современниками и потомством. Может быть, я и ошибаюсь в моих заключениях, но это мое убеждение: огонь под спудом не только не виден — но погасает».

А если бы угас огонь гуманных идей, которых жертвою пали декабристы, если бы замолкла трагическая гласность их гибели, — как знать? Не была ли бы Россия и до сих пор огромною «Грибоедовскою Москвою», полною Фамусовых, Загорецких, Скалозубов — были ли мыслимы реформы Алек-

сандра II? Было ли мыслимо 19 февраля? Севастопольский погром — ближайший механический фактор «перелома», декабристы — его первые духовные провозвестники. Поклонимся же мы, дети 19 февраля, памяти одного из славных сих, воскресшей ныне в «Записках С.Г. Волконского» с такою цельюю и трогательною красотою! Мир праху, вечная память и слава духу доблестного народолюбца!

1901—1903

И МОЯ ВСТРЕЧА С Л.Н. ТОЛСТЫМ

Юбилейный отголосок^{)}*

28 августа 1908 года я, нижеподписавшийся, мирно двигался в третьем классе пассажирского поезда в направлении на станцию Поньри, Москва—Курск. За Тулою вздремнул. Просыпаюсь под Мценском — вижу: сидит насупротив меня новый пассажир, седобородый, сурового вида, одет просто, по-русски. Вгляделся я — так и ахнул: Лев Николаевич Толстой!!!

Сначала усумнился было: какими судьбами? Куда? В такой-то день?

Но... он! Он! Несомненно! Портреты-то его мне, как всякому порядочному интеллигенту, слава Богу, достаточно известны!

Начинаю соображать: «Позвольте! Да почему же нет? Сегодня юбилей. Лев Николаевич юбилейного чествования не желал и от него всячески уклонялся. Юбилей тем не менее состоялся. Ясное дело: старик взял да и удрал от юбилея... торжествуйте, мол, без меня, а мне утомительно».

^{*)} Со слов титулярного советника А.П. Воспаряева в точности записано и своим не добавлено.

Едем. Сидим. Толстой в окошко глядит. Я на Толстого любуюсь. Смерть хочется заговорить. Начинаю:

— Позвольте спросить: далеко ли изволите ехать?

Он — из-под бровей-то косматых посмотрел строго.

— В Кеив.

Так и сказал: в Кеив, а не в Киев... по-народному, знаете, по-мужицкому!

— А-а-а!.. По делам или так?

— Кто же в мои годы «так» ездит? Известно, зачем в Кеив странствуют: Богу молиться, мощам поклониться...

Признаюсь вам: это меня опять немножко ошарашило. Понимаете: автор «Двух стариков» — и вдруг едет в Киев поклониться мощам!.. Чуть-чуть не усумнился: да уж, полно Толстой ли?..

А впрочем, как же иначе-то? Раз он от юбилея скрывается, надо же ему какое-нибудь инкогнито принять и сохранять. Вот он и поет Лазаря, паломником прикидывается.

Говорю:

— Я вздремнул немножко... И не заметил, когда вы изволили сесть.

Отвечает с видимою неохотою:

— Тут... на одной станции маленькой... как, бишь, ее?

Я с лукавством:

— Козлова Засака?

Он — как зыркнет на меня глазищами: догадался, стало быть, что я его признал! — и бубнит басищем-то своим:

— А пес ее знает... может быть, и Козлова Засака! Али нет?.. Совсем ноне у меня на имена памяти не стало.

Понимаете? Неправды-то сказать не хочет, против его убеждения — неправду сказать, а признаться неприятно, — так он двусмыслицею от меня отъезжает и все мужика валяет, все мужика!.. А глазищами так меня и буравит: дескать, уж если ты догадался, то — где наше не пропадало!

Твое счастье! Но — будь деликатен, уважай инкогнито, держи язык за зубами, вида не подавай!..

«Ладно, — думаю, — уважим!»

Но в то же время ужасный, знаете, аппетит разыгрался: как бы мне его хоть немножко на инкогнито этом подразнить... чтобы не в обиду стало, понимаете, но так — только пощекотать да установить фамильярность приятную, на общем секрете?

Сию и улыбаюсь ему с таинственностью приличною.

Теперь уже он спрашивает:

— Что это вы, господин, на меня как выпучились?

Все народным, знаете, стилем продолжает. Отвечаю со значительностью:

— Откровенно сказать, немножко изумлен, что вижу вас здесь...

Удивился:

— А где же мне еще быть?

— Да, — говорю, — конечно... утомление... скромность... преклонные годы... болезненное состояние... но все-таки столь знаменательный день...

— Позвольте, — возражает, — да ведь сегодня 28 августа?

— Именно, — подчеркиваю ему, — именно 28 августа... в том-то и закавыка!

— Не понимаю вас, — говорит, — мне 29-го обязательно в Кеве надо быть, с сыном съехаться условлено... Так чтобы из-под Тулы в Кев к 29-му попасть, само собою означает, что должен я 28-го на машину сесть. Иначе никак невозможно!...

«Ах ты, — думаю, — что значит гениальный-то человек! Сейчас на всякое лыко в строку ответ готов! Так и вертит! Так и вертит! Какую козюлю ни подпусти — в ту же минуту ногтем придавит!»

Видю: привстал он, снимает мешок свой дорожный с полки верхней. Пуда два верных потянет, а он — словно мочалку банную дернул.

— Однако, — замечаю, — силку-то вы в себе сохранили... ничего!

— Да, — говорит, — живу, не жалуясь.

— Дай Бог всякому так сберечь себя до восьмидесяти лет. Улыбнулся:

— Ежели человек хороший и силу свою не употребляет во зло, то дай Бог ему хоть и до ста!

Понимаете? По-своему, по-толстовскому сентенцию пустил: этику разводит. Ну я, конечно, насторожился. Думаю: это — шалишь! Уважаю тебя бесконечно, но в свою толстовскую веру ты меня не обратишь. Это — ах, оставьте, самому дороже! Это — шалишь!

А Толстой тем часом мешок свой развязал и — представьте себе! — вынимает узелок, а в узелке у него — белый хлеб, колбаса вареная и двадцатка казенки! Да-с! Ни больше ни меньше! Колбаса и двадцатка!..

Я глазам своим не верю: как же это? Вегетарианец-то? Трезвенник?

А он себе наливает стаканчик дорожный водки, чкнул, облизнулся и говорит:

— Лихо!.. Не прикажете ли за компанию?

Ну, понимаете, от чести выпить по маленькой с Львом Николаевичем Толстым — такую диковинную редкость пережить — какой же дурак откажется?.. К тому же час адмиральский... Хватил за его здоровье. Однако не преминул намекнуть, что изумлен.

— Разве, мол, вы потребляете?

Отвечает:

— В дороге как же без этого?

— Позвольте! — наступаю. — Да ведь водка — зло?

Возражает:

— Нет, ежели понемногу, отчего же?

— Да ведь она от дьявола! Кто был первый винокур-то? Вспомните-ка.

Отмахнулся рукою.

— О, — говорит, — эти сказки для глупых мужиков выдуманы, чтобы вовсе с круга не спивались... А мы с вами, надеюсь, люди с пониманием.

Это уж мне и не понравилось немножко, лицемерием показалось. А с другой стороны, как будто и приятно, знаете, что вот он — и Толстой, а тоже с хитрецей и двубокий, себе на уме, наш брат Исаакий, как все мы, грешные, люди-человечки... Он же опять наливает и угощает.

— Прошу покорно, не церемоньтесь... водка хорошая, графская.

— Знаю, — говорю, — что графская... Ха-ха-ха!

И он тоже:

— Ха-ха-ха!

Спрашиваю:

— И дома вы тоже... приемлете? При гостях?

Качает головою.

— Нет, дома при гостях — неудобно.

Подмигнул ему.

— Скрываете?

— Нет, не то что скрываю — что же тут скрывать? Какой порок особенный? Ноне курица — и та пьет. А графиня наша этого не любит.

Ага! Подается кремешок, размягчился: вон уж в какие интимности я его вогнал! О графине заговаривает.

— Да, — замечаю как бы вскользь, — строгонька ваша графиня... по всей России молва о ней идет.

Возражает:

— Не то что строга, а безобразия в доме не обожает. Помилуйте! Разве возможно, чтобы каждый день — дебош?

Озадачил! Соглашаюсь:

— Дебош — конечно, нехорошо... однако — откуда же?!

— Оттуда, что лезет к нам в дом всякий — званый и незваный. Со всех, может быть, Европ? Каково это для хозяйки? Сами извольте посудить.

— Да... трудно ей!

— С утра до вечера — чай, кофей, шоколады... это надо взять в расчет. Мы одной убоины пудов десять в месяц гостям скормим!

— Но сами-то вы... не вкушаете?

— Как не вкушать? Кабы не ели, то и живы не были бы.

Я опять с лукавством:

— Ну, положим, мы-то с вами знаем, чем люди живы.

Этот намек ему, должно быть, понравился, слишком призрачным показался. Нахмурился и бурчит:

— Рабочему человеку без мяса нельзя... рабочему человеку силы набираться надо...

— Ведь я было думал, что вы питаетесь только злаками?

— Помилуйте! за что же? Что я — корова или лошадь, чтобы одни злаки жевать?

— Виноват, я не так выразился. Хотел сказать: придерживаетесь вегетарианской кухни?

— Какой-с.

Даже зло меня взяло. «Ну чего — думаю, — ролю-то играешь, ломаешься?» Однако, сдержался. Упрощаю тон:

— Растительные продукты потребляете?

— Терпеть их не могу... сами видели: как водку пили, колбасою закусывал.

— Я думал, это вы — тоже только по дорожному положению?

— Нет, я всегда... Мяса — всегда... На первой неделе Великого поста на Страстной, действительно, не вкушаю, а то — всегда,

Час от часу не легче!

— Вы признаете посты?

Он взглянул на меня дико:

Как я же не признавать? Чай, они установленные... Великий пост, Петровки, Филипповки, Успенья-матушка.

Прежде я не верил глазам своим, теперь ушам едва верил! А Толстой, знай, бубнит:

— По слабости здоровья, действительно, соблюдать поста в полной строгости не могу, — так мне-то и врач приказал, и батюшка, отец Николай, разрешил, не взыскивают на духу-то... Правда, маленькую эпитимью наложили.... да, это — что же! всегда с полным моим удовольствием... поклонов сто двести отмотать — левое дело, и в расчет не возьму.

— Эпитимью? На духу? Отец Николай? Сто поклонов?

Я был решительно сбит с толка. А Толстой оставался совершенно невозмутимым и смотрел ясно.

— Послушайте, — говорю, — да разве вы сохраняете отношения с духовенством?

— С чего же мне их не сохранять? Чай, при селе живем. Храм-то Божий у самой нашей усадьбы, вот этак наискосок.

— Ну а как же... уж извините, пожалуйста... как же вы — того... насчет отлучения от церкви?

Отвечает преспокойно.

— На случай отлучения, я на свое место мальчика ставлю.

— Мальца?!

— Н-да... Племянник у меня есть, сурьезный парень... Тоже из графов молодых иные радеют помочь мне, стоят иной раз вместо меня за конторкою-то.

— За какую конторкою?

— Известно, за какую: за ктиторскою.

— Извините, но — какое же вам дело до ктиторской конторки?

— Да — ежели мир меня в ктитору выбрал?

— А-а-а! Ну, это — другое дело! Теперь я понял! Это интересно!

Странно, однако, как это ни Сергеенко, ни Тенеромо не отметили столь замечательного факта, что крестьяне

Ясной Поляны в знак любви выбрали великого писателя земли русской своим приходским ктитором. Замечаю:

— Такие события следовало бы оглашать в газетах!

Скромничает:

— Помилуйте, господин! Что вы! Если о каждом новом ктиторе в газеты сообщать, в газетах и места не хватит!

Однако по глазам вижу: доволен! Возражаю с ударением:

— Не о всех, но есть некоторые... о них нужно!

Разнежился старик, стал откровенничать:

— Я, по правде говоря, очень неохотно в ктиторы-то пошел, можно сказать, силою меня мир-то взял, против воли...

— Ну еще бы!

— Ну, мир велит — делать нечего, надо слушать, мир не перекричишь. Опять же, графине было угодно. Потешь, говорит, мужичков! Поди в ктиторы! Ну, знаете, графиня наша властная: что скажет, воля ее — закон!

— Так, так... слышали, слышали...

— А что ктиторской обязанности касаясь — доложу я вам, сударь мой, самая она неприятная и ответственная. И совершенная ваша правда: решительно от Церкви отлучиться нельзя. Потому, понимаете, свечная выручка, храмовые вклады, переходящие суммы...

— Но вы же сказали: вам молодые графы помогают?

— Да — что! Какая от них помощь! Пустая публика! Куда они годятся! Одна канитель!

Даже сконфузил меня: не рад, что заговорил! Вот уж не ожидал, чтоб Лев Николаевич мог так резко отзываться о своем потомстве. А он-то честит, он-то, знай, честит.

— От них, — говорит, — имению одно разорение и беспорядок. Все врозь тащат. У меня по графине Марье Антоновне сердце убивается. Оставят ее сынки да внучки нищею на старости лет.

— Виноват, — говорю, — как: Марье Антоновне? Графиню же Софьей Андреевной зовут?

— Кто это вам сказал? Никогда ни Софьей, ни Андреев-ной не была — отродясь Марья Антоновна!

— Но я сам читал в газетах...

— Врут, батюшка, ваши газеты! Плюньте им в глаза! Я при графине, слава Богу, пятьдесят годов нахожусь — пора мне, стало быть, знать, что она Марья Антоновна, а Софьей Андреевной никогда не бывала... И отец ее был Антон, и она Антоновна.

Ну, понимаете, не спорить же мне против очевидности: конечно, кому же, как не мужу, знать, как зовут его жену? Но только — подивился я тогда и посетовал на газеты наши: нечего сказать, хорошо они нас осведомляют! А старик — ну просто неприятно! — так и катает, так и катает:

— Кабы, — говорит, — моя воля, так я бы, — говорит, — лоботрясов этих, молодых графов, к усадьбе на версту не подпустил!

Вижу: даже искры у него в глазах запрыгали. Неловко мне — хочу свести дело к шутке. Погрозил ему перстом этак игриво:

— Ай-ай-ай! А ведь нельзя противиться злу!

Отвечает с негодованием:

— Именно, сударь, золотое слово сказали, что никаких сил моих не хватит противиться ихнему злу, потому что — народ самый неосновательный и лезет нахрапом...

Фу ты, Господи Боже мой! Терпеть я не могу нос свой в чужие семейные тайны совать, а он-то сыплет, он-то разливается... Чтобы сбить его с темы этой, заговорил о земельных отношениях.

— У вас, — говорю, — крестьяне благоденствуют?

— Ничего, — рванул грубо так. — Что им, лодырям, делается? Пьянствуют да недоимку копят.

— Ведь в земельных вопросах ваш руководитель, кажется, Генри Джордж?

Опять залукавил, заактерствовал, будто не понимает, не-сносный человек! Нечего делать, поясняю:

— В земельном устройстве вы Генри Джорджа, англичанина, придерживаетесь?

— Ах, — говорит, — виноват! Не расслышал! Вы — насчет Генриха Егорыча? Как же, держим такого для агрономической части... Только он не англичанин будет, а немец.

Опять-таки и против того я спорить не стал: конечно, Толстой лучше, чем я, осведомлен, какой нации был Генри Джордж! Он же продолжает:

— Только этот Генрих Егорыч — тоже, доложу вам, парень-ухо: пальца в рот ему не клади. Уж который год я докладываю графине, что надо его в шею прогнать... так вот нет — себе в убыток держат: конфузятся, что немец.

— Позвольте, — говорю. — Как держать? Откуда прогнать? Разве Генри Джордж у вас в имении проживает?

— Понятное дело, что в имении? Где же ему еще жить? При своем месте служения находится.

— Вообразите: я, откровенно сказать, думал, что Генри Джордж давно умер.

— Помилуйте! С чего ему? Этакий бычина непомерный! Здоровее нас с вами. И лодырь же тоже, доложу вам. Только и делает, что за бабьими хвостами прихлобыстывает.

— Да что вы? Ученый-то?

— Что ж, что ученый? Конечно, тоже жив человек, о живом и думает.

«Гм, — думаю, — вот так проговорился! Недурная сентенция в устах автора «Воскресения!»»

Прищуриваюсь этак на него.

— Да, — говорю, — только от подобных живых дум Катюша погибла.

Он только рукою махнул.

— И не говорите! Да разве Катюшка — одна? И Пелагея-прачка, и Анна-пололка... все там и легли, и встали!.. Непременно этого хахалю убрать от нас надо, и то против мужиков — скандал.

— Скажите! — удивился я. — А ведь все уверены, что вы за Генри Джорджа стоите!

Аж окрысился:

— С какой мне стати? Что вы, господин? Да, кабы не графиня, я бы его, дармоеда... У нас с ним, может, до драки доходило! Вот какво мы друг друга любим...

Я так и подскочил.

— До драки?!

Чуть я не крикнул: Лев Николаич!!!

А он:

— Что же, что он немец, — стало быть, ему и в зубы не загляни? Немцы-то поди не святые, а тоже, как и мы, грешные!.. Графиня мирволит. Уважает германскую нацию. В совершенный убыток себе... А я — что же могу? Конечно, графиня за преданность мою достаивает меня иногда, чтобы с нею о делах совещаться. Но все же я человек подневольный и даже не управляющий какой-нибудь, а так — как бы в роде, что в старину назывались, бурмистр...

Ну, слышу, опять пошли семейные lamentации! Удивительный человек! Мировой гений, а такту — извините, никакого! Язык на мокром месте: что есть в печи, все на стол мечи!

В таких-то беседах поучительных доехали мы до станции Поньри. Тут мне вылезать... Жаль, а делать нечего! Встаю, откланиваюсь.

— Искренно, — говорю, — счастлив вашею приятнейшею встречею и лестным знакомством! Век не забуду этих достопамятных минут! Умирать буду — детям закажу, чтобы чтли и помнили!

Представьте: так я его растрогал, что старик-то сконфузился, покраснел, заморгал.

— Что вы, — говорит, — господин, что вы!.. Как можно?.. Нам самим очень приятно... Честь на моей стороне...

Я только руками отмахиваюсь.

— Нет, нет, уж этого я и слышать от вас не хочу... Это уж унижение паче гордости!... Этого вы мне не говорите!..

Он бормочет:

— Ну как угодно-с... как вам будет угодно-с...

А меня восторг охватил — слеза прошибает.

— Дайте, — говорю, — дайте мне еще раз пожать могущественную руку, которой мы обязаны «Холстомером» и «Анною Карениною».

Просветлел... А еще говорят, будто он старых своих сочинений не любит!

— Ах, — говорит, — вы и про «Холстомера», и про «Анну Каренину» слышали?

— Да кто же про них не слышал?

— Да-с, — говорит, — точно, что «Холстомер» всему нашему конскому заводу был краса и радость..

— А «Анна Каренина»-то! «Анна Каренина»-то! — восхищаюсь я.

— Да, — подтверждает, — и «Анна Каренина» была кобылка — ничего себе... лошадь!..

Заигрался старик: пересолил, знаете!

Но тут же омрачился.

— Только представьте себе, какое горе: ведь «Холстомер»-то наш побывшился... околел!

— Да я же знаю. Читал!

— И Бог его знает, с чего: опоили, что ли?.. Мыт напал... Пришлось живодеру отдать.

— Как же! Как же! Помню! Еще потом труп его в овраге волки сглодали...

— Так точно-с... как обыкновенно... куда же его еще? Татарам на маханину, что ли?.. Удивительно, однако, как вы обо всех наших обстоятельствах осведомлены!

— Кто же не осведомлен, глубокоуважаемый? Кто?

— Нет, я, собственно, потому, что встречать-то вас раньше в наших палестинах как будто не приходилось...

Ну, понимаю: вызов — представиться. Достаяю бумажник, вынимаю визитную карточку.

— Позвольте рекомендоваться: Антон Петрович Воспарьев, агент страхового общества «Подтопка».

Толстой карточку взял, а пальцы — корявые, рабочие. Вертит ее в руках конфузливо этак, неумело.

— Покорнейше благодарим-с... Уж извините, что тем же соответствовать вам не могу... Мы люди простые, карточек не держим...

Но я схватил его за руки-то мозолистые, трясусь, а в горле дух захватило, и слезы по щекам льются.

— Да зачем вам визитные карточки? Кто же вас не знает? Вас? Гордость нашу? Славу нашу? Вас? Вас?

Инда он меня даже как будто испугался и от себя слегка отталкивать стал.

А на станции между тем слышу: второй звонок в отправление. Хочешь не хочешь — уходи из вагона-то. Толстой — Толстым, а дело — делом.

На платформе, однако, я не выдержал. Вижу: Толстой из окна вагонного на меня зорко-зорко смотрит и даже как бы с подозрительностью.

Думаю: «Дай хоть на прощанье сошкольничаю — шутку сшучу!»

Подошел к окну, еще раз руку протягиваю.

— Прощайте, — говорю, — Лев Николаевич! Счастливой вам дороги! Земной поклон вам кладу от всей публики русской...

А поезд, заметьте, уже на отходе...

— Прощайте, господин, — говорит и он из окна, — счастливо оставаться! И вам желаю — тоже всякого в делах ваших преуспеяния. Но только это ваша ошибка: меня не Лев Николаевич зовут, а, извините, Сидор Никанорович...

Понимаете? До конца выдержал себя — так и не нарушил инкогнито! Этаким характерный старичина!

Тронулся поезд. Долго я вслед Толстому шляпою махал, а он-то мне из окна — картузом, он-то мне — картузом!..

ИБСЕН

I

Целую неделю провел я, перечитывая и вновь читая Ибсена. Хороший, большой писатель! Какая безграничная растяжимость и чуткость громадного ума, какие глубокие проникновения, мастерские характеристики, как умеет он зажигать оскорбительными правдами слабовольных мужчин века своего, как знает, понимает и свято ценит женщин!

Ибсен в настоящее время любимец русской публики. Его влияние долго боролось за первенство и преобладание с влиянием Толстого и в конце концов победило. Надолго ли — кто знает? Но — покуда это несомненно: живая звезда покойного Ибсена светит и говорит русскому обществу гораздо ярче, больше и внятнее, чем все остальные звезды, крупно блистающие на пестром небе международной литературы. Гениальный, Шекспиру равный и часто его превосходящий, психолог сделал из маленьких захолустных уголков Норвегии, которая уже и сама-то по себе захолустна, центры всемирного внимания и мирового значения. Он заставил весь мир заучивать трудно произносимые имена своих «фру» и «фрёкен» и запоминать образы супругов их с фамилиями, на которых всякий иностранный черт язык себе сломит. Потому что — почти за каждым таким языколомным именем отныне скрывается типическое явление всемирного смысла, великое обобщение, выращенное к добру или худу тою культурою иафетидов, которая по эре слывет христианскою, по начальной площади своего источника — европейскою, а по расе — арийскою. И всюду, где живут или жили, трудились или трудятся иафетиды, люди всех рас с глубоким интересом вглядываются в произведения Ибсена, как в зеркало результатов христианской, европейской, арийской культуры,

ища в ней друга или высматривая врага. Зеркало, быть может, не всегда беспристрастно. Сводя счеты с культурными результатами не в безвоздушной вечности, но в пространстве и времени, оно не плоско, и в вогнутостях и выпуклостях его часто вместо лица и фактов являются злобные карикатуры, — однако столь меткие и жизненные, что искажениями своими они не заслоняют, но, напротив, дополняют и объясняют действительность.

Ибсен почитается чуть ли не отцом и, во всяком случае главою современного литературного и сценического символизма. Скажу с полной откровенностью, что эта сторона в его творчестве мне глубоко безразлична, а часто представляется даже излишнею и напрасною надстройкою стиля *moderne* на прекрасное, вечное здание, отражающее строгими линиями своими жизнь поколений, которые в нем были, есть и будут. Ужаснее всего то в символических пьесах, что если вы не изнасилуете и не выдрессируете своего воображения на полное и предвзятое подчинение их глубокомыслию, если вы не дисциплинируетесь на серьезную и предвзятую веру в многозначительность символа, то последний с поразительною легкостью обращается в анекдот и частенько прямо-таки напрашивается на пародию. Вот почему написать хорошую символическую пьесу не легче, чем пройти, не порезавшись, по острию бритвы. Гигантам, как Ибсен, большим талантам, как Метерлинк, такие фокусы удаются превосходно, но все *dii minores** символизма несносно педантичны или карикатурно смешны. Да и о гигантах необходимо сознаться, что часто недоумеваешь, зачем, собственно, изнуряют они себя неестественною балансировкою по бритве, когда отлично могли бы идти к тем же целям крепкими стопами по твердой земле. «Дикая утка» Ибсена — превосходнейшая, изумительная коллекция типов общечеловеческого

* Младшие боги (*лат.*); о второстепенных талантах.

значения, написанных с силою несравненного реализма. Если бы Ибсен не создал литературно ни одного другого типа, кроме фотографа Яльмара Экдала, то и того было бы ему достаточно, чтобы обессмертить себя в искусстве слова. Но насильственно втиснутый в эту пьесу натянутый символ «дикой утки», весь этот метафорический чердак с курами вместо тетеревов и кроликами вместо медведей ужасны своею анекдотичностью, и только прелестный образ Гедвиг спасает от невольной насмешливой улыбки четырехактную возню действующих лиц вокруг птичьего лукошка. В Риме «Дикую утку» провалил когда-то возглас из райка. Когда старик Экдаль, хвастаясь своим зверинцем, заставляет Греггера Верле угадывать, какая птица сидит на чердаке в лукошке, какая-то простодушная баба подсказала:

— Pentade!.. Цесарка!..

Публика расхохоталась, и затем — уже всякий раз, что на сцене возобновлялась речь о дикой утке, возобновлялся и хохот, потому что всем вспоминалась цесарка.

Самая символическая пьеса Ибсена — «Строитель Сольнес» — при всех умных и трагических глубинах своих — драгоценна для пародиста фигурою архитектора, который не смеет ходить по лесам собственных сооружений, да и фигурою бесноватой Гильды, которой во что бы то ни стало желательно взвести человека, страдающего головокружением, на каланчу повыше леса стоячего, пониже облака ходячего. Все это весьма великолепно и трогательно в символе. Но — смотря сквозь призму здравого смысла и житейских возможностей — подвигом Сольнеса мог легко утешить Гильду любой трубочист или пожарный, и — зачем необходимо понадобилось, чтобы сломал себе шею гениальный строитель, сие обстоятельство вне символа остается недоумелым, и нельзя сказать, чтобы уважительным капризом.

Белинский справедливо отметил когда-то, что на естественную поэзию живой правды нельзя написать пародии,

а на искусственную поэзию выдумки можно, как бы она ни была изящна и красива: на «Илиаду» и «Одиссею» не было ни одной удачной пародии, а на «Энеиду» — множество, и пресмешных. Положим, с тех пор героев «Илиады» отлично высвистал Оффенбах, да и Белинский-то позабыл или не читал еще в то время «Троила и Крессида» Шекспира, где великий Вильям распоряжается со старцем Гомером ничуть не лучше, чем в наши дни распорядился с ним самим, великим Вильямом, Лев Николаевич Толстой. Но исключения не уничтожают правила. Трудно вообразить себе удачную пародию на «Гамлета», «Короля Лира» (на этом последнем недавно осекся именно Л.Н. Толстой), «Отелло», «Макбета», на Пушкина, Лермонтова, на старого Льва Толстого, на рассказы и «Вишневый сад» Антона Чехова, на «Ткачей» и «Ганнеле», на «Привидения», «Кукольный дом», «Гедду Габлер», «На дне». Но достаточно только нескольких умелых подчеркиваний, утолщения контуров и усиления двух-трех красочных пятен, чтобы обратить в фарс любую трагедию Корнеля или Расина, вышутить Виктора Гюго, заставить улыбаться в «Потонувшем колоколе», оглупить «Трех сестер», превратить в скабрзное посмешище «Монну Ванну», перелицевать в «уморительные» анекдоты «Строителя Сольнеса», «Дикую утку» и в особенности «Женщину с моря». Значит ли это, что Корнель, Расин, Гюго — плохие писатели, а «Потонувший колокол», «Три сестры», «Монна Ванна» и пр. — слабые пьесы? Нет, это значит лишь, что в писателях и пьесах этих звучат искусственные привносы и условные начала, которыми шаловливый юмор и сатирический инстинкт вольны и смеют распорядиться по своему произволу, повертывая их в какой угодно ракурс, потому что обаяние их зависит от силы субъективных авторских внушений, а не от объективно содержимой в них неизменной, повелительной правды. Овзглядах и внушениях можно спорить сколько угодно, будь автор хоть семи пядей во лбу, но пред живою и на-

глядною правдою споры умолкают. Генрих Гейне и Глеб Успенский сливаются в стройном гимне Венере Милосской. А если ту же Венеру Милосскую ругает Л.Н. Толстой — так ведь он ее просто не видал либо за старостью позабыл: бранится по ничему не говорящим глазу и уму фотографическим снимкам или ремесленным воспроизведениям рыночной скульптуры.

Читая предисловия к драмам Ибсена, я не раз с удовольствием встречал указания, что многим критикам приходила мысль, неоднократно стучавшаяся и в мою голову, когда я изучал его пьесы: мысль о скрытой, тонкой и весьма ядовитой насмешке автора над читателем, разлитой в символике Ибсена, часто облекающей действие смесью правды с намеренною ложью, смесью совсем не органическою, а вроде постороннего острого соуса, которым искусный повар сдабривает кушанье, чтобы господа съели его, хотя само по себе оно им совсем не по вкусу. «Росмерсгольм» не нуждается в «белом коне Росмеров», «Дикая утка» — в дикой утке, «Маленький Эйольф» — в бабке-крысоловке и т.д., чтобы потрясать зрителя и читателя глубиною развернутых в пьесах этих житейских положений, идеологических мотивов, психологических открытий, освещающих собою человечество. В гениальной пьесе «Враг народа», где Ибсен заговорил с публикою начистоту, взбешенный бурей лицемерно патриотических негодований, которые вызвали его «Привидения», нет никаких символических приклеек. Нет их в самих «Привидениях», и в «Гедде Габлер», и в «Норе», и в «Столпах общества»: чтобы снабдить эти пьесы крови и плоти символическими паспортами, надо было чуть не клещами натягивать их на колодку символики. Таким насильственным процессом Гоголь когда-то пытался доказать, что «Ревизор» не реалистическая комедия, гениальным бытовым разоблачением разрушающая старое русское общество, чтобы освободить место для нового, но символическая аллегория с местом

действия не в нашем царстве, а в тридесятom государстве, и с временем действия между вечностью и минутою — ныне и присно и во веки веков. У Гоголя эта попытка к символизации «Ревизора» родилась из *mania grandiosa*^{*}, наполнившей значительный период его жизни надменным духовным учительством, претенциозным гораздо больше, чем позволяли слабые философские способности Гоголя, не говоря уже о его весьма посредственном образовании. Мы знаем, что друзей и поклонников Гоголя его символические попытки приводили в ужас и негодование, до отчаяния. «Не уступлю я вам моего Сквозника-Дмухановского!» — с резкостью писал Гоголю великий реалист русской сцены, талант и умница, Щепкин, сделавший для «Ревизора», пожалуй, не меньше, чем сам автор. Но *tempora mutantur*^{**}. Если бы Гоголь сейчас опубликовал свои символизирующие разъяснения, они нашли бы пылких сторонников и пропагандистов, готовых ради них совершенно закрыть глаза на прямой смысл и текст «Ревизора», пожертвовать во имя отвлеченного обобщения всею его наглядностью, осязательностью, конкретностью. Усмотрел же г. Мережковский «черта» в Чичикове и, по меньшей мере, «чертяку» в Хлестакове. А ведь г. Мережковский при всей своей склонности к эффектному юродству — человек — несомненно, умный, талантливый, образованный, обладатель больших, хороших и систематических знаний.

Скажу больше того: если бы Гоголь жил в наше время, то его заставили бы символизировать свою пьесу, хотя бы он сам совсем не хотел ее символизировать. Это — повітріе нашей не верующей, но доверчивой, на слово верящей эпохи, слишком ленивой для анализа, а потому слагающей жизнь свою из перебегания от одной априорности — к другой. Символ, как синтетическая законченность, естественный враг

* Мания величия (лат.).

** Времена меняются (лат.).

анализа. Нельзя анализировать символами, нельзя разлагать и исследовать символическими приемами. Между тем мы на переломе двух веков видели, как могущество символического поветрия покоряло себе — по крайней мере до невольного подчинения его внешним приемам — даже такие мощные и совершенно определенно аналитические творчества, как, например, А.П. Чехова. Он устоял против соблазнов символизма в своей книге, но не на своей сцене. Условности театра и та модность, которая прикрывается громким титулом искания новых форм и в новых формах нового успеха, слишком могущественны, чтобы им сопротивлялся писатель, избирающий театр своею специальностью. Не можно прати противу рожна. И — если в воздухе разлито поветрие символизма, а драматург по существу таланта не символист, то время все-таки хоть загримирует его символистом по внешности — и быть может, надолго, во всяком же случае, до конца поветрия. И это не подделка, не потрафление под вкус времени, а невольная зараза им — так сказать, пропитанность его атмосферою. Типический реалист, как Чехов, начинает декорировать свою идеологию бутафорией убитых чаек, звуками таинственно оборванной струны и т.д. при поощрении и подстрекательстве театра, в котором почти исчезла сила личного таланта, но необычайно развилось хоровое начало ансамбля и режиссер раздавил актера. У нас в России выработалась особая манера играть Чехова, существуют особые чеховские актеры и даже чеховские театры. Но когда я читаю «Вишневый сад», мне всегда кажется, что мы еще не видали, как надо играть Чехова, и еще не знаем, кто он и каков он в действительности как драматург. Его Щепкины, Мочаловы, Мартыновы, Ермолковы — еще впереди.

Победоносный захват символической атмосферы тем легче и шире осуществляется на авторах, которые подобно Ибсену уже по расе и натуре своей хранят в себе мистиче-

ские задатки. Они поколениями протестантской наследственности выработали в себе запасы провиденциализма (в той или другой метаморфозе его... в причудливой путанице современной религиозности, от бессознательностей наследственного провиденциализма может оказаться не свободным даже атеист!) и в связи с тем падки к фаталистической априорности и к изучению жизни по синтетическим проникновениям. Ибсен создал целый ряд жизненных пьес — и это его лучшие! — на которые символический хомут, как ни примеривай, никогда не придется не только вплотную, но даже просто хоть сколько-нибудь пригоже: то — «Враг народа», «Столпы общества», «Привидения», «Гедда Габлер», «Джон Габриель Боркман», «Нора». Через другую полосу его творчества символическое поветрие мчится звенящими, как в гармонии музыки говорится, «проходящими нотами»: «Дикая утка», «Росмерсгольм», «Маленький Эйольф». Проходящие ноты эти настолько разнообразны в своей странной поэзии, что мы видели: иные из них заставляли подозрительных критиков сомневаться, не дурачит ли насмешливый Ибсен панургово стадо своей публики этими приклеяками модных настроений, которые сам он в глубине души совершеннейше презирает? И, наконец, третий разряд пьес, в которых личность автора уже сокрушена поветрием, и символизм торжествует полную победу над Ибсеном, и последний становится не более как могучим граммофоном великолепных метафор: «Женщина с моря», «Строитель Сольнес» и — «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» — заключительный аккорд всего творчества Ибсена, его конспект и эпилог. Вещь эта, грандиозная для читателя, который хорошо знает если не всего Ибсена, то хоть более или менее значительную часть его произведений, настолько несамостоятельна, взятая в отдельности, что лица, начинающие почему-либо читать Ибсена именно с нее, обыкновенно решительно ничего в ней не понимают, выносят из нее впечатления смутные, бредовые.

Я испытал это в 1900 году, когда в моей покойной «России» «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» печаталось впервые на русском языке в переводе супругов Ганzenов с авторской рукописи. Знание и изучение Ибсена в то время стояло гораздо ниже, чем теперь, — и редакция была завалена протестующими письмами, зачем «Россия» печатает какую-то «норвежскую ерунду», в которой никто ничего разобрать не может. А между тем «Россия» шла в публику интеллигентную и до литературы охочую. Я живо вспоминаю свои огорчения из-за этих пробуждающихся мертвых, потому что мне-то пьеса очень нравилась. И вот — прошло семь лет, и она — классическое произведение. Так совершается эволюция общественной мысли и — как сказал бы Салтыков — «какой же, однако, с Божьей помощью оборот!».

Увлечение символикou Ибсена в значительной степени, если не совершенно, загородило от нашего внимания бытовую психологию пьес его, о которой, собственно, говорить и собираюсь я в статье этой, так как ее контрасты и параллели глубоко поучительны и пестро любопытны для русской действительности, так жадно воспринимающей дух Ибсена. У нас в Ибсене ищут сердцевода, как Шекспир или Соломон, поэта или редактора общечеловеческих идеалов, как Шиллер, Байрон и Жорж Занд, духовного обновителя, как Руссо или Толстой. Все эти поиски Ибсен удовлетворяет в большей или меньшей степени, глядя по настроениям и желаниям ищущих. Говоря словами Луки из «На дне» Горького, у Ибсена — тоже «кто во что верит, то и есть». Громадное философское значение Ибсена, быть может, ни в чем не сказывается сильнее, как в том обстоятельстве, что его публика приемлет его вне времени и пространства, как силу космополитическую, обобщающую человечество подобно Библии. Ведь, читая Библию, редкий европеец воображает себе Авраама, Исаака, Израиля — теми, кто были они на самом деле: кочевыми шейхами диких еврейских племен, осевших в оази-

сах знойной пустыни, но каждый ищет в них черт своего народа, своего знакомства, своей семьи, самого себя. Подобно тому как Паоло Веронезе писал Юдифь венецианскою куртизанкою в золотистых кудрях, а Рубенс — Сусанну толстою фламандскою купчихою, так точно и «Гедда Габлер» есть и будет — своя и по-своему — одна в Петербурге, другая в Вене, третья в Риме, четвертая на своей родине, в Христиании. В героях Ибсена для нас вид приглушен родом и человеческая типичность их уничтожает счеты с национальною и бытовою обстановкою. Считаюсь с Ибсеном, лишь как с ровесником Шекспира, Соломона, Шиллера, Байрона, Жорж Занд, Руссо, Толстого, русское общество совсем упускает из вида, что для своей страны и для того определенного быта, в котором развивается действие Ибсеновых драм, великий норвежец — также и Островский, а иногда (во «Враге народа», в «Дикой утке», например) — даже и Щедрин. Вернее, впрочем, сказать, что не «упускает из вида», но просто не имеет любопытства к тому.

Как эта специальная сторона Ибсена, так и безразличное отношение к ней публики в странах, склонных к интернационализму и космополитическому единению, — от них же первая и на главном месте Россия, — заинтересовали меня вот почему. Чем больше вглядываешься в бытовую этику и сопряженную с нею психологию норвежцев Ибсена, тем ярче сказывается трудность для русского человека (понимая под таковым человека русского общества и воспитания, русских интеллигентных корней и традиций) поставить себя на их место и чувствовать себя героями или преступниками там, где они герои или преступники по рисунку Ибсена и мнению общества, которое он бичует. Чтобы понять преступность Эйлера Лёвборга в «Гедде Габлер», чтобы оценить решимость Норы в «Кукольном доме», чтобы преклониться пред подвигом доктора Штокмана во «Враге народа» и даже чтобы взвесить весь ужас мрачного затворничества «Джона

Габриеля Боркмана», русскому читателю все время приходится перешагивать от себя через Норвегию и XIX век прямо в человечество и в вечность. Если же, паче чаяния, он на такой широкий шаг неспособен и случится ему задержаться на Норвегии и XIX веке, то все сказанные преступности, решимости, подвиги и ужасы принимают в глазах его окраску странной чуждости, говорящей об этике культур и психологии, совсем ему не свойственных и не нужных, а часто даже враждебных и холодно противных. И далеко не всегда приходится смотреть на этику, психологию и культуру эти снизу вверх. Наоборот, почти во всех только что названных четырех примерах моральное развитие и гражданское понимание в русском обществе оказываются выше норвежского интеллигентного уровня настолько, что, если бы не Ибсен писал, было бы почти невероятно. Собственно говоря, какой же толчок, например, хотя бы женскому вопросу может дать судьба Норы в стране, уже 45 лет тому назад имевшей Веру Павловну в «Что делать?», В. Крестовского (псевдоним), Писарева, Шелгунова? Экое, подумаешь, чудо для русской интеллигенции, что, нравственно оскорбленная мягким деспотизмом мужа-рабовладельца, жена, когда переполнилась горечью чаша ее терпения, ушла от своего великолепного супруга, покинула детей и зачеркнула брак свой как не существовавший. На десять русских интеллигентных женщин уж наверное одна-то пережила в жизни своей если не такую точно, то подобную историю и, переживая, подвига за собою не числила, а лишь тосковала, что — «с кем не бывает? Дело житейское!..». И так почти всегда у Ибсена. То и дело корбит вас по привычке к широкому размаху общественных идеалов в русской литературе мизерная бедность фонов, на которых проходят, и фактов, в которых сказываются величие или низость Ибсеновых героинь и героев. Вам то и дело приходится ловить себя на недоумениях: да почему же он трусит, разве это преступление? Да за что же ее возвеличи-

ли — велик ли тут подвиг? Стоит ли Эйлерту Лёвборгу умирать из-за того, что он пьян напился и потерял какую-то рукопись, когда у нас на Руси всене непременно «умный человек — либо пьяница, либо такую рожу кривит, что хоть святых вон выноси»? Естественно ли разрушиться семье Яльмара Экдала только потому, что Гина пятнадцать лет тому назад амурилась с коммерсантом Верле, когда даже у мужика русского есть философическая поговорка — «Тем море не напоянилось, что собака лакала»? И так далее...

Словом, когда русский (в широком смысле слова) читатель начинает рассматривать Ибсена с точек зрения своей культуры и этики, завещанной ему XIX веком, то не может не чувствовать, что говорит как будто с человеком из другого мира и на разных языках.

II

Глубокая разница этик, с которою приходится считаться и примиряться русскому читателю, изучающему Ибсена, впервые сказала для меня — незначительною на первый взгляд, подробно в «Гедде Габлер».

Гениальный, но распутный Эйлерт Лёвборг застрелился в квартире неприличной женщины из пистолета, который тайно подарила ему Гедда Габлер. Ассессор Бракк — вероятный будущий любовник Гедды, желающий «быть единственным петухом в курятнике», — пользуется этим компрометирующим секретом, чтобы забрать власть над молодою женщиною, поработить себе ее буйную волю. Но, как «порядочный человек», он иронически предоставляет Гедде верный, но очень некрасивый выход из трудного положения: заявить, что покойный Лёвборг *украл* у нее пистолет.

Г е д д а (*твердо*). Лучше умереть!

Слово «украл» повторяется на нескольких страницах так часто и в таких твердых сопоставлениях, что совершенно

ясно: не только ассессор Бракк и Гедда Габлер веруют, что человек, взявший без спроса чужой револьвер, чтобы из него застрелиться, ворует этот револьвер, но и сам Генрик Ибсен держится того же мнения: застрелившись из *чужого* револьвера, покойный Лёвборг перед смертью совершил бы присвоение чужой собственности, позорное, как всякая другая кража. Взвести на него подобное обвинение, следовательно, значило бы опозорить, оклеветать его память. И Гедда Габлер поступает в высшей степени благородно, предпочитая некрасивому выходу ассессора Бракка эффектное самоубийство выстрелом в висок из другого, оставшегося в ее футляре пистолета.

«Украл»... вот слово, которое в русском обществе не может быть произнесено у трупа застрелившегося самоубийцы, хотя бы револьвер, из которого вылетела роковая пуля, был взят им у скряги из скряг, у собственника из собственников. Если бы Гедда Габлер была женщиною русского общества и воспитания, роковой допрос ассессора Бракка совсем не прозвучал бы для нее мефистофельским вызовом и ей не из чего было бы умирать.

— Да, пистолет мой, а как он очутился у Лёвборга, не знаю... — Вот и весь ответ, которым развязалась бы русская Гедда Габлер со всею этою скверной историей — без малейших угрызений совести, потому что таким ответом своим она ничуть не опозорила бы памяти самоубийцы. Если у человека, желающего застрелиться, имеется револьвер или возможность его приобрести, он стреляется из собственного револьвера. Если у человека, желающего застрелиться, нет ни револьвера, ни возможности его приобрести, он стреляется из чужого револьвера, который старается заполучить в свои руки теми или иными способами — обыкновенно тайными, ибо объяснять собственнику револьвера, что, мол, последний нужен мне для того, чтобы пустить из него пулю себе в лоб, со стороны самоубийцы вряд ли практично. Еще

не в газетах ли объявлять: «Самоубийца, желающий застрелиться, просит добрых людей снабдить его револьвером»? Сотни русских людей застрелились из чужих револьверов без ведома их хозяев. Но никогда ни с одним из подобных самоубийств не сопрягалось в общественном мнении гнусное понятие воровства. Воровство подразумевает собою вещное присвоение в корыстных целях. Наша культура не дошла еще, да вряд ли и дойдет — авось не дойдет! — до столь капиталистического совершенства, до столь буржуазных точек зрения, чтобы корыстные цели присвоились человеку даже *in articulo mortis*^{*}, чтобы орудие смерти рассматривалось и квалифицировалось лишь как украденная вещь такой-то стоимости. Весьма часты ходатайства собственников, обращаемые к судебной или полицейской власти о возвращении оружия, отобранного при том или другом самоубийстве, в качестве вещественного доказательства. Но ни собственники, ни власть при этом не поднимают вопроса о том, поскольку виновен и преступен был самоубийца, стреляясь из чужого револьвера, и общество никогда не обсуждает благовидности или зловидности таких заимствований: и юридический, и моральный вопрос тут для нас просто отсутствуют, они погашены кончиною самоубийцы. Смерть уничтожает видимость собственности, и вещное право безмолвствует в вещи, из которой вырастает самовольный гроб. Можно украсть револьвер в оружейном магазине, чтобы продать его на рынке, можно украсть револьвер у товарища и заложить его в ссудной кассе, можно украсть револьвер с целью преступления, но нельзя украсть револьвера с целью самоубийства. Покойники не воруют, а самоубийца — покойник в начале. Где смерть, там нет приобретений — ни законных, ни преступных. Похищение оружия для самоубийства могло бы рассматриваться как преступление или позорящий поступок раз-

^{*} На смертном одре (*лат.*).

ве лишь в таком обществе, в котором самоубийство было бы признано законным спросом, обставленным рынками соответствующего предложения. Так как подобных обществ, слава Богу, нигде, за исключением фантастических романов Стивенсона, не имеется, то — нет в действительности и не может быть также и роковой дилеммы, погубившей Гедду Габлер.

Это, что называется, «по душам». Но не по культуре. Когда в Италии на Лигурийском берегу я иду гулять, то, чтобы проникнуть из долины к горам, без церемонии вхожу в калитку первого попавшегося фруктового сада, огорода либо виноградника; увижу на земле палое яблоко — не боюсь поднять его и съесть; спросил как-то у рабочих напиться воды — получил ответ:

— Вода у нас не хороша... отчего вы по дороге не кушаете винограда?

— А разве можно?

— Бог насадил виноград для всех прохожих.

Лигурийский край — нищий и дикий, живет тоже «по душам». Но в шести часах расстояния, в благословенной и архитектурной Франции, поднять палое яблоко с земли значит совершить кражу, сорвать ветку винограда — того паче, а если садовладелец увидит меня, чужого, незнаемого человека, бродящим под его фруктовыми деревьями, то его законное право — палить в меня из ружья, как в вора, забравшегося в его владения с преступными намерениями. Если убьет — не отвечает. В Германии палить, кажется, не разрешается, но там за собственника палит городское положение. Русской даме понравились фрукты на деревьях, которыми обсажено шоссе под Наугеймом. Она велит извозчику остановиться и срывает несколько груш. Извозчик смотрит флегматически и без протеста. Но, приехав в Наугейм, везет злополучную даму в полицию и доносит: рвала фрукты! Протокол и — штраф. Дама, переконфуженная, разобиженная, упрекает извозчика:

— Зачем же вы не сказали мне, чтобы я не трогала груши?

— Затем, что — не мое дело.

— Я бы не коснулась их, если бы знала, что нельзя.

— Помилуйте! Кто же этого не знает, что нельзя рвать фрукты с чужого дерева?!

В России считают где грешным, а где уже только неловким брать деньги за хлеб, и даже в трактирах он подается (при кушаньях) даром. Помню годы в Италии до филоксерных напастей и до криспианских налогов, когда в деревнях и мелких городишках считалось решительно непристойным взять деньги с прохожего за вино и кусок сыра. Все это — «по душам». В Швейцарии же, в глухом уголке близ Интерлакена, какой-то добродетельный пейзаж вынес мне, весьма усталому пешеходу, кружку плохого пива. Я дал ему 50 сантимов. Он посмотрел и хладнокровно возразил:

— С вас следует еще пятьдесят сантимов. Это стоит франк.

— Позвольте: даже в лучших интерлакенских ресторанах — только пятьдесят сантимов.

— Очень может быть, но у меня не ресторан. Я не обязан торговать моим пивом по ресторанной таксе.

— Жаль, что мы не сторговались раньше. Я бы не стал пить вашей бурды.

— О! Верните мне мое пиво, и я возвращу вам ваш франк! Это был человек культуры.

По пивной ассоциации идей вспомнился мне тогда, вспоминается мне и теперь такой случай. Дело было в московском окружном суде. Председательствовал знаменитый в восьмидесятых годах Е.Р. Ринк. Судили мальчишку-рецидивиста за покражу бутылки пива. Товарищ прокурора разгромил несчастного паренька как природно порочную натуру, защитник извинял его как жертву дурных влияний уличной среды. Ринк, насмешливый и язвительный, как всегда, сказал в председателемском резюме:

— И обвинение, и защита одинаково избрали в настоящем важном деле путь предположений. По мнению господина товарища прокурора, подсудимый украл бутылку пива потому, что у него прирожденная порочная натура. По мнению господина защитника, подсудимый украл бутылку пива потому, что среда заела. Я позволю себе также вступить на путь предположений. Принимая во внимание, что кража бутылки пива была произведена пятнадцатого июля, в три часа пополудни, то есть в самое жаркое время июльского дня, я смею предположить, что подсудимый украл бутылку пива просто потому, что ему пить хотелось...

Истинно культурный западный собственник упал бы от такого резюме в обморок, а русские присяжные оправдали мальчика. Потому что мы — в том и наше счастье и несчастье — во всех сословиях, не исключая мещанского, не охотники до «мещанских мелочей». На Западе слова «мелочи» и «собственность» несовместимы. Где есть собственность, там не может быть речи о мелочах. Говорят, по старому Соломонову рецепту, что «любовь сильна, как смерть». Нет, в западной буржуазной культуре это собственность сильна, как смерть, и даже сильнее. Потому что — мы видели — она не страшится склоняться даже над свежим трупом самоубийцы и говорит ему, с убеждением глядя в мертвые глаза:

— Ты вор, так как ты украл револьвер, из которого застрелился, веревку, на которой повесился, яд, которым отравился. Если бы ты был жив, я упрятала бы тебя в тюрьму. А теперь я ограничусь тем, что опозорю твою память.

Я высказал эти соображения собрату-французу, литератору чуткому, отзывчивому, другу русских, поклоннику русской литературы, Достоевского, Толстого. Он пожал плечами и возразил:

— А — как вы полагаете: самоубийца наносит материальный вред хозяину гостиницы, в номере которой он заст-

релился? Как вы думаете: много покупателей останется у садовладельца, на яблоне или персиковом дереве которого удавился человек? И — если женщина утопилась в пруду вашем — успешно ли расторгнетесь вы затем рыбою или раками из этого самого пруда?

— Пожалуй, с известной точки зрения вы тоже правы... Но ведь смерть, как Турция, — за все платит!

— Ну а мы находим ее недостаточно вескою монетою для окончательной расплаты.

Примеры моего приятеля — не произвольные, не случайно на ум пришедшие. Бывали процессы, обращенные против наследников самоубийц, — о возмещении материальных убытков, причиненных самоубийством лицам посторонним. Тем более понятно, что подобные иски легко предъявляются самоубийцам неудачным. Если бы Эйлерт Лёвборг не застрелился насмерть, то, может быть, ассессор Бракк убедил бы Гедду Габлер поднять против него дело о покраже револьвера. И Генрик Ибсен, как все-таки питомец собственнической культуры, возмутился бы в таком процессе не самым его фактом, для нас антипатичным до непостижимости, но лишь клеветою и ложью в основе поднятого дела.

Собственность распространяется не только на вещи, но и на людей. Генрик Ибсен энергически боролся против собственнических воззрений на брак и семью, установленных в его народе пятью столетиями буржуазного протестантизма. Собственно говоря, мы ведь лишь под переводным гипнозом не замечаем, что Ибсен водит нас по такому же темному царству, жаждущему светлых лучей, как водил русское общество А.Н. Островский, — да еще не потемнее ли? А уж что убежденнее и крепче в темнотах своих, это-то наверное. Харламбий Мудров рекомендовал Настасье Панкратьевне Брусковой божественные книжки, пугал ее «металлом» и «жупелом», но не посмел бы рыться ни в ее книгах, если бы таковые имелись, ни в ее душе, как роется пастор

Мандерс в книгах и душе фру Альвинг («Привидения») или ректор Кролль в «Росмерсгольме». А фру Альвинг и Ребекка Вест — не Настасья Панкратьевны! Ужас дома Альвингов, скрытый в четырех стенах — под влиянием пастора Мандерса — великим самоотвержением героической фру Альвинг, еще чернее тех ужасов города Калинова, о которых вздыхает пред Борисом Кулигин на бульваре надволжском: «Что в этих домиках слез льется!» Традиции церковного, приходского деспотизма, удушающие героев Ибсена, стоят семейных кандалов, звенящих на героях Островского, и пасторские контроли какого-нибудь Кролля оказываются не менее способны загнать Ребекку Вест в пучину водопада, чем Домострой Кабанихи — Катерину в волжский омут. Собственность на женщину, установленная Кроллями, Рёрлундами, Мандерсами, настолько свята и повелительна, что Кабанихин Домострой-то, пожалуй, иной раз и спасовал бы пред ними. Медоточивый Мандерс, закабаливший любимую женщину (фру Альвинг) распутному и пьяному сифилитику, преступник вдесятеро более тяжкий, чем все самодуры Островского, предающие дочерей и сестер своих на «стерпится-слюбится» таким же чудовищным мужьям, как они сами. Потому что — опять-таки: одно дело — Гордей Торцов, для которого свадьба дочери лишь предлог одному в семи каретах поехать, и другое дело — все эти ходячие «правила веры и образы кротости», разрушающие жизнь по узким прямолинейным шаблонам пуританизма, вырубленным мечами солдат Кромвеля и Густава Адольфа триста лет тому назад и застылым с тех пор в мертвящей, жестокой неподвижности. Шаблоны эти, проистекающие по наследию от вдохновений Джона Буниана и Джеремейи Колльера, быть может, менее круты в средствах физического воздействия, чем допускает наивный Домострой попа Сильвестра, которого достало как бытового и морального руководства темным слоям русского народа на целые триста лет. Ведь когда

исчез из обихода старый оригинальный Домострой, старый раскол распространил в купечестве и крестьянстве, его державшемся, сотни «Цветников», «Садов духовных», окружающих посланий и пр., которые были и останутся — тех же щей... да нет, даже и не пожиже, а вровень, иногда же и погуще влей. Но узкий, консервативный Домострой был либеральнее протестантских своих параллелей в одном отношении: он не приковывал быта к повелевающему авторитету церковной общины, не рассматривал семью как приходскую единицу, не делал священника своеобразным агентом «полиции нравов» с обязательным чтением в сердцах прихожан. Эти поползновения духовной власти пришли в Россию позже — с немецкою государственностью, с синодальною реформою, с бюрократизацией церкви Феофанами Прокоповичами, с превращением священника в рясоносного чиновника, с обер-прокурорами Святейшего Синода. Да и тут чтение в сердцах сложилось не столько в стиле полиции нравов, сколько — увы! — полиции государственной. Наоборот: мы знаем по многократному опыту, что священник, претендующий быть цензором нравов среди своих прихожан, ничего не стяжает себе, кроме злейших неприятностей и от паствы, и от духовного, и от светского начальства. Священник же, махнувший рукою на нравы прихода, но строго наблюдающий за политическими настроениями паствы своей, то есть помогающий исправнику, жандарму, становому и уряднику в чтении сердец, паствою своею, правда, обыкновенно жестоко ненавидим, но зато возлежит на лоне у начальства — как духовного, так и светского.

Собственно говоря, среда, в которой развиваются драмы Ибсена, даже сословно однородна со средою комедий Брускова. К сожалению, я не в состоянии читать Ибсена в оригинале, но уже по немецкому переводу заметно, что в оригиналах ибсеновых элемент бытового тона и языка должен быть гораздо сильнее, чем является он в бледных и обезли-

ченных переводах русских, трусливо памятующих, что на Западе все «разговаривают благородно», а потому не дерзающих ни на единое характерное слово и невероятно выbleд-няющих речь. Да это еще в лучшем случае. В худшем же являются на свет такие чудовищные злоупотребления не только Ибсеном, но и русским языком, как переводы г-жи Лучицкой: это — Геркулесовы столбы безграмотности.

Я должен сознаться, что для меня Ибсен на русской сцене почти невыносим — именно из-за мерзейших, ученических, любительских, антилитературных переводов, которые не могут не отражаться мертвечиной слов своих на игре актеров. Последних гипнотизируют «господин коммерсант», «господин бургомистр», «господин директор банка», «господин коммерции советник». Купца второй гильдии или «городского голову» русский актер играть не боится: свои люди — сочтемся, но «господин коммерсант» и «господин бургомистр» повергают его в почтительный трепет и заставляют говорить, держаться, ходить столь сверхчеловечески, точно он — свой собственный монумент, воздвигнутый по общественной подписке. Он совершенно забывает, что в каком-нибудь норвежском Калинове купец Дикой из «Грозы» или Вася из «Бесприданницы» были бы тоже «господа коммерсанты», а Кнуров — целый «господин коммерции советник». Я не скажу, чтобы между Дикими и «господами коммерсантами» была полная бытовая аналогия. Но надо пожить в маленьком западном городке на правах не «знатного иностранца», но постоянного обывателя, чтобы убедиться, что и разница не так уж велика и пространна. Еще недавно на моих глазах один итальянский Дикой буквально выгнал из дома своих квартирантов, отличных плательщиков, людей, с которыми до сих пор оставался в наилучших отношениях и не имел ни малейших причин к неудовольствию на них. А просто заявил: «Желаю сегодня спать в своей вот этой кровати», — и шабаш! Не послезавтра, не завтра, а вот именно сегодня. Ну и, следовательно, убирайтесь вон — на все четыре стороны.

Итак, бытовая среда Ибсена и Островского — приблизительно одна и та же. Ибсен предпочитал развивать на фоне среды этой интеллигентные драмы, Островский предпочитал, чтобы быт сам выделял действие. Поэтому чисто бытовые фигуры у Ибсена представляются как бы вводными, эпизодическими (например, Энгstrand в «Привидениях», Мортен Кийль в «Враге народа» и т.д.). Но сословная-то общность быта остается нерушимой. И общность эта ведет к тому, что у Ибсена и Островского имеются пьесы параллельного содержания: например, «Дикая утка» и «Пучина», — или сходных положений, как «Джон Габриэль Боркман» и «Свои люди — сочтемся». В особенности поражают не только почти совершенную параллельность идеи, сюжета, развития и движения действия, основных характеров и вводных типов, но и общностью сатирического тона — «Союз молодежи» у Ибсена, а у Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Политикан в стране, лишенной политических интересов, был бы Глумовым, из Глумова в государстве конституционном и парламентарском выработался бы политикан. Но даже в этих сходностях и параллелях неутомимо звучит та разница культур, что я обозначил выше: разница религиозных влияний, вторжений церкви в семейный быт и частных порабощений приходскою волею, воплощенной в личности пастора. Религия в быту Островского играет такую малую, формальную, безразличную роль, что, я уверен, вам, читатель, вряд ли приходило когда-либо в голову даже поинтересоваться вопросом, какого, собственно, вероисповедания Самсон Силыч Большов или Кит Китыч Брусков? Числится ли он по новой или по старой вере? Поповец или беспоповец? Крестится тремя или двумя перстами? На Руси был бытовой писатель, который прославился своими романами о людях старой веры: Мельников-Печерский. Его «В лесах» действительно вещь поэтическая и останется в русской литературе надолго, быть может, навсегда. Но именно влияние ре-

лигиозного-то элемента на быт и в ней не вышло. Получилась только великолепная бытовая картина все того же «темного царства», взятого лишь с другой, казовой, красиво-патриархальной стороны. А когда Печерский, спохватясь, хотел поправить свою невольную, правдивую ошибку против церковной тенденции и написал в виде корректива «На горах» с добродетельными священниками и лютыми раскольниками, вышла скучнейшая, маловероятная, зачастую даже пошлая, почти бездарная ерунда. Биограф Мельникова, Усов уверяет, впрочем, что в том была не Мельникова вина, а «Русского вестника», в котором он печатал «На горах». Безобразия хлыстам и добродетели православным прибавила властная рука Каткова, а у Мельникова-то было совсем другое. «У вас, — укоризненно писал Мельникову фактически редактор «Русского вестника» проф. Н.А. Любимов, — все хлысты описываются добродетельными людьми с возвышенными помыслами, а православное духовенство пьяница на пьяниц, вор на воре. Выводилась бы одна сторона — не беда. А то очень резкое сравнение. Поуменьшите водочки и мошенничества у православных пастырей, игуменов и архиереев». Таков уж русский быт, что его можно, а иногда, как примеры прошлого показывают, и должно писать вне религии. наших религиозных мотивов едва достает на эпизодические фигуры Пименов, юродивых, схимников, странниц. Белинский-то прав был в письме к Гоголю! Религия в русском быту — дело людей, отказавшихся от мира. Она — в монастыре, в «прекрасной матери пустыне». Это отлично развито в «Грише» того же Мельникова-Печерского. Быт — вне ее. Не то в странах и народах протестантских, о которых пишет Ибсен. Там религия вкраплена в быт с такою силою и глубиною, что совершенно пропитала его собою и — нераздельная — часто дышит и владычествует над бытом даже там, где, по видимости, она давно побеждена прогрессом, замерла, забыта и помина о ней не стало.

III

Бесчисленные пьесы Генрика Ибсена требуют почти научной, категорической классификации, как некий особый живой мир. Просто к Генрику Ибсену никто не подступает, все — в вооружении какого-либо лейтсимвола, полагающего основание на той или иной классификации: пьесы большой совести, пьесы господствующей страсти, пьесы возрастов и т.д.

Так как «Борьба за престол» — прежде всего историческая хроника, в которой авторский произвол связан условиями летописных данных и характером века, то обычная Ибсену учительность творчества, обязанная на этот раз считаться с внешними рамками исторической были, не выдерживает в «Борьбе за престол» той прямолинейной и, по правде сказать, скучной символической категоричности, с которою классифицируются пьесы Ибсена о нашей современности.

Написанная в манере исторических хроник Шекспира, а еще вернее будет сказать — в манере отражения этих хроник в трагедиях Гёте, «Борьба за престол» для читателя XX века, несомненно, много интереснее своих бессмертных образцов, и, хотя действие пьесы развивается в XIII веке, люди ее близки нам столько же, как люди «Столпов общества», «Дикой утки», «Маленького Эйольфа», как «Строитель Сольнес» и в особенности «Джон Габриэль Боркман».

Эту последнюю пьесу обыкновенно классифицируют как трагедию старости. «Борьба за престол» с могущественным центральным фокусом ее в мрачной фигуре ярла Скуле — также трагедия старости. И обе трагедии развиваются на одной и той же почве — исторического честолюбия. Великий финансовый король, Джон Габриэль Боркман, и великий средневековый воин и политик, ярл Скуле — соколы одного гнезда. В XIII веке Джон Габриэль Боркман пробивался бы мечом и интригами либо к норвежской короне, либо к карди-

нальской шапке («Человеком всеобъемлющей власти может быть только король или священник», — говорит Ибсен устами епископа Николая Арнессона); в XIX и XX веке ярл Скуле директорствовал бы в могущественном банке или был бы министром финансов и — по всей вероятности, кончил бы, как Джон Габриэль Боркман, — запятнанным миллионною растратою, подсудимым, опозоренным, бессильным к возрождению, задыхающимся от бездействия, в сознании неоконченности своих задач, несчастнейшим из несчастных стариком. Своего рода — Прометеем на скале с коршуном, терзающим печень титана, с морским раком, приползающим кусать его закованные ноги, но — без надежды, что придет некогда на выручку спаситель Геркулес, и без утешения, что в прошлом осталась великая победа над божеством. И Скуле, и Джон Габриэль Боркман — Прометеи-неудачники. Они не похитили огня с Олимпа и не облагодетельствовали им рода человеческого. Их подвиги были остановлены и пресечены в замысле. И главная мука их не те позоры и преступления, в которых им приходится пресмыкаться, но — великая скорбь, великий гнев и великий стыд неосуществленного намерения. Сознание сверхчеловечества, разрешившегося впустую, мощной и даровитой жизни, результатом которой остается даже не минус, а просто — огромный исторический нуль.

При всем родовом сходстве между ярлом Скуле и Джоном Габриэлем Боркманом есть между ними и резкая видовая разница. И заключается она в том, что у Скуле — нет своей «королевской идеи» и он должен с унижением заимствовать ее у своего вечно счастливого противника, Гокона Гоконсона. Наоборот, у Джона Габриэля Боркмана его «королевская идея» не только ясна и полна, но облечена в стройную программу, в логическую систему, которая была бы неотразима во всяких других руках, кроме самого Боркмана, пропустившего свое время и возможность действовать.

У Боркмана есть королевская идея, но нет королевских сил. У ярла Скуле есть королевские силы, но нет королевской идеи. Соуса из зайца нельзя сделать, не имея зайца: это — судьба Скуле. Но и заполучив зайца, нельзя превратить его в соус без огня, очага, кастрюли и пр.: это — судьба Боркмана. На кухне жизни Скуле годами кипятил какую-то бесполезную и неблагоприятную, часто преступную и кровавую бурду, пытаясь сварить заячий соус без зайца. А Боркман — шестнадцать лет просидел с мертвым, мерзлым зайцем в руках, покуда сам не замерз в лесной ночи, в которой мороз воздуха работал заодно с морозом житейским.

Вторая огромная разница между положением Джона Габриэля Боркмана и трагедией ярла Скуле: падение первого случайно — оно обусловлено «бабьей историей» и предательством со стороны верного друга; падение Скуле стихийно — оно обусловлено соперничеством с человеком судьбы, счастливецом из счастливцев, избранником из избранников, — если позволите так выразиться, расовым королем; «королевская идея», которой так недостает ярлу Скуле, рождается в уме и высказывается языком Гокона Гоконсона как самая простая и обыкновенная мысль, и за осуществление ее этот живой полубог принимается, как за привычное и обыденное дело.

— Норвегия была *государством*, — теперь она должна стать *народом*.

С к у л е. Что? Соединить дронтеймцев в один народ с вивкэрингами? Всю Норвегию? Это невозможно! Об этом не слыхано в истории Норвегии.

Г о к о н. *Для вас* — невозможно, потому что вы в состоянии только повторять историю; но для меня это настолько же легко, как — соколу пронизывать тучи на небе.

Говоря о пьес, основной мотив которой — борьба за государственную власть, а главный герой — узурпатор, немислимо не вспомнить великих предшественников «Борьбы за пре-

стол» — «Макбета», «Короля Джона», «Ричарда II», «Генриха IV», «Ричарда III», пушкинского «Бориса Годунова», «Mindowe» Ю. Словацкого. Но в первую голову, конечно, «Макбета», с которым пьесу Ибсена сближает и дикая первобытность средневековой эпохи, выделяющей сумерками своими пожар действия, словно зловещие вспышки нездоровых и злобных болотных огней. Однако я воспользуюсь «Макбетом» не для параллели между таном Кавдорским и ярлом Скуле, как ни легко она напрашивается под перо, но — для Гокона Гоконсона. Последний у Ибсена та же фигура в действии, что у Шекспира в зародыше и программе — Малькольм, законный наследник убитого Дункана и будущий преемник побежденного Макбета на троне Шотландии. Гокон Гоконсон целиком родился из знаменитого диалога между Малькольмом и Макдуффом. Это — излюбленный Средневековьем тип допарламентского короля по природе, короля Божьею милостью, которая, однако, сказывалась не наследственностью, но избранием ловкого и непреклонного стоятеля за единство власти, за «мир Божий и дворянский», естественного врага феодалов, собирателя земли, строителя полицейского государства.

В нем слышны силы английских Генрихов, планы Людовика XI, системы собирателей земли русской — наследников Калиты. Умеренный и безжалостный, не знающий ни личной злобы, ни личной доброты, безлюбивый, отрекшийся от уз родства и связей дружбы, властелин-династик, весь ушедший в задачи своего исторического честолюбия, Гокон Гоконсон очень напоминает нашего Ивана Третьего — кстати, такого же разностороннего счастливец и удачника, как Гокон, во всех молодых путях своих. Самая борьба между победоносным Гоконом и побежденным Скуле похожа на борьбу московской государственности с удельными претензиями, с соперничеством Твери, с вечевыми республиками Новгорода и Пскова. Загляните в «Северные народоправства» Ко-

стомарова. Вы не найдете в них фигуры, равносильной ярлу Скуле. Впрочем, в драматургии у нас еще блаженной памяти Кукольник пытался сделать что-то вроде «претендента на престол» из князя Даниила Холмского. Но Гокон Гоконсон так и глянет на вас со страниц великолепной книги Костомарова очами спокойного, вежливого и беспощадного Ивана Васильевича — сверхчеловека, очутившегося вне добра и зла и равнодушно фехтующего ими обоими без всякого различия, потому что царственная властность поглотила в нем нравственность и историческая задача подменила действительность текущей жизни.

Прорывы аристократических капризов, столь частые у Ибсена, свойственное ему славословие здоровой, торжествующей породы ницшевских «белокурых сверхлюдей», в честь которой во «Враге народа» льются дифирамбы доктора Штокмана и благородство которой не может будто бы улечься в этические рамки буржуазной демократии («Росмерсгольм»), довели Ибсена в «Борьбе за престол» почти что до апофеоза королевской расы, до признания в ней каких-то особых мистических сил и счастливых озарений, недоступных обыкновенным смертным. Мы видели выше «королевскую идею» Гокона Гоконсона. Нельзя сказать, чтобы идея сделать государство народным звучала уж очень великим и редкостным откровением — тем более в стране с извечно демократическим настроением, как Норвегия. Однако по воле Ибсена все, внемлющие планам Гокона, начиная с умного Скуле, изумляются ему как сверхъестественному глаголу какому-то. Скуле на первых порах даже думает, что в Гокона вселился черт-искуситель, и лишь впоследствии доходит до убеждения, что в нем говорила «королевская идея», не понятная людям, рожденным «быть первыми помощниками короля, но не королями». Для XIII века идея о слиянии государства и народности воедино, пожалуй, действительно не совсем обыкновенна. Но пьеса Ибсена была

писана для читателей и зрителей века XIX, когда идея эта стала не только общим местом, но даже отжила свой век, и там, где на смену ей выступает идея классового единства, государственный национализм давно уже успел принять окраску злобного реакционерства. Поэтому вся эта запоздалая на 600 лет полемика из-за «королевской идеи» Гокона Гоконсона звучит в ушах наших странным, условным пережитком. Неудачная попытка Ибсена реабилитировать мистические начала аристократической монархии представляет отрицательную сторону его пьесы.

В пьесе Ибсена разницу между «настоящим» и «не настоящим» помазанием в короли определяет гроб св. Олафа: Гокон Гоконсон удостоился благословения этою святынею, а Скуле — нет. И вот, в конце концов, покойник — тоже в свое время собиратель земли, как Гокон Гоконсон, — уничтожает и обесценивает все победы Скуле. Ярл стал королем, но — в действительности — он стал лишь атаманом колоссальной шайки высокопоставленных и низкорожденных разбойников, *Wolfsbaelge*, удаль которых он должен покупать разбойничьи же милостями: «Кто убьет помещика, да будет сам помещик; кто убьет судью, будет сам судьей на месте убитого». Король по имени, по наряду, по всей видимости, Скуле фактически — в полной зависимости от своих победоносных орд, в зависимости утомительной и, позорной.

— Как я устал, как я смертельно устал! — тоскует Скуле в монологе после своего королевского пира, имеющем для «Борьбы за престол» такое же важное, решающее и разграничительное значение, как знаменитый монолог Генриха IV или в «Борисе Годунове» — «Достиг я высшей власти».

Подобно Джону Габриэлю Боркману, подобно строителю Сольнесу старый Скуле хорошо понимает, что старость сама по себе бессильна, если не опирается на юность, ей сочувствующую, ей доверяющую. Иначе ее раздробит волна другой, враждебной юности, идущей на смену. К Сольнесу в за-

щиту от грозного сменщика Рагнара пришла — «юность на юность» — прелестная Гильда Вангель: она не спасла строителя Сольнеса, обреченного на гибель концом эпохи своей, но заставила его умереть красиво — достойно своего величия и великим запечатлеться в памяти людей. Джон Габриэль Боркман взывает о союзе к сыну своему Эргарту, но тот, равнодушный счастливец, катит себе мимо в возке с серебряными звонками, где обнимает его любимая женщина-вакханка и уже наготове обниматься выжидательно сидит другая. Боркман XIII века, Скуле счастливее своего alter ego* в XIX веке. Судьба как бы услышала его неугомонные клятвы, что — будь у него сын — он успокоился бы в своей династической гордости, он передал бы свою королевскую мечту и взятую займы идею сыну. Нашелся сын — и какой сын! Такие дети бывают только у претендентов на престол, во втором поколении узурпаций, созданные как бы специально для того, чтобы хищным клювом и острыми когтями защищать и умножить добычу власти, которую завоевали отцы. Подобно Генриху V, сыну Болингброка, или Перси, сыну Нортумберланда, подобно Федору Борисовичу, сыну Годунова, Петер, сын Скуле, блистательный сокол, сразу и деятельно поверил в отца своего, в свою династическую миссию и в ту «королевскую идею», которою проникся Скуле, позаимствовавшись ею от Гокона Гоконсона. И тут Ибсен не забывает подчеркнуть подготовленность Петера к восприятию «королевской идеи» аристократическою эволюцией. Петер сразу схватывает мысль о государстве-народе, которая в устах короля Гокона показалась ярлу Скуле чертовскою, а в устах короля Скуле показалась бессмысленною небылицею ярлу Павлу Флиде.

Но союзы старости с юностью непрочны и опасны, потому что это — сочетание прошлого с будущим, а звено насто-

* Второе я (лат.).

ящего выпало, и его не имеют и не хотят найти обе союзные стороны. Для старости настоящее — остатки прошедшего, для юности — только опорная точка для того, чтобы оттолкнуться веслом и поплыть в будущее. Гильда своим ужасным очарованием, своею смертоносною влюбленностью заставила Сольнеса преодолеть страх головокружения и взойти на высокую башню, воздвигнутую строителем гениальным, но слабодушным. Но на высоте у Сольнеса все-таки закружилась голова, и он рухнул вниз и улегся на земле окровавленным трупом. Петер — Гильда для Скуле. Он против Гокона — это именно «юность на юность». У него нет традиций в прошлом, которые вяжут волю Скуле, настоящее для него — лишь материал для созидания будущей башни, откуда он увидит «прелесть земли и все царства земные». Его мысль переходит в дело с быстротой молнии, почти бессловно. Если идея воспринята им, он сразу становится ее максималистом. Как скоро такую идеей сделался для Петера «король-отец» в величии исторической задачи создать народное государство, он жертвует для нее всем существом своим с быстротою и полнотою истинно северной юношеской решимости, так хорошо знакомой нам, русским людям смутных времен. Он носит рясу. Но — отцу нужен гроб св. Олафа. Сын становится святотатцем: силою отнимает он мощи у монахов и приносит их во дворец.

— Твоя вера в меня воплотилась в грех! — вопит отчаянный Скуле, подавленный подвигом союзника-сына.

Фанатик отвечает:

— Все за тебя! И Богу с этим нечего поделывать, как только махнуть на грех мой рукою.

С к у л е. Я обещал Ингеборг, что он останется чистым и невинным, а он издевается над небесами!

С тою же стремительностью бросается Петер в предприятие — убить сына короля Гокона. И здесь уже сам Скуле не властен остановить сына своего, как вождь партии

бывает бессилён остановить партию, которая успела шагнуть дальше его первоучительства. Чтобы спасти сына от нового преступления, Скуле решается на великое самопожертвование: лишенный материального королевства, он теперь снимает с себя королевство нравственное. Он признаётся Петеру, что пресловутая королевская идея, за которую тот уверовал в него и готов положить душу свою, не — его, но Гокона.

П е т е р (*падает ниц на церковной лестнице*). Возьми меня с земли, Господи! Казни меня за каждый грех мой, но возьми меня отсюда! Потому что здесь мне больше идти некуда...

Но — люди уходят, идеи остаются. И — «есть люди, рожденные, чтобы жить, и есть люди, рожденные, чтобы умереть». Скуле и сын его — люди второго призвания. Им нельзя жить для идеи, потому что она чужая, но умереть для нее они в силах. Ищущая растерзать их толпа ломится в двери церкви...

С к у л е. Иду.

Т о л п а. Святотатец тоже должен выйти.

С к у л е. Да, и святотатец тоже, да. Сын мой, готов ли ты?

П е т е р. Готов, отец.

С к у л е (*смотрит на небо*). Боже, я человек бедный, мне нечего отдать тебе, кроме жизни моей. Возьми же ее, но спаси великую «королевскую идею» Гокона... (*Петеру*.) Теперь дай мне свою руку.

П е т е р. Вот моя рука, отец.

С к у л е. Не бойся того, что сейчас произойдет.

П е т е р. Отец, я не боюсь ничего, если я иду рядом с тобою.

С к у л е. Более верным путем мы с тобою еще никогда не шли вместе...

Минуту спустя Гокон Гоконсон переступает через трупы их «во имя Божие»... и в самодовольстве победы шепчет

своему генералу Дагфину Бонде «разгадку» жизни погибшего Скуле:

— Весь секрет в том, что он был *пасынок* Бога на земле, — вот в чем была его загадка...

Скуле оказался счастливее Сольнеса: его Гильда, Петер, не пережила его падения с башни, откуда они собирались вместе, властные, видеть всю прелесть земли и все царства земные... отец и сын разбились в общем падении! И прекрасные любимые женщины проводили их в лоно смерти. Век, в котором развивается действие «Борьбы за престол», не позволил Ибсену выдвинуть вперед женские роли. Все они — едва намечены, хотя и мастерскою рукою. Но в этих художественных наметках уже сквозят прекрасные женщины будущего, которых образами, как надеждами, освятил Ибсен нашу современность. В прекрасной и печальной Ингеборге звенят сердечные ноты Эллы Рентгейм, пришедшей в тяжкую предсмертную ночь Джона Габриэля Боркмана, чтобы проводить его в небытие. Зигрид мы увидим впереди Астою в «Маленьком Эйольфе». Рагнхильда повторится десятки раз, как та незаметная и скромная сила, без тайной опоры на которую не живет ни один герой Ибсена, до доктора Штокмана включительно. Маргрета — только без венца — будущая Теа кудрявая из «Эдды Габлер» и, быть может, немножко Рита из «Маленького Эйольфа».

Набросок мой, и без того занявший слишком много места, не позволяет мне договорить о блестящей пьесе Ибсена много важного даже в общем, не говоря уже о замечательных психологических ее подробностях. Если бы было место и время, я почел бы своим долгом подробно остановиться на том раздвоении личности, которое вносят в жизнь Скуле идеалистические афоризмы его поэтического друга, скальда Ятгейра, олицетворяющего собою положительную сторону этики «претендента на престол», и проследить процесс, которым раздвоение это доводит Скуле до галлюцинации

дьявола в образе покойного епископа Николая Арнессона. Эта грандиозная фигура средневекового попа-политика, главная действующая пружина, движущая *regretuum mobile** феодальной вражды и интриги, исчезает с третьего акта, чтобы перед концом трагедии явиться больному, полубезумному Скуле как полугреза, полупривидение, «послом от самого старшего претендента на престол во всем мире, т.е. от Сатаны. Фигуры интригующих и тем всевластных князей-прелатов всем хорошо знакомы по хроникам Шекспира, где число их очень значительно. Но епископ Николай художественно поднят Ибсеном на демоническую высоту, какой не достигает ни один из честолюбивых кардиналов и духовных временщиков Шекспирова цикла. В епископе Николае — вся завязка пьесы, но эпизод его остается в ней стоять особняком, как *chef d'oeuvre* в *chef d'oeuvre***». Для трагиков, щеголяющих техническими ролями, как «Людовик XI», «Ришелье», Ибсен обновил возможность в десять раз сильнее эффекта, посвятив длинную сцену — смерти гениального старика — внутренней борьбе грешного суевера, который боится, что его возьмут черти, с философом-скептиком, который недавно еще отвечал Скуле на вопрос его:

«Епископ Николай, кто вы? Больше, чем человек, или меньше, чем человек?» «Я нахожусь в состоянии невинности, не знаю разницы между добром и злом...»

Скальд Яртгейр и епископ Николай, — знаменитые, белая и черная, птицы скандинавского эпоса, поющие в душе Скуле, как пели они, споря о чести и совести богатыря Фритьофа... Эти роли, несмотря на эпизодический свой характер, из самых значительных и трудных в пьесе, поэтому что в них ключ к душ Скуле, он — ее комментарий и разгадка.

* Вечный двигатель (лат.).

** Шедевр в шедевре (фр.).

ПЕТР ФИЛИППОВИЧ ЯКУБОВИЧ

Россия потеряла одного из самых светлых и честных сынов своих. 17 марта скончался всего-то на 51-м году жизни Петр Филиппович Якубович — стойкий политический деятель восьмидесятых годов прошлого века, популярнейший мученик политической каторги и ссылки в годах девяностых и всеми любимый литератор «передового полку» в первом десятилетии века текущего. Трижды любимый, потому что одни любили в нем поэта П.Я., другие летописца каторги — Мельшина, третьи — критика Гриневича, причем многие даже и не подозревали, что вся эта литературная троица сливается в одном прекрасном лице Якубовича. Я сегодня остановлюсь здесь лишь на первом значении Петра Филипповича: буду говорить об угасшем поэте П.Я., пользуясь двумя томами его стихотворений, только что выпущенными издательством «Промещение».

То деление на три десятилетия, которое я наметил сейчас для характеристики П.Ф. Якубовича, конечно, должно быть принимаемо приблизительно и отнюдь не с исключительностью, распределяющею жизнь П.Я., так сказать, от сих до сих. Я имею в виду лишь наиболее господствующие моменты этой жизни, повелительным напряжением которых надолго окрашивались ее полосы, пока одна полоса — естественно и последовательно — не переливалась в другую. П.Ф. — совместно и неразлучно — и литератор, и политический деятель с ранних юношеских дней до гробовой доски. Но для 80-х годов в нем *особенно* важен народоволец Якубович, для девяностых — бытописатель каторги Мельшин и трагический образ страдающего ссыльно-каторжного поэта П.Я., для 1900—1910 — литератор, заслуженный сибирский поворотник, критик Гриневич, один из главных руководителей популярного журнала «Русское богатство». Так что это фа-

зисы общественного отношения к Якубовичу, а не самого Якубовича. Самая же биография Якубовича поражает своею органическою цельностью и неизменностью. Политическая деятельность, литература и жизнь слились в этом человеке в гармоническое единство, естественная логика которого представляет собою явление не только прекрасное, но и крайне редкостное в русском литературном мире, далеко не избалованном на этот счет. Стихотворения П.Я. делятся на отделы: На весах (1878—1884). В крепости (1884—1886). В дороге (1887). Кара и Акатуй (1889—1893). В стране сопок (1894—1895). На родном рубеже (1896—1899). Возвращение (1900—1910). По названиям отделов, сопровождаемых хронологическими датами, читатель ясно видит, что пред нами поэтическая автобиография П.Я. Но тщетно он будет искать под автобиографическими рубриками автобиографического субъективизма. Рубрики указывают лишь историю духа П.Я., но содержание их почти не отражает внешних условий, в которых этот дух выковал свою упругую силу. В конце концов, он — кратко комментированная хронология, не больше. Поэт принял в соображение, что для понимания и оценки многих его стихотворений трагические пометки «Кара», «Акатуй» и т.п. не только нужны, но буквально необходимы. Но, скромный и деликатный, он этими пометками и кладет предел проявлению в своей поэзии своего личного быта. Надо удивляться тому, как далеко и невидно спрятано, почти упразднено в стихах Якубовича гордое поэтическое «я»; как мало интересуют его собственные муки и испытания; как он весь — в своей политической мечте, в любви, сочувствии, сострадании и борьбе за народ и родину, из недр которых эта политическая мечта наплывает на него трогательными поэтическими вдохновениями. В одном из самых глубоких и задушевных своих стихотворений (1889 года) П.Я. бросил в лицо «певцам, уставшим до срока петь о слезах родимой стороны»,

и «бойцам, без страха и упрека, свой меч вложившим в ножны», ряд грозных вопросов:

Смирjali ль вы со злобой беспощадной
Кипенье сил и крови молодой
И ваше я, божка с утробой жадной,
Убили ль собственной рукой?
Когда без слов, в ужасный час разлуки,
Старуха мать приникла к вам в слезах,
Вы, отстранив обвинвшие вас руки,
Ушли ль с безумием в очах?
А сон любви — тот светлый и стыдливый
Блаженства сон, — вам лишь на миг светил?
И поцелуй ваш первый торопливый
Навек последним ли он был?

П.Я. имел нравственное право предложить сверстникам своим этот пуританский экзамен политического аскетизма: он сам его выдержал! Его-то «я» было с искренностью растоптано, стерто и забыто: сгорело и пеплом разлетелось, как жертва на алтаре народном. В этом отношении П.Я. — совершенно исключительная величина в русской посленекрасовской поэзии. Победа над своим «я», отдача всего себя — сердцем и мыслью — на служение страждущему и борющемуся человечеству далась ему в гораздо большей мере и, главное, еще проще, чем даже, например, Надсону, которого Якубович так горячо любил и высоко ценил. Надсон превосходил Якубовича задатками своего не успевшего распусться полным цветом красивого дарования. Но Надсон скончался, не выйдя из возраста поэтического юношества, и в этом едва ли не главное его посмертное очарование. Якубовичу в годы Надсона было уже не до юных самоощущений — приходилось и быть, и действовать, и чувствовать себя зрелым и ответственным мужем на суровой общественной работе. Вспомним, что, уже будучи 23 лет, ему суждено было стать одним из энергических

деятелей «Народной воли», помогавшим своими чуть не ребяческими руками соединять и направлять партию, разбитую и рассыпанную правительственной реакцией после 1881 года. Якубович как поэт с ранних лет — взрослый. Он — мальчик, но взрослый. Он не имел ни права, ни возможности отвлекаться в сторону красотостей ребяческого романтизма, которого так много и естественно много у Надсона. Может быть, именно эта ранняя, скоро определившаяся и быстро законченная взрослость помогла Якубовичу зато и сохраниться молодым до 50 лет. Потому что в его последних песнях столько же молодости, как и в первых, восьмидесятих. И правильно сам он говорил о себе:

То, что молодость скорбью святою крестила,
Только то я люблю, и люблю навсегда!

Когда я думаю о П.Я., представляется мне такая картина. В ночь с 27 на 28 декабря 1877 года петербургскою улицую «брела на костылях» в трауре только что осиротевшая Муза великого поэта — «бледная, в крови, кнутом иссеченная Муза» Некрасова... И негде было ей, сироте, приютить свою печальную голову, и во многие поэтические окна заглядывала она, но вглядывалась в жильцов и, с сомнением покачав седыми кудрями, отходила прочь, ни в одном не встретив надежды на надежный и честный приют: где — ее не хотели, где — она сама остаться не хотела. Стан «ликующих, праздно болтающих» был велик и чужд, а свой стан — умирающих за великое дело любви — не виден и не слышен. Но вот остановилась она у одного окна и увидела за ним лампу, при свете которой незнакомый семнадцатилетний мальчик, лихорадочный и заплаканный, поспешно писал стихи, а слезы пламенем падали на бумагу...

Жаждал ты отчизны возрождения,
Чтоб до слуха ветер не донес
Из родного русского селенья
Накипевших от страданий слез.
Но народ, которого стенанья
Муза пела, — песен не слышал
И, как прежде, под ярмом страданья,
Ниц склоняясь, стонал, стонал...

И подумала «бледная, в крови, кнутом иссеченная» Муза: «Этот мальчик слишком молод, и стихи его еще очень плохи, но, когда он их пишет, его хрустальное сердце исходит горячею кровью, как исходило сердце того, кто сегодня навеки расстался со мною. И этот мальчик понимал и любил его, потому что искренни огневые слезы, которыми обливает он свои неуклюжие вирши в память моего поэта. Он честен, чист, смел и любит человечество, как любят его только герои. Останусь же я с ним — и научу его писать стихи — и, быть может, он тоже сделается настоящим поэтом...»

И вошла некрасовская Муза в сердце мальчика. И когда почувствовал мальчик в сердце своем дыхание некрасовской музы, полились с его пера некрасовские стихи:

В наше время дорогой прямой
Бодрым шагом идти до могилы
За идеей великой, святой —
Нужно чувствовать гордые силы
И владеть закаленной душой!

—
Я — твой, Земля! Твои страданья,
Твои восторги близки мне, —
Былинки мирное шуршанье
И ропот грома в вышине.
Я — твой!.. И волновать до гроба
Земная будет жизнь меня,
Ее тоска, любовь и злоба,
Заботы вечности и дня.

На крыльях грез в лазури вольной
Люблю, как птица, я нырять,
Но страшно мне отчизне дольной
Прости последнее сказать!
Что мне небес обетованья?
О, мать-Земля, я — твой, я твой!
Приму я крест, приму страданья,
Но жизнью жить хочу земной!
И если там, в стране безвестной,
Иная жизнь и счастье есть,
Хотел бы я — и рай небесный
Сюда, на землю, перенести!

Братья гордые, свободные,
Научите — как стоять
Под грозою, в ночи темные
Не робеть и не дрожать!

И увидела Муза Некрасова, что не ошиблась она, посту-
чав в сердце мальчика, и осталась в благородном сердце
этом навсегда — покуда оно не перестало биться 17 марта
1911 года.

Из всех поэтических влияний, воспринятых П.Я., не-
красовское, конечно, — самое сильное, наиболее ему род-
ственное и органически, наследственно им усвоенное.
Кроме Некрасова, на П.Я. сильно влияли Лермонтов, Тют-
чев, Полонский, Гейне, поэты итальянского Risorgimento
и Бодлер, которого он первый стал переводить на русский
язык. Но об этих влияниях я сказал бы, что они воспринима-
лись Якубовичем уже преломленными сквозь некрасовс-
кую призму. В особенности это заметно на Лермонтове,
которому Некрасов был столько же преемственно обязан
своим стихом и сильною простотою поэтической фразы,
как П.Я. преемственно обязан Некрасову. Впоследствии
П.Я. перевел из Фр. Боденштедта «Затерянные стихотворе-
ния М.Ю. Лермонтова». Перевод этот очень любопытен
именно в том отношении, о котором я только что говорил:

Лермонтов в нем чувствуется, но профильтрованный чрез Некрасова.

Навсегда осталась некрасовская муза жить в сердце Якубовича — и не раскаялась. Нет сомнения, что ее новое помещение оказалось много теснее, чем только что покинутая ею храмина великого поэта. П.Я. — не великий, быть может, даже небольшой поэт, и не было в нем ни сил для некрасовского размаха, ни красок для некрасовской яркости. Но тем не менее, поселившись в сердце Якубовича, так сказать, на вдовьем положении, некрасовская муза должна была почувствовать себя в некоторых отношениях даже лучше, чем жилось ей в сердце великого «Рыцаря на час». Прежде всего она увидела себя среди такой хрустальной чистоты, в обители такой высокой морали общественной и личной, какие разве в тоскливых снах и в недостижимом идеале грезилась страдальческой душе Некрасова, отравленной мутною пестротой бурной и широкой жизни полупоэта, полудельца. А затем — того элемента, которым привыкла она питаться, — любви к народу и готовности деятельно служить ему, — она нашла опять-таки запасы неслыханные и невиданные. Там были мечты и тоскливые грезы о деятельности, здесь — живая и требовательная деятельная явь. Любовь к народу «кающегося дворянина», мощная словом обличительного стыда и стонами совести, угрызаемой зрелищем страдающего народа, поблекла перед любовью демократа, мощною непосредственным творчеством дела, которое не замедлило одеть руки Якубовича в кандалы и перебросить его в каторжные норы Кары и Акатуя.

Некрасов предсмертно произнес слишком строгий, но все же и небеспричинный суд над своею славою:

Знай, дитя: ей долгим, ярким светом
Не гореть на имени моем:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.

И — закончил великим пророчеством:

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет.

Это пророческое четверостишие — живой литературный портрет Якубовича. Быть может, им следовало бы украсить свежую могилу П.Я. Он принял на себя дар поэтический как завещание подвижничества, заранее уверенный, что «эти песни гирляндой роз мне чела не украсят, конечно». На Парнас он пошел, как на Гефсиманскую гору:

— Так лиру ж мне! Родная, лиру мне!
— Постой, дитя, не все я досказала!
Какой ценой получишь ты ее?
— Ценой всего! Свободы, жизни мало —
Возьми и сердце, счастье, все!

—
Самой судьбой для русской Музы
Даны гоненья, скорби, узы,
И без тернового венца
Что слава русского певца?

И, однако, с такою твердою сознательностью наметив для себя страшный крестный путь свой, Якубович тоже подобно своему великому предшественнику тосковал, что мешают ему песни быть бойцом, а борьба — быть поэтом («Меч и лира»). Но — надо знать, как, где и когда он тосковал об этой роковой помехе!

Музой был мне сумрак каземата,
Цепь с веревкой — лиры были струны...

В ужасах каторги — Карийской каторги! — Якубовича все еще мучит

Сознания стыд, что лучше и полнее
Могли отдаться мы борьбе...

У Некрасова, богатого, властного литературного барина-покаянника, в спокойной и славной его петербургской обстановке все же вырвалась однажды робкая надежда, что «старый мучитель, демон бессонных ночей», перестал приходить к нему — потому, что, может быть, «уже доволен он мной». Якубович даже на дни карийской каторги имел мужество отречься от утешающих призраков и обольщений:

Нет, *еще мало* страдал я во имя свободы и света,
Я не достоин, о братья святого названья поэта!
Истинно Божий певец, одаренный любовью,
Скорбью рожденный людской и крещенный изгнанием
Каждую песнь покупает страданьем,
Славу же — кровью!

Это то самое, что и Некрасов сказал в одном из блестящих четверостиший своих в посмертной записной книжке:

Развенчан нами сей кумир
С его бездейственной, фразистой любовью.
Умны мы стали: верит мир
Лишь доблести, запечатленной кровью.

Но Некрасов сказал — вчуже, «К портрету***», — Якубович ничуть не боится обратить это страшное правило на самого себя — уже каторжника, уже карийца!

Нам, в условиях обыденной — с позволения сказать, «послереволюционной» — жизни, может быть, странна и непонятна эта неумолимая жажда, эта все углубляющаяся

потребность героического страдания. Казалось бы, человек дошел до девятого круга Дантова ада. Какого же еще страдания нужно ему? Почему нет в нем довольства исполненным долгом? Что за политический «мазохизм» такой? Каких еще преисподних самоотвержений может искать человек, побывавший за свою идею в котле смертного приговора, годами томившийся в Петропавловской крепости, звенящий кандалами в каторжном руднике? Но — увы! — Якубович был прав: преисподние самоотвержения бесконечно растяжимы и требовательны и испытание им всегда готово. На его глазах разыгралась карийская трагедия 1889 года, когда С.Н. Бобохов и И.В. Калюжный покончили жизнь самоубийством после того, как товарищ их Надежда Сигида была подвергнута телесному наказанию: мрачный пассивный протест, который так недавно повторился в Зерентуйской каторжной тюрьме и унес в могилу молодую жизнь Е. Сазонова. Угрюмый факт протестующего самоубийства отразился в душе Якубовича не только героической завистью к мертвым товарищам, но прямо-таки «угрызениями совести»:

Не о вас я скорблю, зову чести послушных,
Жизнь сумевших за други своя положить:
Я печалюсь о нас о друзьях малодушных,
На руинах святых остающихся жить.
Мрак и ужас былого воочию видеть,
Все, что, гордые, вы не хотели снести,
Бесконечно любить, горячо ненавидеть
И не чувствовать силы за вами идти —
Есть ли пытка страшнее?

Жертва — и без конца жертва, — жертва «из слез и крови сердечной» — таков суровый оброк, наложенный на себя поэтом с тем, чтобы платить его народу до гроба, не облегчая, но все отягчая и все стыдясь, будто он еще — ле-

жок. Якубович отдал родине все, чем красна жизнь не только обыкновенно смертного обывателя-«интеллигента», но и человека много выше среднего общественного уровня, провел бытие свое чрез испытания закаленного героя — и еще тоскует, что все-таки осталась ему самая жизнь, что ее-то не успел он отдать. Хотя — мы знаем — даже и отсутствие этой самой последней и конечной жертвы совсем не от него зависело и сам он все сделал, чтобы ее принести... Не от него зависело, сам все сделал, а между тем мучительно терзает себя сознанием недоконченного подвига:

Отчего не лежит твой истерзанный труп
Рядом с нами, погибшими братьями?
Отчего ты, как вор, лишь во мраке ночном
К нам приходишь с своими объятьями?
Что нам в злобе твоей, хоть и нет ей конца,
Что тоска нам твоя безысходная?
Песни скорбные громко умеешь ты петь,
Но страшна тебе смерть благородная!
Уходи, уходи! Нам противны, смешны
Оправданья твои малодушные...

На Некрасова укоризненно смотрели со стен портреты друзей, «в цвете лет» павших «жертвою злобы, измен», укоризненно — за то, что «песни вещие их не допеты». Видения, которыми мучила себя неугомонная, преувеличенная, гипертрофированная совесть Якубовича, были гораздо грознее. Его вспоминающая мысль всегда жила лицом к лицу с призраками страшных смертей «Забытого мира» — и мучит она себя не «вещими песнями недопетыми», но жизнью недожитою. Мучит напрасно — скажет объективно наблюдающий со стороны спокойный читатель. Но тем более ужасно, если есть в нем субъективная повелительность к подобному «напрасному» мучению. В лице

П.Я. мы потеряли самую чуткую, огромную, глубокую, страдальчески деятельную, общественную совесть, которая только расцветала в русской литературе, — за исключением разве В.М. Гаршина и Г.И. Успенского. Тоска его музы — собственно говоря, тоска по эшафоту, на который он мечтал взойти искупительною жертвою за народ свой и который только случаем миновал его.

Гордая смерть на поле гражданской битвы — настолько постоянная тема П.Ф. Якубовича, что иной близорукий читатель может, перелистывая его стихотворные томики, принять П.Я. за убежденного «поэта смерти». Но смерть, которую он любит, конечно, не тот торжествующий скелет, что в 1900—1910 годах беспутно взобрался на русский литературный трон благодаря поддержке г. Леонида Андреева, Ф. Сологуба и иных, иже с ними, и скалит зубы в эгоистических гримасах под пошлую шумиху изъезженных громких слов и общих мест мешанского пессимизма. Смерть, прославляемая П.Я., — та великая самоотверженность, мать свободы, в которой смертью смерть попирается и даруется живот сущим во гробех.

Прекрасен и прочен героя венец:
Ты, смерть, — для бессмертья кующий кузнец!

И, возвышаясь над костями
Борцов погибших, каждый раз
Бедней все будет мир цепями,
Все ближе возрожденья час.

Чтоб новому колосу жизни созреть,
Мы, старые зерна, должны умереть.

Где живая кровь текла,
И струились слезы, —
Молодая жизнь взошла,
Распустились розы.

Я знаю: на костях погибших поколений
Любви и счастья прекрасный цвет взойдет!
Кровь жаркая бойцов и слезы их мучений
Лишь почву умягчат, чтоб дать роскошный плод.
Из груди их крестов создастся ряд ступеней,
Ведущих род людской к высоким небесам:
Свершится дивный сон — и светлых райских дней
Достигнет человек и богом станет сам!
Да, там горит звезда неведомого счастья,
И даль грядущая красна и широка...
Что значит перед ней — весь этот мрак ненастья,
Всех этих мук и слез безумные века?

Вслед беспокойной Икаровой тени
Смело, о братья, отважно вперед,
Выше, все выше: не бойтесь падений
С ясных небесных высот!
Слава победы лишь храбрым дается,
Срама не знает погибший в борьбе...
— Юность, тебе наша песня поется:
Вечная слава тебе!

«Умирение в жизнь», неуклонное движение чрез страдание к идеалу, фанатическая вера, что очищающее пламя борьбы ведет человечество к лучшему и есть настоящее дело человека — эти твердые воспитательные законоположения музыки П.Я. сыграли несомненную роль в политическом и моральном развитии той лучшей части молодежи конца восьмидесятых и всех девяностых годов, для которой слагался его жесткий, но популярный стих. И часто он глядит далеко в будущее и умеет выразить грядущую революционную идею задолго до того, как суждено ей схватить пожаром умы русского общества. Стихотворный «Человек» Якубовича на 12 лет опередил ритмическую прозу «человека» Максима Горького. Поставьте рядом две эти вещи: они удивят вас единством настроения и идейной дидактики. Талант Горького больше, образность

сильнее, но коллективный смысл этого боевого вопля — один и тот же у обоих протестующих поэтов, и единством порыва вызывается очень часто даже и единство выражений.

Когда я вижу на собрании стихов Якубовича пометки: 6-е и 4-е издание, — признаюсь, эти цифры очень отрадно ласкают мое зрение. В наше удивительно плодущее на вирши время, когда заниматься стихотворством стало самоудовлеющим занятием, а рифмоплетов и звонарей ритма оказывается в Петербурге и Москве, по однодневной переписи, чуть ли не больше, чем извозчиков, — приятно и почти странно видеть доказательный знак общественной привязанности к поэту обособленному, строго целесобразному, с праздным звонарством ничего общего не имевшему и презиравшему звонарей от всей глубины строгой души своей. Это, особенно в связи с малым распространением других новых русских поэтов, почти сплошь одержимых так называемым «эстетическим направлением (немалое самозванство!), — позволяет думать, что, несмотря на все усилия «искусства для искусства», с одной стороны, «санинства» — с другой, общество по-прежнему сохранило свой старый и правый взгляд на поэта, как на Тиртея, как на эхо и вдохновителя общественного коллектива современности. Современные *nomina sunt odiosa*?* Но вот в первой книжке «Современника» было отмечено, что за первое десятилетие XX века Фет, именем которого, как одного из родоначальников своих клянутся русские эстеты, поэт действительно прекрасный, прошел всего лишь одним изданием. Между тем — мы видим: Надсон и Якубович, значительно ему уступающие дарованием и изобразительною красотой, расходятся — издание за изданием — в массу, непрестанно требующую поэтического

* Имена ненавистны (*лат.*).

учительства по присяге некрасовскому правилу: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». В свое время П.Я. ответил любителям «искусства для искусства», упрекавшим его в «тенденциозности», в закабалении «святой поэзии» «служебным целям» и пр., — ответил гордо и право:

Как вы, я петь бы мог
Заката пышный блеск,
Луны сребристый рог,
Волны дремотный плеск.
Я также бы нашел
И нужный склад и слог.
Ко мне б не хуже шел
Дешевый ваш венок!
Но взор прозревший мой
В испуге увидел —
В неволе край родной,
В позоре идеал.
И рай надежд моих
Рассеян, как мираж...
Вот отчего мой стих
Так не похож на ваш!

Великая любовь к родине — главный предмет поэтического учительства П.Я — кипела в этом благородном сердце с такой переполняющею силою, что иногда ум самого поэта останавливался перед нею, как почти сверхъестественным феноменом духа, перед которым бессильно отступает строгий логический анализ. Таково его знаменитое стихотворение «К родине»:

За что любить тебя? Какая ты нам мать.
Когда и мачеха бесчеловечно-злая
Не станет пасынка так беспощадно гнать,
Как ты детей своих казнишь, не уставая?
И т. д.

Эта прекрасная, глубокая вещь — одна из тех что погашают вопрос о таланте автора, потому что значение их выше этого вопроса. Они входят в литературу, как стихийный вопль истории, как общая мысль огромного, одинаково настроенного коллектива. Подобно «Марсельезе»: не важно, кто и как это сказал, важно, что это сказано. Индивидуальность поэта исчезает в подобных исповедях: они становятся исповедями времени. Они делают автора своего историческим лицом, голосом эпохи и потом не дадут уже имени его потеряться в летописях литературы, как бы скромны и малы ни были его остальные стихотворные заслуги. Недаром П.Я. так любил поэтов-борцов итальянского Risorgimento: это — совершенно родственный им порыв. Заключительный ответ П.Я. «К родине» — великое русское исповедание. Оно не умрет в памяти общества наряду с лучшими гражданскими вдохновениями Лермонтова и Некрасова и со временем, когда поэзия П.Я. достигнет народного внимания, явится в числе тех, не весьма многочисленных, примирительных мостов «общего чувства», которые должны перекинуться через вековую, но не безнадежную пропасть между народом и интеллигенцией.

За что — не знаю я, но каждое дыханье,
Мой каждый помысел, все силы бытия —
Тебе посвящены, тебе до издыханья!
Любовь моя и жизнь — твои, о мать моя!
И что б еще хоть раз твой горизонт обширный
Мой глаз увидеть мог, твой серый небосвод,
Сосновый бор вдали, сверканье речки мирной,
И нивы скудные, и кроткий твой народ,
За то, чтоб день один мог снова подышать я
Свободой полей и воздухом лесов, —
Я крест поднять бы рад без стона и проклятья,
Тягчайший из твоих бесчисленных крестов!

В палящий зной, в песке сыпучем по колени,
С котомкой нищего брести глухим путем.
Последним сном заснуть под сломанным плетнем
В жалчайшем из твоих заброшенных селений!..

Вторая великая наука Якубовича, в которой он опять-таки никем не превзойден и на этот раз — нельзя не признать, — вряд ли имеем даже равных себе поэтических предшественников, — наука «чести». Якубович понимал «честь» глубоко, требовательно, взыскательно, почти с нетерпимостью к смягчающим поправкам. Этот член своего символа веры он выразил в 1892 г. стихотворением в лермонтовской манере, настолько замечательным, что я позволю себе привести его целиком, хотя оно и довольно длинно:

Дороже райских благ, всего, друзья, что есть
Для вас святого во вселенной,
Сокровищ больше всех цените вашу честь,
Души алмаз неоцененный!
Блюдайте этот клад, как девушка свой стыд,
От юных дней и до могилы,
И пусть ни золото вас собою не прельстит,
Ни поцелуй и смех Далилы!
Ни слезы матери, ни дряхлый век отца,
Ни вид уже готовой казни
Пусть вашей гордости не сломят до конца,
Открывши сердце для боязни!
Не верьте разуму, когда он скажет вам,
Что не измена — ход лукавый,
Что можно смыть с души вины случайной срам
Годами подвигов и славы.
Не верьте: слабости то шепчет дух больной,
Прикрывшись логики личиной..
...И если победит сомненья горький час,
И роковое зло свершится, —
То знайте: нет людей, навек несчастней вас,

И лучше б в мир вам не родиться...
 Никто, ничто печаль души не усыпит —
 Она растет, растет с годами...
 Довольный враг вам жизнь, свободу возвратит,
 Осыплет золотом, дарами, —
 Свобода будет вас душить, как свод тюрьмы,
 Червонцы руки жечь вам станут;
 Друзья... О, скорбь! о, стыд! — друзья, как от чумы
 От вас испуганно отпрянут.
 ...Но пусть простят друзья, иль пусть молчит пока
 Легенда вашего позора:
 Коснется ль ваших рук товарища рука —
 Вы стыд почувствуете вора.
 Через много, много лет, когда, попав опять
 В водоворот борьбы кипучей,
 Найдете счастье вы, какое может дать
 Бойцу венец его колючий,
 Не раз, как Божий гром с безоблачных небес,
 Как адский дух среди кущей рая,
 Мелькнет забытый сон... И солнца свет исчез,
 И сердце сжала боль тупая!..

Это стихотворение написано в Акатуе вскоре после страшного зрелища самоубийств Калюжного и Бобохова, вызванных опасениями телесного наказания. В противоположность пушкинскому Кочубею, П.Я. пытку пережил, но пытка чести у него не отняла и не поколебала гордого его духа. Стихотворение — ответ нескольким ослабевшим товарищам, совещавшимся, извинительна ли в некоторых случаях подача прошений о помиловании. Само собою разумеется, что для П.Я. тут не могло быть никаких компромиссов. Он рубил свои «или — или» сплеча и понимал и в горе, и в радости только те прямолинейные положения, когда

Ни оттуда, ни туда
 Нету перевоза.

Удивительно ли, что, поставив пред собою идеал не прощающей строгости, П.Я. при всей высоте своего духа, при всей нравственной чистоте своей стоял в жизни сам пред собою вечно, как на суровом экзамене, проверял каждое свое душевное движение и часто переживал минуты сомнений, под гнетом которых бывал он

...сам себе — и судья,
И тюрьма, и палач с гильотиною.

Но П.Я. никогда не был «Гамлетиком революции». Мы видели, в каких застеночных условиях мучила его эта борьба. Есть пословица, что, кто сказал «а», тот должен сказать и «б». П.Я. сказал и «а», и «б» — и проговорил всю азбуку политического страдания и мучился, кровно мучился тем, что — вот не пришлось ему договорить «фиты» и «ижицы»... Стих его бывает в духе, резвится, острит — только когда автор тяжело страдает в деятельной борьбе или расплачивается за нее жестокими карами. Из стен Петропавловской крепости он написал целый ряд шуточных поэм. *Postscriptum* к одной из них («К сестре») обратился в пословицу русской политической тюрьмы:

Благословенна власть Господня!
И мы блины едим сегодня.

Третья великая наука П.Я. — его отношение к женщине. Воспитанный в суровой школе народовольцев, он вынес из нее целомудренно-рыцарское представление о женском идеале, каким так исключительно красиво отличалась аскетическая, воздержная революция семидесятых годов от нравов общества, вокруг нее плесневевшего и уже загнившего, чтобы двадцать лет спустя завонять порнографией в литературе и бесстыжестью в жизни неунываю-

щего российского декаданса. В старом, красиво-романтическом, туманно-философском русском славянофильстве был поэт-критик Аполлон Григорьев. В одном из его стихотворений прозвучала однажды удивительная по строгой силе своей мысль:

Мне стыдно женщину любить
И не назвать ее *сестрой*.

Эти два стиха можно поставить эпиграфом ко всей любовной лирике П.Я. Не знаю, найдется ли среди русских поэтов еще хоть один, который умел бы даже не отрешиться — нет, ему и отрешаться не приходится, — а просто так-таки: быть и мыслить без чувственности — в большей мере, чем Якубович. Этот человек в присутствии женщины весь сплетен из уважения к ее *человеческому* достоинству, и разнополость его с «товарищем» — едва ли не последняя идея, которая приходит ему в голову. В годы, когда несчастные счастливыцы декаданса и родоначальники санинства захлебывались «атласным телом» женщин-«кобыл» и звали родных сестер решать вольною практикою «половые проблемы», этот честный и чистый народоволец (я очень подчеркиваю его партийную наследственность, потому что в ней великая школа) не хотел и не умел взглянуть на женщину иначе, как на равного ему товарища-соратника и как духовную сестру. Судьба связала земной жребий его с прекрасною женщиною, ставшею его супругой. Это было заслуженное счастье, потому что — после Некрасова или рядом с Некрасовым — кто же еще так уважал, так высоко ставил русскую женщину, как П.Я., кто спел ей столько восторженных гимнов и чище относился к ее чудотворной святые? Я совершенно не знаю частных обстоятельств П.Ф. Якубовича и, признаюсь, сейчас очень рад этому. Потому что тот идеальный «муж-брат», кото-

рый проходит на страницах стихов его такую выразительную — если позволено будет так выразиться, — выпуклую тенью, прямо-таки не требует ни доказательных примеров, ни житейских комментариев. Светясь собственным внутренним светом, он весь сразу ясен сам по себе. Этот образ сразу принимаешь весь целиком, как он есть, и вернешь в него без частных оговорок и поправок.

Герой-мученик — безусловный идеал П.Я. Подруга героя-мученика, конечно, — равная ему, быть может, иногда превосходящая его, героиня-мученица. Ни одна страна в мире не видала на этой стезе женщин более великих и целно-прекрасных, чем Россия. Ни в одной стране в мире мужчинам не приходилось более стыдиться героической положительности и твердости своих женщин, чем в России. Восьмидесятые годы успели уже до известной степени развязаться с наследием тургеневских «лишних людей», и уж кто-кто, а Якубович-то никак не мог причислить себя к этой породе, так тяжело ответственной за напрасную гибель великих сил современного ей женского поколения. Но Якубович умел оглядываться назад и брать на себя незаплаченные грехи своих интеллигентных предков. Есть же у него стихотворение «Накануне» (от 19 февр. 1886 года), в котором он почти мистически признает себя как сына крепостной России плательщиком за свой рабовладельческий род:

Отцовский грех, в правдивой злобе,
Народ на сына перенес:
— Тебя, зачатого в утробе
Из наших мук, из наших слез,
Пусть месяц с солнышком не греет,
Ни мать-земля не бережет,
Пусть вихри буйные обвеют,
Пусть ворон черный заклюет!

Так и надо! Так мне и надо! — с мрачною обреченностью твердит это стихотворение уже не «кающегося дворя-

нина», но сына «кающихся дворян». Вполне естественно, что наследник «кающихся дворян» должен был унаследовать и совесть, и мучительный стыд «лишних людей» пред величием русской женщины в стремлениях деятельности, которые всегда оставляли Нежданова позади Марианны, Рудина — позади Наташи, Обломова — позади Ольги. Семидесятые годы сильно исправили эту разницу, так как воспитали — в революционной борьбе — русский мужской характер, но только исправили, а не уничтожили. И томительный, совестливый ужас мужчины пред судьбою женщины, обреченной в жертву страшному делу общественно-политической борьбы — мужскому делу, — не только постоянный и навязчивый, так сказать, мотив поэзии Якубовича, — нет, это самый страстный, самый гневный, самый глубокий его мотив, которому он обязан наилучшими и оригинальнейшими своими стихотворениями. Три из них («Проснись, дитя мое, проснись», «Что я скажу» и «В безмолвии ль полночи») останутся навсегда в русской поэзии свидетельством того, что П.Ф. Якубович был поэт настоящий, как принято теперь говорить — «Божьей милостью». Эти три стихотворения, производящие впечатление трилогии, и серия других, звучащих как подголоски к ним, являют столь глубокое волнение, что из них даже исчезает та рассуждающая литературность, которою отличается идейная муза П.Я. иногда до чрезмерности. Эти стихотворения так прекрасны, что, если бы позволяло место, следовало бы выписать их все целиком. Но я не удержусь и сделаю это; по крайней мере с последним и самым сильным из них, уверенный, что за то читатели «Современника» на меня несколько не посетуют.

В безмолвии ль полночи,
В тревоге ли дня,
Во сне, за работою,

Везде близ меня,
Как призрак блуждающий,
Покоя не знающий,
Мелькает, грустя,
Лицо твое кроткое,
Лицо твое бледное,
Дитя мое милое,
Дитя мое бедное,
Родное дитя!
Все снится мне мертвая
Изгнанья страна:
Холодная, белая
Снегов пелена.
И ты, в них зарытая,
Былинка забытая...
Как будто грустя,
Вокруг тебя шепчется
Тайга неисследная:
«Дитя беззащитное,
Дитя мое бедное,
Больное дитя».
Чем другу несчастному
Помочь я могу?
Шепчу лишь бессильные
Угрозы врагу
Да с тайною мукою,
Как няня, баюкаю,
Ласкаю, грустя,
Видение бледное:
— Дитя мое сирое.
Дитя мое бедное,
Родное дитя!..

Женщина-товарищ, женщина-сестра, женщина с преждевременною сединою в косах, обрамляющих истомленное в битвах за человечество лицо, женщина, как Вера Фигнер, — и даже нет: *незаметнее*, смиреннее, тише, чем величаяя и яркая Вера Николаевна, эта прекрасная и мощная «шлиссельбургская мадонна», — только такая женщина вдохновляла П.Я.:

Без жалоб идешь ты дорогой чернистой,
 Награды не требуя мукам своим.
 — Награды? Но ты удивиться готова:
 За что? Разве сердце справлялось с ценой?
 Без сладости жертвы, без счастья чужого
 Ты вкус бы утратила жизни самой...

 Незримая миру, стезею суровой
 Идешь ты, и долга сознание — твой щит.
 Святая! Венок твой колючий терновый
 Святей диадемы алмазной горит!

Выше я сравнил П.Я. с пушкинским Кочубеем. Подобно последнему он — не кроткий страдалец и

Сохранил он клад последний,
 Свой третий клад — святую *мечь*...

Без этого условия поэзия гражданского страдания обратилась бы в нытье: ах, как мы несчастны и как нас обижают! П.Я. не ныл, он собирал силы и грозил. Он — не нищий, который под окном тянет Лазаря и старается разжалобить милосердных деятелей зрелищем несчастеньких. Он — израненный боец, кричащий от жгучей боли ран своих, нанесенных грубою силою неправды, но эта боль физической слабости — зов не к состраданию, а к новой борьбе, победе и мести. От сострадания поэт резко отказывается:

Муки брата смягчая в чужой стороне,
 Ты мне пишешь, дитя, в утешенье:
 Тот украдкой слезу уронил обо мне,
 Тот свое изъявил сожаленье...

 — Ах, оставьте меня вы страдать одного,
 Не хочу я ничьих утешений!

Вы лучше боролись бы вместе со мною, когда я изнемогал в борьбе, вы же стояли, «равнодушные руки скрестивши», а жалеть меня поздно, — таков угрюмый смысл этого резкого автобиографического окрика. П.Я. вывернул наизнанку известный религиозный завет и усиленно требует не милости, но жертвы. И жертвы крепко держатся в его памяти и ждут победной расплаты.

Все эти жертвы, скорби, муки,
Вся эта боль живых утрат —
Ужели сгибло все?.. И внуки
Твоих обид не отомстят?

—
Он будет прав, потомства суд!
И прав, и грозен будет он:
Чей мертвый слух не потрясут
Ни клич добра, ни братьев стон,
Кто праздным вымыслом зовет
Слова: отчизна, братство, честь, —
Утешьтесь, страждущие, — тот
В веках себе готовит месть!
Он будет прав, потомства суд:
От злых он добрых отличит,
Оценит каждый светлый труд,
И вес, и горечь всех обид,
И жертву каждую зачтет,
И слезы все, и каждый стон...
Придет он, правый суд, придет —
И гнев, и милость будет он!

Из окровавленного, звящего цепями настоящего П.Я. подобно истерзанному пророку смотрит в далекое будущее, показывает ему раны и язвы своих братьев и завещает:

Сосчитай, и не забудь!
«Ему забвенья не дал Бог, да и он не взял бы забвенья».
Забыты имена,
Но ложь — ту ложь с бесстыдными глазами,

Что, выпив кровь, людей равняла с псами, —
Как позабыть? Нет, нет, жива она!
Она жива. Все скорби, все обиды
Летают в воздухе, мне чудится порой,
И грозный лик суровой Немезиды
Глядит с безумною враждой...

Забвенья ждете вы? — О, нет!
Вам мало было бы забвенья...
Когда из душной тьмы ночной,
Ликуя, красный день проглянет,
От вас, быть может, внук родной
С тоской и ужасом отпрянет!
И уж седая старина
Обвеет нас давно молчаньем,
А *ваши* будут имена
Все повторяться с содроганьем.

— Путь скорби и тревог, а после — мрак забвенья?
Нет, нет! Не может быть! Есть правда в небесах:
Когда и жизнь, и смерть — одной лишь цепи звенья,
Когда в веках живет и наш бездушный прах.
Когда сухой листок не упадет бесплодно
И ветер не вздохнет, чтоб не оставить след, —
О, если так, друзья, — скорбям души свободной
Забвенья также нет, уничтоженья нет!

В общих схематических чертах я наметил здесь главные руководящие нити поэзии П.Я. — конечно, лишь штрихами грубыми и общими. «Современнику» еще вернется к выдающейся литературной фигуре П.Ф. Якубовича — и к Мельшину, и к Гриневичу. Теперь же, в заключение, надо сказать несколько слов о внешнем наряде музыки П.Я. О нем поэт мало заботился либо не имел средств его сделать. Это — слабейшая сторона творчества П.Я. Рифмы его небогаты и малозвучны. Стих шероховат. В образы часто врываются прозаизм и затрепанная условность. Редко удавалось ему выдержать стихотворение целиком без коробящих эстетический слух спотыканий.

В начале статьи я говорил о влиянии, которое имели на П.Я. поэты-предшественники — с Некрасовым и Лермонтовым во главе. Влияние это сказывается столь любопытно, что стоит поговорить о нем особо. Весь охваченный идеею страдающей современности, П.Я., конечно, не подражательный поэт. Но он, — кстати будет отметить, автор-собираатель одной из лучших хрестоматий русской поэзии, — в высшей степени литератор и знаток родной литературы и пропитан ею до того, что язык ее старых формул стал для него родным обиходным языком. Когда у него является поэтическая мысль, она откликается эхом в условностях этого накопленного богатства. Очень часто, когда вы читаете П.Я., его стихи наводят вас на воспоминания о более ранних поэтах, хотя, повторяю, П.Я. вовсе не заимствует у них и не думает им подражать. Так звук скрипки под смычком артиста заставляет вибрировать другие скрипки, мирно висящие на стене. Пожалуй, в этом отношении «бессознательной собирательности» П.Я. — наиболее замечательное явление среди новых русских поэтов. Вибрация одинаковой «настроенности» звучит в нем поразительным разнообразием средств. «Напоминающее» начало проявляется вдруг то образом, то размером, то рифмою, то целым стихом, то едва уловимую близостью тона. В атмосфере, насыщенной звуками, чуткое ухо П.Я. ловит тонику и мысленно слышит от него доминанту, субдоминанту и т.д., — и когда затем он пишет свою собственную пьесу, то внешний, то основной, чужой, тон непременно сказывается в ней, в ходе ли мелодии, в сложении ли гармонии.

Не поминай, что ты меня сгубила,
Не поминай, что я сгубил тебя,
И все, что нас, как злой кошмар, томило,
Забудь навек, забудь любя!..

И т. д.

Ни в назначении, ни в настроении этого романа нет ничего общего со знаменитым некрасовским стихотворением, но — едва вы прочитали первую строку, в ваших ушах уже начинает петь:

Не говори, что молодость сгубила
Ты, ревностью истерзана моей...
И т.д.

Или:

Давно предузнал я твой жребий, голубка моя дорогая!
Как племя родное, росла ты, ни ласки, ни счастья не зная,
И, в бурю от пальмы родимой оторванный вихрем листок,
Умчал тебя в край неизвестный мятежный поток...
И т.д.

Опять-таки и тут все — прямо от Якубовича, но вы невольно шепчете про себя:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый...

И чувствуете, что совпадение образа и размера не случайно, что если бы не звучала раньше лермонтовская скрипка, то идея П.Я. облеклась бы, может быть, в иные звуки и ритм. Но тон дан уже Лермонтовым, и литературный инстинкт повел Якубовича, как по линии наименьшего сопротивления, на путь сочувственной вибрации.

Третий и последний пример:

Друзья! В тяжелый миг сомненья
Взгляните пристальней назад,
Какие скорбные виденья
Оттуда с ужасом глядят...

Это «назад», конечно, — прямая антитеза «вперед» Плещеева:

Вперед, без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья...

Это то, что в музыке называется «обращением»: одна и та же фраза, повернутая в обратном порядке.

Таких примеров из стихов П.Я. можно набрать сколько угодно. Вернее даже будет сказать, что мудрено у него найти стихотворение, в котором ни разу не звякнула бы внешним резонансом эта его глубокая литературность. Что она не произвольная, а инстинктивная, не умом слагается, а из сердца всплывает, лучше всего подтверждается тем обстоятельством, что, когда П.Я. подражает сознательно, подражание ему совершенно не удастся. Особенно все, что он пробовал писать «под Гейне» («Странник», напр., «Лесные тайны»).

Еще раз повторяю: П.Я. — поэт не великий, быть может, даже не большой. Труженик тяжелой политической работы, редко, но свято брался он за лиру со струнами из цепей и веревок. Очень может быть, что цепи и веревки звучали нестройно, но скрип их был голосом страшной эпохи, которую пережил Якубович — поздний семидесятник и один из немногих хороших восьмидесятников, которых вечно будет поминать родина добрым словом. Он умер рано, слишком рано. Пятьдесят лет — возраст, когда на Западе политический деятель только чувствует себя наконец созревшим и распускает крылья свои во всю ширь. На Руси люди преждевременно расцветают — преждевременно и увядают. Короткая и быстрая жизнь Якубовича прошла сквозь пестроту невероятных, едва стерпимых испытаний и вышла из нее к моменту смерти нетронутою

и цельною, как несокрушимый монолит. Еще в 1903 году П.Я. подвел итог своей деятельности:

Ни о чем не жалею я в прошлом, друзья,
Ни одной бы черты в нем не вычеркнул я...
Боль и слезы его — звучной песни слова:
Слово выкинешь вон — и вся песня мертва!
Там, за каждой слезой, в каждом сумрачном дне
Солнца яркого луч вспоминается мне:
Это солнце я в сердце горячем носил, —
Я одними страданиями с родиной жил!
Жизнь мелькнула волшебным, сверкающим сном...
Ни о чем не жалею, друзья, ни о чем!

Редко достается русскому человеку счастье кончить жизнь в таком согласии с самим собою, в таком честном, твердом и ответственном сознании своей правоты — и велики, и святы могилы, ими осененные. С благоговением поклонятся могиле П.Ф. Якубовича потомки, к суду и мести которых он с надеждою взывал. А вечная муза — Муза Некрасова опять теперь осиротела, опять без приюта... Повезет ли ей новое счастье, как 34 года тому назад? Найдет ли она в нынешнем, безмерно размножившемся стане «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» опять чистое, юное, смелое сердце, чтобы войти в него неукротимым духом своим и свято сотворить в нем новый храм народный?

1911

ПАМЯТИ БОЛЕСЛАВА ПРУСА

Столько смертей, что, того гляди, траур в привычку войдет и сам не заметишь, как из писателя обратишься в плакальщицу...

Стриндберга я плохо знаю и не очень люблю, как вообще писателей-скандинавов, но уж очень жаль Болеслава Пруса.

Мы, русские, владеем Б. Прусом только в отвратительных ремесленных переводах. Покойным специалистом переводов с польского языка, В.М. Лавровым, которому так много обязаны своим русским успехом Г. Сенкевич и Э. Ожешко, из Пруса переведено сравнительно мало. Наиболее распространенное русское издание Пруса — Иогансона в Киеве — безграмотно до бессмыслия и делалось, очевидно, грошовыми перепирателями, не имевшими понятия ни о польском, ни о русском языке. Поэтому русский читатель, собственно говоря, понятия не имеет о том, что такое являл собою Болеслав Прус как литературная сила и чем он был для Польши как литературный символ.

Двое было их: Генрих Сенкевич и Болеслав Прус. Начинали они оба одинаково, в одном лагере, яркими демократами-народниками. Кружок их в семидесятых годах сильно напоминает ту передовую группу московской интеллигенции сороковых годов, из которой жизнь выделила впоследствии налево Белинского и Герцена с Бакуниным, направо — Каткова.

Генрих Сенкевич, быстро взлетев на вершину успеха и славы, забыл гнездо, откуда он вышел. Путешествием в Америку простился он со своей демократической молодостью, и по возвращении в Европу — острила польская левая, уподобляя Сенкевича Савлу на пути в Дамаск — «осияла его милосць паньска». (Игра слов, потому что «милосць паньска» значит и «благодать Господня», и «благоволение панов, аристократов».) Автор «Эскиза углем» и «Бартека победителя» превращается в художника и певца шляхетной Польши. И так как ее настоящее не дает радостных и ободряющих картин, которых от него потребовало усталое, удрученное своим бесправием общество, а громадный талант Сенкевича

слишком реалист, чтобы лгать в настоящем, то, разделавшись со шляхетною современностью гениальным пессимистическим романом «Без догмата» и очень хорошим романом «Семья Поланецких», Сенкевич нырнул в глубь шляхетных легенд славного прошлого и ударился в «чародейство красных вымыслов». И слава «Трилогии» («Огнем и мечом», «Потопа» и «Пана Володыевского»), «Крыжаков» и «Quo vadis» совершенно поглотила первую славу поэта: шляхтич съел демократа, патриот — художника. Грубый, мнимо исторический мазок тенденциозного внушителя покрыл тонкую, узорочную работу аналитика-реалиста — и, собственно говоря, для литературы «Сенкевич кончился». Со времени «Трех мушкетеров» Александра Дюма ни один роман похождения не был написан так блестяще, как «Огнем и мечом», и не имел такого яркого всемирного успеха. Но и «Три мушкетера», и «Трилогия» — одного поля ягоды, на одинаковую публику рассчитан, и одинаковое мировоззрение приняло их с восторгом, как бы национальное евангелие. Грубейшая проповедь национализма, облеченного в шовинистическое хвостовство, расшевелила поминками боевого прошлого сонную, разочарованную, усталую после 1863 года шляхту и тяготеющую к ней новый торгово-промышленный класс консервативных буржуа. У меня несколько раз в жизни возникали несогласия с друзьями-поляками из-за «Трилогии» Сенкевича, причем, в конце концов, соглашаясь с антихудожественностью этого польского «Юрия Милославского», они все-таки заключали: «Надо быть поляком, чтобы оценить патриотическую заслугу Сенкевича в этих романах. Он наши умершие души живую водою взбрызнул».

Этому я охотно верю и рад отдать справедливость. Но думаю, что слова «надо быть поляком» следует еще немножко сузить в более тесную специализацию: надо быть не только поляком, но и поляком шляхтичем, со старин-

ным историческим идеалом аристократической республики, с мировоззрением, выработанным панско-католическою культурою, с рыцарскою грезой XVII века... Новой демократической Польше, Польше холопа-землероба, мещанина, рабочего и еврея, нечего делать с «Трилогией» Сенкевича. Каким красноречием ни одень его блестящий талант какого-нибудь Ерему Вишневецкого, не пленит Ерема век «Червоне его Штандара»...

А колер йего есть червоны,
Бо на ним роботникув крив...

И, в конце концов, все произведения позднейшего Сенкевича будут положены новою Польшею в тот же кошель патриотической полезности, отслужившей свою службу, в который русская литература сдала «Юрия Мирославского» и «Рославлева», французская — романы Александра Дюма, германская — поэзию Арндта и Кернера и т.д. Вечным же из Сенкевича останется в польской литературе как раз то, что теперь забыто, не читается и, можно сказать, в грош не ставится: его первые народные рассказы, путешествие по Америке, гениальный анализ «Без догмата». Все это вечно, потому что создано союзом двух вечно живых сил: глубокою народностью и художественною правдою бесстрашного реализма. Эта часть Сенкевича — жизнь и останется в жизни. Остальное отпадает в археологию и ляжет в музей.

Думаю, что иная судьба ждет Болеслава Пруса. Нет сомнения, что исполинский прогресс польской демократии обогнал и его. Но это лишь тот обгон, который испытал у нас... ну, хотя бы Тургенев, когда думал «Новью» дать передовую вещь, которая стала бы в челе молодого политического движения, ан, она уже отстала и от хвоста... Это обгон на одной и той же дороге молодыми, сильными, свежими ходами

пешеходов старых, слабеющих, усталых. Но дорога-то у тех и других одна — и Болеслав Прус как стал на нее в молодости, так и шел по ней напрямик, не сбивался на проселки и боковые тропинки. Демократом-народником двинулся он в путь свой, демократом-народником и лег он в могилу, когда она путь перегородила...

Я считаю талант и творчество Болеслава Пруса таким же историческим показателем национальной эпохи, как в России для сороковых и пятидесятих годов деятельность великого автора «Записок охотника», романы Григоровича и рассказы Писемского. Но, конечно, не слабому и внешнему Григоровичу равняться с Болеславом Прусом ни в правде наблюдения, ни в искусстве изображения. В последнем Прус близкая родня с Тургеневым, в первой он так же честен, прям, народолюбив и народознающ, как Писемский, но мягче его, ласковее, светлее, не ипохондрик. Из ближайшей к нам литературы русских своих современников Болеслав Прус, несомненно, стоит в теснейшем идейном родстве с Г.И. Успенским, а в родстве литературной манеры — одинаково у обоих писателей, выработанной совместным влиянием русского народничества и польского воспитания — с В.Г. Короленко.

В 1896 году, в эпоху, когда часть польского общества, руководимая Пильцем и Спасовичем, усердно проповедовала политику примирения с русскими, я посетил Варшаву с целью ознакомиться с этим течением и встретил в ней необыкновенно милый, ласковый и радушный прием. Эти немногие дни — одно из лучших воспоминаний моей жизни и очень много в ней значили. Познакомился я тогда с крупнейшими звездами польской мысли, художественного и публицистического слова. На одном обеде, дать который сделали мне честь друзья-поляки, рядом со мною за столом оказался господин скромной наружности, по манерам, по одежде типичный русский демократ-семидесятник...

Перед обедом нас, конечно, познакомили, но в эти дни столько фамилий на *-цкий* скользнуло по моему вниманию, что новая в одно ухо вошла, а в другое вышла. И, правду сказать, я даже не совсем-то был доволен, что очутился рядом со мною этот господин, так как я рассчитывал воспользоваться обедом, чтобы интервьюировать Свентоховского... Но — вот — обменялись несколькими фразами... и ответы скромного человека заставили меня насторожиться. Что такое? Что ни скажет сосед мой, все — как-то исключительно умно, метко, задушевно, хорошо... Не говорят так люди обыкновенного уровня. Большой талант, большой, привычный облекать мысль в строгую логическую точность, внимательный ум сказывается в каждой фразе, великое изящество в каждой шутке, тонкий, ласковым теплом льющийся юмор в остротах... Антон Павлович Чехов, когда приотворял двери в замкнутую душу свою, бывал вполне в духе и позволял себе искренне распахнуться, говорил в таком роде... Но — не спрашивать же мне было соседа: «Вы кажетесь мне замечательным человеком... Как, собственно, вас зовут?»

Тем более что вскоре коротенький тост, предложенный распорядителем обеда, объяснил мне и эту тайну. Соседа моего звали паном Александром Гловацким. Имя и фамилия опять-таки ровно ничего не сказали мне, я не слыхал их прежде. Однако по дружному, не шумному, но необыкновенно подчеркнуто сердечному отклику всего стола на этот тост я мог понять, что сосед мой — человек и любимый, и уважаемый, и действительно играющий заметную роль в данном кругу.

После обеда я отозвал в сторону публициста Людовика Страшевича и спросил его:

— Кто такой этот Александр Гловацкий, рядом с которым я сидел?

— А что?

— Да уж очень умен и симпатичен.

— Наш известный писатель, один из редакторов «Слова».

— Ага, ну тогда понятно...

Страшевич посмотрел на меня с недоверием.

— Да неужели вы никогда о нем не слыхали?

— Решительно нет...

— Странно! Его много переводили на русский язык...

Вот — «Форпост», например...

— Позвольте, «Форпост» я читал, это изумительная вещь, но «Форпост» — Болеслава Пруса...

— Ну да... Александр Гловацкий и есть Болеслав Прус... Болеслав Прус — его псевдоним...

Если бы на меня ушат кипятку вылили, я чувствовал бы себя меньше ошпаренным, чем при этом ответе... Просидеть битый час рядом с любимым своим писателем, говорить с ним — и не знать, кто он!.. В конце концов, может быть, это было даже к лучшему в смысле правдивости впечатления. Подготовленный к встрече с Болеславом Прусом именем Болеслава Пруса, я, естественно, ожидал бы, в какой форме великий писатель проявит свое «я», а такое ожидание всегда несколько смежно с критическим предубеждением. Здесь же вышло напротив — что в приятной последовательности я сперва познакомился с необыкновенно умным человеком без имени, а затем уже имел удовольствие узнать, что и имя его необыкновенно и вполне достойно того ума и таланта, которые сквозили из каждого слова Александра Гловацкого *alias** Болеслава Пруса.

Совершенно такая же история повторилась у меня впоследствии — у М.М. Ковалевского — с А.И. Эртелем. Но здесь я был более несчастен, потому что, просидев с Эртелем тоже с час и не зная, кто он (ведь у нас, русских, знакомя и знакомясь, не говорят фамилии, а что-то смутно мурлычут себе под нос), я узнал, что это был Эртель, только

* Зд.: то есть (лат.).

после его ухода. С Болеславом же Прусом мы провели еще часа два-три и даже под его руководством бродили потом под вековыми, обросшими мохом и селитрою сводами Фукерова погребца на Старем Мясте...

Меня приятно изумила тогда товарищеская простота, которая окружала Болеслава Пруса, несомненно, если не первого по чину, то второго литературного генерала тогдашней Польши. Изумила отчасти именно потому, что я был уже у первого генерала, т.е. Генриха Сенкевича. И со мною-то, как с гостем-иностранцем, он был очаровательно мил и любезен, но было слишком ясно, что окружающие видят в нем полубога и приучили его быть и чувствовать себя национальным кумиром. Сопровождавший меня весьма известный польский журналист, войдя к Сенкевичу, отвесил поклон придворного предгосударем и просиял от счастья, когда знаменитый писатель не только кивнул ему ласково, но и руку подал... Здесь же, наоборот, с величием Болеслава Пруса решительно никто не считался, и меньше всех сам он. И опять-таки это живо напоминало разночинцев в семидесятых и восьмидесятых годах, в которых ни один писатель, ученый, профессор, хотя бы он был семи пядей во лбу, не позволял себе внешним образом возвышаться над средою и все были вровень с людьми, которых звали Глебом Успенским, Златовратским, Карониным, Короленко, Астыревым...

Простота, тихий, естественный ход, незнание или отрицание других средств к успеху, кроме собственных сил, уклонение от всего, что может походить на ухаживание за обществом и угодничество пред ним, отличали литературную карьеру Болеслава Пруса в той же мере, как его житейскую личность. Надо отдать полную справедливость полякам: они своих писателей любят и, однажды заметив человека, делающего талантом своим честь и славу родине, в свою очередь, окружают его славой и честью, иногда даже

сверх заслуг, может быть, и справедливо полагая, что в этом случае пересолить лучше, чем недосолить. Болеслав Прус даже в этом отношении был, пожалуй, исключением. Вокруг его имени никогда не было шумно. Известность его не была криклива. Он мог сказать о себе словами Гейне:

Ich bin ein polnischer Dichter,
Bekannt im polnischen Land;
Nennt man die besten Namen,
So wird auch der meine genannt*.

Но не более того. Пруса все знали, все уважали, все любили. Прусом гордились, но с Прусом не «носились»... И, как водится в таких случаях, только смерть его обнаружила всю величину места, которое занимал он в жизни народа, и обширность пустоты, которую эта потеря в польской культуре оставила.

Разница в судьбе писателей, с которыми современность «носится», и писателей, которые от этого счастья уклоняются, выразительно выяснилась, например, на историческом романе Болеслава Пруса «Фараон», появившемся почти одновременно с «Quo vadis» Сенкевича. «Quo vadis» — эффектный, блестяще-декоративный, но поверхностный, мнимоисторический и жалкий по идее роман-балет — лучше всего характеризуется тем обстоятельством, что из него немедленно вслед за его появлением наделаны были оперы, мелодрамы, балеты и феерии. Но в вопле патриотической и католической рекламы он обошел весь мир, и вряд ли есть на земле какая-либо не чуждая цивилизации нация, на язык которой «Quo vadis» не переведен. «Фараон» — серьезный

* Я польский поэт,
Известный в Польше;
Когда назовут лучшие имена,
То будет названо и мое (нем.).

труд, полный глубокого исторического изучения и понимания, пропитанный громадной социальной идеей, тонкий и остроумный опыт осветить древность земледельческой долины Нила как колыбель «власти земли» и найти к ней начала тех аграрных движений, которыми сложилась и еще слагается история мировой цивилизации, не испытал и сотой доли подобного торжества. Он пользуется известностью, правда, весьма солидную и почетную в передовых кругах самой Польши и в России, но на том и конец. Ни блеск рассказа, ни психологическая правда и глубина его, ни волшебная красота описательных страниц не примирили публику, «осиянную милостью панскою» (а она тогда еще повелевала литературными вкусами и успехами), с резким антиклерикальным направлением «Фараона» и разлитым в нем «революционным» духом. Уважение к Болеславу Прусу сделало только, что «Фараону» не помешали идти по крайней мере тем ходом, как он сам по себе, без труб и фанфар восторженной патриотической критики мог и успевал идти. Другой автор, не Болеслав Прус, более дерзкий и предприимчивый, быть может, сумел бы превратить это католико-аристократическое замалчивание в контррекламу, которая с избытком вознаградила бы его слева за вражду правых сил... Но Болеслав Прус был жречески свят в служении литературе. Возложив свою рукопись на алтарь ее, он считал свое писательское участие в этой жертве конченным и благоговейно и трудолюбиво приступал к приготовлению другой жертвы, новой.

Смерть этого благородного художника — не только польская, но всеславянская утрата и отозвалась одинаковым горем в Москве и Праге, в Белграде и Софии, в Дубровнике и Полтаве. Но бедная Польша! Как безжалостно грабит в последние годы ее литературу смерть, какие силы гибнут и выбывают из строя. Конопницкая, Ожешко, Прус. Подлинно уж: у счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает!

А нам, русским, хорошо было бы подумать о памятнике Болеславу Прусу. Не из камня и металла, а об истинно литературном переводе на русский язык всех его сочинений, который упразднил бы всю ту безграмотную макулатуру, что продается на русском книжном рынке под самозванным заглавием сочинений Болеслава Пруса, и был бы достоин имени великого писателя и братства двух великих славянских народов и культур. Этим мы воздадим наилучшую честь памяти Болеслава Пруса да и обогатим собственную литературу. Потому что писатель, нашедший в чужой стране хороший литературный перевод, становится ее писателем.

ПРИМЕЧАНИЯ

НАСЛЕДНИКИ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Наследники: Повесть. СПб., 1912. Впоследствии повесть была продолжена еще двумя — «Аглая» (СПб., 1913) и «Раздел» (СПб., 1913), составившими трилогию «Паутина».

С. 7. ...*Петронию, arbitro elegantiarum.* — Петроний Арбитр Гай или Тит — римский писатель, придворный императора Нерона (37—68), прозванный Арбитром изящного. Заподозренный в заговоре, был принужден Нероном к самоубийству.

С. 10. *Лао-Цзы* (наст. имя Ли Эр) — автор древнекитайского трактата «Лао-Цзы» (IV—III вв. до н.э.), канонического сочинения даосизма, в котором излагаются этические правила дао: уступчивость, покорность, отказ от желаний и борьбы.

С. 13. *Эдгар* Аллан По (1809—1849) — американский поэт, прозаик, критик; зачинатель детективного жанра в мировой литературе.

С. 18. *Генрих IV* (1553—1610) — французский король, первый из династии Бурбонов.

С. 22. ...*как Лорис-Меликов. Взял Карс штурмом...* — Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825—1888) — генерал от кавалерии (1875). Герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг., участник сражения у крепости Карс, после захвата которой был назначен начальником Карской области. С 12 февраля по 6 августа 1880 г. главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия с неограниченными полномочиями. В дальнейшем до 4 мая 1881 г. министр внутренних дел и шеф жандармов. Странник примирения общественных движений с монархией путем введения

конституции и парламента. Обладал диктаторскими полномочиями в конце царствования Александра II. При Александре III, взявшем курс на политическое укрепление самодержавия, Лорис-Меликов оказался не у дел.

С. 27. *Читает же она Кузмина и Зиновьеву-Аннибал.* — Названы авторы произведений, получивших скандальную известность как безнравственные: роман о гомосексуалистах «Крылья» (1906) Михаила Алексеевича Кузмина (1872—1936) и повесть о лесбийской любви «Тридцать три уroda» (1907) Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал (1865—1907).

С. 28. *Капернаум, Иерихон* — города в Палестине, с которыми связаны многие события, изложенные в Библии.

Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н.э.) — римский диктатор и полководец.

Жан Вальжан — герой романа «Отверженные» (1862) французского прозаика, поэта и драматурга Виктора Мари Гюго (1802—1885).

С. 29. *Бык похищает Европу...* — Имеется в виду древнегреческий миф о похищении Зевсом (он превратил себя в белого быка) Европы, дочери финикийского царя, которая стала его возлюбленной и родила трех сыновей.

Пазифая, Пасифая (лат. вся светящаяся) — жена критского царя Миноса, воспылавшая противоестественной страстью к Быку, который был ей послан Посейдоном. От этой любовной связи появился Минотавр, человекобык.

С. 30. *Сад* Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де (1740—1814) — французский писатель. Автор эротических романов «Жюстина, или Злоключения добродетели» (1791), «Новая Жюстина...» (1797), книг «Философия в будуаре» (1795), «Сто двадцать дней Содома» и др., написанных в тюрьме, в которую маркиз был заключен в 1772 г. по обвинению в разврате, насилии и жестокости. Певец садизма последние десять лет жизни (с 1803 г.) провел в лечебнице для душевнобольных.

С. 31. *«Лоэнгрин»* (1848) — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883).

Калигула Гай Юлий Цезарь (12—41) — римский император, требовавший почестей себе как равному богу, за что был убит.

Нерон Клавдий Друз Германик (37—68) — римский император, жестокий тиран, первый гонитель христиан.

С. 33. *Иштар*, Иштар — главное женское божество в вавилонском пантеоне; богиня плодородия и плотской любви, а также войны и распри.

С. 39. *Уайльд Оскар* (1854—1900) — английский прозаик, поэт, драматург, эссеист.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — прозаик, критик.

С. 50. *Мальбрук в поход поехал...* — Начальная строка (варианты: «Мальбрук в поход пустился...» или «собрался») популярной в XIX в. песни, являющейся подражанием французской. Мальбрук, Мальбрук — английский полководец, герцог Джон Черчилл Мальборо (1650—1722).

С. 51. *Крафт-Эбинг Рихард* (1840—1902) — немецкий психиатр. С 1873 г. в Австрии. Один из основоположников сексологии. Автор монографии «Сексуальная психопатия» (1886), переведенной на основные европейские языки.

С. 70. «*Первое послание к Коринфянам*» — одна из книг Нового Завета Библии. В тексте цитата из гл. 7, ст. 1, 8, 9.

С. 72. *Лейтенант Глан* — герой повести «Пан» (1894) Кнута Гамсуна (наст. фам. Педерсен; 1859—1952), норвежского прозаика и драматурга, лауреата Нобелевской премии (1920).

Санин — герой одноименного романа Михаила Петровича Арцыбашева (1878—1927).

Полюбила, заалелась... — Из стихотворения Сергея Митрофановича Городецкого (1884—1967) «Полюбовники» (цикл «Чертяка»; 1906), опубликованного в его первой книге «Ярь» (1907). Этот сборник молодого поэта А.А. Блок назвал, «может быть, величайшей из современных книг».

С. 83. *Ты пришла с лицом веселым...* — Из стихотворения (1906) без названия С.М. Городецкого (сборник «Ярь»).

С. 86. *Соловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900) — философ, поэт, богослов, публицист, оказавший огромное влияние на русскую философию и культуру Серебряного века.

...*кто из вас, еретиков, помнит «Книгу Бытия»?* — См. в Библии: Первая книга Моисеева. Бытие.

Иаков полюбил Рахиль... — См.: Бытие, гл. 29, ст. 18, 20.

С. 88. *Алексей Степанович Молчалин* — персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

С. 90. *Керубино* — паж, персонаж комической оперы «Свадьба Фигаро» (1786) австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791).

Карсавина Тамара Платоновна (1885—1978) — артистка балета в Мариинском театре в 1902—1918 гг. Первая танцовщица труппы С.П. Дягилева в его «Русских сезонах» (1908—1914, Париж, Лондон). В 1930—1955 гг. вице-президент Королевской академии танцев Лондоне.

С. 92. *Дионис* — греческий бог виноградарства и виноделия, именовавшийся также Вакхом.

С. 93. «*Мертвый город*» (1898) — драма Габриеле д'Аннунцио (1863—1938), итальянского прозаика и драматурга.

С. 94. *Мефистофель*, *Маргарита* — персонажи трагедии Гёте и оперы Шарля Гуно «Фауст».

«*Пеер Гинт*», «*Пер Гюнт*» (1867) — драма норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906), музыку к которой написал его соотечественник Эдвард Григ (1843—1907).

С. 95. *Марго* Давид (1823—1872) — педагог (родом из Швейцарии), преподававший в Петербурге. Автор учебников французского языка.

С. 112. «*Гамлет*» (1600—1601) — трагедия У. Шекспира.

С. 119. *Карамазовы* — герои романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879—1880).

С. 135. *Пополоветь* — побледнеть, внезапно испугавшись.

С. 145. *Молох* — божество, которому приносились человеческие жертвы.

С. 151. ...*играть из Жюль Верна в путешествие к центру земли*... — Имеется в виду роман французского фантаста Жюль Верна (1828—1905) «Путешествие к центру земли» (1864).

С. 172. ...*убьют его на дуэли, как Лассалья*. — Речь идет о немецком философе, социалисте и публицисте Фердинанде Лассале (1825—1864), погибшем на дуэли.

Гекла — вулкан в Исландии с пятью кратерами.

ЗЛЫЕ ПРИЗРАКИ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Злые призраки. Повесть. СПб.: Прометей, 1914. В трилогии из трех повестей, которую автор назвал

романом «Дочь Виктории Павловны» (1914—1915), «Злые призраки» являются первой и лучшей. Роман был продолжен повестями «Законный грех» и «Товарищ Феня».

От автора

С. 225. *«Виктория Павловна»* — роман Амфитеатрова, изданный в Петербурге в 1902 г.

...получил в Вологде письмо... — Амфитеатрова в Вологду перевели в конце 1902 г. из Минусинска, куда он был в январе 1902 г. сослан на пять лет за публикацию памфлета «Господа Обмановы» (см. т. 6 наст. изд.). В июле 1904 г. ему удалось выехать за границу. Из этой первой эмиграции писатель вернулся в 1916 г.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — актриса. В 1896—1902 гг. играла в спектаклях Александринского театра. Осенью 1904 г. создала свой драматический театр символистской ориентации.

...в *«Детях солнца»*... — Амфитеатров написал очерк-некролог очерк «О Комиссаржевской», в котором вспоминает об этом спектакле по пьесе М. Горького: «Я видел В<еру> Ф<едоровну> только в «Детях солнца» в Пассажном театре при коротком наезде моем в Петербург в 1905 г. <...> Вера Федоровна превосходно читала великолепные стихи, освещающие порядком-таки нудную и скучную роль ее, и была изумительно сильна в истерических финалах, которыми изобилует эта тоскливая пьеса» (*Амфитеатров А.* Маски Мельпомены. М., 1910. С. 21—22).

С. 232. *Шлиссельбуржцы* — политические узники тюрьмы в Шлиссельбургской крепости.

«Народная воля» — революционно-террористическая организация, основанная в Петербурге в 1879 г. Совершила восемь покушений на Александра II, после убийства которого в 1881 г. была разгромлена. Руководители повешены.

«Былое» (Лондон, 1900—1904; Париж, 1908—1912) — журнал (историко-революционные сборники), издававшийся публицистом, историком Владимиром Львовичем Бурцевым (1862—1942).

С. 237. *Иоанниты* (госпитальеры) — орден рыцарей-монахов, основанный в начале XII в.

С. 249. *Илиодор* (в миру Сергей Михайлович Труфанов; 1880—1952) — иеромонах, религиозный проповедник, один из организаторов «Союза русского народа». Впоследствии прославился скандальными обличениями Г. Е. Распутина, антисемитскими выступлениями и выпадами против интеллигенции. В конце 1912 г. Св. Синод удовлетворил его прошение о снятии с него сана. В 1914 г. бежал за границу. Автор книги «Святой черт» (о Распутине).

С. 264. *Юнона* — в римской мифологии богиня брака, материнства, покровительница женщин.

С. 268. *Эгерия* — в римской мифологии пророчица — нимфа ручья. Возлюбленная и наставница царя Нумы.

Эклампсия (греч. вспышка) — детские судороги, родимчик.

С. 294. *Аида* — эфиопская царица, ставшая пленницей египетского фараона, героиня одноименной оперы (1870) Джузеппе Верди.

С. 304. ...человек из *Аредовых времен*... — Аред (Иаред) — древнейший библейский патриарх, проживший 962 года.

С. 313. *Савонарола* Джироламо (1452—1498) — настоятель доминиканского монастыря во Флоренции, обличитель пап, выступал против тирании Медичи, призывал к аскетизму, организовывал сожжения книг и произведений искусства. В 1497 г. был отлучен от Церкви и казнен, его труп публично сожгли на костре.

С. 317. *Пенфезилея*, Пенфесилея (Penthesileia) — в греческой мифологии царица амазонок, пришедшая на помощь троянцам во время Троянской войны. Погибла в поединке с Ахиллом.

С. 326. *Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н.э., славившийся мудростью. Ему приписывается авторство библейских книг «Песнь Песней», «Екклезиаст», «Притчи».

Ифигения — героиня трагедий Еврипида (ок. 480—406 до н.э.) и Гёте (1786) «Ифигения в Тавриде», а также оперы (1779) Кристофа Виллибальда Глюка (1714—1787). В греческой мифологии дочь Агамемнона, принесенная им в жертву богам, чтобы спасти флот от безветрия, из-за которого корабли не могли отправиться в Трою. Однако богиня охоты Артемида укрыла Ифигению облаком и унесла в Тавриду, где сделала ее своей жрицей.

С. 337. ...издания «*Посредника*», — «*Чем люди живы*» или «*Где любовь, там и Бог*»... — Названы сочинения Л.Н. Толстого, выпущенные его просветительским издательством «Посредник» (1884—1935).

С. 338. *Давид* — царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в. — ок. 950 до н.э. В Библии о нем повествуется как о юноше-пастухе, победителе Голиафа, полководце, царе, составителе псалмов, мессии.

С. 341. *Красная Горка* — древний славянский праздник весны; отмечается в первое после Пасхи воскресенье. К этому дню приурочивались свадьбы.

С. 353. *Ирод I Великий* (ок. 73—4 до н.э.) — царь Иудеи с 40 г. до н.э., родоначальник других одноименных царей, упоминаемых в Новом Завете. Здесь о нем повествуется как о жестоком правителе, который, узнав о рождении Иисуса Христа, повелел избить 40 тысяч младенцев из Вифлеема.

С. 368. *Лоэнгрин* — герой немецкой поэмы XIII в. о лебедином рыцаре. Легендарная драматическая история любви благородного рыцаря и красавицы принцессы Эльзы Бранбургской стала сюжетом оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин» (1848).

С. 373. *Парсифаль* — герой одноименной оперы-мистерии Р. Вагнера.

С. 374. *Верлен Поль* (1844—1896) — французский поэт-символист.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт, критик, эссеист, переводчик; один из вождей русского символизма. В 1905—1913 гг. жил за границей. С 25 июля 1920 г. в эмиграции во Франции.

Дорошевич Влас Михайлович (1865—1922) — публицист, театральный и художественный критик, прозаик.

Адоратор (лат. *adorator*) — обожатель, поклонник.

С. 388. «*Фауст*» (1808—1832) — трагедия немецкого поэта, прозаика, драматурга Иоганна Вольфганга Гёте (1749—1832). Французский композитор Шарль Гуно (1818—1893) написал на сюжет первой части трагедии одноименную оперу (1859).

Лилит — в иудейской демонологии злой дух женского пола, овладевающий мужчинами, чтобы родить от них детей. По одному из преданий, Лилит была первой женой Адама, сотворенной Богом из глины.

С. 391. «*Отречемся от старого мира...*» — Первая строка «Новой песни» (1875) Петра Лавровича Лаврова (псевд. Миртов; 1823—1900); свободная переработка французского гимна «Марсельеза».

После Февральской революции 1917 г. до Октябрьского переворота песня была официальным гимном России.

С. 391. «Исайя, ликуй» — название литургического гимна, исполняемого во время бракосочетания. Исайя (*евр.* «спасение Господне») — библейский пророк, автор «Книги пророка Исайи». Погиб мученической смертью: был перепилен деревянной пилой за обличения царского двора в грехах. Память великомученика Церковь отмечает 9 (22) мая.

С. 392. «Кармен» (1874) — опера Жоржа Бизе на сюжет одноименной новеллы П. Мериме.

С. 429. «Гугеноты» (1835) — опера Джакомо Мейербера на сюжет романа П. Мериме «Хроника времен Карла IX».

С. 437. ... *Мещерские-то разные да Грингмуты... против «кухаркиных детей»*... — Владимир Петрович Мещерский (1839—1914) — публицист, издатель еженедельной газеты «Гражданин» (основана в 1872 г.); в российском обществе имел репутацию ретрограда. Владимир Андреевич Грингмут (1851—1907) — публицист, критик, политический деятель. Автор статей в защиту классической системы образования и реформы министра народного просвещения И.Д. Делянова, который издал в 1887 г. циркуляр о «кухаркиных детях». Этим предписанием ограничивался прием в средние учебные заведения детей из «недостаточных классов населения». В 1905 г. Грингмут возглавил монархическую партию.

С. 451. *Бальзаминов* — персонаж «бальзаминовской трилогии» А.Н. Островского: комедий «Праздничный сон — до обеда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861) и «За чем пойдешь, то и найдешь» («Женитьба Бальзаминова»; 1861). У Амфитеатрова неточность.

С. 452. «... *потребовал поэта к священной жертве Аполлон*». — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта...»; 1827).

Шиллероподобный нотариус... — Шиллер — вероятно, жестящик, персонаж повести Н.В. Гоголя «Невский проспект» (1833—1835), который устроил порку поручику, пристававшему к его хорошенькой жене.

С. 452. *Калипсо* — в греческой мифологии нимфа, которая приютила у себя Одиссея, потерпевшего кораблекрушение.

С. 452. *Цирцея* — в греческой мифологии волшебница, обратившая в свиней спутников Одиссея, а его самого год не выпускала со своего острова. В переносном значении — коварная обольстительница.

С. 453. *Владимир Немирович... Станиславский...* — Режиссеры Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858—1943) и Константин Сергеевич Станиславский (наст. фам. Алексеев; 1863—1938), создатели Московского Художественного театра.

Ленский Александр Павлович (наст. фам. Варвициотти; 1847—1908) — актер Малого театра с 1876 г.

Правдин Осип Андреевич (наст. имя и фам. Оскар Августович Трейлебен; 1849—1921) — актер Малого театра с 1876 г.

С. 454. «*Птички певчие*» — под таким названием в России шла оперетта Жака Оффенбаха «Перикола» (1868).

С. 456. ...«*Сашку Давыдова в ход пустила...*» — Александр Давыдович Давыдов (наст. фам. Карапетян; 1849—1911) — популярный оперный и эстрадный певец (лирико-драматический тенор), артист Малого и Большого театров, а также Московского артистического кружка и театра оперетты.

С. 457. «*Цыганский барон*» (1885) — оперетта Иоганна Штрауса сына.

«*Прекрасная Елена*» (1864) — оперетта Ж. Оффенбаха.

С. 470. ...*по рецепту жены Пентефрия...* — Имеется в виду библейская история о жене начальника телохранителей египетского фараона Потифара, которая пыталась совратить Иосифа, но была им отвергнута.

«...*вроде женицин на нестеровских картинах...*» — Имеются в виду картины Михаила Васильевича Нестерова (1862—1942).

С. 479. *Иоанн Кронштадтский* (в миру Иван Ильич Сергиев; 1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте; проповедник и благотворитель. В 1990 г. канонизирован Русской Православной Церковью в святые.

Иоанн Креститель, Предтеча — ближайший предшественник и предвестник Иисуса Христа как Мессии, пришедшего к Иоанну принять обряд покаяния и духовного обновления — крещение.

Андрей Первозванный — апостол, один из первых учеников Иисуса Христа и первый проповедник христианства. Считается покрови-

телем страны в России и Шотландии. Был распят на кресте в Греции. Андреевский крест изображен на кормовом флаге кораблей русского Военно-Морского флота и стал знаком ордена Андрея Первозванного.

С. 508. *Кук Джеймс* (1728—1779) — английский мореплаватель, руководитель кругосветных экспедиций.

С. 532. *Лафарг* Поль (1842—1911) — один из основателей французской рабочей партии, автор работ по философии, политэкономии, языкознанию и литературоведению.

Рошфор Виктор Анри (1830—?) — французский публицист, прозаик и политический деятель. За участие в Парижской коммуне (1871) был сослан в Новую Каледонию.

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ И «ДИРЦЕЯ»

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. 533. *Семирадский* Генрих Ипполитович (Хенрык; 1843—1902) — польский и русский живописец. С 1877 г. профессор петербургской Академии художеств. Жил в основном в Риме. Автор многочисленных произведений на сюжеты из истории античности и раннего христианства.

Дирцея, Дирка — в греческой мифологии жена фиванского царя Лика, притеснявшая Антиопу, возлюбленную Зевса. Захватившие Фиву сыновья Антиопы, мстя за муки матери, убили Лика, а Дирку подвергли жестокой казни — привязали ее к рогам дикого быка.

«*Toro Farnese*» («Фарнезийский бык») — колоссальная мраморная группа, изображающая казнь Дирцеи (Дирки; см. выше). Копия скульптуры, созданной древнегреческими ваятелями Аполлонием Траллийским и его братом Тавриском, хранятся в Риме.

Светоний, Гай Светоний Транквилл (ок. 70 — ок. 140) — римский писатель. Из его многочисленных трудов сохранились жизнеописания 12 первых императоров Рима («О жизни цезарей»).

Кассий Дион Коккеян (ок. 160—235) — греческий историк и римский сенатор из Никеи в Вифинии. Автор истории Рима в 80 книгах.

С. 537. *Плиний Младший* (61 или 62 — ок. 113) — писатель, оратор, консул. Из его сочинений сохранилось 10 книг «Писем», рассказывающих о римском обществе времен императора Траяна (53—117).

Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — греческий писатель-сатирик, путешествовавший по Римской империи. Автор ок. 80 сочинений, в том числе исторических.

Апулей (ок. 125 — ок. 180) — римский писатель, адвокат, философ школы Платона. Автор авантюрно-аллегорического романа «Метаморфозы» («Золотой осел»).

Климент (?—102) — римский епископ с 92 г., писатель. Автор многих трудов, в том числе упомянутых в тексте двух «Посланий к коринфянам», являющихся памятниками нравоучительной литературы раннего христианства..

Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — после 117) — римский историк.

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский прозаик, драматург, философ, историк-востоковед; автор известных книг «Жизнь Иисуса», «Апостол Павел», «История Израиля», «Антихрист» и др.

С. 534. *Сенкевич* Генрик (1846—1916) — польский прозаик, известность которому принесли исторические романы. Лауреат Нобелевской премии (1905).

Панглосс — персонаж философской повести «Кандид, или Оптимизм» (1759) французского писателя, философа, историка Вольтера (наст. имя Мари Франсуа Аруз; 1694—1778).

С. 535. ...*в лице Фрины, сыгравшей роль Афродиты...* — Фрина (IV в. до н.э.) — афинская красавица гетера, увековеченная на многих живописных полотнах. Послужила также прототипом для древнегреческого ваятеля Праксителя (ок. 390 — ок. 330 до н.э.), своего любовника, создавшего скульптуру «Афродита Книдская» (одно из первых изображений обнаженной богини любви). А живописец Апеллес (2-я пол. IV в. до н.э.) написал ее портрет на картине «Афродита, выходящая из пены».

Увековеченный Г. Семирадским, момент этот... — Имеется в виду картина Семирадского «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине» (1889), хранящаяся в Русском музее.

Музей Александра III — ныне Русский музей (С-Петербург).

С. 536. ...*Рим глядит на мученицу глазами майковского Деция...* — Здесь и далее говорится об эпизодах и персонажах трагедии «Два мира» (1872) Аполлона Николаевича Майкова (1821—1897).

С. 540. *Изида*, Исида — в египетской мифологии богиня плодородия, воды, ветра и мореплавания, символ женственности, семейной верности.

Симон-волхв — самаритянин, современник апостолов, основатель секты симониан (или елениан, по имени его спутницы Елены). Эта секта стала родоначальницей всех ересей в церкви.

Аполлоний Тианский (I век н.э.) — античный проповедник морали, «пифагорейского образа жизни» с его многочисленными культовыми запретами. Прожил около 100 лет (последние годы вел жизнь аскета).

Александр Авонотихит (II в.) — в древнегреческой мифологии устроитель оракула в Авонотихе (в Пафлагонии, малоазиатской области на южном берегу Черного моря). Оракул — прорицалище, в котором язычники на свои вопросы получали ответы божества или его предсказания в форме знамений, снов, изречений и т.п. Вера в оракулы была побеждена христианством, распространившимся в это время повсеместно.

Монтан — бывший языческий жрец, основавший во II в. христианскую секту монтанистов, проповедников живого общения с Богом.

Калигула — см. коммент. к с. 31.

Мессалина (ок. 25—48) — третья жена римского императора Клавдия, прославившаяся распутством и коварством. Уличенная в заговоре, была по приказу Клавдия казнена.

С. 541. *Каин* — в библейских преданиях старший сын Адама и Евы, убивший из зависти своего брата Авеля.

Иуда Искариот — один из 12 апостолов Иисуса Христа, предавший его за 30 сребреников (мелких монет); символ предательства.

...*возвещенный миру «эконом» Иисусом.* — Эон (греч. век, вечность) — олицетворение времени.

Бен-Акиба, Акиба бен Иосиф (между 50—132) — еврейский ученый (таннай), живший в Палестине. Один из создателей Мишны (части Талмуда). По одной из версий, погиб мученической смертью во время религиозных преследований при римском императоре Адриане (76—138).

Уриэль Акоста — персонаж одноименной трагедии немецкого прозаика и драматурга Карла Гуцкова (1811—1878).

С. 542. *Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.) — римский политический деятель, философ, писатель; представитель стоицизма. Автор философско-этического сочинения «Письма к Луцилию». Воспитатель и советник императора Нерона. Обвиненный им в заговоре, по его приказу покончил с собой.

Ювенал, Децим Юний Ювенал (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик.

Константин I Великий (ок. 285—337) — римский император с 306 г.; поддерживал христианство, сохраняя, однако, и языческие культы.

Нантский эдикт — документ об окончательном завершении религиозных войн, изданный в 1598 г. французским королем Генрихом IV.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель конца XIX — начала XX вв. Ученый-правовед, переводчик и публицист. В 1880—1905 гг. обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода.

С. 543. *Сар Пеладан* (Сар — вавилонский владыка) — так называл себя Жозефен Пеладан (1859—1918), французский прозаик, драматург, художественный критик.

Блаватская Елена Петровна (псевд. Радда Бай; 1831—1891) — автор религиозно-мистических и философско-беллетристических сочинений. В 1875 г. основала в Нью-Йорке Теософское общество.

Зороастр, Заратустра, Заратуштра (между X и первой половиной VI в. до н.э.) — пророк и реформатор древнеиранской религии.

«*Феньдесеклисты*» — одно из названий декадентов (от фр. fin de siècle — конец века), считающих, что в конце XIX в. пришли в упадок культура и нравственность. Источник выражения — пьеса французских драматургов Минара и Жювено «Fin de siècle», впервые поставленная 17 апреля 1888 г.

«*Свет Азии*, или Великое отречение» (1879; рус. пер. 1890, 1906) — написанная белым стихом поэма о Будде английского поэта и журналиста Арнолда Эдвина (1832—1904).

Будда (санскр. просвещенный) — имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н.э.), индусу из племени шакьев.

Соловьев В.С. — см. примеч. к с. 86.

С. 543. *Меньшиков* Михаил Осипович (1859—1918) — один из ведущих сотрудников газеты «Новое время» (работал здесь около 20 лет). В начале 1900-х гг. опубликовал несколько статей о «еврейской опасности», «инородческом заговоре», о социал-демократии как партии «еврейской смуты», вызвавших полемику и создавших ему репутацию антисемита. Расстрелян большевиками.

С. 544. *Энкратиты* — косные, закоренелые, отсталые (от фр. *encroute*).

Татиан Флавий Евтолмий (?—396) — римский консул и писатель, продолживший «Илиаду» Гомера.

Маркион — купец из Малой Азии, основавший в середине II в. религиозную общину гностиков, которая распространилась по всей Римской империи и противостояла официальной христианской доктрине.

Ориген (ок. 185—253/254) — философ-аскет, возглавивший в Александрии ок. 217 г. христианскую школу, в которой занятия проходили в форме вопросов и ответов. Школа стала авторитетным центром образования, ценившимся и христианами и язычниками. Автор ок. 2 тыс. сочинений, вызывавших полемику (часть из них сохранилась).

Адриан Публий Эллий (76—138) — римский император с 117 г.

Павел Тарсийский — святой апостол, проповедник учения Иисуса Христа. Автор Посланий в Библии. В 65 г. вместе с апостолом Петром был казнен в Риме.

Отон Марк Сальвий (32—69) — римский император.

Лаокоон — в греческой мифологии троянский жрец бога Аполлона, убеждавший защитников Трои не вносить в город деревянного коня. За это два змея задушили его вместе с двумя сыновьями. Гибель Лаокоона послужила сюжетом для знаменитой мраморной скульптуры (ныне в Ватиканском музее).

С. 545. *Вагнер* Рихард (1813—1883) — немецкий композитор, дирижер, музыковед.

Фигнер Николай Николаевич (1857—1919) — известный оперный певец (тенор). С 1887 г. солист Мариинского императорского театра в Петербурге.

Мазини Анджело (1844—1926) — итальянский оперный певец (тенор), гастролировавший в России.

Сальвини Томмазо (1829—1915) — итальянский актер, гастролировавший в России.

С. 545. *Росси Эрнесто* (1827—1896) — итальянский актер, выдающийся исполнитель ролей в трагедиях Шекспира.

Сара Бернар (1844—1923) — французская трагедийная и мелодраматическая актриса и художница.

Дузе Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса, гастролировавшая в России.

Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — актриса, с 1874 г. в Александринском театре.

Спиноза Бенедикт (Барух; 1632—1677) — нидерландский философ-пантеист.

Альбов Михаил Нилович (1851—1911) — прозаик.

«*Вася Андреев*» — Василий Васильевич Андреев (1861—1918), композитор, балалаечник-виртуоз, организатор и дирижер первого оркестра русских народных инструментов (1888) — Великоорусского оркестра (с 1896 г.).

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — прозаик, драматург, публицист.

Аполлонский Роман Борисович (1865—1928) — актер Александринского театра,

Дальский Мамонт Викторович (наст. фам. Неелов; 1865—1918) — актер; в 1890—1900 гг. в Александринском театре.

Яворская Лидия Борисовна (урожд. Гюбеннет, в замуж. Барятинская; 1871—1921) — актриса московского театра Ф.А. Корша в 1893—1895 гг. и театра Литературно-художественного кружка. В 1901 г. открыла в Петербурге свой Новый театр.

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795—1862) — с 1845 по 1856 г. попечитель Петербургского учебного округа и председатель Петербургского цензурного комитета.

С. 546. *Менделеев Дмитрий Иванович* (1834—1907) — химик, ученый-энциклопедист, педагог. Открыл в 1869 г. периодический закон химических элементов.

Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — военный теоретик, педагог, историк, генерал от инфантерии (1895). Автор многих трудов. Приверженец и пропагандист идей А.В. Суворова.

Давыдов — вероятно, Владимир Николаевич (наст. имя и фам. Иван Николаевич Горелов; 1849—1925), актер Александринского театра в 1880—1924 гг.

С. 547. *Репин* Илья Ефимович (1844—1930) — живописец.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — прозаик, критик.

Rectus (лат. Прямой) — псевдоним Петра Петровича Гнедича (1855—1925), прозаика, драматурга, критика, театрального деятеля, переводчика, историка искусства.

Альфьери (Альфиери) Витторио (1749—1803) — итальянский поэт и драматург; создатель национальной трагедии классицизма. Автор книги «Жизнь Витторио Альфьери из Асти, рассказанная им самим» (1802; рус. переводы 1904, 1914).

С. 548. ...*репинского «Грозного» и суриковских «Стрельцов»*... — Имеются в виду картины «Иван Грозный и сын его Иван» (1885) И.Е. Репина и «Утро стрелецкой казни» (1881) Василия Ивановича Сурикова (1848—1916).

С. 549. *Аполлон Бельведерский* — статуя, созданная в середине IV в. до н.э. (хранится в Ватиканском музее). По одной из версий считается, что ее создал древнегреческий скульптор Леохар.

Гёте... написал смешную сценку, переложенную Майковым... — Вероятно, имеется в виду шуточное стихотворение А.Н. Майкова «Маризтта» (1886), в основе которого эпизод из жизни И.В. Гёте, отраженный им в стихотворении «Знарок и энтузиаст» (1774).

С. 550. «*Погоня за счастьем*» — картина французского живописца Жоржа Рошгросса (1859—?), автора исторических и аллегорических полотен.

...*репинская «Дуэль»*... — Картина И.Е. Репина, написанная в 1896 г. «Талантливая и потрясающая... которая удивила всю Европу на Международной выставке 1897 года в Венеции», — писал о «Дуэли» В.В. Стасов.

Маковский Владимир Егорович (1846—1920) — живописец.

С. 551. *Ниобя*, Ниоба — в греческой мифологии дочь малоазийского царя Тантала, мать семерых сыновей и семерых дочерей. За то, что осмеивала тех, у кого детей не было, боги поразили стрелами всех ее детей. От горя Ниоба окаменела и была превращена Зевсом в скалу, источающую слезы.

С. 552. *Макарт* Ганс (1840—1884) — австрийский живописец.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец, рисовальщик и офортист.

Веласкез, Веласкес Диего (1599—1660) — испанский живописец.

С. 552. *Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский живописец.

С. 554. «*Явление Христа народу*» (1837—1857) — монументальное полотно Александра Андреевича Иванова (1806—1858).

«*Последний день Помпеи*» (1830—1833) — картина Карла Павловича Брюллова (1799—1852).

Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — живописец. Автор полотен на темы русской истории, былин и сказок.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — живописец.

Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец и график.

С. 555. *Сент-Илер* Карл Карлович (1831—1901) — зоолог. Автор учебников «Краткая зоология» (1861), «Элементарный курс зоологии» (1869), много раз издававшихся.

Кювье Жорж (1769—1832) — французский зоолог-реформатор.

Диафориус — врач, персонаж последней комедии Мольера «Мнимый больной» (1673).

С. 556. *Сумароков* Александр Петрович (1717—1777) — драматург, поэт.

С. 557. *Нестеров* Михаил Васильевич (1862—1942) — живописец.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — драматург, прозаик, поэт, художественный критик, журналист; автор популярных романсов.

Марлинский, *Бестужев-Марлинский* Александр Александрович (1797—1837) — прозаик, поэт, критик, декабрист.

Минский Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1856—1937) — поэт, публицист, философ, драматург, переводчик.

Сандро Боттичелли (1445—1510) — итальянский живописец.

С. 558. *Бедекер* — синоним слова «путеводитель», по имени Карла Бедекера (1801—1859), основателя немецкой книгоиздательской фирмы, выпускающей популярные путеводители по странам.

Фра Беато Анджелико (собств. Фра Джованни да Фьезоле; ок. 1400—1455) — итальянский живописец.

С. 559. *Веронез*, *Веронезе* Паоло (наст. имя Кальяри; 1528—1588) — итальянский живописец.

С. 559. *Тициан*, Тициано Вечеллио (ок. 1476/77 или 1489/90—1576) — итальянский живописец.

Джулио Романо (1492—1546) — итальянский живописец, лучший ученик Рафаэля.

Фидий (нач. V в. — ок. 432—431 до н.э.) — древнегреческий скульптор.

Пракситель (ок. 390 — ок. 330 до н.э.) — древнегреческий скульптор.

Лизипп, Лисипп — древнегреческий скульптор 2-й пол. IV в. до н.э., придворный художник Александра Македонского.

Леонардо да Винчи (1452—1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, поэт, ученый и инженер эпохи Высокого Возрождения.

Рафаэль (собств. Раффаэлло Санти; 1483—1520) — итальянский живописец и архитектор Высокого Возрождения, оказавший огромное воздействие на европейскую живопись.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт; крупнейший представитель Высокого Возрождения.

Делакруа Эжен (1798—1863) — французский живописец и график.

С. 560. *Рибейро-Спаньолетто* — испанский живописец Хозе Рибера (1588—1656), живший в Италии и получивший здесь имя Спаньолетто.

С. 561. *Дорэ*, Доре Гюстав (1832—1883) — французский график, автор иллюстраций к «Дон Кихоту» (1862—1863) Сервантеса, Библии (1864—1866).

Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902) — скульптор.

«Кучка», «Могучая кучка» — творческое содружество композиторов конца 1850 — начала 1860-х гг., в которое входила «пятерка»: М.А. Балакирев (глава), А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — композитор, пианист; основатель Русского музыкального общества (1859) и первой русской консерватории (1862, Петербург), с 1873 г. директор ее. Автор 15 опер, среди которых лучшая «Демон» (1871).

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — композитор, дирижер, педагог.

ВЕРДИ

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. 563. *Верди Джузеппе* (1813—1901) — итальянский композитор. Автор опер «Риголетто» (1851), «Травиата» (1853), «Аида» (1870) и др.

Виктор Эммануил II (1829—1878) — первый король объединенной Италии с 1861 г.

С. 564. «*Отелло*» (1886) — музыкальная драма Верди на сюжет трагедии Шекспира. Премьера состоялась в миланском театре «Ла Скала» 5 февраля 1887 г., затем спектакли прошли во всех крупных городах Италии.

Фаччио, Фаччо Франко (1840—1891) — итальянский композитор и дирижер. В 1869—1889 гг. руководил оркестром в театре «Ла Скала». Дирижировал первыми постановками «Аиды» (1872), «Отелло» Верди и др.

Таманьо Франческо (1850—1905) — оперный певец (драматический тенор), первый исполнитель партии Отелло в опере Верди.

Морель Виктор (1848—1923) — французский певец баритон, первый исполнитель роли Яго в опере «Отелло».

Панталеони — первая исполнительница роли Дездемоны в опере «Отелло».

Штольц Тереза (1834—1902) — итальянская оперная певица (драматическое сопрано), исполнившая роль Аиды в одноименной опере Верди впервые в театре «Ла Скала» в 1872 г. и в Петербурге 19 ноября 1875 г.

Гуно Шарль (1818—1893) — французский композитор и дирижер. Автор 12 опер, в том числе шедевра «Фауст» (1859) по одноименной трагедии Гёте.

Массне Жюль (1842—1912) — французский композитор. Его лучшими операми признаны «Манон» (1884), «Вертер» (1886), «Дон Кихот» (1910).

Сен-Санс Камиль (1835—1921) — французский композитор, пианист, органист, дирижер, музыковед.

Варрезе, Варези — первый исполнитель партии Риголетто в одноименной опере Верди, впервые поставленной 11 марта 1851 г. в венецианском театре «Фениче».

С. 565. *Пандольфини* — исполнитель роли Амонасро, эфиопского царя в опере Верди «Аида».

Арриго Бойто (1842—1918) — итальянский композитор, поэт, либреттист. Автор либретто опер «Мефистофель» (1868, 2-я ред. 1886), «Нерон» (неоконч.) и др.

...перевел на итальянский язык «Руслана и Людмилу»... — Бойто перевел либретто оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842) на сюжет поэмы А.С. Пушкина.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — композитор, автор опер «Жизнь за царя» (1836), «Руслан и Людмила» (1842), симфонических сочинений.

Сальвини — вероятно, Томмазо Сальвини (1820—1915), итальянский актер, прославившийся воплощением героев пьес Шекспира, в том числе Отелло, Яго, Гамлета, короля Лира, Макбета и др.

«*Ave Maria*» — католическая молитва (с XI в.), обращенная к Марии, матери Иисуса Христа: «Богородице, Дево, радуйся...»

...на венецианском *Fenice*, в лондонском *Ковент-Гардене*... — Названы знаменитые оперные театры.

С. 566. *Тассо* Торквато (1544—1595) — итальянский поэт. Автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580), подвергнутой суду инквизиции.

С. 567. *Богдан Княжицкий* — псевдоним Федора Алексеевича Зиновьева (1832—1866), прозаика, фельетониста, автора драматических сцен, печатавшегося в журналах «Современник», «Искры», «Северный цветок» (Зиновьев его редактор-издатель в 1860—1861 гг.), «Сын Отечества», «Будильник».

«*Сила судьбы*» (1862) — эту оперу Верди артисты итальянской труппы поставили 10 ноября 1862 г. в петербургском Мариинском театре. В связи с этой постановкой композитор дважды приезжал в Россию.

С. 568. *Гедеонов* Александр Михайлович (1790—1867) — в 1833—1858 гг. директор императорских театров. Отличался высокомерием и грубостью, сценическое искусство знал плохо, что нанесло театру немалый вред.

Федоров Павел Степанович (1803—1879) — драматург, автор переделок французских водевилей и комедий, с успехом шедших в петербургских театрах, Александринском и Малом. В 1853—1879 гг. был начальником репертуарной части петербургских театров.

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ И СЕРГЕЙ ВОЛКОНСКИЙ

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Литературный альбом. СПб., 1907. 2-е изд.

С. 568. *Андрей Болконский* — герой романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Этот образ навеян семейными преданиями о деде писателя по материнской линии генерал-аншефе, князе Н.С. Волконском.

С. 569. *Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) древнегреческий писатель и историк. Автор книги «Сравнительные жизнеописания» (50 биографий выдающихся греков и римлян).

Кровавому 14 декабря 1825 года... — День восстания декабристов на Сенатской площади в Петербурге.

С. 570. *Лемносский бог тебя сковал...* — Начальные строки стихотворения А.С. Пушкина «Кинжал» (1821).

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — полковник, участник Отечественной войны 1812 г. Автор программного документа Южного общества декабристов «Русская правда». Повешен.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт. Один из руководителей восстания декабристов. Повешен.

Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — экономист, один из основоположников финансовой науки в России. В 1810—1820-х гг. член тайных обществ «Орден русских рыцарей», «Союз благоденствия», руководитель Северного общества декабристов. С 1824 г. за границей. Заочно приговорен к вечной каторге. Автор труда «Россия и русские» (т. 1—3, 1847).

Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860), князь — полковник, участник Отечественной войны 1812 г. Один из организаторов «Союза спасения» (1816), «Союза благоденствия» (1818) и Северного общества (1821). Был избран диктатором восстания декабристов, однако 14 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь в Петербурге не явился. Приговорен к вечной каторге.

Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865), князь — генерал-майор. Участник Отечественной войны 1812 г. За участие в восстании декабристов осужден на 20 лет каторги.

Екатеринский век — время правления Екатерины II (1729—1796), вступившей на российский престол в 1762 г.

С. 570. *Александр I Павлович* (1777—1825) — император России с 1801 г.

С. 571. *Карл XII* (1682—1718) — король Швеции, полководец. Его вторжение в 1708 г. в Россию завершилось поражением в Полтавской битве (1709).

С. 573. *Пимен* — персонаж трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».

Левашов Василий Васильевич (1783—1848), граф — генерал от кавалерии. Участник Отечественной войны 1812 г. В 1826 г. член Следственной комиссии по делу декабристов, проводивший допросы. Впоследствии генерал-губернатор Киевский, Волынский, Подольский, Черниговский, Полтавский, Харьковский. С 1847 г. председатель Государственного совета и Комитета министров.

Деметрий Фалерский (350—283 до н.э.) — афинский философ и государственный деятель. Автор 45 сочинений по филологии, философии, истории, политике (сохранились их фрагменты).

С. 574. *Шильдер* Николай Карлович (1842—1902) — историк, генерал-лейтенант (с 1893). Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. С 1899 г. директор Императорской Публичной библиотеки в Петербурге. Автор фундаментальных биографических трудов «Граф Э.И. Тотлебен» (т. 1—2, 1885—1886), «Император Александр I, его жизнь и царствование» (т. 1—4, 1894—1905), «Император Павел I» (1901), «Император Николай I, его жизнь и царствование» (т. 1—2, 1903). Благодаря дружбе с Александром III имел доступ в секретные архивы.

Константин Павлович (1779—1831), вел. князь — второй сын императора Павла I. Участник итальянского похода А.В. Суворова. В Отечественной войне 1812 г. командовал гвардией. Наместник Царства Польского.

С. 575. ...*ненавидела Шервуда*... — Иван Васильевич Шервуд (1798—1867) — унтер-офицер, доносивший властям о деятельности декабристских тайных обществ. С 1826 г. высочайшим повелением стал именоваться «Шервуд Верный» (сослуживцы переделали в кличку «Шервуд Скверный»).

Волконская Мария Николаевна (1805—1863), княгиня — дочь генерала Н.Н. Раевского, жена декабриста С.Г. Волконского, друг А.С. Пушкина. В 1827 г. последовала за мужем в Сибирь. Автор «Записок» (изд. в 1904).

С. 575. *Трубецкая* Екатерина Ивановна (урожд. Лаваль; 1800—1854), княгиня — жена декабриста С.П. Трубецкого. В 1827 г. последовала за ним на каторгу в Сибирь.

...жены декабристов у Некрасова... — Имеются в виду поэмы Н.А. Некрасова «Княгиня Трубецкая» (опубл. 1872) и «Княгиня М.Н. Волконская» (1873) из цикла «Русские женщины».

С. 578. «*Юдифь*» (1862) — опера композитора Александра Николаевича Серова (1820—1871) на библейский сюжет. В ветхозаветных текстах Юдифь — благочестивая вдова, спасающая Ветилуй от нашествия ассирийцев; главный персонаж Книги Юдифи. С тайными замыслами она явилась во вражеский стан. Покоренный красотой Юдифь, Олоферн устраивает в ее честь пир. Когда они остались в шатре одни, Юдифь мечом отрубает опьяневшему воину голову, которую осажденные выставляют утром на городской стене. Ассирийцы, потерявшие полководца, бежали.

«*Медвежья охота*» (1868) — лирическая комедия Некрасова.

С. 579. «*Взбаламученное море*» (1863) — антинигилистический роман Алексея Феофилактовича Писемского (1821—1881).

Тиртей — древнегреческий поэт-лирик, живший в VII в. до н.э. в Спарте. Автор элегий, боевых песен и маршей.

С. 580. *Расстончин* Федор Васильевич (1763—1826), граф — генерал от инфантерии. В 1812 г. главнокомандующий (генерал-губернатор) Москвы, прошедший деятельную подготовку города к противостоянию против захватчиков. Снарядил 80 тыс. добровольцев. Издавал листовки («афиши»), написанные простонародным языком, в которых высмеивал французов, преувеличивал победы русских войск, раздувал шпиономанию.

С. 581. «*Записки Сергея Чалыгина*» — имеется в виду роман «Признания Сергея Чалыгина» (1867) поэта, прозаика Якова Петровича Полонского (1819—1898).

С. 582. *Багратион* Петр Иванович (1765—1812), князь — генерал от инфантерии. Герой Отечественной войны 1812 г. Погиб в Бородинском сражении. Кавалер всех высших орденов России.

Долгоруков Алексей Алексеевич (1767—1834), князь — в 1808—1815 гг. симбирский, а в 1815—1817 гг. московский гражданский губернатор. Во время Отечественной войны 1812 г. сформировал Симбирское ополчение, участвовавшее в войне. Впоследствии сенатор, министр юстиции, член Государственного совета.

С. 583. *Васильчиков* Илларион Васильевич (1776—1847), князь — генерал от кавалерии. Участник Отечественной войны 1812 г., отличившийся в нескольких сражениях. Член Государственного совета с 1821 г. Подавлял восстание декабристов, настаивая при этом на применении суровейших мер. Однако в окружении Николая I считался самой привлекательной личностью, рыцарем чести, правдивым и бескорыстным.

Бенкендорф Александр Христофорович (1781—1844), граф — государственный деятель, генерал от кавалерии. В Отечественной войне 1812 г. проявил себя как мужественный военачальник. С 1826 г. — шеф корпуса жандармов и главный начальник III отделения Собственной его императорского величества канцелярии, сенатор. В 1826—1829 гг. выступал посредником в отношениях между Николаем I и Пушкиным. Царь отзывался о Бенкендорфе так: «В течение 11 лет он ни с кем меня не поссорил, а примирил со многими».

С. 584. *Новосильцев* Николай Николаевич (1761—1838), граф — с 1813 г. на высоких постах в Царстве Польском. С 1821 г. главнокомандующий польской армией Константина Павловича, попечитель Виленского учебного округа. Впоследствии председатель Государственного совета и Комитета министров.

Чарторыжский, Чарторыйский Адам Адамович (1770—1861), князь — в 1804—1806 гг. министром иностранных дел. В дальнейшем сенатор, член Государственного совета.

С. 585. ...*легенда о старце Кузьмиче*... — Согласно одной из легенд, император Александр I Благословенный не умер во время путешествия в Таганрог, а удалился в народ, приняв имя старца Федора Кузьмича (см. в кн.: *Николай Михайлович*, великий князь. Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича. СПб., 1907).

С. 586. «*Крестьянское царство*» (т. 1—2, СПб., 1882) — книга о Валаамском монастыре Вас.И. Немировича-Данченко.

Крюднер, Криднер Варвара Юлия (урожд. Фитингоф; 1764—1825), баронесса — прозаик, эссеист, проповедница мистического суеверия. 4 июня 1815 г. в Гейльбронне встречалась с Александром I. В 1821 г. получила его разрешение на приезд в Петербург, где сошлась с кружком русских мистиков.

С. 586. *Татаринова* Екатерина Филипповна (урожд. Буксгевден; 1783—1856) — основательница «Духовного союза», мистической секты в Петербурге в 1820-х гг. Арестована в 1837 г. и сослана в монастырь.

Фотий (в миру Петр Никитич Спасский; 1792—1838) — архимандрит, проповедник. Выступал с обличениями мистицизма. Встречался с Александром I.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), граф — государственный и военный деятель, друживший с императором Александром I; пользовался при нем неограниченной властью. С 1810 г. председатель военного департамента Государственного совета и фактический руководитель государства. С 1817 г. возглавлял управление военными поселениями.

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — философ, прозаик, публицист, литературовед, критик, дипломат, врач.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — врач, общественный деятель, мемуарист. С 1877 г. сотрудник эмигрантской газеты «Общее дело». Автор крамольных брошюр «Царь и его подпоры трона» (1888), «Как царь любит своих детей» (1889), книги «Воспоминания и другие статьи» (1897).

С. 588. *Кюхельбекер* Вильгельм Карлович (1797—1846) — поэт, критик, переводчик. Однокашник А.С. Пушкина по Царскосельскому лицее. Участник восстания декабристов (1825). Приговорен к вечной ссылке.

Волконский Петр Михайлович (1776—1852), светлейший князь — генерал-фельдмаршал. Участник Отечественной войны 1812 г. В 1826—1852 гг. министр императорского двора и уделов.

С. 590. *Лунин* Михаил Сергеевич (1787—1845) — подполковник, участник Отечественной войны 1812 г., декабрист. Осужден на 20 лет каторги.

Коленкур Орман Огюстен Луи, маркиз (1773—1827). В 1807—1811 гг. французский посол в России. Автор мемуаров.

С. 591. *Николай Павлович* — великий князь, с 1825 г. император Николай I.

Михаил Павлович (1798—1849) — великий князь, генерал-фельдцейхмейстер, генерал-инспектор по инженерной части, главнокомандующий Гвардейским и Гренадерским корпусами. В 1825 г. член Следственной комиссии по делу о декабристах.

С. 591. *Депрерадович* Николай Иванович (1767—1843) — генерал от кавалерии. Участник войн, которые вели Екатерина II и Александр I. Отличился в сражениях под Аустерлицем (1805) и при Кульме (1813).

«*Петербургское действо*» — переворот 1862 г., в результате которого на российский трон вступила Екатерина II.

С. 592. *Василий Сергеевич Норов* (1793—1853) — отставной подполковник, член Союза благоденствия (1818) и Южного общества декабристов. Приговорен к каторжным работам на 10 лет.

Константин Павлович (1779—1831), великий князь — участник итальянского похода А.В. Суворова. В Отечественной войне 1812 г. командовал гвардией. В 1814—1831 гг. главнокомандующий польской армией.

С. 593. *Тильзитский мир* — договоры между Францией и Россией, Францией и Пруссией, подписанные в Тильзите в июне 1807 г.

Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745—1826), граф — генерал от кавалерии. Один из заговорщиков, убивших Павла I. Участник Отечественной войны 1812 г.

Уваров Федор Петрович (1773—1824) — генерал от кавалерии. Участник войн русско-шведской 1788—1790 гг., русско-французских 1805—1807 гг., русско-турецкой 1806—1812 гг. и Отечественной 1812 г. Член Государственного совета с 1821 г.

Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — генерал-майор. Участник Отечественной войны 1812 г. Впоследствии член Союза благоденствия. Привлекался по делу декабристов (выслан под надзор полиции).

Винценгероде Фердинанд Федорович (1770—1818), барон — генерал-адъютант. Во время Отечественной войны 1812 г. руководил защитой дороги на Петербург, командовал конницей союзников.

С. 594. *Дохтуров* Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал от инфантерии (1810). Участник войн русско-шведской (1788—1790), русско-французской (1805, 1806—1807) и Отечественной (1812).

Коновницын Петр Петрович (1764—1822) — генерал от инфантерии. Участник Отечественной войны 1812 г.; в Бородинском сражении заменил смертельно раненного П.И. Багратиона в командовании левым флангом. В 1815—1819 гг. военный министр.

С. 594. *Кутузов* (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813), светлейший князь Смоленский — полководец, выигравший Отечественную войну 1812 г.

Платов Матвей Иванович (1751—1818), граф — генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 г.

Чернышев Александр Иванович (1786—1857) — генерал от кавалерии. Участник кампаний против французов в 1805, 1807 и Отечественной войны 1812 г. Член Следственной комиссии по делу о декабристах. В дальнейшем член Государственного совета (с 1828 г.) и его председатель (1848—1856), военный министр (1832—1852), председатель Комитета министров (1848—1856).

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848) — генерал-лейтенант, военный историк, мемуарист. Участник Отечественной войны 1812 г. Автор многих «учено-беллетристических книг» (В.Г. Белинский), посвященных в основном войнам с Наполеоном и русским полководцам.

Ланжерон Александр Федорович (1765—1831), граф — генерал от инфантерии (1811). Французский маркиз, вступивший на русскую службу после революции 1789 г. Участник войн Александра I. В 1815—1823 гг. новороссийский генерал-губернатор и одесский градоначальник. Член верховного суда над декабристами.

С. 595. *Каменский 2-й* Николай Михайлович (1776—1811) — генерал от инфантерии. Сын генерал-фельдмаршала М.Ф. Каменского.

Сиверс К.К. — генерал-майор, командир 4-го кавалерийского корпуса, оборонявшего Шевардинский редут во время Бородинского сражения.

Кульнев Яков Петрович (1763—1812) — генерал-майор. Герой Отечественной войны 1812 г. Был смертельно ранен в бою под Клястицами.

Каменский Сергей Михайлович (1772—1834) — генерал от инфантерии. Сын генерал-фельдмаршала М.Ф. Каменского.

Лесков Николай Семенович (1831—1895) — прозаик, публицист.

Каменский Михаил Федотович (1738—1809) — генерал-фельдмаршал.

С. 600. *Измайлов* Лев Дмитриевич (1763—1836) — рязанский помещик, известный жестокостью и самодурством. В 1812 г. начальник ополчения. В 1830 г. осужден за истязания крестьян.

С. 600. *Салтычиха* — Дарья Николаевна Салтыкова (1730—1801), помещица, приговоренная за издевательства над крестьянами к пожизненному заключению.

С. 603. *Меттерних* Клеменс (1773—1859), князь — министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821, канцлер в 1821—1848 гг., установивший в стране систему полицейских репрессий.

С. 604. *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839), граф — с 1807 г. статс-секретарь Александра I и ближайший его советник. Автор «Введений к уложению государственных законов», в которых изложен план государственных преобразований самодержавия в конституционную монархию. В 1812—1816 гг. в опале. Затем — губернатор Сибири. В 1826 г. возглавил II отделение Собственной его императорского величества канцелярии. Под его руководством составлены «Полное собрание законов Российской империи» в 45 т. (1830) и «Свод законов Российской империи» (т. 1—15, 1832).

Санглен Яков Иванович (1776—1864) — лектор немецкой словесности в Московском университете. В дальнейшем — военный советник, начальник канцелярии министерства полиции. Автор «Записок — не для современников», отразивших события с 1776 по 1831 г.

И МОЯ ВСТРЕЧА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Заметы сердца. М., <1909>.

С. 606. *28 августа 1908 года...* — В этот день исполнилось 80 лет со дня рождения Л.Н. Толстого.

С. 607. *...поет Лазаря...* — «Петь Лазаря», т.е. канючить, попрошайничать. Лазарь — библейский персонаж, нищий, больной и бедный, из притчи Иисуса Христа о богаче и Лазаре (Евангелие от Луки, гл. 14, ст. 18—31).

С. 611. *Страстная* — последняя неделя Великого поста (перед Пасхой).

С. 612. *Петровки* — Петровский пост в честь апостолов Петра и Павла, длящийся от 8 до 42 дней (в зависимости от начала Пасхальных празднеств).

Филипповки — Филиппов (Рождественский) пост с 15 ноября до Рождества Христова.

С. 612. *Успенья-матушка* — Успение Богородицы, один из 12 главных праздников в православии; отмечается 15 (28) августа как день кончины Божьей Матери. Успенский пост — за две недели перед Успением Богородицы, т.е. с 1 (14) по 15 (28) августа.

Эпитимья, *епитимья* — церковное наказание.

Ктитор — церковный староста.

Сергеенко Петр Алексеевич (псевд. Эмиль Пуп, Бедный Иорик и др.; 1854—1930) — прозаик. Автор книги «Как живет и работает Лев Толстой».

Тенеромо — псевдоним Исаака Борисовича Файнермана (1862—1925), учителя, журналиста, сочувствовавшего в 1880-х гг. взглядам Л.Н. Толстого.

С. 613. ...*графине было угодно.* — Т.е. Софье Андреевне Толстой.

С. 615. *Генри Джордж* (1839—1897) — американский экономист и политический деятель, книги которого изучал Л.Н. Толстой. В 1904 г. в толстовском издательстве «Посредник» вышел сборник «Избранные речи и статьи Генри Джорджа». В 1906 г. Толстой написал предисловие к книге Г. Джорджа «Общественные задачи». Сын Г. Джорджа (1862—1916), американский журналист, посетил Ясную Поляну 5 июня 1909 г. В этот день Л.Н. Толстой написал статью «По поводу приезда сына Генри Джорджа», оставшуюся не опубликованной.

ИБСЕН

Печ. по изд.: Амфитеатров А. В. Собр. соч. Т. 22. Властители дум. М.: Просвещение, <1914>.

С. 619. *Ибсен* Генрик (1828—1906) — норвежский драматург, классик мировой драматургии.

Иафетиды — потомки Иафета, одного из трех сыновей библейского Ноя, которые, по преданию, заняли Европу и Восточную Азию, став основателями иафетовой (арийской) расы.

С. 620. *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский поэт, драматург, эссеист, писавший на французском языке. Лауреат Нобелевской премии (1911).

С. 622. «*Илиада*», «*Одиссея*» — эпические поэмы древнегреческого поэта Гомера, жившего в VIII в. до н.э.

С. 622. «Энеида» — поэма римского поэта-лирика Марона Публия Вергилия (70—19 гг. до н. э.), повествующая о тех же событиях, что и поэмы Гомера.

...героев «Илиады» отлично высвистал *Оффенбах*... — Имеется в виду оперетта «Прекрасная Елена» (1864) французского композитора Жака Оффенбаха (наст. имя и фам. Якоб Эборшт; 1819—1880).

...*Белинский-то...* не читал еще... «*Троила и Крессида*» Шекспира... — Виссарион Григорьевич Белинский (1811—1848) — критик. Большинство пьес У. Шекспира, в том числе его «мрачная комедия» «Троил и Крессида» (1602), к русскому читателю пришли во второй половине XIX в. Первое «Полное собрание драматических произведений Шекспира в переводе русских писателей» вышло в 1865—1868 гг.

...распорядился с ним самим, великим *Вильямом*... *Толстой*. — Имеется в виду вызвавший острую и долгую полемику критический очерк «О Шекспире и о драме» (1904, опубл. 1906), в котором Л.Н. Толстой пишет: «...Прочтя одно за другим считающиеся лучшими его произведения: «Короля Лира», «Ромео и Юлию», «Гамлета», «Макбета», я не только не испытал наслаждения, но почувствовал неотразимое отвращение, скуку и недоумение о том, я ли безумен, находя ничтожными и прямо дурными произведения, которые считаются верхом совершенства всем образованным миром, или безумно то значение, которое приписывается этим образованным миром произведениям Шекспира. <...> Полагаю, что Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем» (*Толстой Л.Н. Собр. соч.*: В 22 т. М., 1983. Т.15. С. 258—259).

«*Ткачи*» (1892), «*Ганнеле*» (1896) — пьесы Герхарта Гауптмана (1862—1946), немецкого драматурга, лауреата Нобелевской премии (1912).

«*Привидения*» (1881), «*Кукольный дом*» («*Нора*», 1879), «*Гедда Габлер*» (1890) — пьесы Ибсена.

«*На дне*» (1902) — пьеса М. Горького.

Корнель Пьер (1606—1684) — французский поэт и драматург-классицист.

Расин Жан (1639—1699) — французский драматург, поэт-классицист.

С. 622. «*Потонувший колокол*» (1896) — символистская драма Г. Гауптмана.

«*Три сестры*» (1901) — драма А.П. Чехова.

«*Монна Ванна*» (1902) — историческая драма М. Метерлинка; в России была поставлена в 1902—1904 гг. на гастролях В.Ф. Комиссаржевской (исполняла главную роль) и в петербургском Новом театре Л.Б. Яворской в 1902 г.

«*Женщина с моря*» (1888) — пьеса Ибсена.

С. 623. *Генрих Гейне и Глеб Успенский сливаются в стройном гимне Венере Милосской.* — Г. Гейне в книге «Путешествие по Гарцу» (1824) посвятил восторженные строки скульптурному портрету богини любви Венеры Медицейской (Флоренция), а Г.И. Успенский в очерке «Выпрямила» (1882) — знаменитой статуе Венеры Милосской (Париж).

«*Росмергсольм*», «*Маленький Эйольф*», «*Враг народа*» и далее перечислены пьесы Ибсена.

С. 624. *Щепкин* Михаил Семенович (1788—1863) — с 1824 г. актер московского Малого театра. Реформатор русского сценического искусства.

Мережковский «черта» в Чичикове... «чертяку» в Хлестакове. — Имеется в виду книга «Гоголь и черт. Исследование» (1906) Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865—1941), прозаика, поэта, критика, публициста.

Его Щепкины, Мочаловы, Мартыновы, Ермоловы... — Названы выдающиеся актеры Малого и Александринского театров: М.С. Щепкин (см. о нем выше), Павел Степанович Мочалов (1800—1848), Александр Евстафьевич Мартынов (1816—1860), Мария Николаевна Ермолова (1853—1928).

С. 627. «*Россия*» (СПб., 1899—1902) — газета, издававшаяся Г.П. Сазоновым; редакторы А.В. Амфитеатров и В.М. Дорошевич. Закрыта за публикацию фельетона Амфитеатрова «Господа Обмановы».

Соломон — см. примеч. к с. 328.

Шиллер Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт, драматург, историк, теоретик искусства. Автор драм «Разбойники» (1781), «Коварство и любовь» (1784), «Валленштейн» (трилогия, 1799), «Мария Стюарт», «Орлеанская дева» (обе 1801), «Вильгельм Телль» (1804) и др.

С. 627. *Жорж Занд*, Санд (наст. имя Аврора Дюпен; 1804—1876) — французская писательница.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский философ, писатель, композитор; деятель Просвещения. Автор труда «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762).

С. 628. *Веронезе П.* — см. примеч. к с. 559.

Рубенс Питер Пауэл (1577—1640) — глава фламандской школы живописи эпохи барокко.

Щедрин — псевдоним Михаила Евграфовича Салтыкова (1826—1889), прозаика, публициста, классика сатирического жанра в русской литературе.

С. 629. «*Что делать?*» (1863) — роман публициста, критика, прозаика Николая Гавриловича Чернышевского (1828—1889), в котором писатель выразил свои социалистические идеалы.

В. Крестовский (псевдоним) — имеется в виду прозаик Надежда Дмитриевна Хвоцинская (в замуж. Зайончковская; 1824—1889), печатавшаяся под псевдонимами: В. Крестовский и Крестовский-псевдоним.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — критик, публицист. Родоначальник нигилизма в России.

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — публицист, критик, мемуарист, революционер-шестидесятник.

С. 636. *Харламтий Мудров, Настасья Панкратьевна Брускова* — персонажи комедий А.Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1855) и «Тяжелые дни» (1863).

С. 637. *Борис, Кулигин, Кабаниха, Катерина* — персонажи драмы А.Н. Островского «Гроза» (1860).

Гордей Торцов — персонаж комедии А.Н. Островского «Бедность не порок» (1853).

Кромвель Томас (1485—1540) — лорд — главный правитель Англии с 1539 г. Был обвинен в измене и казнен.

Густав II Адольф (1594—1632) — король Швеции с 1611 г.

С. 643. *Джон Буниан* (1628—1688) — английский проповедник и писатель. За свои протестанские взгляды просидел 12 лет в тюрьме. Автор «Путешествия пилигрима» (1678, рус. пер. 1878).

Джеремейя Колльер, Джереми Колльер (1650—1726) — английский богослов.

С. 637. *Домострой* — памятник русской литературы XVI в., свод патриархальных житейских правил и наставлений, основанных на беспрекословном повиновении главе семьи. Предполагаемый автор одной из редакций памятника — священник московского Благовещенского собора Сильвестр (? — ок. 1566), духовный наставник юного Ивана Грозного.

С. 638. *Феофан Прокопович* (1681—1736) — церковный и политический деятель, писатель, историк, проповедник «просвещенного абсолютизма» в России.

Брусков Тит Титыч (Кит Китыч) — купец-самодур, персонаж комедии А.Н. Островского «В чужом пиру похмелье» и «Тяжелые дни».

С. 639. *Лучицкая* Мария Викторовна (урожд. Требинская; 1852 — после 1912) — переводчица.

Геркулесовы столбы — так в древности назывались предгорья Абилы (ныне Сеута) на африканском и европейском побережьях Гибралтарского пролива, обнаруженные (по другой версии построенные) героем греческих сказаний Геркулесом.

С. 640. *Глумов* — персонаж первой сатирической комедии А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868).

Самсон Силыч Большой — персонаж комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся!».

Мельников-Печерский Павел Иванович (1818—1883) — прозаик, историк. В 1852—1853 гг. возглавлял экспедицию Министерства внутренних дел по изучению раскола («язвы государственной», по его мнению). Автор «Исторических очерков поповщины» (1864) и прославившей его имя дилогии «В лесах» (1871—1874), «На горах» (1875—1881).

С. 641. *Биограф Мельникова, Усов...* — Павел Степанович Усов (1828—1888) — публицист, критик. Автор очерка «Мельников, его жизнь и литературная деятельность» (в изд.: Мельников П.И. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1897).

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, редактор и издатель газеты «Московские ведомости» (в 1851—1856 и 1863—1887 гг.), воскресного приложения к газете «Современные летописи» (1863—1871), журнала «Русский вестник» (с 1856 по 1887 г.).

Издания Каткова обрели известность обличениями нигилизма шестидесятников; в 1880-е гг. оказывали серьезное влияние на правительственную политику. У Каткова печатались Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, Вл. С. Соловьев.

С. 641. *Любимов* Николай Алексеевич (1830—1897) — публицист, ученый-физик. Профессор Московского университета, член совета министра народного просвещения. С 1856 г. сотрудник журнала «Русский вестник» (фактический его редактор в 1863—1882 гг.).

Белинский-то прав был в письме к Гоголю! — Имеется в виду письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю от 3 (15) июля 1847 г., в котором подвергнута резкому и несправедливому осуждению исповедальная книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Полемика о книге вспыхивала и утихала более полувека, полярно размежевав сторонников гоголевской идеи морального совершенствования человека и тех, кто разделял взгляды Белинского о революционных преобразованиях в России. В числе последних был долгое время и Амфитеатров, пока не прозрел во второй эмиграции после большевистского переворота.

С. 645. «*Макбет*», «*Король Джон*», «*Ричард II*», «*Генрих IV*», «*Ричард III*» — пьесы Шекспира.

Людовик XI (1461—1483) — король Франции.

Калита — прозвище Ивана I (1296—1340), великого князя московского и владимирского.

С. 646. ...*Кукольник пытался сделать... «претендента на престол» из князя Даниила Холмского.* — Имеется в виду историческая трагедия Н.В. Кукольника «Князь Даниил Дмитриевич Холмский» (1840).

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк, прозаик, поэт, критик, писавший на русском и украинском языках. Автор исторических повестей и романов «Сын» (1865), «Кудеяр» (1875), «Холуй» (1878), «Черниговка» (1881) и др. Главный труд — «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (1873—1888).

ПЕТР ФИЛИППОВИЧ ЯКУБОВИЧ

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Т. Собр. соч. 14. Славные мертвецы. М.: Просвещение, <1912>.

С. 653. *Петр Филиппович Якубович* (псевд. Л. Мельшин, П.Ф. Гриневич и др.; 1860—1911) — поэт, прозаик, переводчик. Как руководитель тайной террористической организации «Народная воля» в 1887 г. был приговорен к смертной казни, замененной 18 годами каторги. Автор автобиографической повести «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника» (1895—1898).

С. 655. *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, кумир молодежи 1880-х годов.

С. 656. *В ночь с 27 на 28 декабря 1877 года...* — Названа дата кончины Н.А. Некрасова.

...бледная, в крови, кнутом иссеченная Муза... — Аллюзия из стихотворения Некрасова «Вчерашний день, часу в шестом...» (1848).

Стан «ликующих, праздно болтающих»... умирающих за великое дело любви... — См. стихотворение Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

С. 658. *Risorgimento* (ит. Рисорджименто, букв. Возрождение) — национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии, завершившееся в 1870 г. образованием единого государства.

Бодлер Шарль (1821—1867) — французский поэт-символист и критик. Автор знаменитого сборника «Цветы зла» (1857).

Боденштедт Фридрих (1819—1892) — немецкий поэт, драматург, переводчик, путешествовавший по России, Кавказу и Персии.

С. 662. ...*карийская трагедия 1889 года...* — Так в исторической и мемуарной литературе называется протест заключенных Нижнекарийской и Усть-Карийской политических каторжных тюрем против произвола и жестокости тюремщиков. В ответ последовали новые репрессивные меры. Тогда четверо узниц покончили с собой, приняв яд. Их примеру последовали 14 заключенных мужской тюрьмы, из которых 12 удалось спасти, а С.Н. Бобохов и И.В. Калюжный погибли. По странам Европы и Америки прокатилась кампания протеста, что вынудило российские власти отменить телесные наказания в местах заключения.

Сазонов (Созонов) Егор Сергеевич (1879—1910) — эсер-террорист, убивший 15 июля 1904 г. министра внутренних дел В.К. Плеве. Приговоренный к вечной каторге, покончил с собой.

С. 664. *Андреев* Л.Н. — см. о нем примеч. к с. 545.

Сологуб Федор (наст. фам. и имя Тетерников Федор Кузьмич; 1863—1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик.

С. 666. *Фет* Афанасий Афанасьевич (наст. фам. Шеншин; 1820—1892) — поэт.

С. 670. *В противоположность пушкинскому Кочубею...* — Имеется в виду персонаж поэмы А.С. Пушкина «Полтава» (1828) Василий Леонтьевич Кочубей (1640—1708), государственный и военный деятель. Генеральный писарь с 1687 г., генеральный судья с 1699 г. Левобережной Украины. Казнен за то, что сообщил Петру I об измене гетмана Мазепы.

С. 672. *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, критик, переводчик, мемуарист. Называл революционеров-демократов 1860-х гг. самозванцами, потомками «тушинского вора» (Лжедмитрия).

С. 674. *Нежданов и Марианна, Рудин и Наташа* — персонажи романов «Новь» (1877) и «Рудин» (1856) И.С. Тургенева.

Обломов и Ольга — персонажи романа «Обломов» (1859) И.А. Гончарова.

С. 675. *Фигнер* Вера Николаевна (1852—1942) — революционерка, участвовала в организации покушения на императора Александра II, за что была приговорена к вечной каторге; 20 лет провела в заключении в Шлиссельбургской крепости. Впоследствии отошла от участия в политической деятельности. Автор двухтомных воспоминаний «Запечатленный труд».

С. 681. *Плещеев* Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт, прозаик, критик. В 1849 г. вместе с Ф.М. Достоевским и другими членами кружка Петрашевского стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, которую в последний момент заменили каторгой и ссылкой в солдаты.

Вперед, без страха и сомненья... (1846) — первая строка стихотворения без названия А.Н. Плещеева, ставшего известной песней (на музыку положено неизвестным композитором).

ПАМЯТИ БОЛЕСЛАВА ПРУСА

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 22. Властители дум. М.: Просвещение, <1914>.

С. 682. *Болеслав Прус* (наст. имя и фам. Александр Гловацкий; 1847—1912) — польский прозаик, критик, публицист.

С. 683. *Стриндберг* Юхан Август (1849—1912) — шведский прозаик, поэт, драматург.

Лавров Вукол Михайлович (1852—1912) — журналист, переводчик. В 1880—1907 г. издатель и редактор журнала «Русская мысль».

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — философ, публицист, революционер, идеолог анархизма.

Катков М.Н. — см. примеч. к с. 641.

...*Савлу на пути в Дамаск*... — Савл — еврейское имя апостола Павла. Его обращение в христианство свершилось на пути в сирийский город Дамаск.

«*Эскиз углем*», «*Бартек победитель*» — рассказы Г. Сенкевича.

С. 684. *Александр Дюма-отец* (1802—1870) — французский прозаик и драматург, автор знаменитых историко-авантюрных романов «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Виконт де Бражелон» (1848—1850), «Королева Марго» (1845), «Граф Монте-Кристо» (1845—1846) и др.

...*после 1863 г.* — После восстания в Польше, завершившегося его кровавым подавлением.

«*Юрий Милославский, или Русские в 1612 году*» (1829) — исторический роман Михаила Николаевича Загоскина (1789—1852), выдержавший восемь прижизненных переизданий и переведенный на шесть европейских языков.

С. 685. «*Рославлев, или Русские в 1812 году*» (1831) — роман М.Н. Загоскина

С. 686. «*Записки охотника*» (1847—1852) — сборник очерков и рассказов И.С. Тургенева.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — прозаик, публицист.

Пильц Эразм Иванович (1851—?) — польский публицист, издававший с 1882 г. в Петербурге газету «Крај».

Спасович Владимир Данилович (1829—1906) — юрист, специалист в области уголовного права, с 1857 г. профессор Петербургского университета. Известный судебный оратор. В 1876—1901 гг. издатель польского журнала в Варшаве «Athenaeum», сотрудник польской газеты в Петербурге «Крај».

С. 688. *Ковалевский* Максим Максимович (1851—1916) — историк, этнограф, юрист, социолог; профессор Московского университета. Депутат I Государственной думы. С 1907 г. член Государственного совета. С 1909 г. издатель и активный сотрудник журнала «Вестник Европы». С 1914 г. академик по разряду историко-политических наук.

Эртель Александр Иванович (1855—1908) — прозаик, автор известного романа «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1889).

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911) — прозаик, публицист, мемуарист.

Каронин С. — под этим псевдонимом печатался прозаик Николай Елпидифорович Петропавловский (1853—1892), проведенный почти 12 лет в заключении и ссылке за хранение запрещенной литературы.

Астырев Николай Михайлович (1857—1894) — публицист, общественный деятель. Автор книг «В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления» (1886), «Деревенские типы и картинки» (1891).

С. 691. *Конопницкая* Мария (1842—1910) — польская поэтесса, прозаик, критик.

Ожешко Элиза (1841—1910) — польская писательница. Автор социально-бытовых романов.

СОДЕРЖАНИЕ

Наследники	7	695
Злые призраки	225	698
Очерки и статьи		
Генрих Семирадский и «Дирцея»	533	704
Верди	562	713
Андрей Болконский и Сергей Волконский. <i>О записках декабриста С.И. Волконского и романе «Война и мир»</i> ...	568	715
И моя встреча с Л.Н. Толстым. <i>Юбилейный отголосок</i> ..	606	722
Ибсен	619	723
Петр Филиппович Якубович	653	728
Памяти Болеслава Пруса	682	730
Примечания	693	—

Амфитеатров А.В.

А 63 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 8. Наследники. Злые призраки. Очерки, статьи / Сост., примеч. Т.Ф. Прокопова. М.: НПК «Интелвак», 2005. — 736 с.

ISBN 5-93264-018-9 (т. 8)

В восьмом томе Собрания сочинений А.В. Амфитеатрова (1862—1938) впервые в наши дни публикуются повести «Наследники» и «Злые призраки» из романной трилогии «Дочь Виктории Павловны» и «Паутина», а также очерки и статьи разных лет.

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2рос-Рус)1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах

Том 8

НАСЛЕДНИКИ
ЗЛЫЕ ПРИЗРАКИ
ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Светлана Цыганова*
Макет и верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 15.06.2004.
Формат 84 × 108/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 38,64.
Уч.-изд. л. 39,09. Тираж 800 экз. Заказ № 5388.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г.

Издательство НПК «Интелвак»
117105, Москва, Нагорный проезд, 7

Факс 127 3847. Тел. 127 3846. E-mail: iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

ISBN 5-93264-018-9



9 785932 640180 >

